В. Каверин

Летящий почерк

В. Каверин Летящий почерк



Романы и рассказы

Москва
«Художественная литература»
1986

Р2
К12

Оформление художника
Е. Яковлева

К $\frac{4702010200 - 266}{028(01) - 86}$ КБ-1-12-86

Перед зеркалом

роман

Часть первая

Глава первая

29.I.10. Пермь.

Костя! Прежде всего прошу Вас не называть меня по имени и отчеству. Начальница может распечатать, и это покажется ей странным или даже неприличным. Впрочем, у нее неприлично уже то, что я переписываюсь с мальчиком (хотите — юношей). Вы пишете, что я просила Вас быть искренним? Вы меня неверно поняли, Костя. Именно этого-то мне и не хотелось. В обязанность дружбе полную искренность я не ставлю и сама всегда и во всем откровенной быть не хочу, так как у каждого есть своя «святая святых». Я и так слишком себя показываю, хотя следовало бы лишь до известной степени быть откровенной со всеми. Интересно, почему Вы считаете меня другом? Сейчас я как раз не в расположении говорить о себе, а то, пожалуй, Вы пожалели бы о своей, слишком лестной для меня, торопливости.

Теперь мне хочется сказать Вам, что я солгала, сказав, что уже была однажды на балу в мужской гимназии. До прошлого года нас туда не пускали. После бала про меня распустили сплетню, и мне пришлось выслушать от начальницы приятные комплименты. Меня это страшно возмутило, не начальница, конечно, а мальчики, с которыми я была давно знакома. Правда, потом они извинились, но хотя я и добрая, как говорят, но не прощаю людям. И вот я не простила одному гимназисту: я бросила ему в лицо оскорбление, что он впоследствии объяснил моими взглядами, слишком, по его мнению, идеальными.

Я читаю сейчас Вербицкой «Ключи счастья» и «Путешествие на корабле «Бигль» Дарвина. Подумать только — юношей отправиться на пять лет в кругосветное путешествие. Какое счастье! Извините за почерк и ужасный слог с ошибками.

Лиза.

Пермь. 1910

Военный оркестр гремел на хорах, тоненький молодой человек из Дамского попечительства о бедных носился по залу, дирижируя танцами на плохом французском языке, мамы в креслах сидели вдоль стен, а подле них стояли, ожидая приглашения, раскрасневшиеся нарядные дочки.

Пансионерки были с классной дамой Анной Петровной, толстой, молодой и доброй, огорчавшейся, что кавалеры обходят ее девочек, и Лиза вдруг смело пошла через круг танцующих по навощенному, усеянному конфетти полу. Незнакомый гимназист в длинном парадном мундире, которые уже давно никто не носил, подлетел к ней, пригласил на падекатр; они сделали тур и остановились подле комнаты, где мужчины разговаривали и курили, а женщины хлопотали, устраивая лотерею. Другой знакомый гимназист попросил венгерку, но Лиза сказала, что венгерку нельзя, она обещала. Можно кадриль. Потом, танцуя с Карновским кадриль, она с ужасом вспомнила об этом. Но ужас был какой-то веселый, счастливый, кружившийся вместе с ней в разгоряченном, гремящем и тоже счастливом воздухе бала. Все было весело — танцевать, разрывая длинные разноцветные ленты серпантина, поскользнуться и чуть не упасть, когда Карновский, стоя на одном колене, повел ее вокруг себя в мазурке, стоять с ним в тамбуре подъезда, где было прохладно и тихо, только доносились из зала лихие, отчаянные возгласы дирижера.

Весь вечер Карновский не отходил от нее, принес ей лимонаду и пирожные из буфета, подарил розовый, отделанный шелком ящичек для писем, который он выиграл в лотерею.

— А ведь это значит, что судьба в самом деле велит нам переписываться, Лиза.

Он предложил проводить ее, и она согласилась, хотя и знала, что в пансион надо вернуться с Анной Петровной и что, если она придет одна, ей непременно сбавят за поведение.

Снег искрился и сверкал от луны — и было так холодно, что у Лизы даже замерзли губы. Конечно, она запомнила, о чем они говорили, это был серьезный интересный разговор, но в тысячу раз серьезнее и важнее было то, что Карновский так почтительно предложил ей руку и теперь вел ее, как королеву, держась вполоборота к ней, нарочно, чтобы показать, что он только для нее существует на свете.

Через рукав она чувствовала его твердую мужскую руку...

12.VIII.10.

Пишите мне, Костя, на конверте «Пермь», а не «здесь» или «местное», так как дома должно произойти объяснение по поводу нашей переписки, а мне хочется его отдалить. Эта переписка есть проступок перед папой, который не переносит, когда я бываю с мальчиками, потому что не верит в их хорошие намерения, а заодно не доверяет и мне. Но из этого не следует, что она (переписка) должна

прекратиться. Последнее может случиться лишь в том случае, если я не смогу отвоевать себе независимое положение. Переписываться же тайно я не желаю.

Костя, Вы не поняли меня: у нас семь классов, и последний, то есть первый, равняется седьмому классу гимназии. Я собиралась после пансиона ехать за границу, у меня есть небольшие средства, положенные на мое имя дедом. Но куда? И потом, эти деньги можно взять только после того, как мне исполнится двадцать один год. Вообще, я решила остаться в России. Ужасно хочется поскорее кончить пансион. Но знаете, что меня больше всего смущает: цель жизни. Скажите мне откровенно, с какой целью Вы учитесь и живете? Правда, ужасно трудно разрешить этот вопрос. Ну, пока до свиданья, еще бы написала, да жарко. Читали вы дневник Марии Башкирцевой? Я не могу от него оторваться. Меня поражает уже то, что она способна думать о себе с утра до ночи и даже во сне. Я попробовала — и представьте, это оказалось очень трудно. Уже через четверть часа я стала думать о своей подруге, а потом об одной классной даме, которой мы решили насолить. Башкирцева пишет, что жизнь — это Париж, а Париж — это жизнь. Может быть, поехать учиться в Париж?

15.XI.10. Пермь.

Если вы считаете меня другом (в письмах это видно только из обращения), то будем переписываться. Если нет — то лучше бросить. Да, мне хочется быть Вашим другом, хотя, без сомнения, я смешна в Ваших глазах, если только Вы не тот, каким я Вас себе представляю. Я доверчива и непостоянна в своих суждениях, что, кстати, видно из предыдущих строк.

Напишите мне об университете, о Ваших впечатлениях, о трудности предмета — ведь я тоже хочу идти на математический. Обо мне говорят: лед и огонь. Но это сравнение нейдет здесь: при чем тут характер, были бы лишь способности и желание!

С Вашим письмом произошло несчастье: начальница его распечатала и запретила переписываться. По поведению мне хотели поставить одиннадцать, но поставили все же двенадцать, жалея мои успехи. Теперь вы мне пишите на адрес подруги, и это даже лучше, потому что можно не бояться быть прочитанным: Никольская улица, дом 14, Марии Андреевне Милютиной, для меня.

Костя, неужели это правда, что какой-то корреспондент сообщил о смерти Толстого, когда он был еще жив, то есть за несколько минут до его кончины? Эта бесстыдность и публичность так поразили меня, что от возмущения я даже перестала плакать.

Если можете, пришлите карточку в форме студента, у меня глупая пансионская любовь к форме. Как я говорила, что забуду Ваше лицо, так и случилось. Только помню, что Вы в светло-синем пенсне.

Напишите, Костя, о своих товарищах, об их идеях и волнениях.

Читая мне нотацию, начальница вообще советовала не переписываться со студентами. Я лгала, смеялась и снова лгала. Вы даже

не можете вообразить, как часто приходится лгать в пансионе, особенно начальству,— на каждом шагу. Иногда даже хочется сказать правду, я попробовала, но перестала, заметив, что ее-то и принимают за ложь.

17.XII.10.

Извините, Костя, что долго не писала. У меня гостила подруга, а после ее отъезда я не могла до сих пор собраться. Мне очень хочется с Вами увидеться и поговорить, и я даже ходила по улицам и смотрела — не встречу ли господина в светло-синем пенсне, хотя прекрасно знаю, что Вы — в Казани. Наверно, не следует писать Вам об этом, но мне давно хотелось иметь друга, с которым я была бы вполне откровенна. А то я откровенна со всеми, и это мне очень вредит. Когда я поступила в пансион, я сразу полюбила одного учителя и очень любила до нынешнего года за то, что он хороший семьянин и входил в наши интересы. Но потом он, по-видимому, стал просто-напросто думать, что я бегаю за ним — ведь это принято в пансионах,— и любовь стала охлаждаться. Потом я была дружна с одной классной дамой, что причинило мне немало неприятностей, потому что она меня совсем не поняла. Наверно, Вам уже надоело читать такое неразборчивое письмо. Я очень рассеянная и не люблю перечитывать.

Напишите мне ваше отчество.

Лиза.

10.I.11. Пермь.

Костя, какие разные Ваши два письма. Первое — восторженное, а второе — такое унылое, как будто Вы что-то дорогое потеряли. По первому письму я решила, что Вы влюблены,— правда или нет, мне очень интересно. Вы знаете, а я даже никогда не увлекалась, и это почему-то считают странным. Сама же я объясняю это просто. У меня уже создался известный идеал, а его нет среди окружающей молодежи. А если я влюблюсь в человека, не отвечающего моему идеалу, это будет индукция — и только.

На праздниках я, как и в прошлом году, была на балу в мужской гимназии. Так странно, что прошел уже год, а тот вечер вспоминается мне, будто я прочитала о нем в какой-то книге. У меня тогда были плохие отношения с регентом, который у нас имеет большую власть, и я узнала, что меня не пустят на бал за то, что ушла из певчих. Но мне все-таки разрешили, и первую половину вечера, пока шел концерт, я была не в духе, как всегда, когда задевают мое самолюбие. Вы пригласили меня, и мне все думалось: почему Вы именно меня пригласили? Когда мы танцевали венгерку, мне было страшно, что Вы потеряете свое пенсне. Кстати, я так и не знаю, какие у Вас глаза, мне кажется — серые или голубые. У меня почти все танцы были розданы мальчикам, и они обиделись, в особенности один, который думал, что я в него влюблена.

Ужасно надоело в пансионе. Скоро экзамены, хочу сдать хорошо, надо заниматься, тем более что я думаю о курсах, к которым совершенно не подготовлена. Но времени совершенно нет! Надеялась почитать на страстной и на пасхе — каждый день служба, да еще два раза, очень утомляюсь.

Еще я должна сказать Вам, Костя, что Вы совершенно не понимаете моих писем. Вы считаете меня наивной пансионеркой, которая навязывается со своей дружбой, увидевшись с мальчиком (хотите — юношей) единственный раз. В этом я почти уверена, потому что иначе Вы не отвечали бы в такой общей форме на мои вопросы.

Е. Тураева.

23.III.11. Пермь.

Костя, что с Вами, Вы так долго не пишете! Я уже все передумала: не больны ли Вы? Может, не находите интересным со мной переписываться?

Этот год у меня удивительно гадкое настроение: ничего не читаю, не учусь. Начальница опять начала придираться, да и классная дама, которую я так любила и которая ко мне относилась очень хорошо. Лишили медали, сбавив из-за поведения. В отпуск не хожу — все наказана. Голова тоже совершенно пустая. Жду не дождусь, когда кончу.

26.VI.11.

Благодарю Вас, Костя, за письмо. Теперь я живу на Воткинском заводе. Сюда перевели полк, в котором служит отец. Мой адрес: командиру второй роты Тураеву для Елизаветы Николаевны. Я кончила с золотой медалью, и начальница при прощании сказала, что простила меня ради моей доброй души,— не знаю уж, чем я эту доброту показала. О будущем пока ничего сказать не могу, так как папа не может меня содержать в Симбирске. Таким образом, я прежде должна найти уроки и тогда, может быть, смогу учиться в восьмом классе гимназии в Симбирске, а там уж мне будет легче ехать в Петербург. Воткинский завод — захолустье, каких мало, даже библиотеки нет, а об интеллигентных людях и говорить нечего. Я здесь очень скучаю. Мы живем довольно далеко от центра, где находится красивый пруд, и его плотина служит местом для гуляний, а по жаре, которая спадает только к десяти часам, нет никакой охоты ходить. Вы ведь тоже думаете о Петербурге. Поедете ли туда и когда? Вы еще не ответили на мои вопросы, хотя знаете, что я буду откровенно отвечать на Ваши. Я вообще откровенна и люблю такое же отношение к себе. Предугадываю Ваши мысли: «Боже, какая наивность, сентиментальность». Верно ведь? Но только это совсем не так. Я просто руковожусь одним: «мне хочется», и почему же этому не быть, ведь я, конечно, уважаю и чужую волю!

Сейчас читаю «Цепи» Ожешко. И думаю, что замужество действительно не что иное, как цепи, особенно для женщины. Я ужасно жалею замужних женщин, конечно молодых. Вся их личная жизнь потеряна, и это — общая судьба почти, за редким исключением. Я стою против брака, интересно, как вы?

Посылаю Вам свою фотографию. Правильно ли я угадала, что у Вас глаза серые? У меня — неопределенного цвета: иногда зеленые, а иногда серые, за что в пансионе меня звали «русалкой» и «Ундиной».

Не знаю, как Вы разбираете мой отвратительный почерк. Если судить по Вашему, мы — полная противоположность.

Костя, будьте со мной откровенны, забудьте, что я — барышня. Ваша сдержанность, скрытность не позволяют и мне вполне довериться Вам.

Лиза.

К этому письму была приложена фотография институтки в белом переднике, с белой пелеринкой на плечах. Черный бант поддерживал пышно уложенную груду волос. Лицо было доверчивое, с большим красивым ртом и широко открытыми улыбающимися глазами. «Косте Карновскому,— было написано на обороте фотографии,— на память о нашей оригинальной дружбе».

На почтовой бумаге были оттиснуты цветные заставки: на одних письмах — Петрушка, погоняющий черта, на других — мышки, оседлавшие рыжего зеленоглазого кота. Адрес выглядел старомодно-забавно: «Казань. Продолженье второй горы, дом Аверьянова. Его высокородию г. Карновскому». Здесь и там попадались засушенные цветы в самодельных конвертах из прозрачной бумаги.

1.IX.11. Сарапул.

Большое спасибо, друг, за Ваше письмо. Действительно, немало воды утекло с тех пор, как мы стали переписываться. Смешно вспоминать, как наивна я была в пансионе! Только теперь я начинаю знакомиться с жизнью, и нельзя сказать, что она встречает меня с цветами. Я хотела кончить восьмой класс в Симбирске, собралась туда, оставалось в буквальном смысле надеть пальто и шляпу, как получаю вдруг телеграмму, что нет ни одной свободной вакансии. Пришлось остаться и кончать восьмой класс в Сарапуле. А как здесь я скучаю! Все одна! Совершенно не с кем поговорить по душам! Сколько сомнений! Невозможно было больше жить надеждами, мечтой о будущем. И вот я поступила в рисовальную школу. Плата недорогая, но все же пришлось взять еще один урок. Я стараюсь скопить хоть немного денег, потому что очень мучаюсь своей зависимостью от родителей и знаю, что она будет особенно тяжела в Петербурге. Вы, Костя, жалуетесь на разобщенность студентов. А по-моему, и не может быть единения, когда нет большого общего дела. Впрочем, дело-то есть, да все понимают его по-разному. По-моему, идеальное общение может быть только в критические

моменты. А в спокойное время студенты должны жить кружками, которые имеют свои цели. Организация этих кружков, по-моему, зависит всецело от нас самих. Вот и я, например. С каким удовольствием устроила бы здесь свой кружок! Но, к несчастью, это невозможно. Ведь я — гимназистка. А гимназия ставит узкие рамки для самостоятельной мысли. Меня ужасно тяготит гимназия. В пансионе ждала, ждала конца! А тут опять целый год мучиться.

Боже, как хочется жить широко, со смыслом, по своей воле! Читаю Ибсена, перечитываю Белинского, в восторге от того и другого. Спокойной ночи!

23.III.12. Дер. Крюки.

Как давно мы не писали друг другу, Костя! Может быть, у Вас пропало желание переписываться со мной, хотя бы и редко? У меня, как видите, оно еще сохранилось. Мне очень интересны Ваши письма, особенно — когда у Вас появился кружок и журнал. Вы как-то писали, что цель журнала — объединить молодежь. Но это лишь разожгло мое любопытство.

Знаете ли Вы, что я служу в деревне? Мне нужны средства, чтобы учиться. Хотя бы с грошами, но дала себе слово в будущем году поехать в Питер. Может быть, поступлю на Бестужевские. Мне всегда хотелось изучать искусство — у меня порядочные способности к рисованию, но это трудно для меня в материальном отношении. По-прежнему намерена поступить на математический факультет, потому что убеждена, что математика — самый короткий путь к самостоятельному мышлению. На помощь отца я не рассчитываю, мы с ним говорим на разных языках. Словом, силы и желания у меня много, а знаний никаких. И все же я не унываю, все же надеюсь, сама не знаю — на что.

О жизни в деревне я ничуть не жалею. Раньше я не имела о ней никакого понятия, а теперь приобрела опыт, хотя и небольшой. Мир моих понятий расширился в том отношении, что я поняла, до какой степени несчастен и невежествен народ! Пройдут тысячелетия, прежде чем наши усилия (интеллигенции) принесут плоды, а до той поры равенство, по меньшей мере духовное,— невозможно. Интересно, как решаются эти вопросы в Вашем кружке. У меня много знакомых из разных университетов, и живут они, по моим наблюдениям, удивительно безотчетно. Может быть, я неправа?

Где Вы проводите время? В начале июля я собираюсь в Симбирск. Вероятно, заеду в Казань, хотелось бы повидаться. Желаю всех благ, жму руку.

Лиза.

9.V.13. Сарапул.

Очень жаль, что Вы не получили моего письма осенью, Костя: мы могли бы тогда переписываться, а то я так скучала в деревне без писем. Теперь вернулась в Сарапул, экзамены кончились рано, и вот

уже неделя, как я брожу без дела, если не считать рисования, которым я занималась, кстати сказать, и в деревне.

Осенью еду на курсы в Питер. Пока решила поступить на Бестужевские, на математическое отделение. А потом, может быть, перейду на архитектурные, то есть на последние мне как раз и хочется. Но я боюсь потерять время попусту, так как совершенно ничего не знаю об архитектурных курсах. Многое я загадываю на будущее, суждено ли выполнить?

Цель Вашего кружка мне очень симпатична. Как бы я хотела быть его членом! Я Вам писала, что хотела основать кружок здесь, но мне не удалось. Главным препятствием были домашние обстоятельства. У нас с папой совершенно различные взгляды. Да и в гимназии ко мне относились очень недоверчиво. (Здесь гимназистки в высшей степени неразвиты.) А когда я приобрела их доверие, было уже поздно. Тогда я решила посвятить этот год рисованию. Очень жаль, что приходится учиться ему урывками. Кажется, у меня есть способности и вообще любовь к искусству. Какое искусство Вы предпочитаете?

Времени, прожитого в деревне, я не жалею: я приобрела опыт и знание деревни, хотя и небольшое. Раньше я не имела о ней ни малейшего понятия.

Читала я порядочно, хотя подбор книг был скверный, вернее — его не было, так как город — далеко и книги доставались с трудом. Все же удалось добыть «Записки революционера» Кропоткина, «Портрет Дориана Грея» Уайльда и Амфитеатрова, который, по-моему, интересно разобрал положение античного раба. Читали ли Вы? Если — да, напишите мне Ваш вывод.

25.VIII.1913. Казанская железная дорога.

Ну, Костя, должна признаться, что Вы не просто удивили, Вы поразили меня. Ведь читая Ваши редкие, сдержанные, чтобы не сказать — холодные, письма, я все думала — куда же девался тот любезный, разговорчивый студент, который весь вечер танцевал со мной и старался угадать каждое мое желание? Когда Вы показывали мне галеру, на которой Екатерина Вторая путешествовала по Волге, я подумала, что она позавидовала бы приему, который Вы устроили мне в Казани. Это шутка, Костя, но откровенно скажу, я была глубоко тронута, когда оказалось, что Вы отменили все уроки и университет и подарили мне чудесный день с самого утра до ночи.

Мне вспоминается Зилантов монастырь, когда мы карабкались по горке. Вы рассказывали, что в одной из пещер, по преданию, жил когда-то крылатый змей Зилант, и так смешно вдруг изобразили его, что я чуть не упала на землю от смеха. А этот в соборе серебряный ковш с надписью, которую Вы объявили своей жизненной программой: «Пивше возвеселимся и любовью усладимся и вовеки тоя не лишимся»,— видите, я запомнила наизусть!

Ваш друг Лавров очень понравился мне, я даже представила себе, что в такого человека можно влюбиться. Неужели он действительно так строго судит о Вас? В его шутках мне показался оттенок серьезности.

Словом, спасибо, спасибо Вам, милый Костик! Сразу же по приезде в Петербург я напишу Вам о своих впечатлениях, как устроилась, что на курсах и вообще обо всем и буду с нетерпением ждать ответа. Мне и прежде была дорога Ваша дружба, а теперь стала еще дороже. Право, мне кажется, что в моей жизни не было более прекрасного дня.

Лиза.

Казань. 1913

День, который Лиза провела в Казани, был проникнут ощущением конца одной жизни, пансионской, гимназической, и начала другой, самостоятельной, которая вся еще была впереди.

У Лизы и прежде были свидания. Она тайком убегала из пансиона на набережную Камы, где ее по вечерам ждал один гимназист, в которого, ей казалось, она была влюблена. В Сарапуле за ней ухаживал подпоручик, привозивший ей письма и деньги от отца, служившего в пехотном полку, который стоял в Воткинском заводе. Но приезд в Казань был не просто свиданием, а событием, которое она давно и с нетерпением ждала. Событием была и тайна свидания: никто из родных не знал, что по дороге в Петербург она собирается остановиться в Казани.

На пристани Лиза не сразу узнала Карновского: после бала у нее осталось другое впечатление о нем, а на фотографии, которую он прислал зимой,— еще какое-то третье. Теперь все определилось. Он был белокурый, выше среднего роста, пожалуй что и красивый в своей новенькой тужурке и отглаженной сатиновой косоворотке. Светло-синее пенсне он носил, как подумала Лиза, потому, что носить пенсне было модно. Он изменился за два года, в Перми он был какой-то бело-румяный — «точно ангел на рождественской елке», вспоминая о нем, думала Лиза. Но в развороте широких плеч, в красивых белых зубах, в твердой мужской уверенности, с которой он поклонился и заговорил улыбаясь, не было ничего ангельского, а было то, что заставляло постоянно думать о нем и с нетерпением ждать его писем.

Это совсем не значило (как полагала Лиза), что она была влюблена. У них была интересная серьезная переписка, они были друзьями, и чувство, что у нее есть друг, студент-математик, умный, начитанный и, по-видимому, дороживший их отношениями, поднимало ее в собственных глазах.

Она волновалась, подъезжая к Казани, придумывала, как ей держать себя, и решила, что сдержанно, в духе его коротких, сдержанных писем. Но уже в первые минуты встречи эта придуманная манера как-то забылась, может быть потому, что Костя оказался обыкновеннее, чем она ожидала. И ей сейчас же стала нравиться эта обыкновенность. Было решено, что Карновский проводит ее в гостиницу, а потом, после урока, вернется и покажет Казань.

— Смотреть-то в общем нечего,— сказал он.— Но у меня есть старинный путеводитель, забавный. Мы будем читать его и смотреть.

Он оставил ее в номерах Бонарцева на Черном Озере, и Лиза немного огорчилась, когда часа через два он вернулся не один: за ним лениво плелся студентик в бесформенных штанах и потертой тужурке.

— Лиза, познакомьтесь. Великий математик и мой друг Коля Лавров.

У Лаврова был остренький нос и прищуренные умные глазки. Он снял фуражку с выцветшим синим околышем и подал Лизе маленькую руку.

— Мадемуазель, я не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с вами. Дело в том, что только два человека в мире могли заставить нашего пунктуалиста не пойти на лекцию профессора Маврина и отменить уроки.

— В самом деле? Кто же это?

— Вы и лейтенант Глан.

— Кто такой лейтенант Глан?

— Стыдитесь! Вы не читали гамсуновского «Пана»? Глан — человек со звериным взглядом, который один живет в лесу и не знает, что он сделает в следующую минуту. Костя, сними пенсне.

Карновский улыбнулся и, сняв пенсне, протер его носовым платком. Глаза были серые, большие, блестящие и немного растерянные, как у всех близоруких.

— Опасный человек,— серьезно сказал Лавров.— Вы его интересуете, а человечество — нет. В пьяном виде он гладит морды извозчичьим лошадям и пристает к прохожим. Засим — прощайте. Надеюсь, что столичный город Санкт-Петербург не обманет ваших ожиданий.

И он ушел.

— Умнейшая голова, надежда факультета,— сказал Карновский.— Вы понравились ему.

— Правда? Я рада.

Не было снега, поблескивающего под луной, город был другой, незнакомый. Не было морозной ночной тишины, неожиданной после бала с его надушенным жарким воздухом, с лентами серпантина, которыми швыряли в нее раздосадованные гимназисты. Не было чувства риска, веселой уверенности, что завтра ей непременно влетит.

Но все это было, было! При свете дня в осенней, шумной, оживленной Казани!

На Сенном рынке Константин Павлович купил ей вышитую бисером тюбетейку с кисточкой, она сразу же надела ее, и он притворно испугался, что сейчас она исчезнет, как пушкинская Людмила.

— Что вы стали бы делать?

— Пошел бы в ближайшую полицейскую часть и сообщил, что пропала Елизавета Тураева, абитуриентка, восемнадцати лет.

Уходя с базара, он купил ей еще и хорошенькие татарские туфли, бархатные, украшенные золотой канителью, и в Державинском саду, испугавшись, что они ей не впору, предложил примерить. Туфли оказались впору, он объявил, что в тюбетейке и туфлях Лиза похожа на царицу Сююмбике, и тут же разыграл старого, сгорбленного визиря с трясущейся головой, который показывает Казань капризной царице.

— А вот и путеводитель времен казанского ханства.

И Карновский стал вслух читать советы «всем путешествующим от Твери до Астрахани на пароходе общества «Самолет»: «В Казани есть множество гостиниц и номеров для приезжающих, но мы не беремся хвалить первые: лучшая из них, «Одесса», все же уступает номерам купчихи Христофоровой».

Кремль был белый, раскинувшийся, но стройный. На толстых стенах были построены другие, тонкие, с бойницами, круто срезанными книзу, с башнями, точно прикрытыми громадными круглыми монашескими шапками.

Крепость стояла на горе, с которой была видна узенькая Казанка. По речке плыли грязные доски. У стен кое-где лежали ядра, и Карновский сказал, что гимназистки перед экзаменами приходят в кремль, чтобы целовать эти ядра,— хорошая примета!

— Ядра целуют? А у нас в Перми ходили за благословеньем к одной тетке, торговавшей бубликами.

Остановились у башни царицы Сююмбике, и Лиза удивилась — башня была громадная, семиярусная, с высокой сквозной аркой, прорезавшей первый этаж. Издали она казалась стройной красной иглой. В овале арки сохранилась изящная железная инкрустация, и, когда Лиза залюбовалась ею, Карновский сказал, что и теперь под Казанью есть деревни, где выделываются металлические украшения, нисколько не уступающие этой решетке.

— Подумайте, как интересно! — И он прочитал: — «Казанские татары утверждали, что в яблоке на башенном шпиле хранятся какие-то таинственные, важные для них бумаги, но это мнение оказалось ложным. В 1830 году этот шар по приказанию министра внутренних дел был снят, осмотрен, и мечта татарская разрушилась: он оказался пустой и сделан из латуни».

Они пошли в ресторан Панаевского сада, выбрали удобный столик. Карновский протянул Лизе карточку и, когда она стала выбирать что-нибудь подешевле, заказал мазар-жульен-ромэн. Они остались голодными после этого загадочного блюда, и Карновский велел подать подовые пироги.

— Жаль, что Коля ушел. Вопреки своей тощей комплекции, он эти пироги гутирует с азартом,— сказал он смеясь, и Лиза вдруг поняла, зачем Костя привел к ней Лаврова: «Боже мой, да как же я не догадалась! Он хотел показать мне своего друга. И эту новую тужурку, которую он, наверно, носит редко, он надел для меня! И то, что он так старается быть занимательным, веселым. Да и не старается вовсе, а просто ему весело, что мы встретились, и хочется, чтобы я узнала его».

— А ведь подруги недаром прозвали вас Ундиной,— откровенно любуясь ею, сказал Карновский.— У вас действительно глаза то серые, то зеленые. Ну, рассказывайте, милая Ундина.

— О чем?

— О себе, разумеется. Ведь, несмотря на нашу переписку, я почти ничего о вас не знаю.

— Что же рассказывать? Полковая семья, и почему-то другие полки годами стоят в одном городе, а отцовский переводят и переводят, так что я жила и в Саратове, и в Перми, и в Симбирске. Поэтому меня и отдали в пансион. Мама умерла, когда я родилась, отец женился снова, и мачеха...— Она замялась.— Он — добрый, мягкий человек, все его любят, а она властная, подозрительная, ее боятся и обманывают. Я-то не боюсь, а у сестры — забитый вид, и я очень рада, что ее тоже скоро отдадут в пансион. Есть у меня еще брат, и мы с ним дружны, меня только огорчает, что он тоже хочет стать офицером. Ну, что еще? Все. Теперь вы.

— Я? Загадочная личность. Последователь Смайлса.

— А кто такой Смайлс?

— Был такой философ, который трогательно заботился о человечестве. Книги его называются: «Бережливость», «Самостоятельность», «Характер», «Долг». В конечном счете все сводится к тому, что в каждом человеке сидит английский клерк в котелке, с зонтиком, и если вытащить его оттуда на свет божий, все пойдет как по маслу.

— Вы смеетесь?

— Не совсем.

— Надо будет прочитать. Родные всегда упрекают меня за небережливость.

— Уснете на первой же странице. Я ведь его читал, потому что стремился существовать не как-нибудь, а сознательно, согласно теории. Причем теорий было много. Одна из них, например, заключалась в том, что можно прожить, питаясь по-китайски — только рисом. Потом я прибавил к рису хлеб и все равно за год почти потерял зрение, так и остался на всю жизнь близоруким. Мне было тогда шестнадцать лет. Была и другая теория. Но рассказывать вам о ней мне не хочется. Вы еще маленькая и не поймете.

— Расскажите.

— Любовь, согласно этой теории, есть нечто прямо противоположное так называемому «семейному очагу». Я понял это, насмотревшись на семейную жизнь старшего брата.

Какой-то господин в чесучовом костюме, в канотье, поигрывая тростью, прошел мимо них, скользнув наглым взглядом,— и Карновский сказал, что это филер, которого недавно студенты избили в трактире.

— А кто такой филер?

— Это сыщик, Лизочка, сыщик,— поучительно сказал Карновский.

— Я тоже против брака,— сказала Лиза.— Но я люблю детей. А детей, согласно вашей теории, должен приносить аист.

— Ого! — смеясь, сказал Карновский.— Ого! Иметь детей, Лизочка,— это в наше время преступление.

— Почему?

— Потому что они еще до своего рождения обречены на ложь, произвол и бесправие.

— Вы неправы,— подумав, сказала Лиза.— То есть, может быть, и обречены, но все равно эта теория — эгоистическая и если бы мне пришла в голову такая теория, я бы, не теряя ни одной минуты, повесила себе камень на шею и бросилась в Волгу. Вы любите Волгу?

— Очень.

— Значит, вы все-таки способны любить?

— Не знаю. Кажется, да.

— Не помню, где я читала статью о Сапунове, знаете, был такой известный художник. Он утонул. Это была удивительная статья. Автор доказывал, что Сапунов утонул потому, что его душа была родственна стихии воды. Он упоминал еще кого-то. Кто еще утонул? Кажется, Писарев?

— Да.

— Ну вот, иногда мне кажется, что у меня тоже такая душа. Только я родственна не всякой воде, а именно Волге. Если я когда-нибудь утоплюсь, так непременно в Волге.

13.IX.13. С.-Петербург.

Наконец-то я Вам пишу, Костя. Не знаю, с чего начать,— так много впечатлений! Телеграмму Шуре (не знаю, писала ли я Вам о ней, это моя лучшая подруга) я не дала, потому что нового адреса не знала. Номеров свободных поблизости от вокзала не оказалось, я осталась между небом и землей, и мою участь разделила еще одна симпатичная курсистка. Через некоторое время к этой курсистке подходит, вижу, какая-то энергичная барышня и предлагает такую комбинацию: без мужчин нас нигде не пустят, поэтому она сейчас обратится к своим знакомым на вокзале, и все устроится наилучшим образом — для нас и для них. Мы ее любезно поблагодарили, но отказались. В конце концов жандармский начальник принял в нас участие, отправив в Общество защиты женщин. Переночевали там, заплатив пять копеек. Наконец на другой день разыскала Шуру.

На курсах мои занятия начались только девятого. Я выбрала отделение физики и астрономии и, чтобы не терять времени, хожу на лекции профессоров других факультетов. Слушала Платона — очень нравится. Знаете, Костя, что меня поражает? Мое равнодушие. Не отсутствие интереса, а странное впечатление, что все это уже было когда-то: я шла вдоль этих огромных зданий, высокие черные кареты обгоняли меня, и даже этот стук копыт о деревянную мостовую смутно помнится мне — точно я слышала его во сне или в своей предшествующей жизни. Как тут не поверить в переселение душ? Это чувство у меня с первых минут в Петербурге.

Костя, приезжайте на рождество. Я буду очень, очень рада. Конечно, Вы не вспоминаете обо мне? Это нехорошо. Шлю Вам мой искренний, сердечный привет.

2.X.13.

Милый Костя, спасибо за дружеское письмо. Я тотчас же принялась за ответ, написала его и изорвала. Вспомнила полученный недавно от нового знакомого (очень умного человека) урок: не нужно навязываться другим со своими настроениями. Напишу Вам поэтому о своей студенческой жизни. Хожу на курсы, слушаю лекции, усердно занимаюсь тригонометрией и алгеброй; после праздников думаю сдавать. Английский подвигается туго. Встретила компанию студентов и, конечно, курсисток, но мне они не очень нравятся. Хорошие, честные и симпатичные, но очень уж узки их интересы. И в этом отношении Вы не выходите у меня из ума.

Помимо курсовых слушаю лекции на насущные темы. Например, Сперанского «Победители жизни». Говорит он красиво, но как-то пусто. Я попыталась пересказать его лекцию Шуре — а кончилось тем, что мы обе стали хохотать до упаду.

Кстати сказать, с нами случилась неприятная история: мы не могли своевременно заплатить за комнату, хозяйка отказала, и пришлось бегать по всему городу. Найти комнату в Питере — каторга. Бегали дня четыре, наконец устроились. Мой адрес: В. О., 15-я линия, д. 70, кв. 19.

Для отдыха я ходила по театрам с одним сарапульским знакомым. Видела в Александринке «Доходное место» с Варламовым и Стрельской, а в Мариинке — «Евгения Онегина» со Смирновым, Касторским и Славиной, оркестром дирижировал сам Направник!

Я была в восторге — в особенности от Смирнова и оркестра.

Заинтересована и возмущена делом Бейлиса. Курсы на завтра объявили забастовку. Послали защитнику приветственную телеграмму. В университете тоже волнуются и в других учебных заведениях, вообще все принимают горячее участие в этом деле. С нетерпением ждем решения. Поистине ужасное обвинение бросается целому народу в лицо. Отвратительный процесс, с бесстыдным цинизмом ведется дело!

Милый Костя, не забывайте меня и, очень, очень прошу, чаще пишите. Шура шлет Вам привет.

14.XI.13.

Милый, хороший Костя, спасибо за Ваше прелестное письмо. Скорее, скорее бы святки! Как бы мне хотелось, чтобы вы сейчас были со мною. Я не умею выразить на бумаге то, что могла бы сказать, если бы Вы были сейчас со мною.

Хожу на лекции и огорчаюсь: сколько пробелов в моем подготовительном образовании! Слушаю анализ и почти ничего не понимаю. Оказывается, я еще так мало знаю из алгебры. Теперь я вижу, что интерес к искусству помешал мне серьезно подготовиться к математическому факультету. И продолжает мешать. Вот сейчас, например, я запоем читаю «Эллинскую культуру» Баумгартена. Да и не следовало бы слушательнице математического факультета бродить часами по Эрмитажу в почти идиотическом наслаждении.

С.-Петербург.

Костя, я была в Москве. Моя тетя (сестра отца), не видевшая меня с детских лет, вдруг пожелала встретиться. Она работает в Лиге борьбы с туберкулезом, но интересуется, как и я, искусством. В годах, но еще живая, энергичная, и не я, а она затаскала меня по Москве. С нами был ее друг Иван Иванович Реутов, преподаватель Строгановского училища, знаток искусства. Мы были в храме Христа Спасителя, в Кремле, в церкви Василия Блаженного и в первом этаже Третьяковской галереи (второй, к сожалению, ремонтируется). Видела Верещагина, который мне не очень понравился, может быть, потому, что он больше говорит уму, чем сердцу. Зато от Левитана и Борисова-Мусатова положительно не могла оторваться. «Призраки» последнего напомнили мне мои сны — не помню, писала ли я Вам, что вижу сны так часто, что даже удивляюсь иногда, если ночь проходит без снов? Перед картиной, которая мне нравится, я как бы раздваиваюсь — знакомо ли Вам это чувство? Чтобы глубоко почувствовать настроение картины, мне надо взглянуть на нее глазами моего двойника. И когда это удается, я испытываю даже перед грустными произведениями чувство непонятного счастья. К этому чувству присоединяется удивление: почему в двух шагах от левитановского «Вечернего звона» видишь только грубые мазки, а в десяти или пятнадцати картина складывается так гармонично? Ведь мне казалось даже, что я слышу звон колоколов, доносящийся откуда-то издалека. Я не смотрела других художников, берегла впечатление, а вечером пошла на диспут о живописи, который в Политехническом институте устроила группа «Бубновый валет». Боже мой! Никогда в жизни еще не приходилось мне в один и тот же день испытывать такие противоположные впечатления. Попасть было почти невозможно, но тете удалось достать билеты с помощью Реутова, и, пробравшись через огромную толпу студентов, громко споривших с городовым, мы заняли свои места на хорах.

Вечер открылся докладом Кульбина, о котором тетя сказала, что ему, как врачу и статскому советнику, стыдно в сорок четыре года гоняться за модой. Кульбин сравнивал Скрябина с Пикассо(!) — и доказывал, что искусство должно развиваться «спиралеобразно». Потом художник Бурлюк — неуклюжий, в длинном пиджаке — объявил, что Рафаэль и Веласкес — мещане духа и что им удавалось притворяться художниками только потому, что в те времена еще не была изобретена фотография. В этом месте тетя от негодования потеряла пенсне, и, пока мы его искали, Бурлюк успел разделаться с Элладой IV века и эпохой Возрождения. Иронические возгласы слышались время от времени, но в общем публика не очень сердилась. Но когда Бурлюк стал показывать на экране репродукции с «левых» картин, в зале началось бог знает что — шум, свист, мяуканье, топот. Тетя тоже разве что не мяукала. И действительно, картины — если можно так назвать бесформенные груды черно-белых кубиков или лошадиные морды, едва угадывающиеся среди каких-то крыш,— производят отталкивающее впечатление. Шум еще продолжался, когда на кафедре появилась стройная женщина лет двадцати семи, в черном,

строгом платье, с гладко причесанными волосами,— и наступила тишина, потому что сразу стало видно, что она дождется тишины, как бы долго ни пришлось дожидаться. «Среди картин, которые показал здесь Давид Бурлюк, две принадлежат мне. Но это грубая подтасовка, против которой я, Наталия Гончарова, решительно протестую. Группа, к которой я принадлежу, называется «Ослиный хвост».— Она терпеливо переждала общий смех и повторила ясным голосом: — «Ослиный хвост». И наша группа не имеет ничего общего с «Бубновым валетом». К сожалению, тетя, которая так волновалась, что чуть не упала с хоров в амфитеатр, помешала мне внимательно выслушать Гончарову. Между тем в том, что она говорила, попадались здравые мысли: «Художник должен твердо знать, что он изображает, а уже потом искать для своего замысла определенную форму». Тут же она сравнила произведения кубистов с каменными бабами, что, по-моему, вздор, хотя бы потому, что нельзя безоговорочно сравнивать живопись и скульптуру. Но сама она мне очень понравилась. Более того, мне вдруг смертельно захотелось быть такой, как она,— серьезной, строгой и мужественно-убежденной. Я позавидовала ее внешности, впервые в жизни рассердившись на свои длинные ноги.

(Письмо не датировано)

22.XI.13. С.-Петербург.

Милый Костик, зачем Вы не здесь? У меня очень тяжело на душе. Зачем я живу? Из любопытства? Я слишком ясно вижу безотчетность в собственных действиях, чтобы уйти от этого вопроса. Вот почему моя мысль все чаще останавливается на Вас. Я верю, что Вы живете сознательно, осмысленно, презирая мелкие цели, не ища, как я, оправдания. Значит ли это, что Вы нашли себя? Или — и не искали? Но можно ли найти себя без поисков и, следовательно, без участия сердца? Мое письмо, должно быть, покажется Вам смешным. Я так боюсь этого, что уже готова была разорвать его, но вот видите — снова слабость. Не разорвала.

Очень внимательно слежу за делом Бейлиса. У нас на курсах — общее возмущение. У меня много знакомых среди студентов юридического факультета, и там по поводу этого процесса бесконечные противоречивые разговоры.

Если бы Вы знали, Костик, как я Вас жду.

Вокруг меня нет никого, кто помог бы мне рассеять мои сомнения. Единственный человек, перед которым, как это ни трудно, я готова сознаться в своей несамостоятельности,— это Вы. Право, мне кажется, что я отдала бы несколько лет своей жизни, только чтобы поговорить с Вами. Год за час! Скорее бы рождество!

Только жаль, что Вы так мало пробудете в Петербурге. Зачем так много времени для Москвы? Ведь Вы там уже были. Где Вы намерены остановиться? Если в номерах, то я советую лучше снять комнату на неделю. Это дешевле.

15.XII.13. С.-Петербург.

Костя, я Вам устроила комнату в том же доме, где и я. За неделю с Вас возьмут 3 рубля (с самоварами). Я не знаю, может быть, это дорого для Вас, и тогда я буду искать другую, но мне кажется, что это недорого, и хозяйка прекрасная. Так вот, скорее отвечайте. А главное, напишите, какой суммой Вы располагаете для театров? Я думаю, что Вы ничего не будете иметь против самых дешевых мест? Репертуар я еще не знаю, но напишите, куда Вам больше хочется: в оперу, в драматические? Скорей бы рождество!

2.I.1914. С.-Петербург.

Мой дорогой, Вам это покажется странным, но я ищу в себе душевные перемены после того, что произошло между нами,— и не нахожу, не сердитесь на меня за откровенность. Я даже смотрелась на себя в зеркало, прямо в глаза долго-долго, до дурноты. Нет, такая же!

Конечно, после Вашего отъезда я то и дело перебираю в памяти наши встречи,— может быть, это одно доказывает, что во мне что-то переменилось. Но ведь я раньше скучала без Вас, например в деревне, когда я так долго ждала ответа на свое письмо, а гордость не позволила написать снова. Но тогда я просто скучала, а теперь еще и сержусь на себя, ругаю себя, даже плачу от злости. Конечно, Вам и в голову не придет — почему. Потому что я ничего не успела сказать Вам, а хотелось сказать так много! Мне необходимо было поделиться с Вами своими сомнениями, надеждами и желаниями, а Вам, кажется, только желаниями — или я ошибаюсь? Я знаю, что Вы живете сознательно, не мечетесь (внутренне) из стороны в сторону, как я. В каждом Вашем поступке чувствуется какой-то отсчет — недаром же Вы математик,— и, хотя я сержусь на это «тик-так», мне давно стало ясно, что Вы решились не шутить с жизнью, а победить ее, раз уж судьба Вам ее подарила. А я живу, как большинство, преследуя мелкие цели, изо дня в день, безотчетно. Ведь это, в сущности, нечестно — если не перед другими, так перед собой. «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце»,— говорит Бальмонт. Но красота жизни — в ее осмысленности, и не солнце у меня перед глазами, а мрак и горе.

Я не умею логично выражать свои мысли, и это письмо может показаться Вам наивным. Но ведь ближе Вас у меня теперь нет человека.

Ну, полно! Всего не выскажешь, да, может быть, и не надо.

Посылаю Вам свою физиономию. Должно быть, на ней отразились мои роковые вопросы, иначе почему бы у меня был такой страдающий вид? Пишите мне, дорогой. Скорее и больше, больше.

Шура торопилась, ехала курьерским и все-таки не застала Вас — очень обижена, находит Вас неделикатным, но по доброте сердца все-таки шлет привет.

Как-то случилось, что я еще ничего Вам о ней не рассказала. Она — крепенькая, хорошенькая и отнюдь не забывающая об этом,

особенно в обществе мужчин. В ее внешности есть что-то наивно-ангельское и совершенно не соответствующее действительности, потому что она — барышня вполне земная, деятельная и, в противоположность некой Лизе Тураевой, менее всего склонна к рефлексии (в смысле самонаблюдения). Я ее люблю, во-первых, за то, что она меня любит. А во-вторых, за то, что могу, не опасаясь сплетен, рассказывать ей о Вас.

21.I.14. С.-Петербург.

Милый Костя, два дня я лежала в постели, простудилась на дежурстве за билетами в Народный дом — я снова была там на «Ромео и Джульетте». Боюсь, что мне придется уехать из Петербурга. Папа вышел в отставку по болезни, домашние дела — плохи. Я должна помогать, значит — служить. Будьте добры справиться в земской управе, не найдется ли свободного места для учительницы? Нет ли у Вас на примете какого-нибудь урока? Пусть это будет между нами, так как я надеюсь, что все еще устроится.

Костик, пишите мне чаще, я так жду Ваших писем. О себе, о Ваших делах, о новом кружке. Мне интересно все, что касается Вас.

1.II.14.

Дорогой мой, отгадайте, откуда я Вам пишу? Из Ялты! Удивлены? Только что приехала и сижу в прекрасной гостинице. Но не очень-то радуйтесь за меня. Я чувствую себя отвратительно, гадко.

Помните, я писала, что мне предлагают стипендию? Этот господин — его фамилия Карманов — зашел ко мне в тот день, когда у меня был врач, который сказал, что у меня легкие нездоровы. И Карманов предложил мне не только стипендию (на учение), разумеется, заимообразно, но также и поездку на месяц в Ялту. Меня, правда, немного смутило, что ему тоже надо было зачем-то в Крым. Но человек он семейный, всегда был по отношению ко мне корректен, и, хотя я знала, что нравлюсь ему, однако не имела основания не верить в его благородство. Папа позволил мне ехать, и вообще о моей поездке многие знали. И вот в поезде этот господин вдруг сделал мне формальное глупое предложение, на которое я ответила, что, если он прикоснется ко мне (мы ехали в одном купе), я плюну ему в физиономию. Он перешел в другое купе, и больше я его не видела. О стипендии теперь нечего и говорить, хотя известная сумма уже затрачена. Я ему, конечно, выплачу, когда стану служить. Сижу сейчас без копейки, далеко от Питера, нездорова. Но уехать нельзя, потому что я не хочу, чтобы папа узнал об этой истории.

От Севастополя до Ялты ехали на автомобиле. Хотя и была скверная погода, холодно и снег, все же я любовалась природой, о прелести которой сейчас не в силах писать. Прошу Вас, сожгите это письмо. Не хочу, чтобы оно впоследствии было свидетелем моего несчастья. Я верю, что все перемелется, как-нибудь устроюсь, поищу уроки. А пока — напишите мне, дорогой, чтобы хоть немного успокоить меня.

13.II.14. Ялта.

Мой милый, мой нежный друг, спасибо за Ваше сочувствие, но Вы совершенно напрасно послали мне деньги. Они, без сомнения, Вам самому нужны, а я всегда сумею достать и даже, кажется, уже и достала. Мои дела обстоят так. Я устроилась в комнате у одной интеллигентной старушки. Она — вдова члена ялтинской городской управы. Вместе с Чеховым принимала участие в постройке санатория «Яузлар» и в сборе средств. На столе у нее стоит известная фотография Чехова в пальто, с палкой, с собаками. Автограф — «Милейшей Ольге Александровне от А. П. Чехова». Очень умная и культурная женщина лет пятидесяти пяти, всеми уважаемая. Уже получила маленький урок — занимаюсь с гимназистом немецким языком по 1 рублю в час два раза в неделю и надеюсь получить еще несколько уроков, которые оплачиваются здесь прекрасно. Доктор нашел у меня «жесткий выдох в правом легком» и сказал, что я хорошо сделала, приехав сюда. Не знаю, что будет. Пока я чувствую себя прекрасно.

Вы представить себе не можете, как нравится мне море. Серое, хмурое, зеленоватое, всех оттенков, широкое и такое разное всегда. То оно тихо плещет на берег волну за волной, то начинает казаться, что оно сердится на людей за их мелочность и пошлость. А горы — фиолетовые, с белоснежными пятнами на вершинах. Ялту они окружают со всех сторон, оставляя свободной только сторону, обращенную к морю.

Я сижу на берегу подолгу, часами, и забываю обо всем печальном и некрасивом, и думаю, что без красоты человеку нет сил жить. Вам не кажется, Костик, что восприятие красоты — не менее сильный инстинкт, чем доброта и сочувствие к людям? Но я наскучила Вам своей болтовней, а между тем самого главного еще не рассказала. И в Петербурге я боролась с желанием писать, а в Ялте совсем свихнулась и на первые же заработанные деньги купила пастели. Я боялась дороговизны, но удалось найти ящик за четыре рубля. Оттенков маловато даже для начала. Пока я только смотрю на пастели, но на душе почему-то стало полегче. Костик, может ли такое сильное желание соединиться с полным отсутствием таланта? Боюсь, что да. Во всяком случае, я не собираюсь оставлять свою математику. Но я ее люблю, как добрую родственницу, а живопись — как Вас.

Здесь, в Крыму, можно посмотреть только Айвазовского (в Феодосии), и приходится довольствоваться воспоминаниями, которые, к моему удивлению, никуда от меня не ушли. В особенности — Борисов-Мусатов. Как странный, но интересный сон, вспоминается иногда вечер «Бубнового валета», но не картины, в которых я ничего не поняла, а Гончарова, поразившая меня своей прямотой.

Милый, пишите мне больше. Я одна и одна. Часто ли встречаетесь Вы с Лавровым? Боже мой, как я завидую Вам! Если бы у меня был такой друг! Я ревную Вас к нему, а не к таинственной незнакомке, о которой Вы написали с такой дружеской простотой.

Ялта.

Вы неосторожно попросили меня описать Ялту, Костик. Пеняйте же на себя. Письмо будет трехтомное, с прологом и эпилогом.

Пролог

Ялта состоит из татар-проводников, набережной, кинематографов и магазинов. Начало ее истории потерялось бы во мгле веков, если бы не мемориальная доска, висящая на часовне, между Кутузовской и Бульварной. Надпись гласит: «17 сентября 1837 года Его Императорское Величество Николай I, осмотрев с этого места открывавшийся перед ним вид, высочайше повелеть соизволил переименовать деревню Ялту в город Ялту». Таким образом, историки навсегда потеряли возможность утверждать, что Ялта родилась, как Афродита, из пены морского прибоя.

Том первый

Татары-проводники являются прежде всего татарами, а уже потом — проводниками. Они в круглых мохнатых шапках, в бархатных курточках и в щеголеватых лакированных сапогах, причем каждая часть костюма представляет собой произведение искусства. Шапка расшита сверху золотой или серебряной звездой, а курточка во всю ширину груди, до пояса — позументом из серебряной канители. Общее впечатление — черный цвет с серебром. У каждого проводника две лошади, одна для себя, другая — «под амазонку». Держатся они развязно. Я была свидетельницей такой сцены. Проводник ведет коня. Дама в белом костюме сходит с панели и рукой в длинной перчатке гладит коня по крутой лоснящейся шее: «Ах, какой красавец!» Проводник (носатый, статный, с закрученными черными усиками): «А хазаин ешо десать раз лу́чи». Дамы, дорожащие своей репутацией, в горы с проводниками не ездят.

Знаменитая гостиница «Ореанда», принадлежащая какому-то генералу Витмеру, находится на Николаевской, и тут же, если перейти мост, начинается *Набережная*. Вверх налево — детский пляж доктора Лапидуса с тентами и цинковыми ванночками. Женская прислуга — в халатах. Это один из немногих пляжей в Ялте — вообще говоря, купаться с берега запрещено. Но если пройти немного подальше, за дачу бывшего царского повара Кюба́, можно и с берега, как это делают плохо воспитанные люди вроде меня. Это не то что неприлично, а как бы не соответствует духу благопристойности, воплощением которой является знаменитый «мостик» у Александровского сквера. Этот «мостик» выдается в море саженей на десять. На скамейках мужчины в канотье и чесучовых пиджаках читают газеты, а дамы под зонтиками (здесь прячутся от солнца) задумчиво смотрят вдаль. На берегу у «мостика» можно «подышать морем». В плетеных креслах сидят мамы и бабушки, а чистенькие дети в матросках играют в песочек. Здесь даже море (разумеется, в тихую погоду) гордится своим

респектабельным видом. Напротив парадного входа в «Ореанду» находится купальня «Саглык-су» («Чистая вода») и ванное заведение Витмера. Я была в «Саглык-су» и решила больше не ходить. Удобно только, что можно купаться без костюма. В саженях десяти — пятнадцати от берега в море укреплены бочки, от которых канаты протянуты к берегу. По этим канатам, держась за них, можно доплыть до бочки. Большой брезент отгораживает женское отделение от мужского.

Кинематографы. Самый дешевый из них носит загадочное название «Электробиограф Дрона», а самый дорогой — «Одеон». В «Одеоне» я была несколько раз с моими учениками, которых без меня родители не пускают. К сожалению, они тащат меня на «Зигомара» или «Соньку — Золотую Ручку», в то время как мне хочется, как Вы понимаете, посмотреть «Роковую любовь» с участием Максимова и Веры Холодной.

В «Одеоне» билет стоит рубль — существенная причина, по которой мы чаще бываем в «Иллюзионе П. К. Чепати», его мои ученики любят за то, что там в фойе стоит орган, который начинает оглушительно реветь, если бросить в него монетку. Зато, если бросить вторую, на стекле (орган под стеклом) появляется девочка в розовом платье, которая качается на качелях.

После сеанса выступает босоногая Жрица огня, в шароварах, с удавом.

Милый мой, Вам еще не надоело мое трехтомное письмо? Посылаю веточку кипариса и два подснежника. Так хочется быть счастливой.

(Письмо не датировано)

Ялта.

Ах, вот как, милостивый государь, Вы еще не устали от моей болтовни? Признаться, я остановилась перед *магазинами,* потому что редкий мужчина любит бродить по магазинам без дела. Кстати, мужчины (старше 35 лет) непременно ходят здесь с палками, а женщины (очень часто) со стеками. Итак:

Том второй

Магазины. Принадлежат они почему-то больше всего грекам, французам, полякам и немцам (Менье, Калфа, Петри, Металиди, Равве, Пфейфер, Висконти и т. д.), так же как аптеки — евреям.

Есть роскошные, вроде парфюмерии Остроумова в стиле ампир. Я покупаю там мыло, хотя мне хочется купить духи, которые, говорят, не уступают фирме Коти. Одновременно с мылом я получаю (бесплатно) портрет какой-нибудь знаменитой артистки, с печатным автографом, извещающим господ покупателей, что Надежде Комаровской нравятся духи «Японская лилия», а Алисе Коонен — туалетная вода «Вербена».

Что касается моих учеников, то они предпочитают игрушечный магазин «Дело и забава», который они называют «Дева и забава», потому что за прилавком стоит немолодая тихая немка с утиным носом, в зеленом платье и с высокой прической. Мне тоже нравится эта дева, так же как смешанный запах лака, краски и столярного клея, который почему-то производит впечатление уюта. Как известно, магазины вообще различаются по запахам, это относится и к Ялте. В магазине Сарибегова, где продаются кольца и браслеты, пахнет церковной службой, может быть, потому, что кроме мишуры там продаются иконы. В ковровой лавке — пылью, а в магазине Удельного ведомства (подвалов Массандры) — красным вином.

Но довольно о магазинах. Упомяну, впрочем, еще один, да и то потому, что на его витрине выставлен «морской черт», будто бы пойманный в Черном море. Морда у него с бакенбардами, чем-то напоминающая Ибсена, ручки — коротенькие, и рыбий хвост. Длина — аршин. Создан природой в лице владельца магазина. В магазине продаются коробочки из ракушек и пепельницы из рапана.

Кондитерские. Вы равнодушны к сладкому, Костик, а то я описала бы Вам ялтинские кондитерские, поглощающие добрую половину моих скромных доходов. У входа в Александровский сквер кондитер печет вафли прямо на глазах почтеннейшей публики, и нет никакого сомнения в том, что больше нигде в мире нет таких вкусных ванильных трубочек с кремом! Что же сказать о знаменитой кондитерской Флорена? Напротив нее, вдаваясь в море, стоит на сваях поплавок, тоже Флорена, тот самый, который (по слухам) описал Чехов в «Даме с собачкой». Впрочем, Чехов его как-то переименовал, не помню.

За этим поплавком начинается уже другая Ялта: каботажная пристань. Весь берег занят рыбацкими лодками и сетями. Рыбачат главным образом греки. Все свое свободное время я провожу на этой пристани с альбомом, пишу все, что попадается на глаза, и никого это не удивляет.

Большие двухмачтовые парусники стоят у причала, раскачиваясь, и почему-то страшно скрипят, а между ними — маленькие турецкие фелюги. Турки — в чалмах или красных фесках. Подумать только — на своих крошечных суденышках, загруженных по самый борт, они пересекают Черное море! Везут ранние помидоры, лимоны. Приезжают они и на заработки, перекапывают виноградники, бьют камень, мостят дороги. Платят им только золотом, бумажных денег они не берут.

Том третий

Порт. Он состоит из а) мола, б) грузчиков, которые называются здесь «хамалы», и в) Российского общества пароходства и торговли.

Портовый шум сильно отличается от уличных криков, вроде «Чибурик гарачий — и-здэээсь!» (2 копейки штука), или: «Сладкий виноград шашла малага — и-здэээсь!» Тут кричат: «Майна! Вира!

Стоп!», носильщики бегут по трапам, комиссионеры, хватая приезжих за рукава, оглушительно выкрикивают названия своих гостиниц, шипит пар, громыхают вагонетки, которые грузчики катят по рельсам, в пакгаузы, пароходы, отшвартовываясь от мола, издают невероятный, зверски-угрожающий рев.

Хамалы очень живописны. Среди них почему-то много персов или азербайджанцев. На спинах у них подушки, обшитые кожей, как у волжских грузчиков, на которых они удивительно непохожи. Те ходят вразвалочку, эти — бегают. Те разговаривают неторопливо. Эти — взрываются, вращают глазами, и все время кажется, что они так и рвутся зарезать друг друга.

В этом шуме, беготне, суматохе почти невозможно представить себе, что в двух шагах отсюда идет ленивая, респектабельная курортная жизнь.

Не хватит ли? Я ничего не рассказала Вам о прелестном маленьком театре Новикова, в котором я видела братьев Адельгейм («Кин» и «Трильби»), о курзале с хорошей библиотекой, о каштанах, которые пекут возле сквера на набережной в круглых печах, и, наконец, о брандмейстере бароне Меллере, который разъезжает по городу на собственном красном автомобиле.

Жизнь здесь дорогая, особенно во время сезона. Сейчас сезон не начался еще. Я плачу за комнату, обед и ужин 35 рублей, и это еще очень и очень дешево считается. Если не достану еще уроков, придется удирать, потому что потом будет все дороже и дороже.

При всем том я вижу, что так и не рассказала Вам о Ялте, о нежноцветущей глицинии, гроздьями которой увиты многие балконы и веранды, о красновато-сиреневых иудиных деревьях в цвету, о густых фиолетовых тенях от кипарисов, о стенах из тесаного дикого камня, об изящных железных калитках и оградах, за которыми стоят дачи с затейливыми окнами и резными верандами. А воздух, который полон запахом кипарисов и моря!

(Письмо не датировано)

20.IV.1914. Ялта.

Милый друг, я не требую «всесжигающей страсти». Очень вероятно, что я преувеличиваю — нет, не роль, которую Вы играете в моей жизни, а Вас, или, вернее сказать, те черты, которыми Вы отличаетесь от всех моих друзей и знакомых. Это грустно, но я действительно не в силах ни противодействовать своему чувству, ни довольствоваться тем, которое Вы питаете ко мне. Но оставим этот разговор до встречи.

А еще сообщаю Вам, сударь, что Ваша мечта увидеть Крым вполне осуществима. Я говорила с одним местным архитектором о Вас. У него только двое детей — гимназисты четвертого и пятого класса. Если Вы не знаете языка, возьмете латынь и математику. У них дача на самом берегу моря, своя купальня и пляж. Как бы мне хотелось, чтобы Вы приехали! Если, конечно, у Вас нет других, более интересных видов на лето.

Ялта.

На днях еду в Питер и хочу в последний раз написать Вам из Ялты. Такая красота вокруг, а на душе тяжело. Море, поглотив «Титаник» с тремя тысячами жизней, по-прежнему красиво. Что можем мы противопоставить жестокости шопенгауэровской «мировой воли», убивающей людей с помощью голода и болезней? Что такое жизнь и неужели прав Ницше, утверждающий, что «бытие можно оправдать лишь как эстетический феномен»? Думаю, что нет, потому что искусство — это социальное добро, а зло и страдание по самой своей природе не свойственны человеку.

Друг мой, как хочется мне, чтобы Вы приехали в Крым и провели хоть несколько дней со мной! Я знаю, это невозможно: летом Ваша семья не может обойтись без Вашей помощи. Правда? Как это печально.

Может быть, возвращаясь из Питера, я заеду в Казань между пятым и десятым мая. У меня есть дела в Казани. Будет ли у Вас время повидаться со мной?

(Письмо не датировано)

11.V.1914. Петербург.

Сегодня выезжаю Рыбинск. Пароход «Богатырь» будет Казани шестнадцатого. Стосковалась смертельно.

Казань. 1914

По Воскресенской они прошли до университета и клиник, а потом поехали обедать на пароход, который привез Лизу в Казань.

Трамвайные рельсы были проложены по дамбе, соединявшей Волгу и город, пассажиры, входя в вагон, с грохотом откидывали тяжелые спинки кресел — трамвай на конечной станции не делал круг, как в Петербурге, а ходил только по прямой, туда и назад.

Лавров и Карновский спорили, Лиза прислушалась, и ей вдруг захотелось плакать, хотя ее только что интересовал этот спор.

— Разница между нами заключается в том, что ты не можешь прийти в себя от счастья, что дважды два — четыре,— говорил Карновский,— а я намерен воспользоваться этим знанием, причем сознательно, а не так, как это делали пещерные люди.

Лиза не слышала, что ответил Лавров.

— Позволь,— возразил Карновский,— но тогда получается, что счастье вообще не зависит от знания?

— Нет, зависит, хотя об этом стоило бы, может быть, пожалеть. Мир представляет собой хаос,— сказал Лавров.— И мы счастливы, когда удается найти в нем эстетическую закономерность.

Трамвай шел теперь по широкой грязной дороге вдоль Волги. Справа, вдоль бесконечных лабазов и складов, тащились, поднимая пыль, тяжело нагруженные телеги. Слева были магазины, пивные,

номера с крылечками, с лестницами, украшенные резьбой, над фасадами здесь и там, как крылья маленьких мельниц, были завязаны точеные деревянные банты. «Булыгин и сын»,— машинально читала Лиза,— «Номера Восточная Бавария». И без запятой, аршинными буквами: «Пивная лавка распивочно и навынос».

На пристани была толкотня, из открытых дверей доносилась дребезжащая музыка, грузчики катили по мосткам громадные бочки с селедкой, и студенты заняли столик на другой стороне парохода, где тоже было шумно, потому что поблизости перегружали хлеб с одной баржи на другую. Но все же потише — «и поближе к Волге»,— удобно устраиваясь в плетеном кресле, сказал Карновский.

— Пару чайников и пару полотенец,— приказал он официанту.— Будем пить чай по-купечески, до седьмого пота.

— Постой, мы же приехали обедать?

— А потом будем обедать... Вот взгляни, например, на эту беспорядочную массу воды, называемую Волгой. Подул ветер, поднялись волны. Ты был бы счастлив, если бы тебе удалось найти закономерность, которая скрыта в этих движениях?

— Да я и не стал бы ее искать!

— Почему?

— Потому что ими управляет случай.

— Ах, случай! Вот ты и попался, милый друг! От случая один шаг до Творца, а если существует Творец, стоит ли нам хлопотать о знании? Добрых пятьсот лет человечество стремится освободиться от власти случая, а ведь случай и Творец — две стороны одного явления. Цель культуры — ограничение случая, потому что случай слеп, а у нас есть глаза, которыми мы научились видеть.

«Лавров занят, он не хотел ехать с нами, зачем же Костя уговорил его? — думала Лиза.— Этот обед он устроил, чтобы мы не оставались одни. Ему скучно со мной».

Официант, принесший им чай, сказал, что ветерок к непогоде, и показал на разорванные облака-барашки.

— Задумываться над тем, зачем ты живешь, может только человек, у которого есть для этого время,— говорил Карновский.

— Звериная идея,— возразил Лавров.— Или арцыбашевская, что одно и то же! А по мне, если не размышлять, зачем нам дана жизнь, не стоит и жить.

«У него холодные глаза. Как я раньше этого не замечала? И зубы слишком белые. Он не любит меня».

Лавров волновался, а Карновский говорил уверенно, спокойно, сразу схватывая и обрушиваясь на главный довод, так что все второстепенные, как бы они ни были убедительны, оставались в стороне. Но Лизе нравилось то, что говорил маленький Лавров, с его птичьей грудью, в потрепанной тужурке, которая была наброшена на узкие, как у мальчика, плечи. Определенность Карновского сегодня раздражала ее, хотя прежде она писала ему, что это — как раз то, чего ей самой не хватает.

И она со страхом подумала, что стоит ему сказать два слова, и она вернет билет и останется в Казани.

— Антропоморфизм, Коля,— услышала она его голос.— И наивный антропоморфизм. Ты одной мерой судишь о том, что сделано человеком, и о том, что существует помимо его воли. Часы созданы для того, чтобы не опоздать на лекцию или на свидание, а ты, глядя на них, думаешь о том, что такое время.

— Освободиться от власти случая? — не слушая его, говорил Лавров.— Но ведь для этого надо прежде всего понять, что такое случай?

— Вот именно. Этим я и собираюсь заняться.

Карновский встал, прошелся, продолжая спорить, и стало видно, какие у него крепкие, немного кривые ноги. И Лиза подумала, что никакой случай, о котором они продолжали спорить, не собьет его с ног.

«Но ведь он — добрый, благородный человек. У него на руках мать, две сестры, брат, а я еще упрекала его за то, что он не манкирует уроками, когда я приезжаю в Казань. Почему же мне чудится в нем какая-то двойственность, точно он что-то скрывает от меня за своей логикой, за холодным задором?»

Логика была даже в густом белокуром ежике, подстриженном волосок к волоску.

— Уйти от власти непреложности, рока? — строго спросил Лавров, и его узкое темное лицо стало грустно-серьезным.— Напрасная надежда. Рок не дремлет, рок только прикрыл глаза. Завтра он их откроет, и мы все окажемся в дураках — и те, кто задумывается над смыслом жизни, и те, кто убежден в том, что самый этот вопрос заложен в человеческой природе.

— А ты думаешь, что стал бы счастливее, если бы тебе удалось заглянуть в будущее? — ответил Карновский.— Не думаю. Что касается меня, если бы дьявол или бог предложил мне этот дар, я бы от него отказался.

«Он нарочно держится так небрежно, спокойно. Ему хочется задеть, унизить меня».

Пообедав, они вернулись в город, поехали в «Русскую Швейцарию» и долго бродили по большой, пересеченной оврагами роще. Карновский вдруг облапил маленького Лаврова и, хохоча, посадил его на сухой торчавший сук старой березы. Лавров отбивался, тоже хохотал и, наконец, надулся. Его темное лицо потемнело еще больше, длинная прядка волос грустно свалилась на лоб. Ругаясь, он слез с дерева ловко, как кошка, и ушел бы, если бы Карновский не вымолил у него прощения.

«Ему весело. Ему все равно, что мы не виделись полгода. Боже мой, я совсем не знаю его».

Ялта.

Все эти дни я сердилась на Вас и поэтому долго не отвечала на Ваше письмо, а ведь как хотелось! Вот и это письмо я начала давным-давно, но все не посылала.

Дело вот в чем: кто же я в Ваших глазах? Трудно заставить себя не ответить на этот вопрос вместо Вас. Я понимаю, что мой

приезд был некстати, но Вы так и должны были сказать со всей прямотой, которую, надеюсь, я заслужила. Как посмели Вы спросить после нашей встречи: «Ну что, теперь прошло Ваше дурное настроение?» Сначала я решила, что это случайность, или что я неверно истолковала Ваши слова. Но чем больше я думаю, тем меньше сомневаюсь. Точно я невольно коснулась какой-то скрытой стороны Вашей жизни, или Вы намеренно дали мне понять, что я для Вас — такая же, как другие? Но, Костик, не рассчитывайте, что Вам удастся присоединить меня к Вашему «множеству», до которого мне нет никакого дела. Одно я знаю: *так* мы больше встречаться не будем.

P. S. Мне тоже очень нравится врубелевский «Пан». Значит, Вы думаете, что в нем соединились чувственность и рациональность? Еще бы! В любимом художнике каждый видит себя.

(Письмо не датировано)

Ялта.

Вот сижу я сейчас в своей комнате, стараясь отбросить тяжелые мысли и проникнуться общим впечатлением той красоты, которая окружает меня. И это удается? — спросите Вы. Да, к моему удивлению. Большое окно моей комнаты густо заросло диким виноградом, в комнате — зеленый полумрак, и только по утрам зайчики пробиваются сквозь эту живую гардину. У меня всегда цветы, и сейчас в одной вазе — красные, а в другой — палевые розы.

Писала ли я Вам о даче, где я даю уроки? Это такая прелесть. Она полукруглая, и когда сидишь в гостиной — полная иллюзия, что едешь на большом пароходе: кругом только море, и в окна врывается его беспокойный шум. Из других комнат видна почти вся Ялта, весь амфитеатр города — фиолетовые горы, а у их подножия, вдоль склона — белые, утопающие в зелени дачи.

Да, смертельно хочется писать. Мой двойник, который стоит рядом со мной, когда я смотрю на картины, теперь почти никогда не покидает меня, и я вижу всю эту прелесть его глазами. Впрочем, море я не стала бы писать — и не только потому, что оно слишком красиво. Оно ежеминутно меняется, и останавливать его на холсте — это значит, мне кажется, подменять одно время другим. Ведь у художника свое, особенное время, отличающее его от фотографа, который может сделать моментальный снимок. Нет, при виде моря мне хочется не писать, а летать. И я даже чувствую — Вы, конечно, иронически улыбаетесь — за плечами большие, легкие крылья. Вы должны увидеть море — рано или поздно!

Вот я пишу Вам сейчас и вновь сомневаюсь: правда ли, что Вы любите мои письма? Может быть, это тоже Ваша «деликатность»? Я боюсь, что Ваша деликатность держит в плену Вашу искренность. В ответ на мои излияния я получаю два-три сухих слова, и это отбивает охоту писать Вам (о чем, кажется, нельзя судить по этому длинному письму). Может быть, мои претензии нетактичны, но понятны. Пишите же!

(Письмо не датировано)

30.VI.14. Ялта.

Так Вы желаете мне «почувствовать жажду жизни»? А почему Вы решили, что у меня ее нет? Из-за моих «настроений»? Да я просто не знаю, как мне и сладить с этой жаждой, которой проникнуто все мое существо! Об этом нетрудно судить — если Вам кажутся неубедительными другие примеры — хотя бы по моей любви к природе. Обыкновенное, ежедневно повторяющееся купанье в море я всякий раз встречаю, как праздник.

Невольно улыбаясь, щурясь и морщась, как старушка, осторожно спускаешься по горячей гальке, от которой больно босым ногам,— и с головой в волны, укачивающие мягко, но сильно! А как хорошо потом раскинуться под солнцем, закрыв голову войлочной шляпой! Жажда жизни! Да у меня ее хоть отбавляй! Плохо только, что я не могу передать ее на холсте, хотя должна признаться, что не удержалась и стала писать — как попало и на чем попало. Нет времени, я ухожу из дому в восемь утра, возвращаюсь вечером и работаю только час-другой, еще до уроков. Боже мой, как хочется учиться! Ведь мне уже минуло двадцать лет, это много, это убийственно много! Если когда-нибудь появится хоть маленькая возможность — брошу все! Это решено. Я давно поступила бы так, но курсы живописи — частные и дорогие. Между тем у меня совершенно нет средств, и я даже не уверена в том, что мне удастся устроиться в Питере самостоятельно.

Друг мой, Вам не скучны мои длинные письма? Попробуйте вылезти из своего футляра деликатности и написать мне об этом откровенно. Мы непременно, непременно увидимся осенью. Неужели это правда, что Вы скучаете обо мне? Неужели еще помните, как Вы меня называли?

Глава вторая

21.VIII.14. Ялта.

Вы спрашиваете, как я живу? Как все — от одного выпуска телеграмм до другого! Среди приезжей публики — паника: все бегут по домам. Севастополь — на военном положении. Из-за мобилизации почти нет проезда. Я лишилась половины своих уроков, а скоро, без сомнения, растеряю и все остальные. Для меня эта война как снег на голову, хотя я давно слышала о ее неизбежности. Я ведь плохой политик, проще сказать, ничего не понимаю в политике, особенно внешней. А надо бы!

Милый мой, Вам не грозит участь пойти на войну? Я сегодня видела Вас во сне, грустным, бледным,— и весь день вспоминаю Вас с чувством тревоги. Напишите мне Ваши взгляды на эту войну. Немецкую буржуазию я никогда не любила, а если говорить о симпатиях беспристрастно — не хотела бы видеть немцев союзниками России. Но неужели нельзя как-нибудь искоренить в человеке инстинкт насилия?

Ну, пока всего хорошего, Костик. Целую Вас горячо. Пишите, прошу Вас. Мне так тяжело сейчас и так хочется маленькой радости Ваших писем. Дайте телеграмму, если призовут.

26.VIII.14. Ялта.

Дорогой мой, Вы так долго не писали, что меня, особенно по ночам, стали мучить дурные и печальные сны. Все они исчезли при одном взгляде на адрес, написанный Вашей рукой.

Неужели случится такое несчастье и Вас возьмут на войну? Что же будет с Вашими сестрами и братом? Ведь, кажется, есть закон, по которому нельзя призывать единственного кормильца?

Отец уже на сборном пункте, и хотя он — офицер, мне все-таки кажется нелепым и необъяснимым, что этот добрый, робкий, всю жизнь страдавший от застенчивости человек будет изо всех сил стараться убивать других людей и что для всех нас это стало теперь самым важным делом на свете. Брат собирается идти добровольцем, а тетя, которая еще в русско-японскую войну была сестрой милосердия, на днях уезжает на фронт.

Когда же наконец кончится это безумие? Я почему-то уверена, что это — последняя война в Европе. Но как внушить человечеству сознание всей бессмысленности этой зверской расправы? Впрочем, что говорить, если у нас, при тысячелетней-то культуре, все еще существует смертная казнь!

...Только что прочла в газете, что занятия в Питере начнутся вовремя, студенты освобождены от воинской повинности. Это мало утешает меня. Все зависит от хода войны — и я смертельно боюсь, что Вас возьмут рано или поздно.

Хочу на днях уехать из Ялты. Вся эта блестящая южная феерия меня сейчас раздражает. Да и уроки мои почти все пропали, а содержание здесь дорогое.

Целую Вас горячо, моя радость, мое счастье.

Ваша Лиза.

15.IX.14. Ялта.

Еще несколько медлительных дней, и я — в Казани. А неутомимая мечта уже там! Меня и радует и пугает наша встреча. Нет, радует. Я знаю, Вы любите, когда я весела.

26.IX.14. Вагон 357. М.-К. ж. д.

— Кто ты? — Кормщик корабля.
— Где корабль твой? — Вся Земля.
— Верный руль твой? — В сердце, здесь.
— Сине Море? — Разум весь.
— Весь? Добро и рядом Зло?
— Сильно кажется весло.
— Пристань? — Сон.— Маяк? — Мечта.
— Достиженье? — Полнота.

— Полноводье, а затем?
— Ширь пустынь — услада всем.
— Сладость, сон, а наяву?
— В безоглядности — плыву.

(Бальмонт)

В эти стихи, которые я, бог знает почему, ежеминутно бормочу, расставшись с Вами на вокзале, неожиданно ворвался диалог между соседкой и мною:

— Ты што, из Мурома будешь?
— Нет.
— Откели?
— С Волги.
— Врешь, я тя в Муроме видела.
— Пра, нет.
— Ай, врешь! Что, из горнишных будешь?
— Рази видно?
— Да, уж повадка такая.

И т. д.

Пока всего хорошего, моя бесконечная радость.

16.X.14. С.- Петербург.

Костик, почему не пишете? Я жду Ваших писем с нетерпением каждый день, каждый час. Занимаюсь усиленно. Устроилась в старой квартире: Геслеровский, 19, кв. 24. Живу одна, так как Шура, не предполагая, что я приеду, поселилась с другой курсисткой. Уроков нет, не везет. Но я не унываю. Недаром же меня еще в пансионе называли «Лизхен-Неунывай»! Если раздумаете приехать сюда на рождество, не смейте писать мне об этом.

22.X.14. С.-Петербург.

Вы правы, война запутала, связала все и вся и действительно положила на наш век свою тяжелую, позорную печать. Если я считаю эту войну «освободительной», так не для себя. Для меня она отвратительна и безнадежна.

Ваше письмо пришло одновременно с известием о призыве студентов. Я знаю, на Вас не распространяется это предписание. А все-таки сердце падает, когда я развертываю газету с этими страшными, бесконечными списками погибших: «Вечная память, вечная слава».

Без сомнения, Вы уже прочитали в газетах о студенческих манифестациях? Я узнала подробности — и возмущена. Хотя пересаливала лишь небольшая группа, а именно — белоподкладочники, но ведь тень-то упала на все студенчество!

Милый, не беспокойтесь обо мне. Этот месяц я продержусь, а там, может быть, устроюсь. Деньги пока есть. Занимаюсь. Записалась на курсы сестер милосердия, но занятия, вероятно, начнутся не скоро.

Вы спрашиваете, как Шура? Она шлет Вам привет. У нее есть Кузя.

10.XI.14. С.-Петербург.

Время бешено мчится вперед, одни события в беспорядочном вихре сменяют другие. И что за странная вещь человеческая натура! Раньше дух захватывало от этой быстроты, а теперь как будто начинаешь привыкать, и все реже приходит недоумение, охватывает ужас. Жизнь, эта «ставка ва-банк», как сказал футурист Маринетти, идет своим чередом, и разные Игори Северянины пишут в ее оправдание нелепые, но искренние стихи.

За этот приезд я ни разу не была ни в музеях, ни в театрах, но вот не выдержала, отправилась дежурить в Народный дом и несколько дней хожу на удивительно удачные спектакли. Позавчера была на «Богеме» с участием Липковской. Опера мне совершенно не понравилась, ни даже обстановка, несмотря на то, что она была целиком с декорациями взята из «Музыкальной драмы». Зато Липковская одна возместила потерянное время! Но вот вчера я пошла туда же на патриотический концерт «Искусство — воинам». Был весь питерский свет, все иностранные посланники. Прежде исполнили русский гимн с хором и оркестром, потом Бакланов спел французский гимн — и все это на фоне живых картин. Потом читали лучшие силы драмы, кричали: «Ура бойцам!» — и т. д. Посланники отвечали короткими речами. Публика неистовствовала, особенно галерка, где было до тысячи учащейся молодежи. Но с ума свел меня балет. Танцевали две такие звезды, как Карсавина и Кшесинская,— они бесподобны, и я отказываюсь даже их хвалить, потому что слов не хватит, чтобы передать это великолепие. В Питере публика настроена патриотично, ежедневные сборы, и жертвуют, не скупясь. Вообще, единодушие во всем, и этот водоворот сегодняшних событий захватывает с головой.

В такое время и читать-то ничего не хочется, кроме газет. Но, соскучившись о поэзии, я все-таки прочитала Рабиндраната Тагора «Садовник», «Песнь о Гайавате» в прекрасном переводе Бунина, Анну Ахматову, которая в особенности поразила меня своей свежестью, простотой и глубиной.

На днях, ища уроки, нарвалась на два гнусных предложения, от которых почувствовала тошноту и слабость. Но я знаю, Вы не любите, когда я жалуюсь. Поэтому впредь буду сетовать только на бесконечность нашей разлуки.

За окном идет снег, и, если долго смотреть на эти падающие без конца мягкие снежинки, голова начинает кружиться. А она, бедная, и без того кружится, когда я вспоминаю о Вас. Дело в том, что я совершенно не могу жить без Вас. Не худо бы Вам когда-нибудь об этом догадаться.

20.XI.14.

Ура! Нашла урок — следовательно, остаюсь в Питере и могу продолжать занятия. Двадцать пять целковых, завтрак и обед. Совсем рядом. Мальчик девяти лет, кажется, туповатый. Вчера весь день чувствовала себя счастливой.

Вы спрашиваете о настроении публики в связи с последними

политическими событиями? Да, были волнения и однодневные забастовки, но только среди учащейся молодежи, а насчет рабочих я не слышала. Теперь, пожалуй, дело ведется подпольными путями. Может быть, общими усилиями социалисты что-либо и сделают. Но ведь дело-то невероятно серьезное и требует самого обдуманного способа действий. Впрочем, каждая страна мечтает об этом. Разрешить проблемы, породившие эту войну, да и родившиеся с нею,— титанический труд. Вот почему ограничиться во внутренней политике одними проектами было бы непростительным преступлением...

Продолжаю вчерашнее письмо. Невероятно трудно живется! Стыдно за свое бездействие. Вы знаете, о чем я говорю, но ведь нет ни одной свободной минуты! Вот мой день — все, как один: утром — до двух — на курсах, с двух до девяти — на уроке (не я в это время «воспитываю» мальчика, а он меня — такой сорванец!) Вечером прихожу усталая и для отдыха занимаюсь часов до одиннадцати языками. А потом до двух — математика. До политических ли тут интересов?

30.XI.14. Петроград.

Мой дорогой, ради бога сообщите мне немедленно — приедете Вы на рождество или нет? И пожалейте, не напоминайте, что я просила Вас об этом.

3.II.1915. Петроград.

Не серди-и-и-тесь, милый. Клянусь, я не хотела Вас обидеть. У меня были деньги, я решила вернуть старый долг и послала его Вам, не придавая этому никакого значения.

Напишите мне снова. Как Вы себя чувствуете, что делаете? Что думаете?

Шура все прикидывала, как бы ей исполнить Ваше поручение,— и в конце концов шепнула мне Ваш привет, когда я спала. Но я очень чутко сплю, и ей пришлось показать мне те строки, в которых Вы пишете обо мне. Спасибо, спасибо! Мы с ней живем в одной квартире, но в разных комнатах. Это — мой самый близкий друг. И представить себе не могу, как жилось бы мне без нее в такое тяжелое время!

14.III.15. Петербург.

Когда не пишется, следует принимать «письмин» — новое средство, которое, говорят, действует в подобных случаях превосходно. Кажется, я впервые отношу это замечание к себе — и мне не помогает «письмин»! Уж не заразилась ли я Вашей дурной привычкой?

Видела Вас сегодня во сне больным и сердящимся на меня — и вот кинулась к перу и бумаге. Серьезно, как Ваше здоровье? Не переутомились ли Вы? О душевном состоянии нетрудно судить. Да чье сердце нынче не болит? Вокруг — неразбериха, и напрасны все усилия выйти из заколдованного круга. Передать всю бессмыслицу происходящего невозможно, да и не охватить ее своим жалким умишком. Жить, конечно, не стоило бы — если бы не искусство!

Еще в феврале я стала посещать воскресные классы Общества поощрения художников. Занимаюсь я в натурном классе. Техника, конечно, отчаянно хромает, но все же, кажется, делаю успехи. Не смею надеяться (и все же надеюсь), что эти занятия — начало того, о чем я всегда мечтала. Прибавьте к этому кружок, который затеяли товарищи по школе — мы приглашаем на паях натурщика и рисуем два раза в неделю,— и оцените наслаждение, которое доставляют мне эти занятия.

На днях слушала Качалова, который читал «Кошмар» Ивана из «Братьев Карамазовых». Вот когда поняла я всю безвыходность, всю безнадежность России! Я думала, что после этого вечера, когда слились в одно целое два громадных таланта, в зале едва ли осталась хоть единая душа, не затронутая «богом», который мучил Ивана.

Что нового в Казани? У нас еще зима. Много снега, морозы. Старожилы говорят, что не помнят такой поздней зимы в Питере. Шура шлет Вам привет. Кузя у нас бывает очень часто. Кажется, я уже писала Вам, что он — такой же дельный, хозяйственный и розовощекий, как Шура. Глядя на них, так и хочется процитировать Пушкина:

Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

Эта скорлупа, которой я, к сожалению, полностью лишена, надежно защищает их от всех больших и маленьких огорчений. А когда приходится все-таки обороняться, орешек превращается в ежа и выставляет иглы. Свадьба у них весной.

Я знаю, что раньше, чем Вы закончите экзамены, нам нельзя увидеться, но неужели... Ладно! Увидимся, когда Вы захотите.

Вероятно, я скоро уеду домой, в Пермь,— Питер опротивел мне со своей суматохой, шумом, пестротой, электричеством, рычаньем и рефлекторами моторов, со своей спешкой, остротами и сменой беглых впечатлений. Близится пора белых ночей. Я устала от них, не могу собраться с мыслями, пока светло, и жду, когда можно зажечь лампу, чтобы заниматься. Весенняя опасная пустота! Больше всего самоубийств — в белые ночи. Хочется забраться куда-нибудь в глушь, медвежий угол, не слышать ничего, не видеть, и хоть выспаться хорошенько. Устала я не от труда, а от борьбы с собственной душой. Не умею я применяться к жизни, все хочется приложить к ней свое, а это «свое», воспитанное в мечтах, слишком хрупко и разлетается на куски при первом же столкновении.

Где Вы будете призываться? Поступите ли в училище или вольноопределяющимся? Если первое — то куда?

Миленький, миленький, пишите скорее, я так скучаю без Вас!

20.V.1915. Петербург.

Я хотела заехать к Вам после Ваших экзаменов, но получила письмо от тети, которая едет из действующей армии в отпуск. Я должна ее увидеть, потому что не хочу обижать моих домашних, которых не

видела уже два года. Поживу недолго в Москве, а потом поеду в Симбирск — к Шуре на свадьбу. Хотите ли Вы, чтобы из Симбирска приехала к Вам? Вы знаете, что значит для меня это свидание, и поэтому прошу, более того, требую прямого, пусть даже и беспощадного ответа. Милый мой, не надо играть со мной в кошки-мышки, хотя бы невольно. Я знаю, Вы всегда «прямосердечны». Но Вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое Ваше неясное слово! Я искала эти неясности, неопределенности, и они одни были для меня утешением. Нет так нет, но тогда уж навсегда и сразу! До Вашего ответа я не стану покупать билет, а это надо делать заблаговременно. Жду.

1.VI.1915. Москва.

Буду в Казани 5-го, в 11.20 утра. Хочу остановиться в номерах, где-нибудь далеко от Вас. Знакомым пока не стоит говорить о моем приезде. Если не можете встретить, оставьте для меня на вокзале письмо до востребования.

6.VI.1915. Казань.

Как люблю? Ведь об этом я вчера обещала Вам рассказать? Нет, не могу. Когда я поняла, что Вы не приедете на святки, мне показалось, что я не переживу эту одинокую, снежную, морозную зиму. Потом пришла весна, и вот уже июнь, лето, но до самой нашей вчерашней встречи я все еще чувствовала себя погребенной под грудой снега, усталости и желания не думать о Вас, забыть Вас. Вчера все это кончилось, растаяло. Или нет, не растаяло, а отдалилось, притаилось. Я ведь с неестественной отчетливостью помню все, что происходило и происходит теперь между нами,— все *наше,* и мне иногда кажется странным, что это немногое *наше* я должна защищать — от кого же? От Вас. Милый мой, не сердитесь, но почему Вы оледенели — не подберу другого слова,— когда я стала расспрашивать о Вашей маме и сестрах? Вы решили, что мне захотелось познакомиться с ними? Предположим, что это так, что же в этом плохого? Мне дорого, меня интересует все, что касается Вас. Кстати, я заговорила об этом потому, что Вы пожаловались на младшего брата, из-за которого Вам пришлось отказаться от одного урока, потому что иначе он не перейдет в пятый класс.

Я знаю, что Вам тяжело, что Вы тянете не только брата, но всю семью, я всегда помню об этом. Но почему Вы так старательно прячете от меня все, что касается Вашего семейства? Ведь я-то рассказываю Вам все о себе и о своих, всякую мелочь. Я не настаиваю ни на чем, упаси боже, но не могу скрыть, что это неравенство огорчает и даже обижает меня.

Мне трудно было заговорить с Вами об этом — поэтому и написала. И еще потому, что обещала рассказать Вам о том, как я люблю. Вот именно так — ничего не скрывая.

23.VII.1915. Пермь.

Сегодня с утра — грозы, одна за другой, молнии широкие и продолжительные, а капли дождя — крупные, как будто кто-то пригоршнями бросает с неба алмазы. Я в детстве верила, что во время грозы, когда небо открывается, можно увидеть бога, и смотрела, смотрела во все глаза. Не увидела. Должно быть, и не увижу.

Сейчас вечер, я зажгла свечу и вот пишу Вам. На душе светло, почему — не знаю. Ехала я хорошо. Публики было мало. Познакомилась за сутки до Перми с высоким, тонким застенчивым студентом духовной академии: только что кончил, и его призывают на позиции. Глаза у него светлые, с длинными темными ресницами — глаза, по которым видно, что он не вернется. Всю ночь мы с ним сидели на палубе, встречая восход, говорили о Чайковском, о поэзии, о себе — очень откровенно, как разговаривают люди, которые уверены, что больше никогда не встретятся. Такой нежной души я и у женщин не встречала.

Математикой я занимаюсь по утрам, с ясной головой и еще более ясным желанием поскорее отделаться от нее и вернуться к своим холстам. Я начала здесь с портрета брата, но бросила, потому что он и минуты не мог посидеть спокойно. Взялась за натюрморт — горящая свеча в медном подсвечнике возле раскрытой книги. Мне хотелось передать тишину одинокого чтения: красно-желтый язычок пламени на темно-голубом, сумеречном фоне. Ничего не вышло! Надо учиться, а мне хочется в одно прекрасное утро проснуться художницей. Я нетерпелива, беспечна, доверчива, ничего не понимаю в искусстве и вообще непоправимо, безнадежно тупа...

Была несколько раз в библиотеке и убедилась в том, что хотя Пермь и «медвежий угол», но культурных людей немало. Иногда бегаю к пансионской подруге, которую нашла здесь замужней. Все-таки снова и снова пробую писать, а для развлечения «упражняю» свои силы с братом. После этих упражнений моя сила показывается на свет божий в виде огромных синяков. Как Вы живете? Когда думаете отдыхать? Я, может быть, поеду через Казань. Что Вы думаете об этом «может быть»?

15.VIII.1915. Пермь.

Еду на «Князе Игоре». Из Перми он выйдет 17—18-го, каюта 11. Когда будет в Казани — не знаю. Справьтесь по телефону. Оторвитесь хоть на минуту от Вашей математики и приезжайте на пристань. Пароход будет стоять не меньше часа. Вы ленитесь писать, а мне надо увидеться и поговорить с Вами лично.

23.VIII.1915.

Все к лучшему, не правда ли? Пароход опоздал на шесть часов и только утром ушел из Казани. Вы встречали меня? Я не рискнула искать Вас ночью, в городе, далеко от пристани. Оставалось только сидеть на палубе и стараться не думать — о Вас и о нас. Это было трудно, хотя применялись сильные средства. Я вспоминала, например,

только что пройденный курс химии. Увы! Вместо какого-нибудь «ангидрида» мне представлялась наша несостоявшаяся встреча, и я производила над ней качественный и количественный анализы.

Познакомилась на пароходе с товарищем Вашего брата — прапорщиком Медянцевым. Славный мальчик, розовый, с детскими щечками. Везет ратников в Хабаровск — передала с ним привет отцу.

7.IX.15. Петербург.

Карновский противный не пишет! И не надо — у меня и так на душе малиновый звон. (Не думайте, что речь идет о садовой малине. Я предпочитаю лесную.) Если Вы хотите знать, какова она на вкус, вспомните «Campanella» Листа. Я только что слушала ее в исполнении одного молодого шведа, студента консерватории, который нравится мне тем, что он немного похож на Вас, а я — ему, потому что похожа на его стокгольмскую невесту.

Вы, должно быть, смотрите на эту открытку и думаете: «хороша Венеция!» Где уж Вам догадаться, что это не Венеция, а самый настоящий Казанский собор и Мойка рядом, а на Мойке — наши русские Ван Гоги. А немцев мы не боимся, хотя чай пьем «вприглядку». Да-с. Дела-то хороши, да плохи барыши. Ну, полно! Вооружитесь лупой и терпеньем. Писать допускается. Не Ваша.

28.IX.15.

Милый мой, Вы думаете, что над Питером летают цеппелины? Нет. Ни цеппелинов, ни немцев мы пока не боимся. Мы боимся холода и голода. Пути заграждены, навигацию прозевали, запасов в городе нет или почти нет.

Жизнь в Питере стала каторгой, так все дорого. Всякие акулы положительно готовы проглотить даже самого обывателя, а не только содержимое его кармана. Жизнь мчится с головокружительной быстротой — не успеваешь оглянуться, не только остановиться. В этом году я совсем не могу заниматься живописью. По утрам хожу на лекции, оттуда на уроки и только к вечеру возвращаюсь домой. На воскресных классах не бываю, чтобы не мучить себя. Кружок, который мы затеяли весной, распался, потому что на натуру не собрали денег. Если бы Вы знали, Костя! Эх, да что говорить! Невозможность работать мучит меня, становится навязчивым бредом. В своих снах я теперь неизменно пишу — блаженное состояние! Раскрашиваю географические карты — когда-то я славилась этим в пансионе,— и они оживают: высокая стена бирюзового цвета встает передо мной, пронизанная жилками, которые серебрятся на солнце. Это море. Тени, спрятавшиеся в глубоких медно-рыжих складках, медленно ползут наверх. Это горы.

Но и наяву я нередко вспоминаю то радостное чувство, которое испытываешь, работая или даже еще не работая, а выдавливая краски на палитру. Мне всегда казалось, что краски — это особенные, наделенные чудесными свойствами существа, с которыми можно даже и разговаривать, если они этого пожелают. В их названиях мне всегда

чудился таинственный смысл: «кость жженая», «мертвая голова». Так вот: я не работаю. Я пишу во сне, в уме, на лекциях, в трамваях. Мгновенье, когда кисть прикасается к холсту, вспоминается мне как блаженство, которого я лишена незаслуженно, несправедливо. Даже моя летняя мазня в Перми, когда я писала бог знает что с темной головой, кажется мне чем-то недооцененным до слез. О слезах я упомянула не случайно. Я теперь часто плачу. Эх, Костик! Если бы Вы знали! Без живописи я не слышу музыки, не понимаю книг. Она нужна мне, как Синяя птица в пьесе Метерлинка нужна внучке, умирающей от желания счастья. Иногда мне кажется, я не могу жить, потому что мне слишком хочется жить.

Как Ваши дела в гимназии? Как Лавров? Завидую, что у Вас есть такой близкий друг. Что своего или нового внесли Вы в преподавание? Я давно собираюсь поговорить с Вами об этом. Сегодня снова не удалось.

19.X.1915.

Мне хочется поделиться с Вами впечатлениями о лекции Бальмонта. Она называлась: «Океания». Я изумилась, когда он вышел на сцену,— он представлялся мне совершенно другим. Маленький, похожий на испанца, рыжий, с длинными усами и остроконечной бородкой. Читает, закинув голову и опустив глаза. В антракте не было других разговоров, кроме как о его манерности, отчужденности, высокомерии. Зато во втором отделении все было забыто. Не знаю, как это случилось, но мы покорно отправились вслед за ним «из молчаливой России, мимо туманной Англии и улыбающейся Франции», на Самоа, где быстрые летучие сны возникают «как станы стрекоз, как лепеты скрипки, как трепеты грез» и где смуглые красавицы приветствуют вас: «Талёфа» (это приветствие переводится как «любовь тебе»). Посылаю Вам свой набросок Бальмонта, кажется, верно схвачен. Рисовала в профиль, потому что мест не было, и я сидела на сцене.

Милый мой, жду тебя на рождество. Талёфа! Прощай!

24.IX.15. Петроград.

З а г о в о р

Полюбив меня, помни меня.
Встанет ли солнце, помни меня!
Ляжет ли солнце, помни меня!
Как ты помнишь отца или мать,
Как ты помнишь родимый свой дом.
Днем ли, ночью ли, помни меня.
Если гром загремел — вспомяни,
Если ветер свистит — вспомяни,
Если звонко петух пропоет,
Если слышишь, как время идет,
Если час убегает за час,
И бежит, и ведет свой рассказ,
Если солнце идет за луной,
Всей своей памятью будь со мной!

К этому заговору был приложен рисунок, выполненный графит-

ным карандашом на плотной желтоватой бумаге. Два автопортрета отвернулись друг от друга с разными выражениями: левый — с полуулыбкой, правый — нахмурившись, но тоже с дрожавшим в губах, затаенным смехом.

Лиза была уже не похожа на институтку в белом переднике, с пелеринкой на плечах. Ее лицо с чуть намеченным провалом щек было полно раскрывшейся женской прелести. Оно прислушивалось. Оно куда-то рвалось. «От Ван Гога, как видите, я отличаюсь тем, что еще не отрезала себе ухо»,— небрежно, наискосок, было написано под рисунком.

15.X.15. Петроград.

Знаете, чем я увлекаюсь? Немецким языком, как и Вы. И мне, так же как Вам, хочется вставлять в речь немецкие слова и стихи. Я перевожу сейчас «Вертера» Гете, потом перейду к Гейне, а потом к Шопенгауэру. Занимаюсь с одним студентом консерватории — Бергом, о котором я Вам писала. Он — швед, впрочем обрусевший. Родители его живут в Симбирске. Он учился в Берлине четыре года и, конечно, прекрасно знает язык. Наши высмеивают меня без конца, доказывая, что все это похоже на «Страдания молодого Бергера», но мы держимся стойко, хотя занимается он со мной от нечего делать.

Миленький мой, все, что происходит со мной, принадлежит Вам. Естественно, что мне хотелось бы узнать о Вас хоть немного больше того, что Вы рассказываете в своих коротких неласковых письмах. Вот если бы усовершенствовали граммофон и сделали дешевле и доступнее передачу голоса на пластинку! Какая чудесная получилась бы почта! Я слушала бы Ваш голос без конца, а ведь как много значит человеческий голос! Без конца заставляла бы я Вас повторять то заветное слово, которое — увы — слышу так редко! Я даже развеселилась, подумав о том, что вы произносили бы его невольно, не по своему, по моему желанию.

Между тем веселого мало. От своих я получаю горькие письма. Брат, ушедший добровольцем, пишет: «Неужели зря пошел я голову класть?»

И представить себе не могу, что Вы не приедете на праздники.

24.X.1915. Петроград.

Зверь, изверг, кровопийца, мучитель, палач и т. п. Слов не нахожу! Я умираю от тоски, а он и ухом не ведет! Одно письмо через 32 дня аккуратно. Первое — 11 сентября, второе — 12 октября, а третье — 13 ноября.

Теперь пропустим через цензуру Ваши «если». «Уроки» — можно передать Вашему другу Лаврову. «Утверждение диплома» — Ваше присутствие не обязательно. «Отношение профессора к Вашей работе» — тут я не компетентна. Все «если», связанные с Петроградом (комната и пр.), я беру на себя.

Я получила Ваше письмо с первым снегом, и мне сразу же захотелось смеяться и шалить. Мы с Бергом (он же Ансельм из сказок

Гофмана) бродили по улицам, я пела и смеялась, а он удивлялся — чему я так радуюсь. Он не знал, что я получила маленькую надежду на будущее — Ваше письмо.

Да, я понимаю, как интересно заниматься с детьми. Один из моих уроков сейчас — воспитание взрослой девицы (16 лет), еще ничего не пережившей, но зато много и беспорядочно прочитавшей, чуткой и умной. Я очень увлечена этим уроком, отдаю ему много времени и, мне кажется, сама многому научилась, по меньшей мере в психологическом отношении.

Часто бываю у Кауфманов. Помните, я рассказывала Вам об этом семействе. Я люблю его за душевную красоту и внимание друг к другу. У отца — жестяная мастерская, четверо сыновей разделились: двое учатся в университете, на физико-математическом, а двое — наборщики, работают в типографии. Отец и сыновья — громадные, а Розалия Львовна — маленькая. Когда она начинает очень сердиться, кто-нибудь из мужчин сажает ее на шкаф. Они постоянно всех устраивают — то надо собрать теплые вещи для ссыльных, то помочь больному студенту. Все это делается горячо, с восторгом, с отчаяньем, с возмущением. Она увлекается литературой, в последнее время — Брюсовым, которого декламирует кстати и некстати. Мне тоже нравится Брюсов. Я ценю отточенность его стиля, но часто его стихи кажутся мне надуманными, холодными. Об этой холодности говорит, кстати, и циническая откровенность, чуждая поэзии по самой своей природе. Поэтому «Город женщин» особенно не понравился мне. Видела сон — Вы в кругу семьи. Старшая сестра усердно чистит самовар и поет: «Ах, тебе досадно! — Нет, мне не досадно!» А младшая держит дверь, чтобы я не вошла. И я улетаю. За плечами у меня крылья, я — над морем, и кто-то приказывает мне опуститься на самую большую волну. Я открыла глаза с чувством счастья — так это был сон?

Впрочем, «я с детства была крылатой». Но прежде это были сны, полные свободы и силы, а теперь мучительные. То я боюсь, что крылья у меня привязанные, чужие. То мне надо непременно увидеть их, а этого нельзя, потому что стоит только оглянуться, и всему конец — захлестнет, утону.

Пишите, миленький. Ваша и Ваша.

Прочла, как Вы пугаете меня экзаменами, и вспомнила остроту из «Сатирикона».

— Сережа вернулся с экзаменов?

— Да.

— Где же он?

— Там, в детской висит.

19.XI.15. Петроград.

Костя, почему ни слова? Я не знаю даже, получили ли Вы мою фотографию, которую послала Вам в последнем письме? Вы как-то спрашивали меня насчет «страданий молодого Бергера». В ответ

расскажу такую историю. Существует на свете некто Саблин, который любит повторять слова Наполеона: «Мир делится на дураков и подлецов». Так вот мой Берг принадлежит к первой категории, а Саблин — ко второй. Они — товарищи. У Берга — сестра, курсистка семнадцати лет. У Саблина — жена и ребенок. Живут они в общей квартире, коммуной. Но эту коммуну надо понимать так: у Берга есть деньги, а у Саблина их нет. Заведует всеми делами, покупками и т. д. Саблин, платит Берг, которого Саблин за глаза называет «ничтожеством и тряпкой», а в минуты пьяной откровенности еще и «дойной коровой». Более того, пользуясь некоторым чувством Берга к его жене, он готов пустить в ход и это верное средство. И вот чете Саблиных приходит в голову прекрасная мысль: купить на деньги Берга кинематограф. Берг отправляется за деньгами (пять тысяч) в Симбирск,— и тут мы — Шура, Кузя, я и еще человек пять, всё студенты — решаем предотвратить эту новую подлость. Я телеграфировала ему с просьбой не высылать деньги до получения нашего письма. Он немедленно вернулся, пришел ко мне, и вместе с сестрой, умной девушкой, которая давно стремится вырвать его из этого грязного дома,— тут уж вся наша компания постаралась протереть ему глаза, весьма красочно изобразив его положение. Он дал нам слово покончить с Саблиным.

Вы читаете это письмо с удивлением, милый Костик? Я знаю, не надо было принимать так близко к сердцу эту историю. Но что же делать со своей глупой натурой! Ненавижу слабодушие, слабоволие, развинченность. Когда-нибудь нас всех погубят такие вот милые, добродушные Берги.

1.XII.15. Петроград.

Вы, наверно, заметили, что я совсем перестала упоминать (в своих письмах) о живописи, и, может быть, даже порадовались, что я забыла об этом увлечении. Видит бог, я сделала все, что было в моих силах, чтобы справиться с ним. Я уговаривала себя так дельно, что сама дивилась своей положительности. Во-первых, это дело дорогое, не по карману, и прежде чем оно начнет приносить доход (если это когда-нибудь произойдет), за него надо платить да платить. Во-вторых, что может быть вернее, чем математика, в особенности если занятия ею увенчаются дипломом Бестужевских курсов?

Должно быть, долго еще мучилась бы я, сидя между двумя стульями, если бы не один случай, вдруг заставивший меня решиться. Подошел срок уплаты за очередной семестр, я сидела без денег и уже собралась взять в долг у Кауфманов, которым я и без того должна, когда встретила на Конногвардейском ту симпатичную курсистку, с которой приехала в Петербург и мы еще вместе переночевали в Обществе защиты женщин. С тех пор мы виделись редко, но всегда дружески, обменивались десятью словами и спешили дальше. Но на сей раз я вдруг выложила ей все свои колебания. И досаду, что прошел еще день, а я не взяла в руки кисть, и страх перед будущим, если я брошу математику, и что математикой я занимаюсь, потому что *так надо*. С чего это я нежданно-негаданно накинулась на полу-

знакомого человека? Не знаю. Видно, подошла такая минута. И что же? Выслушала меня моя курсистка (ее тоже зовут Лизой), выслушала внимательно, а потом как-то блеснула из-под меховой шапочки глазами: «А вы ее бросьте!» И так она просто сказала, что и мне это вдруг представилось проще простого: взять да и бросить! И потом она сказала, что, если бы у нее была какая-нибудь страсть, она была бы счастлива, будь это хотя бы ужение рыбы. «Страсть сама по себе счастье, и заглушать ее в себе, бороться с ней — что может быть глупее?»

Но дело даже не в ее рассуждениях, к которым я могла бы многое прибавить. Дело в простоте, в легкости, которой мне не хватало. В самом деле: взять да и бросить! И, кстати, за очередной семестр не придется платить. И в долг не брать. Времени будет, боже ты мой, сколько угодно. И о живописи можно будет думать свободно, без угрызений совести, без запрета. Словом, я решила заняться только живописью, как бы это ни было трудно. Решила — и Вы не можете себе представить, как легко стало у меня на душе. Я еще не оставила курсы, на днях сдала три экзамена, хожу на интересный семинар по флюоресценции. Ничто не может помешать мне вернуться. Но я не вернусь. Это значило бы отказаться от себя, похоронить самое дорогое в жизни. Я поняла, что все эти годы была, в сущности, глубоко несчастна. Все было всегда не на месте в душе, и притворяться перед собой, что никакого выхода нет, больше мне не по силам.

И еще одно. Мой дорогой, Вы знаете, что значит для меня наша близость. Я и среди друзей чувствую себя одинокой. Конечно, живопись не заменит мне Вас, но, может быть, для нее так и нужно, чтобы я была одинока? Но хватит! Пока все это еще только слова, и от меня зависит, чтобы они стали делом. Теперь — практическая сторона. Я поступила в художественную мастерскую. Руководители — Добужинский, Яковлев, Лансере, Кустодиев, Остроумова. Все это «Мир искусства», и это очень хорошо не только потому, что Добужинский, например, очень много говорит моему сердцу, а потому, что такие люди, как он или Лансере, вдумчиво относятся к тем молодым, которые работают в совершенно другой манере. Но мне, разумеется, надо думать сейчас не о манере, не о направлении, а о том, как держать в руке карандаш.

11.XII.1915.

Я поступила безрассудно — пишете Вы: любовь к живописи я приняла за талант? Но, Костя, как Вас убедить в том, что эта любовь совсем не абстракция, а такая же вещественность, как голод или жажда? Такая же страсть, как опиум, от которой, говорят, нельзя излечиться. Ван Гога свела с ума живопись, это нисколько не удивляет меня. И потом, Костик, почему Вы думаете, что у меня нет никакого таланта? Как раз в разгаре моих колебаний из Москвы приехал Иван Иваныч Реутов, который зашел ко мне по теткиному поручению. Я показала ему свои рисунки, и он сказал, что мне непременно надо учиться живописи. И наконец — не первого же зашедшего с улицы берет в свою мастерскую Добужинский!

Что касается того, что среди женщин мало талантливых живописцев, так ведь и среди математиков мало! Я, например, знаю только одну — Софью Ковалевскую. Однако ведь и она, кажется, променяла свою математику — не на живопись, правда, а на любовь? Моя ли вина, что я не могу жить без того и другого?

Ваше письмо — увы!— напомнило мне нотации, которые я часто выслушивала от начальницы, когда училась в пансионе. Решительно на Вас дурное влияние оказывают Ваши уроки. Вы привыкли учить, учить, учить... Не сердитесь, мой милый.

15.XII.1915. Петроград.

Ми драго, ми злато! Неужели не приедете? Ложусь и встаю с единственной мыслью — увидеть Вас на праздниках. Мы часто говорим об этом с Шурой: она оставляет комнату в Вашем распоряжении и хочет вернуться за день или два до Вашего отъезда — нарочно, чтобы познакомиться. Приезжайте, мое солнышко! Неужели наше свидание, пусть короткое, может помешать Вашей «цели»? Боже мой, какая это злая и упрямая соперница: отказывается подарить мне хоть день счастья. Вы говорили, что Вам нравятся иллюстрации Соколова к «Мертвым душам». Так вот, я припасла их для Вас. Видите, как я Вас заманиваю!

В мастерской меня заставили начать с азов, и я пришла в ужас. Вы и представить себе не можете, как я беспомощна. То и дело хочется от стыда провалиться сквозь землю. Я не сплю ночами от усталости, клюю носом на уроках, возвращаюсь домой полуживая и все-таки счастлива. Вам это кажется странным?

20.XII.15. Петроград.

Я знала ответ и заранее приучила себя к нему, хотя не перестаю терзать себя, думая о нравственном падении, до которого дошла, умоляя Вас о приезде. Поделитесь Вашими новостями. Они и меня немного интересуют. В Питере все по-старому: настроение равнодушно-угнетенное. Погода — восхитительная, солнце, хрустящий снег, мороз. Вы знаете, я чувствительна к этой прелести. Шура шлет привет. Она еще не потеряла надежду познакомиться с Вами.

24.XII.1915.

Нет, не могу простить. Вы не только сделали мне больно, Вы смертельно оскорбили меня. Я поняла, что Вам ничто не страшно сделать со мной — все перенесет, все стерпит, раба. «Я недостоин Вашей любви»,— пишете Вы. Да любили ли Вы? Если да — мне остается только пожалеть Вас. Сколько же было у Вас хлопот с этим не поддающимся взвешиванию и измерению чувством!

Мне нужно «найти себя»— пишете Вы. Кажется, это удалось — с Вашей помощью, за которую я глубоко благодарна. Не лучше ли было преодолеть трусость и прямо ответить мне «нет»? В самом деле, ведь тогда Вы освободились бы от последней обязанности — из вежливости отвечать на мои письма.

Е. Тураева.

Глава третья

15.IV.1916. Петроград.

Вы просите, Костя, забыть нашу ссору? Так это, значит, называется ссорой? Вы пишете: «Простим друг другу». Стало быть, считаете, что не только Вы, но и я виновата? Вам захотелось «вернуть нашу духовную близость», все же для Вас дорогую? Да была ли между нами духовная близость? Я стремилась к ней, это правда, но встречала в ответ только холодные поучения. И как характерно для Вас это «все же».

Так Вас еще интересуют мои дела и здоровье? Последнее — в полном порядке, а что касается «дел», Вам, должно быть, покажется странным, что у такой неделовой особы, как я, они идут превосходно.

Я много работала у Добужинского по классу композиции и у Яковлева — по рисунку. Яковлев мало известен широкой публике, потому что лишь недавно вернулся из-за границы (поездку получил после Академии). Он выставлялся в прошлом году в «Мире искусства» и сразу обратил на себя внимание. Добужинский приходит не часто. Он меланхоличен, по-петербургски сдержан, накрахмален, и я его немного боюсь. Замечания его вопросительно-немногословны, но необычайно точны. Кстати, на днях он сказал мне, что я сделала за зиму большие успехи. Так что Ваши мрачные предсказания, представьте себе, не оправдались!

Живу я у своей ученицы Леночки Гориной, о которой я Вам писала. Типичная петербургская семья, по первому впечатлению — холодная, а на деле — сердечная. Алексей Павлович — профессор, читает на восточном факультете, любезный, с красивым, матово-бледным лицом, с большими глазами. Я боялась его, пока на вечеринке, которую устроила Леночка, он не пригласил меня на мазурку. Мы прошлись под аплодисменты, и с тех пор я его не боюсь. Мать — Гаянэ Давыдовна, армянка, из известного семейства Лазаревых, в прошлом — хорошая пианистка, деятельная, постоянно занята в каких-то общественных комитетах. Сын, Дмитрий, похож на отца, рыжеват, изысканно вежлив и саркастически-равнодушен. Историк, ученик Успенского, занимается Византией, в семье считается звездой. Тоже играет — на виолончели. Вообще музыка у Гориных — в чести, это очень приятно. Леночка в этой атмосфере постоянной занятости и размеренности — воплощение беспечности, неаккуратности и лени. Она способна, умна и может полдня проваляться с книгой в руках на диване. Я приглашена, чтобы заниматься с ней всеми предметами, но занимаюсь я тем, что уговариваю ее заниматься.

Так Вы хотите возобновить нашу переписку? Ну что ж! Мой адрес: Екатерининский канал, 35, квартира 10.

Е. Т.

12.VII.1916. Териоки.

Милый Костя, откровенно говоря, я не ждала от Вас такого ласкового, искреннего письма. Я тоже хочу Вас увидеть! Может быть, Вы приедете в августе, до начала занятий? Нынче родители моей Леночки предлагали мне проехать с ней по Волге, но я отказалась.

В Ваших дружеских чувствах я никогда не сомневалась, а уж в моих Вас уверять мне не нужно. Так вот, милый друг, что я скажу Вам... Задумалась и забыла. А будто что-то очень важное хотелось сказать... Нет, не могу вспомнить.

Сейчас тихо. Уже около одиннадцати, а я пишу без огня. Через открытое окно сильно пахнет табаком и рожью. И на душе светло и тихо. Вот что! Я должна написать Вам, где я и что со мной. Слушайте же, то есть читайте. Я переутомилась за зиму, хотя устроена была очень хорошо, пила кефир и вообще питалась великолепно. «Слишком много нервных потрясений»,— сказал врач и отправил меня на абсолютный покой в Финляндию, в Териоки (но купаться строго запретил, о чем я горюю и все-таки купаюсь). Сняли мы с Леночкой комнату и живем вдвоем очень недурно. Плохо только, что все дорого — курорт. Я живу самостоятельно, веду какую-то статистику коров. Работу эту мне предложил отец Леночки. С ней я, конечно, уже не занимаюсь. Она девушка милая, остроумная, вечно меня смешит, пичкает невероятно, чтобы я потолстела, а когда я купаюсь, вытаскивает меня из воды. Хорошо плескаться, берег песчаный. Но, разумеется, хуже, чем в Ялте, и море, по сравнению с Черным, кажется большой неподвижной лужей. Не удивляйтесь моей орфографии, я так переутомлена, что забываю самые обыкновенные слова, а в музыке потеряла ритм. Это особенно неприятно. Леночкин брат, Дмитрий, о котором я вам, кажется, писала, недурно играет на виолончели, и зимой мы с ним часто устраивали музыкальные вечера. А теперь ничего не получается, потому что я слышу ритм, а следовать ему не могу. Ну вот, опять уклонилась!

Живу я тихо, ни с кем не знакомлюсь. Читаю довольно много. Радуюсь маленьким радостям. Работаю. Вот на днях, например, был счастливый вечер. Как вы думаете, отчего? Увидела на фоне сочно-зеленой поляны ковер с ярко-пестрым рисунком, повешенный на жердь, а за ним, вдалеке, сосны еще догорали в красках заката. Я подумала: «Хорошо жить!» Принялась писать его и решила, что плохо.

Пишите, буду очень ждать.

1.VII.1916.

Дорогой мой, я хочу рассказать Вам об интересном знакомстве. На этюдах я познакомилась с одним старым художником, умнейшим и интереснейшим человеком. Он высокий, костлявый, ходит быстро, так что даже я не поспеваю за ним на своих длинных ногах, резок, категоричен и одновременно добр и прост, как ребенок. Зовут его Иван Яковлевич Рейнгарт. Когда мы познакомились, он спросил: «Это имя вам ничего не говорит?» А когда я замялась, прибавил: «Не волнуйтесь, мне — тоже». Знает он все и вся и рассказывает

великолепно. В живописи, как он серьезно доказывает, главное — нахальство. Уже передвижники, по его мнению, были нахалами, и только поэтому им кое-что удалось. Мирискусники, несмотря на всю их благовоспитанность, тоже нахалы и «своя своих тащи», а что касается разных там «Бубновых валетов» и «Ослиных хвостов», это уже просто громилы и все, как на подбор, огромного роста. «Так что у вас, барышня, ничего не выйдет,— сказал он задумчиво.— Вы корректны, а на арену надо вылезать в некорректном виде».

Узнав, что я занимаюсь у Яковлева, он заметил, что мне это дорого встанет, а когда я пошутила, что плачу в студию только рубль за сеанс, буркнул: «Обойдется дороже». По его мнению, мирискусники уже сыграли роль в свое время, и немалую, а теперь им ничего не остается, как доказывать, что они «не такие». Нужно же что-то отрицать! А чтобы не протянуть ноги, им надо еще и притворяться, что, отрицая, они «вбирают» в себя все новые направления — отсюда и выставки, на которые они приглашают «левых». «Воображаю, какие чудеса самообладания показывает наш благовоспитаннейший Мстислав Валерианович, когда он имеет дело с этими нахалами»,— сказал он о Добужинском. Но среди нахалов много талантливых, например Машков,— и они еще себя покажут.

Очень интересно он говорил о рисунке. «За первое десятилетие XX века художники всего мира старались разучиться рисовать. Матисс был первоклассный рисовальщик, но и он приложил все усилия, чтобы отделаться от своего искусства. С точки зрения публики, он вдруг стал рисовать, как дети. А на деле он учился тому рисунку, который был нужен для его живописных идей».

Я слушала его развесив уши. Ничего похожего никогда не говорил мне Яковлев, который, вместо того чтобы объяснить мою ошибку, поправлял ее, иногда без единого слова.

— Если хотите научиться чему-нибудь, милая барышня,— поезжайте в Париж,— сказал, прощаясь, Рейнгарт.— А здесь вы только одному научитесь — не уметь работать. И математику свою вы, с моей точки зрения, оставили совершенно напрасно. Кстати, она, может быть, пригодилась бы вам и для живописи.

Каково? Вы даже представить себе не можете, милый Костик, тот сумбур, который царит в моей бедной, запутавшейся голове.

19.VIII.1916. Териоки.

Сегодня море ворчливое и угрюмое, это бывает редко. Утром я сидела на берегу и гадала: если волна обежит задуманный камешек — осенью мы увидимся с Вами. Море долго заставило меня ждать, я почти потеряла надежду. И все же сжалилось в конце концов — лизнуло камешек и ушло. А я рада, рада! Значит, я увижу Вас осенью. Да? Пишите же скорее.

Телефонограмма. 23.VIII.1916. Казань. Константину Павловичу Карновскому. Просит Вас увидеться необходимо Тураева была телефонограмма. Они остановились у Приклонских, дом Окачурина.

29.VIII.16. Пароход «Владимир Мономах».

Любимый мой, я думаю только о тебе. Тебе смешно, что к чувству счастья примешивается изумление, но это правда, я не понимаю, что опять случилось со мной. Какое чудо заставило меня мгновенно забыть ту необъятную, черную зиму?

Сегодня утром в мою каюту посадили девочку-горбунью, десяти лет. Она долго молча следила за мной.

— Чему вы улыбаетесь, тетя?

— Счастью, моя душенька.

— А вы знаете много сказок?

— Не очень. Рассказать?

Целый день я рассказывала ей сказки, и все о нас, о тебе. То мы бродили где-то под снегом, то стояли у открытого окна и смотрели на гроздья глициний. Спокойной ночи, мой милый. Завтра допишу. Твоя и твоя. Я много рисовала в *дороге*...

Доброе утро! Вот мы уже подходим к Перми, я ее вижу. Пиши мне. Целую тебя.

10.IX.16. Пермь.

Числа пятнадцатого еду Казань соскучилась целую.

19.IX.16. Казань.

Милый мой, а ведь ты был неправ вчера, упрекая меня за Дмитрия. Во-первых, упрекать пока еще не за что, а во-вторых... О, во-вторых, в-третьих и в-четвертых, если бы мне пришло в голову упрекать *тебя,* на это ушли бы все наши божественные дни в Казани. Мне захотелось понравиться Дмитрию из озорства, а может быть, немного от скуки, и, скажу откровенно, я ничуть не жалею об этом. И то сказать — я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием! Мне нравится, что за его столичностью и европейским всезнайством чувствуется чисто русская беспечность и даже бесшабашность. Кроме того, он прекрасно играет на виолончели. На наши музыкальные вечера иногда приходит сам Алексей Павлович, который мне тоже нравится, и даже больше, чем Дмитрий. К сожалению, с ним кокетничать нельзя, потому что Гаянэ Давыдовна очень ревнива. Словом, возвращаю тебе твои неожиданные упреки, тем более что к твоей «теории свободной любви» они совсем не идут.

13.X.1916. Петроград.

Душа моя, прости за молчание. Вот уже полторы недели, как я в Питере,— и еще не написала тебе. Мой бедненький зяблик, ты, наверно, замерз без своей куртки? Я не писала потому, что приехала в Питер совершенно больной. Простудилась, устала, а настроение прекрасное. Не гордись. Ты знаешь, что значат для меня наши встречи.

Теперь о куртке. Цены — от 14 до 25 рублей. Первые, конечно, менее изящны. Выбор большой. Так вот, решай. Жду тебя с нетерпением в Питер. Целую твои серые невинные очи.

28.X.16. Петроград.

Друг мой нежный! Так рада каждой твоей строчке. Вчера была с Розалией Львовной у общих знакомых. Сказала ей, что ты приезжаешь. Теперь ведь скоро, да? Жизнь в Питере течет по-старому. Война почти не чувствуется. Привычны стали плакаты, призывы к пожертвованиям и т. п. И когда в трамвае слышишь, что вот, мол, здесь такая погода, а каково-то в окопах,— делается неловко до слез. Об этом теперь нельзя говорить. Надо молчать или биться головой о стену. В особенности наскучили мне рассуждения снобов. Голос совести тонет в этом претенциозном шуме.

А в воздухе, без сомнения, назревает что-то большое. Искры срываются, и только кажется, что они гаснут в темноте. Были беспорядки на Выборгской, были столкновения солдат с полицией. На Бестужевских — забастовка в знак протеста: 50 матросов отданы под военный суд в Кронштадте за нежелание воевать.

Настроение у меня... Ну, что тебе сказать? Такого невнимания к себе я не запомню. Это осталось с нашей последней встречи. Живу как живется и лишь иногда прислушиваюсь к этой подозрительной легкости с тревогой.

Была на днях у врача, и он сказал, что я совсем здорова.

Шура сдает государственные. До скорого свидания. Я еще напишу. Сейчас тороплюсь на почту.

Петроград. 1916

...Город шел рядом с ней, как во сне,— дождь, мягкий стук копыт по деревянной мостовой, дамы под зонтиками, продававшие значки Красного Креста на Садовой, где она снова села в трамвай. Она ехала к Гориным, Леночка ждала ее, и ей захотелось плакать, когда она представила себе этот трехчасовой урок, который на две трети состоял в том, что она уговаривала Леночку заниматься. Теперь рядом был запах мокрых пальто в трамвае, фальшивый разговор о том, «каково-то сейчас нашим солдатам в окопах»,— и снова Костя, обещавший ей приехать с первым снегом. Просыпаясь, Лиза прежде всего подходила к окну и смотрела на небо. Снег никогда не пойдет, рождество не наступит, он не приедет...

Она ошиблась. Леночка знала урок, они быстро покончили с математикой и принялись за французский. Пришел Дмитрий в модном, высоко застегивающемся пиджаке, стриженный бобриком, в пенсне, посидел, послушал и сказал, небрежно растягивая слова:

— Лизанька, вы говорили, что интересуетесь византийским искусством? Сегодня Успенский читает лекцию. Хотите поехать со мной?

— В котором часу?

— В половине второго.

Лиза интересовалась византийским искусством, но она условилась встретиться в мастерской с одной мужеподобной девицей, которая хотела показать ей свои рисунки.

— Может быть. Но тогда я должна сперва заехать в мастерскую. Кроме того, мы еще час должны заниматься с Леной.

У обоих были умоляющие лица — у Лены, может быть, потому, что она торопилась на свидание. Дмитрий еще совсем недавно небрежно поиграл бы пенсне и ушел, а теперь сидел и терпеливо слушал, как сестра, путаясь, спрягает французские глаголы.

Лизе вдруг стало весело. Она еще немного помучила обоих, потом отпустила Лену, удобно уселась в кресло и сказала Дмитрию:

— Ну-с?

Он хотел поцеловать ее, она отстранилась.

— Нет.

— Почему, Лизанька? Ведь вчера...

— Вчера я была влюблена в вас. Вы отлично играли Грига. А сегодня дождь, плохая погода, я поскользнулась на Морской, ушибла колено, и вообще нельзя, потому что сегодня нельзя. Мне нужно в мастерскую, потом к Риккерту или Вольфу. Хотите поехать со мной? А оттуда на лекцию вашего Успенского. Идет?

У Риккерта не нашлось книг, о которых просил Костя, приказчик сказал, что Шевандье можно выписать из Парижа, пришлют месяца через два. Дмитрий убедил ее согласиться.

— А зачем вашему знакомому Дюваль? Он же, кажется, математик?

— Ну и что же? Я — тоже бывший математик, а вот ведь иду же с вами на лекцию по византийскому искусству?

Они приехали за полчаса, и Лиза, любившая университет, с удовольствием прошлась по длинному коридору, неровно гудящему от разговоров, от смеха, от шагов проходящих студентов. У пятой аудитории, где должен был читать Успенский, уже толпились, ждали.

Семидесятилетний Успенский с круглым лицом и круглой рыжеватой бородкой (Дмитрий сказал, что он похож на всю русскую интеллигенцию сразу) начал не с Византии, а с византологии. Кому передать ее? Найдутся ли среди нового, незнакомого поколения молодые люди, которые примут из его рук это наследие?

Слабый голос окреп, старое лицо разгорелось, и Лиза представила себе Византию — светящиеся бело-восковые овалы вокруг красных язычков свечей, стены храма в теплом блеске мозаик. Тяжелые золотые одежды покачиваются на священниках торжественно и пусто. Везде эмали — фиолетовые, оранжевые, черные, зеленые — и на этих одеждах, и в убранстве икон, с которых глаза святых смотрят пристально и неподвижно.

— Необычайно замедлен ритм истории,— говорил Успенский.— Столетиями пишется золотой фон, заменяя реальное, трехмерное пространство...

Где-то далеко и близко был Дмитрий, смотревший на нее влюбленными глазами,— и на мгновенье ей почему-то стало до слез жалко его.

Он не слушал Успенского. А она слушала — с закрытыми глазами.

— Может быть, это слишком смелое сравнение,— говорил Успенский.— Но Крумбахер писал, что византийское богослужение напоминает ему театральное действо, возносившее душу к небесам и сурово наказывавшее ее, когда она не желала возноситься.

Теперь ее Византия была не только таинственным соединением мерцающих, оплывающих пятен, которые медленно поднимались в темный, тоже мерцающий купол. Теперь ее Византия пела: желтый, как осенняя листва, пел настойчивый желтый цвет, беспокойный красный звучал, как альт, синий — низкий звук виолончели — вторил ему задумчиво и осторожно.

2.XI.1916. Петроград.

Милый друг, доволен ли ты моей покупкой? Обежала чуть ли не все магазины в Питере — и не нашла коричневой. Есть свитера, но ты ведь хотел с застежками? Не удивляйся, что куртка пахнет керосином, это — предосторожность от моли. Поскольку я, как друг, сочувствую твоим похождениям, советую ее предварительно проморозить. Впрочем, на свете есть, может быть, женщины, которых волнует запах керосина. Я к ним не принадлежу. Книгу Шевандье я выписала для тебя из Парижа.

Ты написал, что приедешь с первым снегом,— и никогда еще так остро не ненавидела я эту затянувшуюся осеннюю слякоть! Неужели на небе царит такая же несправедливость, как на земле, и голос женщины ничто для господа бога?

P. S. Вчера не успела отправить письмо. Сегодня выпал снег. К твоему приезду его будет много.

20.XI.16. Петроград.

Костенька, милый! Как грустно, что ты отложил свой приезд! И Шура разочарована, она на декабрь уезжает домой. Ты ведь знаешь, как мне хочется вас познакомить. Есть и другая, более важная причина. По-видимому, вскоре я брошу заниматься с Леночкой, придется вновь устраиваться, и по этому поводу мне необходимо посоветоваться с тобой. Ты знаешь, что я давно полюбила ее и всю семью Гориных, так же как они — меня. Я окружена всевозможным вниманием — и все было бы хорошо, если бы у меня появилась хоть маленькая возможность расплатиться за эти заботы. Но это невозможно. Леночка не только не хочет заниматься, но некоторым образом феномен в этом отношении. Сколько раз я отказывалась, теряя терпение. Вчера вновь было объяснение с Гаянэ Давыдовной, и дело чуть не дошло до слез. Она умоляла меня подождать. Не знаю, что делать. Алексея Павловича берегут, с ним о таких вещах не говорят, а Дмитрий только пожимает плечами. Очевидно, надо переломить себя и продолжать занятия. Но... Несносное «но»! Оно касается моего внутреннего, более чем печального, состояния. Единственная путеводная звездочка — твой приезд, но и этим близким будущим я живу как-то безнадежно. Может быть, потому, что в твоих объяс-

нениях мне все чудится какая-то посторонняя, не зависящая от тебя причина.

Энергия моя — как керосиновая лампа, которую я то слишком припускаю, пока она не начинает коптить, то прикручиваю почти до полного замирания. Ничего мне не надо. Разве немного ласки, как наркоза. Доходила — и не раз — до мысли о самоубийстве, да все оттягиваю. Надо подумать. Ну, полно! Я совсем забыла, ведь ты любишь, когда я весела. Напишу лучше о живописи, она одна поддерживает меня...

В мастерской — много интересного, особенно когда бывает Добужинский (Яковлев вернется в декабре). В последний раз он исправлял композиции. Тёмы были такие: 1) Бег горя, испуга и отчаяния. 2) Сон без движения. 3) Страшный сон... Я работаю и работала бы еще усерднее, если бы меня не тревожили время от времени беспокойные мысли. Вот одна из них: так ли уж отличается «Мир искусства» от передвижников, которые считаются в нашей студии заклятыми врагами? Конечно, отличается: более тонкое отношение к рисунку, артистичность и, что особенно важно,— открытие таких великанов, как Рокотов и Левицкий. Но ведь оба направления, хотя и в неравной мере, основаны на «рассказе». Я пробовала «рассказывать» любимые вещи Добужинского — не только выходит, но одно время было моим любимым занятием. Кстати сказать, подогревает эти кощунственные соображения тот самый маленький сборничек со статьями Аксенова и Аполлинера, о котором я тебе как-то писала.

Читаю Микеланджело и Леонардо. И еще моего любимого, необыкновенного, нежного Чехова — это тоже одна из сторон моей души.

Сегодня идет снег, мне хочется, чтобы он шел и в Казани. Может быть, ты болен, скрываешь это от меня и потому отложил свой приезд? Может быть, и тебе смутно, тоскливо? Я хочу, чтобы ты никогда не забывал, что есть на свете друг, которому дороги все твои радости и печали. И не беда, если этот друг... Снова забыла! Все хорошо.

30.XI.16. С.-Петербург.

Дорогой мой, никогда я не думала, что придет время, когда мне до зарезу понадобится твоя холодность, твоя трезвость — все, что я так не люблю в тебе и к чему — я это чувствую — ты себя принуждаешь. Не знаю даже, как и назвать то, что происходит со мной... Ты знаешь, сколько сил и упорства отдавала я живописи? Если есть во мне что-нибудь цельное, нетронутое — это любовь к живописи, радовавшая уже и тем, что всегда помогала мне внутренне сосредоточиться, «вернуться к себе». Так вот, я бросила мастерскую и ушла, хотя Добужинский хвалил мои последние работы.

Трудно рассказать в письме, как это случилось. В общем, так. Давно уже я стала мучиться ощущением, что мы где-то «в пригороде» на тихой улице, до которой едва доносится шум отчаянной схватки между художниками всех направлений. Не раз приходило мне в голову, что главное — там, а в нашей студии, устроенной по образцу «сво-

бодных парижских студий», все и происходит «по образцу», а своего, то есть самостоятельного,— мало. Так вот, теперь я убедилась в том, что занималась не живописью, а живописью «по поводу», стало быть, не только не работала до сих пор, а даже еще не приблизилась к работе.

Пишу тебе с темной головой, после трехдневных споров, сумасшедших, начавшихся в доме одного коллекционера, с которым меня познакомил Дмитрий Горин. Он давно звал меня посмотреть это собрание (владелец — некий мануфактурист, подражающий Станиславскому и действительно чем-то на него похожий). Я отговаривалась, может быть инстинктивно. Но вот согласилась — и боже мой, что обрушилось на меня, какой странный, уродливый, сдвинутый, ослепительный мир! Собрание строго современное, состоящее главным образом из бубнововалетцев. Спор начался сразу, потому что я с первой минуты накинулась на рассчитанную наивность, на подражание вывескам в картинах Ларионова и Гончаровой. Перед Татлиным мы с Дмитрием только что не подрались, в особенности когда он стал доказывать, что «угловые и центровые контррельефы» обогатили живопись, потому что «надо искать выход по ту сторону холста». Тут же он сравнил Татлина с византийскими иконописцами, на том основании, что и они разрабатывали живописную поверхность, «не заботясь о сюжете, который повторялся столетиями и не имел для них никакого значения». Я ничего не поняла из всей этой абракадабры, но когда мы вернулись к Гончаровой, передо мной действительно мелькнул «иконописный» угол зрения, хотя я не нашла ничего общего между Татлиным и ею. И не Дмитрий с его византийской ученостью помог мне, а одно воспоминание, детское, еще допансионских лет. Я — в церкви, где самый воздух окрашен светом лампад, вечерней зарей, проникающей через полуприкрытые окна. Окрашено все — струящийся дым ладана, мерцающая утварь, странная, женская, золотая одежда священника. «Царские врата» окружены картинами, и другие врата, справа и слева, устроены среди картин. Везде, куда ни взглянешь, картины, иконы. Они — ни для чего, они не могут быть другими. И нужно, чтобы их было много, потому что все вместе они составляют новую, громадную, во всю стену картину. Темно поблескивающие лица, серебряные ризы, оставляющие открытыми лица и руки.

Это чувство детского изумления вспомнилось мне перед картинами Гончаровой. Вспомнилась мне и она сама на московском диспуте «Бубнового валета» — серьезная, стройная, строгая — и ее слова о том, что в искусстве важно не только «что» и «как», но и «зачем». Не «по поводу», а «во имя».

15.XII.1916. Петербург.

Снег валит хлопьями, а тебя нет как нет. Не надо думать, что я сваливаю на тебя всю вину своей неудачной любви. Если бы ты приехал, ты мог бы остановиться в комнате Шуры, она уехала, и Кузя уезжает на днях. Сегодня я во сне получила телеграмму о твоем приезде.

17.XII.1916. Петроград.

Сколько долгих ночей провела я, мечтая о нашей встрече, и в ответ два слова, которые, как ножом, полоснули меня по сердцу. «Меня бог любовью наказал»,— повторяю я слова Гамсуна. За что? Не знаю...

Зачем лгать перед собой и перед Вами, что я в силах переносить этот «холодный кипяток», это солнце, которое светит и не греет? Вы «любите и не разлюбите»? Так любят игривого котенка.

Не пишите мне больше, это будет лучшим доказательством Вашего доброго ко мне отношения. Все хорошо, ничего не изменилось. Вы улыбаетесь, читая это письмо? Ваша правда, в нем есть нечто смешное.

Пожалуйста, верните мои письма, которые Вам, без сомнения, не нужны.

Е. Тураева.

Карновский

Константин Павлович вырос в мещанской семье на Большой Проломной улице, в двухэтажном грязном доме, населенном главным образом еврейской беднотой. В дальнем левом углу двора был колодец, а в середине — знаменитая уборная, о которой репортеры неоднократно помещали негодующие заметки в газете «Город Казань».

На полугоре под кремлем был толчок, и почти все обитатели дома торговали на этом толчке старым платьем, обувью, москателью, чем придется — в лавках, в ларях, под белыми зонтиками, вразнос. На ночь они прятали товар в сундуки, запирая на замок, а сундуки обматывали цепями.

Отец Константина Павловича держал «полулавку» со старым железом — и самоварные трубы, рогачи, топоры, лопаты, подковы, обручи на бочки, инструменты долго казались мальчику особенным товаром, без которого уж никак нельзя обойтись.

Толчок загибал в ворота Гостиного двора, и здесь, в стороне, под стеной, старый сумасшедший еврей Попка Именитов, бородатый, в русской рубахе навыпуск, с румяным круглым лицом, строил огромный деревянный велосипед, на котором собирался поехать в обетованные места. Он строил его весело, сияя детскими, навыкате голубыми глазами, и маленький Костя подолгу смотрел, как, напевая, он что-то подтягивал и подкручивал... Колеса, спицы, седло — все было деревянное, к железу он относился с презрением. Костя случайно оказался на толчке, когда работа была закончена. Причесанный, в подпоясанной рубахе, Попка громко прочитал какую-то молитву, сел на велосипед и отправился в свой путь. Велосипед съехал со взгорья и развалился. И с острым, болезненным чувством смотрел Костя, как гогочущие босяки мигом растащили его по частям, как, отойдя в сторону, молча смотрел на них сумасшедший и вдруг упал на землю, обхватив голову руками. Костя помог ему, довел до дому.

Что было для него в этой запомнившейся на всю жизнь истории? Неужели он верил, что придет время, когда старый городской сумасшедший доедет на своем велосипеде до обетованных мест? Нет, конечно, нет: в близких дружеских отношениях между Лавровым и Карновским этот «деревянный велосипед» был синонимом независимого от действительности стремления настоять на своем.

Семья была большая, каждая копейка высчитывалась, записывалась. Керосин полагалось расходовать не больше чем по бутылке в неделю, а когда однажды отец застал его читающим в постели при свете огарка, он бросил книгу в печку, а его, полуголого, выгнал на двор зимой.

В доме и полулавке был порядок, по воскресеньям выстаивали в Николо-Гостинодворской церкви полную службу, пост соблюдался строгий, но раза два в месяц отец запивал — и тогда все были виноваты, а больше всех семья и соседи. Соседей он ненавидел. И ничего не переменилось, когда он умер в 1899 году. Напротив, «как при отце» стало мерилом, хотя при отце жили в унижении, в постоянном страхе.

Костя кончил городское четырехклассное училище и поступил в контору мыловаренного завода братьев Крестовниковых, где уже работали два его старших брата. Младший, Петр, бегал в приказчиках, а Леонид сидел в бухгалтерии «на высоком стуле».

Братья жили в Плетенях, рядом с Татарской слободой, у бабушки Матрены Вавиловны, и каждому из них она готовила отдельно. Костя, получавший 15 рублей в месяц, не мог тягаться с Леонидом, а Леонид — с Петром. Так случалось, что Костя ел суп на «Петином мясе», а кашу — на «Лёнином сале».

Здесь было не то, что на Большой Проломной,— зелено, свежо! В отгороженной части двора был маленький сад — две анисовки, пудовка и китайка, куст крыжовника и строчка малины.

Зимой, просыпаясь, Костя слышал, как бабушка в одном платье, повязав голову теплым платком, отгребает снег от калитки,— так начинался день, который он проводил в конторе завода, записывая в расчетную книгу заработки рабочих за две недели. Кончался день чтением — он увлекся им еще в приходском училище. Он читал, а бабушка, грея спину у печки, жаловалась, что легкие у нее в «бураке» оторвались и болтаются.

Она была маленькая, сухонькая. Одним словом она умела так окрестить человека, что прозвище оставалось за ним на всю жизнь. «Королева Мопс» — назвала она одну толстую величественную торговку овощами, и все Плетени стали называть торговку Королевой Мопс.

25.XII.1916. Симбирск.

Дорогая Лизочка, я, конечно давно поняла, что ты — с фантазиями, но все-таки не представляла себе, что эти фантазии могут завести тебя так далеко. Сколько раз я тебе говорила, что нет на свете того Карновского, которому ты пишешь свои сумасбродные

письма. Понимаешь ли, нет! Ты его придумала, наградила бог знает чем — и умом необыкновенным, и какой-то особенной душевной тонкостью и красотой, а потом без памяти влюбилась в свое создание. Между тем он — заурядный, самовлюбленный эгоист с наклонностями вампира, и только. И из-за него ты хвораешь, ходишь с распухшей физиономией, пьешь бром? Этот бром меня особенно взбесил, так что Кузя уже приготовил для меня смирительную рубашку!

И чепуху ты несешь о его загадочной двойственности. Никакой двойственности у него нет и следа. Он — человек практический и холодный. Вот такие-то холодные — и мастера доводить женщин до безумия, это известно. И вся его теория о свободной любви придумана для единственной цели — не жениться, чтобы никто не помешал ему наслаждаться жизнью. Я тебе голову даю на отсечение, что он не поехал в Питер, потому что в Казани у него другая и ему не хотелось на святках с ней расставаться.

Насчет же того, что все это у него «здание, придуманное головой, а не сердцем», и что в один прекрасный день оно «рухнет»,— красиво, Лизочка, но туманно, туманно! Почему рухнет? Ничего не рухнет! И белиберду ты пишешь, что он «способен на неожиданный шаг». Как же, дожидайся! У него эти неожиданные шаги заранее рассчитаны с точностью до одного вершка.

И потом, ты меня извини, но это положительно не укладывается в сознании. Ты пишешь: «Я давно и непоправимо оскорблена не Карновским, а собой, своими жалкими попытками удержать его». Просто уму непостижимо! Да кто же тебе велит оскорблять себя? Свет клином, что ли, сошелся на твоем Карновском? Порвала с ним — и слава богу. И выкинь его из головы, я тебя умоляю. И не сердись на меня за прямоту, иначе не умею.

Теперь насчет Дмитрия. Я его знаю мало, ты соблаговолила только два раза мне его показать. Но и этого вполне достаточно, чтобы сказать, что он тебя любит. И не только любит, а предан всей душой. И ты в него влюблена, пожалуйста, не удивляйся! Иначе, чем в Карновского, но влюблена, влюблена! Между вами — сужу по твоим же разговорам — подлинная, а не придуманная душевная близость. Ты о нем рассказывала с восторгом.

У меня от него беглые впечатления, но он мне очень понравился, очень. Скромный, прекрасно воспитанный, внимательный и не лезет со своей ученостью, а все объясняет спокойно и просто. Интересы у вас общие, ты сама говорила, что знакомство с ним помогает тебе в понимании искусства, Византии и пр. Я, как ты знаешь, плохо разбираюсь в этих вещах, но раз уж ты сделала глупость и бросила математику, так именно Дмитрий поможет тебе выбраться в люди.

Конечно, весьма вероятно, что ты и в замужестве не перестанешь дурить. Так и дури себе на здоровье! Ему не разрешай, а сама дури, раз уж у тебя такой характер. Но вообще — решай, Лизочка. Ты уже не девочка, вспомни! Решайся, пока он, как Подколесин, не выпрыгнул из окошка.

Целую тебя. Пиши. Твоя *Шура*.

Вчера гадала на тебя, и вышел бубновый король на сердце — прекрасная примета.

Мать ходила поджав губы, старший брат поссорился с ним — и все-таки Костя настоял на своем. Частный поверенный Фомин, у которого он стал работать, взяв расчет на заводе, предложил ему стол, квартиру и десять рублей в месяц на оплату учителей. Костя решил сдать экстерном за пять классов гимназии.

На толчке, на Большой Проломной, в семье, на заводе жизнь была неприкрытой, грубо-откровенной, прямой. Теперь она обернулась к нему другой стороной — прибранной, фальшиво-красноречивой. С утра до вечера он занимался тем, что помогал Фомину придать ей вид приличия, благопристойности, соответствия закону. Он научился различать лжесвидетелей по рангам, соответствующим оплате,— профессиональных и нанятых на случай. Взятки брали почти все, начиная с председателя судебной палаты, но были начальственные лица, которые отказывались брать прямо в руки, а только через родных или знакомых.

Когда выяснилось, что адвокат — запойный пьяница, и не тихий, а блажнóй, сочиняющий драму, Костя понял, что ничего не будет — ни подготовки в гимназию, ни самой гимназии, ни университета, о котором он осмеливался мечтать. Вдруг слетали со стола все прошения, жалобы и акты, посетители напрасно стучались в квартиру. Лександра, старший брат Фомина, отвечал, что «их высокоблагородие господин коллежский секретарь в отъезде», а господин коллежский секретарь в кальсонах и туфлях на босу ногу, маленький, вдохновенный, с картофельным носом и шлепающими губами, ходил из угла в угол и диктовал Косте драму «В золотой паутине Москвы».

Она начиналась с бесконечного разговора между дворником и кухаркой по поводу хозяйки Амалии Карловны, у которой провел ночь некий владелец мебельного и зеркального магазинов.

Дальше дело не шло, с каждым новым запоем автор возвращался к началу, хотя и говорил, что, если бы ему удалось окончить пьесу, она имела бы адский успех.

Запой кончался, работа возобновлялась — и не по три-четыре часа в день, как было условлено, а с утра до вечера. О десяти рублях, обещанных на подготовку в гимназию, не было и речи.

...Мало было стать необходимым — это-то ему легко удалось! Костя свободно печатал на пишущей машинке. Еще в городском училище он научился мастерски владеть любыми шрифтами, начиная с полуустава шестнадцатого века. «Прошения, на высочайшее имя приносимые» писались от руки на дорогой веленевой бумаге, и чем изысканнее был шрифт, тем надежнее было положительное решение.

Надо было все переделать в этом грязном распавшемся доме, стать его хозяином, взять его в свои руки.

Так началась дуэль между шестнадцатилетним мальчиком и опустившимся, спившимся, но ловким дельцом, который не только

знал жизнь, но был принадлежностью этой грязной, продажной, бесчеловечной жизни. Записывать под диктовку его драму Костя вдруг отказался — и Фомин только горько усмехнулся, но промолчал, стерпел. В дни запоя адвокат требовал, чтобы лампа-молния, висевшая в их общей комнате, горела особенно ярко,— Костя, ложась спать, стал прикручивать ее. Сошло и это. Он стал молчалив, после четырех-пяти часов работы уходил из дому без разрешения, с учебником в руках, куда-нибудь в Державинский садик.

Наконец, когда очередной загул был в разгаре, произошло то, что окончательно определило их отношения.

Это было ночью. Костя только что прикрутил до полутемноты лампу-молнию и собрался уснуть, сунув под подушку книгу, когда адвокат вошел, почему-то в одной длинной ночной рубашке. Он держал веревку в дрожащих руках.

Костя прикрыл глаза. Это была, конечно, комедия. Фомин часто грозил, что он повесится, и Костя на всякий случай держал под матрацем нож, чтобы перерезать веревку. И теперь он был почти уверен, что Фомин либо знает, что Костя еще не уснул, либо нарочно старается его разбудить.

С грохотом толкнул он табурет к стене, в которую был вделан крюк, оставшийся от висевшего когда-то здесь канделябра. Он укрепил веревку на крючке, сделал петлю. Лампа мигала, и он подкрутил фитиль, чтобы озарить сцену более ярким светом. Потом решительно, хотя и с дрогнувшей челюстью, полез на табурет и накинул петлю на шею.

Костя широко открыл глаза, и они встретились взглядами. Это была минута, когда он понял, что все останется по-прежнему, если он вскочит, станет кричать, уговаривать... Он не пошевелил и пальцем. Молча смотрел на Фомина, который стоял на табурете с петлей на шее и, казалось, вот-вот оттолкнет его тощей голой ногой. Наконец, пробормотав: «А, черт!», он снял петлю, хватил полстакана водки и завалился спать.

Все переменилось на другой день. Баба, нанятая Костей, мыла и прибирала квартиру, а он искал и находил водку в шкафах, в голландских печках, в пальто, висевших на вешалке, в старой рухляди на антресолях. Он выливал ее в уборную, а Лександра ходил за ним и умолял оставить для него хоть пару бутылочек тайно от брата. Сам Фомин, тихий, виноватый, сидел в столовой, раскладывая пасьянс «Наполеон» и напевая приятным, негромким баритоном:

Я вновь пред тобою стою, очарован,
И в ясные очи гляжу...

Лександру, который был превосходным шорником, специалистом по лакировке карет, побывавшим даже в Америке, на первых автомобильных заводах, Костя устроил на работу. До тех пор он с утра до вечера спал в кухне на печке да бегал для брата за водкой. По совету бабушки Матрены Вавиловны была нанята приличная женщина для ведения хозяйства.

5.I.1917.

Шурочка, ты неправа, Карновский сложнее, чем тебе кажется. Своего решения — не связывать себя — он никогда от меня не скрывал. Его независимость — выстраданная (не то что моя, хотя и моя досталась не даром). Понятно, что он ею дорожит, иначе и быть не может. Я твердо решила покончить с нашими отношениями, я возвращаю ему письма, не распечатывая, и все же в глубине души сознаю, что он не виноват. Ни в своей холодности, ни в безумии, которое охватывает меня при одном его появлении. Но довольно о нем. Все хорошо.

Итак, ты думаешь, что я влюблена в Дмитрия? Если бы! О нашей душевной близости нечего и говорить! Мы понимаем друг друга с полуслова. Я не знаю, кто сделал для меня больше, чем он. У него оригинальный вкус, в живописи он умеет отличать подлинную новизну от показной, внешней. Ум у него гибкий, свободный — и если я с ним иногда скучаю, в этом виновата я, а не он. Он хочет, чтобы я стала его женой, и не раз говорил со мной об этом. Я просила подождать — и он, разумеется, согласился.

Бром уже не пью, но чувство опустошенности осталось, оно не мешает мне работать — теперь уже не в мастерской, а у Гориных, которые устроили мне настоящую студию в своей двухэтажной квартире.

Снова стала заниматься с Леночкой, которая, кажется, взялась наконец за ум.

Из дому — грустные вести. Умерла любимая сестренка Машенька, моя крестница, ей не было еще и пяти лет. Отец ранен, лежит в госпитале. Его отправят в тыл, еще не знаю куда. Жду телеграмму. Брат Саша по-прежнему на передовых, изверился, измучился. Темное, тяжкое время! Целую тебя. Пиши.

Твоя Лиза.

Образ жизни установился теперь в новом виде, вполне подходящем для Кости: для адвоката он работал только до обеда, а все остальное время готовился к экзаменам за пять классов гимназии.

Вот тогда-то и начался тот отсчет времени, о котором впоследствии писала ему Лиза. Как будто в нем самом были спрятаны часы, которые — тик-так — не позволяли ему потерять и минуту напрасно. Ему казалось, что он продолжает заниматься даже во сне, бессознательно спрягая французские глаголы. Впрочем, он почти не спал.

В мае 1907 года он был принят в шестой класс Третьей гимназии. В шестой класс! Третьей гимназии! Третья гимназия всегда особенно нравилась ему, может быть, потому, что стояла в стороне от шумных улиц, в большом старом саду.

Ему было тогда восемнадцать лет, и первое время он чувствовал себя неловко среди подростков. Потом привык — и все стало вровень. Он знал больше, чем они, и стал помогать, не подсказывая, а занимаясь с ними в свободное время.

Так началось преподавание, которое сразу же поставило его на ноги. Он мог теперь уйти от «коллежского секретаря» с его запоями,

бракоразводными процессами и пьесой «В золотой паутине Москвы». Он переехал на Госпитальную, где жила мать с сестрами и маленьким братом. Он кончил гимназию, поступил в университет, и скоро в городе узнали, что для подготовки на аттестат зрелости нет лучшего преподавателя, чем Карновский...

5.I.1917.

Костя, я получила письмо от Лаврова. Он просит, чтобы я помирилась с Вами, что Вы в отчаянии, и очень расхваливает Ваш математический талант, которого по моей вине может лишиться наука. Это было бы, конечно, просто катастрофой! Надеюсь, что не Вы продиктовали ему это письмо? Он пишет, что Вы не в силах вообразить свою жизнь без дружеской близости между нами. Попытайтесь! Ведь у Вас сильная воля. Но если Вам так уж важно писать мне — пишите. Не посетуйте, однако, если я буду редко отвечать на письма. Я очень занята. Всего хорошего.

Е. Т.

Семью он тянул, и это было трудно, потому что дом вела мать, строгая, с мещанской враждой к «чужим», замучившая старшую сестру, так и не вышедшую замуж, и не пускавшая на порог жену старшего брата. Дети называли ее на «вы». «Как при отце» еще существовало. Но Костя, устраивающий жизнь по собственному разумению, был как бы вне этой атмосферы.

Он все держал в своих небольших крепких руках, и когда началась война, в его жизни почти ничего не изменилось. В армию его не взяли по близорукости, потом, в 15-м, когда ему осталось только сдать государственные, все-таки чуть не взяли — его год давно уже был под ружьем. Но на него смотрели в университете как на будущего Лобачевского, ректор хлопотал о нем перед министром народного просвещения, и ему продлили отсрочку.

...Когда на гимназическом балу в Перми, куда пригласили его родители Лаврова, он увидел Лизу впервые — что-то розовое, белое, с широко расставленными то зелеными, то серыми глазами,— он не придал этой встрече никакого значения. Больше всего она была похожа на ее же собственный подкрахмаленный передник. Но она была и строгой, и грациозной, и смелой.

Первое слово, которое Константин Павлович прочитал, было «нозепарт» — название табачной фирмы «Трапезон»: он прочитал его справа налево. Вот так же — справа налево — читалась жизнь, когда он виделся с Лизой. Вдруг его охватывало неудержимое желание рвануться куда-то в сторону от своего рассчитанного по часам и минутам существования. Он не узнавал себя в редкие дни этих встреч. В свете ее изящества, искренности, беспечности он начинал чувствовать опасную легкость, опасное соседство какой-то непреложной истины, которая была сильнее всей его математики и не требовала никаких доказательств. Вдруг пропадала утомительная

необходимость постоянно, неустанно заботиться о своей «гамсуновской» свободе. Гамсун был тогда его богом. Все перестраивалось, все летело — и как-то косо, отвесно летело...

И вдруг его охватывал страх. Расставаясь с Лизой, он начинал чувствовать себя не принадлежащим самому себе. Казань, семья, университет, наука, весь тот порядок вещей, который он устраивал годами, раскачивался, как во время землетрясения. Именно в эти дни он писал Лизе особенно холодные, сдержанные письма.

10.I.17. Петроград.

Ты мог бы не возвращаться к тому, что произошло между нами. Я верю тебе и — зачем притворяться — скучаю без нашей прежней, разумеется, дружеской близости. Но встречаться нам не надо, не надо. Ничего не вернется. Да и зачем?

Л. Т.

Город был переполнен беженцами, каждый день прибывали раненые, началась эпидемия оспы и скарлатины. Лавров и Карновский работали в студенческих санитарных дружинах, в комитетах помощи беженцам — и оба испытывали странное чувство выхолощенности, никуда не ведущего разбега, когда все, кажется, приведено в движение и с роковой неизбежностью проваливается в пустоту.

Газеты свирепо язвили мародеров, негодовали по поводу «мартышек»-комиссионеров, среди которых появились — это было новостью — молодые изящные дамы, жаловались на дороговизну. Устраивались сборы — «Солдату к рождеству», «Белый цветок», «Фургонный» — в пользу беженцев. «Георгиевскому кавалеру». Университетский праздник. Девятое ноября, когда, прошатавшись по городу целый день безобразной толпой, студенты пьянствовали в популярном «Чигорине», а выходя, катали по Рыбнорядской пустые бочки, был отменен в этом году. Тем не менее Карновский провел этот вечер с Лавровым в том же «Чигорине». Они никогда не говорили о женщинах — это было молчаливое, строго соблюдавшееся условие. Но Карновский чуть было не заговорил — и, когда Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, горько пожалел, что не заговорил.

Это была не только усталость, хотя и усталость, подкрадываясь незаметно, подчас укладывала его в постель с мучительной головной болью. Отсчет времени, стучавший чуть слышно, вдруг начинал бить, как колокол, от которого хотелось убежать, притаиться, не слышать. Он был основан на другом, всепроникающем, охватывающем всю жизнь отсчете.

Деньги! Еще в детстве для него в деньгах было что-то загадочное. Тогда, случалось, он с изумлением рассматривал двугривенный, размышляя о том, каким образом он превращается в керосин, хлеб, водку. Теперь он, как перед стеной, останавливался перед мыслью, что завтра деньги заставят его делать то, что он делал вчера. Кроме

женской гимназии он вел две группы девушек, которые весной должны были держать на аттестат зрелости, и давал уроки по математике и латыни в богатой татарской семье.

20.I.1917. Петроград.

Нет, ни о чем не жалею. Да ведь и то сказать, мы расстались не с пустыми руками. Ты ушел в науку, я — в живопись. Еще в прошлом году Дмитрий подарил мне книгу Шарля Диля о Византии — и я не могла оторваться от нее, рассматривая эти широко открытые глаза, эти танцующие фигуры, эти дивные, как бы неловкие позы, эти ломающиеся складки одежды на длинных телах.

Осенью мы с Дмитрием были на лекции академика Успенского, знаменитого византиниста, и тогда передо мной впервые мелькнул тот «иконописный» угол зрения, который, может быть, поможет мне наметить (хотя бы в воображении) свой, особый путь в живописи. Ты не знаком с работами Ларионова, Гончаровой, бубнововалетцев, и мне трудно объяснить тебе, в чем заключается этот путь, хотя Дмитрий, которому я показала свое письмо, любезно согласился приложить к нему небольшое эссе, посвященное новейшей живописи. Я поблагодарила и — не посетуй — отказалась. Он очень занят.

Так ты просишь университет дать тебе командировку в Питер? Ну что ж, приезжай. Кстати и повидаемся, если найдется время.

Е. Т.

Никому, ни при каких обстоятельствах Карновский не признался бы в своем душевном разладе. Только от Лаврова — и это было счастьем — он ничего не скрывал. Но Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, и Карновский не мог ему рассказать, что он первый послал Лизе письмо (после их новой ссоры) и что это письмо вернулось нераспечатанным, вложенным в конверт, надписанный незнакомой рукой. Он долго вертел в руках этот конверт, не веря глазам.

Они ссорились часто, Лиза не раз жаловалась, что в ответ на ее письма он окатывает ее «ведром холодной воды, да еще с сосульками». В прошлом декабре, когда он посоветовал ей «найти себя», переписка прекратилась. Но стоило ему через два-три месяца послать ей несколько ласковых слов — и все началось сначала.

Не распечатать его письмо? Вернуть его без единого слова?

Он решил, что это ошибка. Он написал ей вновь, обдумывая каждую фразу. Он мягко выговаривал за долгое молчание. Он просил объяснить очевидное недоразумение. Старания пропали даром. И это письмо вернулось в Казань, небрежно сложенное пополам в конверте, на котором было размашисто написано на этот раз Лизиной рукой: «Его высокородию Константину Павловичу Карновскому».

Карновский готовился к государственным, не оставляя преподавания и уроков. Изматываясь, он сохранил всю видимость сдержанности, подтянутости, вежливости.

...В самом воздухе было разлито неуверенное, еще беспомощное стремление прочитать жизнь справа налево. Угроза срыва чувствовалась во всем — и, может быть, больше всего в упорном стремлении сохранить существующий порядок вещей. Дамы-патронессы из профессорских жен по-прежнему продавали в университетском буфете бутерброды с колбасой, в которой было теперь больше картошки, чем мяса, студенты-белоподкладочники по-прежнему занимали дам, красуясь мундирами, точно взятыми напрокат из театрального гардероба. Встречаясь с Константином Павловичем в гимназии, девочки ныряли в глубоком книксене — точно так же они ныряли, без сомнения, при Александре Втором.

Лавров вернулся. Карновский попросил его написать Лизе и, наконец, получил от нее иронический, почти оскорбительный ответ.

Но не ирония, не обидное предположение, что он продиктовал свое письмо Лаврову, задели его. Он почувствовал в ее ответе чье-то влияние, чью-то направляющую твердую руку. Кто-то был рядом с ней, кто-то внушил ей — быть может, непроизвольно — это равнодушие, эту трезвость.

Карновский не только никогда не испытывал чувства ревности, но с презрением относился к тем, кто страдал от этого чувства. Из его «теории свободной любви», о которой он полушутливо-полусерьезно писал и рассказывал Лизе, ревность, как «явление зоологическое», исключалась. Совместная жизнь, если в ней возникала потребность, понималась как «свобода вдвоем». Он шутил, что когда-нибудь на его могиле благодарное человечество воздвигнет памятник с надписью: «За сознательное отношение к любви». Теперь эта сознательность, столь же определенная, как прежде, почему-то перестала ему помогать. «Чувство любви никакому рациональному контролю не подлежит и не нуждается в оправдании»,— когда-то написал он Лизе. Теперь она могла вернуть ему эту мысль.

Были дни, когда ему казалось, что она легко, почти без усилий, забыта. Были дни, когда в его напряженной, рассчитанной по минутам жизни не оставалось места для Лизы. Были дни, когда ему удавалось переломить себя, приказать себе не думать о ней. Но неизменно она вновь возникала в сознании, и рядом с ней — смутная петербургская мужская фигура, в длинном модном пиджаке, почему-то с моноклем в глазу, хотя Лиза никогда не писала, что Дмитрий носит монокль.

Конечно, это был он, он! В последнем письме она упоминала о нем едва ли не в каждой строчке! Она нарочно обидела его, предложив, чтобы Дмитрий послал ему небольшое «эссе» по вопросам искусства. Еще в сентябре, после их последнего свидания в Казани, она откровенно призналась, что «ей захотелось понравиться Дмитрию из любопытства, а может быть, немного от скуки». И потом: «Я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием».

Когда Карновский работал в санитарной дружине, ему случалось слышать жалобы на сильную боль в отрезанной руке или ноге. Сравнение поразило его своей подлинностью. То, что он испытывал

теперь, относилось к отрезанной, ушедшей в прошлое полосе его жизни. Но именно против этого-то и восставала его «не подлежащая рациональному контролю» душа. Каждый день, ложась в постель, он с изумлением, с досадой, почти с бешенством думал о том, что происходит или уже произошло в Петрограде.

И еще одно: он редко виделся с Лизой, но у него всегда было ощущение, что она где-то рядом, почти под рукой. Теперь она отдалилась, ушла в затененное, отгороженное от него пространство, точно обвела себя магическим кругом. И к ревности (он больше не обманывал себя) присоединилось ощущение пустоты, холода, бессмысленного мельканья связанных с ним людей и обстоятельств.

То, что он поедет в Петроград, он решил сразу же после ее первого письма, в котором она была так поразительно на себя непохожа. К тому времени, когда он получил второе и третье, поездка была почти подготовлена. Он убедил профессора Маврина, предложившего ему остаться при университете, поговорить с ректором о командировке. Повод был тщательно обдуман — на кафедре математики Петроградского университета в теории функций действительного переменного были достигнуты любопытнейшие результаты.

27.I.1917. Петроград.

Carissime! [1]

Первым долгом посылаю тебе мое благословение. Будь прилежен, почитай родителей и наставников, ведущих нас к познанию блага, и усердно трудись над своей «эстетической топологией», в коей ты, надеюсь, после моего внезапного исчезновения, сделал большие успехи.

Не скрою, что в Питере мне более всего не хватает именно тебя. Ты уж, конечно, лег бы под колеса моего «деревянного велосипеда», на котором я лечу с неслыханной быстротой в неизвестном направлении.

Мой милый стоик, история не так уж сложна, чтобы затрудняться изложить ее на бумаге. Она, в сущности, заключается в четырех словах, вполне исчерпывающих мое состояние: «Я счастлив, как никогда». Dixi [2]— и на душе стало как-то спокойнее.

Остается рассказать тебе по порядку, что случилось со мной в Петербурге. Начну с того, что Лиза встретила меня на вокзале и отвезла в семейство Кауфманов, о котором она мне не раз писала. Люди милые, симпатичные, хотя хозяйка дома способна заговорить до полусмерти. Старшие братья — на позициях, их комната сдается, в ней-то я и пребываю на полном питании вот уже четвертый день.

Так-то, брат. Ну-с, а теперь речь пойдет о моем, споткнувшемся на ровном месте, благоразумии. Во-первых — Лиза. Как тебе известно, она всегда была хороша — недаром же Ваше Стоическое Величество

---

[1] Дражайший *(лат.)*.
[2] Сказал *(лат.)*.

признавалось мне, что в ее присутствии почва некоторым образом уходит из-под Ваших августейших ног. Но прежде это было нечто вроде пушкинского:

Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей.

А теперь ее красота стала уверенной и, так сказать, знающей себе цену. Во-вторых, опять-таки — Лиза. Дело в том, что она и внутренне изменилась. В ней появилось право располагать собой, то есть она как бы заработала самое себя, если можно так выразиться. В частности, я убедился в том, что был прискорбно неправ, выговаривая ей, да еще свысока, за то, что она бросила математику. Она, конечно, прирожденная художница, человек искусства, а не науки.

Дело опять-таки не только в том, что она au courant[1] всего, что творится в живописи. С ходу, не давая мне опомниться, она обрушила на меня все теории, споры, драки и едва ли не поножовщину, которая идет между враждебными направлениями. Так много было говорено на выставках, в музеях, в доме Гориных, где она живет, что ты со своим слабым здоровьем испугался бы за пищеварение. Но шутки в сторону. Уйдя с головой в живопись, она стала писать так, что даже и мои невооруженные глаза увидели, насколько она продвинулась за год.

Показывала она мне свои работы в присутствии всего семейства Гориных, проживающих в роскошной двухэтажной квартире, где я, рожденный на брегах быстроводной Казанки, должен был бы, казалось, почувствовать себя казанским сиротой. Но, представь себе, не почувствовал! И даже вступил в спор с Дмитрием Гориным, полупрофессором и византинистом. Это — личность высокоученая, рыжеватая, с интересной бледностью, с ослепительным воротником накрахмаленной рубашки и несколько томным взглядом, более свойственным женскому полу. Говорили о Византии. Так как я в этом предмете еле можаху, ничего не оставалось, как заявить, что никакого византийского искусства не было и не могло быть, поскольку вся духовная жизнь была опутана бесовскими кознями и проникнута обещаниями адских мук. «Откуда же могло взяться искусство? — спросил я, с удовольствием замечая, что мой высокоученый собеседник с изумлением таращит на меня глаза.— Если в этой вашей благословенной Византии на женщину смотрели, как на сосуд соблазна и орудие беса? Откуда же взяться искусству без женщин?»

Лиза расхохоталась, и спор закончился отличным обедом, за которым я, кстати сказать, убедился, что она в этом европейском, петербургском, профессорском доме чувствует себя по-королевски свободно. Вот и это тоже показалось мне неожиданным. Такой я ее никогда прежде не видел.

Vita mea[2], все это я тебе пишу неспроста. Ты догадываешься, без сомнения, о причине, упомянутой в первых строках сего письма?

---

[1] В курсе *(фр.)*.
[2] Жизнь моя *(лат.)*.

Теперь читай и постарайся поверить глазам своим. Лиза едет в Самару, чтобы навестить отца, который ранен и лежит там в госпитале. Я уговорил ее остановиться на несколько дней в Казани, чтобы я мог познакомить ее с мамой, сестрами, братом — словом, с моими. Еще ничего, разумеется, не решено, хотя мама знает о наших отношениях и еще недавно спрашивала меня, где та худенькая барышня, у которой подозревали чахотку. Я ответил, что она здорова теперь, после полугода, проведенного в Ялте.

Я знаю, ты скажешь, что невозможно вообразить в нашем доме Лизу, с ее искренностью и прямотой, Лизу, которая по-своему практична, не теряет времени даром и вместе с тем способна на неожиданности, которые могут показаться более чем странными не только в нашей семье, но и вообще в Казани. Согласен! Почти невозможно. Но ведь я всю жизнь занимался превращением этого «почти» в нечто вполне определенное — вот тебе новый случай доказать, что многолетний опыт не пропал напрасно.

Что касается моей «командировки», скажу тебе только, друг мой Николаша, что мы с тобой — невинные девушки в сравнении с тем, что сделали в Питере ляпуновские питомцы. Но об этом при встрече.

Твой К.

Лиза

Проездом в Казань она провела в Москве три дня, и все эти дни, слившиеся в один, были для нее острым, непрекращающимся откровением. Она и прежде не раз встречала Ивана Ивановича Реутова, преподавателя Строгановского училища, длинного лысого человека, любившего говорить о том, что в Москве живопись и все вокруг живописи — совсем другое, чем в Петербурге. Его-то она и застала у тети в первый день приезда — и разговор был вытягивающий душу, резиновый, однообразный: в Петербурге такой скромный человек, как Анна Васильевна (Лизина тетя), не станет покупать живопись, а у нее — извольте видеть — на стенах этюды, которые впору увидеть в музее. (У тети был только один хороший этюд, левитановский, который она купила на посмертной выставке.) В Петербурге картины покупаются как предмет обстановки, и если у какого-нибудь действительного статского висит Богданов-Бельский, другой действительный статский из кожи лезет вон, чтобы и его гостиную украшал именно Богданов-Бельский. Словом, в Петербурге: «У меня — как у такого-то». А в Москве: «Хоть я и не такой-то, а у меня — по-своему, не так».

Но вот договорились — доползли до французской живописи, и оказалось, что этот скучный Иван Иванович не только знаком с Сергеем Ивановичем Щукиным, но может устроить посещение его галереи.

Отправились на следующий день, предварительно выслушав от Ивана Ивановича длинное рассуждение о том, что и публика в Москве совсем другая, чем в Петербурге. В Петербурге — воспитанная в из-

вестных традициях и как бы не забывающая, что Эрмитаж принадлежит министерству двора. А в Москве смотрят на картину как на произведение искусства, и публике безразлично, кому она принадлежит.

Он надеялся, что Сергей Иванович сам покажет им свое собрание. К счастью, этого не случилось — он был в отъезде,— к счастью потому, что тетя говорила вздор, от которого даже вежливый Иван Иванович беспомощно хлопал глазами, а Лиза... То, что она увидела, напомнило ей, как это ни странно, летний день прошлого года, когда она отправилась в Симбирск навестить родных. Вдвоем со своей пятнадцатилетней кузиной она поехала в большой лодке на ту сторону Волги. Они сразу взяли много вверх, но сильный ветер по течению стал их сносить. Вдруг все затмилось вокруг, Волга покрылась беляками, ударил гром, дождь полил ведрами, и девочка, которая боялась грозы, кинулась к ней с плачем. Тут надо было все делать сразу — и успокаивать ее, и грести что было сил, и править веслами все равно куда, лишь бы против течения! Мокрые до нитки, обессилевшие, дрожащие, они наконец добрались до берега, где жил, километрах в двадцати от Симбирска, один знакомый бакенщик.

С этим-то чувством беспомощности, растерянности, изумления тащилась она из одной комнаты в другую. Иван Иванович умно рассказывал о темной палитре Курбе и серебристой — Коро, шутил, что между Моне и Мане — различие далеко не в единственной букве, долго объяснял, откуда у Ренуара «фарфоровая легкость мазка»,— она слушала и ничего не понимала. Ей нужно было только одно — выгрести к берегу под грозой, а гром оглушал ее в каждой комнате — Сезанн, Дега, Гоген, Ван Гог. Потом наступил Матисс, как наступает тишина или ночь, точно чья-то могучая рука взяла ее за шиворот, как кутенка, и с размаху швырнула в этот танцующий под музыку, прозрачный магический мир.

Иван Иванович говорил что-то о музыкальном аккорде, который состоял из зеленого и голубого фона, дополненного телесным цветом фигур, о том, что Матисс воспользовался самой белизной холста, «чтобы придать оттенкам своеобразную шелковистость»,— она не слушала и не слышала. Она разобрала только, что Матисс, оказывается, пять лет тому назад был в Москве и помогал Щукину развешивать его картины.

Она ушла с таким чувством, как будто в ее жизни произошло событие, всего смысла которого она еще не могла понять. Как в детстве, когда она на пари, не мигая, смотрела на солнце, перед ее глазами плыли лиловые, красные, зеленые, золотистые пятна.

С этим чувством она слушала тетю, которая много и интересно рассказывала о войне, о воздушном бое, который ей случилось видеть своими глазами, об эпидемии сыпняка, о газовых атаках, против которых нашим трудно устоять. С этим чувством, ни на минуту не оставлявшим ее, она провела оставшиеся дни в Москве.

Город был зимний, сверкающий на солнце, заваленный снегом, который никто, кажется, не убирал. Лиза впервые была в Казани зимой. Но изменилось, кажется, только время года: она невольно

засмеялась, когда, встретив ее на вокзале и проводив в Щетинкинские номера, Костя извинился и сказал, что его ждут в женской гимназии. Он тоже засмеялся и ушел, сказав: «Semper idem» [1].

Но он был совсем не «semper idem», хотя не прошло и двух недель с тех пор, как они расстались в Петербурге. Он похудел, щеки запали, на носу стала видна горбинка, которую она прежде не замечала. Веки были припухшие, может быть, от усталости. Он был бледен, несмотря на мороз. Он был... Приводя себя в порядок после поезда, Лиза искала и не находила слова. Он был какой-то *загнанный* — и она почувствовала это через десять минут после того, как он кинулся к поезду и подхватил ее с последней ступеньки вагона с ее чемоданом.

Лиза думала об этом, когда пришел Лавров,— вот что действительно не изменилось! Когда Костя был занят и Лиза оставалась в Казани одна, он посылал к ней Лаврова.

— Смотрите, пожалуйста, догадался,— сказал Лавров, показывая на цветы, стоявшие на столике у кровати.— И откуда только он достал их зимой? Еще одно доказательство того, что прямая — не всегда кратчайший путь между двумя точками. Кажется, он наконец убедился в этом. Лиза, а вам не страшно выходить за будущего Лобачевского?

— А я еще ни за кого не выхожу. Так вы думаете, что Костя — будущий Лобачевский?

— Едва ли,— подумав, ответил Лавров.— Но у него бывают забавные догадки. Это обнадеживает. Словом, вам придется туго. Вы завтракали?

— Да, в поезде. Мне не хочется есть.

— Тогда пойдемте гулять. Погода по Пушкину: «Мороз и солнце, день чудесный».

В маленьком книжном магазине Лиза купила книгу Морозова, которую не могла достать в Петербурге. Она называлась «Откровение в грозе и буре» и стоила дорого, полтора рубля. Лавров, который читал ее, пошутил, что это — книга об облаках и что посидеть, глядя на небо, часа два-три на скамейке в Державинском саду обошлось бы дешевле.

— Да, вам придется туго,— повторил он задумчиво,— но есть другая возможность. Выходите за меня.

Оба засмеялись. Лавров лихо выгнул узкую грудь и по-гусарски подбил усики. Усиков, впрочем, не было.

— Вы подумайте, прямой расчет. Семейная жизнь — хлопотливая штука. А мы можем жить в разных городах, видеться два раза в год или, если вы заняты, еще реже. Не переписываться и с благодарностью вспоминать, что не мешаем друг другу. Ведь для женщины сознание, что она — замужем, важнее, чем замужество. Ну, как?

— А вы не думаете, что нам стоило бы обсудить ваше предложение с Костей?

— Ни в коем случае. Это опасно.

---

[1] Всегда такой же *(лат.)*.

— Для вас?

— Нет, для вас. Он может согласиться.

Лиза засмеялась.

— Должна вас предупредить, что нам придется жить не только в разных городах, но в разных странах. На другой же день после окончания войны я еду в Париж.

Они шли по Рыбнорядской, у многих лавок стояли очереди, приказчик в длинном белом переднике поверх пальто отпускал рыбу, мусоля карандаш и делая отметки в продовольственных книжках. Среди женщин, закутанных, озябших, жалких, стоял какой-то смуглый солдат в распущенной нерусской шинели.

— Военнопленный,— сказал Лавров.— Очевидно, мадьяр. А вот здесь в этом году открылась студенческая чайная. Хотите зайти? Вы не замерзли?

— Нет.

— Значит, в Париж? Зачем? И почему не в Лондон?

— Потому что в Париже живет Матисс, у которого я хочу учиться.

Лавров вздохнул.

— Увы! Я никогда не слышал о Матиссе. Это хороший художник, да? Вот вы променяли математику на живопись. Это разумно, хотя среди женщин нет, кажется, ни хороших математиков, ни хороших живописцев. Но Париж! Сразу после войны? Война кончится через три года.

Они вернулись в номера, на Большую Проломную, и прождали Костю еще часа полтора.

Наконец он пришел, веселый, замерзший, с заиндевевшим поднятым воротником шинели, и с этой минуты все стало совершаться только для того, чтобы поскорее кончился этот день, с его обедом на Госпитальной и «смотринами», которых Лиза ничуть не боялась. Но все шло своим порядком. Ничего нельзя было изменить, и оставалось только искать маленьких утешений, которые помогли бы ей дожить до вечера, когда они останутся одни. Утешения были: они ехали на извозчике, полсть с разорванной петлей соскальзывала с колен, и Карновский, придерживая полсть, крепко, нежно прижался к Лизе. Всю дорогу он грел дыханием и целовал ее руки.

— Соскучился?

И он ответил по слогам:

— Смер-тель-но.

По деревянной обледенелой лестнице они спустились в овраг, вдоль которого вилась Госпитальная. Что-то завороженное было в заборах, терпеливо согнувшихся под тяжестью снега, в ослепительных сосульках, свисавших с кривых желобов, в домах, как будто утонувших в тишине, в белизне. Карновские жили в одном из них, приглядистее других, но с крыльцом без перил.

Девочка лет пятнадцати, в форменном платье епархиалки, открыла дверь, сделала книксен и сказала чуть слышным голосом:

— Здравствуйте.

— Сестра Катя,— сказал Карновский.

Они разделись в прихожей. Другая, постарше, показалась в дверях и тоже сделала книксен:

— Здравствуйте.

— Сестра Нина,— сказал Карновский.

Девочки постояли. Видно было, что у них захватило дух.

Потом, когда Лиза и Карновский сидели в комнате, которая была, очевидно, и столовой, и спальней — у стены стояла железная кровать,— вошел и что-то пробормотал басом лохматый, похожий на Карновского гимназист в форменной рубашке и высоких солдатских сапогах.

— Брат Федя.

Гимназист ушел, и сразу же пришла, сухо поздоровалась и стала накрывать на стол Анна Игнатьевна — крупная, с грубыми руками, в очках, с твердым лицом. На ней было длинное желто-зеленое платье в полоску, с широкими, отороченными стеклярусом рукавами, и белочерные, плетенные в клетку, ботинки. Потом, за обедом, Лиза подумала, что Анна Игнатьевна ненавидит ее уже за то, что ради нее ей пришлось надеть эти платье и ботинки, пролежавшие, должно быть, лет десять в комоде.

Лиза рассказывала Карновскому о щукинской галерее, он слушал с тем веселым вниманием, которое она любила и которым он всегда отзывался на все, что было для нее интересно. Но когда пришла мать, в их разговоре появился оттенок напряжения.

К столу долго не звали, и он стал показывать Лизе квартиру. Она удивилась: в комнате девочек на столе лежали скроенные кальсоны. Девочки молчали, потупясь, с потрясенными лицами, и Карновский объяснил, что это их доля в подарках, которые казанская епархия посылает на фронт.

Он жил в смежной комнате, с братом, который вскочил с кровати, когда они вошли. Над письменным столом висела литография врубелевского «Пана». «Твой подарок»,— ласково сказал Лизе Карновский. Он снова был насторожен, но теперь по-другому. «Боится, что мне не понравится здесь»,— с нежностью подумала Лиза.

Пришел, запыхавшись, Лавров и принес вино.

— Самодельное, но не ханжа! — с торжеством объявил он.

Позвали к столу.

На этом вине, которое Анна Игнатьевна едва пригубила, когда Лавров в шутливо-высокопарных выражениях предложил выпить за Лизу, на его же болтовне, которую слушали, преодолевая желание, владевшее, по-видимому, всеми — встать и уйти,— и прошел этот тягостный, бесконечный обед. Вино было плохое, но, действительно, не ханжа.

— Милые мои, на ханжу у меня не хватило бы финансов!

Ханжа стоила от шести до десяти рублей шкалик, коньяк — тридцать рублей бутылка.

И Лавров заговорил о дороговизне, потом о призыве ратников второго разряда, потом о военнопленных — земство требует военнопленных для работы в деревне, а город согласился отдать только девятьсот человек.

Вдруг, ни к селу ни к городу, он рассказал о том, как прошлым летом он был на кондициях в семействе сошедшего с ума заводчика, готовил на аттестат зрелости двух его сыновей. На столе, за которым собирались родные, врачи, какие-то приживалы и приживалки, стояло громадное блюдо жареной стерлядки. Это был обед. Ели молча, и только стерлядку. Разговаривать запрещалось. Едва кто-нибудь начинал говорить, сумасшедший поднимал на него налившиеся кровью, бешеные, страдающие глаза.

Лавров вдруг замолчал, смутился. Что-то прошло между всеми. Карновский стал тереть рукой лоб — и Лиза перехватила его сдержанный взгляд. Ее «смотрины» были чем-то похожи на этот обед, о котором рассказал Лавров. В желто-зеленом полосатом платье, в бело-черных шахматных ботинках, неподвижная, угловатая, прямая, с поджатыми губами, с взглядом из-под очков, от которого кусок застревал в горле, за столом сидела Анна Игнатьевна. И Лиза, как на белом листе бумаги, прочитала все ее мысли. В то время как говорили о дороговизне, о ханже, о том, что немцы будто бы применяют какие-то «летаргические пули» — из дула вылетает облачко газа, лишающее сознания на два-три часа,— о Распутине, о смерти императора Франца-Иосифа, Анна Игнатьевна думала с отчаяньем, с ужасом, что сын уходит от нее, дом рушится, она остается с тремя детьми, которых еще надо поставить на ноги. Она думала неотступно, безнадежно, злобно, что во всем виновата эта барышня, долгоногая, глазастая и чахоточная! Костя врет, что в Крыму она выздоровела, на свою голову врет!

Наконец кончилась эта мука, этот обед, за которым девочки не получили жаркого: Анна Игнатьевна бережно разделила между ними супное мясо.

Вышли вместе. Лавров простился, и Лиза заметила, что Карновский ласково выше кисти сжал его руку.

Он проводил Лизу в гостиницу. Был пятый час, до вечера далеко. Но она больше не ждала вечера с прежним нетерпеливым радостным чувством. Когда Карновский ушел — у него было еще два урока,— она расшнуровала и сняла ботинки, сбросила платье и прилегла в капоте с книгой в руках. Она поленилась встать, чтобы задернуть занавески, и от окна шел постепенно темнеющий снежный розовый свет.

Она наудачу раскрыла книгу Морозова: «И не будет в тебе ни звуков играющей арфы, ни поющего голоса, ни трубного гласа, ни музыки тех, что играют на свирелях и других инструментах,— прочитала она.— И не будет в тебе ни художника, ни художества, и шума жерновов уже не будет более слышно в тебе». Какое предсказание! «Так будет же»,— подумала она упрямо.

Автор толковал Апокалипсис, последнюю книгу Нового завета. Она раскрыла книгу в другом месте, загадав теперь не на себя, а на Костю. «И в то время, как животные четырех времен года прославляют и превозносят его, сидящего на троне, двадцать четыре старца-часа поочередно преклоняются перед ним». Она засмеялась: «А ведь это и вправду о Косте! Уроки!»

Она была еще там, на Госпитальной, где Анна Игнатьевна бродит из комнаты в комнату, держась за сердце, в отчаянии — из-за нее! Испуганные девочки забились по углам, мрачный лохматый гимназист, которому все равно, читает роман графа Амори — он читал эту книгу, когда они вошли. Господи, что же делать?

В номере было душно. Может быть, от цветов? Она встала и переставила цветы со стола на окно. «Может быть, Костя должен был сказать матери, что все останется, как прежде».

Почему-то она вспомнила, как после пансиона поехала к отцу в Воткинский завод и нашла отца в только что снятой квартире, которая была чем-то похожа на квартиру Карновских. Он был один, мачеха еще не приехала, и Лиза принялась за устройство квартиры. Как отец был благодарен ей, как ласков, как счастлив и горд, что она кончила пансион с золотой медалью! Она с трудом отговорила его — он непременно хотел показать эту медаль и ее аттестат своим офицерам. В первый раз она тогда разглядела его — мягкого, доверчивого, заставляющего себя становиться другим, бравым, несмотря на свою мешковатость, строгим, несмотря на доброту, которая так и светилась в его розовом, немного бабьем лице. Потом приехала мачеха, чем-то похожая на Анну Игнатьевну, но не сдержанная, а крикливая, требовательная, мещански самоуверенная — и вот тогда-то он по ее настоянию сжег Костины письма. Странным образом все это связалось с обедом на Госпитальной, с чувством искусственности, насилия, несвободы. Свобода была там, в не оставлявшем ее воспоминании о щукинской галерее.

Она закрыла глаза, и голые танцующие фигуры — дикие, свободные, как будто, кроме них, никого нет на земле и никто им не нужен — стали кружиться перед ее глазами. Матисс! Радостно вздохнув, она вспомнила чувство ритма, объединявшего эти фигуры. Их окружала прозрачность. Казалось, что они написаны на стекле. От них невозможно было оторваться.

Но вот она заставила себя уйти от Матисса и с размаху кинулась в совсем другой, деревенский, разноцветный мир. Гоген! Коротконогие коричневые девушки, почти голые, с яркими цветами в волосах, смотрели на нее, легко дыша. Они были свободны! Они были доверчиво просто, беспредельно свободны. Боже мой! Без сковывающей неизвестности, без необходимости объяснений!

Она почти не спала в поезде и вдруг уснула сразу легко, точно окунулась в прозрачную воду. Сквозь мысли и воспоминания она старалась понять что-то очень важное — и поняла наконец, облегченно вздохнув. Самое важное был Париж, похожий на повисший в воздухе разноцветный шар. От него шли прозрачные стрелы света. Он покойно дышал на головокружительной высоте над пиками готических зданий.

В полусне она слышала, как пришел Карновский, с поднятым воротником шинели (он не носил кашне), в запотевших очках (он давно сменил пенсне на очки). Он скинул шинель, задернул занавеску. Она следила за ним из-под полуопущенных ресниц с вдруг перехваченным от волнения горлом.

— Спишь? — негромко, ласково спросил он.

— Нет. Иди сюда. Садись.

Он поцеловал ее.

— Подожди. Слушай: на другой день после окончания войны я еду в Париж. Горины обещают дать мне взаймы. Я хочу учиться у Матисса.

Она проснулась рано — и вчерашний вечер прошел медленно перед ее глазами, точно он терпеливо ждал ее пробуждения. Может быть, они не поссорились бы, если бы она не сказала, что Дмитрий предложил денег на поездку, на жизнь в Париже? Может быть, Костя был прав, доказывая, что самая мысль об этой поездке оскорбительна, ничтожна в то время, когда идет тяжелая, грозящая поражением война, мародеры грабят страну, епархиалки шьют для солдат кальсоны и женщины с двух часов ночи становятся в очередь за тухлой рыбой? В то время, как она сама едет к отцу, тяжело раненному на фронте.

Да, Костя прав. Но ведь это была даже не надежда, а попытка надежды. Он не должен был расправляться с этой попыткой так беспощадно, так сурово. Нет, здесь было что-то еще, совсем другое, может быть, случившееся с ним уже после обеда на Госпитальной. Она почувствовала это даже в минуты, когда они остались, наконец, одни в тишине, в темноте. А потом вдруг этот спор, этот раздраженный тон, эта неожиданная, изумившая ее грубость, от которой у нее перехватило дыханье. Да, что-то случилось. Семейный скандал? Ложное положение, в котором он не хотел признаваться?

Она встала, умылась, оделась, раздвинула занавеску, и в номере все похорошело — мебель, грубо раскрашенная под орех, выгоревшие синие шпалеры. Утро было розовое, свежее, с играющим светом. Лиза надела пальто, постояла перед зеркалом; пальто было старое, немодное — теперь носили в талию, с накладными карманами, с широкими, отделанными мехом рукавами. Она с досадой подумала об этом.

На Большой Проломной она позавтракала в кафе и пошла куда глаза глядят — Костя должен был забежать в двенадцать, после урока у каких-то богачей Муралеевых. Этот урок никак нельзя было пропустить.

...Замужем, что за странное слово! Шура вышла замуж, она была на ее свадьбе в Симбирске, и для нее все было ясно на десять, на двадцать лет вперед. Для нее все было ясно, потому что она хотела стать принадлежностью мужа, разделить с ним его, быть может, ничтожную жизнь. Зато она «замужем», за-мужем, не одна, а за-мужем. И Лиза будет не сама по себе, а «за-мужем». Она станет его уроками, его экзаменами, его университетом, в котором он считается будущим Лобачевским. Она будет «за», «при», «около», «возле». Их близость станет такой же повседневной, обиходной, как университет и уроки.

Она пришла в кремль и постояла у Сююмбекиной башни, зимней, грустно изукрашенной снегом. Потом спустилась вниз и по уличкам, по тропинке, вдоль заиндевелых заборов прошла на Попову гору.

Татарин — разносчик тканей, в круглой шапочке, с аршином в руках, встретился ей.

— Барышня, хороший товар есть, бархат, кашемир, сатин есть. Покупай, барышня, не пожалеешь.

Она покачала головой. Они едва разошлись на тропинке.

И, может быть, он не поехал бы в Петроград, если бы она не возвращала его письма, если бы не отказалась от него навсегда, как она писала ему. Это было вспышкой — его решение поехать в Петроград и все, что там произошло между ними. Вспышка пройдет через год или два. И будет Казань, и снова Казань. И Анна Игнатьевна, которая не пустит ее на порог. И Художественное училище, в которое он вчера советовал ей поступить, доказывая, что по-своему Фешин нисколько не хуже Матисса.

...Теперь она была на Рыбнорядской, где открывались лавки и лари, стояли очереди и бродили пугливые, озверевшие, тощие собаки. Кто-то говорил, кажется Лавров, что на Рыбнорядской всегда было так много собак, что один переулок так и назвали — Собачьим.

Почему-то она вспомнила самодельные гипсовые тарелочки с бумажными цветами, висевшие на стене в комнате девочек, плетеные скатерти и накидочки из кружков в столовой. И где-то еще аккуратную, выпиленную лобзиком полочку, на которой стояли подобранные по размеру книги.

«Все это не он, не он,— подумала она.— Но и гипсовые тарелочки будут где-то «около», «возле».

Они не поссорились бы, если бы она не сказала, что Дмитрий предложил ей денег на поездку в Париж. «Ах, так? И на жизнь? — спросил он с той неторопливостью, которая должна была показать, что он совершенно спокоен.— Каким же образом ты рассчитываешь вернуть долг? Или ты надеешься на быстрый успех в Париже?»

Может быть, это ревность? С какой злостью он еще в Петрограде сказал о Дмитрии, что при всей его учености в нем чувствуется российское шалопайство!

И с раскаяньем, вдруг остро охватившим ее, Лиза стала думать о Дмитрии, о его преданности, о дружеской близости, которая стала теперь привычной для них. О том, как много он сделал для нее, какое единственное, неоценимое место занял он в ее жизни. Как посмела она скрыть от него, что сговорилась о встрече с Карновским?

Но странным образом к чувству раскаянья, сожаления примешивалось какое-то совсем другое, необъяснимое чувство. Она не хотела, чтобы Дмитрий ждал ее в Петрограде. Она не только не хотела бы сейчас увидеть его, но не могла представить себе, когда ей захочется его увидеть. Она вспомнила его молящие глаза с большими ресницами, узкие, слабые руки. Тогда, в августе, когда он сделал ей предложение, Лиза просила его подождать. Теперь она отказалась бы.

...Она остановилась, прижав руки к груди. Отказалась бы? Да.

Теперь она была в Татарской слободе, какая-то широкая улица вдруг оборвалась — и за поворотом открылась взлетевшая в небо стрела минарета с полумесяцем, который неожиданно и, как ей показалось, робко венчал эту высоту.

«Костя, я уезжаю, чтобы подумать. В Казани это невозможно, потому что я слишком люблю тебя.— Она не сочиняла письмо, оно само собой говорилось в душе.— Я вернусь, я еще вернусь, или ты приедешь ко мне. Может быть, для нас лучше, чтобы все осталось по-старому, как прежде? Мне ведь ничего не надо. Только — любить».

Она плакала. Старая татарка, закутанная, замотанная, в длинной шубе, в высокой шапке, остановила ее и спросила что-то с тревогой, певуче.

— Нет-нет,— сказала Лиза.— Спасибо. Все хорошо.

Только теперь она поняла, что замерзла сильно, до костей, что руки и ноги одеревенели и почему-то страшно глубоко вздохнуть.

По узкой улочке, вьющейся вдоль сугробов, она вышла на какую-то площадь. Женщины гремели ведрами у водоразборной будки. Поодаль стояли заиндевевшие лошади, запряженные в низкие, без кузова, сани. Это была стоянка барабусов — татарских извозчиков. Костя что-то говорил ей о них. Она подошла — к ней кинулись. Она села в сани, извозчик прикрыл ее ноги толстой кошмой.

— Куда прикажешь, барышня?

— В Щетинкинские номера.

И застоявшаяся лошадь тронула резво.

Лавров ждал ее в вестибюле, она не сразу заметила его сжавшуюся в широком кресле маленькую фигурку в студенческой шинели с поднятым каракулевым воротником.

— Здравствуйте,— радостно сказал он.— Мне сказали, что вы рано ушли. Вы завтракали? Что случилось? У вас расстроенный вид.

Она взяла ключ, они прошли в номер, и Лавров, смутившись, достал из шинели коробку конфет.

— Спасибо. Зачем вы тратитесь, милый Коля?

— Что вы, пустяки! Костя скоро придет, мы встретились в университете. Он сказал, что вы поссорились.

Они посидели, помолчали. Лавров вздохнул.

— Мне хотелось...— поспешно сказал он.— Этот обед на Госпитальной... Я у них жил, я хорошо знаю Анну Игнатьевну. Она — человек хороший и Костю любит, можно сказать, самоотверженно. Но ведь любовь, в особенности материнская,— это странная штука. Она у нее какая-то... ну, мстительная, что ли... Вы только не подумайте, что Костя просил меня поговорить с вами.— Лавров волновался, темная прядка упала на узкий высокий лоб.

— Ну что вы!

— И вот я боюсь... За него и за вас.

— Не понимаю.

— Простите меня за это вмешательство. Я хочу сказать, что вы не должны на него сердиться. У него вчера был очень трудный день.— Он помолчал.— Вот я думал о вас. О нем и о вас. Переписка — это совсем не то. Даже я, когда беру в руки перо, становлюсь совсем другим человеком. Ведь вы до сих пор как-то не вгляделись друг в друга. Например, вы думаете, что он стремится к независимости.

Нет, он не просто стремится. Это — страсть независимости, а страсть нельзя ни любить, ни ненавидеть. Надо ее понять. И вот вчера...— Лавров говорил все быстрее: — Вы понимаете, он почти весь день был в унизительном положении. Он стыдился того, что вы увидели на Госпитальной, и должен был скрывать от вас, что он стыдится, хотя я говорил ему, что вся суть заключается в том, что от вас он ничего не должен скрывать. А тут еще этот разговор с Маришей...— Лавров вдруг осекся, смутился, покраснел, замолчал.— Я хочу сказать...— начал было он и опять замолчал.

— Вы хотите сказать, что у Кости вчера был разговор с какой-то Маришей?

— Ах, боже мой, что за вздор! Ваш приезд — это был праздник, необыкновенность, а существует, вернее, существовала какая-то обыкновенность, которой просто смешно придавать значение. Мариша — это моя знакомая, и она стала спрашивать Костю о вас, а он...

Лавров вынул носовой платок и мял, крутил его в руках, как провинившийся мальчик.

— Все это кончилось и, вообще, ерунда,— пробормотал он с отчаяньем.— Костя скоро придет. Все будет хорошо. Ну, пожалуйста, поверьте мне, что все будет хорошо! Вы же умница. Как у вас со здоровьем? Анна Игнатьевна почему-то думает, что вы больны.

— Я здорова. Впрочем, сейчас у меня начинается головная боль, и нужно пройтись, чтобы она не разыгралась.

Лавров надел пальто, они вышли вместе. Он еще говорил о чем-то на лестнице, в коридоре. Она не слушала. У подъезда гостиницы они простились, и Лиза пошла направо, к кремлю.

Замерзшая ленточка Казанки тускло блестела. На крыше какого-то двухэтажного дома зеленый купол был окружен пошлыми железными цветами, и Лиза подумала, что таких домов почему-то много в Казани. Но белая высокая стена кремля, доходившая до башни, а потом продолжавшаяся с темными стрелами бойниц, была прекрасна — и Лиза немного успокоилась, глядя на ее сияющую под солнцем, пустынную белизну. Налево были пять голубых куполов какой-то церкви, а направо все взгорья и взгорья, много рыжего и красного — крыши с торчащими побеленными трубами, из которых поднимался серовато-прозрачный дым. И всюду шла жизнь: женщина развешивала белье на дворе, пилили дрова, где-то крыли тесом сараи. Ничего не случилось. Земля была огромная, надежная, занятая жизнью и собой, прекрасная и простая.

Она вернулась в номера, расплатилась. Портье сказал ей, что поезд в Самару отправляется через Саранск в четыре пятнадцать. Она наскоро написала Косте — и не стала перечитывать свое холодное, мертвое письмо. В нем было все по-другому, она не знала, с чего начать, чем кончить,— точно что-то выпало из ее рук и разбилось.

На вокзале было грязно, шумно. Городовой кричал на какого-то мужика, сидевшего на туго набитых мешках.

Строился маршевый батальон, ладили помосты к товарным вагонам. Бабы плакали. Татарин, стоя на коленях, молился, шептал, кланялся в уголке заплеванного зала...

Часть вторая

Глава четвертая

1

Прошлое отлетало стремительно, бесповоротно. Жизнь, оторвавшаяся от обихода, ворвалась в маленькую квартиру на Госпитальной, все перекроив по-своему, заставив Карновского бросить на время магистерские экзамены, потому что шли бои с «забулачниками», объявившими, что столица «Урало-Волжских штатов» находится в одном из городских районов, за маленьким грязным протоком Булак. В июне 1918 года он уехал с матерью и девочками в Москву: чехословацкий корпус поднимался вверх по Волге и был уже недалеко от Казани.

...Он вернулся зимой в промерзший город, в обокраденную квартиру на Госпитальной, в университет, погруженный в непроглядную тьму. Младший брат был мобилизован белыми и погиб; об этом Карновский узнал только через несколько лет. Надо было с чего-то начинать. Надо было что-то продолжать. Он разыскал профессора Маврина и доказал ему, что «красная арапия», как старик называл большевиков, не возражает против изучения теории функций действительного переменного и всей высшей математики в целом.

Так опять начался университет, наука и новый отсчет времени, который был еще требовательней, чем прежде.

После магистерских экзаменов Константину Павловичу предложили читать специальный курс в университете. Он согласился, но почти все свободное время отдавал организации Политехнического института.

То была пора, когда после освобождения Поволжья в городе постепенно восстанавливалась прежняя жизнь. В ней была черта, сразу же захватившая его,— *возможность невероятного,* как он выразился в разговоре с Лавровым. Эта возможность требовала размаха, тоже невероятного. Практически представить его было почти невозможно, но «логически» — доказывал он скептически улыбавшемуся, изголодавшемуся Лаврову — «вполне обозримо».

Политехнический институт создавался на базе ремесленного училища. Но никакого ремесленного училища давно уже не было и в помине: учащиеся были мобилизованы белыми или разбежались, в ма-

стерских стояли два поломанных токарных станка, электромотор времен Яблочкова и разобранный двигатель внутреннего сгорания.

Осенью девятнадцатого Карновского назначили деканом рабфака, и он снова согласился, подумав, что, в сущности, он сам был первым рабфаковцем, когда работал на заводе братьев Крестовниковых и занимался ночами. Он и теперь прежде всего пошел на завод — набирать учащихся и просить, чтобы рабочие помогли ему оборудовать кабинет учебных пособий. Потом, спустя полгода, когда учащиеся вдруг нахлынули разом, дело стало за преподавателями, и тут пригодилась репутация Константина Павловича, как вежливого, вполне интеллигентного молодого человека, у которого было много знакомств среди богатых русских и татарских семейств. Он нашел преподавателей и среди них одного крупного инженера, который предсказывал советской власти скорую и неизбежную гибель.

Сложнее было с программой для рабфаков и технических вузов, о которой шли бесконечные споры. Карновский принял участие в обсуждении и с самого начала занял острую позицию. Он испытывал сперва один, потом другой метод, горячо рекомендованный в сборнике «Новое дело». Оба растаяли, как пар в нетопленной аудитории, битком набитой людьми в солдатских шинелях, которые занимались, пользуясь одной книгой на троих и грея дыханьем замерзшие пальцы. Нечего было и надеяться на то, что им окажется доступной строгая, сложившаяся в двадцатом веке система математических знаний. Для них путь в математику шел через технику. Очевидно, где-то здесь и надо было искать новые методы преподавания.

Возможно, что, если бы он не заходил к старику Маврину, помогая ему приводить в порядок библиотеку и полусожженный архив, ему не пришла бы в голову эта, в сущности, простая мысль. Архив и библиотека были уникальными, в них встречались книги не только начала девятнадцатого века, когда Казань была одним из научных центров Европы, но и восемнадцатого.

Карновский, который всегда интересовался историей науки, начал с Чебышева и, двигаясь назад, к восемнадцатому веку, прочел два мемуара Эйлера. Он искал возможность простого, наглядного подхода к высшей математике и проследил ее развитие, останавливаясь на тех этапах, которые естественно связывали математическое и техническое мышление. Гениальный Чебышев подсказал многое. Еще неясные соображения горячо поддержал Лавров, любивший повторять, что «только простое может бросить свет на сложное».

Конечно, это было отступление, но ведь отступал же — как сказал тот же Лавров — и Кутузов.

Новая методика, в основу которой были положены старые «доабстрактные» способы преподавания, была разработана до мелочей, и, хотя статья Карновского вызвала новые горячие споры, он, не отвечая, принялся за дело. Время показало, что он был прав — в конечном счете именно его методика легла в основу преподавания математики на рабфаках и в технических вузах.

Прежде «отсчет времени» касался только внутренней жизни Карновского. Профессор Маврин считал его самым способным из

своих учеников, и он был нужен кафедре, университету. Теперь оказалось, что он нужен сотням людей, которые писали с грубыми ошибками и в лучшем случае знали таблицу умножения. Он стал центром острых интересов, поражавших его своей новизной. Его аналитический склад ума, «пунктуализм», над которым подшучивал Лавров, неожиданно оказались необыкновенно важными не только для него, но и для тех, кто с разбегу кинулся к нему с *делом*. От него не просили, а требовали знаний.

2

Он получил несколько писем от Лизы сразу же после ее отъезда из Казани и вернул их, не распечатав. Он ничего больше не хотел знать о ней — теперь пришла его очередь возвращать ей нераспечатанные письма. Она бросила его — и прекрасно! Правда, это случилось с ним впервые в жизни, «но, может быть,— думал он с холодностью, которая была (он знал это) утешительной, притворной,— случится еще не раз». Но не с холодностью, а с бешенством он спрашивал себя: что заставило его в разгаре неотложных дел броситься в Петроград? Оскорбленное самолюбие? Да, может быть. Ведь Лиза старалась доказать, что она счастлива с Дмитрием, а он, Карновский, может поступить, как ему вздумается — ехать или оставаться в своей грязной Казани.

Но если так, что же произошло в Петрограде? Что изменилось в тот день, в тот час, когда он увидел Лизу? Произошло то, что он едва узнал ее. Так это была она — уверенная красавица, остро и весело сознающая силу своего обаяния? Так это она держалась так свободно, так смело у Гориных, в богатом профессорском петербургском доме? Незаметный казанский студент в отглаженной, но сильно потертой форме сидел в гостиной, не вмешиваясь в тонкий разговор о «хроматической гамме света», в котором он ничего не понимал и, разумеется, смеясь, сейчас же сознался в этом.

...То, о чем он мстительно думал перед отъездом, случилось и не могло не случиться, потому что она любила его, а не Дмитрия. Но случилось еще и то, что снова без памяти влюбившись в нее, он допустил странную возможность, всегда казавшуюся ему невероятной,— и не только допустил, а без оглядки поверил в эту возможность. Не он ли писал и говорил ей о «совместном квартировании», как он с иронией называл семейную жизнь?

Лиза выбрала — семейная жизнь не состоялась. Так почему же он был так оскорблен ее неожиданным бегством? Что заставило его вернуть одно ее письмо из Симбирска, другое из Петрограда? Уж не был ли он в глубине души доволен, что теперь все снова пойдет, как прежде, своим путем, без волнений и тревог, без неожиданностей, мешавших его жизни, его науке?

Ему еще не было двадцати восьми лет, когда он был избран профессором Политехнического института. Он взял отпуск, поехал в Ядрин, чтобы обдумать курс, и вот здесь, в тишине, снова стал неотступно, с раскаяньем, с горечью думать о Лизе.

Он начал разыскивать ее давно, еще осенью семнадцатого года. Старушка Кауфман, у которой он останавливался в Петрограде, ответила, что Лиза провела у нее лето («не у Гориных»,— сейчас же остро отозвалось в душе), а в сентябре вернулась в Ялту, после воспаления легких. Он написал ей в Ялту по старому адресу, на Мееровскую. Письмо вернулось «за ненахождением адресата». Он написал Шуре, которая жила с мужем в Симбирске. Да, Шура получила открытку от Лизы, но давно, осенью 1917 года. Тогда все было хорошо, но «здоровье еще не позволяет мне оставить Крым,— писала Лиза,— хотя в последнее время с легкими, кажется, все в порядке. Я пополнела, порозовела, и снова появилась жажда жизни и аппетит к приключениям».

Вдруг задохнувшись, он прочитал эту фразу...

Он снова написал в Ялту, каретному мастеру, у которого Лиза жила в свой первый приезд, весной 1914 года.

Когда он уже потерял всякую надежду, когда гражданская война была в разгаре и переписка между севером и югом прекратилась, он получил от нее письмо, которое, как ножом, отрезало все, чем он жил день, час, минуту тому назад.

20.V.1918. Ялта.

Костенька, родной, где ты? Я места себе не нахожу, думая о тебе. Много раз я писала тебе, но в ответ — ни слова. А сейчас и совсем оборвалось сообщение с севером. Посылаю это письмо с едущими в Ригу, может быть, оно доберется до тебя. Живем здесь в унижении, в позоре. Пришли германцы (2 мая н. с.). Даже Севастополь сдался без боя. Наступило внешнее спокойствие, купленное дорогой ценой. Я была больна в первые дни, да и сейчас еще больна нравственно, хотя стараюсь взять себя в руки. Великолепие весны не смягчает горя, на ее цветущем фоне еще отчетливее рисуются германские каски. Дрожу при виде. Немцы самодовольны, гордятся корректностью и не сомневаются в своем превосходстве. Хожу, опустив глаза. Боюсь задохнуться от ненависти.

Ну, полно! Надо держаться. Не вечно же будут мелькать на фоне глициний германские каски! Почему-то их особенно много вокруг моего старого любимого платана на набережной. Он смотрит сверху на них — с величавым презрением. Так же должны держаться и мы.

Если бы ты знал, как проклинаю я себя за то, что еще осенью не вернулась на север! Но не только моя болезнь, обострившаяся после воспаления легких, остановила меня. Я осталась, потому что впервые в жизни ясно почувствовала, что твердо держу кисть в руках и знаю (или по меньшей мере догадываюсь) — *что* и *как* я хочу написать. Бесценную помощь оказал мне один старый художник из передвижников (в далеком прошлом), но совершенно особенный — о нем я тебе еще расскажу. Уехать он не хотел и не мог, потому что он армянин и работает над росписью армянского собора. Он и здесь — на родине, а я — в мышеловке. Мы с ним одни в этом городе мертвых.

Бывают дни, когда я спрашиваю себя: не приснилось ли мне все это — Петроград, Исаакий, белые ночи, платье не с чужого плеча

(меня обокрали, и я хожу здесь бог знает в чем), возможность не думать о завтрашнем обеде? Ты — в этом я не сомневаюсь — был, есть и будешь. Но была ли моя поездка в Казань и как могло случиться, что я уехала, убежала, не простившись с тобой? О, как много я требовала тогда от жизни, как была избалованна, капризна, горда! Или тогда-то я и была — я, а теперь потеряла себя, одна, отрезанная от близких, измученная ненавистью, растерянностью, недоумением? Я — ничья здесь, а ведь даже вещи, мне иногда кажется, способны тосковать, когда они никому не принадлежат.

Единственное мое прибежище — работа. Зовут моего учителя и бесценного друга Вардгес Яковлевич Суренянц. Ему шестьдесят лет. Нет ни времени, ни возможности пересказать тебе все, чему он меня научил. Да и бог весть, доберется ли до тебя когда-нибудь мое послание! Скажу только, что если я еще живу и работаю после всего, что видела и пережила в Ялте,— это сделал он. В Ялте он живет потому, что армянская церковь богачей Тер-Гукасовых расписывается по его эскизам. Мало сказать, что он — образованный человек. Он владеет немецким, английским, персидским и в совершенстве — итальянским. Влюблен в восточное искусство, увлекался прерафаэлитами — и на всю жизнь остался армянским художником. Он жил в Париже, Вене, Риме, Валенсии, Венеции, он иллюстрировал Метерлинка, Уайльда, Толстого, Пушкина, работал в московском Художественном театре — по его эскизам была поставлена «Чайка».

Впрочем, Вардгес Яковлевич не столько учит, сколько как будто сам у всех учится. От него идет тишина, в которой я так давно и глубоко нуждаюсь.

Он одинок, от его помощника, тоже армянского художника, я узнала, что он всю жизнь любил одну женщину, которая вышла замуж за его друга, известного писателя Ованесяна. Уж не потому ли мы с полуслова понимаем друг друга?

Ну, что же еще рассказать мне о нем? Я, как в монастырь, ушла в его мудрость. Он внушил мне уверенность. Не похвалами — напротив, требовательностью. Но *так* требовать можно только от талантливого человека. И к Византии моей он отнесся по-своему. Чудо искусства сохранило ее в веках, несмотря на то, что она была попрана турками — как сейчас, на наших глазах, попрана и унижена немцами Ялта.

Прощай, милый, родной. Увидимся ли когда-нибудь? Кто знает. Была бы моя воля, пошла бы пешком по Руси. Так хочется, даже снится!

Посылаю тебе мою любовь и благословение.

Твоя Лиза.

3

Ничего невозможного не было в его решении добраться до Ялты и увезти Лизу, хотя пришлось бы перейти две линии фронта и ехать через Украину, на которой хозяйничал какой-то Махно. Карновский разузнал все подробности. Ехать надо было с фальши-

вой справкой о месте рождения — Ялта или любой другой город в Крыму. Опасные места начинались за хутором Михайловским — ничейная полоса до Конотопа, часть пути надо идти пешком, и легко нарваться на гайдамаков. Из Конотопа до Киева добраться было уже нетрудно, а в Киеве у Карновского была рука: Маврин дал письмо к своему двоюродному брату, который был киевским городским головой. Из Киева в Одессу — поездом, а из Одессы в Ялту — пароходом. Немцы, по слухам, пропускали в Ялту за взятку.

Карновский спрятал казанские документы в непромокаемый мешочек, а мешочек зашил в подкладку пальто. Деньги он достал, а для взяток Лавров отдал ему запонки и часы. Один из учеников Карновского, служивший теперь в казанском горсовете, выдал ему фальшивую справку, что он — уроженец Ялты. Он списался с Доброселовым, московским математиком, у которого были на Украине какие-то связи. Словом, все было готово к отъезду, когда заболела мать. Сперва Карновский решил, что болезнь — притворная, связанная с его решением. Но болезнь — слабость и головокружения — усиливалась с каждым днем. Все в доме развалилось, распалось. Распалось, отдалилось, остыло и его «безумное», как доказывал Лавров, решение.

В ноябре 1920 года, на другой день после появившегося в газетах известия об освобождении Ялты, он написал художнику Суренянцу, в доме которого жила Лиза, и после долгого ожидания получил ответ — большое письмо на шести страницах, исписанных слегка дрожащей старческой рукой. Бумага была толстая, желтая, страницы перенумерованы большими римскими цифрами. Вот что он прочитал:

Ялта, 15.III.1921.

Глубокоуважаемый Константин Павлович, извините, что с опозданием отвечаю на Ваше письмо. Мне, признаюсь, должно было собраться с душевными силами, прежде чем написать Вам о Елизавете Николаевне.

Прежде всего скажу, что Вы для меня далеко не чужой человек. Мы с Елизаветой Николаевной много, очень много говорили о Вас. Случалось, что она читала мне строки из Ваших писем, показывала фотографии. Она болезненно переносила разлуку с Вами. До последней минуты своего пребывания в Ялте она ждала известий от Вас, и, вернувшись, измученная, после первой неудачной попытки уехать, прежде всего спросила: нет ли от Вас письма...

Но я забегаю вперед. Итак, по порядку расскажу Вам о ней и о нашем знакомстве.

Оно началось, можно сказать, случайно, хотя Елизавета Николаевна не только давно знала о моих работах, но даже копировала некоторые из них. Однажды, возвращаясь домой поздно вечером, она

оступилась, расшибла ногу и, как выяснилось на другой день, порвала связки в предплюсне. Беспомощная, едва добралась до скамейки в Александровском сквере, и вот тут-то я буквально наткнулся на нее в темноте. Побежал на извозчичью биржу, и два извозчика донесли ее на руках до моей квартиры. Я упросил ее остаться у меня до выздоровления, хотя она тревожилась, что и без того доставила много хлопот.

Она помогала мне в работе над росписями армянской церкви, но много работала и сама, может быть, слишком много. Вы знаете Елизавету Николаевну лучше, чем я, и не мне писать Вам о ее неспокойном, бурном характере, о мгновенных переменах ее настроений, о смятении, которое часто охватывало ее и для которого единственным выходом была живопись, работа. Ее душевное изящество, прямота известны Вам, без сомнения, лучше, чем мне. Эти черты нашли свое отражение, кстати сказать, в ее увлечении византийским искусством, которое я сознательно поддерживал в ней, потому что оно в известной мере было для нее спасением. Ей нужна была мысль о *вечном* в искусстве, об источниках Духа. Она чувствовала себя здесь на краю света, она истосковалась, с каждым днем теряя надежду вернуться к родным и знакомым. Потому, может быть, она и привязалась ко мне, что я, старый человек, чего только не перевидал в своей жизни, о чем только не передумал! Мне кажется, что она искала во мне не учителя живописи, а учителя жизни.

Елизавета Николаевна говорила мне, что Вы почти не знакомы с ее работами, и все сожалела, что не может показать их Вам теперь, когда она стала писать иначе и лучше. Так вот, могу с уверенностью сказать, что она очень талантлива, необыкновенно настойчива и трудолюбива и, если можно так выразиться, «приговорена» к живописи самим складом своей свободолюбивой души. Цветовая память у нее удивительная. Она помнит каждый холст, каждый рисунок. Ей ничего не стоит мысленно увидеть любую, некогда затронувшую ее картину. Может быть, именно поэтому ее морские этюды напоминают Клода Моне, а пейзажи — Матисса. Однако мне удалось научить ее спокойно относиться к своей подражательности. Каждый холст она все же доводит до конца, стараясь добиться цельности,— и в последнее время это стало ей удаваться.

Перехожу теперь к той несчастной случайности, которая подтолкнула ее решение уехать из Ялты. Вырваться в Москву или Петроград не было ни малейшей возможности. У нее не было ни гроша, ни сколько-нибудь приличной одежды. В эти-то особенно безнадежные дни появился в Ялте некто Франческо, просивший называть себя именно так, несмотря на свой солидный возраст (лет пятьдесят пять — шестьдесят). Приехал он к своим родственникам (в Ялте много греков) и отрекомендовался любителем и знатоком живописи. И действительно, если судить по его манере держаться, по его тонким суждениям, он, по-видимому, был близок к художественной среде не только Константинополя, куда он, по его словам, иногда наезжал, но и Парижа. Как он говорил,— и это вполне вероятно — он был владельцем небольшого салона в Париже, где, по его словам,

еще недавно выставлялись такие значительные мастера, как Брак и Сутин. Не было оснований не доверять ему, хотя в той манере, с которой он называл эти имена, была какая-то преувеличенная небрежность.

Словом, нет ничего удивительного в том, что этот уверенный, еще интересный мужчина, пожалуй, даже красивый со своими седыми висками и здоровым загаром, произвел впечатление на Елизавету Николаевну, тем более что он умно и с большой похвалой отозвался о ее работах.

Приехал он — как я вскоре убедился — с целью скупить у голодавшей ялтинской интеллигенции предметы искусства, но проделывали все это, по-видимому, его многочисленные родственники, разумеется, по его указаниям.

Он зафрахтовал небольшой пароход до Константинополя, откуда он намеревался немедленно ехать в Париж.

Не знаю, как случилось, что он предложил Елизавете Николаевне отправиться с ним. Началось с того, что он купил у нее, щедро заплатив, несколько картин, а потом она вдруг явилась ко мне и сообщила с волнением об этом неожиданном предложении. Я сразу же стал отговаривать ее, я в глазах этого человека без труда прочитал его подозрительные, вероятнее всего, низкие намерения. Мало сказать, что я уговаривал, я умолял Елизавету Николаевну остаться. Но беспомощность моя была очевидна. В самом деле, с одной стороны — нищая жизнь в захваченной Ялте, невозможность выпить чашку кофе на набережной, потому что ее обокрали и она ходила в платье, переделанном кое-как, с чужого плеча, непрочность, неуверенность, голод, а с другой — Константинополь, Париж. Я убеждал ее, что эта наша унизительная жизнь скоро кончится, что она не должна смотреть на свое будущее глазами дня и месяца, что все еще впереди. Ничего не помогало! У меня еще была надежда, что пока этот господин собирается в дорогу, от вас придет письмо,— и тогда Елизавета Николаевна осталась бы, переломила себя, хотя она с трудом отказывалась от своих решений. Чудо не совершилось. Я проводил ее, мы оба плакали, она уехала, и с тех пор у меня нет от нее никаких известий...

4

Больше Константин Павлович не надеялся, что ему удастся с помощью математики избавить человечество от власти слепого случая. Он стал изучать эту слепую власть. Он был убежден, что в двадцатом веке теория вероятности может изменить всю картину мира в науке. Но к увлечению, с которым он занимался этой теорией, странным образом примешивалось чувство тоски. Самозащита, нейтральная зона, спасительное расстояние позволяли ему спокойно встречать удары, из которых, с детских лет, состояла жизнь. Он боялся потерять свободу и независимость — теперь ему подчас постылой

стала казаться эта свобода. Женщины, как всегда, были где-то в стороне от его душевной жизни. Между ними не было Лизы.

Без конца перебирал он в памяти их последнюю встречу, тот единственный день, который Лиза провела в Казани. Он начался разговором с матерью, которая рыдала, обнимая девочек и заставляя их кланяться ему в ноги. Он вдруг сверкнул бог весть откуда взявшейся надеждой, когда, увидев Лизу, Карновский кинулся и подхватил ее со ступеньки вагона вместе с ее чемоданом...

Потом была подлая неоткровенность, притворство, уходы и приходы. Смотрины, когда каждая минута резала, как ножом, кусок не лез в горло, и Карновский проклинал себя, не смея взглянуть на Лизу. Снова приходы и уходы, нерешительность, сожаление, что он уговорил ее приехать. И стыд. И разговор с другой женщиной, веселой и циничной, которая доказывала, что глупо жениться, в то время как у него всегда под руками такой «удобный объект», как она.

Потом была ссора с Лизой, бессмысленная, потому что ничего смешного или невозможного не было в ее надежде поехать учиться в Париж. И не только бессмысленная, но ничтожная, как будто вдруг предсказавшая их будущее «совместное квартирование». Может быть, это и были минуты, когда он еще мог рассказать ей все, что он перенес, перечувствовал, передумал? Он промолчал — и она уехала, не простившись...

...Где же она? Что сталось с ней? Добралась ли она до Афин и бродит теперь по незнакомой стране, нищая, беспомощная, больная? Погибла ли в дороге?

Она уехала за несколько месяцев до бегства белых из Крыма, стало быть, не попала в кровавую суматоху этого бегства, о котором ходили страшные слухи. Но если бы она была жива — ведь она написала бы ему, все равно откуда: из Афин, из Константинополя, из Парижа!

Нет, все кончено! Он больше никогда не увидит ее! И все его сомнения, неуверенность, вся сознательность его ограничений встали перед ним, требуя ответа. Он кинулся перечитывать ее письма, горестные, праздничные, любящие, прямые. «Вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое Ваше неясное слово...» «Все, что происходит со мной, принадлежит Вам, и даже если Вы не принимаете этот дар — все равно принадлежит, независимо от Вашей воли и желания»...

Каким образом, когда успевал он заниматься наукой? Но ведь успевал же, подсаживаясь к столу на десять минут или вскакивая ночью, чтобы записать неведомо откуда взявшуюся мысль!

Задачу, которую знаменитый Грузинов поставил перед своим семинаром в Москве, он решил, трясясь на водовозной бочке. В городе не было воды, а он, опаздывая на занятия, попросил водовоза подбросить его к институту. Он знал об этой задаче от одного знакомого студента-москвича и в тот же день послал своему приятелю листок с решением, занимавшим четыре строчки.

Письмо, которое он через несколько дней получил от Грузинова, заставило его задуматься над возможностью переезда в Москву.

То была пора, когда во многих городах стали открываться вузы, и московские математики, впоследствии знаменитые, стали работать в Саратове, в Иваново-Вознесенске. Школа Грузинова поредела — правда, ненадолго.

Это был человек, обладавший естественным даром притяжения. Маленький, с ярко-голубыми глазами и редким сияющим белым нимбом над высоким лбом, он всегда куда-то летел, стремился, опаздывал, торопился. Простодушие странным образом соединялось в нем с любовью к интригам, к сложным, запутанным отношениям (в которых он, впрочем, отлично разбирался). Он умел ловко, почти незаметно поссорить своих врагов, а иногда и друзей. Легкость, с которой он перебрасывался от самых общих математических структур к очередной микроскопической сплетне, поражала и врагов и друзей...

Константин Павлович сначала поехал к нему в научную командировку «для усовершенствования по специальности», а потом, через год, перевелся в Москву, поступившись высоким положением профессора Политехнического института и получив при кафедре Грузинова скромное звание доцента.

Осенью 1921 года он жил в Большом Палашовском переулке, в семье, которая была ему неприятна. Хозяин, бывший владелец ломбарда, болел какой-то странной болезнью, заставлявшей его неожиданно падать. В квартире была внутренняя лестница, и он падал с нее, гремя палкой, ботами, кастрюльками, которые он зачем-то постоянно таскал по квартире. Прибегала жена, расплывшаяся, злобная, и сын, глупо хихикавший, стеснявшийся своей худобы. Они ставили старика на ноги, и он снова начинал шаркать ботами, что-то бормоча, напевая. Однажды Константин Павлович прислушался и разобрал слова воинственной старинной шансонетки:

Всех патриотов ждет награда:
Когда мы двинулись с парада,
Я с маркитанткой храбро шел,
Жену гусар под ручку вел.

Почему Константин Павлович не съезжал с квартиры — он и сам не знал. Комната была удобная, светлая.

В конце ноября хозяйка принесла ему маленькое письмо, пересланное из Казани, с иностранной маркой.

Глава пятая

1.VIII.1921.

Костя, я здесь, в Константинополе! В двадцатом году поехала в Париж учиться живописи (за последнее время сделала большие успехи), но не доехала по очень простой причине: пара-ёк (по-турецки — денег нема). Кое-как живу, питаюсь (главным образом) надеждой закончить свое художественное образование. Здесь в Тур-

ции — никакого искусства, кроме мертвого, необыкновенного (Византия), но заниматься им нет ни времени, ни силы. Если получишь мое письмо, напишу подробнее. Очень хотелось бы тебя увидеть. Всех благ.

10.XI.1921. Константинополь, Чибукли.

По-старому рада твоему письму, мой далекий друг. Оно шло всего три недели, но долго лежало на почте. Я теперь живу на Босфоре: час езды на пароходе,— и в городе бываю редко. С чего же начать? Я напишу тебе короткий конспект моей истории после отъезда из Ялты.

В то лето (год забыла, как будто целая вечность прошла) я жила в квартире художника Суренянца, рядом с армянским храмом, который он расписывал по заказу богачей Гукасовых. Мы с ним очень подружились, он заменил мне тебя, как друга. О своей духовной жизни трудно рассказать — для этого надо взглянуть на мои работы. В сердечной жизни совершился большой перелом — разлюбила тебя. Звучит это просто и случилось просто, когда я, наконец, поняла, что «душа — увы — не выстрадает счастья, но может выстрадать себя». И стала выздоравливать. И всю страсть души отдала живописи. Но осталось в душе широкое, здоровое чувство к Волге — ты помнишь, как понимали мы с тобой «любовь к Волге»? Думаю, что ты искренне порадуешься моей свободе и вместе со мной погрустишь о прошлом. Ну, дальше!

В 1920 году познакомилась я случайно с одним греком-коммерсантом, у которого был зафрахтован свой пароход. Он обещал довезти меня до Константинополя, а потом вместе со мной поехать в Париж. Очень скоро — едва только Ялта скрылась из вида — мне стало ясно, что передо мной негодяй, ни минуты не сомневавшийся в том, что он купил меня вместе с моими холстами. Я швырнула ему деньги в лицо и в Константинополе не без труда отделалась от этого грязного прохвоста. Своих денег у меня было очень мало, хотя выговаривалось в тысячах,— в общем, их хватило лишь на два дня, когда, бегая по городу, я безуспешно искала работу. Случайно мне предложили играть на пианино в очень маленькой пивной за обед и ужин. Так я провела пять месяцев — очень трудное, хотя интересное время, о котором расскажу в следующем письме. Потом мне посчастливилось случайно встретиться с одним петроградским знакомым (другом семьи Кауфманов), который устроил меня машинисткой в морскую базу. За мизерное жалованье я работала там с полгода, бедствуя, как и прежде. К новому, 1921, году база закрылась, и я осталась без работы. Эту осень я иногда заходила по вечерам в очень странный «Институт гармонического развития человека». Через этот институт я устроилась гувернанткой к маленькой дочери одного итальянца-архитектора. В январе же я вышла замуж — за русского (об этом тоже речь впереди). Итальянец устроил меня к бывшему хедиву Египта, где я занималась с принцессами ритмической гимнастикой и рисованием. Потом прин-

цессы уехали в Париж, а хедив пригласил меня и мужа к себе в имение Чибукли, где мы и обретаемся с июня 1921 года. Сначала я занимала должность драгомана, а муж заведовал хозяйством, а сейчас нам обоим поручены кролики, хотя я по-прежнему считаюсь «драгоманом при королевском дворе». Это звучит громко, но оплачивается грошами. Словом, моя константинопольская история — тяжелая, но забавная: от кабака до королевских палат. Печально только то, что я почти не занимаюсь живописью, хотя вокруг все как будто создано для живописи, для искусства. Все-таки работаю. Когда доберусь до Парижа — бог весть! Не добралась еще и до византийской мозаики, о которой так мечтала в Крыму. Здесь мало русских художников, и почти никто не занимается своим делом. Среди них — Саламатов, который бедствует больше других, но держится бодро и работает много. В турецкой живописи — ничего интересного. Выставки — ничтожные и малопоучительные. Все же собираюсь кое-что выставить и я.

Ты пиши мне как можно чаще и больше! Мне очень хочется домой. Тоскую по России, но вернусь только после Парижа, когда научусь хотя бы чему-нибудь.

Замуж вышла, потому что не могла больше жить одна. Правда, муж — моложе меня (духовно и физически), но простой, честный, здоровый и нетронутый, что теперь случается редко. В нем есть та примиренность, уравновешенность, которой мне так не хватает. По натуре он — тебе это покажется странным — человек монастырский, хотя совсем не религиозный, а в практическом отношении — сметливый и неторопливо-дельный. Намучившийся и научившийся скрывать свои страдания, не только душевные, но и физические. На войне он был ранен и потерял ногу. Я привыкла к нему, привязалась, он для меня — как младший брат, который нуждается в женской заботе. От живописи он не только далек — он не понимает, зачем мне заниматься этим ничего не обещающим делом. Пока это мне не мешает, потому что мой интерес к искусству все же вызывает с его стороны известное уважение. Живем мы в стороне от города, совсем одни, среди турок, арабов и персов, в большом парке, у самого моря. В доме — электрическая кухня и прачечная, а мы готовим на мангале, воду таскаем ведрами, а единственный признак цивилизации — примус. Выучилась плохо говорить по-турецки. По вечерам перечитываем старые русские и французские книги (на новые денег нет). Муж мой мало развит, со школьной скамьи попал на войну. Ему двадцать пять лет. Сегодня кончаю, завтра напишу снова. Посылаю фотографию моему далекому и близкому, светлому другу. Не сердись за нескладность письма — это жизнь сделала меня такой неловкой и грубой.

13.XII.21. Константинополь.

Ты пишешь, что «остальное не важно», но я-то прекрасно знаю, что для тебя важно и «остальное». Жалею ли я? Не знаю. Ведь это был шаг в неизвестность, который привлекал меня именно потому,

что, шагая, я не знала, ступлю ли я на твердую землю. И не ступила. Не земля у меня под ногами, а плот. Помнишь, у Ахматовой:

Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

Плот мой — Чибукли. После падения Крыма, когда число русских беженцев увеличилось здесь в десятки раз, стало ясно, что наша жизнь в Чибукли — это редкая, неоценимая удача.

Ты пишешь, что тебе импонирует размах всего совершающегося в России, что ты не подозревал всей грандиозности начавшегося движения. Он и мне импонировал бы, если бы я не боялась, что при таком размахе могут слететь купола с Василия Блаженного, а Врубеля могут пустить на портянки. К этому страху присоединилось острое до болезненности сознание, что я никому не нужна, а когда берусь за дело (потому что не могу жить сложа руки), все идет вкривь и вкось...

20.XII.21. Чибукли.

Ты хорошо поступил, Костенька, объяснив мне многое с самого начала. Нет ничего убедительнее собственного примера, и, когда ты рассказываешь о том, как тебе удалось превратить ремесленное училище в Политехнический институт, это помогает мне понять общий смысл превращений, которые, по-видимому, характерны для всего происходящего сейчас в России. Я могу, хотя и не без труда, вообразить отсутствие прежней жизни, но присутствие новой представить себе без твоей помощи положительно невозможно. То есть, вообще-то, возможно, но в подробностях, с азов — нет. Вот эти «азы» мне и не даются! Ты пишешь, например, что в Казани был избран профессором Политехнического института, и это — понятно, хотя вообразить тебя профессором нелегко. Но то, что ты был одновременно «деканом рабфака»,— это для меня загадка уже потому, что я не знаю, что такое «рабфак». Ведь мы здесь, в сущности, ничего не знаем, живем слухами, за глухой стеной. Теперь, когда наша переписка возобновилась, ты встал между мной и этими обрывками противоречивых слухов. И для меня дорого, что, «глядя через тебя», я вижу и тебя самого, в твоей, так хорошо мне знакомой, *душевной занятости,* которая стала теперь, как мне кажется, еще полнее.

Значит, Василий Блаженный стоит во всей своей красоте, и Врубеля никто не собирается пустить на портянки? И ты, действительно, думаешь, что я пригодилась бы в России с моим пансионским воспитанием, тремя курсами Бестужевки и двумя языками?

Милый мой, это — так называемая гипербола. Верю, что я *тебе* нужна. Делать из этого вывод... Что ж, может быть! До сих пор мне казалось, что я в России не просто пропаду, а постыдно, ничтожно пропаду, ничего в жизни не сделав и никому не принеся счастья.

25.XII.21. Чибукли.

Я обещала рассказать тебе о своей жизни в brasserie [1]. Занята я была до поздней ночи. По утрам, в перерыве, болтала на всех языках с посетителями (я быстро схватывала разговорный язык и так же быстро все перезабыла). А посетители — портовые рабочие и матросы, матросы со всех концов земли, солдаты. Преобладали итальянцы. Я пополнила свой итальянский лексикон и свободно разговаривала с ними. Турки заходили редко, так как пивная была греческая, а между турками и греками — непримиримый антагонизм. Это был особый мир — веселый и бесшабашный, добрый и жестокий. Бывали русские моряки — эти погрубее, но симпатичнее. Звалась я Нина́. Говорилось много пошлостей, слышала я и немало грязных предложений — главным образом от греков и французов, но пивная была «честная», хозяева заступались, и приходилось дипломатически увертываться, чтобы не отучить клиента от посещений. Вот где насмотрелась я и драм, и комедий, и фарсов, нередко с трагическим концом! Всего не перескажешь! Я ничего не читала, кроме газет, мне некогда было читать. С десяти утра до одиннадцати вечера — в шумной, красочной, беспокойной толпе. Мой питерский знакомый, о котором я тебе писала, одолжил мне денег на пастели, я стала делать портретные наброски матросов там же, в пивной, и они мне иногда недурно платили. Но я задыхалась там! Я боялась своих хозяев, они держали меня, как пансионерку, боясь за честь своей пивной,— о русских женщинах в Галате плохая слава. Меня никуда не пускали и сами почти никуда не ходили. Чтобы посмотреть Стамбул, я лгала, что нужно поехать к родным, или убегала тихонько, встречаясь на соседней улице с парижским студентом (солдатом) или итальянским художником (матросом). Как маленький ребенок, наслаждалась я этой недозволенной свободой. Чудесные были прогулки по Золотому Рогу! Никто из мужчин не мог приходить ко мне в дом, а женщин знакомых у меня тогда не было, — стало быть, я должна была видеться с немногими друзьями на глазах у всех, в пивной. На какой покатой плоскости я жила, ты поймешь из следующей истории.

Ко мне заглядывали русские: одни — надеясь спасти меня от верной «гибели», другие — интересуясь обстановкой портового бара. Впрочем, больше всего было голодных, спившихся студентов, служивших матросами на иностранных судах. Эти приходили поговорить «по-человечески» или рассчитывая на помощь. Среди них был студент, кстати сказать, математик, работавший то матросом, то шофером. Он хорошо играл на пианино, много говорил о теософии. Я звала его в часы, когда почти никого не было, чтобы мы могли поболтать без помехи. И вот однажды он заговорил в туманных выражениях, что моя судьба может в одну ночь измениться — отъезд в Париж, например, не составит никаких затруднений. Я притворилась, что поддаюсь на соблазн, и это заставило его высказаться до конца. Дело было такое: капитан какого-то парохода,

---

[1] Пивная (*фр.*).

скупивший или укравший в Крыму много брильянтов,— простоватый человек,— мечтал, чтобы какая-нибудь графиня или княгиня провела ночь в его каюте. Эта роль предназначалась мне. Ночью, во время кутежа, я должна была дать ему отравленную папиросу, потом открыть дверь студенту с его приятелем и, стащив брильянты, удрать за границу. Все было условлено — час, место встречи, костюм,— и он был поражен, когда я вдруг не выдержала и расхохоталась. Так и не знаю, было ли совершено преступление. Здесь каждый день совершается так много преступлений, что о них мало и говорят.

Да, я забыла! В пивной были и политические споры, часто кончавшиеся дракой или боксом (симпатичные люди англичане: поссорятся чуть ли не насмерть, выйдут на улицу перед пивной и начинают боксировать). А полицейские (английские) стоят вокруг и спокойно наблюдают за порядком. Самые либеральные — итальянцы, точнее — триестинцы. Эти поют революционные песни, пропагандируют большевизм — и носят в петлице значок, на котором изображен Ленин.

А Стамбул — грязный, порочный, шумный, таинственный. Толпа — пестрая, яркая, все оттенки кожи — от английской белизны до глубокого адского черно-синего тона.

Буюк — базар, огромное сводчатое здание с бесконечными закоулками, пестрые лавки в нишах, и, боже мой, чего здесь только нет! Ковры, шали, старое оружие, ситцы, шелка, сафьяновая обувь — все пестро, ярко, но не режет глаз, потому что свет проникает через верхние окна. Шуму, гаму! Каждый тянет к себе, стараясь угадать национальность, и так как в моей национальности не приходится сомневаться, я то и дело слышу: «Руська, хорошо, иди суда». Это фраза модная, и все ее знают. Продается все — сладости, смолы, запахи — искусственные и натуральные. Можно купить одну-две капли в маленьком пузырьке или в изящной коробочке из кости.

Цветы — куда ни кинешь взгляд! Цветами прикрыты корзины с фруктами и овощами, ишаки украшены акацией или золотым венчиком дыни. Даже «змеи», которые у нас мальчишки делают из газет,— яркие, пестрые, из цветной бумаги. И в глубине этого торжища, этой пестрой ярмарки — развалины древней Византии.

В Айя-Софии я еще не была, хочется, чтобы ее показали мне знатоки константинопольского искусства.

Напиши мне, какое направление принимает живопись в России. Что делает Машков? Кончаловский? Нет ли открыток с работами Альтмана, Шагала?

...И здесь есть Блок, Ахматова, но все это, к сожалению, мне не по карману. Книги мои остались в России, сюда я привезла только третий том Блока, подаренный тобою. О смерти его не в силах писать. Он для меня больше, чем любимый поэт. Это — часть моей жизни.

Справился ли ты со своей малярией?

Пиши, жду с нетерпением, мой нежный, далекий друг.

21.III.22. Константинополь.

Получила два твоих письма от февраля и марта и была рада, что ты так далеко продвинулся в понимании и оценке живописи.

Я познакомилась с молодым талантливым художником Гордеевым (малоизвестным). Раз в неделю работаю вместе с ним. Он — симпатичный человек, очень неглупый, но бедствует, как мы все. Пишет для денег прелестные этюды Стамбула и продает их на улице (не сам), то есть занимается проституцией (по его выражению). Сейчас работаю над портретом старика суданца, высокого, тонкого, с белой бородой, в белой чалме, который сидит с утра до вечера под таким же, как он, вековым, корявым дубом, сунув свои черные ноги прямо в костер. (Он — сторож парка.) Выразительнейшая фигура! Одна беда: не хочет позировать. Как только замечает мои покушения — уходит.

Что касается твоего второго письма... Мне и горько и грустно, мой дорогой! Ты, ты говоришь о любви трудной, благословенной, неудовлетворенной? Вот когда, оказывается, я вымолила ее! За тысячи верст от тебя, связанная замужеством, переломанная одиночеством, тоской по России, жалостью к мужу. Что же мне сказать тебе? Приезжай? Это невозможно! Забудь обо мне? Об этом страшно подумать...

Без конца вспоминаю я нашу последнюю встречу в Казани — и ты не поверишь: в том, что тогда произошло, особенно чудовищным кажется мне, что мы (по моей вине) не простились. Разлука началась тогда — с Волгой, с молодостью, с тобой, самым дорогим и близким.

24.IV.22. Константинополь.

Иногда и мне хочется рассказывать тебе «старое». Помнишь, мы бродили за Новиковой дачей? Все вокруг было розовое — небо, и воздух, и березы, и в глубине рощи прятался молочно-розовый свет, а ты стал уверять меня, что я просто смотрю через розовые очки. Потом было то, что было, и мне очень хорошо запомнилось каждое твое слово. Может быть, потому, что в эти минуты говорила всегда только я, а ты — редко и как будто сердясь на себя.

Да, старые стихи я забыла, а новых почти не читаю. Както попалась книжечка берлинского издательства «Мысль» — избранные стихи Эренбурга, Есенина, Каменского. Стихи Бальмонта показались мне основанными на недоразумении. Да, стоит задуматься над эпохой — крушение или созидание? Но видеть только себя в этих безднах и взлетах — неестественно для истинного поэта.

Ты зовешь меня домой? А муж? Сможет ли он вернуться? А Париж? Здесь я пристроена кое-как — вот и буду терпеливо ждать счастья! Я тебе писала о хедиве, но ты, кажется, не получил этого письма. Он был замешан в заговоре против союзников, и ему пришлось скрыться в Турцию. Это — бесхарактерный человек, окруженный либо мошенниками, либо дураками. Я ему нравилась, он —

старый ловелас, и к принцессам я была приглашена с весьма очевидной целью. Но сумела постоять за себя, и он оценил: пригласил меня вместе с мужем в Чибукли, и, кажется, скоро все управление имением перейдет в наши руки. Для меня это единственная (пока) возможность учиться.

Я обещала тебе наброски Стамбула, да никак не соберусь, весь день занята, работаю у Гордеева, он рисует меня, или ездим на этюды. Он живет в самом сердце старого Стамбула с его мечетями, пестрыми базарами, развалинами старинных бань и городских стен. Домишки деревянные, без печей, несмотря на сырые, холодные зимы. И в богатых, и в бедных домах — мангалы, которые разнятся только по красоте и удобству. Турчанки ленивы, неразвиты, целыми днями сидят на низких диванах у закрытых решетками окон (чтобы кто-нибудь, боже сохрани, не увидел их с улицы) и ведут непристойные разговоры, ничуть не стесняясь присутствия детей. Одеваться не умеют, но зато отлично умеют раздеваться, как сказал мне однажды хедив. Бедность страшная, но никто, кажется, не обращает на нее внимания.

Сейчас здесь рамадан, то есть пост. Целый месяц правоверные не могут есть до заката солнца, курить, нюхать цветы, а уж о женщинах нечего и говорить. Грех смертный! С заходом солнца пушка возвещает час еды. Для богатых все это лишь средство превратить день в ночь — до утра открыты рестораны, ходят трамваи и пароходы. А постятся и изнуряют себя бедняки, работающие с утра до ночи.

Дорогой мой, у меня к тебе просьба, которая, может быть, покажется тебе странной. Пожалей меня! Пиши о чем вздумаешь: о художественных выставках, о своей математике. Пиши о поэзии, присылай, хоть изредка, вырезки из газет. Но не заставляй меня по ночам лежать, рядом с мужем, с открытыми глазами. Помнишь сказку Андерсена:

Ах, мой милый Августин!
Все прошло, все прошло.

Завтра поеду в город, зайду на почту, может, найду весточку от тебя.

Аллах смаладык, Константин-эфенди!

Твоя Лиза-ханум.

28.V.22. Чибукли, Босфор.

Аркадаш джаным! (Милый друг!)

Пожалуйста, без лести по поводу моего беллетристического таланта! Пишу всегда второпях и на людях, потому что у меня отдельной комнаты нет. Вот тебе несколько набросков с натуры.

Кафе: низкие стулья — перед маленькой лавчонкой, в которую может войти только сам кафеджи. Над дверью — огромный национальный флаг. По стенам, по полкам, маленькие чашечки и лубочные картинки, среди них (тоже лубочный) — портрет Кемаль-

паши. Посетители — одни, закатив глаза от удовольствия и слегка покачиваясь, тянут дым через длиннейший (метра в полтора) мундштук, другие пьют густой кофе и играют в кости и шашки.

Собаки. Ты, должно быть, знаешь из учебника географии, что в Константинополе много собак? Мало! Те, легендарные, давно свезены на пустынный остров и съели друг друга.

Цыганки бродят по городу в пестрых лоскутьях, выкрикивая свое «ми-ирэ-э-эси», что значит, как я догадываюсь, «гадаю». Ослепительны их желтые и зеленые платки и синие, красные шальвары. Не подумай, что я изменила своей любви к русской красоте! Но как вернуться? Как?

Я уезжала из Ялты нищая, голодная, но ведь у меня была надежда добраться до Парижа, с головой уйти в живопись, доказать себе, на что я способна,— словом, не пропасть постыдно, задаром. В Ялте я была в постоянном душевном напряжении, я искала — нет, не «конечный смысл», как в восемнадцать лет, а хотя бы проблеск внутреннего оправдания. Я была не одна, рядом со мной был человек необыкновенный, понимавший, что ни для него, ни для меня нет в этой кровавой сумятице другого выхода, кроме полного отречения в поисках «вечного» в искусстве. В Ялте «грянул гром», а ведь «пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится». Здесь над моей головой — ясное небо, гром не гремит, крестись или не крестись, этого никто не заметит. В Ялте я работала с утра до вечера, а здесь к холсту и краскам надо пробиваться — замужество, хлеб насущный, хозяйство. Конечно, буду пробиваться — ты меня знаешь.

Будь так добр, напиши в Пермь моей мачехе — я не получила от нее ответа. Живы ли мои? Ведь у меня четыре года нет от них ни слова. Адрес: Пермь, Вознесенская, 92, Елене Александровне Мартыновой. Я рассчитываю в этом месяце заработать — богатый турок заказал мне портрет жены. Если удастся, пошлю в Россию посылку. Буду писать сначала для себя, а потом придется приукрашивать. Ведь нужно выписать каждое кружево, каждый волосок — иначе не будет успеха и другие не закажут.

Я учусь читать и писать по-турецки — это очень занятно. Пришли мне стихи Ахматовой, если есть новые, я ее очень люблю. О Пильняке я читала хорошие отзывы, но достать еще не удалось. И не верь тому, что пишет о Турции Пьер Лоти. Надувательство! Здесь он имеет успех, потому что турчанкам кажется, что они похожи на его героинь.

...О, как тщательно ты исполнил мою просьбу — не писать о любви! Ты изложил мне даже теорию относительности — нарочно так сложно, чтобы я ничего не поняла? Боже мой! О прошлом можно, хоть изредка, два слова.

Твоя Лиза.

Это письмо было украшено рисунком турецкой кофейни: под древней стеной были разбросаны низкие зеленые и желтые стулья. Бородатый кафеджи в полосатой кофте и широких синих штанах

разливал кофе; слева и справа от овальной арки сидели посетители в халатах и красно-белых чалмах. Цветной карандаш осыпался кое-где. В рисунке была острота мгновенного впечатления, уверенность, небрежность — и талант, который сказался, может быть, в неизвестно откуда взявшемся свете, лениво озарявшем эту сцену неторопливого наслаждения.

20.V.22.

Сюда приехала Маша Снегова с отцом (прямо из Москвы, где жила последние полгода) и привезла мне старый, еще 1919 года, журнал «Изобразительное искусство», выходящий в Петербурге. Я прочитала его с изумлением. Передовая, да она как будто целиком взята из какого-нибудь «левого» манифеста! «Необходимо культивировать новый угол зрения на мир — его живописно-пластическое восприятие, представляющее собою как бы хроматическую гамму цветовых ощущений». Каково! И дальше: «Нельзя поощрять то или другое направление в искусстве. Допустимо и полезно лишь сопоставлять их, предоставляя каждому право свободно развиваться». Подписываюсь! Именно свободно.

Не можешь ли ты достать мне следующие номера этого журнала? Я читала его, как сказку из «Тысячи и одной ночи». Почтовые марки работы Альтмана, серебряные рубли — Сарры Лебедевой, проект народного герба — Чехонина, а печати Совнаркома — Ивана Пуни. Великолепные репродукции Штеренберга, рельефы Татлина, живопись Малевича и Ольги Розановой, и все это в журнале, который издается, как напечатано на обложке, Отделом изобразительных искусств Народного Комиссариата просвещения! Я прочитала отчет этого отдела. Бог ты мой! Государственные мастерские в Воронеже, Пензе, Саратове, Твери и в твоей Казани. Десять районных художественных школ в Петербурге, больше двадцати в Москве. Что же все это значит?

Этот журнал прямо противоречит тому, что я слышала до сих пор о положении искусства в России, и более всего слухам о «произволе», то есть намерении правительства направить живопись по одному, строго определенному пути. Особенно удивил меня размах: в одной Москве собираются поставить сорок памятников, и среди них — Курбе и Сезанну! Как говорится, дай бог!

И еще одно: постарайся, как это ни трудно, объяснить мне, чем ты сейчас занят в науке. Когда-то ты мечтал избавить человечество от власти слепого случая. Удалось? Я шучу, мой дорогой. Вот уже четвертый год, как Случай стал моим беспощадным властелином.

Так твоя работа напечатана в журнале Французской академии наук? Поздравляю тебя, мой дорогой. Ведь это — большой успех, не правда ли? Кто знает, может быть, мы когда-нибудь встретимся во Франции. Ведь я не только не отказалась от своей мысли добраться до Парижа, но даже пытаюсь найти эту возможность с помощью моего хедива.

4.VIII.22. Стамбул. Чибукли.

Милый друг, мне так приятно, что ты едешь в Петроград,— мысленно я с любовью иду рядом с тобой по его улицам, захожу в комнаты, где мы встречались и где я жила, получая твои короткие и беспощадные письма. Главное между нами всегда происходило в письмах — и происходит до сих пор, как это ни странно. Напиши мне подробно о своей поездке. Удастся ли тебе разыскать Леночку Горину?

Я сейчас всецело поглощена работой, и, кроме живописи, ничто больше не интересует меня. Годы уходят, никогда прежде я не боялась смерти, а теперь боюсь, потому что ничего не успела. Вот почему, милый друг, я ничего не могу сообщить тебе о младотурках и Кемаль-паше. Зато могу сообщить, что на Босфоре — воздух голубой, цвета кобальта.

Неужели можно надеяться, что ты поедешь за границу? У меня плохо на душе, и я жалуюсь тебе невольно. Да больше и некому! У меня так мало женского общества. Есть две-три знакомые дамы, но это совсем не то, что мне хотелось бы. Я выросла среди женщин, у меня потребность в женской сердечности. Даже внешностью девушки или дамы я могу любоваться без конца. Мне так часто приходится быть самостоятельной, и так от этого устаешь, так хочется быть слабой, под защитой. А я делаюсь все более мужественной, грубой.

Читал ли ты в «Эпопее» воспоминания Андрея Белого о Блоке? Я прочитала — и с ужасом поняла, что разучилась не только чувствовать, но и думать. Это — берлинское издание, я пришлю, если оно до вас дойдет.

P. S. Так журнал «Изобразительное искусство» больше не выходит? Почему?

27.IX.22 Чибукли.

Мой родной друг, давно не была в городе и не получала твоих писем. Последнее было из Ядрина. Ты прав, я и сама легче представляю себя в Ядрине, чем в Турции. Здесь как будто не я, а мой сон, от которого, увы, никак не очнуться. С моей надеждой на Париж придется, кажется, надолго проститься. Зато этой зимой я решила серьезно штудировать Византию — зарисовывать памятники, абонироваться в иностранные библиотеки и кое-что выписать, если будут деньги. У меня к тебе просьба: если тебе встретятся книги по старинной русской иконописи, приобрети их — для себя, а потом, если будет возможность, пришли мне, от всей души буду тебе благодарна. Говорят, что, когда Матисс был в Москве, он пришел в восторг перед старой иконописью.

Может быть, ты не согласишься со мной, но я не вижу ничего мистического в Блоке. Я ведь нерелигиозна и религию искала не от религиозности, а эстетически. Так я понимаю и Блока. Разница между ним и Соловьевым заключается, по-моему, в том, что Блок воспел земную красоту с молитвенной силой, а Соловьев — божественную — с силой плоти.

Вот я как будто должна быть довольна сейчас своей жизнью: хороший, любящий муж, живу много приличней других беженцев, могу даже работать «для души», часто счастлива «Марфинькиным» счастьем. А душа — цыганка, все ищет бурь, «как будто в бурях есть покой», толкает в сторону от Марфиньки, тоскует. И кто-то третий (в душе) все оценивает, взвешивает — осуждающе, строго.

Я переписываюсь с Шурой, и странное, противоречивое чувство вызывают во мне ее письма. Кто бы мог подумать, что моя хозяйственная, практичная, всегда со вкусом мечтавшая о семейной жизни Шура станет председателем какого-то женотдела, общественной деятельницей и т. д. О своей семейной жизни она пишет вскользь и в огорчивших меня «изящных» выражениях: «Мое существование украсилось рождением мальчика, маленького чуда». Но вот что поразило меня: она не только не ищет защиты в семейной жизни (как я), а как бы ставит ее вровень или даже ниже своего женотдела. Зовет меня в Симбирск. Я ответила, что охотно променяла бы Стамбул на любое село на Волге, если бы это было возможно.

Напиши мне, что такое «нэп». Практически, что изменилось в жизни? И почему ни слова о своем здоровье? Здесь многие страдают от малярии.

20.X.22. Чибукли.

Дорогой мой, если бы ты знал, как мне необходимо увидеть тебя, посоветоваться, поделиться своим горем — да, горем. Ума не приложу, как выйти из заколдованного круга, в котором оказалась по собственной вине. Напишу кратко, потому что сама еще ничего не знаю, ничего не решила. Кажется (и в этом вся беда), я полюбила художника, который (я тебе писала) работал со мной. Это человек сильной воли, упорный, и теперь к его упорству в искусстве присоединилось еще одно — то, о котором нетрудно догадаться и которому трудно противостоять.

Нас связывает многое, и прежде всего — глубокий общий интерес к искусству. Без него — не быть мне художницей, а если так — стоит ли жить?

Но я и мужа люблю, милого, бесконечно доброго, несчастного мальчика. Да, мальчика, ему двадцать шесть лет. Каждый день собираюсь сказать ему — и нет сил, хотя и знаю, что он догадывается, мучается. Как поступить?

Америка принимает участие в судьбе христиан, оказавшихся в Турции, и охотно приглашает людей искусства. Гордеев зовет меня ехать с ним. Но оставить здесь мужа, который глубоко привязан ко мне и несчастен, очень несчастен? Голова кругом, запуталась, нет тебя, и это самое страшное, потому что к тебе я, как Христос, пошла бы по морю, яко по суху. Ну, полно. Хоть выплакалась — и то полегчало! Спасибо тебе, мой дорогой, за рассказ о поездке в Лавру. А вот я здесь больше двух лет, а в Айя-Софии еще не была. Зато добралась наконец до мозаики Кахрие-Джами,

древнего византийского храма, пострадавшего сперва от иконоборцев, а потом от турок. Делаю зарисовки, подкрашиваю их акварелью. Да разве передашь эту палитру, это контрастное соединение белых тонов с беловато-желтыми, светло-синими, сиреневыми, фиолетовыми или красно-коричневых с голубыми?

Живется нам пока недурно. Ну, а станут насильно выселять христиан — ходят такие слухи,— уедем. Не принимать же мусульманство! Здесь бы с деньгами пожить! Эхма!

Жду твоих писем, как манны. Спасибо за фотографии.

25.X.22. Чибукли.

Добрые два часа просидела я над твоим письмом, в котором ты ответил на мой вопрос о «нэпе». Я никак не могу взять в толк, кому и чему мешают открывающиеся чуть ли не каждый день новые магазины и рестораны? «Вместе с нэпом пришла идея погони за потерянным временем»,— пишешь ты. Пусть так. Но что же здесь плохого? Ведь этот «нэп» не упал с неба, а вызван какой-то необходимостью и, стало быть, обеспечен законом? Я прочитала в «Monde», что «Традиционная русская тройка возвращается на европейскую дорогу прогресса». Это хорошо или плохо? Ведь ты, кажется, считаешь, что «нэп» — это чисто русское явление?

Не поняла я и то, что «эти люди» (то есть нэпманы?) лихорадочно стараются забыть «катастрофу в собственном сознании». Словом, или я стала круглой дурой, или перемены в России можно постигнуть, только увидев их собственными глазами.

1.XI.22. Чибукли.

Милый друг, тороплюсь закончить акварель, да совершенно дело нейдет, вот и взялась за письмо к тебе вместо работы.

На днях была у доктора, серьезного старика, который меня напугал: подорвано, говорит, здоровье. Вы должны, говорит, жить растительной жизнью или, по меньшей мере, отказаться на время от всякой игры чувств и ума. Легко сказать! Зная, как жадно мне хочется жить, ты поймешь мое настроение. Как в Тартарене из Тараскона, во мне странным образом сочетались Санчо Панса и Дон Кихот. Первый хнычет и жалуется, а второй рвется вперед, хотя у него еще не зажили следы былых сражений. Ты догадываешься, о чем я говорю?

Найди мне где-нибудь в святцах историю Георгия Великомученика. Мой художник похож на него — византийский лик с огромными, полными тоски глазами.

Мы едем в Америку, может быть, скоро. Греки и армяне уезжают тысячами в день, боятся, что турки их зарежут! Русских пугают большевиками. Но многие давно сменили вехи (если было что менять), а многие случайно оказались в потоке беженцев и мечтают вернуться в Россию. Словом, решено! Год-полтора в Америке, а потом

в Россию, чтобы не терять времени в поисках синей птицы. Эта птица стала теперь реальностью для меня: хочу сделаться серьезным мастером в живописи. Не растерять бы только перышки по дороге!

10.XI.22. Стамбул.

Вот тебе один из моих этюдных дней. Шла по Буюк-базару, остановилась перед лавочкой торговца ватными одеялами. Словами этого зрелища не передать, а когда я попыталась «запомнить» его с помощью красок... Впрочем, по порядку. Только что я села, устроилась, как собралась толпа. Пришел полицейский и, вместо того чтобы ее разогнать, тоже стал смотреть да еще и похваливать: «Ай, руськи. Ресим япыйорсун? (Красками рисуешь?) Ай, карашо». Другие продавцы возмутились — толпа загораживала их лавчонки,— начали меня гнать. Я скандалила, не уходила, и кончилось тем, что меня едва не побили.

С базара поехала я в Кахрие-Джами — и, к своему огорчению, не нашла там старого муэдзина, который за 20 пиастров позволял мне работать в мечети. На этот раз был другой, незнакомый, который стал требовать с меня бакшиш (чаевые) в пять раз больше. У меня денег не было, и тогда он прогнал меня без церемоний. Взволнованная до слез, я отправилась в турецкое министерство искусств или что-то в этом роде — «Эвкав», где после долгого ожидания меня провели к какому-то мулле, который сидел в европейском кресле, подогнув под себя ноги. Раздосадованная, я рассказала ему про все эти «бакшиши». Он долго качал головой, причмокивая, а потом объявил, что муллы получат строгий выговор — за что, как ты думаешь? — за то, что они пускали меня в мечеть работать. В ответ на мое недоумение, возмущение — лишь прищелкиванье языком: «Ёк» — нет! Я расплакалась от злости, хлопнула дверью и ушла. Дикари! Теперь придется хлопотать через соседа, директора музеев. Я учила его детей рисовать.

Скоро выставка. Надо готовиться, а у меня все в этюдах и набросках. Ничего не удается продать, нечем и не на чем работать, хотя отказываю себе в самом необходимом. Хочется выписать книги — не могу. Просматривала ежемесячник «Новая русская книга» — у вас выходит много интересных книг. В особенности меня интересует журнал «Среди коллекционеров». Ты не можешь узнать, сколько он стоит на фунты или лиры? Вопрос риторический, но ты ведь знаешь, надежда никогда не оставляет меня. Пиши, мой милый. Спасибо за отчет о выставке. Понятно, что передвижники — уже не вчерашний день, а вчерашний век.

Чибукли. (Дата не проставлена.)

Знаю, что ты милый, знаю, что ты родной и вспоминаешь обо мне сегодня, в день моего рождения. Я благодарно радуюсь и тоже нежно думаю о тебе. Мне грустно сегодня. Годы идут,

уходят силы, уже нет или очень мало той фокстерьерской жизнерадостности, которая некогда то радовала, то сердила тебя. Сейчас валит густой пушистый снег, что бывает здесь редко, очень холодно, и сад погибает. В особенности мне жаль одно дерево — японскую магнолию с крупными, хрупкими розовыми цветами. Я только что бегала в парк, чтобы набрать последний букет,— пишу натюрморт. Но вот беда: кончились белила, а пока соберусь купить — не будет цветов.

Я вернулась к мужу. Не могла я оставаться с мужем в одном городе, перейдя с одной квартиры на другую. Гордеев взял с меня клятву, а время шло, Америка уплывала из вида: я не могла ни жить, ни работать в такой неопределенности. Да и... Откровенно говоря, не хочу я быть его женой! Едва мы остались вдвоем, как мне смешными показались мои рассуждения о том, что я не могу жить без него (как художника), что мое будущее в искусстве всецело зависит от этого союза. Возможно, что это и так, но не способна я на эту ложь во спасение. Мы по-разному многое понимаем в искусстве. Для мужа моя живопись — пустое времяпровождение, для Гордеева — дилетантство. От каждого моего несогласия с ним он взрывается, а я упряма. Мужа я убивала — это не пустые слова,— да и себя не щадила, едучи в препротивную, нагоняющую ужас Америку. С первого дня начались угрызения совести, болезненная жалость к мужу (а он у меня — настоящий раджа по благородству чувств), преувеличение своей вины перед ним и т. д. Все трое измучились нравственно и физически. Кончилось тем, что муж забрал меня к себе, как в санаторий, когда мне уже ничего не хотелось. Влюбился снова (раньше было «семейное» чувство), ходит на цыпочках, умолял простить, хотя прекрасно знает, что не он, а я перед ним виновата. С Гордеевым больше не встречаюсь. Жалею и его, казню себя, но ничем не могу помочь его горю. Что делать? Нет у меня настоящего чувства ни к тому, ни к другому.

Тебе, должно быть, наскучила моя мелодрама. Но я пользуюсь твоей просьбой писать о самом интимном. Женщина всегда нуждается в друге, а у меня его нет. Только ты...

Вчера всей компанией (Машенька Снегова с мужем и Саламатов — старый художник, с которым я познакомилась еще в Петрограде) ездили в Кахрие-Джами. Была прелестная экскурсия. Саламатов, как мальчик, спешил обо всем рассказать. Мулла, его старый знакомый, лазал по расшатанной лестнице, протирал мокрой тряпкой мозаики и фрески, и от их сказочного оживления мы трепетали и ахали от восторга внизу.

Я достала книгу Грабаря о русской иконописи. Фрески Кахрие-Джами напоминают большеглазых русских ангелов, архистратигов. Ах, скорее бы вернуться в Россию! С каким наслаждением порылась бы я в архивах! Так и вижу старенького богомаза, который, принимаясь за работу, открывает «Иконописный подлинник»: «Какова была богородица? Росту среднего, вид лица ее, как зерна пшеничного, волосы желтые, очи острые, брови наклоненные, изрядно черные, нос не краток, лицо ни кругло, ни длинно, но мало продолжено»,— и т. д. А «подлинник» этот откуда? Из Византии.

Спасибо за фотографии. Ты до странности не изменился с тех пор, как мы — сто лет тому назад — виделись в Казани. Не сердись, мой милый, но в твоем лице появилось что-то от маски — или это просто напряжение перед фотографическим аппаратом?

10.I.23. Стамбул.

Ты спрашиваешь меня, Костенька, о моем «круге», с кем я близка, есть ли у меня друзья? Круга — нет и не может быть, во-первых, потому, что мы с мужем живем в Чибукли, на отлете. А во-вторых, потому, что я приехала в Константинополь до эмиграции, своей охотой, стало быть, не разделила трагедии вынужденного бегства. Это сразу сделало разницу, которая чувствуется, иногда очень болезненно,— решительно во всем. Ну вот, например, если бы не Гордеев — нечего было бы и думать о моем участии в выставке русских художников. (Я случайно узнала, что он хлопотал за меня.) Конечно, я не одна, ведь я легко схожусь с людьми. Меня полюбили в двух-трех турецких семействах, где я учила детей рисованию. Эти знакомства могли бы упрочиться, если бы я была уродлива или горбата. Увы, это не так! Русские женщины имеют успех в Стамбуле, а что касается блондинок или шатенок (к которым имеет честь принадлежать твой друг), то на них турки только что не кидаются или по меньшей мере смотрят опасно бешеными глазами.

У меня есть несколько друзей — не Саламатов и не Снеговы, хотя Машеньку я люблю. Но, во-первых, у них-то как раз и есть свой круг, к которому я не принадлежу, отчасти потому, что бедна, а они — богаты. (У Машеньки отец — видный химик, который постоянно и уже много лет живет в Париже.) А во-вторых... Ну, как бы тебе объяснить? Для русских Стамбул — лабиринт. Каждый мечтает выбраться. Но как? И куда? Все — *в разное,* потому что у каждого своя жизнь. А для Снеговых, для Саламатова Стамбул — пересадка. Поезд подан, поехали дальше. Я близка здесь только с Олей Сазоновой. Она москвичка, художница, занимается миниатюрой, совсем молодая (ей двадцать три года) — и навсегда (так мне кажется) потрясена гибелью мужа где-то на Сиваше, в последние дни войны. Никогда не жалуется, изредка обронит два-три слова. Красива, но как-то очень уж не по-земному. Такой безнадежности я в своей жизни еще не встречала. Она однажды сказала, что я полюбила ее от скуки и только потому, что мне удается иногда заставить ее вспомнить, что жизнь не кончена в двадцать три года.

Стамбул. 1923

Сегодня она решила остаться дома, чтобы набросать косогор с козами и каменоломней, который она каждое утро видела из своего окна в Чибукли. Турчанки в ультрамариновых платках убирали пшеничное поле на склоне. Косогор был уже другой, июльский,

потерявший сходство с русским пейзажем, краски стали жестче, каменоломня погрубела, и во всем — даже в белых, рыжих и розовых козах — стало как будто меньше лазури. Но остаться дома было нельзя — и не только потому, что муж, которого вызвал к себе швейцарец, управляющий имением, мог в любую минуту вернуться и начался бы бесконечный, утомительный, убивающий ее своей деликатностью разговор. Остаться она не могла, потому что вся надежда была теперь на Кахрие-Джами, на мозаику, на ее зарисовки — словом, на Византию.

Ехать было далеко, почти час до города, вдоль Золотого Рога, а потом еще час на трамвае. Но лучше не сокращать дорогу, как на прошлой неделе, когда, заблудившись, она попросила турчонка лет шестнадцати проводить ее в Кахрие-Джами, и он с очень дурными намерениями завел ее в развалины византийских стен: «Руськи, руськи, хайди, джаным. Иди суда». Хорошо, что она оказалась сильнее, чем он.

...Босфор. Выпуклая, льющаяся вязь серебристо-жемчужных и розово-зеленых мазков. Краски, растворенные воздухом, нежные облака пара над проснувшейся рекой. Рыбаки тянут сети: «Ой, лялла, лялла!»

Накануне она получила наконец письмо из России, от Кости, и теперь дорогой думала о нем. Письмо было нежное: «Так ты думаешь, что каждому из нас задан урок, который должно выполнить до своего смертного часа?»

Новый мост, парусные суда, алые, малиновые, черные, голубые! Что за тени на просыхающих парусах! Неподвижные матросы в фесках, обмотанных цветными платками.

«Милый мой, родной дружок,— она мысленно писала ему,— так уж рада твоей весточке, ведь почти три месяца не было от тебя ни слова».

...Турчанки в длинных черных платьях, с закрытыми лицами. Кривые переулки, кладбища, разбросанные среди домов. Темные, острые линии минаретов, падающих памятников, кипарисов. Арабский орнамент?

...«Часто, часто вижу себя в Казани. Да как же я могу позволить тебе не звать меня домой? Для меня Россия теперь — это ты».

Все движется, деревья свиваются в беспорядочном беге, между ними в тесных проходах — стоянки лодок, блики воды. Моне?

«Я всплакнула сегодня над твоим письмом, хотя и рада, конечно, если ты счастлив. Ты в Ядрине и влюблен, что может быть светлее, милее?»

И снова Моне. Мелькание разноцветной толпы под косыми, размазанными лучами солнца, бегущие пятна синих и лиловых теней.

«Это покажется тебе наивным, даже нелепым, но тайная надежда, глупая надежда, что ты любишь только меня, никогда не оставляла меня. Может быть, потому, что все мои встречи с другими — это ты. И теперь, когда я спокойнее смотрю на свое прошлое,

я вижу, что не было у меня большего счастья, чем наша любовь, со всеми ее унижениями и обидами — давно прощенными и даже чем-то дорогими».

Она была уже в Кахрие-Джами, слезы мешали ей приготовиться к работе, она стала искать платок, не нашла и сердито смахнула слезы рукой. Все еще смотрелось в мелькании яркого уличного света, сиянии воздуха и воды, а здесь была чистота, тишина, строгость, апостолы и пророки в медальонах, портики, под которыми, не опираясь, светло и стройно остановились святые. Что за чудо соединило этот архитектурный ландшафт, эти террасы и купола с ломающимися складками одежды, за которыми чувствовалось нервное, нежное, порывистое тело? Ей надо было добиться несуществования всего на свете, кроме работы. Но то, о чем думала она дорогой, не только не уходило, а поднималось снова и снова, пока она не заставила себя долго и холодно рассматривать сильные и светлые краски фона — она писала «Раздачу пурпура израильским девам». Тогда взялось, понеслось — и наступила наконец та блаженная пустота невиденья и неслышанья, в которой не было ничего и никого — только работа. Ни воспоминаний, ни сожалений, ни Ядрина, ни Кости, ни внезапного изумления — я в Турции? — ни бедности, ни горечи, ни голода. Впрочем, голод напомнил о себе. Она съела припахивающий скипидаром бутерброд и вдруг полезла по шаткой лестнице, чтобы взглянуть на мозаику в косом ракурсе, не так, как она видела ее снизу. Ракурс надо было найти не выдуманный, а подлинный, то есть угадать зрение художника, построившего плоскость почвы не горизонтально, а вертикально — вот откуда это впечатление, эта бесплотность. Она жалела, что не сделала еще два-три рисунка, прежде чем писать фигуры, и вдруг засмотрелась на одинокое эллинистическое дерево на другой мозаике, смело пересеченное скалами. Дерево было похоже на любимый ялтинский величавый платан, стоявший одиноко на набережной, хотя вокруг были магазины, театры, толпа.

С лестницы и ее работа выглядела совсем другой, стало ясно, например, что все — и линия и свет — должно стремиться к пятну пурпура в центре мозаики, а к тому пятну, которое она написала, никто и ничто не станет стремиться. И надо...

Она слезла с лестницы и стала решительно, но осторожно снимать пятно ножом.

Какие-то люди вошли в мечеть, и это было очень хорошо, потому что она рассердилась на них — позволила себе рассердиться, чтобы снова уйти с головой в работу.

Свет стал меняться почти неуловимо, не в воздухе, а в складках одежды, которую она писала, фиолетовый оттенок перешел в сиреневый, а жемчужно-серый... Это значило, что надо заняться чем-то другим. Было уже далеко за полдень, она с сожалением подумала, как мало сегодня успела, и, обернувшись, заметила, что давешние посетители стоят неподалеку и, не решаясь, может быть, подойти, смотрят на ее работу. Это была пожилая пара — он в длинном легком пиджаке и кремовых брюках, высокий, худой, седой, она —

затянутая, играющая лорнетом, в чем-то кружевном, дорогом, ниспадающем, и тоже величественно седая.

— Извините.— Он подошел поближе, заметив, что Лиза обернулась.— Мадам говорит по-английски?

Она ответила, что говорит, но плохо, и предпочитает французский, итальянский, турецкий.

— Мне хотелось выразить свое восхищение вашей работой, мадам,— на хорошем французском языке сказал он.— Это не простое копирование, но тонкая интерпретация, которой ничуть не мешает близость к оригиналу.

Лиза поблагодарила.

— Так же, как и вы, я очень интересуюсь византийской живописью, мадам. Краски Джотто кажутся мне грубыми в сравнении с этой изысканной палитрой.

Лиза ответила, что ей, к сожалению, не посчастливилось увидеть Джотто в оригинале.

— Давно ли вы занимаетесь зарисовками Кахрие-Джами, мадам?

— Скоро два года.

— О! Признаюсь, впервые я вижу такую изящную и тщательную работу. Ведь это — новость, мадам. Насколько мне известно...

2. V. Чибукли.

Кто-то сказал, что жизнь — ряд пропущенных возможностей. Как это верно! Всегда я как будто чего-то жду, сижу на полустанках, по дороге в столицу, не раскладывая вещей. А молодость проходит, да уже и прошла. Где же столица?

Вчера была на вернисаже нашей выставки. Какая скука! Я выставила две вещи, написанные темперой на мотивы мозаики Кахрие-Джами, и недовольна, злюсь, даже плачу. Все это еще так приблизительно, бессвязно. А учиться не у кого! Гордеев, конечно, головой выше других, и, работая, я не перестаю сожалеть, что подле меня нет теперь такого неоценимого советчика и друга.

Вчера на вернисаже я впервые встретилась с ним после возвращения к мужу. Оба были глубоко взволнованы. Я подала ему первая руку после нескольких секунд потери сознания. Он сел в углу на диване, наблюдая за мной. Страшно исхудал, глаза огромные, как на древней иконе, измученный и прекрасный. Меня тянуло к нему, как преступника к жертве, я подошла — и мы проговорили больше часа. Сначала было трудно, неловко, потом как-то сгладилось, он с упоением рассказывал о работе своей и моей. О прошлом — ни слова. Я слушала, точно снова была влюблена. А когда ехала домой — как будто еще раз родного похоронила.

Почему от тебя так давно ничего нет, мой милый? В последнем письме ты беспокоился за меня: «Мужчина любит в женщине себя, то есть создание своей воли и воображения». Какой же ты создал меня, дружок? Напиши, ведь, в сущности, я совсем не знаю себя.

Между «знать» и «любить» — целая пропасть. И почему беспокоишься? Из-за мужа?

Большое спасибо за петербургские открытки. Я тебя ревную к Петербургу. Какой ты счастливый! И зачем все тебе одному? И Исаакий, и музеи, и белые ночи. И как досадно, что последние дни твоей поездки были испорчены приступом малярии! Кстати, говорят, что турецкие врачи лечат ее превосходно.

Да, мне смертельно хочется в Россию, но и страшно, ведь потеряны все знакомства и связи.

А теперь новость или, если хочешь, надежда. На днях, когда я работала в Кахрие-Джами, ко мне подошла почтенная пара,— как оказалось, весьма известный английский археолог с женой. Он заинтересовался моими зарисовками, поехал даже ко мне в Чибукли и в итоге предложил купить у меня несколько работ. В сущности, это почти решает вопрос о Париже, и деньги были бы уже у меня в кармане, если бы по своей глупой добросовестности я не попросила у него еще несколько дней, чтобы кое-что улучшить, исправить. Теперь тороплюсь.

Сейчас понесу письмо на почту, спущусь к Босфору — он такой голубой сейчас. И воздух и горы — голубые, и дельфины кувыркаются в голубой воде. Я всегда хочу, чтобы ты видел то же, что я, и так же, как я. Нужно кончать. Скорее пиши, мой милый друг. Если будешь в Гаспре — это так близко от меня, только море переплыть. Неужели нельзя будет повидаться? Говорят, иногда берега Турции видны с вершины Ай-Петри.

22.V.23. Чибукли.

Милый, золотой друг, где же ты? Иногда мне кажется, что ты скоро приедешь в Константинополь, и я начинаю ждать тебя, волнуюсь, не нахожу себе места. Вот ты неожиданно вошел, у нас гости, я растерялась, бросилась на шею, потом представляю как лучшего друга, приехавшего из сердца России. Начинаются расспросы, ты отвечаешь остроумно, дельно. А я жду с нетерпением, с волнением, когда же мы останемся одни наконец! Потом мы едем в Стамбул, осматриваем Кахрие-Джами и турецкие мечети, музеи, бродим по базару, переулкам, пристаням! Эхма!

Угнетена, унижена своей беспомощностью, своей безнадежностью женского рабства. Вчера окончательно поняла, что мне надо жить одной, что я, со своей страстью к искусству, в тягость мужу, который предпочел бы, чтобы я бросила живопись или относилась к ней по-дилетантски. Наговорили мы друг другу резкостей, и под горячую руку я снова решила уйти от него. Но куда? Ни гроша, чтобы снять комнату,— зарисовки не кончены, а англичанин мой куда-то пропал — и нет друзей, которые могли бы приютить меня хоть на время. Заняла несколько пиастров, зашла за Олей Сазоновой, и отправились мы посидеть за кружкой пива, отвести душу. Мимо проходил Гордеев, я его сама остановила и пригласила. Говорили много, горячо. Он доказывал, что ничему нельзя научиться, копируя фрески,

что для меня полезнее просто писать этюды Стамбула. Вот его соображения, над которыми я не перестаю размышлять: из византийского искусства один ход — в графику, да и то слишком сложный для меня, ученицы Добужинского, который, по его мнению, «не очень-то умел рисовать». И русская иконопись ничего не может дать современному художнику. Самое сильное в иконе — контраст: нейтральный цвет ризы, и вдруг сильные красочные удары — пятна лица и рук. Воспользоваться подобным искусством, преодолеть его — невозможно. Это — путь к неизбежной стилизации, а заниматься стилизацией не только бесполезно, но вредно. Есть и другой путь — к символизму. Тут он обрушился на Петрова-Водкина, «которому кое-что удалось не вследствие, а вопреки его иконописному направлению». Вообще говоря, любые попытки стилизаторов лишь показывают «расстояние, отделяющее современного человека от любого, даже гениального богомаза»! И он обидно заметил, что в моих зарисовках отчетливо видна «несоизмеримость между копией и оригиналом». Между тем надо не копировать, а углубиться в себя, потому что главное в живописи — непосредственность. Он убежден, что очень скоро стремление к непосредственности и человечности надолго оттеснит «фокусников и рационалистов». «И я просто не могу понять, как вы — воплощенная непосредственность — не понимаете этого и мечетесь от одного направления к другому».

Он упрекал меня в бесхарактерности, доказывал, что жизнь в искусстве — подвижничество и что для подлинного художника признание — ничто. Я видела, что он меня все еще любит. Слезы накипали, но я и не заикнулась, с каким решением приехала в город. Расстались — я была поражена, когда Оля, провожая меня, сказала, что я сама себе не верю: «Ты все равно вернулась бы к мужу, измучившись сознанием вины».

Она поехала со мной в Чибукли и всю дорогу доказывала, что я просто не вижу Гордеева, как ничего не видят в первую минуту, выходя из темноты на свет. «Эти карие глаза с желтоватыми белками, эти черные прямые, чуть ли не конские волосы, эти тесные, без блеска, белые зубы! Да он и дороги ради тебя не перейдет!»

Я вернулась расстроенная и не спала ночь, думая о том, что прав был милый, добрый Суренянц, который говорил, что я должна жить одна, потому что в любви всегда буду жертвой. Его смерть для меня — огромная утрата. Ведь он буквально «подобрал» меня, когда я физически и нравственно погибала. Мы вели с ним нескончаемые разговоры, мы оба чувствовали, что выигрываем у судьбы эти вечера в Ялте, отрезанной от всего мира. Айя-София, до которой за два года жизни в Константинополе я так еще и не добралась,— ведь я видела ее воочию в часы наших разговоров, древнюю, еще не изуродованную турками.

А потом это позорное лето, когда немцы заняли Ялту, и Вардгес Яковлевич учил меня *не видеть* всего размаха этого чудовищного, уродливого хамства. Раздутые от самодовольства офицеры небрежно и важно прогуливались по набережной с дамами в необъятных

шляпах. Только и слышалось: «Móен», «Móен»,— как мурлыканье откормленных котов.

О, как хотелось мне тогда получить от тебя хоть два слова! Мы очень, очень часто говорили о тебе. Я ждала, он доказывал, что твои письма не могут дойти, что между нами не один и не два фронта. Я все-таки ждала.

А наши разговоры о цели искусства не как предмета поклонения, а как сопричастности души с высшей жизнью! Он любил цитировать Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.

Вот этот огонь бессмертной души, уходящей в ночь и плачущей, уходя, я чувствую, думая о моем покойном друге.

У меня появилась маленькая надежда уехать в Париж. Хлопочу о визе. Обещан вызов, а там — будь что будет. Обнимаю тебя.

Твоя Лиза.

Здесь между письмами была вклеена слегка пожелтевшая фотография: перед мольбертом, на котором стоял начатый картон, держа кисти в руках, сидел художник, без сомнения, Гордеев, а в центре — серьезная, причесанная на прямой пробор, в свободном, легком платье, оставлявшем голыми руки и шею, ему позировала Лиза. В том, как она держала руки, легко соединив узкие, длинные кисти, в покорности, странно противоречившей гордому повороту головы, в линии шеи, плавно переходящей в плечи, во всем была скромная женственность — ее слабость и сила. И такая же, схваченная несколькими линиями, она была намечена на картоне.

Солнце светило в спину художника, и контур его повернутого в профиль лица был расплывчат, неясен. Что-то офицерское было в небрежности, с которой он сидел, скрестив ноги в высоких сапогах.

Москва, Большой Палашовский, 24, квартира 6.

Лизочка, родная, ты просила рассказать, какой теперь стала Ялта. Для этого необходимо было вспомнить, какой она была,— и, перелистав наше с тобой эпистолярное наследие, я наткнулся на твое «многотомное» письмо с прологом и эпилогом. Не обладая твоим беллетристическим даром, все же воспользуюсь этой, весьма удачной, как мне кажется, формой. Так вот:

Пролог

Если прежде Ялта состояла из татар-проводников, набережной и магазинов, то надо сказать, что проводники исчезли бесследно. Набережную трудно изменить, поскольку она слагается из неба,

берега и моря. Однако купальни заброшены и пустуют, мужчины и женщины, разделенные дырявым забором, купаются в чем мать родила, а потом в трусах и бюстгальтерах идут освежиться в татарский подвальчик возле Желтышевского пляжа.

Том первый

Как явление, неизвестное в прежней Ялте, следует прежде всего отметить беспрестанное постукивание, которое производят козы и местные дамы. Первые постукивают копытцами — что вполне естественно, а вторые — деревяшками. Козы, как выяснилось, были приобретены у татар в голодные двадцатый и двадцать первый годы, с неслыханной быстротой расплодились, и теперь их (коз) можно увидеть не только на полянах и заброшенных виноградниках, но и во дворах центральных улиц. Деревяшки с ремешками, вроде сандалий, остались с тех же времен. Кстати, они упоминаются в известной песенке «Ужасно шумно в доме Шнеерсона». Празднуется свадьба, и «невеста вся разоделась в пух и прах: фату мешковую надела, и деревяшки на ногах».

Другое нововведение — серьезное, и называется оно «Народный университет». Постоянного помещения у него нет, и лекции читаются в Советской трудовой школе (бывшая мужская гимназия) и в Алексеевской аудитории. Я выслушал одну, единственно из любопытства. Читал древний старичок профессор Деревицкий, и хотя он по-детски шепелявил, рассказывая об «этрусских вазах»,— лекция была интересная, и слушали ее с интересом.

Кинематографы процветают, хотя «Электробиограф Дрона», по-видимому, прекратил свое существование, уступив место «Кефиру по Мечникову», которым торгует румяно-бородатый мужчина в русской рубашке навыпуск. «Одеон» действует, а в «Олимпе» гастролирует театр миниатюр «Табакерочка Полишинеля», причем каждая программа называется «понюшка» — первая, вторая, третья и т. д. Я был, кажется, на девятой «понюшке». Шла миниатюра «Шумит ночной Марсель»: «В перчатках черных дама» вошла в притон и смело приказала служанке «подать стакан вина»; потом появились старый скрипач, апаш, и под звуки танго на сцене происходит то, что так волнует зрителей в романсе. Потом конферансье с большим успехом исполнил романс: «Капли испарений катятся, как слезы».

Цирк — новость, хотя бы по той причине, что на его афишах напечатано огромным красным шрифтом «Корова». Это значит, что вместе с обыкновенным билетом вручается лотерейный, и после представления разыгрываются кастрюли, чашки и, наконец,— корова, которая торжественно выводится на арену. Я выиграл пепельницу из ракушек. Среди зрителей было много татар, для которых сам цирк был новостью, не говоря уже о возможности выиграть корову.

Магазины, гостиницы и базар. Первые, как и в других городах, отличаются прежде всего тем, что раньше на вывесках аршинными

буквами изображались фамилии владельцев. Теперь на первый план выступила «фамилия» товара, написанная белилами поперек витрины, а владельцы прячутся где-то в уголке, не привлекая внимания. На иных магазинах — железные ставни, но многие открыты, и торговля идет живо, хотя чебуречных, кафе и ресторанов гораздо больше, чем магазинов,— и кормят отлично.

Над одним из ресторанов висит большая вывеска «Бон аппетит», а над чувячной — грозный лев напрасно пытается разорвать чувяк. Объяснение: «Разорвешь, а не распорешь». В сапожных мастерских можно заказать коричневые остроносые туфли «джимми» — и я бы сделал это, если бы, как говорят крымчаки, у меня хватило «башлей».

Не знаю, были ли при тебе чистильщики обуви? Теперь они встречаются на каждом шагу, называют себя (с гордостью) ассирийцами и чистят обувь пастой «функ», ароматной, как помада.

Том второй

У подъезда гостиницы «Ореанда» стоит бородатый швейцар в ливрее с серебряными галунами. Упитанные мужчины в хороших костюмах и дамы, одетые по последней моде, с драгоценными кольцами, брошами и серьгами, подъезжают к ней на автомобилях — многие прямо из Симферополя,— все публика, которой ничего не стоит дать вышеозначенному швейцару на чай червонец. Это и есть нэпманы, которыми ты интересовалась.

На базаре можно купить все что угодно: свежее мясо, рыбу и птицу. С Украины везут овощи — помидоры, огурцы, капусту. Татары разносят в корзинах фрукты — черешню, клубнику, виноград. На базаре я был несколько раз.

Порт, без сомнения, очень изменился, почти пустует, а каботажная пристань, которую ты некогда так живо описала, по-видимому, осталась такой же, хотя турок на ней ты больше не увидишь. Суда по-прежнему привозят муку, фураж, цемент. Арбузы и дыни сложены в громадные, прямо-таки египетские пирамиды. Арбуз можно купить когда угодно — даже ночью. Улицы, понятно, переименованы (но ялтинцы называют их по-старому): «Дворянская» — в «Советскую», «Мееровская» — в «Володарскую», а «Кутузовская» (!) — в «Свердлова». Гостиница «Франция» называется теперь «Учан-су», а «Метрополь» — «Парижская Коммуна».

Том третий

Высокий человек лет пятидесяти, с усами и черной бородой, в толстовке с галстуком, быстро ходит по городу.

Через плечо — голубой ящик на ремне, на ящике надпись: «Горячие пирожки Тодорского». Время от времени он останавливается и громко кричит: «Пира-а-жки! Кура-абье!» Это — в прошлом широко

известный юрист Тодорский. Курабье я не пробовал, пирожки у него покупал. Когда однажды попытался заговорить о прошлом, «заглянув за пирожки»,— наткнулся на вежливую, непроницаемую, каменно-равнодушную стену — если можно так сказать о стене.

Генерал Петров. На углу набережной и Морской улицы — горшочки с цинерариями и флоксами. Есть и срезанные цветы. Продает их пожилой, с бравой выправкой человек с подстриженной ежиком седой головой. Лицо уверенное, спокойное, волевое. Это — бывший генерал от инфантерии Петров, отказавшийся (по слухам) служить в Красной Армии, несмотря на самые лестные предложения. Мы с ним много говорили, однако преимущественно о местных делах. Говорят, в Ялту приезжает какой-то известный режиссер, который будет ставить картину «Не пойман — не вор». Не пробовал ли я счастья в рулетке Тутебадзе — в последнее время играют крупно, в особенности какая-то приезжая, скромно одетая пожилая дама? Был ли я на диспуте «Есть ли бог?», в котором участвовал сам митрополит Введенский? Но когда я спросил его: видел ли он «Приключения мистера Веста в стране большевиков»? — он иронически улыбнулся и заметил, что уход за цветами мешает ему, к сожалению, посещать кинотеатры.

Все это осколки империи... Среди них есть несколько сумасшедших, о которых мне не хочется писать, потому что они как-то оскорбляют впечатление от милой Ялты с ее узкими крутыми улочками, с ее увитыми глициниями домами, с изящными железными калиточками в стенах из серого камня — той Ялты, которую ты любишь, а я полюбил.

Кстати, величественный старый платан по-прежнему стоит на набережной, опровергая пушкинскую мысль о «равнодушной» природе. Он как раз удивительно неравнодушен. Мне показалось, что он обладает способностью памяти и, может быть, когда-нибудь расскажет потрясенному человечеству историю Ялты — от генуэзцев до борьбы за Крым.

Теперь о твоем учителе и друге Вардгесе Яковлевиче Суренянце. Один местный старожил рассказал мне, что его хоронила вся интеллигенция Крыма. Прощальное слово говорил знаменитый артист Ваграм Папазян. Сохранился будто бы даже рисунок какого-то художника, изображающий эту печальную торжественную процессию. Вообрази же мое удивление, когда оказалось, что этот старожил не мог показать мне, даже приблизительно, где находится могила Суренянца: где-то рядом с армянской церковью, которую он расписывал. Он заведовал (в 1921 году) отделом в Союзе работников изобразительных искусств и жил в доме доктора Фаворского. Я пытался найти людей, знавших его, но увы... Поиски мои внезапно оборвались. Вернувшись из экскурсии в Никитский сад, я заболел малярией...

(Письмо не закончено
и не отправлено. Без даты)

29. V. 23. Чибукли.

Я часто сознаю, что нет у меня другого бога, кроме живописи, что все другие стремления мои, в сущности, низменны. Эта мысль мешает мне, унижает меня. Хорошо я поступаю, кажется, только для других, боясь, чтобы меня не приняли за эгоистку или просто за дуру. Теперь я стала чаще сознаваться в этом (перед собой, ведь ты — далеко) — и это почему-то помогает мне работать лучше, чем прежде. Может быть, это и есть «бог» или «рука», которая ведет меня — не знаю, к совершенству ли, но уж во всяком случае в сторону от идолопоклонства. Это выглядит смешно — не правда ли? — отказываться от признания, которого нет, и от благополучия без гроша в кармане. Не знаю, прав ли Гордеев, доказывая бесполезность моего увлечения Византией, но он прав в другом, более важном: если не воспитывать в себе готовности к самоотречению, к подвижничеству,— не стоит и браться за дело. В искусстве есть свои «brasseries», у которых вполне добропорядочные хозяева, и нет ничего проще, как работать в такой «brasserie», потихоньку греша и прилично зарабатывая на жизнь. Вот я, бездомная, нищая и, в сущности, совершенно одна, но я знаю, что все это — *до* холстов, которые я еще напишу. А когда начнутся холсты — все пригодится, и даже то, к чему присуждена душа, как присуждена она к разлуке с тобой.

Тебя, должно быть, удивляют мои нравственно-философские размышления? Но душа как-то сама «на солнышке» зреет. Хрупкое растение, и ох как трудно вырастить его одной, без тебя!

Вот так-то, мой друг! Гордеев на днях едет в Париж. Ему повезло, он получил визу. Но он — бывший офицер русского корпуса, воевавшего с немцами в составе французской армии. Может быть, мы с ним там встретимся. Было бы хорошо... Написала и подумала: хорошо ли?

Ради всего святого, ответь мне. Я не могу больше ждать, беспокоюсь и думаю о тебе беспрестанно. Здоров ли ты? Где ты? Почему такое бесконечное молчание? Прикладываю 50 пиастров на марки — может быть, у тебя так осложнилось материальное положение?

5.VI.23.

«Греховодник отче Константине! На женску красу не зри, ибо та краса сладит сперва, а после бывает полыни горше. Не возводи на нее очей своих, да не погибнешь. Беги от красоты женской, как Ной от потопа, как Лот от Содома. Ибо кто есть жена? Сеть, сотворенная бесом, сатанинский праздник, покоище змеиное, болезнь безысцеленная, коза неистовая, ветер северный, день ненастный. Лучше лихорадкой болеть, нежели женой обладаему быть: лихорадка потрясет да отпустит, а жена до смерти иссушит. Кротима — высится, биема — бесится. Всякого зла злее жена».

Все вышеизложенное прописано тебе в назидание. А то, вижу, твоя блондинка совсем тебя полонила...

Я уезжаю числа восемнадцатого в Париж. На днях получаю визу, а теперь целые дни работаю, заканчиваю Кахрие-Джами.

Наконец-то на новые позиции! Пиши мне туда — пока на Гордеева (103, Rue de Rennes, Paris VI, для меня). Но на всякий случай и сюда, может быть, задержусь и буду волноваться, не получая твоего ответа. Пиши же скорее! Твой маленький друг *Лиза*. (В объеме! Похудела ужасно!)

10.VII.23. Чибукли.

Ты спрашиваешь, что меня удерживает? Нет, не муж. Мы спокойно решили разойтись. Облегчает разлуку и то, что он начал кем-то увлекаться, да и очень занят работой по имению хедива. Он — человек деловой, твердо решил разбогатеть, и я убеждена, что когда-нибудь он достигнет цели. Тихий, медлительный, но цепкий, своего не упустит и видит его даже там, где другие ничего не видят. Ко мне он переменился в том отношении, что я ему теперь не очень нужна и даже, со своим сумасбродным характером, немного мешаю.

Я, конечно, очень хочу уехать в Париж, но как-то страшно сейчас, перед зимой, без гроша, без обуви и одежды. Спасибо, мой дорогой, за твое намерение мне помочь. Может быть, и в самом деле ты мог бы найти кого-нибудь в Париже, кто ссудил бы мне небольшую сумму или устроил на работу? Беда в том, что я все забыла — машинку, математику и т. п. Есть у меня еще надежда на хедива. Он сейчас в Париже. Хочу попросить у него взаймы года на два. Это сложно, потому что я нравлюсь ему, о чем не должна догадываться его ревнивая метресса. Иными словами, надо говорить с ним так, чтобы он не посмел сделать обидного предложения, потому что в таких случаях у меня все летит вверх тормашками. Видишь, какой талант Шехерезады мне нужен! Когда я учила принцесс, он приглашал меня постоянно в сопровождении негров на женскую половину, и мы вели наедине бесконечные разговоры. Боясь, что он начнет за мной ухаживать, я длинно рассуждала о политике, в которой ничего не понимаю, и пугала его романтическими похождениями русских женщин в Стамбуле. Впрочем, его не очень-то испугаешь! Тогда все кончилось благополучно. Теперь — сложнее. Мне надо увлечь его живописью, которой он нисколько не интересуется. Удастся ли? Кто знает. Нет, судьба моя странная. Где мне удается, я не беру, а где трудно — лезу на рожон. А хочется мне, как ты, наверное, догадываешься, написать портрет не хедива, а твой.

Да, у меня были и будут упадки настроения, и не брани меня за них. Я женщина, одной мне трудно, нужна крепкая дружеская рука, нужна ласка. Живу «рефлексами», как ты однажды выразился. Одни говорят, что я — Дон Кихот, другие — что я не прилаживаюсь к жизни, а жизнь стараюсь приладить к себе. Практический мир я, в сущности, не знаю. То, что всем легко, мне дорого достается. Вот и сейчас многие просто получают помощь от Красного Креста на отъезд в Америку. Правда, до сих пор я не пользовалась благотворительностью. Но когда я собралась, мне отказали — и как-то очень обидно.

Конечно, я не обвиняю этот самый Красный Крест, все благо, что сделано для русских, но мне известны случаи, когда те, кто помогал нуждающимся, встречал в ответ лишь ложь и воровство. Так что обида не личная, а все же больше я никуда не хочу обращаться.

Пиши, миленький.

20.VII.23.

Все еще на старых позициях! Но уже с визой и билетом в кармане. Очень трудно без денег. Случайно продала кое-что из «Византий». Муж взял в долг, чтобы помочь мне, и вот почти без гроша — в Париж!.. «Царство небесное берется силой». И оттуда же: «Будьте как птицы небесные».

Много дела, еду сегодня в Кахрие-Джами, кое-что надо проверить. Ищу покупателей. Хлопочу о письмах к Шарлю Дилю и другим известным французским византинистам.

Случается, что, расставаясь, тайно чувствуешь, что любые уверения: «Бог даст, еще увидимся» и т. д.— звучат безжизненно, пусто. Так было у нас с милой, ставшей мне близкой Олей Сазоновой. Условились писать, поплакали, а потом она сказала, что для нее — времени нет. То, что однажды с нею случилось, уже никогда и ни при каких обстоятельствах не повторится: «Мы встретились — и слава богу! И не нужно себя обманывать, что встретимся снова. Разве что в день воскресения мертвых». Она верит, что с покойным мужем встретится в этот день. Я передала ей все мои уроки рисования в турецких семействах и отговорила, на прощанье, идти работать тапершей в кино. Беру с собой несколько ее миниатюр — превосходных. Авось удастся продать в Париже.

В детстве, когда уезжали с дачи, тоже было много дела: нужно было перецеловать все любимые деревья, посидеть в каждом заветном уголке. И Стамбул с его дикостью, с его поэзией, с его ленивой чувственностью, с его бестолковой, разноцветной жизнью я покидаю не без сожаления. Я легко забываю языки, а с языком теряешь душу народа. Как ни странно, но я была здесь не только несчастна, но и счастлива. С тех пор как мы расстались, мне иногда трудно бывает отличить одно от другого. Как хотелось бы мне вернуться сюда с тобою! Были бы деньги, я не торопилась бы с отъездом, тем более что еще не закончила Кахрие-Джами. Но вот что важно: мой англичанин не только нашелся, но предложил мне издать в Лондоне альбом моих зарисовок. Это, конечно, журавль в небе, но ведь без надежды не проживешь? А пока, вместо того чтобы воспользоваться ясными днями для Кахрие-Джами, я вынуждена писать для продажи. Но об этом немного подробнее. Союзники ушли второго, а шестого, в день возвращения турецкой армии, Константинополь украсился арками, флагами, цветами. Перед выстроившимися войсками резали овец. Язычники! А заодно, по-видимому, собрались резать всех армян и греков, а при случае и русских. Пока дело обошлось массовыми арестами, но резня висит в воздухе,

одной на улицах показываться опасно. Ты спросишь — при чем здесь мои материальные дела? А вот при чем: в Константинополе содраны все вывески на иностранных языках. Надо писать новые, по-турецки. Впервые на моей памяти спрос в живописи превысил предложение. Пишу и я. Ну что ж! Те же натюрморты, только с фамилией, а то и с портретом хозяина. Новый жанр! Впрочем, не такой уж и новый, если вспомнить о Тулуз-Лотреке.

Сегодня и у нас в имении была «революция». Рабочие требовали прибавки, и наш директор-швейцарец не уступал, скрывая от хедива истинное положение дел. Дрянь ужасная, эгоист и дурак.

Целую нежно. «Гюль-гюль» — улыбнись! Так, прощаясь, говорят турки.

Глава шестая

14.X.23.

Милый друг, я уже четыре дня в Париже. Еще нигде не была, потому что сразу же нашлась срочная работа по росписи кабаре. За десять дней — шестьсот франков, то есть целый месяц сносного существования. Живу, стало быть, двумя чувствами: недостойным — наживы и достойным — надежды. Работаю с утра до поздней ночи. Пишу тебе в постели. Пока всех благ.

Твоя Лиза.

20.X.23. Париж.

Терпение, мой друг. Зато получишь длинное письмо. Я намеренно пользуюсь телеграфным слогом, чтобы не увлекаться. Впрочем, я еще почти ничего не видела. Пока дела идут хорошо. До скорого письма. Дивно красив Париж и адски интересен!

2.XI.23. Париж.

Наконец-то собралась я написать моему дорогому другу!

Выехала из Стамбула, продав кое-что из своей «Византии». Шли прямым рейсом без заходов до Марселя. Билет у меня был палубный, началась качка, потом шторм. Я промокла до нитки, мерзла отчаянно, и все мои вещи промокли — волны захлестывали палатку, в которой я ночевала. Измучилась до полусмерти, до сих пор не могу оправиться, исхудала ужасно и серьезно опасаюсь за свои легкие. Под тем же ледяным ветром, под дождем пополам со снегом добралась до поезда в Марселе и утром была в Париже. Нашла Гордеева в крошечной комнате на седьмом этаже с окнами на Монпарнас. Доехала до него в метро (подземная железная дорога). Он уступил мне комнату, сам перебрался к товарищу, и я пролежала два дня без сил, спускаясь только к обеду. Потом разыскала хедива, которого застала с метреской накануне отъезда на юг Франции,

где он собирается провести зиму. Подарила ему две акварели чибуклийского парка, за что получила 300 франков — на пальто, как мне намекнула метреска. И действительно, в Стамбуле, где много нищих, мой балахон не производил такого сильного впечатления, как в Париже. После подобной любезности я не решилась, разумеется, попросить у хедива 25 тысяч франков взаймы на два года, как было решено в Стамбуле. Бог с ним!

Потом расписывала кабаре в стиле Ватто по эскизам Гордеева — тяжелая работа! Кабаре ночное, шикарное, на Place Pigalle, открывается в полночь — наслушалась я тут об этих кабаре! Когда мы заканчивали, Гордеев сжалился надо мной и отпустил на полдня в Лувр. Ну что рассказать о нем? Я бродила по бесконечным залам, замирая от восторга, что я — в Лувре, и останавливаясь лишь по вдохновению. Но вот наткнулась на Леонардо и Рафаэля. Перед первым захватило дух, а перед вторым меня физически затрясло, и я долго не могла унять морозной внутренней дрожи. А Джоконду не заметила, может быть, потому, что день был пасмурный, совсем петроградский. И представь себе, даже этот молниеносный взгляд «с высоты Эйфелевой башни» (которую я еще не видела) придал мне много радости и силы — так смертельно, так остро захотелось работать!

Была несколько раз в знаменитой «Ротонде» и не нашла ничегошеньки интересного. Разношерстная публика сидит в духоте, тесноте и шуме деловых и неделовых разговоров. После чибуклийской тишины этот ад меня ошеломляет. Я предпочитаю проводить вечера дома.

С мужем мы расстались нежно. Решили испытать судьбу, но я уже о нем тоскую и хочу выписать сюда, если у него нет других планов. Боюсь только, что оттолкнет его моя неустроенная, богемная жизнь. Да и Гордеев — большая помеха. Между нами — дружба, но прошлое еще слишком близко. Он станет ревновать, хотя сейчас увлечен другой, так что ревную я, главным образом потому, что эта женщина — художница (из Швейцарии) и моложе меня. Характер у него бешеный, невыносимый даже и в дружбе, не говоря уже о семейной жизни. Но все же мы дороги друг другу. Хоть бы он женился поскорее! Ах, как надоели драмы!

26/27.XI.23. Париж.

Ты жалуешься, что я мало рассказываю тебе о Париже. Так вот же тебе день св. Екатерины, о которой мне известно только одно: она была покровительницей старых дев. Но празднуют этот день «катринетки», то есть отнюдь не старые, а молодые девы.

В полдень, после завтрака (на работе), все продавщицы модных (и немодных) магазинов, швеи и модистки высыпают на улицы и бульвары, а за ними, разумеется, весь Париж. Одеты они в фантастические цветные костюмы, одни едут в такси, размахивая трещотками, палками и бумажными лентами, «тещиными языками», другие проталкиваются, хохоча и распевая, по тротуарам. Мужчины не

зевают, ни одна хорошенькая катринетка не останется без поцелуя, вырывается, визжит — и довольна. Все — друзья, все знакомы.

Часам к трем начинается новое шествие — студенты в халатах, с нарисованными рожами, в цветных цилиндрах, котелках и кепи, выходят из Латинского квартала и присоединяются к катринеткам. Многие в этот день наряжают детей в разноцветные костюмы, даже на младенце в колясочке можно увидеть цветной колпак. На улицах продаются дешевые салаты, засахаренные каштаны, искусственный флердоранж. А вечером, после восьми, начинаются балы, танцуют чарльстон, тустеп, танго и выдают призы за самые оригинальные костюмы.

И вместе с тем Париж задумчив, печален. Война кончилась пять лет назад, но для многих она еще продолжается. В редкой семье не было потерь, и они не забыты. Не редкость и до сих пор встретить молодую женщину в трауре по мужу, погибшему на Марне или под Верденом. А сколько инвалидов, сирот, обездоленных матерей! Как часто и в праздничные дни видишь в окне бледное, скорбное лицо, выглядывающее из-за отогнутой занавески.

Не помню, писала ли я тебе, что начала ходить в Академию — это лишь громкое название самых обыкновенных мастерских. Приходишь, платишь за сеанс — и нагая натура к вашим услугам.

Ты спрашиваешь, как я получила визу. Очень просто: Гордеев достал мне фиктивный контракт, что я принята на работу ретушером. Не устроить ли мне тебя в Сорбонну? Ах, милый, как грустно шутить!

11.XII.23.

Время летит, как метеор, не успеваешь оглядываться. Спасибо, мой дорогой, за ласковое письмо, за твои заботы. Гордеев опять взял меня в помощницы — роспись нового ресторана, на этот раз в японском стиле, клеевой краской. Благодарю небеса, что не сделалась его женой. Ты знаешь, я люблю природу, но не в таком диком, казацком воплощении.

Снова была в Лувре и, путешествуя из столетия в столетие, думала о том, что подлинное искусство всегда опиралось на нравственную необходимость и, стало быть, строилось по законам внутренней жизни. Почему художники всех направлений вот уже четыре столетия ищут (и находят) все новые тайны в Рембрандте? Если мы с тобой когда-нибудь увидимся (не перестаю надеяться) в Париже, я поведу тебя в Лувр, прямехонько к его автопортрету, с кистями и палитрой (1660 года) — к старому человеку, у которого очень хочется спросить, как ему удалось довести цвет до такой сложности, что человеческий глаз не в силах уловить всю бесчисленность переходов. Как он добился того, что на каждом сантиметре холста происходит медленное, но непрерывное изменение тончайших полутонов? И самое главное — каким образом этот мерцающий цвет передает историю его жизни, его страданий, которые так близко касаются нас, точно они были нашими разочарованиями, нашими надеждами и страстями?

Едва ли в Академии, о которой я тебе писала, найду ответ на этот вопрос. Мне нужен учитель — не Гордеев, который в Стамбуле горячо доказывал, что для подлинного художника нет ничего опасней стилизации, потому что она, как «царская водка», вытравляет искусство, и который сам энергично занялся стилизацией в Париже. И было бы еще полбеды, если бы он относился к этому занятию должным образом, то есть с материальных позиций. Но он работает с увлечением, совершенствуется быстро, и ему ничего не стоит перейти от Ватто к Хокусаи. А для меня эта ресторанная работа на заказ — мучительная, унизительная. Пишу для себя только в редкие свободные дни, и странно сказать, именно эти полуголодные дни украшают мое существование.

И неправ был Гордеев, утверждая, что мне ничего не дала моя «Византия». Она помогла и помогает понять смысл единства, стиль, неразрывный строй картины. Не знаю, удастся ли мне добраться до него в собственной работе, но я вижу его (или его отсутствие) у других, а это важно, это очень важно!

Что такое Камерный театр? Встретила здесь молодую норвежку, которая в восторге от Камерного театра, хотя ничего не понимает по-русски. Целую, целую. Что такое Вхутемас?

Пиши, дорогой, я буду отвечать аккуратно. Очень рада, что ты так подробно рассказал мне о своей Наде. По описанию она мне очень понравилась, передай ей мой привет.

28.XII.23. Париж.

Мой родной, нежный друг, получила два твоих письма, одно — с упреками, а другое — о Камерном театре. Лежу в постели, грипп, ужасная погода. После юга мне здесь трудно, я не привыкла кутаться и бояться простуды, а в Париже она подстерегает на каждом шагу. Трудно жить на седьмом этаже, в поднебесье, в маленькой комнатке: воздух прокопчен, а я люблю дышать всей грудью, без запрета.

Когда-то, в молодости, ты говорил мне, что занялся математикой как могучим средством для избавления человечества от власти случая. А вот я, не надеясь на твою математику, молю господа бога, чтобы эта слепая власть вдруг взяла да и перенесла тебя ко мне в Париж. Неужели в самом деле есть надежда?

Если необходим «вызов», то есть формальность, без которой нельзя получить визу, я сделаю все, что могу. Так я устроила вызов мужу: хозяин ресторана, который мы расписывали,— брат консула в Стамбуле. Он дал мне письмо, и Алексей не только получает визу, но и половинную скидку за проезд. Напиши, что нужно разузнать и сделать, я не пожалею ни времени, ни сил...

Теперь о салонах, как ты просил: они отживают. Когда-то они были бродилом, дрожжами всех жизненных сил современного искусства. Сейчас это — собрание «спутников», из которых состоит интернациональный художественный пролетариат Парижа. Светила, как правило, выставляются отдельно: вот и сейчас общее внимание привлекают выставки Пикассо, Дерена, Брака, Матисса. И они

заняты поисками еще нетронутых «источников» в прошлом, но у них эти поиски не приводят к почти полному уничтожению техники. Другие — подавляющее большинство — заменяют ее с большим или меньшим успехом либо мозаикой, либо матовой поверхностью фрески, а то и керамическим барельефом с цветной поливой, подчас толщиной в два сантиметра. Прибавь к этому, что просмотреть эти четыре-пять тысяч полотен впору, лишь воспользовавшись велосипедом, и ты поймешь, что представляют собой парижские салоны. Занятнее, по-моему, уличные выставки. В этом году на Монпарнасе художники устроили такой «Marché aux navets», маленький рынок, где торговали своими вещами. Были недурные работы, продававшиеся за бесценок.

Кстати, не подумай, что я исключаю себя из числа ищущих «новое» в прошлом. Но когда я встречаю среди множества имитаций и подражаний отзвуки моей «Византии», мне хочется закричать: «Держи вора!» Ведь Византия не была для меня только школой. Я искала «свое». А эти «новаторы» ничего не ищут. Они просто не могут жить без подделки, без кражи. А это «свое»... Боже мой, чего только нет в этом «своем»! Мне кажется, например, что я стала художницей задолго до той минуты, когда взяла в руки карандаш или кисть.

Это было в Симбирске, летним вечером на берегу Волги. Я сидела на скамейке с книгой в руках, и вдруг страница волшебно порозовела. Я подняла глаза. Это был закат, но не огненно-красный, сплавляющий все в один напряженный цвет, а кроткий, как бы позволявший каждому цвету зазвучать отдельно. Я увидела белые, синие, голубые, фисташковые дома, зеленую траву, пламенный, круто взлетающий склон, береговую сторожку с лиловым, остановившимся дымом. Никогда не забуду этого мгновенья, к которому потом прибавился — уже как будто во сне — последний зеленый луч заката, проскользнувший в реке.

Как ни странно, именно это впечатление неизменно вспоминается мне, когда заходит спор о том, различны ли цели природы и искусства.

Кандинский, например, считает, что эти цели «существенно и мирозаконно различны — и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны». Не могу с ним согласиться. Мир сам по себе — картина, и тот, кто обладает редким даром живописного видения этого мира, и есть художник. Все, что он знает об искусстве прошлого, все, что он пережил, глубина его мысли, острота чувств — все подсознательное, иногда им самим не разгаданное,— все переходит на полотно.

Кончаю. Ломит виски. Должно быть, жар. Гарсон ждет, чтобы отправить письмо. Целую, целую. Привет Наде.

29.XII.23. Париж.

Писала тебе вчера с высокой температурой и головной болью. Сегодня мне лучше. Это — просто грипп. Рада была получить твое «театральное» письмо — и смертельно позавидовала твоей поездке

в Питер. Местные газеты пишут о нем много горестного — упадок, разрушение и т. д. Вот ты только что оттуда — напиши, правда ли это? Неужели так изменился его прежний величавый профиль? Прошлое тянет, и даже Париж не в силах заслонить милые воспоминания. О, как мне не хватает тебя! Когда я брожу по Парижу, неизменно одна, все думается — об этом надо написать Костику, не забыть. А потом, в сутолоке, забываешь. Почему-то я вижу тебя рядом со мной на Place de la Concorde, в дождь, когда в мокрых панелях отражаются электрические огни, а контуры дворцов как будто вырезаны из черной бумаги. На улицах разноцветные огни смешиваются с каким-то странным светом вечернего воздуха, фантастически окрашены лица прохожих, деревья бульваров.

Особенно хорошо перед праздником — все знакомы, как в арлекинаде, целуются, обнимаются. Впрочем, здесь это принято и в будние дни. Французы — веселый народ. Вот на бульваре под большим садовым зонтиком три скрипача и гармонист наигрывают без конца все тот же мотив. В чем дело? Продают ноты и тут же обучают всех желающих новой песенке, а желающих много, толпа! Свернешь в переулок, а там тебя останавливают совсем другие звуки — слепую женщину ведет другая, и они тихими, нежными голосами поют молитвы и собирают медяки. Нищие? Должно быть, так было и в двенадцатом веке.

Я не бываю ни в театрах, ни в концертах — ни времени, ни денег, ни компании. Мои художники предпочитают «Ротонду» и кино, где они могут целоваться со своими девочками. Вот теперь мечтаю увидеться с мужем. Мы с ним тоже неровня, но в наших отношениях я всегда находила радость учить его любить то, что любишь сама.

Завтра встану, надо работать, но не буду выходить. Заглянул Гордеев. Ты пишешь, что едва ли я могу рассчитывать на дружбу между нами. Почему же? Мы живем в разных концах города и видимся только на работе. Плохо только, что я неосторожно посоветовала ему жениться на его швейцарке — и он немедленно стал добиваться прежней близости между нами, чего я не хочу и боюсь. Здесь, на свободе, я присмотрелась к нему и поняла, что мне глубоко чужда его необузданность, его физиологическая, темная страсть. У него есть хорошие черты. Он прямодушен, смел, если увлекается, так уж напропалую. Но область чувств осталась неразвитой у него,— должно быть, он таким же был и в восемнадцать лет. Не думаю, что в его жизни была хоть одна минута, когда он задумался бы над собой. Все кажется ему ясным, а все неясное он попросту отбрасывает, как не стоящее внимания. Он не сметлив, с заказчиками резок, не умеет устраивать свои дела и в этом отношении противоположность Алексею. Поэтому он никогда не добьется богатства, о котором мечтает. Для этого нужен по меньшей мере талант, а он у него — из вторых рук, его работы всегда кого-то или что-то напоминают.

...Я очень несчастлива, очень: разучилась любить, как любила тебя, без оглядки, без страха. Меня гипнотизирует жалость, я уступаю

и начинаю верить, что люблю. Но ты-то знаешь, мой дорогой, кого я люблю!

Меня прерывают... Господи, неужели я снова увижу тебя? Если приедешь, привези мне русскую, деревенскую шаль, белую, с яркими цветами. Можно недорого купить где-нибудь на ярмарке. Обнимаю. Пиши, не жди письма. Как прошел дебют Нади? Передай ей привет.

29.II.24. Париж.

Спасибо тебе, мой дорогой, за письма из Петербурга. Не думала я, что когда-нибудь с таким волнением стану рассматривать простой почтовый штемпель! Как под волшебным фонарем вспыхнул зимний Михайловский сад, мы — замерзшие, веселые, я толкаю тебя в сугроб и забрасываю твою шапку. Возвращение из Академии и острое чувство любви к тебе, вечером, подле Исаакия, у матовых, заиндевелых колонн. Черт знает, как было хорошо! Ну ладно! Мне уже скоро тридцать, у меня шесть (!) седых волос...

Ты удивляешься моему «религиозному» настроению. Не знаю, сумею ли я рассказать тебе о нем логично и стройно, для этого необходимо время, а у меня его нет. Для меня нет разницы между творческим и нравственным отношением к жизни, и это вовсе не бесплотное а, напротив, самое практическое отношение, потому что в нем-то и заложено требование внутренней жизни произведения. Не церковные догматы необходимы мне, а та свобода, которую открыл в себе голодный, бездомный Ван Гог.

Добраться до этого чувства мешает мне не только неустроенная, бродячая жизнь, а невозможность или неумение превратить ее в искусство, как это удалось ему. Эта невозможность связана с неполнотой «божественного» в моей работе, с отсутствием священности призвания. Надо «помнить себя», стало быть — верить.

15.IV.24. Париж.

Дорогой мой, вызов получить трудно, но все же возможно, при условии, что ты будешь вне Советской России — в Латвии, Польше и т. д. Может быть, теперь станет легче — после того, как в парламенте прошло левое большинство. Вызов разрешают родственникам — придется тебе все-таки со мной породниться. Напиши скорее — собираешься ли? Хлопотать ли?

Ты находишь, что мое «религиозное умонастроение» противоречит моим планам? Нисколько. Напротив, цель моих планов должна согласоваться с ним.

Я намеренно подхожу к вопросу с «практической» стороны, которая ближе для тебя как человека, настроенного материалистически. Мне хотелось бы подойти со всех сторон, но для меня пока это трудно: на стенке у меня висит расписание, которое относится главным образом к духовной жизни («помнить себя») и которое никогда не было выполнено даже наполовину. Практичность уже успела меня соблазнить, я разучилась верить. Между тем жить

без высшего осознания жизни, ограничиваясь одной любознательностью, невозможно. Необходимо духовное творчество.

Не помню, где я прочитала поразившую меня старинную французскую легенду «Плясун божьей матери». Некий плясун и акробат, утомленный мирской суетой, удалился в монастырь. Он не умел ни читать, ни писать, ни молиться и очень боялся, что игумен, узнав об этом, выгонит его из монастыря. Спустившись в подземелье, он увидел икону богоматери, освещенную лампадой, и решил услужить ей своим искусством. Со слезами начал он выделывать свои новые искусные номера: он крутился колесом, ходил на руках, плясал, пел и подражал хрюканью свиньи и лаю собаки. И когда он упал на землю без сил, богоматерь сошла с иконы и отерла его лоб своим покрывалом.

Ты догадываешься, почему так тронула меня эта легенда? В сущности, у меня нет ничего, кроме живописи, и мне смертельно хочется отдать ее не за мясо и зелень (которые, кстати, становятся все дороже), а за право сказать себе, что я не могу иначе. Это выглядит смешно, если вспомнить, что у меня еще не было в Париже и трех-четырех дней для своей, не чужой работы. Но если мне удастся, кончив работу у Гордеева, устроиться самостоятельно... Впрочем, не буду писать тебе об этой маленькой надежде.

Вчера была на выставке Малявина. Правда ли, что он был пастухом в Афонском монастыре и кто-то из наших мастеров вытащил его оттуда, восхитившись его талантом? Одну работу, далеко не лучшую, купил Люксембургский музей. Выставка Пикассо изумила меня — в особенности эти огромные, исполненные графически, а потом раскрашенные портреты. Посылаю тебе вырезку из газеты, беглый обзор.

Как мне приятно так просто писать тебе обо всем, без страха быть непонятой или скучной. Это счастье — иметь такого друга.

20.V.1924. Париж.

Ты прав, мой дорогой. Конечно, в Париже я увидела импрессионистов совсем другими глазами. Прошло девять лет с тех пор, как я была на Знаменке, в Щукинском собрании, и теперь мне уже трудно представить себе ту оглушенность, с которой я стояла, открыв рот, перед Моне или Ренуаром. Слов нет, когда я возвращаюсь домой в бессолнечные, чуть туманные вечера, начинает казаться, что Париж построен импрессионистами. И все же мне захотелось писать его совсем иначе, чем они, не празднично, а в скромной сдержанной гамме. Я прочла в одном журнале, что, когда Моне стоял подле умирающей жены, он, к своему ужасу, заметил, что машинально следит, как меняется цвет ее лица, голубые тона сменились желтыми, потом серыми... Это страшно...

В последнее время я увлеклась двумя мастерами, поразительно не похожими друг на друга. Это — Матисс и Утрилло. Но есть между ними и сходство, не живописное, разумеется, а скорее психологическое. Каждый по-своему понимает силу законченности,

и в этом смысле восторг Матисса перед природой можно сравнить с восторгом Утрилло перед Парижем. Вот когда вспомнился мне старичок фон Рейнгарт, который утверждал, что Матисс нарочно разучился рисовать, для того чтобы создать собственный оригинальный стиль. Забыть свое умение, а потом вспомнить его по-другому, увидеть самого себя с дистанции времени — это удается немногим.

Об Утрилло — в другой раз. Я не могу на него насмотреться.

Ты спрашиваешь о выставках. В мае и июне их очень много, я думаю, не меньше полутораста, во всех районах Парижа. Они устраиваются обычно в эстампных или художественных магазинах. Было время, вскоре после моего приезда, когда я кружилась в этом вихре, доходя почти до потери сознания. Разнообразие — беспредельное, стремление поразить — настойчивое и в конечном счете — успешное. Многое покупается. Но среди тысяч полотен — почти ни одного, перед которым остановился бы с восторгом, с изумлением. Пишут для денег, для славы, заглядываясь на других и не заглядывая в себя — верный путь к скорому и неизбежному забвению. Подражают кому угодно — от египтян до Модильяни, даже не пытаясь понять тех, кому они возносят молитвы...

Здоровье мое недурно. Как твоя малярия? Неужели она так плохо вылечивается?

12.VI.24. Париж.

Мой неизменно дорогой, милый и милый, я ужаснулась, хватившись, как долго я тебе не писала. Где ты, как живешь? Помнишь, я писала тебе об англичанине, которому понравились мои копии мозаики Кахрие-Джами? Он разыскал меня в Париже, отправил фотографии в Лондон и сообщил — это было еще в апреле,— что музей «Виктория» покупает четыре работы. Я рассчитывала на эти деньги еще и потому, что хотела послать тебе на дорогу, дополнив твои сбережения. Но дело задержалось, потому что профессор, которому поручена экспертиза, уехал, а я тем временем снова оказалась в рабстве. Почти неделю перебивалась с хлеба на воду, и кончилось тем, что Георгий переехал ко мне — на два дня, как он сказал. Пришлось уступить (от усталости), и это были мучительные два месяца, а не два дня, потому что я снова оказалась между ним и мужем, которого я жду с нежностью и волнением. Ну что ты скажешь об этом скорбном триптихе: в середине — Елизавета великомученица и великомучительница, по одну сторону — невинно страдающий праведник Алексей, а по другую — грешник Георгий, и он же (иногда) Победоносец. Прости мне эту невеселую шутку.

Наконец я вырвалась, получив работу, переехала в другой отель и вот пишу тебе — первое преимущество свободы.

Была я у Эберзольта и Диля, встретили суховато. У Диля выходит труд о Кахрие-Джами. Он — худенький, почивший на лаврах. Зато у Милле (который уехал на все лето) познакомилась с его ученицей и просидела полдня, перелистывая собрание альбомов византийской и русской иконографии. Я не знала, что Милле читает

в Сорбонне лекции, которые я непременно буду посещать — это общедоступно.

Гарсон ждет, чтобы бросить письмо. Кончаю. Пришли мне какие-нибудь открытки казанского кремля. Да и Москвы. Хоть самые простые, без красок.

20.VIII.24. Париж.

Ваша светлость, я Вас жду с нетерпением, которое ничуть не постарело, по крайней мере в сравнении со мной. Была сегодня в полиции, но не могла выяснить, какой документ тебе нужен. В советском консульстве мне сказали, что, если ты получаешь командировку, визу тебе поставят без полицейского удостоверения, в Москве. Завтра пойду в Министерство иностранных дел — попробую узнать, что это за документ и как его получить.

Деньги, мой родной, я получила и бесконечно тебе благодарна, как раз нечем было заплатить за квартиру. А вчера — новая удача. Из Лондона прислали одиннадцать фунтов за мои маленькие «Византии». Лето было трудное. Без помощи Гордеева мне долго не удавалось найти заказ, а потом пришлось работать с утра до ночи, чтобы заплатить долги. Расписывала ресторан в японском стиле. Вчера впервые — подумай только! — поехала в Версаль. Было преображение, и парижская толпа шумела на аллеях, напоминая нашу «Швейцарию» в Казани. Надо будет собраться туда как-нибудь в будни, на этюды. Правда ли, что Петров-Водкин собирается в Париж? Хочется показать ему мои работы. Боже мой, ведь и ты не видел их тысячу лет!

Это письмо кончалось упоминанием о химерах Нотр-Дам. К нему были приложены открытки, изображающие этих удрученных, самолюбивых, настороженных полузверей-полуптиц.

В другом, веселом письме Лиза рассказывала о Блошином рынке, напоминавшем ей классическую Хитровку: «Вот у женщины на руках прелестный фокс, и лает, и перебирает лапками совсем как фокс — не сразу и догадаешься, что сделан из тряпок. Вот картонные бойцы сражаются не на жизнь, а на смерть, квакают лягушки, крякают живые и искусственные утки, а продажа всей этой живности из папье-маше идет под шутки, прибаутки, пение и оглушительную болтовню, которую нигде больше, кажется, и не услышишь».

На этой толкучке Лиза купила готовальню, несколько горшков для натюрмортов и акварель неизвестного художника, о которой отозвалась с восхищением. Легко предположить, что покупки были сделаны за счет обеда — недаром же упоминает она о закуске за пять сантимов: «Берут вилку и запускают ее наудачу в чан. Вытащить можно что угодно: рыбу или овощи, кусок колбасы или сосиску. А потом можно и закурить: окурки сигар и папирос расположены по сортам и — соответственно — по ценам».

3.II.25.

Милый друг, я еще провинциалка в Париже. Тебе, должно быть, покажется странным, если я скажу, что еще ни разу не была в театре. Дешевые билеты надо доставать заранее, а у меня нет времени и нет никого, кто позаботился бы обо мне в этом отношении. Вот надеюсь на твой приезд — так хочется многое увидеть вместе!

Теперь, как ты просил, о живописи. В моде — Пикассо, Дерен, Брак, с одними носятся, другим подражают. Они давно на сцене — еще в 1913 году почти все выставлялись в нашем «Бубновом валете». Каждый по-своему пытается открыть в искусстве новое с помощью старого: одни идут от фрески, другие — от примитива, а кто и просто от вывески. Последние — интереснее других. Что касается Матисса, Гогена и даже Сезанна — они в частных руках и почти недоступны. Вообще же говоря, на парижском мировом рынке живопись — такой же товар, как, скажем, картофельная мука или мясо. Все дело в моде, а мода устраивается так: некий marchand (купец) заключает контракт с молодым художником, обязываясь покупать все или некоторые его картины по установленной (обычно ничтожной) цене. Художник, со своей стороны, в первом случае ничего не продает на сторону, а во втором — предоставляет торговцу, marchand'у, «право первого взгляда». (Кстати сказать, мне предоставлялась такая возможность, но Гордеев отсоветовал, возмутившись грошовой оценкой.) Когда marchand видит, что товару достаточно, он начинает рекламировать художника, устраивает выставки — таким образом создается имя и мода. Впрочем, гораздо чаще художник до конца дней нищенствует в ожидании славы.

В «Ротонде» на днях открылась выставка тридцати трех русских художников: Ларионов, Борис Григорьев и Гончарова приглашены для рекламы, а остальные — публика, от которой нужно держаться подальше. Бездельники, которые целыми днями торчат в «Ротонде», потому что это единственное место, где можно поживиться на чужой счет. Часами сидит такой индивидуум за пустой чашкой кофе, поглядывая по сторонам, кто сжалится над ним и «выкупит», то есть заплатит за кофе. Если ты не один и уже известно, что у тебя можно «стрельнуть»,— к тебе подходят и просят «на слово». Опытный человек отказывает. «Тогда на полслова!» Даешь, в конце концов, франк — довольствуется и этим. На жаргоне «Ротонды», «слово» в прошлом году стоило десять франков, «полслова» — пять. Тошно!

Я давно не видела работ Гончаровой и теперь снова почувствовала в ней то, чего мне самой всегда не хватало: слитность жизни и труда, когда невозможно отделить одно от другого. Зоркость у нее детская, которую почти никому сохранить не удается. А ей удалось. Но рядом с этими детскими, широко открытыми глазами (в двух холстах) — опущенный, как у монахини, взгляд.

Мы горечь своей жизни на чужой стороне чувствуем ежедневно и ежечасно. В лучшем случае — живем «мимо». А у нее в этих опущенных глазах — трагедия разлуки. И эту трагедию она пишет очень по-русски. Техника у нее твердая, дышащая стариной, и она сознательно предпочитает ее французской манере. Мне кажется несправед-

ливым, что ее неизменно ставят рядом с Ларионовым, хотя сходство есть, как у супругов, которые от долгой совместной жизни становятся похожи. Ларионов — крупнее, острее. Но Гончарова мне ближе. И все-таки учиться у нее я бы не могла. Думаю, что у нее и нельзя ничему научиться. В ней все-таки нет того, что отличает бесспорных мастеров: первоначальности, первозданности, новизны, принадлежащей только ей и никому другому...

Алексей отложил свой приезд. Дела! Жаль. Впрочем, я уже «сносила» эту встречу, как, бывало, снашивала в уме платье, которое не могла купить.

Живу одна и счастлива сознанием одиночества и свободы, хотя живется дьявольски трудно. Женщине не только тяжело, но почти невозможно достать работу в Париже.

P. S. Спасибо за фотографии. У Нади очень милое, симпатичное лицо (я им довольна).

27.IV.25. Париж.

Милый друг, я получила письма и фотографии, но не было ни минуты, чтобы ответить тебе. Двадцатого была в министерстве. Когда твои бумаги придут, обещают поторопить дело и известить меня о результате. Но я не верю им и в конце недели поеду опять.

Наша артель (гордеевская) расписывает сейчас ресторан-кабаре в русском стиле. Посетители будут увеселяться русскими же артистами, и все это очень обидно и горько. Вчера я случайно попала на репетицию: некая Лиза Волгина играла на балалайке под аккомпанемент рояля. Но как играла! Какой характер! Сколько музыкальности! Мы разговорились: она выступала на концертах со своими композициями, а теперь попала сюда — ночью играет перед иностранцами, днем спит. Пропадет, без сомнения, и отлично знает, что пропадет.

На Монмартре — кабаки с русскими названиями: «Тройка», «Домик», «Самовар», «Добро пожаловать» и т. д. Как подумаешь, что все эти ночные заведения расписаны русскими художниками, да еще какими,— жить не хочется! Или хочется, но не очень...

Милый мой, кончаю через две недели. Ночью, когда я сидела за этим письмом, за мной прибежал один художник из нашей артели и сказал, что у Гордеева тяжелый сердечный припадок. Две недели я провела неотлучно при нем, замучилась и не была, разумеется, в министерстве, как тебе обещала. Надеюсь поехать завтра, если ему станет лучше. Сейчас он спокойно спит, а я пользуюсь этим, чтобы закончить письмо.

Миленький, где я, что случилось со мной? Почему я здесь, а не с тобой, в Петербурге или Казани? Вчера зашел скульптор Бернштейн, только что приехавший из Советского Союза, и до поздней ночи рассказывал о московских художниках (многие имена я услышала впервые), о выставках Кончаловского, конструктивистов, Вхутемаса — это, оказывается, название Высших художественных курсов, на которых обучается около полутора тысяч человек, главным образом с фабрик и из деревень, как сейчас вообще во всех высших

учебных заведениях. Особенно интересно рассказал он о Татлине с его Проектом памятника Третьему Интернационалу. Он считает, что конструкции Татлина оказали большое влияние на театр. И снова о выставках Машкова, Лентулова, Рождественского, Грабаря. В Москве ждут Пикассо, приезд которого, по мнению Бернштейна, послужит сигналом к ожесточенной схватке между ОСТ (Общество станковистов) и АХРР (Ассоциацией художников революционной России). Недавно эта Ассоциация устроила выставку «Жизнь и быт народов СССР», которую жестоко ругали в журнале «Печать и революция», а Луначарский очень хвалил.

Рассказывая, Бернштейн упомянул о Цекубу, а когда я спросила, что это значит, объяснил, что в Советском Союзе существует Центральная комиссия по улучшению быта ученых, на даче которой отдыхают бесплатно ученые, врачи, писатели и художники. Он сам прошлым летом провел под Москвой целый месяц в таком санатории. «Питание приличное, полный покой и отвлечение от всех мирских забот».

«Но на монастырь это все-таки мало похоже,— смеясь прибавил он,— по причине приблизительно равного количества представителей сильного и слабого пола».

Я слушала с изумлением, Георгий — с недоверием. Не знаю, может быть, Бернштейн талантливо рассказывал, но у меня осталось впечатление, что в России происходит сейчас нечто очень важное, не только в искусстве, но и в образе жизни.

Пиши, родной. Меня смертельно пугает мысль, что ты вдруг перестанешь писать.

17.V.25

Пошла сегодня в Лувр, хотела посмотреть восемнадцатый век, и вот уже четыре часа, как не могу выбраться отсюда. Началась гроза, дождь льет и льет, а я в легком платье, потому что было жаркое утро. Насмотрелась вволю! Правда, немного голодно, но уж так хорошо! Брожу и думаю о тебе. (Завтра снова пойду в министерство. Черти!)

Гордеев поправился, я осталась с ним. Да! «Нам живется ничаво, между прочим, чижало!» Обнимаю. Жду.

6.VII.25. Мениль.

Молчала по многим причинам, а вернее, без всяких причин — просто не могла заставить себя взяться за перо.

Устала я, милый мой! Все иначе, чем думалось, мечталось. Моя дерзкая, себялюбивая жизнь не научила меня ограничивать себя (внутренне), урезывать, применяться. Георгий любит меня, но ему надо еще и «прощать» меня, а я если и виновата, так перед собой, да и то виниться нет ни времени, ни охоты.

Живем мы сейчас в маленькой деревушке, два часа от Парижа, среди пашен, полей и лугов. Пахнет травой, покоем. Много земляники. Хожу в лес, слушаю тишину и стараюсь угомонить сердце.

Хочется окрепнуть, я очень подорвала здоровье. Георгий, кажется, скоро получит заказ — очень кстати! Надо подольше пожить здесь или где-нибудь у моря. В Париже можно задохнуться от жары.

Я тоже получила твой «бекар» [1] из министерства, это значит, что мы увидимся не скоро. Может быть, никогда! В советском консульстве меня встретили вежливо, но ничего не обещали. Наверное, для получения визы нужна солидная протекция или счастливый случай.

Давно я не видела тебя во сне, а вчера заказала себе — и увидела. Ты шел по дорожке Зилантова монастыря, задумчивый, со шляпой в руке, и, увидев меня, приложил палец к губам. Почему-то нельзя было громко разговаривать, и мы, стоя у знакомой калитки, еле слышно перекинулись двумя-тремя словами.

Вот так и получилось у нас: перекидываемся время от времени вполголоса, чтобы никто не услышал. Георгий втайне ревнует к тебе, но молчит, зная, что лучше не трогать мою «святая святых». Не забывай! Целую нежно.

Ты пишешь, что мой портрет стоит у тебя на столе и что я кажусь тебе подчас чужой, почти незнакомой. Это случается и со мной, по утрам, перед зеркалом, после бессонной ночи.

12.VIII.25.

Милый друг, я трижды перечитала твое письмо (сильно опоздавшее благодаря почтовой забастовке), прежде чем поняла, что ты едешь, едешь, едешь и что мы, стало быть, увидимся осенью — или даже летом... Что за прелесть этот академик Шевандье и как умно ты поступил, послав ему свои работы! Теперь вот что: встретить тебя в Париже я не могу, Георгий не отпустит меня, а ссориться с ним в день твоего приезда... Словом, мне кажется, что разумнее всего было бы провести спокойно в деревне несколько дней, а потом поехать в Париж. От нас до моря полтора-два часа, и мы можем заглянуть разок-другой в Дьепп, там хорошо на пляже. Важно, чтобы сразу же появился тон дружеский и «все в прошлом», а уж тон сделает музыку, я об этом позабочусь. Плохо, что Георгий не считается с неловкостями, а я перед его грубостью теряюсь и цепенею. Вот тебе план дороги: с вокзала St.-Lazare — линия Paris — Dieppe — и ты доедешь до Chars — это пятая или шестая остановка. Там пересядешь на паровичок до Bouconvilliers, а оттуда надо идти пешком около шести километров. Я бы встретила тебя на лошади, если бы точно знала, когда ты приедешь. Адрес: Mesnil Danval (читается Мениль), департамент Oise. От станции ты пойдешь по шоссе (перпендикулярно паровичку) до маленького городка Lurville, а потом повернешь налево, и проселочная дорога доведет до нашей деревни. Спроси, где живут русские художники,— покажут.

У меня сердце холодеет от бешенства, что я не могу ни встретить тебя, ни остаться с тобой в Париже. Но я придумаю что-нибудь или, если не придумаю, все равно — приеду.

[1] Отказ.

В Париже

1

Константин Павлович по-прежнему жил в Палашовском переулке, в квартире с падающим хозяином, и по-прежнему одновременно с преподаванием занимался одной из самых общих областей математики, в которой среди видных ученых ему принадлежало одно из первых мест.

Он ушел из университета в МВТУ, где ему предложили кафедру, и был рад, что ушел, потому что, прославившись (в школе Грузинова) своим умением сглаживать ссоры и восстанавливать распавшиеся отношения, невольно отдавал этой стороне жизни больше времени, чем ему хотелось.

Первое время он жил одиноко в Москве. Потом появились знакомства. В Лесотехническом институте он прочитал доклад о своих работах по приглашению знаменитого Арденса и стал, хотя и редко, бывать в его доме. Это было знакомство, которым он особенно дорожил.

Художественные выставки он почти не пропускал — это было влияние Лизы — и постепенно стал разбираться в современной живописи, хотя и любил говорить, что самые сложные математические идеи — ничто в сравнении с туманными теориями кубизма или супрематизма. «Ты не математик, а настоящий профессор изящных искусств»,— однажды написала ему Лиза. Иные выставки он посещал ради нее.

Времени было мало, но Карновский умел не расставаться с работой ни на выставке, ни в театре. Догадка, которая не давалась полгода, пришла ему в голову на «Принцессе Брамбилле» в Камерном театре, который он очень любил. Он понял потом, что все приятное, неожиданное, праздничное не мешает, а помогает работе, как бы ни была она далека от того, что происходит перед глазами.

Он много ездил. Летом 1922 года он провел несколько дней в Петрограде. «Люблю его, как люблю свою юность, прямолинейную, даже сухую, но озаренную»,— писал он Лизе.

Крым и Кавказ — это были короткие, недальние поездки. Он побывал и на Алтае, и в Туркестане. «Тебе, человеку, сидящему сиднем на печи, всегда казалось странной моя способность внезапно срываться с места и лететь куда глаза глядят,— писал он Лаврову, оставшемуся в Казани.— Оствальд в своей известной книге делит ученых на классиков и романтиков. Так вот мы с тобой, как это ни странно, обменялись местами. Теперь ты — классик, по которому Казань скоро будет проверять часы, а я — романтик, который открыл (для самого себя), что ему всегда стоило огромных усилий повторять предшествующий день».

Были и другие поездки — на Урал, на Дальний Восток, связанные с возникновением новых вузов: в Наркомпросе не забыли

о том, в каких условиях Константину Павловичу удалось в двадцатом году организовать Казанский политехнический институт.

Среди частых, ежегодных поездок была одна, изменившая жизнь, сделав ее теплее, богаче. Они с Лавровым провели десять дней в Теберде, а потом решено было через Клухорский перевал спуститься к Сухуму. Но Карновский «переходил ногу», разболелось колено, и пришлось сесть, впервые в жизни, на лошадь. Наставление, которое он получил от старого горца, владельца лошади (они условились встретиться в Цебельде), было простое: «Чего ты не знай, конь знай. Чего конь не хотел, ты не хотел. Не конь тебя слушай, а ты коня слушай. Хорошо будет».

Горец велел идти рысью, не спеша, но напрасно Карновский пытался приладиться к этому движению, при котором лошадь, как ей и полагается, поднимает сперва левую переднюю, а за ней правую заднюю ногу. Не прошло и часа, как остро заныла спина, а в больном колене застучали какие-то молоточки. Измученный, он спешился, напился из родника и немного побродил, прихрамывая, по сонной рыже-красной роще. Что за странность? Место было ничем не примечательное, глухое. Откуда же взялись вырезанные здесь и там на деревьях буквы? Или это были естественные глубокие борозды в темно-бурой коре?

Вскоре он был уже на дороге, которая вилась по-над рекой Кодори, блестевшей, как узкий кривой нож, на дне ущелья. Конь шел по краю, и каждый раз, когда камешки сыпались из-под его копыт, у Карновского невольно ёкало сердце.

Вдруг послышалось впереди движение, шум, ленивый понукающий голос, и за поворотом показался осел с перекинутыми через спину двумя громадными разноцветными мешками, а за ослом — мальчишка лет пятнадцати в грязной рубахе и черной шапочке, с хворостиной в руке. Карновский поздоровался, мальчик приветливо ответил на ломаном русском языке. Он ловко снял мешки, потянул упиравшегося осла — и остановился. Он чего-то ждал, и Карновский с ужасом понял, что он должен снова спешиться и провести лошадь в поводу, чтобы разойтись на узкой тропе.

— Нога больной? — Мальчик протянул ему крепкую, как железо, маленькую руку, показал высокий камень, на который, слезая, удобно было поставить ногу. Карновский полез за кошельком и поразился гордости, с которой мальчик отвел его руку.

— Как тебя зовут?

— Джамиль зовут.

На каменистой тропе Карновский выцарапал несколько букв.

— Буквы, понимаешь? На деревьях? Кто писал?

Просияв, мальчик ткнул себя пальцем в грудь.

«Почему не на бумаге?» — «Бумага нет».— «Почему не карандашом?» — «Карандаш кончал».

Разговаривая больше жестами, чем словами, Карновский провел с ним полчаса — ему чем-то понравился этот быстроглазый мальчик с узким красивым лицом. Куда-то он хотел поехать, где-то учиться.

Наконец Карновский понял, что Джамиль хочет поехать в Нальчик и поступить на рабфак.

— Ну, это мы попробуем устроить.

Он вырвал из блокнота листок, записал свой адрес и через полгода получил от Джамиля вполне грамотное письмо, к которому было приложено заявление.

Один из учеников Карновского работал в Нальчике, и устроить Джамиля на рабфак оказалось делом несложным. Он приехал года через три, уже юношей, в Москву, и Константин Павлович с энергией, которая его самого удивила, принялся готовить его в МВТУ.

Способности у юноши оказались средние, но работоспособность такая, что приходилось почти силой отрывать его от занятий.

Случалось, что Джамиль жил у него в Палашовском неделю-другую. По воскресеньям они вместе ездили на лыжную базу. «А сынок-то вас не дождался, чуть засветло ушел»,— однажды сказала Карновскому женщина, выдававшая лыжи и пьексы.

Может быть, он был одинок? Может быть, он потому и срывался с места и летел куда глаза глядят, что был все-таки очень одинок в своей размеренной, разумно устроенной жизни?

...Все уладилось, все стало на свое место. Мать так и не поправилась в полной мере, он устроил ее в Ядрин, на покой, неподалеку от своих друзей, которые присматривали за ней. Сестры остались в девушках — и, кажется, не жалели об этом. Одна была медицинской сестрой, другая кончила Ветеринарный институт и работала под Казанью.

Все женщины, с которыми Карновский был близок, хотели выйти за него замуж — и огорчались, догадываясь (или не догадываясь), почему это невозможно. Огорчалась и Надя Медведева, умная и хорошенькая актриса одной из московских студий. Она-то как раз догадывалась. «Вы боитесь, что вас могут бросить, как женщину?» — однажды весело спросила она. Карновский не ответил.

В Крым он ездил один, а на Кавказ они поехали вместе.

О Лизе он думал с той грустной нежностью, которая давно утвердилась в нем за восемь лет, прошедших после их последней встречи. Эта разлука, счастливо украсившаяся перепиской, теперь стала частью его удавшейся, устроившейся жизни. Молодые, свободные, сбивающие с ног свидания, ссоры и примирения, вся история их любви превратилась в письма — трогательные, дружеские, поддерживавшие все разгоравшийся интерес Константина Павловича к живописи, к искусству, но уже ничего не изменявшие в нем. Все сложилось, смягчилось, и хотя он волновался, представляя себе их встречу в Париже, это было умиленно-нежное волнение воспоминаний.

2

Еще в Москве он обдумал план своего, к сожалению, недолгого пребывания в Париже. Дела не должны были помешать посещению музеев, выставок и, если хватит денег, театра. Ему давно хотелось побывать в «Comédie Française». Денег было мало.

Приятель, недавно вернувшийся из заграничной поездки, рекомендовал ему дешевый отель «Эксцельсиор», недалеко от Гранд-Опера, и он снял в этом грязноватом отеле комнату на третьем этаже, в глубине полутемного, странно извивающегося коридора.

Он остановился в нерешительности, переступив порог этой комнаты, куда быстрый и тоже грязноватый гарсон мгновенно поставил два чемодана. Мебель была претенциозная, старая, с вытертой позолотой, портьеры тяжелые, пыльные. Постель, покрытая желтым выгоревшим покрывалом, показалась ему особенно подозрительной, может быть потому, что, несмотря на сравнительно ранний час, он заметил нескольких проституток, стоявших у подъезда отеля. Он брезгливо отвернул покрывало — нет, белье, против ожидания, оказалось свежим.

Еще в поезде Константин Павлович решил, что не поедет к Лизе наудачу, с тем чтобы идти шесть или семь километров пешком с риском заблудиться в незнакомых местах, а напишет из Парижа с просьбой встретить его, если это возможно. Но прежде надо было позвонить Шевандье, и Константин Павлович позвонил, немного боясь за свой французский язык — он недурно говорил, но плохо понимал, в особенности по телефону. Но все обошлось. Шевандье назначил встречу на следующий день, и, написав Лизе открытку, Константин Павлович кинулся бродить по Парижу.

Он вернулся ночью, веселый, с горящими, гудящими ногами. В маленькой ванне можно было вымыться только сидя, и, раздеваясь, он подумал, что именно в такой ванне Шарлотта Корде убила Марата.

Шевандье, коротенький, пузатый, с большой головой, с пронзительным голосом, принял его на следующий день. Нужно было внутренне подготовиться к этому важному разговору, и Константин Павлович не только подготовился, но, как всегда в такие минуты, как бы увидел себя со стороны — белокурого, в новом, хорошо сидевшем костюме, крепкого, ничуть не усталого после короткого, трехчасового сна. Разговор шел о проблеме броуновского движения, которой занимался Константин Павлович, и Шевандье буркнул нечто одобрительное по поводу его статьи, а потом сказал, усмехнувшись, что был приятно поражен, убедившись, что русские еще не забыли таблицу умножения. Трудно было вообразить, что этот колючий старик, в бесформенных штанах и бархатном разбухшем пиджаке, написал трактат о чувстве математической красоты, который Константин Павлович знал чуть ли не наизусть и любил цитировать в своих лекциях. Прощаясь, он упомянул об этом трактате, и на старом лице Шевандье, с кривой бороденкой и сварливым носом, мелькнула слабая тень удовлетворения.

На другое утро Константин Павлович получил телеграмму от Лизы и пятичасовым поездом поехал в Мениль. Пыхтящий паровичок еле тащил старомодные высокие, на трех парах колес, вагоны, и он еще с площадки увидел ее на станции, а рядом — Гордеева, высокого, по-цыгански черного, красивого, в белой рубашке с закатанными рукавами.

Первые минуты неловкости прошли быстро, может быть, потому, что естественное, радостное оживление Лизы, ее чуть подчеркнутая

свобода от ревнивой настороженности Гордеева передались Константину Павловичу. Она словно подсказала ему эту естественность и свободу. Они встретились дружески-нежно, он поцеловал ее сильную узкую руку, она в ответ притянула его к себе и поцеловала.

— Нет, я знаю, что постарела,— сказала она с молодым блеском больших глаз, когда они шли к стоявшей у станции двуколке.

Блестевшие подобранные волосы были округло видны из-под широких полей деревенской шляпы, глубокий вырез платья открывал треугольник загара над белой полоской пополневшей груди.

И все сразу же пошло бы отлично, если бы Гордеев, сидевший напротив в легкой двуколке, не старался быть любезным со старым другом Лизы, как он, по-видимому, обещал ей. Он то шутил — не слишком удачно, то, слушая разговор о незнакомых ему событиях и людях, смотрел на Константина Павловича слишком прямо и твердо.

Приехали в деревню, удивительно не похожую на русскую своими каменными домами с окнами во двор, остановились у последнего дома с голым крыльцом и наружной деревянной лестницей, которая вела на чердак. Вошли в полупустую комнату с большим камином, с двумя кроватями и простым деревянным столом, с подрамниками и составленными холстами в углах и вдоль стен.

Всю дорогу и теперь, когда они ели буйабес — вкусный рыбный суп, который Лиза приготовила с утра, а теперь разогрела,— она расспрашивала Константина Павловича — торопливо, беспорядочно, нервно:

— Что такое теперь Петроград? Неужели правда, что он так обветшал и запущен?

Константин Павлович сказал, что Ленинград так же хорош, как прежде. Бестужевские слили с университетом, а в здании курсов теперь рабфак.

Лиза спросила о Гориных, которых он по ее просьбе разыскал в Ленинграде. Дмитрий потолстел, почтенный профессор, в усах и бородке. Очень обрадовался, узнав, что Лиза жива и здорова. Спросил адрес, сказал, что непременно напишет, а если поедет в Париж — непременно зайдет. Леночка вышла замуж, тоже потолстела и учится петь.

— Она милая и добрая, но, кажется, глупая? — сомневаясь, спросил Константин Павлович.

Лиза засмеялась:

— Может быть. Я не догадывалась тогда. Что в живописи?

Но прежде чем сказать о живописи, поговорили о не понравившемся Лизе «Поликушке» в кино, с участием Москвина, потом о необычайном распространении радио. В Москве на каждой улице — громкоговорители, а вечера проводят с наушниками на голове.

Они разговаривали, не считаясь с молчаливостью Гордеева, но в их естественном, радостном, оживленном разговоре все же оставались две несливающиеся струи. Можно было обойти Гордеева, но нельзя было обойти возникшее между ними ощущение, что все пришедшее с Карновским *оттуда* уже не принадлежало Лизе, а все составлявшее ее жизнь было для него чужим и далеким. Но он

чувствовал и другое: он чувствовал в Лизе какую-то совсем не свойственную ей робость перед тем, что пришло с ним *оттуда.*

Заговорили о живописи — и Гордеев сразу оживился и даже стал медвежевато мил, в особенности когда этот интеллигентный, с платочком в наружном кармане пиджака господин из Москвы (на этот раз Константин Павлович увидел себя его глазами) похвалил его деревянную скульптуру. Но она была действительно хороша — рыбаки и рыбачки в танцующих позах, с анатомически точными и, одновременно, сказочными телами. Иконописная неподвижность Петрова-Водкина угадывалась в диптихе двух юношей, вырезанных на фоне овального медальона. Не упоминая об этом сходстве, Константин Павлович рассказал о своем знакомстве с Петровым-Водкиным: они познакомились случайно, в поездке из Ленинграда в Москву.

Очень милый, словоохотливый и с первого взгляда простоватый, а вглядишься — куда там! Очень обрадовался, узнав, что мне нравятся его работы. Теория у него такая: трехцветка. Каждому искусству свойственна собственная палитра: русскому, например,— красный, синий и зеленый цвета. Еврейскому, если не ошибаюсь,— коричневый, лиловый и желтый. Я подумал — и предложил ему расположить радугу на круге по секторам, а потом взять вилку о трех остриях и ставить ее таким образом, чтоб получалась трехцветка. Он задумался: «А зачем?» — «Ну как же! Для определения принадлежности к национальному искусству».

— Рассердился? — спросила Лиза.

— Нет. Засмеялся. А потом подумал и говорит: «Интересно».

Потом небрежно, но волнуясь, Лиза стала показывать свои холсты, рисунки, этюды, и, бог знает почему, Константин Павлович почувствовал, что о ее работе надо говорить осторожно, не касаясь давнишнего и болезненного спора между Гордеевым и ею. С первого взгляда было видно, что как художники они не могли нравиться друг другу. У Гордеева талант был не открывающий, а напоминающий, но в самой широте этого напоминания («от русской иконописи до ассирийских рельефов»,— подумал Константин Павлович) чувствовалась неуверенность, странно противоречившая тщательности отделки.

Работа Лизы была связана, как и ожидал Константин Павлович, с Византией, но Византия не повторялась, а превращалась в ее холстах — и остро, неузнаваемо превращалась! Старый черный араб с неподвижностью столпника сидел в дупле векового дуба, белый нимб чалмы светился над ним. Акварели были таинственно-нежны — стремительная путаница малиновых, желтых, черных пятен на неподвижном золотом фоне залива.

Это были константинопольские работы. Но в Париже, по-видимому, началось совсем другое — интерьеры, написанные более твердой, мужской рукой, натюрморты, в густых, сильных, цельных тонах. Один холст показался Константину Павловичу необыкновенным. Старинное, в раме красного дерева, зеркало было как бы вздыблено в отчаянье — вздыблено и повернуто к небу. Оно стояло в саду,

в мозаике разноцветных солнечных пятен, но оно было полно пустотой. Нужно было взлететь, чтобы в него поглядеться. Лишь две плоскости, розовая и серая, отражались в нем, странно связываясь с темно-серебристым фоном стекла. Холст был похож (обменявшись беглым взглядом, они оба подумали об этом) на письма Лизы к Константину Павловичу. В сущности, это и было письмо, проникнутое грустным изумлением перед «загадочной, нелепой, благословенной штукой, которая называется жизнью», как она ему однажды написала.

3

Все было сказано, все переговорено. Ничего не было сказано и ничего не переговорено, потому что остаток дня и весь следующий день, когда они бродили по окрестностям, был битком набит невозможностью сказать друг другу хоть два слова наедине — Гордеев не оставлял их ни на минуту. Обедали в деревенском трактире с огромным камином, в котором можно было спать — да и спала хозяйка, когда они пришли. Фотографировали друг друга, пастушку с кокетливым шарфиком на шее, коров в соломенных шляпах, странствующих торговцев с их детьми, женами и товарами, выставленными на прилавках перед высокими фургонами-домами. Отдыхали в лесу, перегороженном через каждые двести — триста метров, что, к удивлению Константина Павловича, не мешало охоте, и Гордеев даже рассказал по этому поводу довольно занятную историю. Говорили о Мейерхольде и Станиславском, о литературе, о том, что должно было, кажется, интересовать всех троих, но почему-то касалось только Константина Павловича и Лизы.

Теперь он уже не видел себя со стороны, как это было у Шевандье, когда обдуманный душевный строй руководил им и подсказывал, что он должен сделать в следующую минуту. Теперь он прислушивался к себе неуверенно, с беспокойством. Что-то как бы стронулось в нем, и он даже не знал — когда. Может быть, утром? Одеваясь, он увидел в окно пробежавшую по двору Лизу, непричесанную, в какой-то оранжевой распашонке-халате, легкую, с мелькнувшими стройными голыми ногами.

Потом поехали в той же двуколке к паровичку, на Bouconvilliers, а потом в Париж. Гордеев неуклюже шутил: «Здесь не Советская Россия, и чужая собственность строго охраняется от покушений». Чужая собственность была Лиза.

Московский душевный строй еще стучал, как метроном, и Константин Павлович подумал, что, может быть, он подчас не слышит его, потому что сердится на плоские гордеевские шутки. Но он не слышал его, потому что уже не мог не думать о том невозможном, о чем — он это знал — думала и Лиза. «Можно?» — спросил он накануне, когда ему захотелось взглянуть на холст, стоявший лицом к стене. «Все можно»,— ответила она, улыбаясь, и он внезапно внутренне задохнулся. Это было «все можно» их первого

свидания в Петербурге на рождественских каникулах в 1914 году, «все можно», принадлежавшее только им одним, особенное, памятное на всю жизнь, драгоценное своей неожиданностью и прямотой.

Но не только «все можно», а ничего было нельзя, даже поговорить с нею без Гордеева пятнадцать минут.

Константин Павлович чувствовал, что Лиза раздражена и, так же как он, озабочена тем, чтобы еще больше не рассердиться. Но надо было не только не сердиться, а сделать что-нибудь, чтобы расположить Гордеева к себе. Зачем? Он не знал. В какой-то немыслимой, сводящей с ума надежде.

Париж. Белокафельные своды метро, в котором «человеческое сырье обрабатывается при высокой температуре и сильном атмосферном давлении», как с отвращением заметила Лиза. Толпа, гудящая, раскрывающая зонтики, торопящаяся из банного воздуха метро на утреннюю свежесть бульвара. Мастерская гордеевской артели — просторный сарай с антресолями в глубине двора, за старыми домами, образовавшими тупичок в зеленом узком переулке. Все самодельное: скамейки, табуреты, даже крутая, без перил, лестница, приставленная к антресолям. Кленовые чурки и плахи — заготовки для деревянной скульптуры, глиняные мисочки с засохшей краской, подрамники, ящики, кисти, холсты. Гордеев, работавший над четырехметровым панно для квартиры богатого американца, показал набросок на картоне: атлет, натягивая лук, целился в убегающего бизона, упрямо склонившего голову с оскорбленными человеческими глазами. Набросок был хорош. Константин Павлович похвалил его, и цыганское, нервно-напряженное лицо Гордеева смугло покраснело от удовольствия.

Все шло, как должно, как предполагалось, но одновременно все было как в детской игре, когда надо найти спрятанный предмет с завязанными глазами и кругом кричат: «Холодно, холодно, потеплее, горячо, совсем горячо!» Давно уже было совсем горячо, давно уже серые глаза Лизы стали зелеными, как это бывало всегда, когда исчезало все вокруг на свете, кроме них,— как исчез и этот атлет с бизоном, о котором Константин Павлович только что говорил не торопясь, искренне и серьезно.

Русские художники из гордеевской артели пришли и, устроившись на дворе, у сарая, стали быстро, ловко заниматься очень странным, с точки зрения Константина Павловича, делом: с открыток Луврской галереи они делали приблизительные, грубые копии — как выяснилось, для какого-то фильма о том, как американцы изучают Париж. Но и художники, один из которых грустно и весело спросил Константина Павловича: «Ну, как вам нравится наше птичье-небесное существование?» — были только воплощенным отрезком времени, которое проходило бесцельно, бессмысленно, напрасно, потому что и за эти новые полчаса ничего не произошло между ним и Лизой.

Потом отправились в «Ротонду» — выпить кофе и показать Константину Павловичу знаменитых людей. И пошли, и показали: худощавый молодой человек, чуть сгорбленный, без шляпы, с густой

шевелюрой, уходил из кафе с высокой, гибкой женщиной в модной белой шляпе-колпаке и в чем-то свободном поверх легкого платья. Это были Эренбург с женой.

Потом показали кого-то еще в мелькании подходивших и здоровавшихся с Гордеевым людей.

Все дрожало, как в нагретом, струящемся воздухе, и сквозь этот ускользающий, вместе с временем, воздух он видел и чувствовал только Лизу, ее лицо с знакомым выражением отчаяния и самообладания, ее глаза, не смотревшие и смотревшие на него. Она говорила так же, как он, слыша и не слыша себя. И вдруг все остановилось, все замерло, все заняло свое единственное, естественное место.

— Вам, должно быть, хочется посидеть вдвоем, вспомнить старое,— нахмурившись, сумрачно, недобро сказал Гордеев.— Посидите, а я пойду. У меня есть дело.

Он ушел, и они остались вдвоем за столиком, недалеко от входа.

— Вот и подарок.

— Это подарок?

— Да. Ему трудно. Он любит меня.

— А ты?

— А я — тебя. Мне нужно вернуть тебе письма.

— Почему?

— Потому что я боюсь, что Георгий может их сжечь. Там слишком много поцелуев. Меньше, чем мне хотелось бы. Но много.

Отец Лизы сжег письма Константина Павловича, когда она, окончив гимназию, приехала к отцу погостить на Воткинский завод.

— Я приду. Я знаю твой отель.

— Когда?

— Вечером. На десять минут.

— На десять минут?

— Да. Это — Париж. Не Казань.

— Да. Не домик ветеринара на улице «Продолжение второй горы».

— Да. И не шалаш из бузины, которую мы наломали в пять минут в парке за Новиковой дачей.

— И не Ялта. Я писал тебе, что в прошлом году был в Ялте.

— Ну, как ты?

— Как видишь. Постарел?

— На восемь лет. Георгий видит нас в зеркале. Не оборачивайся. Это не беда. Я знала, что он не уйдет.

Гордеев сидел в глубине кафе, там где столики были разделены легкими стойками, на которые посетители бросали пальто.

— Он не умеет читать по губам?

— Нет. Кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения.

— Я тебя люблю.

— Очень?

Он знал это поддразнивающее «очень?», от которого остро и нежно дрогнуло сердце.

— Как твоя математика?

— Все хорошо.

— Вот видишь. И без меня даже лучше?

— Не знаю. Помнишь, ты как-то сказала, что на свете нет несчастной любви?

— Не забыл?

— Ничего не забыл. И никогда не забуду.

Гордеев встал. Когда он подошел, они говорили о том, что из одежды — и за сколько — может купить Константин Павлович в Париже.

Самое трудное было — вспомнить себя до этого разговора, до муки ожидания, которая началась сразу, волшебно отзываясь где-то в глубине души и заставляя Константина Павловича сдерживать пробегающую острую дрожь.

Они вышли из кафе и пешком отправились в Лувр через Люксембургский сад, где он сфотографировал своим маленьким аппаратом дворец, бассейн с парусными лодочками, аббата с книгой в руках, сидевшего на сдвоенной скамейке спиной к хорошенькой девушке, которая ждала кого-то, волнуясь. Потом дали крюк, чтобы показать Константину Павловичу маленькую, живописную, чем-то знаменитую улочку, выходившую на бульвар Сен-Жермен. И все это было не Люксембургским садом, не бассейном, не улочкой, название которой он сразу же забыл, а необходимостью, которая должна была заполнить этот вдруг затянувшийся день.

Потом был Лувр, где они два часа бродили по залам восемнадцатого века (было решено, что Константин Павлович для начала должен посмотреть немногое, зато внимательно и неторопливо), разговаривая о Шардене, о Левицком, единственном русском в этом отделе, о ком-то еще и еще. Потом покупали открытки, обедали. Наконец в шестом часу он вернулся в свой отель — с чувством счастливой свободы от Гордеева, от Лувра, от Парижа, от всего, что мешало ему ждать вечера и беспокойно, радостно наслаждаться этим ожиданием.

Она не могла прийти раньше десяти или даже одиннадцати, и он решил принять ванну и уснуть, но прежде простоял добрый час у окна. Газетный киоск с прилавком, на котором лежали стопками, прихваченные проволокой, газеты и журналы, был виден под столбом газового света. Вот длинный сухой старик в широкополой шляпе, толкавший перед собой детскую коляску с откинутым верхом, в которой тоже лежали газеты и журналы, остановился у киоска, толстая владелица, в перехваченном длинном балахоне, вышла к нему и начался длинный разговор, бесшумный и выразительный, как в пантомиме. Вот велосипедист, в кепке с утиным козырьком, подкатил, взял газету, не слезая с машины, бросил монетку и помчался дальше, навстречу дождю, который вдруг стал виден в газовом свете, сверкающий, брильянтовый и добрый, как добры и необыкновенны были все эти проходившие, пробегавшие, останавливающиеся у киоска люди.

Константин Павлович принял ванну, вернувшись в пижаме, радостно усталый и уже почему-то твердо знающий, что Лиза скоро

придет, сбросил неприятное шелковое покрывало с кровати, лег и сразу уснул — или не уснул, а как будто на бегу прислонился к чему-то мягкому и, вздохнув, на минуту закрыл глаза. Он вспомнил себя в Ядрине, у окна, из которого был виден неяркий июльский день, скошенная трава на небольшом дворе, огород с подсолнухами. Небо — в длинных, отливающих тусклым серебром облаках. Под окном — мальва и маки. «Как легко мне представить тебя в этой обстановке и как трудно, несмотря на все твои яркие описания, в Париже»,— он говорил или писал это Лизе, хотя она была где-то здесь, потому что еще вчера они всей компанией ходили в лес на ночевку, и было весело раскладывать костер на высоком берегу Урги, и варить суп, и петь, и уснуть на колком и мягком ельнике, дыша горьковатым запахом дымка и хвои.

Он открыл глаза прежде, чем она постучала, лишь услышав или вообразив, что слышит ее торопливые, мягкие шаги в коридоре. Она вошла, и все в этом тусклом, некрасивом номере сразу наполнилось ею, свежестью ее загорелого, разрумянившегося от быстрого движения лица, шелестом мокрого блестящего плаща, который она скинула и стояла, смеясь, держа его одной рукой на весу, а другой убирая со лба упавшую потемневшую прядь волос. Он взял плащ и повесил его на дверцу шкафа, которая вдруг почему-то медленно открылась сама, как во сне, который, может быть, еще продолжался.

Слабый газовый уличный свет или синевато-розовый — вечернего неба установился в комнате, когда Константин Павлович повернул выключатель. Она сказала что-то о Гордееве, но не было ни Гордеева, ни Парижа, ни невозможности увидеть ее на следующий день — утром она возвращалась в Мениль. Было только поднимавшееся ввысь, нарастающее по вертикали возвращение после восьмилетней разлуки. Все, что сдерживало и останавливало его, все, что заставляло его холодно распоряжаться собой, ушло, растаяло, отмучилось, отступило. Теперь он не то что распоряжался собой, а с разбегу уходил в эту уносившую его и бог знает что делавшую с ним силу. Как он разгуливал, вырвавшись на волю, как качало возок, и мутный месяц нырял среди косматых подсвеченных туч! Как сплелись, соединились в одно их воспоминания — и тот морозный вечер у Исаакия, и волжский пароход, который все равно как назывался, и исчезновенье существования, и острое желание, которое не надо торопить, потому что оно возвращалось само собой, все разгораясь.

Он открыл глаза. Ее волосы были перекинуты через его руку, слабый запах хвои от этих волос, от ее изумленного, недоуменного дыхания кружил ему голову в темноте, в полосках света, ложившегося на постель через полузадернутую занавеску. Какие-то стихи, которые еще днем она вспомнила в Лувре, перекинулись к нему вместе с прояснившимся сознанием. Он пробормотал их, она подхватила, смеясь, и стала просить отпустить ее и снова сказала что-то о Гордееве.

— Ты меня погубишь.

Но он и себя погубил, и знал это, потому что то, что происходило сейчас между ними, никогда не бывало прежде и не могло прежде

быть никогда. Чтó разлука и неполнота счастья прежних встреч перед тем, как нежно и сильно он наконец сжимал в руках ее голову, перед этим жаром степи, по которой гулял морозно посвистывающий ветер.

— ...И снова будут письма. Лавров как-то сказал мне, что, когда ты берешь в руки перо, ты становишься совсем другим человеком. Я запомнила, потому что это тоже было в Казани...

— Да. А ты не становишься.

— Он сказал тогда, у нас все не ладится, потому что мы никак не можем вглядеться друг в друга.

— Это правда. У нас не хватало времени.

— Еще бы! Ты всегда торопился.

— Теперь пришла твоя очередь.

— Это совсем другое. Я — к мужу, а ты торопился к себе. Мне всю жизнь приходилось ждать. Я ждала, ждала, ждала. Потом были встречи, которые были *невстречи*. И снова разлуки. О разлуках я могла бы, кажется, написать целую книгу. Они ведь очень разные: замораживающие, когда вспоминались только эти *невстречи*. Бабьи, когда смертельно хотелось, чтобы ты был здесь, рядом, как сейчас, сию же минуту. Похоронные, когда совсем, навсегда теряешь надежду. В Ялте разлука была как во сне, от которого никак не можешь проснуться. Но после встречи с Вардгесом Яковлевичем я очнулась. И снова стала ждать, ждать, ждать.

— А потом, из Стамбула, написала, что больше не любишь?

— Да. Встретила Алексея, и оказалось, что я ему очень нужна. Я его пожалела. А ведь пожалеть — это и значит полюбить. Деревенские бабы так и говорят: «Она его жалеет»,— значит, любит. И потом — у меня никогда не было «дома». А это был какой ни на есть, а все-таки «дом». «Дом» — это ведь не хозяйство, не «совместное квартирование», как ты говорил, даже не дети. «Дом» — это когда друг от друга ничего не скрывают. Ведь сегодня у нас с тобой — «дом».

— Наконец!

— Да. Мне всегда казалось, что ты от меня что-то скрываешь, и невольно думалось: «Это то, что должно оттолкнуть его от меня». А тот же Лавров однажды рассказал мне, что ты куда-то ехал с матерью, еще гимназистом, и она заболела в дороге, ты всю ночь держал ее на руках. В письме, которое я оставила тебе в Казани, я написала, что ты принадлежишь им, а не мне. И что так будет всегда. Ну, как Лавров?

— Он был влюблен в тебя.

— Я догадывалась.

— Он тяжело болел. Сыпной тиф в двадцатом году, очень тяжелый. Он теперь на моей кафедре, в Политехническом. Мы видимся, переписываемся. Жена, дети.

— Да. Ах, как мне все мешало, как мне все мешало в Казани! И как запомнилось! Странно, ведь это было очень давно.

— Вчера.

— Девочки кроили кальсоны, а на окне в столовой стоял пенэкспеллер, от ломоты и ревматизма. Твой брат все время молчал за обедом, а потом сказал о купцах: «Подлецы первой гильдии». В тот день — может, помнишь — я купила книгу Морозова об Апокалипсисе — так и вожу ее повсюду с собой. И часто читаю. Там что-то наше. На вокзале газетчики кричали: «Родзянко! Родзянко!» Татарин стоял на коленях в углу, молился, кланялся.

Она плакала. Карновский поцеловал ее.

— И Дмитрий мешал, ведь он ждал меня в Петрограде. Все хотели жениться на мне. Кроме тебя. В Казани у тебя была Мариша. А теперь Надя Медведева. Она красивая?

— Приятная.

— И любит тебя?

— Кажется, да.

Они долго молчали.

— Значит, вернешься? — спросил Карновский.

— К тебе?

— К себе. Это и значит — ко мне.

— И снова будут смотрины?

Карновский засмеялся.

— Когда я уезжала из Казани, мне казалось, что всё у меня — там, не знаю где, в Париже. Теперь у тебя всё в Москве, а здесь — только я. Немного... Значит, вернуться?

— Да.

— Как?

— Еще не знаю. Я снова приеду. Теперь это стало нетрудно. Все еще будет хорошо. Милая, родная моя, все еще будет хорошо.

— Пора вставать. Что я скажу Георгию? А ты не думаешь, что мне будет трудно в России? Я прочла много книг, есть прекрасные. Я видела «Турандот». Но когда я читаю другие книги, не прекрасные, я начинаю думать, что мои холсты будут казаться там странными или даже «иностранными». И что в Париже до меня никому нет дела, а у вас... Может быть, я ошибаюсь.

— Если бы тебе предложили выбор — ты осталась бы здесь?

— Ни одного дня.

— Так о чем говорить?

— А Надя Медведева?

•

25.VIII.25. Мениль.

Ежик, твой крестник, бродит по дому ночами, стучит лапками, а я все думаю, думаю. Что же случилось? Почему все вдруг сорвалось, распалось? Почему? Может быть, потому, что наша встреча заставила меня взглянуть прямо в глаза моей переломанной жизни? Ради веры в призвание, надежды, мечты я с мукой добралась до Парижа. Я думала, что счастье без живописи для меня невозможно, а живописи не было бы, если бы я осталась с тобой. Но ее нет

и сейчас — я и ее и тебя потеряла. Чем оказался для меня долгожданный Париж: случайной работой, полуголодной жизнью, росписью ночных кабаре в русском и японском стиле, Гордеевым, «Ротондой»?

Ежик стучит лапками. Очень тихо. Светает, сквозь шторы уже просится утро. Я пишу тебе в постели. Жаркая ночь, Георгий спит на дворе.

Может быть, для моей живописи нужно, чтобы я не находила себе места и терзалась невозможностью видеть тебя? Мне жизненно важно было убедиться в том, что ты меня любишь. Это звучит смешно, если вспомнить, как давно мы близки, но как бы мы ни были безоглядно близки, сомнение никогда не оставляло меня. И вот я думаю, как все было бы у нас, если бы это — мое возвращение — стало возможным? Кем стала бы я для тебя? Как-то в Ялте, которую я часто вспоминаю, мы с Вардгесом Яковлевичем пошли в домик Чехова. С каким трепетом рассматривала я его вещи! Мне казалось, что он жив и только уехал на время из дома. Ты не писал мне, что был в чеховском домике. Но конечно же был! Так вот, Вардгес Яковлевич рассказывал мне тогда историю Лики Мизиновой. Он услышал ее от сестры Чехова Марии Павловны, у которой часто бывал. Я слушала с жадностью — ведь мы, женщины, всюду ищем свое.

Почему я вспомнила этот разговор, Ялту, чеховский домик? Не знаю. Была простая и необыкновенная жизнь, была и ушла любовь. Кто захочет, тот и войдет в кабинет, в спальню — совсем девичью, простенькую, белую. Я — в отчаянии, мой дорогой. Может быть, мне не посылать тебе это письмо? Заколдованный круг!

25.IX.25. Париж.

Мой родной, дело совсем не в том, что мне негде хранить твои письма. Таскала бы в сумке, перечитывая в минуты тоски, а потом спрятала бы в укромное местечко. Дело в том, что после каждого твоего письма я хожу сама не своя, улыбаясь некстати и чувствуя себя, как в детстве, когда времени сколько угодно и кажется странным, что может кончиться счастливый медлительный день. Я не только бросила срочную работу (которая даст мне возможность приняться наконец за «свое»), но начинаю искать в небе ангелов с распростертыми крыльями.

Репродукции Гордеева еще не вышли из печати, почему-то задерживаются, вероятно из-за дороговизны. После твоего отъезда он перестал писать мой портрет, долго молчал, потом вдруг вспыхнул — последовала сцена, отвратительная по своей бессмысленности и повторяющаяся, как во сне. Жить с ним трудно, я втихомолку снова решила расстаться, и на этот раз — надеюсь — бесповоротно. Надежда эта связана с другой, о которой еще рано говорить. Ты догадываешься? Возвращение.

В прошлый раз я забыла вложить в письмо стихи Ларисы Нестроевой, которые прислала Маша Снегова мне из Праги. Вот

если бы эти звуковые (смысловые) волны перевести в световые (цветовые) — что за праздник получился бы на холсте. Да куда мне! Не по Сеньке шапка!

Говорят, Нестроева скоро приезжает в Париж. Пойду на ее вечер и постараюсь — мечтаю — познакомиться с ней.

Как твои материальные дела? Как здоровье? Как живется в Москве? Здесь цены на все поднимаются. Куда думаешь поехать на святки? Уж не в Петроград ли? Если — да, не забудь навестить наши места — Михайловский сад, набережную у сфинксов.

Почему ты не рассказал мне о своем горском мальчике? Ты ведь знаешь, что мне дорого все, что связано с тобой. Впрочем, у нас не было времени. История — удивительная. Тебе, должно быть, покажется странным, что я ревную тебя к нему? К Наде Медведевой — нет, а к нему — да. Мы с тобой в чем-то стали теперь неравны. Пришли мне его фотографию.

Последние дни в Мениле было у меня огорчение: ежика, твоего крестника, не уберегла. Георгий сердился, когда он гулко бегал по ночам, постукивая лапками, а мне сладко думалось о тебе. Ушел, точно знал, что мы уезжаем и все равно скоро придется расстаться.

Кажется, мы с тобой еще никогда не переписывались до востребования? Так вот: пиши-ка мне Poste Restante, Bureau, 102, Boulev. Pasteur.

Глава седьмая

17.VIII.1926.

Милый друг, мы в Бонифачо, на Корсике,— вне времени и пространства. Дожили до того, что остается, кажется, сделаться чемпионами мира по плаванию: морем до Марселя, а оттуда — по шпалам. Или — что вероятнее — придется оставить Георгия заложником (в лавочке — долги), а самой ехать в Париж раздобывать деньгу. Не хочется смертельно. Я работаю, захлебываясь, уговаривая себя не спешить, передохнуть. Точно сам св. Пафнутий (покровитель художников) ткнул меня в то, что я давно должна была увидеть, понять, написать. Что-то вдруг открылось, распахнулось во мне. Объяснить это сейчас невозможно. Может быть, потом, когда остановлюсь, оглянусь.

Бонифачо — городок удивительный. Живут здесь люди, для которых именно это важнее всего, то есть что они — люди. А что они — рыбаки, виноделы, кожевники — тоже, разумеется, важно, но не так, поменьше. Между собою все они — родственники. Работать им некогда — то крестины, то похороны, то свадьбы. Праздников — немного меньше, чем дней в году. Называют они себя: «рантье без ренты»,— с юмором, который понимают и ценят. Женщины носят красивые красные кувшины на головах, не придерживая — по-итальянски. Носят грациозно — откинутость стана придает им гордую

осанку. Многие в трауре: по близким родственникам здесь ходят в трауре пять-шесть лет. Впрочем, и национальный костюм у них черного цвета. Много хорошеньких, но нравы очень строгие, по-своему домостроевские. Если девушка просватана, а жених скрылся — кончено! Никогда и никто ее не возьмет. Но стоит ему показаться на горизонте — женят насильно или убьют.

Здесь принята до сих пор vendetta, о ее героях рассказывают фантастические истории. Жандармы смотрят на бандитов сквозь пальцы, а «континент», то есть Франция, даже фабрикует для них специальные ножи: с одной стороны вдоль лезвия — «vendetta Corsa», а с другой — «Che la mia ferita sia mortale» [1].

Прибавь к этим впечатлениям море, в которое бонифачийцы «вписаны», как будто они и не могут существовать вне его синевы, соли, свежести, и ты поймешь, как не хочется мне уезжать отсюда.

Пишу тебе у окна, а через стекло меня смело рассматривает ласка. Каждый день она приходит за своим обедом, который мы ей оставляем неподалеку. Живем мы в километре от Бонифачо, на скале (где стоит крестик). Прямого спуска к морю нет, приходится обходить полкилометра. С нами — Джакомо, друг Георгия, тот самый грустный, рассеянный бородач, русский художник с иностранной фамилией, который интересовался твоим мнением о нашей «птичье-небесной жизни». Кстати, эта формула как нельзя лучше подходит к нынешнему образу существования: мы живем робинзонами, в крошечном домике, без мебели, спим на ящиках и соломе. Зато из окон видна Сардиния. Георгий собирается промышлять рыбной ловлей. Вчера, например, он притащил какую-то красную, похожую на бульдога рыбу, такую занятную по цвету и форме, что я ее писала целый день, пока взревевшие от голода мужчины не заставили меня сварить из нее уху. Так-то, мой дорогой. Все было бы хорошо или по меньшей мере недурно, если бы я не вспоминала чаще, чем следует, о том, что в Париже, на бульваре Пастер, есть bureau № 102, а в этом bureau меня ждут твои письма. Не о любви, а хоть о том, что ты жив и здоров (как твоя малярия?), о живописи, о твоей летней бродяжнической жизни, которая так странно соединяется с зимней, академической, математической.

Не подумываешь ли снова — ох! — приехать в Париж?

Так же, как первые парижские письма Лизы Тураевой, это письмо состояло из открыток с «продолжением», ожививших и дополнивших ее рассказ о Бонифачо и корсиканцах. На развернутой панораме бонифачийского побережья был отмечен крестиком маленький домик, стоявший высоко среди скал и еле заметный среди кустарников «маки». Панорама охватывала лишь часть побережья и кончалась каменной трапецией цитадели, напоминавшей суровую крепость Вобана в Марсельском порту.

---

[1] Да будет моя рана смертельна (*ит.*).

10.IX.1926. Бонифачо.

Объяснить тебе, как я пишу,— трудно. В тех холстах, которые ты видел в Мениле, была определенность, от которой я теперь сознательно отказалась. Тебе понравилось мое «Зеркало», попробуй представить себе, что ты пришел к пониманию того, что это — зеркало (а не окно или дверь), не путем прямого, непосредственного постижения, а через живопись, через цвет, его движение, композицию и т. д. Корсика — собор, построенный природой. Это страна величественная, готическая, вознесенная к небу. Камень, море и лес в неожиданных, поражающих сочетаниях. Взметенные и навеки застывшие, дикие, покрытые зеленью скалы. Предметность, обязывающая, настоятельная, рвущая холст,— не удивительно, что мне захотелось шагнуть через нее: увидеть ее не в смысловом, а в живописном значении, в отношениях цвета. Ну, как еще объяснить? Из темного грота я вижу море, которое где-то сливается с небом. На этом фоне графически отчетливо вписаны неподвижные рыбачьи лодчонки. Но вижу я не море и небо, а лилово-лазурные тона светящегося полукруга, и в нем, в его глубине, синеватые матово-черные стрелы. Это вовсе не значит, что море и небо навсегда исчезают с холста. Если работа удается, они появляются снова. Но теперь они принадлежат уже мне и никому другому, потому что именно я увидела их такими.

Ты скажешь, что я сошла с ума, стараясь сперва потерять предмет, а потом найти его в переходах цвета? Может быть! Корсиканцы, кажется, уже решили, что я — помешанная, но они любят меня, деликатны и только скорбно покачивают головами. Георгий, у которого нет времени на споры, бесится, но молчит. Единственный человек, которому нравятся мои картины,— бонифачийский дурачок Жозеф, мой самый близкий друг и ежедневный гость. Он высокий, худой, без «фаса», безобидный и удивительно добрый. Его зовут простаком (simple), за глаза подтрунивают. Он болен, рыбной ловлей занимается для удовольствия, живет в семье сестры, где его очень любят.

Завтра еду с Георгием в горы — начало охоты. Хочу воспользоваться экипажем и писать этюды в оливковых садах. Для меня это — печальный день, я совершенно не переношу убийства. Старая тема, но меня она всегда остро волнует. И представь, Георгий — страстный охотник. Я понимаю его страсть (как спорт), но видеть убийство и страдания животных — не в силах. Вся беда в том, что мы многое, очень многое допускаем — лишь бы не видеть!

Днем еще жарко, а утром и вечером уже свежеет. Дни стоят нежные, голубые и бирюзовые. Как только начнутся ветры, особенно мистраль, придется укладывать пожитки. Привет Наде. Очень рада, поздравь ее за меня. Что представляет собой студия, в которой она будет играть? Это — театр?

15.X.1926.

Так вот что ты называешь «письмами не о любви»? Снова поехать в Крым, пройти от Гурзуфа до Алупки, провести ночь в Верхнем Мисхоре, у старика Бекирова, который еще помнит меня?

Найти Олеиз, где я мечтала о Византии? Поехать в Казань и опоздать на торжественное заседание памяти Лобачевского только потому, что тебе захотелось убедиться в том, что еще жива, не вырублена роща за Новиковой дачей? Спасибо тебе, мой родной. Но подумай и обо мне — о той, которая читала тебе «Александрийские песни» Кузмина в этой березовой роще...

Но больше всего я благодарна тебе за фотографию Вардгеса Яковлевича. И где только ты достал ее — ума не приложу. Написал в Эривань? Свел знакомство с какими-то армянскими художниками? Таким молодым, как на этой фотографии, я его не знала — это, должно быть, девяностые годы? Хотя и догадывалась, что он был очень хорош собой. Какое умное, доброе лицо, не правда ли? Глаза — задумчивые, разрез — плавный, продолговатый, и какие-то победительно-нежные. Даже борода — добрая. А эта трогательная франтоватость, над которой я подшучивала,— белый жилет, изящная шляпа с кантом, брелоки! Он ведь и в голодной, опустошенной Ялте старался принарядиться. Ты не мог сделать мне лучшего подарка.

В наказание посылаю тебе образец «письма не о любви».

Вчера я была на вечере Ларисы Нестроевой. Впечатление сильное, острое. Впечатление неожиданной зависимости от ее поэзии и даже едва ли не от самого факта ее существования. Стихи ее трудно слушать, их надо читать глазами, вдумываясь в каждое слово. Но и не вдумываясь, а только смутно их различая, начинаешь чувствовать, что вся она — невысказанный упрек нам, ушедшим с головой в постылую борьбу за существование. Ушла — должна была уйти в это — и она. Но она не только «в ней», но и «над ней». И в этом «над» — ее сила. Причем это «над» относится не только к нашей распыляющей сознание жизни. Это — «над», заглядывающее вперед, не частное, а самое общее, какое только можно представить. Не умею выразиться яснее. Читает она тихим голосом, сдержанна и внешне спокойна. Смертельно хочу познакомиться с ней, инстинктивно чувствуя, как это важно для меня и для моей работы.

Была на выставке средневекового искусства в Национальной библиотеке. Какие краски, какое великолепие! На выставке — не только манускрипты с их чудом паутинной работы, на стенах — драгоценные фигурные ковры, в витринах — слоновая кость, золото нумизматики, золотые львы и леопарды, золото — червонное, светлое, теплых и холодных тонов. А какая ксилография! Невозможно представить себе, что это — ее детство, первые шаги. Коричнево-красные, желтые, серые краски сохранили свежесть, в этом ты можешь убедиться и сам — посылаю тебе репродукцию одной из лучших ксилографий конца четырнадцатого века. Не кажется ли тебе, что она напоминает Шагала?

P. S. Спасибо за фотографию твоего маленького горца. На ней — ты, человек никогда не садившийся на лошадь, а он — никогда с нее не слезавший. Первое вполне соответствует действительности, если вспомнить твой рассказ о Военно-Сухумской дороге. Второе — догадка, конечно, хотя что-то летящее, подгоняющее, стремитель-

ное можно различить в его, еще детском, взгляде. Ты пишешь, что он принадлежит к тем редким натурам, которые добиваются своей цели в девяноста девяти случаях из ста. Дай бог.

22.IV.1927. Париж.

Вот уже три месяца, как я не работаю, начатые холсты стоят лицом к стене, и отвращение, которое я испытываю к себе, никогда еще не казалось мне таким ощутительным, осязаемым. Вот его бы и написать! Куда там! Ни одной свободной минуты! Расписываю шелковые модные платки, шали, шарфы. Занята с утра до поздней ночи и боюсь только одного: остановиться, оглядеться. Сперва меня пригласили в одну мастерскую пайщицей, а потом надули (тайком продавали мои платки за 200 франков, а мне выплачивали только сто) — и тогда мы с Гордеевым, набравшись смелости, решили открыть мастерскую прикладного искусства. За крошечное ателье 2,5 на 6 метров заплатили 500 франков отступного и столько же за ремонт. Занимаемся мы выжиганием и раскрашиванием зонтичных ручек и выпускаем — ты не поверишь — до 500 ручек в день. В ателье работаем мы с Георгием и еще два художника, а остальные десять (с женами) — дома. Меня зовут «королевой пирографии», и молва обо мне обошла все ателье. Таким образом, моя деятельность получила наконец широкое признание. Сколько времени будет длиться эта мука — не знаю, должно быть, еще месяца два. Я выплатила спешные долги, купила два платья, туфли, пальто — деловая женщина должна прилично одеваться. Короче говоря, я — в отчаянии, мой дорогой! Случается, что я вдруг, задохнувшись, приложив руку к сердцу, останавливаюсь перед страшной мыслью, что слепну, теряю чувство цвета, перестаю видеть.

Прибавь к этому еще одну неожиданность, которая могла доставить мне много радости, а принесла только одни огорчения. Алексей (мой первый муж) в Париже. Я узнала об этом от одной незнакомой дамы, в чужом доме, однако, как вскоре выяснилось, совсем не случайно. Алексея она знает очень хорошо (жила с ним в одной квартире в Стамбуле). Он теперь богатый или, по меньшей мере, состоятельный человек. Она пришла в этот дом, чтобы сказать мне, что он будет счастлив поговорить со мною. Я, разумеется, сразу же согласилась — мне самой очень хотелось увидеться с ним, вспомнить Чибукли, расспросить. Но по своей глупой откровенности я рассказала об этом Георгию, и он устроил мне отвратительную, дикую сцену. День и час были уже назначены, но я была вынуждена послать Алексею записку — откровенную,— что мы не можем встретиться, к моему глубокому сожалению.

Надо же было, чтобы через несколько дней, в церкви, у всенощной, мы оказались почти рядом с ним. Я не видела его, было много народу, но Георгий видел. Конечно, он не поверил мне, когда я сказала, что мы не встречались, и ты легко можешь представить себе, что началось в тот же день, едва мы вернулись в нашу опротивевшую мне сараюшку! Нет, надо уходить. Но куда? Куда?

2.V.1927. Париж.

Да, мне тоже хочется прочитать мемуары Казановы. Что за век! Сейчас к нему большой интерес в искусстве. Мастеров барокко «открывают» снова — и, как это всегда бывает в подобных случаях, преувеличивают их значение. Первая стена в Лувре (помнишь, в Итальянском зале) считалась скучной, а теперь о мастерах, мимо которых прежде равнодушно проходили, читаются курсы лекций.

Ситроен (автомобильная фирма) отправился в Африку для испытания своих гусеничных машин и взял с собой Александра Яковлева. Вот кому повезло! Мы с ним не встречались с тех пор, как я занималась у него в студии Добужинского, а тут вдруг случайно встретились на одной выставке, и он интересно рассказал о своем путешествии. Экспедиция пересекла Африку, а потом, по восточным провинциям, добралась до Мадагаскара. Он работал урывками, только на остановках. Его модели разбегались во все стороны, заставить туземцев позировать было почти невозможно. И все-таки он привез триста больших рисунков и около сотни этюдов. Писал вождей африканских племен, их жен, детей, домашнюю жизнь, охоту. Его выставка имеет громадный успех. Я пошла и была разочарована. Это новость для Парижа, но не для живописи. Он очень многое видел, но почти ничего не «увидел». Впрочем, кажется, так думаю только я.

Умер Рильке, ты, верно, читал? Или у вас об этом не пишут? Иногда мне кажется, что я вижу сон, чем-то значительный в самой своей нелепости, один из тех, которые начинаешь рассказывать — и вдруг останавливаешься, запутываешься, умолкаешь. А иногда я записываю в карнэ какую-нибудь свою мысль (для тебя), а потом не могу разобрать собственные закорючки.

Ездила по делам Георгия в Экс, на родину Золя и Сезанна. Забавный город! И к тому и к другому относятся с отвращением. Золя поставили памятник, и сразу же на постаменте появились — и появляются до сих пор — оскорбительные надписи. В музее — ни одной картины Сезанна. Нет пророка в своем отечестве!

Я могла бы написать тебе о гастролях еврейского театра «Габима», имевшего большой успех в Париже. О том, что для настоящей оценки Энгра, оказывается, был нужен кубизм. О том, что я читаю Марселя Пруста (когда есть время) и твои письма (даже когда его нет). О том, что я купила старый (13-го года) иллюстрированный каталог выставки икон в Москве. Кстати, не попадется ли тебе каталог за 1912-й?

Вот видишь, как много занятного и поучительного на свете, кроме любви.

К Наде не ревную. Передай ей мой привет, скажи ей, что она для меня — милая сестра. Я хотела послать ей что-нибудь с тобой из Парижа, но ведь было «житие» с одной стороны и расцвет души — с другой. Пришлю при первой возможности. Люблю ее уже и за то, что она не отняла тебя у меня.

В Париже погода ужасная, вечный дождь, а если случится ясный день — жара и духота умопомрачительная. Но город розовый

и голубой, все мужчины носят розовые костюмы и шляпы. Дамы подражают Жозефине Беккер — прелестная мулатка!

Мы снова поедем на Корсику — если удастся оставить ателье за собой.

Это прекрасно, что ты так радуешься, помогая своему Джамилю, хотя не могу взять в толк, чем он напомнил тебе младшего брата. Твой брат был русский гимназист (помню его прекрасно, хотя видела только раз), то есть личность вполне определенная в своей грубоватости, беспечности, лохматости, браваде. И особенным отношением к миру, которым гимназист и отличался от реалиста или кадета. А Джамиль, судя по твоим письмам, человек неколеблющийся, отдающий себе приказания. Он принадлежит к своему народу,— кстати, я даже не знаю, кто он? Лезгин? Для меня новое в его истории соединяется со всей той новизной жизни в России, о которой после твоего отъезда осталось все же впечатление «не в фокусе», хотя я многое поняла и узнала.

2.V.1927. Бонифачо.

О, какой ураган! Как скрипит и дрожит наш домик, открытый со всех сторон, и как страшно показывается серо-черная громада цитадели на той стороне обрыва. Ты видел «Золотую лихорадку»? Вот такой же ветер рвется в наши окна, стучится в дверь, а на чердаке точно кто-то мечется из угла в угол и гулко хлопает полуоторванной ставней. Холодище, впору хоть надевать шубу. Модель для моего портрета — старый рыбак, красномордый и лукавый, не пришел из-за плохой погоды. Остается только писать себя. Это было бы недурно, если бы не приходилось довольствоваться маленьким зеркалом. Обещано большое. Тогда мне легче будет смотреть на себя, как на модель. Маленькое зеркало, существующее для того, чтобы подвести глаза или попудриться на ходу, напоминает мне, что я женщина, а посторонние мысли, как известно, вредны для работы. В особенности когда невозможно сделать их непосторонними или даже главными. Это удается немногим. Лариса Нестроева, с которой я наконец познакомилась накануне отъезда, не выходит у меня из головы. «Немногие» — это она. Наши страдания, наш внутренний голос, заглушенный интересами дня, наша работа, до которой так трудно дойти, доползти, добраться,— это тоже Россия. И, может быть, самая страшная, самая безнадежная сторона нашей нищей, цыганской жизни — непонимание или нежелание понять, что мы — тоже Россия. В Нестроевой поражает не только острота умственного зрения, но сила художника, сумевшего превратить в поэзию и это. Да не «и это», а именно это. Поэзия для нее — поступок, это сказывается даже в том, как она читает стихи. И не только поэзия. Она живет в мире поступков, значительных решений, не шажков, а шагов. Либо отказывается — и наотрез, либо признает и тогда, как у Блока, «приветствует звоном щита». Обкатанное, благополучное существование не может превратиться в искусство, потому что надо отдавать жизнь сырьем, перемолотую, не дареную, а выстраданную.

Вот о чем я думала, глядя в маленькое зеркало, работая над своим автопортретом — в шляпе, в повороте труакар, с левой стороной лица, уходящей в бесконечность, в Корсику, в этот ураган, сотрясающий наш жалкий домик. Да, бросить все, и прежде всего Георгия с его искренним, несчастным желанием сделать меня «своим созданием», то есть собой, уйти, не знаю куда, остаться одной — и работать! Не зарабатывать, а работать. Мне не много надо одной. Авось не умру! А так непременно умру — и очень скоро. Мне и то часто снится, что я умираю от чахотки и пишу тебе об этом, и боюсь, что не успею кончить письмо.

На днях Георгий и Джакомо выпили коньяку больше, чем следовало и, когда я на что-то пожаловалась, стали подтрунивать над моей печальной судьбой. Смеялась и я. Решено было меня похоронить. Джакомо сочинил эпитафию, Георгий нарисовал эскиз памятника, а я написала завещание, оставив ему не картины, которые ему не нравятся, а свой скелет. Потом мы спели погребальную мессу и устроили отличный колокольный звон с помощью ложки и медного таза. И это было так грустно... себя хоронить. Кончилось это горькими слезами (конечно, моими), как, впрочем, и полагается на похоронах.

Будь здоров, мой дорогой. Я еще жива, как видишь. Мой старый рыбак пришел, несмотря на отвратительную погоду, и рассказал с глубоким сожалением, что жандармы убили героя Корсики, бандита Романетти, короля «маќи» (так называются здесь непроходимые кустарники, которыми покрыты горы). Говорят, что его предал один из ближайших друзей. Ты, конечно, читал «Коломба́» Мериме? Нравы на Корсике не изменились с тех пор. Зимой в нашем домике тоже скрывался бандит. Ему тайком приносили еду. На ставне до сих пор сохранилась предостерегающая карандашная надпись, а у моей постели вся стена закопчена костром, который он разводил в комнате, чтобы дым не был виден над трубой. Привет милой Наде. Как она поживает? Пиши, родной.

Твоя Лиза.

14 июля 1927. Бонифачо.

Сегодня, завтра в Париже все танцуют. На площадях оркестры играют фокстроты и шимми. Шоферы, проезжая мимо, вылезают, делают тур-другой и возвращаются к терпеливым седокам. «Взять Бастилию» спешит весь Париж. До 14 июля он делится на богатых и бедных, веселых и угрюмых, злых и добрых, а после 14 июля лишь на «уезжающих и остающихся». Все, кто может уехать, страстно ждут этого дня.

А мы живем здесь язычниками, дикарями. Я сильно загорела, потолстела и даже, говорят, помолодела лет на пяток. Рыбаки наивно ухаживают за мной, и Жорж не ревнует, может быть, потому что кроме своих панно очень занят охотой. В хорошие дни ходим километров за шесть к фонтану пресной воды (здесь с водой трудно). Дорога утомительная, каменистая. Как-то на днях я устала, меня

посадили на осла (который вез хлеб, вино и кастрюли), и мужчины, которые шли сзади, говорили, что это было занятное зрелище: мой силуэт проецировался на зарю с грозными облаками, вокруг шли рыбаки с длинными удилищами — ни дать ни взять Жанна д'Арк с почетным эскортом!

Последнее письмо, которое я получила от тебя перед отъездом на Корсику, было из Нижнего. Конечно, я помню главный дом на ярмарке и ужаснулась, представив себе, что он был почти на сажень под водой. Я читала о необычайном разливе Волги в этом году, но, конечно, и представить себе не могла, что вода залила не только деревни и села, но и такие города, как Астрахань и Нижний.

Из письма Карновского: «...А у причала в Нижнем стоял наш с тобой «Владимир Мономах» под другим, конечно, названием. Так же готовятся к ярмарке, так же продают воблу на берегу, а плашкоутный мост еще не наведен. По вечерам с Откоса видны тихие зори, а позднее — затуманенная даль с коростелями и отдаленным, уже сдержанным рокотом соловья. Ему осталось петь тринадцать дней, тех самых, которые еще так недавно отделяли Русь от Европы. Она отделена теперь не временем, а характером постижения жизни. И я не понимаю, почему люди с жаждой необычайного не рвутся в Россию...»

...А как я завидовала твоей поездке в Вятку, и как умно ты поступил, найдя время среди своих лекций и консультаций съездить на Керженец, в те места, где стояли и еще стоят, как ты пишешь, раскольничьи скиты! Я почему-то думала, что Китеж — в Костромской губернии. Кстати сказать, в прошлом году я видела ваш чудесный «Град Китеж» в Гранд-Опера. Надо обладать талантом и энергией Эмиля Купера, чтобы соединить французский оркестр с русским хором и *без декораций* добиться такого успеха!

Поздравляю тебя с днем рождения и посылаю цветы абсента. Тот горько-сладкий напиток, который готовился из него во времена Верлена, запрещен. От него сохранилось только название. Но здесь его готовят и пьют. Что касается меня, я кладу абсент в постель — здесь царство блох, которые боятся его, как нашей полыни.

Надеюсь, что ты не рассердишься на меня за этот более чем скромный подарок? Я надеялась, что мне удастся закончить автопортрет и послать его тебе ко дню твоего рождения. Не удалось, но непременно пошлю — должно быть, уже из Парижа. Привет Наде, как она? Какой умница Джамиль, что не согласился с твоим «требником любви». Представляешь себе, как выглядел бы этот требник в его ауле? Мне кажется, что у вас с ним есть общие черты — равнодушие к повседневности, которая, по самой своей сущности, не может помешать достижению цели.

18.IX.27.

Пишу тебе с «необитаемого острова» — не знаю даже его названия. Это — первая наша поездка на лодке с местными рыбаками: иметь или снимать лодку иностранцам запрещено — близка Италия, боятся шпионажа...

Набрав всяких съедобных ракушек, я лежу у моря, прислушиваясь к колокольчикам коз, которые бродят где-то неподалеку по скалам. Лежу и думаю о том, что любовь — это, в сущности, простейший способ познания мира и что подлинную сущность человека видит только тот, кто действительно любит. Кто писал о «музыке души»? Ее-то и слышит тот, кто любит. А все другие слышат в лучшем случае гаммы, а то и уличный шум...

Кончаю вечером, дома. Мужчины вернулись с рыбной ловли, и мне пришлось оторваться от своих размышлений: началось главное событие дня — приготовление ухи. Все горячатся, кричат. Рыбу чистят прямо в воде, внутренности растирают между скал, волны разносят запах, и из-под скал выползают мурены. Огромные, больше метра, со змеиными головками, похожие на удава. Их бьют острогой — и нужно метко попасть, если не хочешь получить ядовитый укус, который долго не заживает. Мурена умирает, извиваясь стремительными, острыми углами. Зрелище невыносимое, и для меня оно не искупается тем, что рыбаки готовят необычайно вкусное блюдо из ее белого, нежного мяса.

Мы проживаем последние деньги и в конце сентября вернемся — без единого су — в Париж.

Я очень рада за тебя, что ты сможешь этим летом съездить в Сибирь,— это, по-моему, не менее интересное путешествие, чем за границу. И я завидую Наде, с тобой очень приятно ездить. Только, пожалуйста, не скупись, пиши мне с дороги чаще и подробнее. Мне не хотелось бы прерывать переписку до осени, как это всегда бывает. Если самому будет некогда, пусть Надя пишет, я буду аккуратно отвечать, только адрес напиши заранее, если можно.

Как вы жили эту зиму? Расскажи мне о театре, в котором играет Надя. Как ее дела? Ты пиши о ней побольше, я всегда рада. Я хотела бы ей написать о здешнем театре, но, к сожалению, почти не бываю, а писать чужие отзывы как-то неинтересно. Собирались сходить на новинку, но не удалось. Сначала много работали, а потом сразу уехали: и устали, и денег не хотелось тратить, чтобы побольше сохранить на лето.

Обнимаю тебя, мой дорогой.

К этому письму, отправленному из Парижа, был приложен автопортрет Лизы, очевидно, тот самый, о котором она писала: «в шляпе, с левой стороной лица, уходящей в бесконечность». Но это была вовсе не расплывающаяся, неопределенная бесконечность. Лицо было размышляющее, с широко открытыми глазами, а слева от него — стремительно бегущие вверх зеленые и розовые пятна: буря, ворвавшаяся в кустарники, пригибающая деревья. Неподвижно тупой оставалась только серо-солдатская граненая корма цитадели.

25.XII.27. Париж.

Плохи мои дела, родной. Я почти бросила работу в надежде, что ателье обеспечит нас хоть на полгода. Увы, его пришлось закрыть. За границей не хуже нас научились расписывать шали и зонтичные ручки. Покупают теперь только образцы. Англичане и американцы сбежали из Парижа — дороговизна, кризис, «благодетелям» не до искусства. Хорошо, что у нас было кое-что зимнее, а то обносились на Корсике, купить не на что, а между тем в Париже настоящий русский мороз. Сегодня на улицах — веселые, спешащие на праздничный вечер люди с игрушками и цветами в руках. А мы торчим в своей тараканьей щели, где даже нашему коту Прокофию некуда протянуть хвост, и никаких тебе праздников, никаких игрушек. Вот сижу я сейчас с ногами на кровати и пишу тебе, а Георгий и Джакомо свистят дуэтом, выглаживая стеклянными шкурками свое панно,— вообрази эту приятную музыку! Вчера, впрочем, был хороший вечер: читали «Конька-Горбунка» и пели студенческие песни.

Но все это кончится когда-нибудь — не привыкать стать! Может быть, и скоро!

А теперь о другом. Помнишь ли ты мое письмо, кажется, апрельское, о вечере Ларисы Нестроевой? Я писала тебе тогда, что хочу поближе познакомиться с нею. Это осуществилось при довольно странных обстоятельствах.

Еще в Стамбуле я познакомилась с Машей Снеговой, художницей, приятной, хорошенькой, но пустоватой женщиной,— помнится, я писала тебе о ней. Она прожила несколько лет в Праге, потом переехала в Париж. Мы встречались хотя и редко, но сердечно, не потому, что нас связывали общие интересы, а потому, что обе нуждались в женской дружбе. История у нее — не веселее моей. Она была влюблена в одного молодого человека (русского), замучившего ее своими «ни да, ни нет». Объяснялась эта нерешительность просто: он был близок с Ларисой Нестроевой. Не берусь судить об этих отношениях. Но раз уж они были, значит, и в нем что-то было. Но вот с месяц назад все решилось. Свадьбу устроили по старинке, со всеми обрядами и даже с посыпанием молодых овсом. Я, признаться, не удержалась от слез, увидев подругу в подвенечном платье, измученную и все-таки хорошенькую. А через несколько дней она прибежала ко мне в горьких слезах. Что же произошло? Нестроева вместо свадебного подарка принесла Маше переписанное собственноручно стихотворение, которое посвящено истории ее любви. Да какое там посвящено — пронизано, проникнуто, распято!

Я утешала Машу, но, скажу откровенно, была восхищена этим, ни на что на свете не похожим, королевским, шекспировским шагом. Стихи необыкновенные, ударившие меня прямо в сердце, написанные — господи боже ты мой! — о нас, Костенька, о нас! Мы условились не писать о любви, так вот, как будто подслушав этот запрет, она о ней для нас написала. Как на Синай возвела она безвестность нашей любви, гордость этой безвестности, разлуку, которая не разлучает, а оборачивается неразрывностью, невозможностью расстаться.

Давно уже все у Маши уладилось, она снова приходила ко мне, веселая, и моя жизнь идет, как прежде,— с безденежьем, с муками работы, а я все не могу расстаться с этими стихами, которые не только выучила наизусть, но храню вместе с твоими письмами, потому что это и есть твои и мои, наши письма.

Теперь о встрече: ты знаешь, что я свободна в обращении и, вообще, неробкого десятка, а тут как на экзамен пошла, волновалась ужасно. Я ведь не очень понимала, зачем иду, но после десятиминутного разговора обе мы уже знали, что эта встреча была мне нужна... как... должно быть, как хлеб.

Ты помнишь, Костенька, я всегда завидовала твоей удивительной способности прочитать страницу одним взглядом. Именно так, с первого взгляда, она меня прочитала. Тогда, на своем вечере, она была другая, приказывающая себе быть сдержанной, не отпускающая себя от себя, если можно так выразиться. И теперь сдержанна, но совсем по-иному. Ну, как передать тебе впечатление? Одета более чем скромно, платье немодное, поношенное, но все пригнано, подтянуто. Впечатление внутренней собранности вспыхивает сразу же после крепкого рукопожатия, а потом поддерживается каждым движением и словом. Фигура — прямо-таки египетская: плечи широкие, талия тонкая. Кажется неженственной, в светлых глазах прячется (а когда не надо прятаться, должно быть, ослепляет) умная женская сила. Еще одно впечатление: не спускается к собеседнику, а поднимает его до себя. Ну, а если не дал бог собеседнику крыльев, тогда просто — вежливость, естественная для полузнакомства.

Она живет в Медоне, в пятнадцати минутах поездом от Парижа, полдомика с маленьким садом, у нее двое детей: мальчик, наверное, годика два, кругломорденький, в локонах, синеглазый, и девочка лет семи, красивая, с твердым, недетским лицом. Она пришла потом. Я застала Ларису Ивановну в домашних заботах, и сперва мне показалось, что она недовольна. Но как раз эти заботы и помогли моему смущению и первым неловким минутам. Она не могла поздороваться, обваливала мелкую рыбу в муке и жарила — и я, недолго думая, засучила рукава и принялась ей помогать. И наш разговор, как ни странно, начался с этой рыбы. Все утра пропадают, четыре раза в неделю рынок, нельзя пропускать и т. д. Она сказала, что «рыба», то есть дом, хозяйство, дети ничуть не мешают ей думать, но чувствовать — нет! Нельзя чувствовать, когда у тебя клейкие руки, масло брызжет, когда ежеминутно прислушиваешься — не плачет ли Саша, и беспокоишься, почему так долго не возвращается Катенька, которая пошла за «cœur de cheval» [1]. Я сама постоянно покупаю «foie» [2] или «cœur de cheval», три с половиной франка за фунт, потому что конина вдвое дороже.

Мы заговорили о Катеньке. Лариса Ивановна сказала, что хочет отдать ее не в обычную школу, а в школу рисования Добужинского и Билибина. Я упомянула, что сама училась у Добужинского, и как-то

---

[1] Лошадиное сердце (*фр.*).
[2] Печень (*фр.*).

незаметно растаяла первая неловкость. А потом мы уже говорили... Да бог весть, о чем мы только не говорили! Я почувствовала, что понравилась ей, иначе она не была бы со мной так откровенна. Или поняла мое одиночество? Или сама одинока? Но о том, как я пыталась сравнить наши жизни,— после.

Конечно, Лариса Ивановна догадалась, что я не только прочитала стихи, которые она подарила Машеньке, но и пришла-то потому, что прочитала! Мы говорили о поэзии, о живописи, о том, что жизнь, которая не дает художнику стать художником,— это и есть его биография. Она не жаловалась, но вдруг как-то мельком сказала, что в Париже и надо жить Парижем, а иначе он бессмыслен; она живет здесь уже скоро год, а Notre Dame еще не видела. Я кое-что знала о том, как ее приняли в эмигрантских кругах, и не решалась об этом заговорить, но она сама спокойно сказала: за редким исключением ее здесь ненавидят, всячески обходят и т. д. И, между прочим, не только потому, что ее муж — евразиец (есть такое направление в политике, о котором ты, может быть, слышал) и его считают коммунистом и т. д., но и по ее собственной вине. «Я своего никому ничего дать не могу — ни времени, ни тишины, ни уединения. А ведь долг платежом красен. Да, впрочем,— прибавила она,— мне здесь и показаться не в чем. Платье, в котором я выступала,— чужое, одолженное. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что».

У меня сохранились «пирографические» связи, и я обещала ей достать платье — и это действительно удалось, кстати, при помощи той же доброй Маши, которую муж уверил, что стихи не имеют к нему ни малейшего отношения.

И вот теперь я невольно сравниваю наши судьбы, так непохожие, но в чем-то очень важном перекликающиеся, и это «ау»! — то далеко, то близко. Слов нет, куда мне до нее! И все же она была неправа, когда сказала: «Здесь я никому не нужна!» Нет, нужна, потому что у нее есть дом, и дети, и муж, который играет в кинематографе фигурантом за 40 франков в день и с которым она полчаса разговаривает перед сном. А у меня нет дома. И если мы обе «живем начерно», как она сказала, так ее черновик, переписанный набело,— поэзия и, может быть, великая. А мой... Да что толковать!

Я ушла потрясенная еще и потому, что хотя мы не говорили обо мне, но она своим магическим чутьем поняла, как важна для меня ее помощь. Я уже собиралась уходить, когда она вдруг сказала с серьезной улыбкой: «Это странным вам, наверно, покажется, но я всегда думала, что дать можно только богатому, а помочь только сильному».

Вот видишь, какое длинное письмо я написала тебе под аккомпанемент фальшивого свиста двух мужчин, которых пора кормить — правда, не рождественским гусем, а все той же кониной, которую я вчера взяла у нашего лавочника в долг. Но ты не подумай, здесь это принято, конину даже рекомендуют врачи.

Ну, пиши мне больше и чаще. Что слышно о твоей командировке в Париж? Я часто думаю о тебе. И так хорошо, что ты существуешь, там, далеко в снегах. Привет Наде. Пиши.

4.V.1928.

В Бонифачо нас встретили шествием, как Линдберга. Но было много хлопот с поисками нового дома. Подле старого, в котором теперь «un bordel» [1], сидят и играют на своих дудочках (совсем как заклинатели змей) арабские солдаты. Мы сняли хорошенький домик, тоже на обрыве, над портом, среди виноградников и библейских олив. Плохо, что камин только в одной комнате — там, где работают панно, а для моей живописи нет места. До базара и воды — далеко, и пришлось купить ослицу по имени Блонда (хотя она — брюнетка). Езжу на базар амазонкой, изумляя местных дам, которые не ходят на базар. Даже в самых простых семьях ходит муж, а жены разодетые, только в церковь, а потом прогуливаются по шоссе. Ни одна из них вообще никогда не сядет на осла, разве что за обещание войти в царство небесное! А я через два дня в третий тащусь, нагруженная бутылками и мешками, и только знай покрикиваю на свою нетороплиВую, как все бонифачийцы, Блонду (которую мы немедленно переименовали в Машку). Вид — очень pittoresque [2].

Вчера я нашла в лавочке мясника «Метаморфозы» Овидия на итальянском языке без начала и конца — в них завертывали котлеты. Я взяла и читаю по вечерам. Здесь до сих пор сильна итальянская культура. Я знаю одного каретника, который читает в подлиннике Данте. С ним мы, кстати сказать, подружились. Ведь я в свой первый ялтинский приезд снимала комнату в доме каретного мастера и теперь прочитала знатоку Данте целую лекцию о крымских экипажах. В особенности он заинтересовался «корзинами». Это были четырехместные коляски с плетенными из прутьев (в виде корзины) сиденьями. Я даже нарисовала ему по памяти этот экипаж, прикрытый прямоугольным большим зонтом с красной или зеленой подкладкой и бахромой по краям. Милая Ялта!

Посылаю тебе мои фото. Ты можешь сжечь их, тем более что они далеки от совершенства. Но мне хочется, чтобы ты видел, как я постарела, подурнела. Это — тоже твое, как все, что происходит со мной.

30.V.28.

Пишу тебе из маленькой деревушки в центре Корсики. Поехала за ореховым деревом для скульптуры, здесь оно почти втрое дешевле, чем в Париже,— и ошалела от здешней палитры, бесконечно более разнообразной, чем краски бонифачийского побережья. Домики тесно прижались к белой стройно-суровой колокольне, а вокруг — самоцветные горы: какие цвета, какое богатство! Деревня высоко в горах, прохлада по вечерам дает приятную зябкость. Я приехала сюда с знакомой дамой-корсиканкой к ее родным, которые и меня приняли, как родную. Если случится, что ты явишься в Париж прежде нас,

---

[1] Публичный дом (*фр.*).

[2] Живописный (*фр.*).

сообщи мне об этом немедленно по ее адресу: «Бонифачо, Аркады, m-me Лючия Санпьетро». Она — благородный человек, и я ей доверяю всецело.

Брожу с красками, вспоминаю любимую оливковую рощу в Олеизе. Здесь оливки — главная статья дохода (еще пробковый дуб и ловля лангустов). Дорога вьется, и за каждым поворотом открывается новое живописное чудо. А какое спокойствие! Какой свет и воздух! В деревне приходится даже пальто надевать, а спустишься в долину — уже жарко, персики, виноград. И повсюду — форелевые речки, холодная, вкусная родниковая вода. У каждого домика — навес из винограда: синие и розовые гроздья декоративно спадают на серый камень крылец.

И люди здесь удивительно симпатичные, приветливые, гостеприимные. Много бывших дворян, обедневших и живущих, как простые крестьяне. Давно не встречала я такого доброжелательства, внимания, благородства! Кормят меня на убой, и я уже начинаю жалеть, что послала тебе фотографии, на которых выгляжу постаревшей и подурневшей.

Значит, напиши мне через Лючию, а одновременно пошли дружеское письмо, спокойное, с приветами Георгию — на наш, разумеется, адрес. Не перестаю молить бога, чтобы ты приехал осенью, когда мы уже будем в Париже.

10.VI.28. Париж.

Здравствуй, милый друг Лиза. Сегодня третий день, как я в Париже. Получил твое письмо, но не успел ответить, так как была обычная суета перед отъездом. Устроился дешево и удобно в центре Латинского квартала. Одна беда — не с кем слова молвить по-французски. В маленьком пансионе, где в антресолях я снял комнату, живут русские, латыши, шведы — это крошечный Вавилон с крошечным хозяином, который ежедневно, в пять часов утра, начинает оглушительно объясняться с супругой, дочерью и щенком (по-еврейски). Моя командировка — до первого сентября, я должен вернуться к учебному году, следовательно, мы не увидимся, и я глубоко сожалею об этом. Одиночество мое разделяет Аристархов, один из моих математиков, добрый, но странный человек с голосом, раздирающим уши. Сегодня мы три часа подбирали ему костюм — и не подобрали. Французы на таких Святогоров не шьют.

День свой располагаю так, чтобы вечером не заниматься, а бродить — ты ведь знаешь, это мое любимое занятие. Хочется читать по-французски, но положительно не успеваю. Марселя Пруста намеренно не читал дома по-русски, а здесь говорят, что мне не одолеть его по-французски. В Лувре еще не был, на частных выставках — тоже, кроме выставки хризантем, да и то случайно заглянул, возвращаясь из Сорбонны.

Каждое утро гарсон, принося кофе, сообщает, что «похолодало», хотя с утра стоит невыносимая жара. В воскресенье я был в Булонском

лесу. Молодые люди играют в теннис, на конной дорожке — всадники в традиционных костюмах для верховой езды.

Мой доклад в Сорбонне состоится в конце августа. Кланяйся Георгию Дмитриевичу. Не теряю надежды на ваш приезд.

Твой Костя.

10.VI.28. Париж.

Осталась ли ты довольна моим «дружеским» письмом, которое должно успокоить твоего мужа? Я занимался французским языком перед отъездом и писал это письмо, вспоминая свои грамматические упражнения. Надеюсь, что все главные и придаточные предложения — на месте? Это не просто оскорбительно — то, что мы должны притворяться, чтобы увидеть друг друга. Это постыдно, и я не понимаю, я просто в толк не возьму, как ты можешь так жить! Связанная по рукам и ногам, в ежедневной и ежечасной лжи, при одной мысли о которой мне становится тошно.

Я еще понял бы это добровольное рабство ради детей, ради близких, для которых важно, чтобы в доме был «мир». Но ты же сама писала мне тысячу раз, что нет у тебя никакого «дома». Прятаться, не принадлежать себе, насиловать свои желания — да я не мог бы прожить так и двух дней! Это не жизнь, а медленное самоубийство души. И это ты, ты! Со своим свободолюбием, беспечностью, независимостью! Да куда же делось все это? Почему, за что ты должна каждую минуту чувствовать себя без вины виноватой? Откуда у тебя берутся силы, чтобы переносить это напряжение, эту игру в семейную жизнь, это изматывающее, перекошенное существование? Ведь рядом с ложью стоит трусость, которую ты же сама — это-то я отлично знаю — презираешь еще больше, чем ложь. Теперь, когда мы оба — во Франции, теперь не увидеться — да как же пережить эту бессмыслицу? Или мне бросить все и поехать на Корсику? Остановиться в каком-нибудь соседнем, ближайшем городке, придумать что-нибудь с помощью твоей Лючии? Напиши мне, не откладывая.

Твой К.

4.VII.28. Бонифачо.

Дорогой мой, я получила твое письмо (через Лючию), и оно так взволновало меня, что, уже спрятав его в тайничок (у меня тайничок среди скал, где я храню твои письма в жестянке из-под красок), я через час вернулась и прочла его снова. Я не узнаю тебя, мой милый! Куда же делось твое «равновесие», из-за которого мы так ссорились в молодости? Я чуть не написала — в детстве. Все в тебе сейчас настроено на одну ноту, или, как это бывает со зрением,— на один цвет. Но закрой глаза и подумай спокойно: ведь мой внезапный отъезд без согласия Георгия будет означать разрыв с ним, окончательный и бесповоротный. «Дома» нет, но все-таки есть Георгий, который беспомощен перед своей ревностью и — я это чувствую — стыдится ее. Ведь в этом чувстве есть для него что-то безотчетное, как будто существующее независимо от его воли и толкающее его на

поступки, в которых он раскаивается, преодолевая свою дикость и гордость. Ах, все не так просто, как тебе кажется теперь, когда мы ослеплены желанием видеть друг друга!

Так вот — я приеду. План, который я придумала, основан на нашем неизменном, прочном фундаменте: безденежье и все растущих долгах. Дело в том, что Георгий закончил свои панно и надо везти их в Париж, тем более что маршан, которому мы посылали фото, предложил на этот раз вполне приличную сумму. Еще до твоего приезда было решено, что поеду я, потому что Георгий ничего не понимает в практических делах (и мужественно сознается в этом). Но теперь, когда зашла речь о поездке, он напомнил мне известную загадку про волка, козу и капусту, которые должны были переплыть реку поочередно, оставив друг друга в живых. Если сперва перевезти волка, коза, оставшись на противоположном берегу, съест капусту. Если перевезти капусту — волк съест козу, и т. д. Упомянута была эта загадка весьма добродушно, и это позволило мне в такой же полушутливой форме дать ему слово, что я не встречусь с тобой — и, таким образом, останется целехонька его драгоценная капуста. Словом, я убедила его, тем более что без меня его действительно обведут вокруг пальца. Не знаю еще ни дня, ни часа, когда мне удастся заглянуть к тебе. В конце августа. Может быть, рано утром? Твой отель — рядом с театром Одеон, там поблизости дешевый рынок, на который я иногда ездила, хотя он довольно далеко от нашего дома.

Словом, терпенье, мой друг! Умоляю тебя. А теперь еще раз хочу напомнить тебе, что ты — в Париже, что на Rue de la Seine, в двух шагах от тебя,— выставка Пикассо, которая скоро закроется. Его можно видеть у маршана, но грешно пропустить такой богатый ensemble. Пойди непременно! На маленькие выставки вход бесплатный. Если на окне или двери висит афиша — смело входи и смотри. Стоит, по-моему, заглянуть и на выставку «Независимых граверов».

Обнимаю тебя. Мы увидимся. Боюсь, что у нас не останется времени, чтобы поговорить о живописи. Но если Георгий вернется в Бонифачо, а мне удастся задержаться в Париже...

Париж. 1928

Он проснулся с ясной головой, ощущением уверенности, что третьегодняшний приступ не повторится, как не повторился он накануне, когда Константин Павлович докладывал в Сорбонне. Он проспал утренний разговор хозяина отеля с женой, хотя разговор был оглушительный и продолжительный, и услышал только удаляющееся: «Бубуль, Бубуль!» — хозяин ходил на рынок с собакой, которую звали Бубуль.

Сегодня было двадцать шестое, до конца августа осталось пять дней, и утро, пока еще раннее, началось как всегда. Всего лишь полмесяца прошло с тех пор, как он получил последнее письмо от Лизы. Но и за полмесяца это «как всегда» успело подняться над

временем и перейти в чувство, присоединявшееся ко всему, что он делал и о чем начинал думать с утра. День был занят Сорбонной, переводом статьи Аристархова, которую тот оставил ему, уезжая, а в свободное время — выставками и синема. Он побывал на Пикассо, видел скульптуру и гравюры Гогена, смотрел Сутина, Модильяни.

Но утро — это была Лиза. Собираясь в дорогу, он наткнулся на зеркальце, которое она когда-то подарила ему, овальное, в бисерном зеленом футлярчике, с трещинкой. Он взял его с собой — и хорошо сделал, потому что в его комнате на антресолях, с косым окном, из которого был виден только крест какого-то собора, не оказалось зеркала, и он брился и причесывался перед Лизиным, глядя на свое, пересеченное трещиной, лицо и находя его незнакомым. Так было и в это утро. Бреясь, он подумал, что похудел и, кажется, помолодел в Париже. Скулы торчали, легкость, которую он испытывал, бродя по Парижу без устали, появилась в лице — «студенческом», как сказала бы Лиза. Может быть, сегодня это была какая-то уж слишком легкая легкость. Шум, почему-то напоминавший ему пригнувшуюся под ветром перестукивающуюся рожь, по временам начинал звенеть в голове, потом проходил, и Константин Павлович не прислушивался к нему, потому что это был, конечно, не приступ. Было еще рано, ему захотелось еще полежать, но он заставил себя, не снимая пижамы, перевести несколько страниц аристарховской статьи. Вполне оправдывая свою семинарскую фамилию, Аристархов писал длиннейшими периодами, которые, переводя на французский, приходилось делить пополам.

Все-таки он решил полежать, хотя чувствовал себя превосходно. Почему-то Казань вспомнилась ему, но мелькающая, скользящая, точно он куда-то бежал, а за ним гнались, и нельзя было ни оглянуться, ни остановиться. Он не знал, почему так важно было вспомнить, когда и почему он бежал,— может быть, чтобы убедиться, что он здоров и что ему ничуть не мешает обычный утренний, нестройный шум отеля? И он вспомнил: у Высших женских курсов был траурный митинг — Лена Кондакова, которую он готовил на аттестат зрелости, покончила самоубийством, и студенты, человек пятьсот, пошли провожать гроб до кладбища на Арском поле. Вдруг послышался стук копыт по булыжнику, на толпу с нагайками мчалась казачья сотня. Все смешалось, сдвинулось, метнулось, в общей сумятице обмороков, бегства, криков он один остался на месте, огляделся. Он был подле Института благородных девиц, и хотя забор был очень высокий, но ему удалось подпрыгнуть и схватиться за кромку руками. Он прыгнул в сад, перебежал аллеи и перескочил через второй забор, который оказался еще более высоким,— земля с той стороны, на Подлужной, оказалась гораздо ниже, чем он ожидал. Девицы, гулявшие в саду и не ожидавшие, что какой-то студент неожиданно перелетит через забор, встретили его звонкими взрывами хохота — и очень странно, что он ясно слышал этот хохот сейчас, через двадцать лет, в Париже, а не в Казани. «Не может быть, чтобы они все еще смеялись надо мной»,— подумал он. Но тогда почему же все-таки он видел и слышал не только то, что было, но и то, чего не было и не могло быть никогда?

Он ясно увидел Ялту, но не ту, в которой он был несколько лет назад, а другую, старую, дореволюционную, о которой рассказывала ему в письмах Лиза. У ярко освещенного мола стоял пароход «Цесаревич Георгий»; по трапу бежали носильщики с большими бляхами-номерами; комиссионеры, хватая приезжих за рукава, выкрикивали названия своих гостиниц; подле сходен стояли полицейские; паровые лебедки поднимали из трюмов тюки мешков, ящики, бочки. На толстых чугунных швартовых тумбах были надеты канаты, и в этой суматохе и тесноте ему почудилось, что одна летящая петля как-то нечаянно упала на него и сильно стянула горло.

Какой-то комиссионер с огромными черными усами, в фуражке, на околышке которой было написано «Гостиница Франция», надвинулся на него и оглушительно крикнул в самое ухо: «Комфорт только у нас!» Но сразу же настала тишина, потому что он был теперь в кипарисовой роще, высоко над морем. Одинокая беломраморная колонна стояла над чьей-то могилой; он вспомнил, что это была могила писателя Найденова и что он списал для Лизы его высеченные на мраморе стихи.

И тишина была глубокая, легкая, полуденная. Он прислушивался к ней, лежа на постели, с закинутыми под голову руками. Он ждал ее, потому что вместе с этой тишиной к нему должна была прийти Лиза. Пожалуй, это была несбыточная надежда, и он удивился и обрадовался, когда до него все-таки донесся стук ее каблуков по асфальту. Он вообразил этот стук, а может быть, и не вообразил, потому что его нельзя было перепутать с другим, учащавшимся и вдруг переходящим в гулкое медленное биение. То был совсем другой стук — может быть, сердца? Да, он слышал ее шаги, и это был не приступ, потому что он не чувствовал озноба, голова была свежа и даже, может быть, слишком свежа. Лиза шла к нему через Монмартр, мимо кабаков с русскими названиями, которые она расписала, мимо Блошиного рынка, на котором можно купить окурок сигареты, мимо «Ротонды», где они могли провести за столиком лишь полчаса, потому что это не Казань, а Париж.

Иногда автобусы, проносившиеся вдоль бульвара Сен-Мишель, заглушали ее шаги, но потом он научился и в этом железном грохоте различать шаги ее длинных, крепких, загорелых ног.

Скоро она придет к нему, и они будут одни, здесь, в антресолях, совсем одни, потому что в бисерном зеркальце с трещиной, которое она ему подарила, угол падения не равен, не может быть равен углу отражения.

Пот заливал глаза, и должно быть, надо было все-таки померить температуру. Но градусник лежал где-то очень далеко, на столе, за километр, и сам стол то отодвигался, то приближался.

Лиза вошла осторожно, быстро, он попробовал встать и улыбнулся, когда выражение ужаса мгновенно изменило ее лицо, любимое, сияющее, взволнованное предчувствием встречи.

— Родная моя, нам не повезло,— сказал он с нежностью.— Ты дала мужу слово, что мы не встретимся, да? Ты торопишься и убежишь через десять минут? Я тебя люблю. Понимаешь, третьего дня

у меня был приступ малярии, и я надеялся, что он не повторится, потому что она у меня трехдневная, и если не повторяется на следующий день... Но вот повторилась.

Особенность этого многолетнего разговора, продолжавшегося почти четверть века, заключается в том, что по временам он как бы замирал, останавливался. Необходимость переписки, естественно, отпадала, когда Лиза встречалась с Карновским,— так случилось и летом 1928 года. Но сохранилось несколько писем, по которым видно, что с той поры началась другая полоса неисчерпаемости их отношений.

«Я горько плакал, читая листки из твоего блокнота, написанные, по-видимому, наспех, где-нибудь на пристани или на вокзале, и думая о том, что нехотя стал причиной новых потрясений в твоей и без того тяжкой судьбе,— писал Константин Павлович.— Никогда не забуду я великой — не боюсь этого слова — простоты, с которой ты в этот день осталась со мной. Никто не знает о нашей любви. Когда Коля Лавров, перенеся сыпной тиф и воспаление легких, лежал у меня в Казани, я читал ему твои письма. Тебя я считал погибшей, а его — вернувшимся с того света. Может быть, мне казалось, что жар и чистота твоей любви помогут его выздоровлению».

Он получил ответ на это письмо уже с Корсики, куда Лиза уехала одна, после решительного объяснения с мужем... «Я тоже плакала, но не горько, а от счастья,— писала она.— В молодости твои письма не всегда приносили мне счастье, и случалось, что я часами, а иногда целыми днями не открывала их, стараясь продлить ожиданье. О тебе больше всех знала Шура, и я до сих пор болезненно переживаю нашу с ней, теперь уже, должно быть, непоправимую разлуку. Георгий знал, что я люблю тебя, видел и понимал силу моего чувства, но, разумеется, и он никогда не читал твоих писем, кроме того, которое я просила тебя написать, чтобы легче было обмануть его и поехать в Париж. Теперь — господи благослови! — никого не надо обманывать. Мы расстались спокойно, я отправила его вещи с Джакомо, а сама решила остаться на зиму здесь, где жизнь дешева и можно работать. Так что не кори себя, мой дорогой! Все к лучшему. И не потому мы разошлись, что я провела с тобой тот благословенный день, а потому, что я для него — «дом», а он для меня — сделка с судьбой.

Давным-давно решила я отказаться от маленьких удач, без которых не мог бы существовать этот «дом» и которые были связаны с работой «на заказ» и, следовательно, с отсутствием свободы. Но об этом не только не говорилось, а я вынуждена была притворно радоваться, когда Георгий или я получали заказ. Получал почти всегда именно он, я помогала, и то, что у меня на это уходили все время и силы, считалось естественным, а то, что я делала для себя, «допускалось». Нет, нет! Я должна восстановить свою независимость — и не только от Георгия и его круга, который давно потерял интерес для меня, а от любого круга.

Не думай, что я потеряла надежду на успех, выставку, Салон, куда меня не пускают. (Под этим словом, кстати, здесь понимают

художественный товар на все вкусы.) В том-то и его сила, что в него не пускают! И тем не менее, как это ни парадоксально, надо убить в себе Салон, чтобы попасть в него. Из тысячи холстов девятьсот девяносто девять написаны с этой надеждой».

Глава восьмая

7.VI.29. Бонифачо.

...Георгий в Париже, мы переписываемся дружески, хотя и редко. Это было трудно — остаться друзьями,— не для меня, для него. Помогли внешние обстоятельства. Его панно и прежде имели успех, но, расходясь по рукам, оставались «за кулисами» Парижа. Нынешней зимой ему удалось устроить выставку — и в «Les Echos d'Art» появилась статья с репродукциями его работ, одобрительная, хотя и небольшая. Меня трогает в его письмах сожаление, что мы расстались, когда ему повезло. Но и мне повезло, хотя совсем по-другому. Все, что происходило со мной в последние годы, было трудным, медленным возвращением к живописи. В понимании ее мы давно разошлись, мне мешала настоятельность, с которой он превращал ее в средство существования. Мы в последнее время редко разговаривали о живописи, я молчала, помогая ему, или лгала, потому что он вспыхивал при малейшем возражении. Но это только одна сторона, сам понимаешь, насколько важная. Была и другая. Я давно поняла, что подлинная любовь скрыта от людей, а когда ее показывают или о ней узнают, она, в сущности, перестает быть любовью. Мне в детстве всегда казалась странной торжественность свадебного обряда, и я испытывала неловкость при мысли, что все знают, *что* вскоре должно произойти и непременно произойдет между молодыми. Тайна, которая должна остаться между любящими, становится заранее известна всем и даже публикуется в газетах! Какая, в самом деле, ложь «таинство брака» и как лицемерно украдено это слово у подлинной любви! Довольно вспомнить о пытке ревности, которой Георгий терзал меня годами, о постыдной торопливости, с которой я должна была возвращаться домой, чтобы он не подумал, что я была «где-то и с кем-то», о близости, неискренней, унизительной, только чтобы оправдаться, хотя не виновата, успокоить, хотя не о чем было волноваться. Только ты знал и писал мне об этом, потому что мне ни в чем никогда не стыдно было тебе сознаться. А работа! Это подлая ревность лишала меня внутренней свободы, без которой ничего нельзя сделать в искусстве, да и не только в искусстве. Я должна была шагать через это рабство, и сколько сил уходило у меня на это шаганье! А теперь что ты скажешь, мой дорогой, если я признаюсь тебе, что, как ни странно, я скучаю иногда без Георгия? Уж очень мы «вжились» в наши ссоры и примиренья. Но ведь и по тюрьме скучают. Кажется, у Леонида Андреева один из рассказов кончается: «При закате солнца наша тюрьма прекрасна...»

Бонифачо.

Мой милый друг, я давно написала тебе большое письмо, но, перечитав, разорвала. Я не люблю запоздалые письма. Время идет без стрелок, как на «Черных часах» Сезанна, и остановить его, к сожалению, невозможно. Впрочем, можно — в искусстве. Но для этого как раз и нужно быть Сезанном.

В Бонифачо нынче много художников. На каждом углу видишь соперников. Детишки толпой переходят от одного к другому, то хвалят, то бранят — оглушительно и откровенно. Некоторые их замечания необычайно верны. Врожденный вкус, корсиканцы!

На днях ко мне заходил один молодой художник, поляк, красивый, энергичный малый. Восемь месяцев назад он поехал в Аргентину, хотел заработать, и вот после долгих мытарств вернулся во Францию. Славны бубны за горами! В Аргентине богаты только скотоводы и помещики, а народ ведет едва ли не пещерный образ существования. Много русских — где только их нет! — бедны и несчастны. Вернувшись, поляк нанялся на резку винограда — 30 франков в день и, разумеется, винограда — сколько влезет. Подумываю о том же и я, да боюсь, не хватит силенок! А жаль — доктора давно советовали мне проделать виноградный курс.

(Письмо не датировано)

30.VI.1929. Бонифачо.

Дорогой мой, ради бога, даже и не думай посылать мне деньги! Они гораздо нужнее тебе, в особенности если снова появится возможность приехать в Париж. Я получила заказ на портрет, у меня есть ученица, этого пока вполне достаточно. Жизнь на Корсике поразительно дешева. Да и вообще, мой родной, ты меня знаешь и все-таки не знаешь! Ведь я — семижильная! Я — цепкая, как репейник. А уж теперь-то, когда для меня наступил «день первый», много ли надо, кроме денег на холсты и краски? Портрет, кстати сказать, мне заказала моя милая, благородная, деликатная Лючия Санпьетро. Я пишу его на фоне Корсики, и все так ярко, так пропитано солнцем, что невольно хочется поставить между собой и натурой очень тонкую, прозрачную кисею, приглушающую этот блеск. Я ее и поставила — мысленно, а потом перенесла на холст. Получилось или получается что-то новое, по меньшей мере для меня.

Вот так-то мне и живется, мой дорогой. Трудно, но когда, кому из художников было легко? Краска бесшумно ложится на холст, но ведь в этих простых движениях — шум жерновов, перемалывающих жизнь. Это тоже кто-то сказал, а может быть, и не кто-то, а я.

Событий у меня, Костенька, нет, если не считать, что вчера я вернулась с «необитаемого острова», где провела несколько дней. Спала в шалаше, который наша компания построила в прошлом году, много работала, много купалась.

Помнишь, я писала тебе о бонифачийском дурачке Жозефе? Он привозил мне хлеб, рыбу и пресную воду. Мы подолгу разговаривали, и я окончательно убедилась в том, что он не только не

дурачок, а по-своему очень умен, хотя и простодушен, как дитя. Он сказал мне однажды: «Было бы чересчур хорошо, если бы все жалели людей, как я». Это покажется тебе странным, но я запасаюсь душевными силами в наших разговорах.

Мой «необитаемый остров» — Корсика в миниатюре, только без зелени, если не считать кустарника маки́. Одни заливчики врезаны в красно-розовые, византийские скалы, другие — в светло-серые, почти белые, грубо наваленные друг на друга. В этом хаосе (который я писала несколько раз) легко различить выразительные формы живого мира: здесь и белый медведь, и капуцин, и тигры, и старуха в чепце. Если соединить эти скалы с зеленой и лазурной водой — какое волнующее открывается великолепие! Впрочем, на Ядрин я бы все-таки его променяла.

Между прочим, на днях в порту стоял огромный трехмачтовый парусник. Я проплывала совсем рядом, восхищаясь матросами, которые красили борт. Какие рослые итальянцы! Вдруг слышу русскую речь! Я плавала так долго, что чуть не утонула...

...А у меня другое отношение к смерти. Если бы я знала свой час, я бы совсем не торопилась — напротив, это знание стало бы для меня одним из условий свободы. Так не торопится Пруст. Должно быть, поэтому его нельзя и читать торопливо.

10.VII.29. Порто-Веккьо.

Миленький мой, ты молчишь — и я невольно начинаю волноваться. Может быть, потому, что поехала с Лючией в Порто-Веккьо, и оказалось, что городок охвачен малярией. Страшно было увидеть в этом японском раю (то и дело встречаются настоящие японские пейзажи) шатающиеся тени, изможденные, зеленые лица.

Как твое здоровье? Где ты? Пишу тебе второпях, чтобы поскорее получить ответ. Меня тревожит твое молчание.

20.X.1929. Бонифачо.

...Все одушевлено, любой предмет, который ты пишешь,— все равно, человек это или корыто,— и надо писать так, чтобы ему некуда было деваться, чтобы он почувствовал, что подмечен глазом художника и, стало быть, открыт для него. А для всех других — скрыт за собственной обыкновенностью или необычайностью, это не имеет значения. Я поняла это практически, то есть через самый материал живописи. Неясно? Понятнее я могла бы сказать только в одном случае: если бы ты сейчас был рядом со мной, на берегу стоячего заливчика перед холстом, на котором я пишу кактусы и сосны. Берег золотистый, а сосны под прямым углом опрокинулись в воду.

Париж, в котором приобретаешь весь мир и теряешь душу, стал страшен для меня, но поехать, в конце концов, придется. Ведь там, чтобы не чувствовать лихорадки, торопливости, шума,— нужно самой сделаться этой лихорадкой и шумом. Не хочу.

Как я жалею, что отдала тебе твои письма,— ведь я могла бы перечитывать их теперь без конца. И они заменяли бы мне тебя. Я написала «заменяли бы» — и засмеялась. Не заменили бы! Но среди них есть просто любимые и любимейшие, без которых мне особенно скучно.

Какие правила для пересылки картин почтой? Если ты скоро не приедешь во Францию, я пошлю тебе свой лучший холст. Но ты приедешь, я верю.

Так Джамиль кончил институт и уехал в Челябинск? Напиши ему, что твой близкий друг шлет ему самые горячие поздравления и пожелания.

8.XI.29. Бонифачо.

Милый, будь! Пребывай всегда — ты мне так нужен! Что касается «доминанты», о которой ты пишешь,— ее нет. Более того, она невозможна. Живопись не соединяет и не разъединяет нас. Я думаю совсем о другом: придет время (разделяю твою надежду), и я приеду к тебе. Но не возьмет ли тогда свое наша разлука? Она ведь долгая, бесконечная. Она для меня — как злое божество, привыкшее считать себя неодолимым, непреодолимым. Слишком много опыта было и мало счастья. В этом опыте, кстати сказать, таится убеждение, что с годами женщина входит во вкус семейной жизни, а мужчина теряет этот вкус. Ты не боишься, что нечто подобное может случиться и с нами?

Вчера вышла на этюды — и вдруг захотелось побродить, подумать. Утро было холодное, ясное. Даже казенные здания порта, прежде раздражавшие меня, окрасились в теплый розовый цвет и пожелали принадлежать пейзажу.

Возвращаясь, я встретила забавную процессию — бонифачийцы на ослах ехали за город собирать маслины. Винограду в этом году мало, вино вздорожало. А хорошее здесь было вино...

Да, совсем забыла, у меня неприятность. Последнее время я стала легко уставать. Не знала, что у меня температура, градусника не было. Значит, легкие не в порядке. Пройдет, если не придется вскоре вернуться в Париж. Там вылечиться трудно, да еще без денег.

Я снимаю комнату недалеко от «марины» — так называется нижняя часть города, пристань. Рыбаки сейчас не уходят в море, сушат свои сети, плетут невода. А в порту идет погрузка громадных лангустов. Их ловят летом и до поздней осени держат в море, в больших круглых корзинах. Смотреть на эту погрузку я не могу — у меня болезненное чувство жалости ко всему животному миру. А не смотреть — тоже не могу, потому что это зрелище неизъяснимо прекрасное и просто требующее, чтобы я его написала.

Вечером дул сирокко. Ведь здесь, к сожалению, не бывает осени. Скоро зима. Когда я думаю, что приеду в Париж и тебя там не будет,— мне хочется плакать.

Париж (без даты).

В метро, в автобусах я пишу тебе длинные письма, а когда возвращаюсь домой, усталая, трудно взяться за перо. А ведь многое хотелось бы рассказать. От непривычной ранней жары Париж ошалел, обезумел... Храмы, биржи, музеи, дворцы, скачки с препятствиями, джаз-банды, мюзик-холлы, ревю, дансинги, салоны, выставки, диспуты... Вавилонское столпотворение!

Ты спрашиваешь меня, куда идет французская живопись? Ответ простой: на выставки и к торговцам. В прошлом году в моде был кубизм. В этом — сюрреализм. Для большинства молодых холст — результат договора с торговцем, а не иносказание духа. Тонкая, неторопливая техника давно не в ходу. Как можно больше быстрых мазков — и портрет готов в два-три сеанса! Тень неудачи — и работа отставлена, переписывать некогда, рынок не ждет.

Вчера была в Салоне Тюильри, интересных полотен мало. Зато частные выставки хороши. На одной из них я встретила удивительную личность, которую только и можно, кажется, встретить в Париже. Я была у своего маршана, привезла paravent [1], и вдруг из соседней комнаты, где висели работы Матисса, бомбой вылетает громадный мужчина с мушкетерскими усами, в широкополой шляпе и бархатной куртке с отложным воротником. До нас и прежде доносились его оглушительные оценки, пересыпанные теми особенными словечками, без которых не обходятся в Париже критики и художники. Кстати сказать, оценки были неглупые, особенно насчет японцев, совершенно потерявших за последнее время свой национальный характер. И вот этот тип подходит к Матиссу и начинает рассыпаться в комплиментах: восторженно, шумно, с манерами влиятельного критика. Все очарованы, Матисс кланяется, благодарит, приглашает в свое ателье. Холоден только хозяин. Когда же этот «влиятельный критик», наконец, удалился, оказалось, что он — бывший натурщик Родена. Все ужасно смеялись.

Матисс похвалил мой параван, хотя и угадал в нем черты «Византии», о которой, мне казалось, я давно забыла думать. Когда все разошлись, маршан предложил мне немногим больше, чем стоили холст и краски. Я согласилась. Он-то как раз человек влиятельный, хотя и скуп, как Гобсек.

Жаль, что Камерный театр так скромно «подал себя» и что так мало было спектаклей. Понравилась мне «Жирофле-Жирофля». Ритм — обдуманный, неотразимый, и такое впечатление простоты, легкости, свежести! Мне вспомнились школьные шарады и те спектакли, которые мы разыгрывали детьми после посещения театра.

А Мейерхольд — ведь это совсем другое?

Последние дни у меня было досадное чувство, что я все забываю сказать тебе о чем-то важном, неотложном и крайне необходимом для нас обоих, в особенности для меня. Теперь вспомнила: ничего, что я постарела? «Стареют, когда этого хотят»,— говорят французы. Я стараюсь увидеть себя в зеркале твоими глазами.

Твоя Л.

---

[1] Ширма *(фр.)*.

10.XII.1929. Париж.

Мне захотелось составить свой «инвентарь». Вызвано это желание предчувствием скорой смерти. Это странно, хотя бы потому, что на днях я была у врача и он сказал, что я почти здорова.

Вообще говоря, я спокойно отношусь к мысли о смерти. Но если ученые найдут средство «вечной жизни» и ты будешь жить, а я умру, это — обидно. В том, что задача бессмертия будет решена, я не сомневаюсь. Но так как при моей жизни этого, очевидно, не случится — ничего не поделаешь, надо умирать. Надеюсь, что это случится не на Корсике, а в Париже, где меня по крайней мере сожгут. Вот видишь, я еще диктую условия.

Пишу я все это шутя, но мысли у меня серьезные. Как всегда, они соединяются с желанием «рассказать себя».

Сделала я, конечно, мало. Более того, чувствую, что только начинаю работать. Это относится прежде всего к композиции, в которой мне лишь недавно удалось, кажется, найти свое. Самое трудное было преодолеть или даже забыть «готовые» формы, то есть, в сущности, почти все, чему меня учили. Это происходило мучительно долго, а совершилось в одно мгновение. Однажды в Бонифачо, вернувшись в сумерки домой с этюдов, я вдруг увидала странную, полную внутреннего напряжения, совершенно неизвестную мне картину. Непонятно, что было изображено на ней, и, только вглядевшись, я поняла, что это мой собственный холст «Малярия в Порто-Веккьо», который я бросила ради какой-то другой работы. Холст косо стоял у стены, и, может быть, ракурс и сумерки сделали то, что я увидела только цветовые пятна, но в таком оригинальном и остром сочетании, о котором я прежде не могла и мечтать. Прислушиваясь к этому впечатлению, я еще добрых месяца два работала над этой картиной. Холст небольшой. Написан он о малярии, конечно, но в тютчевском понимании этого слова: «Люблю сей божий гнев...» Я работала, вспоминая тот благословенный день, который мы с тобой, впервые за десять лет, провели не расставаясь.

Итак, сделано мало. Самое главное, может быть, впереди. И все же достаточно, чтобы «remplir ma mesure du destin» [1].

Помнишь, я писала тебе, что Алексей приезжал в Париж и передал через одну полузнакомую даму, что будет счастлив увидеться со мной. Я поняла по ее намекам, что он не переставал следить за моей жизнью все эти годы. Теперь он снова просил передать, что весной будет в Париже и что ему необходимо поговорить со мной «по делу».

20.XII.1929. Париж.

Миленький мой, ты меня напугал. Конечно, жаль, что твоя командировка сорвалась, но ведь ты пишешь, что не намерен с этим примириться и вновь будешь хлопотать. В твоем письме я почувствовала отчаянье, что вовсе на тебя не похоже. Я-то была почти

---

[1] Исполнилось то, что мне суждено *(фр.)*.

уверена, что скоро ты не приедешь. Я плохо разбираюсь или даже почти не понимаю тех особенностей твоей нынешней жизни, которые могут тебе помешать приехать в Париж.

Я часто вижусь в последнее время с Нестроевой, и, хотя между нами (я в этом давно убедилась) не может быть женской дружбы, которой мне так не хватает, наши встречи неизменно волнуют меня. Она — человек сложный, и не моего ума дело разобраться в этой сложности, или, вернее сказать, содержательности. Я только чувствую в ней завидную способность становиться вровень со своей поэзией, причем это происходит естественно, само собой.

И еще одно: подчас мне кажется, что в ней соединилось много людей — то ссорящихся между собой, то сохраняющих напряженное согласие. Такова же, по-моему, и ее поэзия.

Мне она сказала, что все, что я пишу,— Россия, будь то корсиканский пейзаж или интерьер моей мастерской. Все — через свет снега или через Волгу, в том понимании, о котором я тебе когда-то писала. И говорим мы главным образом о России, которую она каким-то чудом увезла в своей бродячей котомке. У нее все невольно устремлено *туда*, а все, что в ней звенит,— *оттуда*. Звон этот можно принять за колокольный, потому что слышится он откуда-то сверху. И она заражает этой высотой, внушает ее самой своей личностью, быть может, невольно.

Но мы много говорим и об искусстве, а на днях даже чуть не поссорились. Я сказала, что она счастливее меня, потому что для нее сама русская речь — поэзия, а я — если пятно цвета уподобить слову — невольно говорю на всеобщем языке. Она возразила, что набор слов — еще не поэзия, так же как живопись — не случайное соединение пятен. И что в нашей нищете и бесправии лучше не равняться «счастьем»...

15.I.1930. Париж.

Мой милый друг, я так давно тебе не писала. Все собиралась и откладывала, зная, что ты путешествуешь и еще не скоро вернешься. Посылаю тебе фотографии моих последних работ. О них горячо отозвался русский художник Корн, недавно приехавший из Советского Союза. Это важно для меня, бесконечно важно, и сейчас я тебе объясню — почему. Мы познакомились на выставке Матисса, и он пригласил меня в свою мастерскую. Квартирка бедная, в крошечном домике, переделанном в ателье из гаража. Он — в командировке, которую, как он надеется, удастся продлить еще на год. Его работы... Мало сказать, что они изумили меня. Ты понимаешь, это было так, как будто свет, который падал передо мной на дорогу, вдруг обратился назад, озарив все мои горестные промахи и редкие удачи. Я поняла, например, что, расставшись с иллюстративностью, которой учили меня Яковлев и Добужинский, я выиграла, потому что обратилась к цвету. Здесь Византия сыграла одновременно и отрицательную и положительную роль. Отрицательную — потому что она (вместе с Георгием) тянула меня к стилизации, а положительную — потому

что она помогла мне понять, что ларионовско-гончаровское направление — не мое. Все это стало видно вовсе не потому, что Корн шел таким же путем. И он ушел от сюжета. (Не пойми меня превратно: под «сюжетом» я вовсе не подразумеваю «содержательность». Портреты Рембрандта не менее сюжетны, чем «Утро стрелецкой казни», хотя «сюжета» в смысле «события» в них нет и следа.) Но у него все это произошло совершенно иначе, и я до сих пор не понимаю, почему, глядя на его работы, я увидела свои другими глазами. Так бывает, когда слушая музыку, думаешь о «своем», и оказывается, что «свое» — это та же музыка, которую ты все-таки слышишь. Словом, давным-давно я так не волновалась, как перед работами Корна. Они на первый взгляд сдержанны, даже холодноваты. Самое главное в них — прямота, отсутствие сложности, даже, может быть, трезвость. Но это нелегкая прямота, требующая огромной работы, как требует ее очень умная, человечная книга. После Корна мне расхотелось посылать тебе фотографии моих работ. Но все-таки посылаю.

Твою сестру Катю я помню маленькой девочкой с взрослыми, серьезными глазами. Как жаль, что ты не мог повидаться с ней в Сибири! О Сибири ты пишешь на этот раз бегло, без того воодушевления, которому я радовалась всегда, читая твои письма о поездках в Чувашию, на Кавказ, в Самарканд. Это очень странно, но у меня осталось впечатление, что ты не уехал, а сбежал в Сибирь. От кого? Напиши поскорее снова.

Я подарила Корну свою последнюю работу. Она внутренне связана с ним, и я была счастлива, когда он сам сказал мне об этом.

Париж. 1930

Накануне Елизавета Николаевна виделась с Алексеем, в котором трудно было узнать прежнего, измученного Алексея, еще таскавшего потертую офицерскую шинель, говорившего с ней терпеливым голосом (когда она приходила в отчаянье, сердилась, волновалась), страдавшего от муки безножия и всегда скрывавшего от нее что-нибудь — ревность к Георгию, неприятности, связанные с дурным отношением к нему швейцарца, управляющего имением хедива. Худое лицо его сгладилось, погрубело, потеряло открытость. Он почти не прихрамывал (ему сделали в Париже новейший удобный протез) и был сдержанно, со вкусом одет. Борьба со швейцарцем кончилась его победой, теперь он управлял имением и добился того, что Чибукли стало приносить немалый доход хедиву. Елизавета Николаевна сердечно встретилась с ним, подавив раздражение, вспыхнувшее в ней, когда он мельком, но с сожалением оглядел ее бедную комнату с тахтой, покрытой облезлым ковром. Она достаточно знала его, чтобы угадать, о чем он подумал: для него смысл жизни определялся одной главной возможностью — достижением удачи, а здесь все было на грани насущно необходимого для человеческого существования. Елизавета Николаевна не успела, а потом и не захотела убрать со стола

две вареные картофелины и кусок селедки, торчавший из газетной бумаги.

Так много воды утекло с тех пор, как они расстались в Стамбуле,— он, едва удерживаясь от слез, она, взволнованная отъездом, исполняющейся мечтой о Париже,— что разговор долго не вязался, шел ни о чем, о мелочах. Потом что-то дрогнуло в его голосе, и Елизавета Николаевна насторожилась — подумала, что он заговорит об их несостоявшемся свидании, от которого она была вынуждена отказаться. Она ошиблась. Он заговорил о другом. Помнит ли она, что уезжая в Париж, она надеялась взять взаймы у хедива 25 тысяч франков на два года? Теперь это можно устроить, он сам поговорит с хедивом,— и почти уверен, что сумеет его убедить.

Это было так неожиданно, так кстати, что все мгновенно неузнаваемо изменилось вокруг. Это было такое упавшее с неба счастье, такая ослепительная возможность спокойной, бесконечной — два года! — работы, что она не то что не поверила, а всем своим опытом полунищего существования заподозрила: нет ли здесь какого-то заднего умысла, какой-то ловушки, придуманной этим уже полузнакомым, гладким, спокойно-уверенным человеком? Но она сейчас же опомнилась. Этот человек был Алексей, в порядочности которого она никогда не сомневалась. И все-таки она еще медлила — и согласилась, лишь когда он показал ей фотографию молодой красивой женщины с прильнувшим к ней маленьким ребенком. Второй год, как Алексей женился. Она — русская, ей двадцать два года, москвичка, дочь профессора по римскому праву. Отец умер, она жила с матерью, очень бедствовала, он взял ее на работу в имение. «Я больше не мог жить один»,— сказал он, и Елизавета Николаевна сердечно поздравила его, обняла и поцеловала.

Принаряженная, оживленная, она шла теперь к Корну, жившему недалеко от нее, тоже в Клямаре. Он показал ей близкую дорогу, переулочками, приятную, потому что можно было не выходить на шумную магистраль, провонявшую парами бензина. Она уже успела привыкнуть к мысли, что получит от хедива 25 тысяч франков взаймы, и теперь весело распоряжалась в воображении этой почти невообразимой суммой: она расплатится с долгами — их, к счастью, немного,— назначит себе столько-то франков на ежедневные траты и поедет на Корсику, где жизнь втрое дешевле.

Но по мере приближения к дому, где жил Корн, мысли ее приняли другое направление. Он был глубокий художник, в его холстах Елизавета Николаевна чувствовала то, чего так не хватало ей в собственной работе: упрямство независимости, сдержанность и одновременно волнующий, тяжелый накал страстей. Он рассказывал о загадочной, болезненно незабытой родине, куда она непременно вернется, о живописи, которая там шла своими сложными и тоже загадочными для нее путями. Они условились, что он станет читать ей нечто вроде лекции после работы, а кое о чем расскажет и во время работы. Словом, знакомство было драгоценное, неоценимое. Ее огорчало только одно. Он настойчиво ухаживал за ней, добиваясь взаимности, и она не знала, как отделаться от этих ухаживаний, не обижая его.

По-видимому, ему казалось совершенно естественным, что она, одинокая тридцатисемилетняя женщина, должна принадлежать ему — почему бы и нет? — тоже еще молодому и чувствующему себя одиноко в Париже. Но после недавней встречи с Константином Павловичем, так радостно и необыкновенно изменившей их отношения, она не могла даже и представить себе близости с другим человеком, хотя бы даже он был так талантлив, так умен и привлекателен, как Корн.

Елизавета Николаевна даже немного жалела о своей прежней молодой легкости, которая позволяла ей не задумываясь решать этот, никогда не казавшийся слишком сложным, вопрос.

Но тогда Константин Павлович был другой, и любовь к нему была другая, метавшаяся, отравленная воспоминаниями о его «холодном кипятке», о внезапных, мучивших ее поворотах. Теперь все устроилось, все устоялось. Теперь она *ждала*, и этому ожиданию были светло и прочно отданы душевные силы.

Корн работал, когда она пришла, но, увидев ее из окна, сбежал по лестнице и радостно протянул ей обе руки:

— Здравствуйте. Как хорошо, что вы пришли!

Он был тощий, костлявый, в болтавшейся, запачканной красками блузе, с легкими движениями, в очках, рассеянный, быстрый. У него было одновременно и деятельно-энергичное, и усталое лицо с лысеющим лбом. Он много говорил, перебивая себя, но не путаясь, вдохновенно соглашался, вдруг неожиданно возражал и был, как однажды Елизавета Николаевна сказала ему, удивительно «однозначен», то есть никогда и ни в чем не выдавал себя ни за кого другого. Это полное отсутствие притворства сперва как раз и показалось Елизавете Николаевне притворством, но потом она поняла, что Корн так глубоко ушел в свою живопись, с такой полнотой отдал ей свои силы, что у него просто не хватило бы этих сил, чтобы хитрить или притворяться, чтобы устроить благополучную жизнь. Ему ничего больше и не осталось, как быть самим собой, и это удивляло Елизавету Николаевну и казалось ей трогательно необыкновенным.

Он любил выпить, мог часами бродить по Парижу. Но она знала, что работает он мучительно медленно, без конца возвращаясь к своим сосредоточенным, без единого пустого сантиметра, холстам.

Ее приход — Елизавета Николаевна сразу почувствовала это — был счастливой возможностью на короткое время забыть о работе и заняться другим делом, которое он тоже очень любил и которому отводил немалое место в жизни. Не прошло и десяти минут, как он попытался обнять ее. Стараясь отвести его руки, она сказала с укоризной: «Матвей Ильич»,— но он не отпустил, и пришлось вырваться силой.

— Милый Матвей Ильич, ну, пожалуйста, не надо!

— «Ну, пожалуйста» — первый сказал я.

— А кто обещал рассказать, как Малевич поссорился с Шагалом?

— Ну да, хорошо, непременно. Но я не могу рассказывать, когда мне хочется вас целовать. Можно одновременно?

— Нет. Это долго объяснять, но я, к сожалению, не могу позволить, чтобы вы меня целовали.

— Все-таки — к сожалению?

— Да. Это ничего не меняет.

У него были огорченные глаза, и Елизавету Николаевну тронуло, что он нисколько не старается скрыть огорчения. Надо было как-то помочь ему заменить неисполнившееся желание надеждой, и она заговорила о его последней, еще стоявшей на мольберте работе.

— Как все изменилось за несколько дней!

Это был уголок парка в Медоне. Лиловые пятна раскинулись на дорожках, на траве — тени, отброшенные от грубых стволов. В центре холста — угол дома с разноосвещенными окнами, одно над другим, а в стороне — маленькое темно-сиреневое строение. Неуловимо меняющийся цвет древесной коры окрашивал пейзаж. Справа этот цвет медленно переходил в зелень кустарника, а слева — грубо сталкивался с краснотой осеннего клена.

— Нравится?

— Очень.

Они долго молча смотрели на холст, и когда Корн заговорил, у него были уже другие, спокойные глаза. Она облегченно вздохнула.

Но он еще сердился на нее. Привязавшись к какому-то ее замечанию, он стал доказывать, что она вообще не умеет «смотреть».

— Я же вижу, как вы смотрите! Вы доверяете своим зрительным впечатлениям, а нужно как-то отделываться от них, и чем скорее, тем лучше. Им можно доверять, когда мы, например, обедаем, чтобы не поднести ложку к уху. А перед картиной надо искать зрительные впечатления художника, а не ваши. Вы не умеете смотреть на холст глазами того, кто его написал. Что такое пятно на холсте? Это — событие, происшествие, иногда скандал, и так далее. У Рембрандта — событие, у Гогена — скандал. Все равно. Надо его понять, а кто не умеет смотреть, тот никогда ничего не поймет, потому что ничего не увидит.

Все это было еще продолжением неловкой сцены ухаживания — то, что он разговаривал с ней, как будто она вчера взяла в руки кисть. Но вот он заговорил о «пятне» у бубнововалетцев, и сразу стало интересно. Когда-то он сам принадлежал к этой группе.

— Для меня все началось с того, что надоели мирискусники, я устал от их «тонкости вообще». У них все было «вообще», даже образованность, хотя образованность им как раз пригодилась. Они были постаревшие актеры, которым не хотелось уходить со сцены, и тогда они стали покровительствовать другим, чтобы не уйти, а сами при этом скрежетали зубами. Я лично слышал, как ваш Добужинский скрежетал, хотя при этом он был очень вежлив.

Дверь осталась открытой, и Елизавета Николаевна поняла по его скользнувшему взгляду, что ему очень хочется закрыть дверь. Он колебался, зная, что она снова начнет стыдить его, и боялся, что по мягкости характера ему снова ничего не удастся.

— Они считали, что мы обезьянничаем, и были правы, потому что действительно — куда бы мы кинулись без Сезанна или Гогена?

И потому что многие действительно остановились на подражании. А некоторые не остановились и даже перешагнули Сезанна. Конечно, тогда это было не так ясно, как теперь, и даже совсем неясно. Тогда шли ощупью и главным образом старались все отменить. Сперва литературу, потом сюжет. Лет пятнадцать тому назад я, например, писал пейзаж, а получался натюрморт. Мне нравились прозрачные предметы — стекло или вода в графине, потому что это — не предметы, а окрашенная среда. Вы когда-нибудь пробовали? Это очень полезно.

— Да.

— Покажете?

Елизавета Николаевна покачала головой.

— Нет. Это было плохо.

— Ну вот. Дальше надо было идти учиться к кубистам, а я не пошел. Одно время я писал, как кубисты, но у меня ничего не получалось, может быть, потому, что я по натуре человек общительный и мне всегда хотелось в работе спокойно разговаривать с людьми, а кубисты не разговаривали, а настаивали, кричали.

Он забыл о «Бубновом валете» и стал рассказывать о себе. К сюжету он вернулся уже в другом, цветовом значении. Например, писал весь холст в одном определенном цвете, стараясь, чтобы пространство, фактура, вся инструментовка были не только связаны, но как бы происходили из этого основного цвета. Потом стал искать «освещение цветом», и оказалось, что сюжет ничему не мешает и даже помогает, если понимать его в чисто живописном, а не в литературном смысле.

Он вышел и, вернувшись через несколько минут, закрыл дверь, не решившись все-таки накинуть крючок. Но этот крючок уже участвовал во всем, что он рассказывал, как бы заставив его раздвоиться: один Корн уже захвачен тем, что должно было непременно произойти, если он все-таки накинет крючок, а другой Корн еще рассказывал о своем отношении к супрематистам: по его мнению, каждая группа «левых» поняла революцию как победу своего направления. Шагал был комиссаром по искусству в Витебске, его ученики рисовали на всех заборах летящих вверх ногами свиней и коровок. Через два года его низложил Малевич. Малевич доказывал, что нечего возиться с изображениями каких-то предметов и фигур: подлинное революционное искусство беспредметно. Он отбил у Шагала учеников, захватил художественное училище, и Шагал должен был уехать в Москву.

В мастерской стемнело. Корн пробормотал, что надо зажечь свет, подошел к двери и накинул крючок.

— Матвей Ильич, мы же не дети,— поспешно сказала Елизавета Николаевна, когда он снова обнял ее.— Если бы я могла, я бы... Ну, просто... Раз уж вы... Но я не могу.

Он что-то говорил изменившимся, беспамятным голосом: «Ну, пожалуйста, я не хочу насильно...»

— Насильно нельзя, и вообще нельзя. Поверьте же мне! Я так дорожу нашим знакомством, а теперь мне придется...

— Почему, почему? Напротив, если б мы были близки, мы виделись бы часто, каждый день. Ну, я очень прошу вас, Лизанька. Очень!

Она снова отвела его руки. На мгновенье ей самой стало досадно, что она так холодна.

— Не могу. И объяснить не могу. Вы мне разорвете платье,— сказала она, отклоняясь.— А оно у меня одно. Есть, впрочем, другие, но это — самое лучшее. Пожалуйста, откройте дверь, чтобы не волноваться. И я вам все объясню.

Глава девятая

Париж. 1931.

Милый друг, я начала это письмо давно, еще когда мой сад, состоящий, как ты знаешь, из единственной черешни, был в цвету. Теперь она отцвела, пожелтела, ветер срывает последние листья. Я ее люблю и такой, с графическим рисунком ветвей. Плохо только, что к ней больше не приходит в гости Лариса Нестроева. Мы поссорились, должно быть навсегда, потому что она не из тех, кто возвращается, а я не из тех, кто просит вернуться. Дело началось со спора, в сущности, отвлеченного. Ей не понравился интерьер, который я пишу, и она сказала мне об этом, может быть, слишком резко. Потом мы вернулись к нашему разговору о «первоначальности» искусства, и я первая сорвалась, когда она сказала, что недаром сказано: «В начале было слово», и что в сравнении с поэзией «все зрительное — второстепенное». Я стала доказывать обратное, то есть «первоначальность» живописи, и не нашлась, когда она возразила, что на необитаемом острове художник — только Робинзон, а поэт — бог. Мы обе сильно волновались, но я сдерживалась, а она с каждой минутой становилась все холоднее и резче. Она преклоняется перед Гончаровой, я знала это и уже нарочно сказала, что как раз у Гончаровой-то и нет той первозданности, того «начала начал», которое свойственно подлинным большим мастерам. Она посмотрела на меня, точно оттолкнула,— мне холодно стало от этого взгляда,— и заметила уже почти небрежно, что между Гончаровой и мной уже та разница, что я только подхожу к искусству, а она им одержима, захвачена. Для нее иного выхода нет, а для меня — есть. И тут она беспощадно сказала о моей пирографии, о зонтиках, точно кнутом стегнула по больному месту. Я расплакалась, она тоже — и вскоре ушла, лишь наружно помирившись.

Меня потрясло ее презрение, и теперь я думаю, это была совсем не шутка, когда она сказала, что ходит в гости к моей черешне. А ведь сколько было выговорено под этой черешней! Сколько в памяти перебрано, какие счеты сведены, не между собой, а между долей мужской и женской, нерусской и русской. Так вот, не будет больше этих разговоров. И не потому мы разошлись, что ей не нравится моя живопись, а потому что мы обе — странницы, которым больше

невмоготу бродить «Христа ради». Все это — горечь душевная, отрава, месть себе, камень на шее, с которым не жить бы, а впору только броситься в воду.

Я не писала тебе, что подавала просьбу о возвращении и, к сожалению, получила отказ. Я уже после первого разговора в консульстве сомневалась, что мне удастся вернуться, но все-таки подала заявление, заручившись поддержкой руководителей Союза возвращения на родину,— ты, должно быть, слышал об этой организации, в которой кого только нет — от безграмотного вологодского мужика до бывшего министра. Отказ пришел через полгода, и я немедленно — так мне посоветовали в том же союзе — подала новое заявление. Вот так-то, родной. Теперь остается только одно: ждать тебя. В последнем письме ты упомянул, что возобновляешь хлопоты о командировке.

О моих работах ты сказал много верного, и это удивительно, если вспомнить, что я послала тебе только фотографии. Но, миленький мой, все это для меня уже не вчерашний, а третьегодняшний день! Я работаю теперь совершенно иначе... Ну, могу только «философски» объяснить: так, чтобы не я требовала от живописи все возможное и невозможное, а она — от меня. Посылаю тебе письмо, не перечитывая, чтобы не задержать.

6.I.31. Париж.

Не могу тебе передать, как ты беспокоишь меня, мой дорогой. Или ты сердишься на меня за то, что я не сразу ответила? В твоем письме есть нечто принужденное, точно ты написал его через силу. Может быть, ты просто разлюбил меня? Нет, это тебе не удалось бы утаить, странные недомолвки твоего письма относятся к чему-то совершенно другому. Мне показалось даже, что у тебя переменился почерк, и я, дура, кинулась сравнивать... Нет, твой! Умоляю тебя, напиши мне правду или, если это невозможно, хоть краешек правды, я все пойму с полуслова. Если это служебные неприятности, ради бога, не придавай им значения. Если откладывается командировка — ну что ж, нам с тобой не занимать терпения, надежды.

Что же мне, мой родной, рассказать о себе? У меня — трудная полоса. Не в материальном отношении, там — не «полоса», а вся жизнь. Хедив, с которым Алексей говорил, отказался ссудить мне 25 тысяч франков на два года. Алексей предложил свои десять, и на этот раз отказалась я. Но меня беспокоит не безденежье. Другое не дает мне покоя, о другом думаю я беспрестанно: неужели так и не удастся вернуться домой? На Волгу. К тебе.

Все это, должно быть, наивно, мой дорогой, но почему бы иногда не помечтать одинокой женщине средних лет, которая только что долго смотрелась в зеркало, стараясь угадать, «какую» ты меня любишь. Ты станешь смеяться, но прежде чем приняться за письмо к тебе, я крашу губы, подвожу глаза, с сожалением разглядываю морщинки вокруг рта и глаз. Говорят, что стареют, когда этого хотят. Неправда! Когда этого не хотят — еще больше стареют.

4.III.1931. Париж.

Я все поняла, мой дорогой. Больше ты не услышишь от меня ни единой жалобы. Мне просто захотелось помечтать, и я забыла о том, как, в сущности, безнадежно это занятие. Я буду терпелива. Я стану писать тебе о ежедневном, обыкновенном, о том, что не заставляет заглядывать ни вперед, ни назад. Ты приедешь, нет же никаких оснований предполагать, что этого не случится? И все будет хорошо.

В последнее время стоит мороз 2—4 ° ниже нуля, Париж в снегу. Для французов это бедствие, а я не могу на него наглядеться. Странно, что можно взять в руку хрупкий комок, он холодит и напоминает петербургскую зиму. Отдать бы полжизни за этот свет, через который, как говорила Нестроева, смотрятся мои картины, да некому, никто не возьмет. Впрочем, снег скоро растает. На террасах больших кафе пылают переносные печи, на перекрестках в жаровнях аппетитно дымятся каштаны, но уже открылся рынок цветов, и на тележках — фиалки, нарциссы, мимозы.

Клямар — в десяти минутах от Парижа. Через три года обещают метро, а пока приходится ездить поездом и трамваем. Домик — настоящая спичечная коробка. Две комнаты, в одной живет хозяйка, в другой — ваша покорная слуга. До меня здесь жил один знакомый художник, который всю мебель сделал своими руками — как мы когда-то с Георгием в нашем сарае. Топорно, но уютно. Тахта, на которой лежит матрац, покрытый облезшим, путешествующим со мной всю жизнь турецким ковром. Стол, два стула. Все прочее представить себе очень легко: холсты, которых становится все больше, подрамник, банки с кистями... На подоконнике стоят цветы. За окном — маленький двор, а на дворе — мое утешение — черешня. Она, конечно, изображалась не только в разных ракурсах, но во все четыре времени года.

Зарабатываю я мало, главным образом книжной иллюстрацией. Всегда что-нибудь да подвернется в последний момент. Иногда я устраиваю себе праздники. Вот вчера, например, поехала на выставку Тулуз-Лотрека. Он впервые представлен с такой небывалой полнотой, номеров пятьсот, а может быть, и больше. Живопись, пастель, гуашь, рисунки, литографии и изумительные плакаты. Какая свобода, мастерство, грация, искренность, сила! Какое заступничество за попираемого ногами, униженного, уничтоженного, затолканного человека! Что касается его «плоскостности», о которой мы с Корном много говорили... Ты знаешь, Кандинский где-то писал, что он научился, не без труда, наслаждаться далеким и даже «враждебным» ему искусством и холодно проходить мимо холстов, будто родственных ему по духу. Именно это чувство испытала я на выставке Тулуз-Лотрека.

Посылаю тебе книгу о Модильяни. Пиши, мой дорогой, поздравляю тебя с днем ангела. Пришли мне свое фото, так хочется посмотреть на тебя!

5.VII.1931. Париж.

Ты знаешь, как редко я бываю в театре, а тут вдруг собралась и пошла к Питоеву посмотреть «Три сестры». Французы пишут о «высокой поэзии, неотразимом очаровании, своеобразной прелести». И одновременно: «Это сумасшедший дом, весь народ заражен коллективной неврастенией». Вздор, конечно, и непонимание того, что литература в России — это совсем другое, чем где бы то ни было. Это — плоть от плоти интеллигенции, а наша интеллигенция — особое явление, ни на что не похожее, недаром же ни в одном языке нет даже и самого этого слова.

Она, может быть, и хотела бы стать другой, но не в силах — в этом ее и беда и утешение. Стать другой — это значит не искать правды, не заботиться о ней, не требовать от других того, что ты требуешь от себя, и т. д. Вот попробуй мысленно представить себя таким — и мгновенно в тебе сразу восстанет все передуманное, пережитое, все прочитанное, а из прочитанного на первом месте все та же русская литература, те же Толстой, Достоевский и Чехов.

Ну, полно! Я снова расфилософствовалась, а это всегда — не к добру.

Мне хочется зимой вернуться на Корсику. Для этого нужны деньги, а лето — трудное, безденежное, держусь только кредитом у соседних лавочников, которым стараюсь внушить привязанность к искусству.

Во Франции кризис спадает, но художники, пострадавшие от него в первую очередь, очень медленно восстанавливают свое положение — такая уж, видно, наша судьба.

Почему ты в последнем письме ничего не пишешь о своей командировке? Может быть, я могу помочь чем-нибудь? Ну, скажем, пойти к Шевандье?

Спасибо за книги, в особенности понравился мне «Дневник Кости Рябцева», хотя и показалось немного странным, что педагоги у вас побаиваются собственных учеников. Я вспомнила мой пансион в Перми. Нам не жилось так привольно.

Не пишу о том, как я жду тебя. Для других любовь — развлечение, украшение жизни. А для нас с тобой — рок. Только ты не можешь помешать моему одиночеству. Ведь любовь — это и есть творчество, по меньшей мере в тех преувеличениях, которые оказываются действительностью.

10.XII.1931. Париж.

Милый друг, спешу тебе написать, что я жива и — чуть не написала: здорова. Как раз — нездорова. Вот уже четвертый день лежу с гриппом, температура высокая, в голове — странная, почти приятная легкость. Впрочем, сегодня уже не очень высокая, и можно почитать, помечтать. За окном, как «сонмы маленьких княжон», плывут белые праздничные облака. Черешня моя — совсем японская, для Хокусаи.

Давно не писала тебе, но думала много. Говорят — silence fait

éloigner plus que distance[1]. Но когда я внутренне разговариваю с тобой, я путаю нас, а если бы ты получил письмо, адресованное, в сущности, самой себе, оно, пожалуй, произвело бы на тебя странное впечатление. И думаю я, милый мой, о любви.

Можно ли представить ее объективно, вне нас? Если можно, она должна быть неслыханно высокого мнения о нас. И это сказалось прежде всего в том, с какой последовательностью, как настойчиво и энергично она затрудняла нам жизнь. Едва ли не с первых дней нашего знакомства она разлучила нас и потом занималась этим в течение десятилетий. Она охраняла нас от пошлости. Мы всегда были в ее руках, и это медленно, но неуклонно учило нас нравственности, то есть, в сущности, вкусу. Она наградила нас тайной, без которой не может быть подлинной любви и которая сохраняет ее от распада. Ей не мешало то, что я была близка с другими, потому что эта близость не только не напоминала ее, но была ее противоположностью, как моя жизнь с Гордеевым или уверенность в том, что и ты был близок с другими. Она стала совсем другой, чем в молодости, и я даже знаю, когда это случилось: в тот день, который я провела у твоей постели. Она научила нас терпению — это в особенности относится ко мне, я всегда была позорно нетерпелива. Она заставила нас жить, вглядываясь друг в друга, а ведь люди вообще плохо понимают друг друга. Я много раз замечала, что мужчина и женщина, говоря на одном языке, вкладывают совершенно различный смысл в то, что они говорят. Кроме тайны любви есть еще и тайна личности, и хотя мы, кажется, не утаили друг от друга ни единого движения души — она осталась для нас почти непроницаемой. Но так и должно быть, потому что усилия проникнуть в тайну личности есть те же усилия любви. Но и это еще далеко не все. Душа засорена бог знает чем, засорялась всю жизнь и продолжает засоряться почти ежедневно. Любовь, как метла, как баба с мокрой тряпкой в руках, трудилась и трудится до седьмого пота, чтобы вымести этот сор. Мое женское дело было в том, чтобы облегчить ей этот нелегкий труд, но я — каюсь — далеко не всегда ей помогала. Так любовь очищала душу, возвращая ее к самому главному — к самопознанию, к способности внутреннего взгляда, без которого смысл жизни уходит между пальцами, как песок. Здесь у нее было верное, испытанное, сильное средство — страдание, которое я всегда от души ненавидела и ненавижу. Ты долго старался обойти его, не замечая, что это значило обойти и меня. Ты как будто надеялся, что времени удастся обогнать нашу любовь и она уйдет в прошлое. Этого не случилось, потому что она оказалась сильнее всего, что может с нами случиться.

Но и это еще не все, мой дорогой. Она не только перестроила нас, она не только постоянно была камертоном, к которому мы невольно прислушивались, хотели мы этого или нет. Она искала и нашла себя в искусстве. Не знаю, многое ли мне удалось, останется ли что-нибудь в живописи после моей смерти, найдется ли для меня хотя бы крошечное самостоятельное место? Но с тех пор, как я поняла, что пишу

---

[1] Молчание отдаляет больше, чем расстояние *(фр.)*.

свое, каждый новый холст — хотя бы это был натюрморт с репой и капустой — внутренне был связан с нашей любовью. Не потому, разумеется, что я пишу для тебя, а потому, что искусство не только не мешает любви, а, напротив, стремится выразить ее образ.

Вот тебе целый трактат о любви, как я ее понимаю. Но не думай, что я подвожу итоги. Ничуть не бывало! Я жду тебя. Сам знаешь, как! Напиши мне, мой дорогой, поскорее.

12.I.32. Париж.

У меня ничего нового, мой дорогой, за одним счастливым исключением: на прошлой неделе к моей «спичечной коробке» подъехала машина, из которой вылезла прелестная молодая женщина — мой маршан, представь себе, послал ее ко мне. А у меня по всей комнате развешано белье, пахнет кухней, я — черт знает в чем и т. д. Говорили мы под отчаянный лай Джима, хозяйского сеттера. Она — полурусская-полугрузинка, живет в Праге. Муж ее едва ли что не министр, а она — историк живописи, собирает коллекцию и хвасталась мне (впрочем, очень мило), что у нее уже есть Ларионов, Шагал и Сутин. Я, конечно, только развела руками, услышав эти имена, но она, к моему изумлению, выбрала два холста (которые мне совсем не хотелось продавать) и уехала, оставив свою визитную карточку. Фамилия у нее самая русская: Нелединская-Мелецкая,— помнится, был такой поэт в допушкинское время. Ты ведь знаешь, я не завистлива. Но тут позавидовала — и аристократической простоте, и женской прелести, которая ничуть не мешает ей понимать живопись и говорить о ней свободно и тонко. Еще два-три таких визита, и у меня наберется денег для Корсики, по которой я очень скучаю. Лючия зовет меня к себе, но она сама еле-еле сводит концы с концами. Там дни долгие, спокойные. А здесь не оглянешься — и ночь.

Посылаю тебе занятный газетный отзыв о Ван Донгене, одном из кумиров Парижа.

А вот Надю мне жаль. Я думаю, что ты к ней несправедлив, я знаю, ты ведь бываешь жестокий. Есть две ревности: одна — ложь самому себе, своему сердцу, другая — ложь в других. Мне кажется, что ты нарочно обманывал себя, чтобы расстаться с ней.

По-прежнему бываю у Корна, который работает сейчас над портретом мальчика, сына консьержки: горбоносый, тоненький, вот-вот переломится, с вытянувшимся, очень узким лицом. Я вспомнила Шамиссо с его убежавшей тенью, то есть не Шамиссо, а именно эту тень. Брови вздернуты. И ждет, и рвется куда-то.

Не беспокойся обо мне, мой родной. Все будет хорошо. Помнишь, я прислала тебе заговор?

Полюбив меня, помни меня,
Встанет ли солнце, помни меня.

Тогда я заклинала. А теперь просто верю.

В этом письме нашелся адрес Нелединской-Мелецкой. Впоследствии она читала курс истории искусств в Карловом университете.

Ее собрание poussés — восковых портретов, заменявших в XVIII веке фотографии, — считается одним из лучших в мире. В маленькой отборной коллекции картин, состоящей из русских художников, сохранилась одна работа Тураевой.

Она называется «Малярия в Порто-Веккьо». Синий треугольник неба тяжело ниспадал к другому треугольнику, состоящему из пристани, бухты и набережной, на которой тревожными поблекшими пятнами застыли редкие фигурки людей. Небо было написано так, что оно, казалось, сейчас упадет на Порто-Веккьо. Это было не небо, а твердь небесная, написанная беспощадными, неумолимыми, мерцающими, раскаленными сиреневo-серыми тонами. А внизу медленно плыла твердь земная, как бы охваченная лихорадочным бредом. Зернистый свет горел в глубине картины, и пустота набережной, пристани была полна этим тревожным светом.

20.I.32. Париж.

...Как никогда важен теперь для меня «собеседник», тот, кто увидит мою работу в России и кому она передаст мои мысли и чувства. Мне страшно, что я притащу на родину свое грешное «тело», свои страдания, свои неосуществившиеся стремления, свои пристрастия и пороки... Борьба между душевной жизнью и действительностью, в которой я провела долгие годы, глубоко изменила меня. Я выработалась, как собственный двойник, я не та, какой могла бы стать, если бы у меня была другая жизнь. Все, что я видела до сих пор и переносила на полотно, было предопределено моим двойником, моим зеркальным отражением. Вот откуда эта жажда одиночества, эта мысль, что так и должно быть, что я могу обходиться без чужого лица, без постороннего взгляда. От беспредметности до одиночества — один шаг. «Я вижу так, а больше мне ни до кого нет дела». И только поняв это, я снова стала искать возможность разговора с людьми. Для этого надо было поставить центр тяготения вне себя, вырваться из одиночества, убить в себе «двойника». Нельзя найти свое лицо, не переключая себя на других. Это вовсе не значит — перешагнуть через самого себя. Напротив, это значит овладеть собой — и это сделал Корн. Достигну ли я когда-нибудь полной власти над собой — не знаю. Тогда люди увидят мои холсты, и среди людей отберутся те, которых я заслужила.

Боюсь, что эти размышления покажутся тебе, в свою очередь, беспредметными, мой дорогой. Какое несчастье, какая беда, что я не могу поговорить с тобой не в письмах, не беззвучно, а во весь голос, перед холстами. Но ведь нельзя же представить себе, что мы никогда не увидимся. Это было бы...

Москва, 2 марта 1932 года.

Уважаемая Елизавета Николаевна!

Пишу Вам по просьбе Константина Павловича Карновского. Он находится в больнице им. Боткина (седьмой корпус, четвертая палата), и, хотя состояние его здоровья улучшается, однако ему еще

надолго — может быть, на полгода — запрещена всякая умственная работа, даже чтение. Заболевание его очень редкое, называется арахноидит, а по-русски — воспаление паутинной оболочки мозга. Иногда оно является следствием травмы, но чаще — самого обыкновенного гриппа. Константин Павлович недавно перенес грипп, так что у меня причина его болезни не вызывает сомнений. Он часто спрашивает — нет ли для него писем, но лишь сегодня сообщил мне Ваш адрес и попросил передать, чтобы Вы не волновались, если некоторое время от него не будет известий. Но Вас он просит писать, как прежде, на его домашний адрес, откуда письма будет доставлять сосед по квартире. И я со своей стороны прошу Вас писать ему обычные письма, то есть такие, как если бы ничего особенного не случилось. Это может сыграть известную роль в его выздоровлении. Со своей стороны я буду время от времени сообщать Вам о его положении.

Желаю Вам всего хорошего.

Доктор Л. Безбородов.

20.III.32. Париж.

Костенька, я получила сегодня письмо от твоего врача, очень меня огорчившее. Конечно, я буду писать тебе, мой дорогой, а ты ответишь мне, когда поправишься, на все мои письма сразу. А пока спешу тебе сообщить, что на днях я встретилась с Бернштейном, помнишь, я тебе писала о нем? Я рассказала ему о своих хлопотах, и он был так добр, что отправился в консульство вместе со мной. Ответа из Москвы еще нет, но разговор был совсем другой, обнадеживающий. Бернштейн думает, что за дело следует взяться иначе: надо, чтобы за меня поручился или, по меньшей мере, прислал рекомендательное письмо кто-нибудь из видных советских деятелей — писатель или художник. Он знаком с А. Н. Толстым и обещал мне поговорить с ним по возвращении. Я теперь все думаю, как бы мне послать Толстому в подарок что-нибудь из моих работ. Да страшно, а вдруг не понравится! Мне кажется, что ему должны нравиться «мирискусники» — ведь его проза в этом духе, не правда ли? Тогда лучше, пожалуй, не посылать. Так или иначе, я верю, что все будет хорошо! Мы увидимся, увидимся непременно! Но я тебя умоляю, не торопи свое выздоровление. Я по себе знаю, как важно найти душевные силы, чтобы оставить себя в покое.

Обнимаю тебя. Скоро напишу снова.

Париж.

Пока у меня ничего нового, мой родной, если не считать неожиданного, во всех отношениях, предложения — сделать фрески в шато одного богатого архитектора, очень симпатичного человека. Ты знаешь, я не робкого десятка, но тут долго сомневалась, прежде чем дать согласие. Правда, я предупредила заказчика, что технику знаю только теоретически. Ты, без сомнения, представляешь себе в общих

чертах, что такое фрески. Тут многое зависит от штукатура, который готовит стену. Удалось найти очень опытного, но оказалось, что это и хорошо, и плохо. Пришлось мне самой взяться за дело, то есть он стал работать по моим указаниям. Конечно, дня не проходило без спора. То, что я говорила, шло вразрез с его опытом, он настаивал на своем и, когда меня не было, не раз портил работу. Никак не мог понять, что надо каждый раз перед работой класть грунт и писать по сырому, потому что, как только грунт высыхает, он уже не вбирает краску. Подбор красок тоже очень сложен, приходится пользоваться подкладочными тонами, усиливающими прочность и светосилу. Словом, это новая и очень интересная работа, о которой я мечтала еще в Стамбуле, копируя мозаики Кахрие-Джами. И наконец, что тоже весьма существенно, я получила солидный аванс, а когда работа будет закончена, совсем разбогатею. Не только расплачусь с долгами, но смогу спокойно работать по меньшей мере месяца три-четыре.

Вот так-то, мой родной. Все складывается хорошо. Я снова виделась с Бернштейном, и он сказал, что почти не сомневается в благоприятном ответе...

(Письмо не датировано)

Перед зеркалом

Не она, а Гордеев получил заказ от богатого архитектора, и все, что она написала о фресках, ей рассказал накануне Гордеев. Она действительно встретила Бернштейна на улице, и разговор о возвращении был, но это был совсем не обнадеживающий, а скорее обескураживающий разговор, хотя этот благожелательный человек искренне сочувствовал ей и обдумывал вместе с ней все возможности возвращения. Но она не была с ним в консульстве, и не только не была, а не посмела даже попросить его поехать с ней. Она понимала, что, несмотря на всю его благожелательность, он вряд ли сумеет ей помочь.

Он действительно был знаком с Алексеем Толстым, но не предлагал и не мог предложить Елизавете Николаевне обратиться к нему, потому что Толстой не стал бы хлопотать за незнакомого человека. Бернштейн назвал его как пример — «вот если бы такой человек, как Толстой...». Но среди ее русских друзей и знакомых не было такого человека.

У нее давно разладились отношения с Машей Снеговой, но все же она поехала к ней, вспомнив, что среди друзей ее мужа есть врач-невропатолог. Встреча состоялась, и врач сказал, что трудно что-либо посоветовать, не видя больного.

Елизавета Николаевна вернулась к себе, измученная, полумертвая. Хозяйка пришла, чтобы напомнить о долге, и раскричалась, показывая длинные желтые зубы...

Она писала Константину Павловичу чаще, чем прежде, и хотя это было трудно — притворяться, что ничего не случилось, как ее попросил об этом доктор Безбородов,— она притворялась. Когда-

нибудь он прочтет ее письма и узнает, как она естественно, разумно лгала. Все устроилось: она задолжала за квартиру, но хозяйка — добрая женщина — охотно согласилась подождать, а потом, когда Елизавета Николаевна написала ее портрет, приняла его в счет долга. В Клямаре сейчас хорошо, цветут яблони, сливы и груши. Должно быть, весна загоняет в ее домик поэтов, на днях Маша приехала с молодым итальянцем, который, по ее словам, пишет почти как Д'Аннунцио. Она показала Матиссу последние работы, и он поздравил ее и сказал, что поговорит о выставке с маршаном.

Маша действительно приезжала с итальянцем, и он читал плохие стихи. Клямар был розовый и белый от яблонь и груш. Матисс действительно очень хвалил ее картины. Но выставить надо было не меньше 50—60 холстов, каждая тоненькая посеребренная рамка стоила очень дорого, а маршан сказал, что он готов рискнуть, но с условием — если где-нибудь, например, в «Les Echos d'Art», о ней появится статья или хотя бы заметка.

Теперь у нее было два существования. Одно — выдуманное, благополучное, в котором сбывалось все, на что она давно перестала надеяться. И второе — подлинное, голодное, спотыкающееся, в котором была одна опора — работа.

В молодости, когда жажда новизны окрашивала и оправдывала ее жизнь в Турции, во Франции, на Корсике, ее почти не мучила ностальгия. Константин Павлович был для нее Россией. Теперь, когда ее письма оставались без ответа, она чувствовала себя наказанной за то, что уехала, и неотвратимо, безнадежно одинокой.

После того как Елизавета Николаевна разошлась с Гордеевым, у нее образовался новый круг знакомых. Хозяйка прислала судебного исполнителя, маленького грозно-добродушного старика с пышными седыми усами, он ушел очарованный, взяв с нее обещание, что она напишет семейный портрет,— и по воскресеньям она стала бывать в шумном, любознательном, беспечном, истинно французском доме. То и дело к ней приезжали корсиканцы, с которыми надо было и приятно было возиться. Дух легкости, неунывания поддерживался, хотя ее решение — отказаться или почти отказаться от того, чем она прежде зарабатывала на жизнь: от зонтичных ручек, раскраски тканей, портретов на заказ — было, по мнению всех ее друзей, настоящим безумием. Но это решение было связано с другим, очень важным. Она не хотела вернуться на родину — если произойдет это чудо — с пустыми руками. Конечно, она все равно не могла не работать. Внутренняя необходимость, которую она не замечала, как не замечают необходимости дышать, заставляла ее писать каждую минуту, свободную от других необходимостей — есть, спать, заботиться об одежде. Но прежде эта главная необходимость была связана с надеждой на возвращение, а теперь надежда была подорвана.

Это-то она и писала, иногда бессознательно и опоминаясь лишь, когда очередной холст подходил к концу. Она написала интерьер, стену и дверь ее мастерской — и это была грустная, плотно закрытая дверь, захлопнувшаяся перед ней и оставшаяся темной, несмотря на красновато-искрящийся свет, скользящий откуда-то с невидимой

высоты и загорающийся, когда холст освещал естественный, солнечный свет.

Другой интерьер, маленький деревянный стол в углу,— она работала над ним два месяца,— был портретом очень одинокого стола, терпеливого, сжавшегося, притерпевшегося, слепо смотрящего на бесчисленные светлые пятнышки, из которых составлялось медленно опускавшееся к нему разноцветное мерцание.

Она не думала, понравятся ли кому-нибудь эти холсты, так же как не думала больше, понравится ли кому-нибудь она сама — с ненакрашенными губами, в платьях, вышедших из моды, постриженная почти по-мужски, что ей, кажется, совсем не шло. Равнодушие к чужому мнению не мешало, а может быть, даже помогало делу.

Елизавета Николаевна не знала, откуда взялась уверенность в том, что она не может работать иначе. Это была уверенность бессознательная, возможно даже, что ей не удалось бы выразить то, что она думает о своей живописи, в разговоре или на бумаге. Но то, чем стала для нее работа, она легко могла рассказать.

Работа была теперь для нее все усиливающейся догадкой, что нищая жизнь, и ностальгия, и сны о России, и письма Константину Павловичу, в которых она все лгала о себе, нужны для того, чтобы были написаны эти холсты. Работа была пониманием того, что ей не все равно, где быть одинокой, и невозможностью изменить что-нибудь в этом одиночестве.

Работа была опытом прежней жизни, в которой само собой отбиралось то, что важно для живописи,— памятный летний вечер в Симбирске, когда красновато-холодный свет заката потемнел, становясь теплее, добрее, и каждый цвет зазвенел отдельно — голубой, зеленый, фисташковый, белый. И другой вечер, в Олеизе, когда перед ней вдруг открылся хребет Яйлы, го́ры, которые она видела ежедневно из своего окна — видела и не понимала. Одна была покрыта лиственным лесом. Зимой, в прозрачности высоты, она выглядела как будто припорошенной пеплом. Этот легкий, почти бесцветный пепел смягчал краски, и, чтобы увидеть всю гору сразу, надо было сосредоточиться на самых ярких купах. Среди них были чуть тронутые розовым, были блеклозеленые. Сильнее других по цвету были темные, облетевшие, с четким, грозным рисунком ветвей. Налево от этой курчавой горы была другая, с безлесной, травянистой, ровно-зеленой верхушкой, на которой лежал полосками снег. А в глубине была видна третья, по которой круто вилась до самой вершины дорога снега, и купол тускло и страшно блестел под голой луной.

Никогда прежде она не чувствовала с такой остротой самый материал живописи — деревянные кресты подрамников, кисти, упрямую, тупую белизну холста — и связанное со всей этой вещественностью блаженное оцепенение работы.

Бернштейн подарил ей альбом «Палехские мастера», и она написала Константину Павловичу: «С трепетом слежу за жизнью в России. Какой подъем! Какая сила, упорство и терпение!»

В Клямаре, в маленьком домике из двух комнат, выходившем в переулочек между других домов, а уже потом на улицу — зеленую

летом,— жизнь казалась забежавшей с шумной дороги, присевшей отдохнуть и принявшейся за неустанную, неотвратимую работу. Жизнь шла, как паровичок по бульвару Сен-Мишель, ночами перевозивший овощи на Большой рынок. Она слышала его осторожное — чтобы никого не разбудить — попыхиванье в ту ночь, которую она провела у Константина Павловича, лежавшего в малярии.

Кризис кончился, продукты стали дешевле, деньги — дороже. Сперва решительно отказавшись от помощи Гордеева, она все-таки брала у него взаймы, возмещая долги работой в его артели. Маршан иногда присылал покупателей.

Мясничиха сделалась коллекционершей ее картин, среди которых были две или три хороших. Мясо, полученное в обмен на холсты, Елизавета Николаевна продавала на рынке.

Жизнь шла незаписанная, неназванная. Прошлое стало осязательно прошлым. Еще более осязательным было настоящее с его ощущением независимости, ни перед кем невиновности, никому и ни в чем неодолженности.

Переписка с Константином Павловичем была для нее зеркалом, в которое она смотрелась всю жизнь, с шестнадцати лет. Когда она жила в России, это были письма о том, что происходило в ней и с нею, о людях, с которыми она встречалась, о книгах, которые она читала, о музыке, живописи, любви. Потом этот круг стал теснее, мечта о свидании казалась почти безнадежной, и Елизавета Николаевна впервые попросила его не писать о любви: «Не заставляй меня лежать ночью, рядом с мужем, с открытыми глазами».

Потом, в Париже, когда можно было писать обо всем, она поняла, что ни ему, ни ей нельзя писать обо всем. Круг стал еще меньше — теперь она смотрелась в зеркало, подчас не узнавая себя. Разлука научила ее любви — не той раскалывающей, кидающей из стороны в сторону, непроглядной, а чистой, подлинной, прячущейся, скрытой. И хотя теперь можно было сколько угодно писать о любви — круг продолжал сжиматься, как сжимается душа от незаслуженного унижения.

Были дни, когда ей становилось легко, она сама не знала, откуда бралась эта легкость. Может быть, от ощущения чистоты, соединявшегося с полной душевной занятостью, от ощущения, что не работа теперь принадлежит ей, а она — работе.

Она похудела, подурнела. Она почти не бывала у Корна, и наконец он, рассердившись, сам пришел к ней и потребовал, чтобы она показала ему последние холсты. Длинный, худой, в грязной холщовой блузе, он долго мрачно ходил по мастерской, а потом, тоже мрачно, сказал, что она стала работать самостоятельно, смело. И он, как Матисс, заговорил о выставке:

— Вы — женщина, а женщинам нужен триумф.

Елизавета Николаевна слушала и думала, что, разговаривая с ней, он больше не косится на дверь и не надеется, что она позволит ему накинуть крючок.

Из Парижа надо было уехать не только потому, что на Корсике остались холсты, необходимые для выставки (состоится она или нет),

но еще и потому, что она сильно кашляла: очевидно, с легкими снова было неблагополучно. К доктору она не пошла, а Гордееву, который, заглянул к ней и ужаснулся, напомнила, что однажды он ее уже похоронил и что завещание (согласно которому он получит ее скелет) остается в силе.

За зиму ей удалось расплатиться с долгами. Она списалась с Лючией. Бонифачийский дурачок Жозеф уже искал для нее комнату и предлагал на первое время свою.

Бонифачо.

Костенька, я живу пока у своей Лючии в счастливом одиночестве, вдали от суеты и забот Парижа. Нигде мне не работается так хорошо, как здесь. Рыбаки заходят, рассказывают об охоте, о бандитах. Говорят они на испорченном итальянском, я их понимаю, они меня — нет, но это ничуть не мешает нашим беседам. К моей живописи они относятся с уважением, и заработать здесь ничего не стоит. Я сделала несколько детских портретов и обеспечила себя работой на месяц. Читаю по вечерам длиннейший роман Марселя Пруста «В поисках утерянного времени». Главный герой, в сущности,— память. Действие происходит в глубине душевного мира.

Ну, что тебе еще написать? К ужасу Лючии (бонифачийцы начинают купаться в июне), каждое утро я набираюсь храбрости и лезу в море. Вода еще очень холодная. Песок — цветной, самоцветные камушки, ракушки, выточенные морем, и среди них маленькие кораллы, которые я собираю и тащу домой пригоршнями.

Словом, все хорошо, кроме холодного ветра и слишком большой общительности бонифачийцев, от которой я иногда устаю. Пишу на солнце, и письмо пропитано солнцем и соленым корсиканским ветром. До свиданья, до следующего письма.

Твоя Лиза.

(Письмо не датировано)

В клинике

С ним разговаривали чуть слышно, почти не шевеля губами,— обыкновенный звук обыкновенного человеческого голоса казался ему оглушительным, разрывающим уши. Еще когда он лежал в приемном покое и дежурный врач советовался с кем-то по телефону, он слышал не только то, что говорил врач, но и то, что ему отвечали.

Теперь, в Боткинской, ему казалось, что до него доносится весь грохот перестраивающейся Москвы, на улицах которой стояли еще невиданные машины, вываливавшие из своих совков тяжелую каменную кашу.

Нельзя было ни читать, ни писать, ни вырезать ножницами фигурки из газетной бумаги. Нельзя было не потому, что врачи запрещали ему делать то, что ему хотелось, а потому, что ему ничего не хотелось.

Были часы и даже дни ясного сознания. Был досуг, навалившийся на него, отодвинув пухлой рукой все на свете: чтение лекций, занятия с аспирантами, общественную работу в МВТУ, гранки его новой книги, на которые он даже не взглянул, хотя издательство торопило его и он сам с нетерпением ждал выхода книги. Досуг понадобился ему для другого. Он вспоминал свое детство.

На дверях маленького дощатого чуланчика, отгороженного от чердака, он повесил надпись: «Мастер фокусов и портниха». Ему было девять лет, сестре — семь. Он устраивал фокусы, а она шила из лоскутков платья для кукол. Любимый фокус назывался «Молния-лилипут». Он крепко натирал щеткой плотный лист бумаги и, поставив на два стакана металлический поднос, прикрывал его этим листом, осторожно держа его за подклеенные полоски. Потом со двора приглашались зрители, Костя приподнимал лист и предлагал любому из них на полвершка приблизить палец к подносу. Слегка укалывая палец, из подноса вылетала искра, которая была видна даже днем.

Потом отец запретил ему показывать фокус, потому что один из стаканов разбился. И искра, возникшая из неизвестности, из пустоты, погасла, исчезла...

Как-то, прислушиваясь к разговорам взрослых, он запомнил поразившее его выражение: «точка зрения». Бабушка Матрена Вавиловна иногда увозила его с собой в Плетени. На втором этаже ее маленького домика жил столяр Михей Михеевич, который в свободное время делал шкатулки, вырезая кленовые листочки на их полированных крышках... «Точка зрения? — переспросил он и повел Костю на соседнюю Екатерининскую улицу, по которой ходила конка.— Видишь, как рельсы сближаются? — спросил он.— Где они сойдутся, вот там, братец ты мой, и будет точка зрения. Понятно?»

Костя сказал, что понятно.

Бонифачо.

Завтра еду в горы, в экипаже, с одной молодой художницей, француженкой, в которую влюблены все в Бонифачо, даже я. Очень хороша, любит одеваться, танцевать, выходит замуж за какого-то графа. Кокетничает даже со мной, но все прощаешь ей за женственность и грацию — удивительно сложена! Одна беда: уговорила меня позировать ей — пишет меня в кухне, где я чищу овощи и рыбу. Голландский (!) стиль. Жалко времени, но: «Оно все равно ушло бы на приготовление обеда!» Нечего возразить!

В горах мы с ней будем писать оливы. Помнишь, я писала тебе о библейской оливковой роще в Олеизе? Я буду работать, думая о нас.

Сегодня шторм, море иссиня-черное, пейзаж Апокалипсиса — и этот цвет каким-то чудом проникает всюду. Мне как раз и хочется передать это чудо, хотя я пишу скромный интерьер — дверь, полураскрытую в комнату Лючии.

Обнимаю тебя, мой родной. Надеюсь, что вскоре я получу от тебя хоть несколько слов.

Твоя Лиза.

(Письмо не датировано)

Карновский не выносил перекрестного разговора, и это осталось надолго, так же, как мельканье кино, мгновенно доводящее до полубессознательного состояния. В палате он лежал с одним старым архитектором, деликатным, скромным человеком, как-то проговорившимся, что он-то и строил тот седьмой корпус, в котором они лежали, так же как некоторые другие здания Боткинской больницы. Но к соседу приходили жена и дочь, и хотя они говорили вполголоса — Константин Павлович лежал, заткнув уши, покрывшись с головой одеялом, и думал только о том, как бы не встать и не трахнуть — все равно кого — настольной лампой. Но вот они уходили, и он думал, думал...

Когда он в первый раз поехал в Париж, он искал лучшего в жизни, хотя и без этой поездки жизнь, пусть утомительная, нелегкая, была полна. Почти полна. Как же случилось, что не Париж, не успех его доклада в Сорбонне, не отзыв Шевандье, закрепивший все дальнейшее движение работы, оказались для него самым важным в Париже? Самым важным оказалась Лиза, встреча с ней, значение того, что они по-прежнему любят друг друга. Стало быть, для него было мало уверенности в том, что он нужен друзьям, знакомым, кафедре, студентам, надежды на то, что он много сделал и еще больше сделает в науке?

Да. Ему нужен был еще и Мениль, когда, проснувшись, он увидел ее, пробежавшую по двору, в халате, с мелькнувшими стройными ногами. И разговор в кафе, когда Гордеев оставил их вдвоем.

— Приду. Я знаю твой отель.

— Когда?

И потом:

— Он не умеет читать по губам?

— Нет. Кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения.

Что же случилось с ним после той встречи в Париже? Случилось, что она, со всей своей беспомощностью, беззащитностью, оказалась его защитой. Защитой? От кого? Разве он нуждался в защите?

В конце второго месяца ему разрешили смотреть картинки. Кто-то из друзей принес «Ниву» за 1916 год, и он настоял на разрешении, хотя толстый том неудобно было перелистывать лежа. Торжественное молебствие в присутствии императора перед открытием Государственной думы. Раздача куличей на позициях. Иконы, иконы, картины на религиозные темы. Шляпы с вуальками, палантины с хвостами. Бороды, бороды. Резинка «Слон». «Синий журнал»». Жанна Гренье предлагает всем желающим увеличить свой бюст с помощью признанного всем миром средства. Впечатление устоявшейся, несмотря на войну, непоколебимой жизни.

Карновский вспомнил, как в 1916 году в Петрограде по Невскому шли войска, и они с Лизой больше двух часов не могли перейти на другую сторону. Бравые, подтянутые, в папахах, в аккуратных шинелях.

— Неужели все это может когда-нибудь рухнуть? — спросил Карновский, и Лиза ответила:

— Через пятьдесят лет.

Через три месяца рухнуло, как карточный домик.

Прошла еще неделя, и Константину Павловичу разрешили читать десять минут в день. Потом — двадцать. Еще неделя — тридцать.

Бонифачо.

Дорогой мой, одновременно с этим письмом посылаю тебе все, что соответствует почтовому размеру. Избушка, которая мне не удалась (на обратной стороне),— очень занятная, врезана в валуны и напоминает что-то русское, камское.

На днях кончила большой заказной портрет девицы из того неприличного домика, в котором когда-то жили мы с Гордеевым. Она совсем не похожа на парижских petites poules[1]. Смуглота, красота, острота — того и гляди, зарежет. Плохо только, что эта Кармен хотела, чтобы я изобразила ее Мадонной.

В мае я решила отдохнуть — и отдохнула бы, если бы Лючия не получила в подарок маленького (двухмесячного) ирландского сеттера, которому надо варить кашку и водить на прогулки. Вообще у нас сейчас «диктатура зверей». Мой Прокофий является по утрам изодранный, на винограднике толпа ослов ухаживает за ослихами Лючии. Мы с ней только и занимаемся тем, что выгоняем чужих ослов и разыскиваем своих. Мне надоел этот звериный быт, и я решила побродить с акварелью по Корсике. Съезжу в Сьерру к родственникам Лючии, потом, может быть, еще куда-нибудь...

Перечитала письмо и спохватилась, что пишу тебе о всякой чепухе. Извини, мой милый. Между тем на деле я настроена очень серьезно. Осенью — выставка, и я думаю о ней со смешанным чувством отчаянья и надежды.

Я продолжаю подбирать для тебя книги, ведь тебе, я надеюсь, вскоре разрешат читать. Две книги Жоржа Дюамеля — хорошие, а Моруа — о Шелли. Жизнь здесь стала беднее, крестьяне уезжают во Францию, на заводы, бесценные рощи изводят на топливо... Обнимаю, жду хороших известий.

Твоя Лиза.

(Письмо не датировано)

Москва. 1932

Константин Павлович не только не был измучен болезнью, но вышел из клиники в состоянии незаметно развивавшегося и наконец укрепившегося душевного подъема. Он вернулся к работе в МВТУ и охотно принял предложение поехать в Магнитогорск с поручением, хотя и далеким от той области математики, которой он занимался, но

[1] Курочек (прозвище проституток) *(фр.)*.

именно поэтому особенно для него интересным. Поездка удалась. Вернувшись в Москву, он установил, что его расчеты имеют более широкое значение, чем он предполагал, и могут пригодиться для других крупных строительств. На Челябинский тракторный с этими расчетами поехал его ассистент.

Он прочитал последние письма Лизы и хотя догадывался, что она нарочно смягчает теневые стороны ее жизни, однако поверил главному, то есть тому, что она здорова, не бедствует и с надеждой смотрит на свое возвращение в Советский Союз. Она не ждала его приезда, ей и в голову не приходило, что, оправившись, он прежде всего снова займется вопросом о своей командировке. Между тем это было именно так.

Еще в клинике, выздоравливая, он обдумал свои прежние хлопоты и решил, что сам был виноват в том, что они не удались. Вместо того чтобы обойти трудности, выждать, он торопился и действовал прямолинейно, не стараясь справиться с нарастающим душевным напряжением. Две первые командировки устроились легко, потому что время было другое и совет МВТУ, пославший его в Париж, был другой. Теперь прежнее направление, согласно которому считалось полезным посылать за границу ученых, не играло значительной роли, ездили реже, а полагаться на содействие Шевандье и вовсе не приходилось. Теперь дело было не в учреждениях, как прежде, а в людях. Это касалось и другой, более сложной задачи — возвращения Лизы в Советский Союз. Для него было ясно, что все ее попытки заранее обречены на неудачу: без влиятельного поручительства ей не разрешат вернуться.

Ему показалось немного странным, что скульптор Бернштейн, с которым он встретился в Москве, сказал, что он вовсе не советовал Лизе обратиться к А. Н. Толстому.

— Видимо, она спутала меня с кем-то другим. И даже несомненно спутала, если сообщила вам, что я вскоре снова собираюсь в Париж.

Бернштейн понравился Константину Павловичу. Это был трезво-благожелательный человек, отзывавшийся о Лизе с глубокой симпатией. Но толку от этой встречи было мало. И без Бернштейна он понимал, что наряду с обычными хлопотами необходимо заняться совсем другими, в которых главную роль должен сыграть чей-то двухминутный телефонный звонок.

У него была надежда, что хлопотать согласится Арденс. У них были одновременно и далекие и близкие отношения. Далекие потому, что они встречались у Грузинова два-три раза в году, а близкие потому, что Арденс был одним из немногих математиков, которые интересовались работами Константина Павловича и понимали их перспективное значение. После одной из статей Карновского проблемы, которыми они занимались, внезапно сблизились — и он получил от Арденса шутливую поздравительную телеграмму. Возможно, что еще до разговора с Арденсом необходимо было многое уточнить, разузнать, подготовить. Решившись наконец позвонить Арденсу, он после понял, что никакие предварительные хлопоты не нужны. Арденс сказал, что командировку можно устроить, хотя и с трудом. Тут же он прикинул —

кто в Наркоминделе может «поднять бумаги». После похода «Сибирякова», в котором он принимал участие и о котором говорил весь мир, могли помочь многие. Из них он выбрал тех, кто не только мог, но и захотел бы помочь. Что касается возвращения Лизы в Советский Союз, Арденс думал, что не следует «муссировать», как он выразился, этот вопрос.

— Будем надеяться, что придет время...

После болезни Константин Павлович редко встречался с друзьями. В том, как они держались с ним, ему все чудилось сожаление. Он полюбил вечерние разъезды по Москве. Шестой автобус пересекал Каланчовку, на которой начиналось строительство метро. Огромная земляника, составленная из лампочек, висела над Северным вокзалом, электрические цветы украшали вагонетку, везущую багаж,— ему нравились эти цветы, эта старомодная, декадентская земляника. Автобус пробегал под виадуком, огибал загороженную Мясницкую, уходил в широкий пролет, образовавшийся на месте снесенных Красных ворот...

...Он думал о том, что близость с Лизой уже не существовала отдельно, как это случалось прежде, а стала частью их общей жизни. В их неразрывно скрестившемся прошлом за каждый ложный шаг в ее жизни отвечает он, он один.

...Не было Иверских, Тверская скатывалась прямо на Красную площадь. Минин и Пожарский стояли теперь у Василия Блаженного. На площади Дзержинского не было привычного фонтана.

«Что такое теперь Москва? — спрашивала его Лиза.— А извозчики еще есть? Я не могу представить себе Москву без извозчиков!»

Извозчики еще были — в ямщицких полуцилиндрах, на колясках с лакированными крыльями, с длинным, торчащим у козел кнутом. У них был лихой, упрямый, обреченный вид.

«В Казани я купил ей тюбетейку и расшитые бархатные татарские туфли. Почему я так мало дарил ей всегда?»

И он вспоминал, как они провели весь день в Раифской пу́стыни под Казанью, пошли купаться, их застал слепой дождь, они спрятали одежду под кустарниками и бросились в озеро. Он кричал Лизе, которая далеко заплыла, чтобы она вернулась, и не слышал себя в шлепанье круглых капель, вылетавших фонтанчиком из потемневшей воды. Он не догнал ее, поднял руки: «Сдаюсь!» — и она поплыла обратно, с мокрыми распустившимися косами, с блестящим, мокрым, милым лицом. Константин Павлович хотел обнять ее, она выскользнула, смеясь...

Потом, когда дождь перестал и оказалось, что ее платье все-таки промокло насквозь, она долго сидела на берегу в купальном костюме, обхватив колени руками. Все дымилось вокруг, от песка шел пар. Старый, сгорбленный монашек шел по берегу, накинув на плечи мешок, и мешок тоже слабо дымился.

Потом Лиза ушла одеваться и не возвращалась так долго, что он стал беспокоиться, пошел искать, окликнул ее. Она не отозвалась — «из озорства», подумалось ему. Но она сказала, что не шалила, просто задумалась.

— Я просто задумалась,— сказала она и нежно оттолкнула Константина Павловича, когда он стал целовать ее плечи...

Арденс позвонил в начале ноября, и Константин Павлович, держа трубку в задрожавшей руке, услышал сперва поздравление с наступающим праздником, а потом... Но уже по веселой неторопливости поздравления он понял, что разрешение получено, дело — за формальностями, а в основном — решено, удалось.

Все остальное, что произошло в этот день, он вспоминал с чувством человека, вскочившего на подножку последнего вагона и только чудом не опоздавшего на поезд. Он никак не мог написать телеграмму, все перечеркивал, пока не вспомнил, что надо послать не одну, а две телеграммы — может быть, Лиза уже вернулась в Париж? Из МВТУ позвонили: его ждали студенты.

Ему вдруг стало страшно, и, собравшись на почту, он долго сидел в пальто на сундуке в передней.

— Да полно же, все будет хорошо,— громко, сильно сказал он себе.

И день снова помчался, ринулся, побежал, и он сам куда-то помчался с блаженным чувством, что от него отвалилась непонятная тяжесть, которая долго держала его, а теперь отпустила, растаяла, отлетела.

Бонифачо.

Родной мой, ненаглядный, я получила новое письмо от твоего врача. От пишет, что тебе, слава богу, стало лучше и можно надеяться, что скоро ты будешь совершенно здоров.

Я собираюсь в Париж, осенью — выставка. Маршан пишет, что ждет меня, и жалуется на цены.

Сборы у меня были бы недолгие, если бы я не затеяла одну композицию, которую очень хочется закончить. В предпасхальные дни здесь устраиваются религиозные процессии. В городе несколько братств, у каждого — своя праздничная одежда, красная, белая, зеленая, синяя. Все мои знакомые — бородатые, с животиками лавочники, мясники, сапожники — преображаются ночами во время этих процессий. С пением они несут по городу статуи, вернее, группы статуй из старинной церкви. Огромные факелы, разноцветные фонари освещают эти странные фигуры. Игра светотени, пение — все необыкновенно: и празднично и грустно. Вот эти-то фигуры я сейчас пишу. Церковь удивительная, времен тамплиеров. Но, как полагается, все стены сверху донизу замазаны известкой по фрескам, по каменной резьбе. Попик презанятный, хитренький, выманивает у туристов подачки, а ко мне все пристает, чтобы я — за разрешение работать в церкви — раскрасила одну из статуй, метра в полтора. Пока я покрасила ему гипсовую статуэтку за два су с площади Saint Sulpice, где их фабрикуют миллионами. Теперь все Бонифачо ко мне пристает с такими же просьбами. Пока отбиваюсь.

Много времени я провожу теперь на своем «необитаемом острове». Жозеф превратил мой шалаш в настоящую виллу, укрепил валунами и даже попытался (неудачно) разбить перед ним маленький садик.

По-прежнему он привозит мне хлеб и рыбу, вечерами мы подолгу разговариваем с ним — и подчас он поражает меня своей детской мудростью. Вчера он заметил, например, что «лучшие произведения художника должны превосходить его собственное разумение». Конечно, это было выражено другими словами. Я хочу написать его портрет и уже принялась за рисунки.

(Письмо не датировано)

Париж.

Уж не знаю, как мне благодарить тебя за то, что ты поправился, мой дорогой, ненаглядный. Бог знает о чем я только не передумала, чего не вообразила! Спасибо твоему доктору, меня только и поддерживали его твердые, сердечные письма. Так вот: все, наконец, хорошо, без утайки, без оговорок. Выставка не только окончательно решена, но маршан, посмотрев холсты, которые я привезла с Корсики, предложил контракт на приличных условиях.

Во дворе, вокруг моей черешни, я устроила «репетицию вернисажа», и ты не поверишь, как я была поражена, когда собрала работы последних лет. Ах, как это важно — поставить рядом, осмотреться, вглядеться! Корн два часа молча ходил по двору, а потом поздравил меня и сказал, что до сих пор я лишь отдавала живописи долг, а теперь она мне этот долг с лихвой возвратила.

С выставкой много спешки, хлопот, беготни и, как водится, непредвиденных осложнений. Часть работ еще не пришла из Бонифачо, я боюсь, как бы они не пострадали в дороге. Там есть несколько акварелей, которые, на мой взгляд, могут украсить «корсиканскую стену».

Но что же я пишу о себе? Значит, ты возобновил свои хлопоты о командировке? Не может ли снова помочь Шевандье? Ведь он француз! Если я пойду к нему и скажу, что не могу жить без тебя, он в лепешку разобьется, но устроит вызов. Сделать так? Напиши мне, мой дорогой, поскорее.

(Письмо не датировано)

Париж.

Милый мой, пишу тебе поздней ночью, полуживая от усталости и счастливая, как никогда. Да, как еще никогда в своей жизни! Выставка прошла превосходно, продано много, успех неожиданный — и не только для моего маршана, трепетавшего, что не удастся покрыть расходы на помещение и рамы! Сам Пьер Лоти в своей статье отозвался о моих работах так лестно, что я едва поверила глазам. По его мнению, я принадлежу к художникам, у которых «все по-своему», и это свое не взято напрокат из Африки или Древнего Рима, а «вырвано с кровью из сердца». Статья называется: «Лиза Тураева. Возвращение к реализму?» Не пишу о том, что говорил мне Матисс. Расскажу при встрече.

Сейчас нужно только одно — побольше сил,— и я ума не приложу, откуда мне их взять. Мне казалось, что я и выставку не вытяну, все

дни металась, не чувствуя под собой ног,— и если бы не милый, добрый Корн (который бешено ругался с маршаном, а потом притащил на выставку чуть ли не весь художественный Париж), меня бы как раз и вынесли с выставки вперед ногами.

Вот теперь надо передохнуть и снова кинуться с головой в дела и заботы.

Только бы побольше здоровья, а то вчера с трудом заставила себя подняться, чтобы вернуть лавочнику долги. Все же вышла и встретила — кого бы ты думал: Бальмонта (он живет недалеко), окруженного своими верными, преданными старушками. Мы немного знакомы, я подошла, но старушки почему-то захлопотали, взволновались и торопливо увели его от меня...

(Письмо не датировано)

Бонифачо. 1932

Елизавета Николаевна задумала написать Жозефа еще два года тому назад, когда Георгий и Джакомо уехали на рыбную ловлю; она с блокнотом бродила по островку и добралась, прыгая с камня на камень, до незнакомого места, которое было чем-то похоже на морское дно. На скалах — длинный, стелющийся зеленоватый мох, а между ними — маленькая серо-зеленая долинка. В этой долинке стоял, опустив голову и глубоко задумавшись, Жозеф. Елизавета Николаевна долго смотрела на него, не окликая,— и тогда еще решила непременно сделать его портрет.

Но он был в трауре по отцу, ей не хотелось писать его в черном, а потом она отвлеклась, занялась чем-то другим.

Теперь он каждое утро привозил ей хлеб и рыбу, и было бы грешно не воспользоваться такой прекрасной моделью.

Прежде чем взяться за кисть, она сделала не меньше полусотни рисунков — надо было понять это странное, задумчивое узкое лицо, с вывернутыми веками и лохматой угольно-черной и полуседой шевелюрой.

Потом она долго выбирала место —где писать? Конечно, не в шалаше — темно и не хватит расстояния — и не у моря, где скользили блики и нельзя было умерить яркость. Она посадила Жозефа у входа в шалаш, на табуретку. Фон был неопределенный, но теплый, оранжевая стенка чуть заметно переходила в синеватую тень шалаша.

Жозеф спросил, можно ли разговаривать, она ответила: «Конечно»,— но предупредила, что иногда не будет ему отвечать.

— Значит, не слышу.

Она работала еще ощупью, подолгу смотрела на Жозефа, а потом быстро набрасывала на холсте бог знает что — какой-то серо-золотисто-синий мир, в который она должна была окунуться с головой, копаться и купаться. От левого края — к пустому четырехугольнику, заполнявшемуся тем, что должно было стать лицом Жозефа. Потом — к правому краю.

Жозеф сидел, скрестив ноги, и даже в грязном большом пальце, торчавшем из рваного башмака, видна была задумчивость, углубленность. Выцветшие голубые глаза рассеянно бродили по сторонам.

Он спросил названия красок, и она назвала: кость жженая, английская красная, охра золотистая, «мертвая голова».

— Это удивительные названия, мадам. И они так назывались всегда?

— Да.

— С сотворения мира?

Она улыбнулась.

— Может быть.

Она постаралась на первом же сеансе закрыть весь холст, чтобы наметилось то «самое общее», что должно было приблизить ее к портрету, который она видела в воображении. Но ничего не наметилось, и она с огорчением долго переводила взгляд с холста на Жозефа, у которого тоже стало огорченное лицо. Он, как ребенок, перенимал выражение.

— Вы снова очень похудели, мадам.

— Да? Ну что же! К старости лучше худеть.

— Но мне кажется, что вы нездоровы. Вы очень кашляете. Лучше вернуться в Бонифачо.

— Кончу твой портрет и вернусь.

— Здесь очень холодно по ночам.

— Ты же привез мне теплое одеяло.

Жозеф уехал, и она принялась за хозяйство. Надо было приготовить обед. Она чистила рыбу, думая о портрете. Потом прилегла отдохнуть, уснула, и оказалось, что она думала о нем и во сне.

На втором сеансе Елизавета Николаевна снова переписала весь холст, на этот раз меньшими долями, меняя то, что вчера шло свободно, открыто. Они разговаривали, и она сказала, что не боится смерти.

— Это потому, что вы будете жить долго, мадам. Вы — русская, а ведь русские живут долго. Говорят, что между ними много святых.

— Я не святая. Я — грешница, Жозеф.

Он надолго задумался.

— Нет, вы святая, мадам,— наконец сказал он.— В Бонифачо почти все уверены в этом, и мы будем молиться, чтобы бог даровал вам долгую жизнь.

— Зачем?

— Но чтобы исполнилось наше общее желание, мадам.

Она засмеялась.

— Боюсь обещать, Жозеф.

Он смотрел на нее тревожными глазами. Левое веко опустилось. Он склонил голову набок. Она поправила позу.

— Я тоже очень кашлял, особенно по ночам. Сестры приготовили для меня настойку из трав — и все прошло. Завтра я не могу привезти ее. Надо сорок дней, чтобы она настоялась.

— Спасибо. Боюсь, что мне уже ничего не поможет.

Жозеф сказал, что завтра он не приедет, потому что бог запрещает в воскресенье работать, и она долго убеждала его, что позировать — вовсе не значит работать и что богу все равно, сидит ли Жозеф на табуретке в Бонифачо или подле ее шалаша. Ничего не произошло бы, если бы ей пришлось пропустить один день. Но это она понимала разумом, а разум не освобождал ее от тоскливого чувства, охватившего ее при мысли, что завтра она не прикоснется к холсту.

Ей очень помогало, что она уже четвертый год была знакома с Жозефом. Она писала странного, но для нее уже давно близкого человека. Круг ее жизни с каждым годом сужался. Отступил Стамбул с его вызывающе яркой палитрой. Отступил Париж с его сдержанностью, вещественностью, обыкновенностью — она не написала и десятой доли своего Парижа.

У нее остался «необитаемый остров», на котором отлично работается, никто не мешает. Лючия любит ее. Жозеф и его сестры, милые сороки, заботятся о ней, посылают ей старые фуфайки и теплые одеяла.

Неизвестно, как и почему, но эти фуфайки, одеяла — и даже мазь от комаров, которую на днях привез ей Жозеф,— участвовали в его портрете.

— Вы плохо себя чувствуете, мадам?

— Нет, хорошо.

— Но вы работаете в фуфайке. Вам холодно?

— Нет. Я рано встала, утро было свежее, и я еще не согрелась.

Теперь она ясно видела пустые места на холсте, и надо было заполнить их так, чтобы не потерять наметившегося сдвига. Сдвиг наметился вчера, когда у Жозефа стало тревожное лицо с полуопущенным веком.

— Так вы не думаете, что ученые когда-нибудь найдут средство вечной жизни, мадам?

— Возможно. Но я уже не успею им воспользоваться.

— Это не имеет значения для вас.

— Почему?

— Потому что вас все равно ждет евангельская вечная жизнь.

Она засмеялась.

— Может быть. Во всяком случае, мне хотелось бы умереть, не затрудняя друзей. Не в Бонифачо, а в Париже.

— Почему?

— Ну, не знаю. И потом, я не умру, пока не закончу твой портрет. Люди будут смотреть на него и думать о тебе.

— Мне бы хотелось, чтобы они думали и о моих сестрах, мадам.

...Это было на четвертом сеансе. Все уже, кажется, установилось. Ей удалось связать два пятна, на которых держался весь холст,— лицо и рука, упавшая на колени. Она уточнила цвета — белый довела до розового, а в красном погасила резкость.

Перед окончанием работы она обычно откладывала ее, чтобы холст мог подсохнуть, а потом только поправляла отдельные места. И она уже подумывала об этом, когда два светло-розовых крыла стали раскрываться на холсте, как бы поддерживая лицо Жозефа.

Он смотрел на нее, приоткрыв рот. Он что-то спросил. Елизавета Николаевна не ответила. Он согнулся, опустил плечи — некогда было исправить позу. Она поспешно выдавливала и смешивала краски, она не отходила, а отбегала, чтобы взглянуть на холст, и сразу же возвращалась. Все снова перестраивалось, еще приблизительно, неточно. Еще неизвестно было, что выйдет из этих крыльев, но Елизавета Николаевна уже работала над ними, с красными пятнами на щеках, энергично, быстро. Все до сих пор было не то и не так. Лицо осветилось, глаза стали глубже, смуглота на провалах щек потеплела. Детские, прозрачные крылья писали сами себя, и вообразить портрет без них было уже невозможно.

Когда он уехал, она не сразу принялась за обед. Голова немного кружилась, ей захотелось полежать, и она устроилась в тени шалаша на одеяле. Парусник шел зигзагами против ветра — должно быть, в Сардинию. Она долго следила за ним, потом закрыла глаза. Она думала, видела, вспоминала...

Париж.

Милый мой, родной, я без конца перечитываю твою телеграмму, я никому не сказала о ней — сама не знаю почему. Из суеверия?

Положила ее в кармашек платья и время от времени достаю, перечитываю или просто, не вынимая, касаюсь рукой. Я скрывала от тебя, что очень больна, но теперь, когда я знаю, что скоро увижу тебя...

(Письмо не датировано)

Послесловие

Понадобилась сильная лупа, чтобы прочитать эти случайно попавшие ко мне письма,— почерк был неразборчивый, обгоняющий мысли, небрежный.

Несколько замечаний:

Работая над подготовкой текста к печати, я узнал много нового о Елизавете Тураевой, которой принадлежали письма, и Константине Карновском, которому они адресованы. Эти сведения дополнили книгу.

Я отобрал лишь самые значительные из писем.

Лица, упомянутые в письмах, были извещены о находке и согласились на публикацию, однако при условии, что их фамилии будут изменены. Это не коснулось деятелей, оставивших заметный след в русской и мировой культуре первой четверти двадцатого века.

Пользуясь правом романиста, я дополнил переписку немногими сценами.

1965—1970

Наука расставания

роман

Москва, 1944

Секретарь редакции Нина Викторовна, с которой Незлобин был в прекрасных отношениях, сделала большие глаза, увидев его, и всплеснула руками:

— Что вы сделали? Ага, понимаю! Вы разминулись с приказом!

Политуправление, заметив, что военкоры проводят в Москве больше времени, чем на фронте, вторично запретило покидать армию без разрешения, и, очевидно, Незлобин был первым, кто нарушил этот приказ.

— Вы были в отделе кадров?

— Нет еще.

— Скажите, что вы разминулись. А там...

Незлобин отметился и вернулся.

— Доложила,— сказала Нина Викторовна,— молчит. Плохо дело! Придется повиниться. Шиллера в мешке не утаишь.

Редактор вышел из кабинета и, не здороваясь с Незлобиным, прошел мимо.

— Худо! Трое суток на губе обеспечены.

— Да. Но на трое суток я плевал. Даже хорошо. Отдохну. Командировка погорит, вот что действительно худо.

И он объяснил Нине Викторовне, что надеялся получить командировку в Вологодскую область. Там жила где-то в глуши его мать, эвакуированная из Ленинграда. Он надеялся отправить ее в Пермь к сестре.

— Обойдется,— сказала Нина Викторовна.

Она была лет сорока, пухленькая, коротко стриженная, с колечками на висках, с насмешливыми глазами. В редакции она славилась своими «плодами житейской бодрости», так она называла свои афоризмы.

Прошел добрый час, прежде чем редактор вернулся. Шинель без погон болталась на нем, почему-то он всегда ходил в шинели... Еще не было случая, чтобы он заставлял Незлобина дожидаться так долго. Корреспонденции с Северного флота появлялись редко, и можно было рассчитывать, что материал немедленно пригодится. Раздался звонок. Нина Викторовна ушла в кабинет.

— Береги челюсть смолоду,— сказала она.— Вас!

Редактор был скромный работяга, старый, не терпевший бездельников журналист. Он вытаращил усталые, покрасневшие под очками глаза, когда Незлобин положил перед ним два очерка о том, что слали в Варангер-фиорде «малютки». Наступило молчание. Редактор читал, принюхиваясь, как гончая, схватывая одним взглядом страницу, и сердито махнул маленькой ручкой, когда Незлобин хотел что-то объяснить, прибавить. В лице его показалось что-то охотничье, собачье. Незлобин вынул из планшета третий очерк — о торпедоносцах. Редактор прочитал и изменил название. «Торпеды падают вниз»,— написал он. Незлобин хотел возразить, что торпеды не могут падать вверх, но промолчал, вспомнив о командировке. Редактор вызвал дежурного и отдал ему третий очерк.

— В номер.

«А теперь надо вылезать из себя,— подумал Незлобин.— Ведь не поверит, сукин сын, что я ничего не знал о приказе. Или соврать что-нибудь?» Но врать он не умел. Он терялся, когда приходилось врать. Эх, была не была!

Редактор слушал, прикусив губу. Его мать тоже была в эвакуации, и он тоже беспокоился, не получая от нее писем.

— Неделя,— сказал он.

Это было невозможно — за неделю добраться до глухой деревни, где жила в эвакуации мать. Из Москвы надо было, минуя станцию Коноша, рабочим поездом ехать в Вельск. А потом попутными машинами, которые могли и не подвернуться,— в эту деревню, которую мать в письмах называла то Ручьи, то Благовещенское. Незлобин попросил еще три дня, но редактор сделал вид, что не слышит.

Незлобин умел ставить себя на место собеседника — бессознательная черта, которая живет почти в каждом из нас. Зная себя, он легко разгадывал других. Как почти все военные корреспонденты, он хотел писать не корреспонденции, а рассказы и даже романы. Думая об этом, он бережно хранил свои бесчисленные наброски: вот это могло пригодиться, а это нет. Вот это он записывал для себя, а это — для газеты.

У него была располагающая внешность, хороший рост, свободная связная речь, мужская уверенность, внушавшая симпатию, доверие. Однажды редакция поручила ему судебный очерк, и обвиняемая, когда суд удалился на совещание, стала, громко обращаясь к нему, рассказывать свою историю.

В Коноше дежурный сказал, что рабочий поезд ушел рано утром. Дрезина есть, но шофер заболел. На лесопилке есть другая дрезина, и, возможно, директор позволит добраться до Вельска на ней.

— А далеко до лесопилки?

— Километра три будет.

Незлобину с его длинными ногами ничего не стоило отмахать три километра. Труднее оказалось найти директора в остро пахнувших бесчисленных проулках свеженапиленного леса.

— Дрезина есть,— сказал похожий на постаревшего Буратино директор.— И шофер есть. Но он у нас липовый. Без прав.

Незлобин не знал, что надо получить права, чтобы водить дрезину.

— Впрочем, поговорите с ним. Я не возражаю.

Увидев Незлобина, молоденький шофер кубарем слетел с пирамиды и вытянулся перед ним, руки по швам.

— Недавно из армии?

— Два месяца, товарищ майор. Ранение в ногу.

Он слегка волочил ногу. Незлобин попросил отвезти его в Вельск, и тот немедленно согласился.

Случалось ли вам, сидя на узкой дощечке дрезины с привешенным сбоку моторчиком, лететь сто двадцать километров в час? Страшна не быстрота, страшно ощущение, что у тебя отняли поезд с его успокоительным, мерным постукиванием колес, с ощущением движущегося дома и швырнули в пустоту, в свист, в невозможность схватиться руками, упереться ногами. Незлобин был не робкого десятка, но струсил, сидя на этом маленьком аппарате, носившем мирное название «Пионерка».

— Мне бы только контролеров проскочить,— донеслось до него откуда-то из голого свистящего воздуха.— А там, на линии, торопиться не будем.

«Где же мы, если не на линии?» — подумал Незлобин, и дрезина скользнув на разъезде, повалилась набок. Падая на рельсы, Незлобин больно ушиб бедро. Шофер, скатившийся под откос, поднялся первым.

— Ничего не сломали?

— Кажется, нет.

На бедре вздулась шишка, и было больно ходить. Никакой надежды не было сегодня добраться до Вельска, и, очевидно, придется, дожидаясь утреннего рабочего поезда, ночевать в лесу. Падая, он порвал брюки, а вторую пару оставил в Полярном. Все было плохо. Но все было хорошо. «Ушиб бедро, а мог бы разбиться насмерть»,— подумал он.

Небо голубело, светясь прозрачно и нежно. Лес стоял могучий, нетронутый. Шофер кряхтел, разыскивая под насыпью какую-то гайку. Девочки с лукошками вдруг появились на опушке, рыженькие, с косичками, взявшие деньги (он купил у них морошку) с такой застенчивостью, что у Незлобина от нежности слезы подступили к глазам. «Ах, баба»,— подумал он о себе как всегда в минуты умиления. Вкусная морошка пахла землей. Брюки можно было зашить, у него в мешке лежали иголка и нитки. Мать будет тихонько утирать слезы, она не любит, чтобы видели, как она плачет. А дрезину, оказывается, можно снова поставить на рельсы, и девочки трогательно помогали им изо всех своих слабых силенок.

Они двинулись дальше, на этот раз не думая о контролерах. Как-никак рабочий поезд мог встретиться с дрезиной на единственной ветке.

Именно это и случилось, когда они были уже в трех-четырех километрах от Вельска. Дрезину пришлось снять, и они сделали это, шофер — молча, а Незлобин, у которого болело бедро, чертыхаясь и после каждого слова поминая мать,— недаром еще в десятом классе его прозвали «Вадька-матерщинник». Машинист, высунувшись в окошечко, погрозил им грязным черным кулаком. Начинало смеркаться, когда дрезина добралась до Вельска.

Городок показался Незлобину пустым, нищенски бедным. Бедро болело, и он с трудом добрался до единственного трехэтажного дома, в котором помещались и райком, и загс, и прокуратура. Старый «газик» стоял у подъезда. В маленькой накуренной комнате сидели двое военных: один лысый, здоровенный, с толстыми плечами, и другой — тощий, давно не стриженный, с больным черно-белым лицом.

— Нет у меня машины,— сказал тощий. Это был прокурор.

Но Незлобин чувствовал, что толстяку хотелось ему помочь. Поэтому, уговаривая прокурора, он обращался к толстому, понимавшему, что неудобно отказывать военкору центральной газеты, который приехал, чтобы повидаться с матерью и, может быть, отправить ее к родным. Он перечитал командировку и раскрыл потонувший в толстых пальцах корреспондентский билет.

— У тебя же идет машина в Воскресенское,— сказал он.— До Ручьев рукой подать.

Прокурор угрюмо взглянул на него.

— С подследственным идет машина.

Помолчали.

— Подождите меня у подъезда, товарищ,— сказал Незлобину здоровяк. Он съездил куда-то на машине и через несколько минут вернулся.

— Грузовик тебя устроит?

— Благодарю вас, конечно, устроит,— ответил, не решаясь назвать его на «ты», Незлобин.

Молча проехали они Вельск. Недалеко от станции, во дворе, огороженном высоким забором, стоял деревянный двухэтажный дом. Ворота распахнулись, часовой по форме взял «на караул», и Незлобин понял, что лысый мужчина в форме без знаков различия был начальником небольшого завода и что в доме, у которого они остановились, помещалось управление или какая-то контора.

— Сидоров,— сказал он в стоявший на столе высокий рупор,— придет к тебе товарищ. Накорми и дай ему трехтонку до Ручьев.

Из столовой Незлобина провели в гараж, и он отправился на трехтонке вдвоем с шофером, который за всю длинную дорогу сказал только, что в армию его не взяли, потому что он чахоточный, и грубо срезал Незлобина, когда тот о чем-то спросил.

Таля

Мать не заплакала, когда он уже в сумерках вошел в избу, тускло освещенную лучиной, горевшей в треножнике, коротко вскрикнула и, обняв, долго не выпускала.

— Димочка,— только и сказала она.

Она была худенькая, с жидкими волосиками, не закрывавшими уши, в пенсне с широким шелковым шнурком — Незлобин с детских лет его помнил. Думая о том, как они встретятся, он представлял себе мать очень постаревшей, похудевшей, согнувшейся и почему-то с головой, ушедшей в плечи. Ничуть не бывало! Только волосы сильно поредели и, тоненькие, разлетались при каждом движении. Но голову она по-прежнему гордо откидывала назад, держалась прямо, и Незлобин, целуя ее руки, едва удержался от слез, когда она сказала, что «здесь она почтена общим доверием». Ее всегда принимали за врача, в Ручьях она лечила и вылечила многих, и как только по деревне разнесся слух, что к Елене Григорьевне приехал сын, да еще с фронта, в избе, подождав для приличия полчаса, набилось много народу. Елена Григорьевна отнеслась к появлению людей признательно, но строго. С достоинством поблагодарив каждого, она выставила соседей, оставив только рябую неуклюжую девушку с большим ячменем на глазу.

— Обещала,— коротко объяснила она сыну.

И с нежностью, с изумлением он увидел, как девушка стала перед матерью на колени, и Елена Григорьевна, сменив догоравшую лучину, стала водить перед больным глазом своим обручальным кольцом. Это было лечение. Мать верила в предсказания, заговоры, приметы. Это было странно для человека, некогда окончившего Петербургскую консерваторию. Но Незлобин любил ее и за то, что она лечила ячмени обручальным кольцом.

Девушка поклонилась в пояс и ушла, а Незлобин и Елена Григорьевна стали укладывать вещи. О том, чтобы остаться, не могло быть и речи. В Перми была дочь Лариса — «хорошо устроена, работает костюмершей в Кировском театре, получает хороший паек, и они не будут ссориться, как прежде». Мать молча слушала его. Она сомневалась в том, что все будет так благополучно, как казалось сыну. Вот он взрослый человек, ему тридцать девять лет, военный корреспондент, а, как ребенок, хочет, чтобы все было всегда хорошо. Еще пятилетним мальчиком спрашивал: «Мама, всё всегда хорошо?» Он слишком склонен к жизнерадостности, к оптимизму. Не женился. До сих пор! А пора. Говорит: «Понимаешь, я так не могу. Мне надо непременно влюбиться». Вот приехал за ней. Это было трудно. Но теперь она будет ближе к нему, хотя от Крайнего Севера, где он работает, до Перми две или три тысячи километров.

— Лариса знает?

— Да, я предупредил ее, но почему-то не получил ответа.

Весь вечер он помогал ей укладывать вещи. Сложно было с маринованными грибками, которые она ни за что не хотела оставлять. Но

в конце концов были уложены и грибки. До Коноши они добрались рабочим поездом в сумерках следующего дня. На станции Вадим Андреевич нанял двух баб, заменявших носильщиков,— поезд приходил переполненный и стоял только три минуты. Он беспокоился, удастся ли найти для матери место. Она сидела на мешках, поправляя пенсне и спокойно поглядывая вокруг. В суматохе шумной станции она одна была неторопливо-спокойна. Незлобин засмеялся и поцеловал ее. Он не обещал писать каждую неделю, как она просила.

— Мамочка, раз в две недели, идет? Да ты не беспокойся. Может быть, в январе удастся приехать.

Все вагоны были закрыты, когда поезд пришел. Бабы куда-то пропали, и Незлобин, подтащив мешки и чемоданы к площадке, стал с бешенством стучать руками и ногами в первую попавшуюся дверь. Проводница открыла с ругательствами, он поставил ногу в узкую щель, не давая закрыть, и злобно сунул прямо ей в лицо корреспондентский билет. И не помог бы ему этот билет, если бы в последнюю минуту не подоспели бабы. Незлобин не расслышал, что они сказали проводнице, но та отступилась, и мешки полетели на площадку. Мать не успела проститься с ним, затерявшись в темноте, в тесноте душного вагона. Бабы оправдывались. Он отдал им оставшиеся горшочки с грибами, заплатил хлебом и остался один на опустевшей платформе. Это было так, как будто не он, а кто-то другой, втрое сильнее, колотя ногами в дверь, ругался по-матери и так громко кричал на проводницу, как ни на кого никогда не кричал. Мать уехала — это было трудно вообразить. Все хорошо. Он глубоко, счастливо дышал. Его поезд ожидался к утру, предстояла пересадка, и где-то нужно было провести ночь.

— Можно у стрелочницы,— посоветовали ему бабы. Они почему-то не уходили от него, хотя он расплатился.

Он нашел стрелочницу, крупную, бледную женщину с болезненно поджатыми губами. Дом был неприбранный, неуютный, пустой. По грязному полу ползали дети. Незлобин достал из чемодана резиновую подушку, надул ее, положил на чемодан и, накрывшись шинелью, уснул.

Он спал чутко, хотя накануне провел бессонную ночь и очень устал. Что-то происходило подле него, и надо было открыть глаза, хотя за окном еще стояла темно-белая ночь.

Стрелочница, недавно получившая похоронку, согнувшаяся от горя, пустила к себе, кроме него, еще двоих — высокого старика с желто-седой бородой и молодую женщину в накинутой поверх пальто длинной шали. У них были узлы, и женщина сразу же стала устраивать из них подобие постели. «Таля, Таля»,— бормотал старик. Он едва стоял на ногах. С помощью женщины он сел в угол, прислонившись спиной к стене, она погладила его по голове и поцеловала. Потом скинула мешковатое пальто и оказалась высокой, статной, в платье с белым воротничком, похожем на школьную форму. На фотографиях в альбомах родителей Незлобин видел таких девушек и помнил их с детства. Впрочем, она и походила на школьницу. Даже

при тусклом свете единственной лампочки было видно, что у нее розовое загорелое лицо с кругленьким, отмеченным ямочкой подбородком. Черные волосы были завязаны толстым узлом на затылке и плавными полукружиями расходились на лбу. Если бы не эта старившая ее прическа, ей можно было бы дать лет восемнадцать.

«Южанка»,— подумал Незлобин.

— Здравствуйте,— радушно сказала она и протянула ему узкую руку.— Вы тоже ждете поезда?

— Здравствуйте. Да, жду.

— И куда едете?

— Ох, на край света,— улыбаясь понравившейся ему девушке, ответил Незлобин.— С пересадками до Мурманска. А потом еще дальше. На Крайний Север.

— Да что вы говорите! — сказала девушка с таким изумлением, как будто он сказал ей, что он летит на Луну.— Ведь я тоже собираюсь в Мурманск. Отвезу отца к родным под Калинин — там у меня двоюродный брат с семьей, а потом в Мурманск. Туда можно без пропуска?

— По-моему, да. Впрочем, не знаю.

— Да вы военный, вам не нужен пропуск. Но, кажется, и мне не нужен. Я еду по вызову. Правда, это просто личное письмо, но мне разрешат. Он добьется.

— Письмо от кого?

— Ну, я не знаю. Теперь все перепуталось. От жениха или мужа.

Незлобин засмеялся.

— Маленькая разница все-таки есть. По меньшей мере с официальной точки зрения.

— Какая же разница? Просто не успели записаться. Его перед самой войной перевели с Черноморского флота на Северный.

Старик вдруг вытянул дрожащие руки.

— Сбывается, что положено,— громко сказал он и потом еще громче: — Погасили мерцание духа божьего. Устроили ад, а возвестили спасенье.

— Бредит,— с тоской сказала Таля. Старик улегся и, бормоча «Таля, Таля», уснул.

— Значит, ваш жених служит на Северном флоте?

— Да. А вы?

— Я откомандирован туда, очевидно, надолго. А вы с юга?

— Да, из Ялты, но это было давно. Перед войной. Когда его перевели, я тоже перевелась. В Калинин, поближе к своим. Я вообще-то учительница.

— Да что вы! А я думал, школьница.

— Почему же?

— Вам на вид не больше восемнадцати.

— Это, как говорят плотники, только «показывает». Двадцать четыре.

— И какой предмет вы преподаете?

— Географию.

Незлобин тихонько свистнул.

— Буры живут на юге Сахары,— сказал он.

Таля засмеялась.

— Это из моей письменной работы в четвертом классе,— объяснил он.— Кто же вас встретит в Мурманске?

— Он и встретит. И увезет к себе.

— Куда же?

— Еще не знаю. В страну молока и меда.

— Догадываюсь. Офицер?

— Капитан-лейтенант,— с гордостью сказала Таля.

— Так, может быть, я его знаю?

— Возможно. Фамилия у него знаменитая.

— А именно?

— Мещерский,— немного смутившись, сказала Таля.

— То-то я вижу, у вас лицо знакомое. Он показывал мне вашу карточку и хвастался. А теперь вижу, недаром.

— Вы хорошо его знаете?

— Ну, не очень. Мы с ним сперва поссорились, а потом помирились.

— Расскажите.

— Это длинная история, а у меня до поезда четверть часа.

— Он говорил обо мне?

— Хвастался, стало быть, говорил. Красавица и умница.

— Да? А не говорил, что я стервоза?

— Нет,— с удивлением сказал Незлобин,— чего не было, того не было.

— Ну, это потому, что вы мало знакомы. Как же не стервоза? Полтора года он мне говорил: «Я вас люблю». А я в ответ: «Не верю».

— Тогда почему же вы к нему едете?

— Поверила, вот и еду. Я очень за него беспокоюсь.

— Ну, очень-то не надо. Два года отвоевал, два ордена заработал, и ничего с ним пока не случилось.

Таля расстегнула сумочку и показала Незлобину маленькое фото.

— Он самый. Не помолодел. Впрочем, может быть, выглядит моложе, потому что здесь он в белом кителе. Снимался летом?

— Это я его снимала. Два года! Боже мой, а мне кажется, что мы расстались только вчера. Ну, как он? Здоров?

— Не жалуется.

— А вы его друг?

— Ну, это, пожалуй, сказать нельзя. Но мы в хороших отношениях.

Стрелочница поставила на пол жестяную мисочку, налила постного масла, накрошила хлеба, и со всех сторон к чашке поползли полуголые маленькие дети. Стрелочница смотрела на них, всхлипывая. У Незлобина тоже к глазам подступили слезы, он развязал мешок и подбавил хлеба. Как всегда, он рассердился на себя за слезы. Но

Таля поняла по его лицу, дрогнувшему на мгновение, что он пересилил себя. Нельзя было показать ему это, и она не показала. «Таля, Таля»,— невнятно бормотал старик. Она тревожно прислушалась к его дыханию.

— Это ваш отец? — шепотом спросил Незлобин. Она кивнула.— Он болен?

— Да, очень.

Стрелочница уложила детей, взяла флажок и ушла. Незлобин посмотрел на часы. Он был почему-то взволнован. «Влюбился?» — насмешливо спросил он себя.

— Хотите есть? — И, не дожидаясь ответа, вынул из мешка луковицу и хлеб.

— Нет, нет, что вы!

Он все-таки заставил ее взять горбушку. «Эх, все равно не целоваться!» — усмехнувшись, сказала она и взяла ломтик луковицы, которую он разрезал складным ножом.

— Как же в Коноше оказались? От фронта далеко.

— Моя мать была эвакуирована в Вологодскую область из Ленинграда. Деревня, глушь страшная. И я решил отправить ее в Пермь, туда эвакуирован Кировский театр, и сестра работает костюмершей. Взял отпуск и отправил. Конечно, если бы я был строевой офицер, меня бы не отпустили. Но я военкор — и вот отпустили...

— Военный корреспондент?

— Да.

— Впервые в жизни вижу военного корреспондента.

— И не испытываете священного трепета?

— Представьте, нет.

— Странно.

— Ваш поезд скоро?

— Через десять минут.

Они помолчали.

— Жалко расставаться,— сказал Незлобин.— Встретились четверть часа тому назад, а ведь кажется, что давно знакомы.

— Да, жалко,— согласилась Таля.— Может, еще встретимся? В Мурманске. Или там, куда меня мой Мещерский увезет? Но там вам будет не до меня.

— Мне теперь всегда будет до вас,— вдруг сказал Незлобин.

— Тогда не встретимся.

— Почему?

— Да так уж,— вздохнув, ответила Таля.— Ну, простите.

— Оставить вам еще хлеба?

— Что вы!

— До свиданья, до свиданья,— горячо говорил Незлобин и крепко сжимал, сжимал руки Тале.— Мы непременно увидимся. Счастья вам, счастья. И чтобы ваш отец поправился. И чтобы вы приехали к нам на флот. И поскорее.

На платформе он подошел к стрелочнице.

— Не довезет она его,— нехотя сказала та.

— Ну что вы, как же не довезет? — почти крикнул Незлобин.— Непременно довезет.

Стрелочница посмотрела на него с удивлением.

После того как Незлобин ушел, Таля долго думала, на кого он похож. Он напоминал ей кого-то очень близкого, родного, вот почему она так легко разговаривала с ним! Она знала, что понравилась ему, но она всем нравилась и давно к этому привыкла. В нем было что-то давно знакомое, давно любимое и принадлежащее только ей, никому другому. Вдруг она вспомнила: он похож на ее няню. Когда отец был сослан, мать умерла и она осталась девочкой на руках у няни. Это был нянин отзывчивый, немного косящий, заботливый взгляд, у няни ежеминутно навертывались и от горя и от радости слезы. И вот главное: он слушал ее, как няня, сочувственно, немного склонив голову набок и как бы с надеждой, что все уладится, устроится. И глаза были нянины: серые, лучистые.

Отец тяжело дышал. Как она довезет такого? Но надо довезти. Надо! Из полусумрака, смягчившегося перед апрельским рассветом, из странного, болезненного чувства, что отец одновременно и чужой и родной ей (она не помнила его в детстве и увидела, казалось, впервые), из самого прокисшего воздуха запущенной сторожки грозилось ей это неумолимое «надо». Она все сделает, чтобы спасти его. И спасет.

Какой-то поезд прошел и ушел. Должно быть, мурманский. «Уехал мой майор, моя няня,— подумала она.— Сашу знает. Когда-то мы увидимся? Два года. Другой бы давно забыл и думать о том, что существует на свете такая Таля. А он не забыл». Задумавшись, она сказала эти слова вслух, и стрелочница, вернувшаяся и сидевшая, сгорбившись, расставив ноги, на раскладушке, прислушалась, посмотрела на нее. «А он не забыл,— продолжала думать Таля.— Он ждет меня. Прислал вызов. И я поеду, поеду к нему. Но когда?»

В Полярном

Еще до войны, когда Незлобин учился в педагогическом институте, он старался познакомиться с писателями и даже послал письмо автору знаменитого романа. Автор не ответил, а те, с которыми он познакомился, не могли объяснить ему, как задуманный сюжет превращается в законченное произведение. Этого не знали даже великие критики. Не знал, например, Белинский, иначе он не написал бы слабую пьесу. «Чтобы написать, надо писать»,— сказал ему один известный писатель. Это был разумный совет для любой работы, и в том числе, разумеется, для искусства. Но в превращении замысла в рассказ или роман было еще нечто, как бы происходящее само собой, и определить это было, по-видимому, невозможно.

Тогда он решил до поры до времени не заботиться об этом. Довольно и того, что он был почти уверен, что одно может пригодиться

для прозы, которую он непременно станет писать, а другое — для сегодняшнего дня, для очередного газетного подвала.

В поезде, думая о встрече с Талей, Незлобин вспомнил, как однажды, когда он лежал больной в Полярном — у него была язва желудка,— он включил радио и услышал очерк о том, как два разведчика из морской пехоты получили приказ уничтожить дальнобойную батарею, причем комиссар, упомянув панфиловцев, откровенно сказал, что на возвращение мало надежды,— и большую часть очерка занимали ночные размышления младшего из разведчиков, которому едва исполнилось двадцать лет. Ему хочется написать прощальное письмо друзьям или что-нибудь красивое, вроде песни «Синие воротнички». Он вспоминает, как со своим другом ходил на Казбек, как они брали с собой коньки и катались по Казбеку,— довольно рискованная, но занятная штука. Становилось жарко, и они катались в одних трусах. Он вспоминает девушку-армянку, которая работала на метеостанции, и они как бы случайно встречались, когда она шла записывать показания метеоприборов. Она была тонкая, черная, с черным пушком под ушами и все выговаривала за безделье, а потом они сидели на каменной кладке, где была когда-то генуэзская крепость, и целовались... «Можно выполнить за Отчизну»,— сказал младший разведчик комиссару...

«Вот черти, как стали писать!» — подумал он с восхищением и вдруг вспомнил, что рассказ-то этот написал он, еще когда был военкором ТАСС в Ленинграде. Артист кончил чтение — это был знаменитый Плятт,— и Незлобин кинулся к сохранившейся газете, перечитал очерк и долго думал, скинув грелку и совершенно забыв, что у него только что зверски болел живот. Что же произошло? Очерк, серый, как бумага, на которой он был напечатан, прочитал талантливый артист, прочитал его, и только! Но он прочел не то, что написал Незлобин, а то, что заставляет людей смеяться и плакать.

Произошло то, что Плятт заглянул в глубину этой маленькой истории и сделал ее произведением искусства. Но ведь если бы заглянул он, Незлобин, он написал бы очерк о рождении мужества, о значении сочувствия, о рождении добра. Может быть, это был первый случай в жизни двадцатилетнего разведчика, когда он задумался над вопросом «что такое Отчизна» и почему «можно выполнить», расплатившись ни много ни мало жизнью — ведь это характер, о котором в очерке нет ни слова!

«Вот и в минувшей ночи в Коноше было то, что запомнится навсегда»,— думал Незлобин. Была встреча с Талей, о которой он узнал так много. Было даже две Тали: кроме той, которая сказала, что едет к своему жениху, в его воображении сложилась еще одна Таля, которая любит весь мир — и стрелочницу с ее измученным лицом, и полуголых детей, вылизывавших из мисочки остатки постного масла, и его, Незлобина, случайно задержавшегося на станции. И он стал придумывать Талю, не торопясь, с наслаждением, угадывая все новые черты,— и вдруг увидел ее как живую — ловкую, с маленькими руками, которые умеют делать все — учить детей, ухаживать за больными,

мыть полы, готовить обеды. Не подозревающую о том, что у нее природная осанка и что, если ее умело причесать, она была бы похожа на знаменитый портрет дочери художника Нестерова. Женственную, инстинктивно чувствующую «счастье подчинения» тому, кто ее искренно любит. С задумчивыми, широко расставленными глазами, как будто спрашивающими: «Что со мной происходит?»

И так интересна была эта работа придумывания, что он перестал видеть все, что происходило вокруг. Впрочем, ничего не происходило. Он ехал в пустом вагоне с ледяным полом, по которому можно было кататься на коньках. Воды не было: «Вылилась и еще не растаяла»,— объяснил проводник. Незлобин стащил на какой-то станции два полена, и можно было сидеть, поставив на них ноги в бурках, время от времени делая зверскую гимнастику, чтобы согреться,— и продолжал думать и думать.

Что было невозможно? Что не укладывалось в воображении? Невозможно, непонятно и не укладывалось в воображении только одно: представить себе Мещерского рядом с Талей. По меньшей мере рядом с той Талей, которую придумал Незлобин. Нет! Даже и с той, с которой он познакомился в Коноше. Невозможно, и баста!

Ноги все-таки замерзли, и, сняв бурки, он сел на ноги, как это делали калмыки, у которых он жил, когда писал перед войной очерк о Сальских степях. Кто знает, может быть, когда-нибудь он напишет роман, в котором расскажет и о своей поездке за матерью и о встрече с Талей?

Незлобин попал в Полярное и вовремя и не вовремя. Вовремя потому, что в день его приезда командующий награждал подводников и его адъютант пригласил Незлобина. А не вовремя потому, что надо было ехать на Ваенгу, чтобы поговорить с летчиками-торпедоносцами, потопившими большой немецкий транспорт где-то в районе Петсамо. Конечно, не поздно поехать на Ваенгу завтра, но он боялся, что его могут опередить другие военкоры,— подвижности ему всегда не хватало.

Он выбрал церемонию награждения и пришел, когда почти все офицеры уже собрались. Здесь был Тамм, у которого он брал интервью и который удивил его, намекнув, что, конечно, он дорожит появлением статьи о его подвигах в центральной газете, но еще больше дорожит возможностью поспать после затянувшегося обеда. Здесь был Складнев, маленький, узкоплечий, лопоухий и потому старавшийся выглядеть особенно мужественным и бравым. Здесь были Высоцкий, Подпруга, Малахаев, встретившие его сдержанно, с подчеркнутым оттенком холодности, причину которой Незлобин понял только через несколько дней, решив до поры до времени не придавать ей никакого значения. Зато Мещерский встретил его сердечно, обнял и дружески похлопал по плечу.

— Как съездил?

— Хорошо. Зайди ко мне вечерком, ладно?

Пришел командующий, все встали, и в скромно обставленной кают-компании началось награждение — без всякой торжественности, что очень понравилось Незлобину. Оно мало отличалось от обыкновенного разговора, в ходе которого время от времени все вставали, адмирал вручал орден и обменивался с награжденным рукопожатием. Переходы были естественными, и Незлобин подумал, что адмирал, несмотря на свою молодость и очевидную, внушающую симпатию простоту в обращении, был опытным человеком, прекрасно понимавшим своих подчиненных. В его простоте была требовательность, а в доброжелательности — доверие. И то и другое надо было оправдать — в этом и заключалась суть отношений. Он как бы связывал награду с общей задачей Северного флота, и это было не только лестно для награжденных, но полезно для всех, потому что незаметно подчеркивало и ответственность и самоуважение.

...Снова, как это было в поезде, Незлобин не мог представить Мещерского рядом с Талей и снова подумал, что это возможно только во сне. Щипцы для раскалывания орехов — вот на что был похож этот капитан-лейтенант с его чисто выбритым и все же синеватым лицом. Синева начиналась у висков, и Незлобин подумал, что, если бы Мещерский отпустил бороду, он был бы похож на Черномора. «Впрочем, у Черномора борода, кажется, седая»,— подумал Незлобин, который до встречи с Талей смотрел на Мещерского совсем другими глазами.

Награждение кончилось, заговорили о союзных конвоях, и, как все застенчивые люди, Незлобин решил, что и ему надо вмешаться в разговор, и то, что он сказал, вызвало мгновенную неловкую сцену. На груди командующего были ордена. Незлобин вдруг спросил, за что он получил свой первый орден.

— За Испанию,— ответил командующий.

— А разве у республиканцев был флот? — спросил Мещерский.

Вопрос можно было принять за шутку, но шутку бестактную — все знали, что адмирал был советником при республиканском флоте.

— Был,— коротко ответил он, попрощался и вышел.

Незлобин догнал его.

— А, товарищ Незлобин,— приветливо сказал он.— Получили нагоняй за то, что явились без приказа? — Он приятно картавил.

— Не получил,— ответил Незлобин с радостным волнением, которое он всегда чувствовал, разговаривая с командующим. Это чувство он испытал впервые, когда был вызван в флагманский пункт после разведки. Начальник отряда доложил, что неизвестный офицер, назвавший себя военкором, присоединился к отряду и вел себя как положено: стрелял метко, от пули не бегал и, между прочим, в свободную минуту долго разговаривал с моряками. О чем? Да обо всем на свете, вплоть до семейного положения, так что кое-кто принял его за шпиона. Адмирал вызвал Незлобина и убедился в том, что он не шпион.

— Вы помирили меня с военкорами,— сказал он,— до сих пор я считал, что перо — более или менее бесполезный род оружия.

Он читал его корреспонденции, приглашал к себе, а Незлобин

радовался каждой новой встрече. Впрочем, все на флоте, казалось, любили командующего. В нем была естественная доступность, и хотя подчас Незлобину приходила слегка отравленная мысль, что он знает, как понравиться, и умеет пользоваться этим знанием, он утешал себя: «Ну и что же, что знает? Что в этом плохого?»

Незлобину хотелось поговорить с Мещерским наедине, и он обрадовался, что военкор «Правды» Петя Павлинов, который жил с ним в одной комнате, уехал куда-то на базы. Случайная встреча с Талей еще волновала Незлобина и теперь, на награждении, когда Таля вновь мелькнула в воображении рядом с Мещерским, стала волновать еще больше. Он убеждал себя: «Что мне до них?» Но убеждения не помогали.

Мещерский пришел с бутылкой, и Незлобин, которому врачи запретили пить, все-таки выпил.

— Тебе привет,— сказал он.

— От кого?

— Угадай.

— Да брось ты дурака валять!

— От Тали.

— Да что ты говоришь?

И Мещерский мгновенно стал не похож на себя, как будто волшебная губка прошлась по лицу, стирая ранние морщины. Синева чисто выбритых щек, рыжеватые плотные волосы, зачесанные на низкий лоб, старили его. А когда он переспросил зазвеневшим голосом: «От Тали?» — лицо стало проще, моложе.

— Мы случайно встретились на станции Коноша. Она ездила за отцом.

— Его отпустили? Совсем?

— Да. Он очень болен.

Мещерский слушал, стараясь справиться с волнением.

— Какая удача, что вы встретились! Так она сказала, что отвезет отца и приедет ко мне?

— Непременно.

— Отвезет отца и приедет ко мне,— как молитву, повторил Мещерский.

— Почему она не написала тебе об отце?

— Не знаю, может быть, боялась, что это мне повредит. Или не знала, найдет ли его в живых. Все было неопределенно у нее. А теперь, ты говоришь, приедет?

— Боже мой, да! Встретишь ее в Мурманске. «А потом он отвезет меня в страну молока и меда». Так она сказала.

Мещерский счастливо засмеялся.

— Послушай,— вдруг сказал Незлобин,— я хотел тебя спросить... Почему на награждении ты задел командующего? Ты разве не знал, что он был в Испании? Или это была шутка?

— Ну, положим, шутка. А ты, кажется, им очарован?

— Не очарован, но, по-моему, он человек хороший.

Мещерский усмехнулся.

— Да разве ты не видишь, что он из кожи лезет вон, стараясь прослыть внимательным и доступным. Я просто взрываюсь от злобы, когда он расспрашивает матроса, откуда он родом и сколько у него детей, как будто все это ему действительно интересно. А этот орден за Испанию! Что он там сделал? И ведь знает, что я его вижу насквозь, но терпит, даже награждает. Почему? Да потому, что я ему нужен. И ведь не я один о нем так думаю — многие.

— Нет, не многие! Я о нем плохого слова не слышал.

— И не услышишь! В его руках власть, кто осмелится сказать правду?

— Это отвратительно, что ты о нем такого мнения. Если он расспрашивает матроса — это действительно ему интересно. Просто ты его не любишь. Впрочем, ты, кажется, никого не любишь. Разыгрываешь какого-то Арбенина, а это в наши дни, ты меня извини, смешно и дико.

— А кто такой Арбенин?

Незлобин засмеялся.

— Есть такая драма,— поучительно сказал он,— называется «Маскарад». Автор — Лермонтов. Главный герой — странный человек, все испытавший, холодный, молчаливый, суровый. Любит только свою жену, да и то из ревности убивает.

— Ты хочешь меня уколоть, что я этой драмы не читал? — побледнев, спросил Мещерский.— Да, я не маменькин сынок, я в пятнадцать лет ушел из дома, работал и учился.

Петя Павлинов ворвался в комнату, оживленный, веселый, худенький, как мальчик, белокурый, со вздернутым носиком, и, не поздоровавшись, с порога закричал:

— Только что с капэ ВВС. Наши сбили немецкого аса, и не только сбили, но захватили. Как ты думаешь,— спросил он Незлобина,— мне позволят воспользоваться правительственным телеграфом?

— Не знаю. Мне однажды отказали.

— Да это же сенсация! Знаменитый ас!

— Попробуй.

Петя убежал, схватив со стола горбушку хлеба.

— Пойду и я,— сказал Мещерский.

— Подожди, ты ведь обещал почитать мне Талины письма.

Мещерский задумался. Пожалуй, сейчас он ничем не напоминал щипцов для раскалывания орехов. Но щеки были синеватые, и Мещерский недаром шутил, что, прежде чем его побрить, мастера собирают производственное совещание.

— Я боюсь,— признался он.— Или, вернее, побаиваюсь. Едва ли ей понравится, что я читал тебе ее письма.

— А мы ей не скажем.

— Догадается. Ты ее не знаешь. Пока она меня любит, со мной ничего не случится,— вдруг сказал он.— Ты этого не понимаешь, потому что ты не моряк. Нет, в другой раз!

Для будущей прозы

У Незлобина было, как он считал, два рода волнений: в минуты опасности он оставался спокоен, а в минуты сочувствия, восхищения — с трудом удерживался от слез. Первое объяснялось, может быть, детской уверенностью, что его не убьют и даже не ранят. А второе — тем, что по натуре он был плаксой, хотя плакал в своей жизни только два раза: когда ему исполнилось десять лет и решительно все, даже мать, забыли о его дне рождении, и перед войной, когда он хоронил отца. По дороге к Ваенге на адмиральском катере ему тоже захотелось заплакать, когда командующий, перебирая бумаги,— он шел на базу, чтобы наградить летчиков-торпедоносцев,— рассказал о летчике, приговоренном судом к расстрелу.

— Ну, эта история едва ли пригодится для ваших корреспонденций,— вздохнув, сказал командующий,— тем более что о Травине вы, кажется, писали?

Травин был летчик, который особенно понравился Незлобину, когда перед поездкой в Москву он был на Ваенге. На вид ему можно было дать лет девятнадцать. Розовый, белозубый, он с веселым азартом рассказывал о своих смертельно опасных атаках, спорил, хохотал, размахивал руками и был похож на счастливого, только что отбившего трудный мяч вратаря. Неделю тому назад, объяснил адмирал, он нарушил присягу. Вылетел на «свободную охоту» и вернулся на аэродром, сбросив торпеду в море.

— Зачем? — с изумлением спросил Незлобин.

— Ну-с, это какой-то штатский вопрос... А вот почему — это я постараюсь узнать. Думаю, что сломался.

И заметив, что Незлобин замялся, стесняясь спросить, что значит это загадочное «сломался», кратко, но точно объяснил ему, что психологическая выносливость летчика, идущего прямо на кинжальный огонь, не беспредельна, а когда достигает предела, он ломается, как детская игрушка.

— Он и не отпирался. Сказал — не могу. Впрочем, командир полка, будь он поумнее, мог бы кое о чем догадаться. Накануне, правда, Травин вернулся с торпедой.

Незлобин молчал. Ему хотелось попросить командующего отменить приговор, и казалось, что адмирал угадывает эту нелепую, а может быть, и не очень нелепую надежду. И потом, когда он был в двухэтажном рубленом доме, где жили летчики, он не переставал думать о Травине. К расстрелу! Перед строем, как предателя и труса!

...Эта поездка запомнилась ему, может быть, потому, что он решил, что она может ему пригодиться не для газеты, а для рассказа, который он напишет когда-нибудь для себя. Он постоянно таскал в планшете маленький блокнот — для будущей прозы. И не для газеты была эта новая встреча с летчиками — теми, о которых он напечатал статью. Они прочитали ее, поблагодарили его, посмеялись над названием, но как-то печально, сдержанно посмеялись. И в этой сдержанности, немногословности, нежелании идти в Дом офицера,

из которого доносилась музыка и где были освещены все окна, в нерешительности, с которой они предложили Незлобину единственную свободную, аккуратно застеленную койку (подле которой на спинке стула висел китель с тремя орденами), было то, что Незлобин мысленно назвал «горечью обреченности»,— назвал и тут же мысленно зачеркнул.

— Одрубовский? — с сильно забившимся сердцем спросил он.

Летчик, к которому он обратился, только кивнул. Уже на адмиральском катере Незлобин чувствовал, что у него побаливает живот, а теперь острая боль опустилась и распространилась. Одрубовский был гордостью полка. Именно о нем больше всего говорилось в статье о торпедоносцах, вдруг показавшейся Незлобину мелкой, ничтожной. Не раздеваясь, он скинул сапоги и прилег на койку.

Первая встреча с летчиками была совсем другая. В том же деревенском бревенчатом доме, в той же большой комнате, заставленной аккуратными койками. За общим столом два летчика играли в шахматы. Незлобин видел, что они играют плохо, и с трудом удержался, чтобы не подсказать худенькому горбоносому Одрубовскому верный ход. Кто-то бренчал на гитаре, кто-то подшивал воротничок, кто-то читал и лишь на секунду оторвался, когда вошедший дежурный сказал:

— Кому сегодня на «буль-буль»?

— Мне,— отозвался противник Одрубовского, еще глядя на доску, и сделал последний ход.

Он ушел, не прощаясь. Незлобин, хорошо игравший в шахматы, сел на его место, игра продолжалась.

— Что это за «буль-буль»? — спросил он.

— А это такой залив, откуда еще никто не вернулся,— ответил Одрубовский.

И ничего не изменилось — ни бренчание на гитаре, ни подшивание воротничка, ни чтение.

«Война»,— сказал себе Незлобин, думая о том, как изобразить эту сцену в будущем романе, и одновременно о том, что делать с ладьей, грозившей его королю.

Надо было взять лекарство, которое врачи велели ему принимать при сильных болях. Но он не стал принимать. Может быть, он уснул, потому что Одрубовский вошел в темную комнату, молодой, веселый, но почему-то в черной маске, означающей, что это не он.

Фронтовой блокнот

4/III. Летал на «амбарчике» (ближний морской разведчик). Угрюмый, неразговорчивый летчик загнал меня в хвост. Ни сидеть, ни стоять. Луна с вертикальными — вверх и вниз — снопами. Яснеет, когда ветер разносит дикий, косматый туман. Мотались четыре часа, но, как говорит Нина Викторовна, «безрузвельтатно».

7/III. Слова: «У меня фотогигиеническое лицо». «Трое плыли на баядерках, один утонул». Старуха: «На мне все плохо заживает, потому что я замуж не вышла». «Уконтропупить» — укокошить.

17/III. Иногда мне кажется, что я физически чувствую людей и понимаю их лучше, чем они сами себя понимают. Мещерский был прав, когда сказал о командующем: «Я ему нужен». Это была, разумеется, самонадеянность, потому что командующему все нужны — до последнего матроса на рыбном траулере, переделанном в боевое судно.

23/III. Акустик Волин слышит шелест волны, прибой, шум винтов. Тренированный слух. Был случай, когда в сплошном тумане обнаружили транспорт только по слуху. Тридцать четыре минуты не видели, а еще через две — залп.

Подпруга смеется: «Пока жива моя фуражка, жива и лодка. Я выбросил, подобрали. Команда ее хранит».

24/III. Прямой, не терпящий уловок, презирающий хитрости, но только потому, что к хитрости он не способен. Всем тяжело от этой прямоты, грубой, бестактной. Постоянно возится со своим самолюбием, прячет его, то тяготится им, то гордится. (Мещерский.)

2/IV. Может быть, я ошибаюсь, но ведь Таля умнее и тоньше, чем он. В нем чувствуется однозначность человека, который настаивает на факте своего существования, считая его событием важным, значительным для других. Вот откуда это взвешивание каждого обращенного к нему слова. «Самолюбивый, как все маленькие ростом»,— написал Бунин о Селихове в «Чаше жизни». Эта фраза подходит к Мещерскому, хотя он среднего роста.

3/IV. Был в театре на пьесе Штока «В далекой гавани». То, что у Бернарда Шоу было сценической ремаркой, ворвалось на сцену и распоряжается зрителями и актерами.

4/IV. Бледно-голубой купол северного неба.

5/IV. Снова Ваенга. Вешалка под простыней. На ночном столике — «Падение Парижа».

6/IV. Нет, я не прав! Одно чувство у него не выдуманное, и он не нянчится с ним, как с другими. Как он изменился, когда я рассказывал ему о встрече с Талей! Точно в ночном фонаре загорелся не фитиль, а звезда, и свет сквозь закоптелые стекла сделал все вокруг тоньше, прозрачнее. Может быть, именно она вернет его к самому себе. Не родился же он в самом деле с мыслью, что все на свете перед ним виноваты? Он любит, это я тоже чувствую физически, как чувствуют желание, боль, тревогу.

7/IV. «Удар пришелся прямо в кон» (арт.).

8/IV. Все осеннее небо заштриховано тонкими волнистыми линиями, эллипсами, кругами — как будто пунктиром обозначены фигуры воздушного боя. На скалах подбитый самолет — немецкий разведчик. «С утра тут шарил, ворюга! Теперь свое отлетал, гад».

15/IV. Говорят, что существуют три возраста: детство, юность и старость. Командующий: в его любви к риску, в лихости, с которой он взлетает на трап, в выправке, с которой он принимает рапорт, есть что-то двадцатилетнее, напоминающее о молодых ночных спорах,

о тайных свиданиях, беспричинных дуэлях. Кстати, понятие дуэли очень подходит к нему: он ведет с немецким флагманом настоящую дуэль, разгадывает его намерения, устраивает для него ловушки, принимает неожиданные решения, смелые и сметливые, сложные и простые. На его командном пункте под гранитной скалой — карты военных действий, письменный стол, стойка с телефонами и за шторой — матросская койка. Сюда врывается все, что происходит в воздухе, на суше, на море.

Здесь, когда он включает приемник, слышится шум боя, раскаты артиллерии, невнятица взрывов. Здесь слышны приказы атакующих, взволнованные или спокойные голоса командиров. Гигантская шахматная доска — панорама морского театра — открывается перед ним, и он должен одним взглядом охватить эту панораму, чтобы вписать в нее новый ход, новый обдуманный бой. А когда это необходимо, он сам вмешивается в сражение, и в наушниках командиров слышен его мягкий и непреклонный, знакомый каждому моряку уверенный голос.

20/IV. «Рубить винтом, атаковать на скорости».

21/IV. Старшина Фейханов. Был ранен, вернулся в строй. В прошлом — знахарь, лечивший чтением стихов корана. «Нужно было высоту удержать, а немцы наседают. А я один. Вот и бегал по всему участку со своим ППШ. Тут очередь дам, там очередь дам. Они залегли, наверно, подумали, что пулеметов полно. Так и не отдал им высоту».

22/IV. Командующий отменил решение военного суда, приговорившего Травина к расстрелу, и послал его в самое опасное место на суше. Опытный летчик стал «ботиком», так называют подносчиков боеприпасов к переднему краю. Теперь ему не надо идти на кинжальный огонь, которым его встречал немецкий корабль. Теперь короткими перебежками от скалы к скале или ползком, по-пластунски, он должен с тяжелым рюкзаком за спиной пройти триста пятьдесят метров, которые простреливаются во всех направлениях. Но под ногами земля, и командующий разгадал — это меня поразило,— что психологически сломавшийся в воздухе человек вновь станет смельчаком, вернувшись на землю.

24/V. «Немцев бьет, как в тире». Фуражку снесло — плохой признак, последний поход. «Мы сделали столбики, у нас были пробитые котелки, из них смастерили дощечки. Могилу сделали хорошо: в середине неразорвавшиеся снаряды, потом крупные, 100 мм, стабилизаторы, потом 80 мм, и получилась как бы клумба с железными цветами».

25/V. Зачем я забиваю свою полевую сумку блокнотами, зачем таскаю их с собой? Таких очерков, как мои, сотни, тысячи, о них никто и не вспомнит после этой окаянной войны. Да, окаянной! Но никогда прежде я не чувствовал такой нежности к первому встречному, такого единства чувств, общности интересов. Вот и Мещерского я люблю, впрочем, может быть, за то, что он любит Талю. Кстати, почему не только Мещерский, но и я, с которым она разговаривала полчаса, с таким нетерпением жду ее приезда?

Мещерский

Гористые улочки Полярного называются линиями, как на Васильевском острове в Ленинграде — Первая, Вторая, Третья,— и мало отличаются друг от друга. Городок сбегает террасами к скалистому берегу Кольского залива. Домики деревянные, в русском стиле, украшенные лясами, с подъездами-лестницами, которые зимой превращаются в ледяные горки. Зато фасад у Полярного внушительный: два высоких каменных дома, построенных полукругом. Называют их «циркульными», и, глядя на них со стороны моря, так и представляешь себе гигантский чертеж, на котором циркуль смело прочертил правильный полукруг.

В этом городке, который Незлобин в одной из своих корреспонденций пышно назвал «гнездом альбатросов», шла обычная гарнизонная жизнь. Она была проникнута войной, но война не мешала пойти в Дом флота, чтобы посмотреть очередной кинофильм, или в театр — гастролировавший до 21 июня театр имени Станиславского и Немировича-Данченко вернулся в Москву, оставив в Полярном не только декорации, но весь свой реквизит, которым удачно воспользовался молодой театр Северного флота. Все знали всех, и, как это ни странно, опасность потери, риск не сглаживали, а обостряли отношения. Незлобину казалось, что на беспредельно раскинувшемся пространстве фронта не было другого места, где так причудливо смешивались подвиги с пустыми сплетнями или легкомысленной болтовней. Он понимал это и все-таки был поражен, узнав причину той сдержанности, с которой знакомые офицеры встретили его на церемонии награждения. А причина была, хотя он со своим прямодушием ее почти не заметил.

— Послушай,— сказал ему однажды Мещерский,— у нас вчера был о тебе разговор.

— Обо мне? Это по какому же поводу? И между кем?

— Между подводниками. Перечислить?

— Не надо. О чем же говорили? Впрочем, догадываюсь. Я пишу, скажем, о тебе. А о Подпруге, который сделал не меньше, чем ты, ни слова.

— Положим, меньше. Но ты ошибаешься. Ты думаешь, тебе даром прошло, что после награждения ты догнал командующего и вместе с ним прошел до капэ? Или то, что ты ходил с ним в Ваенгу? Они считают, что ты таскаешься за ним. Хлопочешь.

— О чем?

— Ну, ясно о чем,— грубо сказал Мещерский.— Орденок хочется заработать.

— Не может быть!

— Почему же не может? Похоже.

— Ах, похоже? — с оборвавшимся сердцем тихо переспросил Незлобин и, побелевший, с остановившимися глазами, двинулся на Мещерского, который невольно отступил на шаг.

— А ты, оказывается, бешеный,— усмехнувшись, сказал он.— И кто же, ты думаешь, за тебя заступился?

— Ты?

— Нет. Малахаев. Он сказал, что ты в равной мере — заметь, в равной — интересуешься каждым из нас. И в том числе адмиралом. Кстати, никто не возражал, когда я заявил, что ты самый талантливый из военкоров. Писатель! А писателю все интересно. Короче говоря, они уполномочили меня сказать, что напрасно думали о тебе плохо. И жалеют об этом. И что они считают меня твоим другом и поэтому именно меня просят поговорить с тобой. А я, кстати, не знаю, друг ты мне или нет? — прибавил он злобно.

— Тебе судить,— отвечал Незлобин, чувствуя, что сердце возвращается на свое место, и стараясь вспомнить, куда он поставил бутылочку с атропином, который помогал ему, если начинались боли.

— Ну, ладно, будем считать, что друг. Время покажет.

Таля — Мещерскому

«Дорогой мой, пишу тебе из Перми — этого достаточно, чтобы ты понял, что в жизни произошли большие перемены. Отцу не разрешили жить под Калинином, и, выбирая другой город на Урале или в Сибири, я вспомнила, что на свете существует Пермь. Я тебе писала, что на станции Коноша я встретила майора, который чем-то был похож на мою покойную няню. Так вот, он сказал, что он только что отправил мать в Пермь, куда эвакуировалась его сестра из Ленинграда. И я подумала, что родные даже малознакомого человека могут хоть чем-нибудь помочь на первых порах. Представь себе, не ошиблась! Сестру я еще не видела, но мать оказалась созданной из чистейшего золота. Прежде всего она накормила нас — таких сытных вкусных бобов я еще в жизни не ела. Потом потащила к Райской — эта обнадеживающая фамилия принадлежит, как ни странно, председателю горсовета. Приема пришлось ждать часа четыре. Ее рвут на части, и я не перестаю удивляться, что она нашла время, чтобы устроить отца в больницу, а меня в военный госпиталь — ведь я еще в Ялте успела кончить краткосрочные курсы медицинских сестер. Карточки обещаны, а пока я каждое утро хожу на базар и меняю чулки, туфли, платья и, между прочим, губную помаду — помазала губы в первый и последний раз, когда окончила школу. В дороге насмотрелась такого... Приеду, расскажу.

Вот я написала: приеду. Но когда?

А теперь надо написать то, о чем сам догадываешься. Нет, знаешь! В том, что я делаю, о чем думаю, чем живу, загадочным образом участвуешь ты. Вообрази, например, как трудно было расстаться с платьем, в котором я тебе нравилась и которое я променяла на бутылочку постного масла.

Но самым трудным оказалось справиться с собой и не думать, что каждый день, каждый час с тобой может что-то случиться. Меня возмутили стихи о том, что надо ждать и ждать, не думая о «желтых дождях», как будто дожди, даже если они желтые, могут заставить любящего человека ждать. И вообще при чем тут погода? В любую погоду мне не пережить тебя, если это случится.

В поезде я разговорилась с одной ленинградкой, молодой, потерявшей мужа и перенесшей весь ужас блокады. Она сказала мне, что была поражена тем, как легко потребность любить и быть любимой уступает надежде сохранить жизнь. Я задумалась, а потом решила, что она все-таки неправа. Животное и человеческое ежеминутно сражаются в человеке, и слово «любить» ничего не значит, если первое побеждает второе.

И еще: мне страшно, что ты полюбил меня за то, что я была непохожа на других. (Теперь стала похожа.) В самом деле: ты знаешь, что я не крашу губы, не ношу коротких юбок, чтобы показать, что у меня стройные ноги, и была поражена, увидев на набережной Ялты француженку в брюках. И что я не люблю джаза и, слушая «Лунную сонату», едва удерживаюсь от слез. Я всегда учила своих школьниц сидеть прямо, будто у них на груди висят часики, и ходить не горбясь: где-то прочитала, что так в дореволюционных гимназиях девиц учили сидеть и ходить. Словом, в курортном городе, где все выставляют напоказ — и наряды и чувства,— выросла старомодная девица, которая наизусть знает «Евгения Онегина» и впервые поцеловалась с мальчиком, когда ей минуло восемнадцать лет. Конечно, это произошло потому, что мама рано умерла, отец был далеко, и меня приняли в свою семью милые Критские, которые помнили еще, как в Ялту приезжал МХАТ, и видели Чехова на набережной и в театре. Почему я пишу тебе о том, что ты сам превосходно знаешь? Не знаю. Может быть, потому, что мне так живо вспомнилось, как ты слушал меня: я рассказывала о себе, а ты думал о другом. О, это другое! Это твои глаза, когда тебе было все равно, о чем я говорила.

Чувствую, что повторяюсь, не помню, о чем рассказывала, а о чем нет. Словом, и в этом отношении я безнадежно старомодна. Теперь пишут так, чтобы листок можно было сложить треугольником и послать без конверта. А мне не сложить, но, может быть, ты любишь меня и за это. Очень возможно, что мы еще мало знаем друг друга. Ведь когда мы познакомились, ты был для меня просто вполне современный молодой человек, кончивший Военно-морское училище в Ленинграде, убежденный, что русская литература начинается с Шолохова, и едва одолевший «Войну и мир». Впрочем, за это я строго наказала тебя, заставив за два года прочесть почти всю русскую литературу.

Надо кончать, а мне не хочется. Приятно вообразить все снова: ялтинскую набережную, самые вкусные в мире пирожные, твои дурачества — в самом деле, я теперь не стала бы сердиться за то, что каждое утро ты посылал мне розы. И мои наставления, и как ты пришел на мой урок и я сказала: «В классе присутствует лейтенант Мещерский». Дорого бы я дала, чтобы это повторилось, хотя мои

девочки смотрели на тебя, а я несла какую-то околесицу и выглядела, без сомнения, просто дурой. С тех пор, когда я входила в класс, меня неизменно встречали твои инициалы, написанные крупно на доске. Прежде чем начать урок, я стирала их мокрой тряпкой, стараясь, чтобы у меня не очень дрожали руки.

Ну хватит. Совсем заболталась. Впрочем, я не забыла о том, что ты просил меня писать длинные письма. Горячо целую тебя. Всегда твоя Таля».

Она скажет правду

Шел третий год войны, и уже забылось, кто первый из подводников приказал выстрелить из пушки, извещая городок о победе. Незлобин, занимавшийся фольклором в педагогическом институте, знал, что в основе обычая может иногда лежать случайность. Война подтвердила справедливость этого предположения. Более того, Незлобин мог в Полярном изучить не только возникновение обычая, но все этапы его развития. Сперва вернувшаяся на базу подводная лодка орудийным выстрелом извещала о своей победе, потом победа отмечалась скромной пирушкой, на которой подробно рассказывалось то, о чем уже было доложено командующему. Потом пирушку украсил жареный поросенок, и победный выстрел связался с ним, минуя сложные, подчас смертельно опасные обстоятельства боя. Потом обычай стал обрастать подробностями, что как раз характерно для фольклора. На «поросенка» стали приглашать гостей. Кто-то надел на победившего командира поварской халат и вручил ему длинный острый нож, командир, неумело орудуя им, стал потчевать соратников огромными кусками — и обычай, впоследствии знаменитый, окончательно утвердился. Как ни странно, он имел, может быть, еле заметный, но характерный психологический оттенок: пирующие офицеры, ежедневно смотревшие смерти в глаза, были уверены в победе.

Не стоит рассказывать о том, что поросята не валились с неба. Они были теоретически в распоряжении начальника тыла, а практически, не подозревая о своей блестящей будущности, резвились в свинарнике, который находился под соответствующим наблюдением.

...Но вот выпили за тех, кто в море, за командира, за экипаж и с особенным воодушевлением за акустика, который за двадцать кабельтовых услышал шум винтов немецкого транспорта. Как всегда, в двадцать три часа исчезает командующий, расходятся офицеры и одним из последних, сопровождаемый солеными шутками, уходит виновник торжества, неузнаваемый, помолодевший, похорошевший.

Закутанное в туман светлое утро, почему-то напоминающее, что война еще далеко не кончена, входит в спрятавшийся в скалах маленький город. И после короткого беспокойного сна Незлобин садится за очерк, который он заранее назвал «Школа мужества» и который, увы, бесконечно далек от задуманной прозы. Надо рас-

сказать читателю, что третьего дня случилось с «малюткой» Подпруги, а не о том, чем, не считаясь с войной, полна чаша жизни до самого края.

С грелкой на животе он дописывал последние строки, когда Мещерский в полной форме, с орденами на груди ворвался в комнату и оторвал его от работы.

— Уф! Только что от командующего,— сказал он.— Очень хвалил и, ты не поверишь, извинился, что не встретил на пирсе. Письмо от Тали.

— Что она пишет?

— Нашла твоих и выяснила, что твоя мать создана из чистейшего золота. Помогла устроиться. Пошла с ней к председателю горсовета, словом, хлопочет карточки для нее и отца. Я тебе очень благодарен.

— За что?

— За мать. Не у каждого такая мать, чтобы бросить свои дела и заняться чужими.

— Не думаю, что она бросила свои дела,— подумав, сказал Незлобин.— У нее это как-то выходит: и свои и чужие. Когда я вывозил ее из деревни, ты бы видел, как ее провожали.

— А вот у меня нет матери,— сказал Мещерский.— И даже кажется, что никогда не было.

— Зато у тебя есть Таля.

— Да. Мне в тысячу раз легче стало жить с тех пор, как появилась Таля. Я теперь твердо знаю, что мне повезет и я выйду из этой заварухи живой и здоровый. Конечно, случай предвидеть нельзя, но Таля сильнее, чем случай. Ты не поверишь, я однажды к ней на урок пришел.

— И что же?

— Ответила на поклон, а потом спокойно так: «В классе присутствует лейтенант Мещерский». И продолжает рассказ о Береге Слоновой Кости. Ты знаешь, я люблю географию, много читал, но тут положительно уши развесил. Она такое рассказала, о чем я понятия не имел. И так живо, с подробностями, как будто она на этом Берегу родилась. Мужчину и женщину нарисовала на доске, хижины на сваях и пальмы.

— Рассердилась?

— Ничуть! Даже сказала: «Вот не думала, что ты такой умный мальчик. Догадался, что мы должны знать друг друга»...

— Ты скажешь — счастье,— говорил он через час, в течение которого Незлобину не удалось сказать ни слова,— нет, это больше, чем счастье. Это понимание, что у меня есть не только прошлое, но и будущее. Меня никто не любил. Должно быть, есть во мне что-то отталкивающее, какая-то оскорбленная гордость. Всем рядом со мной как-то неудобно, неловко. Кроме Тали,— прибавил он с засиявшим лицом.— Ты знаешь, это было, как будто я куда-то летел без оглядки, и вдруг все оказалось гораздо проще, чем я думал. Однако какой же я дурак,— перебил он себя,— ведь я пришел, чтобы поговорить с тобой о деле. И очень важном. Послушай, она приедет ко мне как невеста,

и все встретят ее как мою невесту — ведь это трогательно: к подводнику приехала невеста, которая — кто знает,— едва выйдя замуж, может оказаться вдовой. Но я не сомневаюсь в том, что Эмма Леонтьевна будет расспрашивать Талю, откуда она, кто ее родители, где они живут. Так вот, убеди ее, что никто не должен знать об ее отце. Объясни ей, что командование не станет интересоваться родственниками боевого офицера.

— Ты собираешься подать рапорт о заключении брака?

— Да.

— Могут спросить.

— В том-то и дело! — с отчаянием ответил Мещерский.— А если спросят, она скажет правду. Как я ни убеждал ее, как ни умолял,— ни за что! Ты представляешь, с каким злорадством схватятся за эту историю все сплетники в Полярном.

Он был прав. В Полярном было даже «общество сплетников», устроенное, разумеется, в шутку одним офицером. Но тут было не до шуток.

— Она не понимает, что мне этого не простят.

— Почему именно тебе?

— Да так уж,— с горечью ответил он.— Завтра поговорим, ладно? А теперь, знаешь, пойдем в капернаум. Я знаю, ты не пьешь, так пригубишь! Для компании!

Капернаум — так офицеры замысловато назвали Дом флота, где на третьем этаже в буфете можно было получить «сто грамм», а то и полтораста.

— Ладно. Ты иди, а я кончу статью. Редакция торопит.

Снежный заряд

Живот не болел, и Незлобин не понимал, почему он заснул и через четверть часа проснулся. У него были ночи, когда он вспоминал прошлое и в этих случаях неизменно жалел себя, казалось бы, без всякой причины: если бы он не был заметным журналистом, его бы не прикомандировали к «Известиям». Он работал в «Известиях», его корреспонденции ценятся, и одна была даже перепечатана в «Красной звезде». Правда, проклятая язва мешает ему жить, но вот у командира разведчиков Петрова тоже язва, и он не обращает на нее никакого внимания. Мать была у черта на рогах, а ему, Незлобину, удалось отправить ее в Пермь, большой город, где даже нет затемнения. Стыдно так думать, но если бы не война, он бы так быстро не выдвинулся. Его узнали в журналистских кругах, и он даже получил письмо от какой-то ученой девицы, которая считала, что от его очерка «Белая яхта» не отказался бы Александр Грин. Едва ли его перебросят на другой фронт, а в Полярном его узнали и, кажется, полюбили. Если не считать этой истории с подводниками, которые решили, что он подличает перед адмиралом.

Был третий час, а он почему-то еще не спал. Все думалось и, между прочим, не о завтрашней встрече с командиром подлодки, удачно атаковавшей немецкий линкор, а о том, что приезжает Таля. И о том, как устроить ее в Полярном. Что, если поговорить, например, с Эммой Леонтьевной, женой члена Военного совета? Он расскажет ей, что Мещерский ждет невесту,— это было событием! Конечно, им придется поехать в Мурманск, здесь нет загса, но магическое слово «невеста» завтра же облетит весь городок! Да, решено! Он пойдет к Эмме Леонтьевне и, глядя в ее доброе, красивое лицо, скажет, что на первое время можно, пожалуй, поселить Талю с Наташей, продавщицей военторга, но одновременно поговорить с комендантом о другой комнате, непременно отдельной. А может быть, Эмма Леонтьевна даже пригласит ее к себе, ведь Рассохины живут в большой, просторной квартире.

Он задремал или, может быть, забылся на две-три минуты, а потом почему-то стал думать, что он, в сущности, одинок. У него нет ни жены, ни детей, и его никто не любит. Женщины, с которыми он был близок, любили не его, а себя. Любовь, о которой так много писали и пишут поэты, в сущности, всего лишь потребность быть любимым — и только. Он был нежен с ними, заботился о них, помогал им, и почти все, когда он стал хорошо зарабатывать перед войной, не отказывались, если он предлагал им деньги. Самая умная была зануда, любившая советовать, как ему нужно писать, хотя сама писала очень плохо. Но и о ней он вспоминал с нежностью. Была беспечная, даже отчаянная, но одновременно не упускавшая возможности сделать карьеру,— о ней он думал тоже с нежностью, но и с легким оттенком отвращения. Все-таки чем-то она была очень, очень близка. И вообще, что ни говори, а ведь женщины украсили его жизнь, хотя его всегда раздражало, что все до одной хотели выйти за него замуж. Этого он никогда не мог представить себе — и не по недостатку воображения. Просто он был убежден в том, что семья — это что-то прочное, повторяющееся или по меньшей мере удерживающее человека на одном месте годами, десятилетиями. А на одном месте он жить не мог. Инстинктивные поиски новизны — это, кстати, касалось и женщин — были у него в крови. Из любви к матери, огорчавшейся его бродяжничеством, он поступил в педагогический институт, но добрался только до третьего курса. И ведь нельзя сказать, что он переезжал с места на место без всякого толка. В этой жажде бродяжничества, в этих скитаниях его не покидало то чувство, которое он испытывал, принимаясь за чтение каждой новой книги: он искал свое. В неожиданной встрече, в рассказе случайного попутчика, в панораме, раскинувшейся с площадки вагона, пряталось свое, и надо было его открыть и запомнить. Может быть, когда-нибудь он напишет роман, в котором найдут свое место и поездка за матерью и встреча с Талей. Но это было уже прошлым, а настоящим был снежный заряд, который мог обрушиться на Полярное и в июле. Заряд? Он вскочил с койки и подошел к окну: да, свистящий шум ветра, ворвавшийся в его размышления, был снежным зарядом, бешеным вихрем снега, мгновенно завалившего Вторую линию, на которой жил Незлобин.

Ему удалось уснуть к утру, когда заряд стал слабеть и где-то показалось солнце, осторожно опустившее в море свои светящиеся бледные стрелы.

Если сравнить театр как искусство с театром военных действий, для немцев зимой наступал антракт, а для нас время энергичных действий. Летчики без прикрытия бомбили аэродромы и базы. Свободно маневрировавшие в Мотовском заливе миноносцы обстреливали неприятельские окопы тяжелыми фугасными снарядами, катера чаще отправлялись на поиски судов, подводники меньше опасались авиации и могли не уходить далеко в море на зарядку аккумуляторных батарей.

Работы у Незлобина прибавилось, а здоровье стало сдавать. Все чаще приходилось ему лежать с грелкой на животе, все реже он бывал у разведчиков и торпедоносцев. Молодые военкоры обгоняли его, а однажды случилось даже, что он два дня просидел над корреспонденцией, в которой рассказал об удачном походе Подпруги, утопившего эсминец. Газеты запоздали, и он прочел в «Известиях» корреспонденцию об этом походе. Его опередил молодой Харламов, хорошенький, как девушка, маленький, с чистым, ясным лицом. «А пожалуй, что и не хуже»,— сравнивая обе статьи, вяло подумал Незлобин...

В прошлую зиму не так свирепо ревели северные ветры, разводя в океане крупную зыбь. Как будто сам Посейдон с громовым треском ежеминутно разрывал над сине-зелеными волнами необъятное полотно.

Чайки, которых Незлобин почему-то ненавидел, носились как обезумевшие, и он не мог привыкнуть к их пронзительному, хриплому, скрипящему, как тупая пила, крику.

В ущелья между горами с бешенством врывалась и кипела вода.

Снег не падал, как полагается снегу, а рвался, стараясь не промахнуться и ударить прямо в лицо. Корабли возвращались, покрытые льдом от борта до мачт, похожие на айсберги, и казалось, что на них нет и не может быть ни малейшего признака жизни.

Это была не зима, а зимища, покрывшая маленький городок колючим белым покровом, тускло блестевшим во мгле полярной ночи и превратившим улицы в узкие тропинки, которые надо было знать или угадывать, чтобы не заблудиться.

Из блокнота Незлобина

1. Разведчики доносят, что немцы вместе с техникой везут упакованные в целлофан, нарезанные ломтями буханки хлеба. Этикетки удостоверяют, что только этой фирме доверена честь снабжать доблестную армию великой Германии.

2. После удачного торпедного залпа катера то и дело вынуждены отворачивать, чтобы не наткнуться на плавающие косяками трупы

альпийских стрелков в синих шинелях. Все как один — безусые юноши.

3. Комендант Полярного. Пожилой капитан в долгополой, застегнутой на все пуговицы шинели и ботинках, начищенных до блеска. Моряки, любящие пофорсить, в укороченных бушлатах, в лихо примятых бескозырках, обходят стороной главные улицы, чтобы не провести сутки на гауптвахте остриженными наголо «под комендантскую польку».

4. «Быть вызванным к бате на ковер» — предстать за провинность перед командующим в его КП.

5. В тот день, когда мы с Мещерским поссорились, а потом помирились, он перед походом стоял на командирском мостике в распахнутом меховом реглане, из-под которого был виден крахмальный воротничок, обернутый белым шелковым шарфом. Мода надевать все лучшее, идя в бой, мне кажется, связана с обычаем обряжать покойника в чистое белье перед погребением.

6. Сложный, тщательно подготовленный, удачно высадившийся десант с тяжелыми боями добрался до заданного рубежа, но к нему навстречу не вышли сухопутные войска. Пришлось вернуться на суда. Когда обратная переправа была закончена, выяснилось, что на той стороне остались бойцы, которым было приказано перенести ящик с гранатами. Разведчики высадились на берег, уже занятый немцами, взорвали гранаты под плотным огнем и благополучно вернулись на катера. Харламов участвовал в десанте. Много и интересно рассказывал, а написал бледно и сухо.

7. Зимой каждый выход катеров в океан — подвиг. Палубу заливает ледяной водой, и получается горбатый мостик, соскользнуть с которого на ходу за борт ничего не стоит. Одежды на моряках покрываются прочными ледяными латами и становятся тяжелыми, несгибаемыми, ломкими. Кожаный шлем примерзает к плечам и вороту, и голова получает свободу только внутри него. Катер так бросает и бьет о воду, что картушка компаса мечется как угорелая в своем котелке, и верить показаниям этого прибора становится опасно. Если у командира нет опыта плавания по другим ориентирам, он легко может оказаться вместо своего берега под батареями врага. После такого похода переодеться бы в сухое байковое белье, посидеть у жарко натопленной печки и отоспаться потом под теплым одеялом. Но команда дежурных катеров позволить себе этого не может. Они обсыхают у горячих моторов, спят в нетопленых кубриках и т. д. (Из записок адмирала Платонова.)

У Мещерского были неприятности. Глава английской миссии адмирал Ф. вздумал научиться играть на балалайке и попросил кого-нибудь дать ему несколько уроков. Выбор пал на Мещерского, который недурно играл на гитаре, а на балалайке мог только бренчать. В командовании знали, что он немного говорит по-английски.

Он отправился объясняться с начальником штаба (командующий был в Москве), заметив, что, согласно уставу ВМФ, никто не может

заставить его превратиться в учителя музыки и получил мягкий, но настоятельный ответ.

— Вас никто не заставляет, товарищ капитан-лейтенант. Вас просят, и отказать адмиралу Ф. неудобно. Три-четыре урока.

Черный, как туча, он из штаба зашел к Незлобину.

— Позвольте представиться: персонаж из известного фильма «Антон Иваныч сердится». Даю уроки на балалайке. Адмирал Ф. в таком восторге от русского искусства, что ему хочется персонально проникнуть в его глубину с помощью балалайки.

И Мещерский долго и вкусно стал ругать адмирала Ф. и заодно всю английскую миссию. Незлобин, не прерывая, слушал его с наслаждением. Он любил выразительную ругань.

— Ну, я ему покажу, сукину сыну! — на прощание сказал Мещерский.

И действительно, первый же урок оказался последним. Мещерский показал Ф., как надо держать балалайку, как ее настраивать, объяснив, между прочим, что инструмент непременно надо держать в темном, сухом месте — «сухом и теплом, но не выше 25 по Реомюру». Потом он сыграл «Ах, вы сени, мои сени», притопывая правой ногой, «поскольку этот звук, сказал он, как бы входит в мелодию песни».

— Я не сомневаюсь,— с любезной улыбкой заметил он, передавая балалайку Ф.,— что, если вам удастся овладеть таким сложным инструментом, это сразу поставит вас на голову выше всех других лордов адмиралтейства.

Ф. был достаточно умен и на следующий день попросил назначить другого учителя.

Через два дня Мещерскому предстоял поход, и, уходя, он оставил Незлобину записку: «У меня к тебе просьба, Вадим. Вчера получил телеграмму от Тали. Будь другом, постарайся встретить ее на пассажирской пристани и помоги устроиться. Не знаю, когда я вернусь. Надеюсь, через неделю. Заранее благодарю. Твой М.»

Таля в Полярном

Незлобин боялся, что Таля не узнает его, но она не только узнала, но сразу же подбежала к нему, энергично растолкав толпу выгружавшихся женщин.

— Здравствуйте. Я рада вас видеть. А где Саша?

— Он в походе и просил меня встретить вас,— улыбаясь от непонятного радостного чувства, ответил Незлобин.— Ну, как вы добрались?

— Прекрасно. Он скоро вернется?

— Скоро,— соврал Незлобин.

— Сегодня?

— Не знаю. Может быть, через несколько дней.

Он не сказал, что Мещерский может совсем не вернуться.

— Прежде всего, пожалуйста, снимите мешок.

— Зачем? Он мне не мешает.

— Переломитесь.

И, смеясь, он взялся за лямку большого заплечного мешка, под которым Таля и впрямь, казалось, могла переломиться. Маленький чемоданчик он оставил Тале.

Ему хотелось спросить, как себя чувствует ее отец, но было страшно, и она, как будто угадав, сказала, что не уехала, пока он не стал поправляться.

— Мы оставим вещи у меня и пойдем в столовую.

— Да, мне очень хочется есть.

— Вот и прекрасно! — радуясь, что Тале хочется есть, сказал Незлобин.— А потом...

И он объяснил, что денек она проживет в комнате Наташи, продавщицы военторга, а он тем временем попросит жену члена Военного совета поговорить с комендантом.

— Она славная, добрая, а если я скажу ей, что к Мещерскому приехала...

Он запнулся, и Таля почему-то не помогла ему, промолчала.

— Ну, словом, близкая родственница.

— Почему же? — тихо спросила Таля, и Незлобин вспомнил, как в Коноше ему почудилось, что она о чем-то все время спрашивает себя.— Скажите: невеста.

Они перешли мостик над оврагом и уже поднимались к линиям, сверкавшим после ночного снежного заряда. Лестницы, подбегавшие к подъезду справа и слева, были полузанесены, и разболтавшийся Незлобин рассказал, что еще недавно он скатывался с них, как с ледяной горки. Дверь его комнаты была открыта, и дверь Наташиной, когда они заглянули к ней,— тоже.

— Вот у вас как! — весело сказала Таля.

— Да. А что?

— Не воруют?

— Некогда. Война.

— А можно умыться?

— Конечно.

— И переодеться?

— Делайте, что хотите.

Они пошли в «Ягодку», так называлось кафе-столовая рядом со стадионом. За обедом Незлобин съел бифштекс с луком, совершенно забыв, что ему запрещено все жареное и острое, а потом в лавке военторга познакомил Талю с Наташей, которая оказалась маленькой, толстенькой, кругленькой, с кокетливыми порядками, похожей на матрешку в своем красном платочке. Незлобин считал, что она еще и добренькая, однако перехватил, поселив Талю в ее комнате без разрешения хозяйки. Наташа потемнела, нахмурилась и стала говорить односложно. Очевидно, у нее были серьезные поводы, чтобы жить одной, и Незлобин нехотя разрушил ее ближайшие планы. Но магическое слово «невеста» мгновенно вернуло ее лицу прежнее

доброжелательное выражение, и, оставив девушек в оживленном разговоре, Незлобин побежал к Эмме Леонтьевне. И она с первого слова согласилась принять невесту Мещерского, хотя когда она видит этого офицера, ей всегда кажется, что кто-то вцепился ему в ляжку.

Мать — Незлобину

«Дорогой мой, ты, наверно, беспокоишься, что от меня нет писем. Но дело в том, что я до сих пор не могла сообщить тебе обратный адрес. И вообще приходится немного пожалеть, что ты сорвал меня с места в Ручьях, где я была полезна и меня уважали. Пойми, я Ларису не виню. Ты ведь знаешь, от нее ушел подлец муж. Она работает в Кировском театре портнихой, возвращается только к вечеру, у нее много клиентов, и это понятно, что ей нет дела до матери, свалившейся как снег на голову, когда она меня не ждала. И действительно, она не могла прописать меня в своем номере. Днем номер пустует, а на ночь ей приходилось бы выставлять меня в вестибюль, где сидят на чемоданах и спят на полу такие же бездомные люди. Но она, без сомнения, могла бы попросить своего высокого покровителя за меня и не говорить, что это ей неудобно. По моим понятиям, просить за мать всегда удобно, тем более что одевается она теперь прекрасно и еще никогда, мне кажется, не была так красива. Но не беда. Я не растерялась и пошла в жилотдел, где мне объяснили, что гостиница действительно переполнена, добрая половина отдана работникам театра, а еще живут ленинградские писатели с семьями, и вообще эвакуированными буквально набит весь город, а у меня в паспорте стоит Вологодская область. Я не жаловалась, но, по-видимому, они кое-что знали, потому что мне было сказано, что в семейные дела жилотдел по профилю работы вмешиваться не может. Но ведь ты знаешь меня, дождалась приема у председателя горсовета, женщины, о которой в городе отзываются как об очень приличной. И действительно, ты не поверишь, она приняла меня очень сердечно, а когда узнала, что ты военный корреспондент и на фронте, сказала, что читала твои статьи и что вся страна читает их с восторгом. Потом устроила в одну интеллигентную семью и распорядилась, чтобы мне выдали карточки и прописали. Правда, я живу на кухне, в уголке за портьерой, но относятся ко мне хорошо, тем более что я получила какое-то сало, которое мне было противно есть, и отдала его хозяевам.

Дорогой мой, как ты? Как твое здоровье? Правду ли ты мне сказал, что командующий флотом после гибели одного военкора запретил вам участвовать в боях и походах? Зная твой характер, я представляю себе, как ты был огорчен этим приказом.

Я живу недалеко от «семиэтажки» — так называют здесь гостиницу — и иногда хожу туда в очередь к титану за горячей водой. И, представь себе, впервые услышала здесь «Кто крайний?» вместо

привычного «Кто последний?». Это показалось мне странным. А как же быть с Пушкиным? «Последняя туча рассеянной бури». Кроме того, я подтолкнула зазевавшегося мальчишку, который стоял передо мной, а это оказался пожилой и даже старый лилипут. Вообрази, какая неловкость. Я пишу тебе о мелочах, потому что, к сожалению, поговорить в чужом городе совершенно не с кем. Извини меня. В общем, все благополучно. Лариса сегодня зашла ко мне, ужаснулась и обещала поговорить о другой комнате со своим покровителем. Кроме того, она вручила мне два билета в Кировский театр. О моих впечатлениях я расскажу тебе в следующем письме. До свиданья, мой мальчик. Твоя мама».

«Не попасть бы к обеду»,— подумал, взглянув на часы, Незлобин. Но Эмма Леонтьевна уже пообедала и куда-то собиралась — перед зеркалом в передней надевала белую меховую шапочку, в которой выглядела красавицей, о чем немедленно сообщил ей Незлобин,— у них были шутливо-дружеские отношения.

— В самом деле? Идет, да?

— Очень!

— Слушайте, Вадим Андреевич, какую прелесть вы мне подкинули! Я говорю о Тале. Умница, начитанная и держится просто, как английская королева. Она вчера вымыла кухню и коридор, несмотря на мои настояния, а потом прибавила к нашему скромному обеду котлеты из трески, да такие вкусные, что мой Андрей Александрович съел две и попросил третью.

В Полярном знали, что член Военного совета не разрешал жене пользоваться никакими «рационами для начальства».

— А сегодня утром — как вам это понравится — выстирала занавеску в столовой.

У Эммы Леонтьевны был мягкий смеющийся голос, и сама она была домашняя, уютная, все сразу устраивалось вокруг нее именно как до́лжно — удобно и спокойно. В годы войны это чувствовалось особенно сильно.

— Вы к ней? Или ко мне?

— Сперва к ней, а потом, если разрешите, и к вам.

— Я сегодня занята. Военный кружок для женщин.

Она позвала Талю, простилась и ушла.

Что-то изменилось в Тале за последние дни — можно было подумать, что она знает, зачем к ней пришел Незлобин. Она была смугло-румяная как всегда, и глаза по-прежнему как бы спрашивали: «Что со мной?» Но под этими большими, карими с блесточками глазами были теперь темные круги, а на лице остались неуловимые следы слез, и Незлобин, у которого дрогнуло сердце, мгновенно забыл первую фразу, с которой он хотел обратиться к Тале.

— Я Эмме Леонтьевне сказала о папе. Она посоветовала никому об этом не говорить. А я, если спросят, не стану скрывать. Вы друг Мещерского?

— Он иногда в этом сомневается. Но я ваш друг, и то, что вы мне скажете, останется между нами.

— Мне почему-то кажется, что вы его совсем не знаете. Он сложный человек. Он был глубоко оскорблен еще в детстве. Мать рано умерла, отец всю жизнь тяготился тем, что он дворянин, бросил семью в пустой квартире, уехал на Дальний Восток, нанялся на стройку и пропал без вести. С пятнадцати лет Саша жил в общежитии, работал и учился. А когда окончил школу и поступил в военно-морское училище, целый день провел у могилы матери. Ему некому было сказать, как он счастлив.— Она помолчала.— Не знаю, что он скажет о моем решении. Может быть, уговорит солгать?

Незлобин задумался.

— Таля, милая, вот что я вам скажу: во время войны все это значительно сгладилось. Командование не станет особенно копаться в биографии отца будущей жены боевого офицера. И все-таки надо позаботиться, чтобы это не распространилось. Кроме Мещерского и меня, ведь никто еще не знает.

— Нет, знает,— перебила его Таля.

— Кто же?

— Я же вам сказала: Эмма Леонтьевна. Она меня расспрашивала, и я не стала скрывать. Я не стыжусь своего отца. Он был обвинен по ложному доносу.

— Эх, Таля, да кто же станет здесь, в Полярном, на третий год войны разбираться, по ложному ли он был обвинен доносу? Станут болтать не о нем, а о вас. Ну, скажем, Эмма Леонтьевна — опытный, сердечный человек. Можно не сомневаться, что она прекрасно поняла, что ваша откровенность, как говорили в старину, не должна переступить порог этого дома. Но если это случится... Я не знаю, как поступит Саша.

— А я знаю. Пойдет к командующему и расскажет.

— О чем?

— Об отце и что мы любим друг друга.

Незлобин живо представил себе, как прозвучит это признание на флагманском пункте.

— Говорят, он человек сердечный и добрый. Я ночью плакала.

— Почему?

— От страха. Боюсь за Сашу.

— Я знаю по меньшей мере десять офицеров-подводников, которые воюют уже два года, и с ними пока еще ничего не случилось.

Он не договорил. Входная дверь хлопнула, послышались шаги, и Эмма Леонтьевна сказала еще из прихожей:

— А, Незлобин, вы еще здесь? (Она всех называла по фамилиям.) Очень хорошо. Кружок не состоялся. Пришла только я. Вы одинокий мужчина и как таковой не откажетесь в семейном доме от чашки чая.

Зашел разговор о том, где поселиться Тале, и Эмма Леонтьевна вдруг предложила остаться у нее.

— Квартира большая, мой Андрей Александрович редко бывает дома. Нам будет о чем потолковать. И беспокоиться вместе веселее.

Прогулка

Это была счастливая неделя, по меньшей мере для Незлобина, хотя боли время от времени схватывали его, а идти в госпиталь, глотать барий, от которого долго оставался неприятный вкус во рту, ему смертельно не хотелось. Кроме того, он боялся хмурого, сердитого хирурга, который под рентгеном безжалостно мял сильными жилистыми руками живот, говорил односложно и подозревал, что Незлобин надеется воспользоваться болезнью, чтобы удрать с фронта. А к главному хирургу Северного флота, высокому, стройному, моложавому и уже седому, он обратиться не решался. И все-таки неделя была счастливая, отмеченная, одна из немногих в жизни. Он был уверен, что она запомнится надолго.

Он вскакивал в шесть утра, стараясь не разбудить Петю, который — в комнате было прохладно — едва высовывал из-под одеяла свой маленький нос. На носу было как бы написано, что его владелец отнюдь не настаивает на немецкой фамилии Розеншильд-Паулин и подписывает свои статьи просто: Н. Павлинов.

После завтрака, более чем скромного, Незлобин работал до десяти над очередным очерком, а потом забегал на базу подплава узнать, нет ли новостей, и новости, едва ли не ежедневные, были.

Потом, преодолевая желание забежать к Тале в «циркульный» дом, Незлобин шел в библиотеку Дома флота — надо было просмотреть свежие газеты и обменять книги: у него была вредная привычка: положив грелку на живот, читать по ночам.

И все, что происходило в этот день: встречи с моряками, чтение газет, беглая запись того, что могло пригодиться,— было связано с мыслью, что скоро или даже не очень скоро он увидит Талю.

Так уж повелось, что часам к пяти его встречала улыбающаяся, подшучивающая над ним Эмма Леонтьевна, а потом появлялась из комнаты Таля. Именно появлялась — и всякий раз в глазах Незлобина это было не появление, а явление. Чай был необычайно вкусный, семейный, домашний, а разговор — шутливый и легкий. Незлобин, любивший, но не умевший рассказывать анекдоты, начинал, доходил до середины, задумывался, вспоминал, и смешливая Эмма Леонтьевна первая начинала смеяться и под общий хохот придумывала свое окончание.

Она оставалась дома или уходила на заседание совета жен Северного флота, а Таля с Незлобиным шли гулять.

Это была первая, запомнившаяся на всю жизнь прогулка.

Они спустились по гранитной лестнице от «циркульного» дома к пирсу. Сумерки были прозрачные, над городом — серые, над бухтой — сиренево-голубые. Екатерининская бухта лежала в полукольце сопок. Просветы в гранитных скалах были белые от снега и напоми-

нали гигантских фантастических зверей, смирившихся, поджавших под себя лапы, покорно опустивших на грудь длинные морды.

— И подумать только, что десять лет тому назад здесь не было ничего, кроме одного деревянного домика, в котором помещалась служба связи,— сказал Незлобин, который не был здесь десять лет тому назад и не имел никакого понятия ни об этом домике, ни о самом Полярном.

— А почему так быстро меняется цвет воды?

— Черт ее знает! Мне она напоминает цвет бутылки от темного пива.

Прошел буксир, и за ним потянулись два уса, один длинный, второй почему-то покороче.

Таля сказала, что больше любит слушать, чем говорить, и Незлобин с удивлением подумал, что никогда в жизни он не говорил так много. Мостик рядом с Домом флота он назвал местом любовных и деловых свиданий. Он рассказывал забавные, а иногда не очень забавные истории, происходившие у него на глазах: на некоторых эсминцах были ручные медведи, и один из них, молодой, удрал ночью и, побродив по городу, наткнулся на артиллерийские установки. Вахтенный крикнул: «Кто идет?» Медведь заревел и, не испугавшись холостого выстрела, продолжал подниматься вверх. Растерявшийся вахтенный побежал к начальству. За любознательным мишкой гонялись всю ночь — это было зимой,— и только когда стало посветлее, он, смирившись, вернулся на корабль.

...Говорили о Чехове, которого оба любили, о значении красоты, о том, что человек, который влюбляется в дурнушку, влюбляется со всей силой страсти, потому что это говорит не о прихоти вкуса, а о тайне любви.

— Да есть ли она, эта тайна? — спросила Таля.— И в чем она заключается, хотелось бы мне узнать. Вот я, например, дурнушка, похожа на монголку, скулы торчат, волосы некрасивые, слишком черные, и вообще все лицо как будто покрасили сажей, а потом вымыли, но небрежно, кое-как.

Суха, как палка,
Черна, как галка,
Увы, весталка,
Тебя мне жалко,—

продекламировала она и засмеялась.— А Мещерский любит меня со всей силой страсти, как вы говорите. Значит, в равнодушии к внешности — тайна любви?

— Вы дурнушка? — с изумлением спросил Незлобин.— Вы похожи на Марию Стюарт. Но Мещерский... Дело в том, что только рядом с вами он чувствует себя человеком. Ведь любить — это значит чувствовать себя человеком. Как это ни странно, люди почти никогда не вспоминают о том, что они люди, а некоторые за всю свою жизнь так и не догадываются об этом.

Они прошли до конца Первой линии и, обогнув последний домик, добрались до прудика, сверкавшего под весенним солнцем.

— Впрочем, в его жизни бывают минуты, когда он забывает о вас.

— Я догадываюсь. Когда он видит немецкий корабль и командует: «Аппараты, товсь!» Кстати, что такое это знаменитое «товсь»?

— Морское слово, которое вы не найдете ни в одном словаре. Вероятно, некогда оно звучало полностью: «Приготовиться!» Как «есть» произошло от английского «yes».

Они помолчали.

— Иду и думаю, что вы хотите о чем-то важном мне рассказать. И не решаетесь.

— А вы не догадываетесь?

— Нет. Я только хочу уверить вас, что вы ничего не должны от меня скрывать.

— А если это очень трудно?

— Почему же трудно? Все останется между нами.

Таля вздохнула.

— Не могу.

— Ну, тогда я скажу: мне жаль Мещерского и в особенности теперь, когда вы рассказали мне о его юности и я понял, что все его обиды, странности, дикие выходки не упали с неба. Всем известно, что адмирал командовал морскими силами в Испании, а он спрашивает у него, был ли у республиканцев флот. Приятель не встретил его у пирса после похода, принимал ванну. Он пришел и бросил в ванну уличную собаку. Этот приятель был, кстати, ваш покорный слуга.

Таля рассмеялась.

— Откуда он ее взял?

— А прямо с улицы. Первую попавшуюся собаку.

— Это на него похоже!

— Вы знаете, что такое áура?

— Нет.

— По-латыни это кажущееся дуновение ветерка перед припадком эпилепсии. Но теперь это слово употребляют в более широком смысле. Ведь люди живут среди других людей, и у каждого свой строй мыслей и чувств, своя душевная атмосфера. Мы связаны в положительном или отрицательном смысле. Так вот, Мещерский ни с кем не связан, кроме вас, разумеется. У него своя аура, он одиночка. И вы для него — путь к другим людям. Вот почему я сказал, что не знаю, друзья мы или нет.

Они поднялись по лестнице, вырубленной в скале, и спустились по другой лестнице в Старое Полярное. Это был небольшой поселок — рыбачьи хижины, перед которыми на стойках были протянуты сети. Рыбный промысел — Незлобин рассказал и об этом — в годы войны неожиданно упростился: морские охотники бомбили подводные лодки противника, и местные жители подбирали всплывающую, оглушенную взрывами рыбу.

— Вряд ли мы достанем что-нибудь, кроме трески,— сказал Незлобин.

Таля взглянула на его озабоченное лицо и засмеялась. До сих пор

о покупке рыбы, разумеется, для Эммы Леонтьевны, не было сказано ни слова.

— Ага! — по-детски сказала она.— И надо купить ей огромную рыбу. Мне хочется, чтобы она удивилась.

Огромную рыбу купить не удалось. Купили две среднего размера, да и те завернуть было не во что, и пришлось купить на почте старые газеты.

Таля не ждала письма, а Незлобин ждал — мать давно не писала. И действительно, письмо до востребования лежало на почте уже несколько дней. Он извинился перед Талей, распечатал конверт и прочел письмо — сперва глазами, а потом вслух — когда они возвращались.

— Моя мать — занятная женщина,— сказал он, смеясь,— свободно говорит на двух языках, любит цитировать Гейне, лечит ячмени на веках обручальным кольцом и не пропускает ни одного спектакля эвакуированного в Пермь ленинградского оперного театра. Вот что она мне пишет: «Я стояла в очереди за кипятком у титана в гостинице, а передо мной какой-то мальчик. Он прозевал очередь, задумался, я толкнула его в спину, он обернулся. Батюшки светы! Это был старенький лилипут с очень грустным, между прочим, лицом. Впрочем, кажется, я об этом тебе уже писала. Застрял он у меня в голове, обидела я его и даже не извинилась.

Сегодня выдали сало, сахар заменили леденцами. Я познакомилась с актерами и теперь не пропускаю ни одного спектакля. Была на «Лебедином» с Улановой, на «Евгении Онегине». В антракте даже хотела пойти за кулисы поблагодарить Уланову, но постеснялась. Послала ей письмо, в котором выразила свое восхищение». Вы только подумайте! Хотела отправиться как ни в чем не бывало поболтать с Улановой,— смеясь, сказал Незлобин и продолжал читать: — «Я взяла шефство над одним мальчиком в детдоме, который мне очень понравился, потому что похож на тебя. Теперь навещаю его очень часто, и, если разрешат, я возьму его к себе, потому что мне здесь все-таки очень одиноко. Лариса изредка заходит. Одевается небрежно, но изящно, считая, что это ей очень идет. Я сказала ей, что у меня нечаянно вырезали жиры (разумеется, не натуральные, у меня их нет, а из карточки), и она принесла мне постного масла. Хватило бы на лампадку, если бы я была богомольна. Я не удержалась и сказала ей, что ненавижу тех, кому война пошла на пользу, потому что в такое время думать только о себе — подлость. Мне противно даже то, что она считает себя передо мной виноватой».

— А мне очень понравилась ваша сестра. Но почему они не живут вместе? Они в плохих отношениях?

— В хороших,— ответил Незлобин.— Но это сложная история. Вам интересно? Длинное письмо.

— Интересно. Очень.

— Тогда я дочитаю до конца. «Сюда приехал гипнотизер Вольф Мессинг, и я присутствовала на сеансе, когда он находил спрятанную зрителями вещь — часы, гребенку, портмоне. Я спросила, каким образом это у него получается, и он, представь себе, ответил: «Мне

помогают судьба, Библия и талмуд». Конечно, все врет, и человек без вкуса. Но при чем тут Библия?

Сегодня выдали банку сгущенного молока, и я отнесла ее мальчику в детдом. Его зовут, между прочим, как тебя,— Дима! А ты тоже хорош! Обещал писать два раза в месяц, а я до сих пор получила только одно короткое письмо. Знаю, что ты очень занят, но мать есть мать, и об этом забывать не должно. Я иногда читаю твои статьи. Недурно, но чувствуется, что ты хотя и увлечен, но далек от того, о чем пишешь, и стараешься, чтобы этого никто не заметил».

— У вас умная мама,— заметила Таля.

— Да,— радостно согласился Незлобин.— Очень. И я без нее скучаю. Ну, дальше ласковые слова и тоже о том, что она без меня скучает. Но я не скоро увижу ее.

— Почему? Будет отпуск.

— Потому что я болен, милая Таля. Правда, командир бригады подводных лодок пригласил меня пожить на базе и обещал строгую диету, но это смешно, и я, конечно, отказался. Надо ложиться в госпиталь, а прежде надо... Многое надо! Ну, рентген и прочее. Поговорим о другом.

С утра в этот день Незлобин был у разведчиков, взявших «языка», многое записал и, не теряя времени, вернувшись, взялся за работу. Командир разведчиков нравился ему. Это был тот самый Петров, с которым он познакомился на «поросенке». У них был общий интерес: язва желудка.

— В бою почему-то, сволочь, совершенно не болит,— а после боя хоть головой о стенку!

«Языка» он уже отправил в штаб, но рассказывал о нем так интересно, что Незлобин дважды останавливал его, записывая подробности, которые могли пригодиться.

«Пленный ефрейтор немного говорит по-русски, впрочем, не лучше, чем я по-немецки. Из горно-егерской дивизии. Плешивый и в очках, которые он потерял, когда мы его брали. «Теперь, говорит, мне все равно. Я рад, что попал в плен». Он учитель. Что-то процитировал по-немецки. Это было стихотворение. Я понял и перевел. Впрочем, до меня это стихотворение перевел Лермонтов: «Подожди немного, отдохнешь и ты». Словом, поладили, хотя сопротивлялся отчаянно, и если бы не наш боксер,— Петров указал на одного из разведчиков,— мы бы его не взяли».

Незлобин кончал корреспонденцию, когда пришел Мещерский. Лодка вернулась. Он похудел, отпустил усы, сделавшие его похожим на армянина, седые волосики поблескивали на висках. Прямо с пирса побежал к Тале, потом был вызван к командующему и провел у него почти два часа. Потом вернулся к Тале.

Перед походом

Они проводили вместе целые дни. Много ли расскажешь в письмах, которые к тому же часто пропадали? Таля рассказывала о Перми, о госпитале, в котором она работала, и как ей было трудно, не из-за раненых, а из-за главного врача, который вздумал за ней ухаживать, писал ей трагические любовные письма, надолго задерживал ее в своем кабинете, пошло любезничал и вдруг распорядился, чтобы ей на кухне выдавали вторую порцию. Разумеется, она отказалась. Она говорила о Кировском театре — Елена Григорьевна, мать Незлобина, потащила ее на «Евгения Онегина», и какой-то мальчик, когда шел бал у Лариных, спросил на весь театр: «Мама, это ведь те же колхозницы, которые были в первом акте?» Уланову она не видела и очень жалеет об этом. Отец поправился, даже пополнел, но почему-то совершенно перестал говорить, и это ее беспокоит.

— Я поблагодарил Незлобина,— сказал Мещерский,— он заботился, чтобы ты не скучала.

— Да, мы с ним много гуляли. Он какой-то... Бывают мужские мужчины, а он какой-то немного женский мужчина. Странно, что он до сих пор не женился.

— Нет, он мужской мужчина. По меньшей мере в рискованных ситуациях.

И Мещерский стал рассказывать Тале о своих походах. Сперва, когда он еще был на «малютке», ему очень везло. Больше девятнадцати часов не ждал встречи с немецким конвоем. Потом перевели на «щуку», и вначале дело не пошло. Потом утопил сразу два транспорта и получил орден.

— А команда тебя любит?

Он ответил уклончиво:

— Кто любит, а кто нет. Я ведь спуску никому не даю.

— Строгий командир?

— Очень строгий.

Во всем, о чем они говорили — или это только казалось Тале,— было что-то недосказанное. Похоже было, что он хотел что-то сказать ей и не решался. Вопреки все возраставшей долгожданной близости оставалось что-то, может быть, ничтожное, а может быть, жизненно важное — Таля не знала. Какая-то призрачная трещинка неотрывно сопровождала их отношения, заставляя Мещерского вдруг уходить в себя, не слыша Талю. Казалось, он боролся с собой, и борьба эта кончалась и не кончалась, исчезала и вдруг снова появлялась в неожиданную минуту. Однажды она спросила его об этом, и он поспешно, может быть, слишком поспешно, ответил:

— Нет, нет. Ничего.

— Таля говорила о тебе так много и с таким воодушевлением, что, пожалуй, впору и поревновать, да не время. Завтра ухожу в поход. Дело сложное, обсуждалось на Военном совете, рассказы-

вать о нем, сам понимаешь, не могу. Но есть другой разговор.— Мещерский помолчал, закурил.— Причем именно с тобой, потому что я тебе верю. И еще потому, что Таля... Словом, она сказала, что такого человека, как ты, еще не встречала.

— Ну уж!

— Ладно. Выбирать не приходится. Ну, словом, дело такое: если я не вернусь, передай ей вот этот перстень.

Два треугольника, выложенных бриллиантами, соединялись на тяжелом золотом перстне, упираясь основаниями в большую жемчужину, не белую, а как бы подернутую темной, непрозрачной дымкой.

— Это черный жемчуг, редкий камень. И, должно быть, очень дорогой. Я не знаю.

Перстень Мещерский вынул из крошечного замшевого мешочка, который носил под кителем на груди.

— Мне было девять лет, когда умерла мать. Кроме меня, у нее не было ни родных, ни друзей. Я как зажал этот перстень в кулаке, так и не разжимал неделю. Боялся, что украдут.

Он помолчал.

— Ведь никогда не знаешь, удастся ли вернуться. Но на этот раз... Словом, дело такое. Возьми и передай. Я тебе верю.

— Нет, не веришь,— вдруг сказал Незлобин.— Почему ты не оставил его Тале?

— Послушай, Вадим,— сказал Мещерский, который редко называл Незлобина по имени.— Ну как ты не понимаешь?.. Она и так будет беспокоиться. А если бы я решился оставить ей... Мне просто страшно, что ты совсем меня не знаешь.

— Не я тебя, а ты ее не знаешь,— возразил Незлобин с твердостью, которой он сам удивился.— Ей можно все сказать. Она не мне, а тебе принадлежит вместе с этим кольцом. Она и без того прекрасно знает, что ты ее любишь, и в новых доказательствах не нуждается. Я не возьму. Пусть беспокоится. Все жены беспокоятся, и она не имеет права беспокоиться меньше других.

Мещерский вздохнул.

— Я тебя как друга прошу. Ну, поверь же, мне так будет легче. Ты прав, все волнуются. Но она по моему лицу угадала, что этот поход будет тяжелее других. Она подумает, что надежды нет, если я так с ней попрощаюсь. А я не только надеюсь, я твердо уверен, что непременно вернусь. Дело трудное, и ты поможешь мне, если согласишься.

— Чем же? — тихо спросил Незлобин.

— Не знаю. Ты был прав, я долго сомневался. И не то что не верил. Ты ведь тоже не вечен. Я знаю, например, что у командующего в операцию просился.

— Давай,— вдруг сказал Незлобин.

— Спасибо. Я его в этом мешочке носил.

Он протянул Незлобину мешочек.

— Хочешь, я дам тебе слово, что до твоего возвращения останусь в Полярном?

— Не надо.

Они обнялись.

— Пойду,— сказал Мещерский.— Пойду. Много дела.

«Щуку» пришли проводить многие, а Мещерского как раз немногие, и Незлобин, давно научившийся разгадывать все оттенки в жизни маленького городка — городка, который был одновременно и тылом, и фронтом,— огорчился и за Мещерского и за Талю. Лодка шла в поход, о котором никто не говорил, но каким-то чудом думали и знали. «Так что могли бы, сукины дети, и проводить товарища»,— подумал Незлобин. Все смотрели, как прощаются Мещерский и Таля. Он обнял ее, поцеловал руки, она прижалась к нему и (может быть, это показалось Незлобину) незаметно перекрестила. «Простились дома»,— подумал он.

Лодка ушла, и началось ожидание. Мещерскому предстоял двух- или трехнедельный поход, так что в первые дни жизнь как бы осталась совершенно такой же, как прежде. Все прогулки Незлобина с Талей начинались с гавани: справа открывался главный фарватер, по которому в Екатерининскую бухту следовали боевые корабли. Им приходилось огибать небольшой мысок, и на этот мысок постоянно были устремлены взгляды тех, кто терпеливо или нетерпеливо ждал моряков, возвращавшихся после боевого похода. Но дни шли один за другим, корабли приходили и уходили. Однако подлодки Мещерского не было среди них.

— Да и не могло быть,— говорил Тале Незлобин.— Он не вернется, пока не выполнит приказа.

Они подолгу сидели на сопке около стадиона — отсюда хорошо было видно море, то темно-синее, с уходящими вдаль белыми гребешками, то страшновато-черное, неподвижное, ежеминутно менявшее свой неуловимый цвет. И казалось — это сказала Таля,— что когда оно спокойное, в него можно смотреться, как в зеркальную крышку рояля.

Они много разговаривали, и всякий раз это было так, как будто и Незлобин и Таля, заглянув в себя, находили что-то казавшееся давно забытым. Случалось, что они встречали высокую, полногрудую, стройную молодую женщину в форме, и Незлобин, старательно и одновременно почему-то немного смущаясь, здоровался с ней. Однажды она обогнала их на лестнице, по которой они спускались в Старое Полярное, и поздоровалась не только с Незлобиным, но и с Талей, как в деревнях здороваются с любым, впервые появившимся человеком.

— Кто это? — спросила Таля.

— Старший лейтенант Анна Германовна Сверчкова,— ответил Незлобин.— Она работает в штабе.

— А почему вы покраснели? Впрочем, молчу, молчу! Краснейте на здоровье... Красивая,— подумав, сказала Таля.— И здоровая! Я бы хотела быть такой. А юбка, между прочим, в складочках, только что не плиссировка. Это ведь не полагается по форме. Правда?

— Правда,— согласился, стараясь улыбнуться, Незлобин.

Минут десять они шли молча, а может быть, и больше, чем десять, потому что вдали показались незнакомые столбики за оврагами у ближайшей сопки.

— Это кладбище,— сказал Незлобин.

Кладбище было небольшое, чисто прибранное, памятники тоже небольшие, скромные, украшенные красной звездочкой, похожие друг на друга.

— Вот и пришли,— почему-то сказала Таля.— Я думаю: мужчине трудно дождаться, даже если он очень любит. А уж если не любит... Вы себе красивую выбрали. И, наверное, добрую. Правда?

— Не знаю. Я ее не выбирал. Я вообще никого не выбирал. Мы просто знакомы. Здесь все знакомы, кроме приезжих.

— Значит, я ошиблась. Простите. Но ничего плохого, если бы вы именно ее-то и выбрали. Я так спросила, потому что вы всякий раз смущались, когда она проходила мимо. И, между прочим, я заметила, что она меня разглядывает. Честное слово!

— Вам показалось.

— Нет. Разглядывает. Однажды я зашла в магазин под «циркульным» домом, а она там покупала что-то. Так ведь, когда я появилась, она, должно быть, даже забыла, что хотела купить. Правда, купить было нечего, но продавщица ее три раза спросила, а она все не слышала. Есть такое выражение: «Есть глазами начальство». Так вот, хотя я для нее не начальство, а она ела. И мне даже показалось, что, если бы могла, так и съела бы без остатка. Потому что она на меня не только с любопытством, а с какой-то ненавистью смотрела. Может быть, решила, что я шпионка?

Впервые Незлобин, забывавший о своей язве, когда Таля была рядом с ним, почувствовал, как боль, уколовшая его где-то под ложечкой, медленно опустилась вниз и залегла там, как камень. Он засмеялся и тоже неудачно, с неестественной хрипотой.

— Почему же с ненавистью? — спросил он.

— Не знаю.

Они ходили между памятниками по чистым, прибранным, усеянным мелкой галькой дорожкам. «Погиб за честь и независимость нашей Родины»... «Погиб за честь...»

— А ведь я догадываюсь, почему с ненавистью,— вдруг сказала Таля.— Она была не с вами близка, а с Сашей, и теперь, когда я приехала... Ах, вот почему он все время хотел мне что-то сказать. И однажды — я почувствовала — чуть не сказал. Мне самой нужно было его спросить. Я совсем не хотела, чтобы он мучился. И он бы сказал. Так?

Она взглянула прямо в глаза Незлобину. Он опустил глаза.

— Слушайте, я все понимаю. Мне приходилось много встречаться с женщинами, у которых мужья на войне. Они говорили: «А, пускай! Лишь бы живой вернулся». Вчера говорила с Эммой Леонтьевной, например. Разумеется, в общих чертах, не о Саше. Так она рассказала, между прочим, об одном командире эсминца, превосходном, талантливом, не просто смелом, но отчаянно, хотя и разумно, смелом. Фамилии она, конечно, не назвала. Так его после

очередного похода от женщин вообще оторвать было невозможно. Эмма Леонтьевна говорит: разрядка. Начальник политуправления в конце концов выписал в Полярное его жену с пятилетним сыном. Но вы промолчали. Ведь я дала бы ему слово, что это ничего не изменит. Она?

— Нехорошо с вашей стороны задавать мне такие вопросы,— ответил Незлобин с непритворной досадой.

— Вы правы. Поговорим о другом. Расскажите мне о здешнем пушкинисте.

— Пушкинисте?

— Да, Эмма Леонтьевна рассказывала, что в Полярном живет пушкинист.

— Ах, это...— Незлобин назвал фамилию.— Он вообще-то тоже военкор, но начальство уважило его, позволило заниматься своим делом. Конечно, Библиотека имени Ленина не входит в состав Северного флота, так что работать по специальности он не может. Но зато он предложил читать лекции о Пушкине экипажам уходящих кораблей.

— И читает?

— Да, с огромным успехом. Моряки всегда просят его рассказать что-нибудь о Пушкине накануне операции или даже в день ухода на задание. Симпатичный парень. И совсем молодой.

— Ну, если моряки перед походом просят рассказать им о Пушкине, мы победим,— серьезно сказала Таля.— Между прочим, а где живет Анна Германовна?

— Не знаю,— сердито ответил Незлобин и солгал.

Анна Германовна

Таля не очень удивилась тому, что Мещерский, с нетерпением ожидая ее, был близок с другой женщиной. Она давно научилась думать о нем как о неразрывно связанном с ней человеке. И теперь, когда она принадлежала ему, эта неразрывность осталась и стала еще прочнее. Они оба поняли, что у них есть теперь не только настоящее и будущее, но и прошлое. Но в прошлом она не чувствовала такого постыдного, неутомимого и неутолимого страха, который терзал ее наяву и во сне. И еще одна забота, очень важная, волновала её. Когда началась война, они потеряли друг друга, и это продолжалось долго, почти полтора года. У него не было писем от нее, хотя она несколько раз писала ему наудачу на Северный флот. Совпала ли близость с Анной Германовной с тем временем, когда они ничего не знали друг о друге? Был ли он близок с ней, когда переписка возобновилась? Она не чувствовала ревности, но если это так, жизнь с ним казалась ей невозможной, потому что началась бы с недоговоренности, с неверности, с лжи, в то время как она, Таля, ничего от него не скрывала.

Вот почему она решилась пойти к Анне Германовне, как это ни было трудно.

Ей хотелось посоветоваться, идти или нет, с Эммой Леонтьевной. Но потом она решила, что добрая и, как ей казалось, немного беспечная Эмма Леонтьевна станет отговаривать ее. Именно поэтому она не посоветовалась с нею. Уж она-то, без сомнения, думала, что ничего особенного не было в этих отношениях, которые должны окончиться или уже окончились после приезда Тали... «Во время войны,— скажет она,— надо проще смотреть на эти вещи. Мещерский — мужчина, полный сил, молодой, и вам надо просто выкинуть эту историю из головы. Вы будущая жена, а она, как говорится, боевая подруга. С подругами приходится расставаться, когда приезжает жена. Я знаю Анну Германовну. Она понимает».

Этот воображаемый разговор представился Тале, когда она вернулась после прогулки в «циркульный» дом в квартиру члена Военного совета, в маленькую комнату, пустовавшую до ее приезда. За единственным выходившим на бухту окном мелькала луна, мотавшаяся среди белесых, лохматых туч, и где-то там, в безграничном пространстве, сложившемся из ее неровного света, из грозного неба, из холодного грозного моря, шла лодка Мещерского. А в тесноте маленького корабля команда, люди, которых ежеминутно могут убить и которые готовы отказаться от своей жизни, чтобы настигнуть и убить других людей, о которых тоже будут тосковать друзья и родные. Незлобин рассказывал ей, что надо прорваться незамеченным через конвой и утопить главный большой корабль, на котором немцы везут продовольствие и оружие.

— Это только догадка,— сказал Незлобин.— Вернее другое: он должен высадить десант где-то далеко. Был случай, когда два десантника девять месяцев блуждали в горах.

Таля слышала, как бродила по квартире Эмма Леонтьевна, которой тоже не спалось, и поборола желание вскочить с постели и поговорить с ней — может быть, прошло бы чувство страха за Мещерского и еще другое, давно не испытанное чувство — одиночества, когда кажется, что все кончилось, все погибли или исчезли и она осталась одна на пустынной, печальной земле. Но она справилась с собой и снова стала думать об Анне Германовне: «Что делать?»

Старший лейтенант стирала белье, когда Таля осторожно заглянула в приоткрытую дверь и негромко кашлянула, чтобы Анна Германовна поняла, что она не одна. Теперь, когда разглядывала ее, Тале показалось, что она не очень красива: грубовата, с тяжелым подбородком, с низким лбом и толстыми руками, которыми она сильно и ловко отжимала белье.

— Здравствуйте. Я вам помешала?

— Ах, это вы! Ничуть. Я даже вроде ожидала, что вы ко мне зайдете.

Она и говорила низким голосом, с каким-то, может быть, белорусским акцентом.

— Я мигом управлюсь. Посидите.

Комната, в которой стояли стол, диван-кровать, два стула и полка с книгами, ничем не отличалась от любой другой, в которой Таля побывала в Полярном. Над шкафом висел портрет Сталина, а под ним стояла вазочка с искусственными цветами.

— Воскресенье, хозяйство,— сказала, входя, Анна Германовна. Она растрепалась, стирая белье, и вдруг спохватилась: убрала прядь, упавшую на лоб, и, подойдя к зеркалу, энергично поработала гребенкой, приводя в порядок свои еще не потерявшие молодого блеска рыжеватые волосы.

— Ну вот,— сказала она, садясь на диван рядом с Талей.— Будем считать, что мы вроде уже знакомы.

То и дело она, кстати и некстати, повторяла это «вроде», заменявшее ей множество слов.

— Я все знаю. Вы невеста Мещерского, приехали к нему, и, когда он вернется, состоится так называемая свадьба. Так?

— Так,— неуверенно ответила Таля.

Они помолчали.

— Что это вы вроде какая-то ошеломленная,— сказала Анна Германовна.— Или не знаете, о чем со мной говорить? Так я сама начну — и без предисловий, уж не взыщите. Вы пришли ко мне, потому что хотите узнать, люблю ли я Мещерского или он просто так ко мне ходил, как делают тут многие, и женатые и холостые. Так вот — люблю. Да. Как никого в жизни еще не любила.— Она еще продолжала говорить, сердясь на себя за подступившие слезы.— Так ведь что же поделаешь, если он любит другую?

Теперь обе плакали, сидя рядом.

— Он мне много о вас рассказывал,— говорила побледневшая, подурневшая, с красными глазами Анна Германовна.— И я, бывало, себя спрашивала: «Ну на что он тебе?» На меня ведь многие заглядывались. А он... у него характер едкий, колючий. От всех сторонится, никому вроде не доверяет. Вы были, кажется, единственный человек, от которого он, что бы там ни случилось, ничего никогда не скрывал.

— Скажите, Анна Германовна,— с трудом выговорила Таля,— что же, так и было до самого моего приезда? То есть я хочу сказать...

— Какое там! Как он получил первое письмо от вас, только я его и видела. И не то что он стал скрываться — это на него не похоже. Пришел и сказал: «Прости, но мы теперь должны расстаться». Я побелела, а он говорит: «Извини. Но ты понимаешь...» Я сама ему помогла. Говорю: «Письмо от Тали?» А он счастливый, глаза светятся, таким я его еще не видала. «Ты не сердись,— говорит так ласково,— я понимаю, что тебе тяжело. Но ведь я много раз говорил. Правда?» Ну, я отвечаю: «Правда». И еще прибавил, уже сурово, как будто я перед ним провинилась: «Без слез».

— Он ничего не рассказал мне,— тоже сурово сказала Таля.

— А это... Ну вроде чтобы вас поберечь. Вы ревнивая?

— Не знаю. Кажется, нет.

— Все равно. Может быть, испугался, что это вас огорчит. Чтобы поберечь. Потому что вы даже представить себе не можете, как важно

для него, что вы существуете на свете. Я все думала: «Какая же она, эта Таля?» И теперь, когда мы познакомились, я поняла, с первого взгляда поняла, за что он вас полюбил. Жизнь сложна, люди завидуют друг другу, и хотя этого на поверхности не видать, я эти фальшивые чувства досконально, по должности, знаю. А вы... Ну, точно откуда-то издалека явились на свет. Откуда-то, где понятия не имеют, как можно позволить себе жить, не желая добра друг другу. Вот я на вас смотрю сейчас. Ведь вам впору бы возненавидеть меня, а вы меня пожалели. Ведь пожалели? Подождите, я вам смешную историю расскажу: тут флотские девушки из пополнения стали спорить, можно ли влюбиться, находясь на действительной службе. И что делать, если чувство вроде встречает взаимность. Спорили, спорили, и до того дошло, что одна в письменной форме запросила политуправление. И ей ответили — какой-то чудак нашелся,— что во время войны, когда каждый человек должен сделать все возможное для победы, о личном чувстве надо забыть, потому что оно вроде ничего не сто́ит перед чувством любви к Родине и беспокойством за ее судьбу. Это смешно, потому что никуда не денешься и никуда не уйдешь от личного чувства. И не мешает оно любви к Родине, а может быть, как раз помогает.

Она помолчала:

— Да, я была счастлива с ним. Он и смеяться иногда умеет, да как! До упаду! Но требует уважения к себе, хотя сам, между прочим, никого серьезно не уважает. Я ему однажды сказала: «Ты любишь на всем свете только флотский чай и свою Талю». А он, да так грустно, и ответил: «Ну что ж, это, пожалуй, верно».

— А что такое «флотский чай»?

— Горячий, сладкий и крепкий. Вы ему делайте этот чай. Сперва надо чайник залить кипятком, чтобы согрелся, а потом на стакан столовую ложку чая. Вот сейчас я вам покажу. Да, вы простая,— продолжала она, когда они уже сидели за столом, покрытым чистой белой скатертью, за флотским, действительно очень душистым чаем.— Я знаю, вы учительница, прекрасное дело. И детей любишь?

Она не заметила, что перешла с Талей на «ты».

— Люблю.

— У нас в Полярном мало детей,— сказала Анна Германовна.— А у меня, между прочим, есть сын от первого брака. В эвакуации с бабушкой. Я сама из Минска. А ты?

— Из Ялты. Учительница, а когда школу пришлось закрыть, поступила на курсы, кончила и работала в челюстном госпитале медицинской сестрой.

— Челюстные ранения — самые страшные, правда?

— Да, очень страшные. Все зеркала приказано было убрать. Один выпросил у кого-то зеркальце, посмотрел на себя и повесился. Но я привыкла.

— Ты и прежде была такая тоненькая?

— Ну, все-таки не такая. Я теперь даже стараюсь немного пополнеть. Не больно-то получается. Кожа да кости.

— Вот ему и нравятся твои косточки,— задумчиво сказала Анна Германовна.— А мои толстые нет. Пей чай. Вкусный, правда?

В театре

Редакция телеграфно запросила Незлобина: «Почему молчите? Ждем материал». И он, наскоро состряпав статью из старых материалов, отправил ее в Москву. Времени не было: каждый день он часами сидел у Тали в «циркульном» доме, и Эмма Леонтьевна, то и дело смеясь, поучительно говорила ему, что Мещерский знал, на кого он оставляет невесту.

Пошла вторая неделя с тех пор, как лодка Мещерского ушла в море, и пока тревожных сигналов — это каким-то образом стало известно — не было. Вадим Андреевич познакомил Талю со своим соседом по комнате, корреспондентом «Правды», и рассказал ей, как этот худенький, быстроногий Петя заботился о нем, когда он впервые появился на флоте. «Ввел меня в курс дела»,— говорил он, смеясь. А Петя пригласил ее на «боб-доб» к врачу Ласточкину, любителю этой незатейливой игры. Проигравший должен был лезть под стол, и все смеялись до упаду, когда длинный Ласточкин становился на колени и с трудом влезал под стол, поднимая его спиной. Незлобин знал эту игру под другим названием — «рублик».

Ласточкины жили в комнате рядом с Петей, и он рассказал Тале и Незлобину — они как-то гуляли вместе,— что по вечерам супруги часто ссорятся. Электрические лампочки лежали у них на шкафу, ревнивая супруга подтверждала свои подозрения оглушительными взрывами, и Петя не сразу догадался, что взрываются лампочки, которые она бросает в ни в чем не повинного мужа. «А по утрам они нежно ухаживают друг за другом и похожи на влюбленных котят».

...Это была спокойная неделя, когда Таля даже пошла после настойчивых уговоров Эммы Леонтьевны на «Свадьбу Кречинского» в театр. В антракте та познакомила ее с еще молодым, но уже седеющим офицером, чернобровым, плотным, с проницательным, добрым лицом. На погонах у него были три звезды, он держался уверенно и спокойно. Почему-то он стал заботливо расспрашивать Талю, как ей живется в Полярном.

— Это командующий флотом Р.,— сказала Эмма Леонтьевна, когда офицер извинился и отошел в сторону.

Его отвлек другой офицер, сухой старик, с вежливо улыбавшимся желтым лицом.

— А это англичанин,— объяснила Эмма Леонтьевна.— Ведь у нас — английская миссия. Но они держатся в стороне. Или мы держимся в стороне. А может быть, и то и другое.

— Да, я видела англичан,— сказала Таля.— Вадим Андреевич рассказывал мне о них: пьют и играют в футбол, а зимой пьют и лихо катаются на коньках по стадиону.

— Ну, наши тоже не дураки выпить. На днях одного командира «щуки» долго держали под холодным душем, когда надо было отправляться в поход. Вам понравился командующий?

— Очень.

— Еще бы! Интересный мужчина. Когда я его вижу, мне, по правде говоря, всегда хочется пококетничать с ним. Но его жена была моя подруга.

— Была?

— Да. Умерла перед самой войной. Что было! Он шел за гробом, и, не скрываясь, плакал. Она была тоже интересная, но с одним недостатком: всегда молчала, что, между прочим, у женщин встречается редко.

— А дети у них не остались?

— В том-то и дело! И это не знаю, как для нее, а для него... Я думаю, что замолчала она после того, как убедилась, что детей не будет. Она избегала разговоров о детях. А для него,— серьезно продолжала Эмма Леонтьевна,— для него это, может быть, самая болезненная в жизни неудача. Я однажды видела, как он встретил мальчика лет семи — сынишку одного командира эсминца. Так он шутил с ним, и поднимал, и показывал, как должны здороваться моряки. Вот так.

И Эмма Леонтьевна отдала честь, протянула руку и легко вскрикнула, когда Таля пожала ее своей крепкой узкой рукой.

— Ого! А вы, оказывается, сильная. А когда видит меня, первый вопрос: как Лора?

Таля уже знала, что у Эммы Леонтьевны есть семилетняя дочка Лора и что она с бабушкой эвакуирована в Куйбышев.

— Вот вы выходите замуж,— с мягкой поучительностью продолжала Эмма Леонтьевна,— так надо, чтобы был ребенок. И чем скорее, тем лучше.

— Просто трогательно, что все так хлопочут о моей будущей семейной жизни. Я чувствую, что Незлобин, например, за меня просто боится.

— А мне кажется, что он не за вас боится, а вас боится,— загадочно сказала Эмма Леонтьевна.— Он сложный и, между прочим, добрый без расчета. Мой Андрей Александрович говорит, что он пишет лучше других журналистов, по крайней мере здешних, в Полярном. И мне нравятся его статьи. Я даже вырезаю их — просто на память. Когда-нибудь кончится же война и мой альбом с вырезками кому-нибудь пригодится! Первый звонок, надо идти в зал. Он, между прочим, влюблен в вас, бедняга.

— Влюблен?

— Да. Уж вы мне поверьте. Я этих влюбленных мужчин за сто шагов чувствую. Должно быть, есть какие-то токи в любви. В меня многие в молодости влюблялись, и я всегда верно угадывала, кто искренно, а кто — почему бы и нет! Ну, пошли. Посмотрим, как выберется из этой путаницы нахал Кречинский.

Начался второй акт. «Нахал» Кречинский уже догадался, как обмануть невесту, Расплюев уже помчался с его запиской к Лидочке Муромской, а Таля, не понимая, почему бегают по сцене чем-то взволнованные люди, все думала, как скрыть, что она ошеломлена и что ей хочется убежать из театра. Боится? Влюблен? Это, конечно,

вздор, но почему этот вздор так огорчил и расстроил ее? Вспоминая их встречи, которые начались на станции Коноша и потом почему-то как бы продолжались, хотя они не виделись более полугода, и теперь начались снова, прерываясь только для того, чтобы увидеться на следующий день. Она с ужасом подумала, что не только Незлобин, но и она с нетерпением ждет, когда он наконец зайдет к ней в «циркульный» дом. Да и она... Для него она готовила флотский чай, когда Эммы Леонтьевны не было дома, для него однажды накрасила губы и потом бросила красить, когда он мягко заметил, что для Мещерского она должна остаться прежней, с ненакрашенными губами. Впрочем, и Эмма Леонтьевна, у которой она взяла помаду, сказала ей, что не надо ей свои приятные молодые краски дополнять чужими.

«Нахал» Кречинский уже вернулся от ростовщика с деньгами. Муромский уже любовался его квартирой (Эмма Леонтьевна шепнула на ухо Тале, что накануне она видела эту квартиру в другой пьесе), Расплюев в новом фраке и белых перчатках уже объяснил Муромскому, что такое бокс, и рассказывал об англичанах, а Таля все думала, думала. Теперь Незлобин не казался ей похожим на ее старую няню. Или, быть может, еще немного похожим, но только тем, что, когда няни уже не было с ней, она долго не могла с этим примириться.

Кто-то вызвал Кречинского на дуэль, и этот красивый мужчина ответил, что после каждого выстрела он плюнет сопернику в глаза, но сцена почему-то отодвинулась от Тали, хотя она сидела в третьем ряду,— и отодвигалась с каждой минутой все дальше. Ей казалось, что никто не замечает ее погруженности в свои мысли, но она ошибалась. Эмма Леонтьевна вдруг ласково обняла ее за плечи. «Не думайте больше об этом»,— шепнула она.

Но об этом невозможно было не думать, и, когда кончился спектакль и Тале удалось притвориться, что ничего не случилось, она смутно догадывалась, что отношения между ней и Незлобиным, которыми она дорожила, должны измениться или прекратиться. Надо сказать ему, чтобы он не приходил каждый день или приходил, но не каждый. Надо, чтобы весь городок не видел их так часто на улицах, и — это было самое главное — надо, чтобы она не ждала этих встреч.

На другое утро, за столом, когда они говорили о «Свадьбе Кречинского», Таля с равнодушным лицом призналась, что она не может сказать, понравился ли ей спектакль, потому что все время думала о том, влюблен ли в нее Незлобин.

— Ведь если это так,— спокойно сказала она,— значит, ясно, что нам надо редко встречаться. Или до возвращения Саши совсем не встречаться.

— Милая моя, какая же вы...— Эмма Леонтьевна не нашла слова,— ответственная и откровенная. Кто не грешен? Вот я, например, не могу сказать этого о себе. Но, может быть, вы и правы. Станут болтать, кому это нужно?

Из фронтового блокнота

1. Зачем я записываю то, что запомнится и без помощи моей набитой блокнотами сумки? Неужели еще надеюсь, что эти заметки пригодятся для рассказа или даже романа? Все проваливается в прошлое, провалится когда-нибудь и эта окаянная война.

2. Ласточкин сказал мне, что у меня «военная язва», характерная для тех, кто не воюет с оружием в руках, для тех, кто работает на войну, но не принимает в боях непосредственного участия. Завтра же попрошу командующего позволить мне присоединиться к Петрову, с которым я ходил в разведку прошлой весной.

3. Был у командующего. «Ерунду сказал вам Ласточкин. Тогда почему же у самого Петрова язва?» Спросил о Мещерском. Ответил спокойно.

4. Таля отказалась от прогулки, сославшись на головную боль. Начинает беспокоиться, а что мне сказать ей, не знаю. Рассказал о разговоре с командующим. Промолчала.

5. Мне кажется иногда, что я вне времени, вне пространства, что я существовал задолго до моего появления на свет. И всегда буду существовать — в памяти друзей, в любви, о которой, мне кажется, уже догадывается Таля. И, как ни странно, но я ничего не боюсь, даже опасных случайностей, которыми в эти дни битком набита жизнь. Страшно только за других, за маму, за Талю, за Мещерского, даже за мою красивую, грешную сестру, которой я почему-то горжусь. Я много читаю с детства, но во мне нет ничего книжного — ни взгляда, ни мысли,— и поэтому я едва ли стану писателем, в высшем, духовном, а не профессиональном смысле этого слова. Но у меня есть черта, которая всегда выручает, а подчас даже спасает меня: я свободно и даже с чувством радости вхожу в положение других.

6. В командующем чувствуется, что он долго оставался мальчишкой. Легко вообразить его играющим в чехарду. Сидящим верхом на заборе. Босым.

Непременно вернется

Незлобин недаром записал в своем блокноте, что Таля догадывается о том, что он ее любит. Но она не знала и не могла догадаться, что в его сознании это чувство уже вскоре после их первой встречи стало чем-то сказочным, несбыточным и что он решил закинуть его куда-то в счастливое, несбывшееся прошлое или потерять, как теряют в лесу и не находят любимую драгоценную вещь. Он часто вынимал из замшевого мешочка кольцо с черным жемчугом, которое должен был передать ей, если Мещерский не вернется. В этом кольце была воплощена действительность, страшная своей

простотой и принадлежащая всем, всей стране без исключения, а он погружен в свою маленькую действительность, о которой надо забыть,— и чем скорее, тем лучше.

Разговор состоялся, когда он забежал в «циркульный» дом, на этот раз не вечером, как прежде, а днем, зная, что Эмма Леонтьевна в Доме флота на каком-то собрании.

Смуглость не шла к Тале, когда она бледнела, и он с первого взгляда догадался, что она провела беспокойную, бессонную ночь. «Да, догадывается,— невольно подумал он, услышав ее приглушенный, надтреснутый голос.— И сейчас скажет, что мы не должны, не имеем права встречаться». Но Таля просто спросила, как он себя чувствует, повторились ли вчерашние боли и не приготовить ли ему, как всегда, флотский чай, который он любил и пил вопреки загадочному запрещению врачей.

— Спасибо, с удовольствием. Но, если разрешите, мы приготовим его вместе, идет?

На кухне он заметил, что ее узкая, нежная рука, снимавшая чайник с высокой полки, немного задрожала, он кинулся помогать, руки встретились, и это было мгновение, когда он не только убедился, что прав, догадываясь о причине ее волнения, но как будто прочел глазами каждое ее еще не произнесенное слово.

— Мне иногда кажется странным,— сказала она, когда чай был заварен и они перешли в столовую.— Ведь мы недавно знакомы. Если даже считать ту встречу в Коноше, минуло, по-моему, только месяцев восемь.

— И четыре дня.

Она подняла на него глаза — непритворно серьезные, немного усталые, но такие молодые, что Незлобин в свои почти сорок лет почувствовал себя стариком.

— А между тем во мне нет ничего, о чем бы я не могла вам сказать. Вот и теперь мне хочется поговорить с вами о том, что меня, а может быть, и вас, немного тревожит.

— Да что там немного! — И Незлобин отхлебнул такой большой глоток горячего чая, что невольно открыл рот и подышал, чтобы освежить горло.— И не тревожит, а страшит, ужасает.

— Я говорю не о Саше.

— Понимаю. Вы говорите обо мне. То есть о том, что все будет истолковано с подлой, сплетнической точки зрения и что я, болван, об этом заранее не догадался.

Теперь Таля открыла рот — и не потому, что она его обожгла.

— Вы боитесь, что едва Саша выйдет на берег, ему расскажут, что вы без него ничуть не скучали. По вечерам играли у Ласточкина в «боб-доб», ходили в театр и — это самое главное — гуляли со мной каждый вечер.

— Нет, это не самое главное. Меня уже предупредила Эмма Леонтьевна, и я ничего не боюсь. Пусть болтают, Саша верит мне и знает, что я не в силах солгать. Мы распишемся, потом я поеду к отцу. Боюсь, что отца без меня могут обидеть. Самое главное — другое. Самое главное — Анна Германовна, которая его любит. Не

раскрывайте, пожалуйста, рта. Я у нее была, и она мне все рассказала. И теперь надо нам всем встретиться с Сашей и все ему объяснить. А то получается какая-то путаница, а я терпеть не могу, когда путаница. Мне непременно нужно, чтобы все было ясно. Вы верующий?

— Нет. Вы смеетесь?

— Почему же? Мой отец верующий. Он бы порадовался: все любят всех — трогательная картина.

— Нет, вы смеетесь,— горько сказал Незлобин.

— Но это как раз чувство, в котором я еще не могла разобраться. Я с детства научилась никого не спрашивать и до всего доходить сама. И тем не менее мне всегда кажется, что я не уверена в себе и теряюсь. Вот Эмма Леонтьевна сказала мне, что вы в меня влюблены. Это правда?

— Не знаю,— сказал Незлобин.— Вы даже не подозреваете... Боже мой! Да одного этого вопроса довольно, чтобы в вас влюбиться.

— Но что же тут такого? Ведь, наверно, вы были влюблены — и не раз.

— Понятия не имею.

— Так, значит, пожалуй, что и не были. А то имели бы понятие.

— Кто сказал вам об Анне Германовне?

— Вы.

— Я?

— Ну, не словами, а как-то иначе. Словом, я поняла. Когда мы говорили с Анной Германовной, я видела в ее глазах такое отчаянье... Вы знаете, я даже подумала, что когда душа чувствует такое отчаянье, от жизни до смерти — один шаг. Как вы думаете, Саша вернется?

— Непременно вернется,— с разгоревшимся лицом твердо сказал Незлобин.— Вернется и с первого взгляда поймет, что мне страшно с вами расстаться. Ведь я тоже ничего не умею скрывать. Нет, лучше мне удрать куда-нибудь до его возвращения.

— А он вернется?

— Да. Не может же судьба так жестоко вас наказать.

— А вас?

— И меня. Я потеряю друга.

— Но ведь вы говорили, что не знаете, друг он вам или нет?

— Все равно. Я потерял бы человека, который без вас жить не может. Для меня это много.

Незлобин быстро допил свою чашку и встал.

— Больше мне нельзя приходить к вам, да?

— Да что вы, как это не приходить? Почему не приходить? Что это еще за новости? — испуганно спрашивала Таля.— Я без вас не знаю, что и делать с собой. Вы мне очень нужны, вы мне помогаете справляться с собой и помогали еще, когда я отвозила отца и ухаживала за ним. И когда он уговаривал меня непременно ехать в Полярное, я тоже думала, что встречусь с вами. И потом, вы же обещали Саше.

— Ну, влюбиться в вас я ему, положим, не обещал.

— Вы не влюбились. Это только, как говорится, одна видимость. Так что вы даже и не думайте меня тут бросать. Я беру на себя все Саше объяснить, он же знает, что лгать я не могу и не буду.

Прямо от Тали он зашел к командующему — в его флагманский пункт, разместившийся в глубине большой скалы, за прорытым в ней недлинным, полуосвещенным коридором. Адъютант знал его — они познакомились давно, в тот день, когда Незлобин представлялся адмиралу. Тогда этот высокий, подтянутый юноша, которого трудно было вообразить в штатском костюме, нарисовал его на листке адмиральского блокнота и подарил на память. Рисунок был не очень хорош: таким мужественным и решительно-спокойным Незлобин никогда не был.

Адъютант доложил командующему и через несколько минут распахнул дверь, отдал честь и ушел.

— А, товарищ Незлобин,— сказал командующий, по серому лицу которого нетрудно было догадаться, что он не спал и, может быть, не одну ночь, а две или даже три.— Что нового? Впрочем, об этом, кажется, вы должны меня спрашивать, а не я вас. Читал вашу статью о Тамме. Недурно, хотя, как всегда, маловато.

— В редакции сократила какая-нибудь подлая баба.

— А вы знаете, как его команда зовет?

— Нет.

— Рашпиль.

— Почему?

— Любит пилить. Заметит какой-нибудь промах, вызовет и давай пилить. У самого дух вон, а пилит и пилит. Возвращаясь из похода, собирает команду и подробно разбирает поведение каждого матроса в бою. И все-таки его любят. Об этом вы не написали.

— Не знал. Но все равно. Я печатаю втрое меньше, чем записываю. Товарищ командующий,— Незлобин назвал его по имени-отчеству,— пошлите меня с Петровым в разведку.

— Еще новости! Вы же больны?

— Не жалуюсь. И Петров болен. Однако воюет. И небезуспешно.

— Нет, нельзя. Вы можете ему помешать.

— Я уже ходил с ним и, кажется, не помешал.

— Я не хочу вас обидеть,— мягко сказал командующий,— хорошо, вы пойдете с ним, но в другой раз. Операция сложная, рассчитана на две недели, и с ним пойдут только очень опытные люди. Немного. Человек пять. Если вам так уж не сидится, поезжайте к катерникам. Вы о них, по-моему, еще не писали? Я позвоню комдиву.

Следовало бы поблагодарить, встать и уйти. Но он ничего не сказал о Мещерском. Это хорошо или плохо?

— Вам хочется спросить меня о Мещерском? — Это было, как если бы командующий прочитал его мысли.— Задачу он выполнил, кстати сказать, сложную. Но сейчас в трудном положении. Его преследуют суда противника. Я послал на помощь авиацию. Будем надеяться, что ему удастся уйти под прикрытие береговых батарей.—

Он помолчал.— К нему невеста приехала. Славная девушка, Эмма Леонтьевна нас познакомила в театре. Ей, разумеется, до поры до времени — ни слова.

Ничего не стоило сговориться с капитан-лейтенантом Бобом Соколовичем, известным своей лихостью командиром катера, стремительно носившегося по заливу и раскачивающего волну так, что у судов рвались швартовы. Его звали Борисом, но переименовали, может быть, потому, что он действительно был похож на боб: круглый, крепкий, небольшого роста, с короткими руками и ногами.

В двух словах он пересказал приказ: группа катеров должна найти и потопить немецкий конвой, обнаруженный воздушной разведкой. Самолет, участвовавший в поисках, сообщит по радиофону, где он нашел конвой, и сбросит над ним светящиеся бомбы.

Катера шли час и два, все ждали. И дождались, когда Незлобин уже перестал ждать. «Вижу конвой,— сказал спокойный голос, прозвучавший так, как будто говоривший стоял рядом с ним,— под берегом.— Светить или не светить?» И Незлобин, стоявший подле Соколовича, услышал его тоже спокойный, но сдерживающий волнение ответ: «Ждать. Уточнить и донести место конвоя».

Почему Соколович, потонувший в большой мохнатой шапке с завязанными ушами, в наглухо застегнутой зеленой меховой куртке, приказал убавить ход и перестроиться другим катерам, этого Незлобин не понял. Он понял, что летчик несколько раз спрашивал: «Светить или не светить?» — когда и где сбросить бомбы, имело решающее значение. Впрочем, нетрудно было догадаться, что, когда был отдан этот приказ: «Сбросить сабы» (светящиеся бомбы), летчик рассчитал неудачно. Над катерами вспыхнули огни, и их было так много, что Незлобин ясно увидел не только отразившую свет темную поверхность моря, но и все вокруг себя, вплоть до напряженного лица старшины, что-то делавшего на корме.

Потом произошло непонятное, потому что Соколович выругался, а из динамика послышался чужой, сердитый незнакомый голос.

— Что у вас там за мышиная возня?

«Возня» — это Незлобин узнал уже на следующий день на разборе боя — произошла потому, что правофланговый катер в обманчивом свете луны принял прибрежную остроконечную скалу за корабль противника и приказал атаковать ее торпедами. До Незлобина донеслось только два тупых и одновременно оглушительных взрыва. По-видимому, надо было продолжать поиск; катер повернул на юг и пошел вдоль берега. Что произошло через несколько минут, он снова не понял, но по радостному голосу командира догадался, что конвой обнаружен: шли три крупных транспорта, мористее их — корабли охранения и еще две группы каких-то судов. У Незлобина было острое зрение, и только потому он различил силуэты транспортов на фоне смутно слившихся неба и моря. Катера уже шли под зелеными ракетами, осветившими и пароход и конвой. Огонь встал над катерами,

засвистел, застонал, мигавшие и гаснущие осколки посыпались на палубу, и Незлобин впервые в действительности, а не в воображении услышал знакомую команду: «Товсь!», не узнав рявкнувший голос Соколовича. Потом тот закричал еще что-то, заставившее катер судорожно вздрогнуть под ногами. Очевидно, надо было что-то делать, как делала вся команда, но знакомый матрос вскрикнул у турели, и Незлобин увидел тревожное, мелькнувшее и сразу исчезнувшее лицо Соколовича, который бросился к замолчавшему пулемету. Ничего не понимая, Незлобин наклонился над матросом, расстегнул его тулуп, но матрос стонал, закидывая, все закидывая голову, и нельзя было его поднять, потому что Незлобин поскользнулся на палубе, залитой кровью, а потом встал и снова поскользнулся. Слева два катера повернули, и катер Соколовича тоже стал быстро уходить почему-то прямо на огонь береговых батарей. Но уходить дальше было нельзя, мешали надводные и подводные скалы, и движение так резко изменилось, что Незлобин снова упал на убитого матроса. Старшина, стараясь перекричать шум, что-то доложил, дымовые шашки летели в море, и катер то скрывался, то открывался под клубящимся дымом. Почему-то надо было снова резко отвернуть, а потом в другую сторону снова, и на этот раз катер пошел прямо сквозь строй немецких стреляющих кораблей, а потом оказался совсем рядом с другим, и оба ушли в открытое море.

Меховой реглан был разрезан на спине сверху до самого низа пулей или осколком, наверно, когда Незлобин свалился на убитого матроса. Оба отворота новых бурок висели в лохмотьях, и он засунул их внутрь, потому что они мешали ходить. Летнее обмундирование осталось в Полярном, и пришлось одолжить шинель у одного офицера, который был гораздо шире в плечах, чем Незлобин, и она морщилась, туго затянутая ремнем. К счастью, он взял с собой толстый вязаный свитер.

В летней шинели было все-таки холодно, и у Незлобина был сердивший его нелепый вид. Впрочем, все казалось ему нелепым — и его позорная растерянность, когда ему нечего было делать в бою и он возился, пытаясь зачем-то перевязать убитого матроса, и что комдив, о котором говорили, что он никогда не выходит в море, приехал на пирс встречать Соколовича, утопившего три транспорта, и что он, Незлобин, поздравил Соколовича с орденом Красного Знамени, а тот холодно ответил ему. Совсем другое было в разведке прошлой весной, когда Незлобин стрелял по немцам и убегал от них, прячась за скалами, и снова стрелял. Тогда командир отряда, который был на десять лет моложе Незлобина, одобрительно сказал: «А ты, оказывается, смелый малый», а потом доложил о нем адмиралу...

В офицерском клубе было шумно, играл маленький оркестр, танцевали. Компания, среди которой был Соколович, сидела в буфете, и Незлобину показалось, что, когда он вошел, все замолчали. У стойки он выпил большую рюмку коньяку, который был ему строго запрещен, и, не обращая внимания на громко заговоривших и засмеявшихся

офицеров, подошел к самому крайнему столику в стороне от этой почему-то неприятной ему компании.

— Разрешите? — спросил он незнакомого пожилого офицера.

— Пожалуйста,— приветливо ответил офицер.

Девушка подошла, Незлобин заказал рыбу, заставляя себя не прислушиваться к тому, что происходит за столом Соколовича. Веселый, с широко развернутыми плечами, раскрасневшийся, с прямой шеей, он что-то рассказывал, показывал, и вдруг Незлобину показалось, что он услышал свою фамилию. Офицеры засмеялись, и один молоденький лейтенант изобразил человека, упавшего на пол и ползущего на карачках.

Сосед Незлобина обернулся с неодобрением, кажется, хотел встать. Незлобин опередил его. Твердо ступая, он направился к Соколовичу, обходя другие, занятые и свободные столы. В голове его стояло что-то неподвижное, но он оттолкнул и обошел это неподвижное, потому что оно мешало тому, что ему хотелось сказать.

— Простите, вы обо мне изволили рассказывать? — спросил он, стараясь говорить спокойно.

— О вас,— сказал Соколович не вставая, хотя он должен был встать перед офицером, который был выше его по званию. Он был ростом ниже Незлобина почти на голову и сидел, подымая круглое, розовое лицо и еще шире развернув широкие плечи.

— А позвольте спросить, о чем, в частности, шел касавшийся меня разговор? — старательно выговаривая каждое слово, спросил Незлобин.

— Ничего особенного,— с наглой улыбкой ответил Соколович.— Я просто рассказывал, что в бою вы ползали по палубе, как муха.

— Я упал, надеясь помочь раненому матросу, и убедился, что он убит. Потом два раза снова не устоял на ногах, когда катер резко отворачивал несколько раз и в дыму было трудно сообразить, куда он идет. Между прочим, я до сих пор не ходил на катерах и впервые участвовал в артиллерийском бою. Как вас зовут? Кажется, Соколович? Так вот, Соколович или как там еще, вас уже давно не били?

Все вскочили, кто-то встал между ними, Соколович рвался из чьих-то рук, оркестр заиграл что-то веселое, все смешалось не только в буфете, но, кажется, и в других комнатах клуба. Кто-то споткнулся, нечаянно сдернув скатерть, бутылки и тарелки со звоном посыпались на пол. Оркестр все играл. Сосед Незлобина, пожилой капитан первого ранга, властно крикнул что-то, и в наступившем молчании Незлобин подошел к стойке, заплатил незнакомой девушке, почему-то смотревшей на него с ужасом, за обед, который она так и не подала, и, спустившись в переднюю, надел на китель старый толстый свитер, на свитер — чужую шинель и вышел из клуба.

На другой день комдив вызвал Соколовича и, пристыдив его, приказал немедленно извиниться перед Незлобиным.

— Здравия желаю, товарищ майор,— сказал Соколович, явившийся через полчаса после этого разговора.— По приказу командира бригады приношу извинения, хотя, откровенно говоря, не знаю, в чем виноват. Мы действительно смеялись, потому что это было, простите,

действительно смешно. И если бы ребята не хлопнули коньяку, кто-нибудь, возможно, даже я, объяснил бы, что нет ничего удивительного или тем более смешного, что когда катер круто поворачивает, непривычному человеку трудно удержаться на ногах, тем более на палубе, скользкой от крови. Но ведь надо же было отметить победу, верно? И, между прочим, первый вспомнил о вас штурман, потому что мне, как вы, может быть, помните, в эти минуты вообще было не до вас. Вот теперь я, очевидно, должен извиниться за то, что мне было не до вас?

— Ладно, черт с вами,— добродушно ответил Незлобин.— Спишем на разрядку. Я, кстати, собирался написать об этом бое и, стало быть, о вас.

— Благодарю вас, хотя я, откровенно говоря, ваших корреспонденций не люблю. Вы пишете хорошо, но, с моей точки зрения, слишком красиво. А красота — коварная штука. Она по своей природе как бы призвана к тому, чтобы скрывать точность. Вот, например, вы же не станете рассказывать о том, как валялись на палубе, правда? А между тем в общей картине это была, может быть, самая характерная подробность.

— Пожалуй. Но у меня более скромная задача. Кроме того, мне совсем не хочется, чтобы надо мной смеялся весь Советский Союз.

— А я, между прочим, подумал о вашем реглане,— неожиданно сказал Соколович.— Он ведь был у вас совсем недурен.

— Редакционный.

— Вот видите — редакционный. И надо вернуть ему франтоватую внешность. Холодно в шинели.

— Холодно. Но как?

— Очень просто. У меня на катере есть такой матрос — сапожник, портной. Словом, и швец, и жнец, и в дуду игрец. Он возьмет у вас реглан и через сутки вернет в первоначальном виде. Так мир? — добродушно спросил он.

— Мир.

И они пожали друг другу руки.

А обо мне не забудь

Пора было ложиться, в доме спали, то есть спала Эмма Леонтьевна, а Андрея Александровича не было дома, он мог вернуться и в шесть утра. Да, поздняя ночь, хотя за окном светло как днем, и по пустынному заливу бегут, блестя петушками, суровые, бесстрастные, никогда не улыбающиеся волны. Таля легла, подумав, что надо непременно проснуться два раза, и не стоило объяснять себе, почему именно два, а не три или четыре. Так началось засыпание, наступление бессознательности, когда все спутывается в голове и невольно соединяешься со всеми спящими в мире. С теми, для кого

наступила серая апрельская ночь, и с теми, для кого наступила черная, как в ялтинском детстве.

Но короткий сон пришел и ушел, не простившись, а на смену ему бесшумно вошла невозможность уснуть, простая и ясная, похожая на ночное незаходящее солнце, лежавшее на линии горизонта, как яичный желток.

Она читала стихи, когда не спалось, и теперь стала вспоминать пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», припоминая забытые слова, которые она наудачу заменяла своими:

Мне не спится, нет огня,
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.

Ее всегда поражала собственная незаметность в этом беспредельном мире, и сейчас она остро чувствовала эту свою необидную незаметность.

Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?

Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу —
Темный твой язык учу.

Первый раз надо было проснуться, чтобы продолжать чтение оборвавшейся на полуслове книги. Это было чтение и одновременно разговор с Анной Германовной, рассердившейся, потому что им помешали. Потом была дремота, в которой утонул этот разговор. Но надо было проснуться, чтобы кончить эту книгу-разговор и убедиться в том, что они теперь связаны навсегда, как сестра с сестрой, как связаны «да» и «нет», отрицание и утверждение.

И Анне Германовне плохо спится в эту ночь. Она летит над морем, гладким, как гигантское зеркало, которое некому завесить. Лодки нет. Она неподвижно лежит на дне. В кубрике на сорвавшихся гамаках — мертвые матросы. Тишина. Маленькая кают-компания, маленькие каюты офицеров смотрят друг на друга мертвыми глазами. Пустое, покинутое торпедами пространство. Где же Саша? Мы не простились. Провожать его он давно запретил, только в первый поход она его провожала. И, не открывая глаз, не утирая слез, она думает о разлучнице, смуглой, тонкой, нежной, с тяжелой, свернутой как змея на затылке черной косой? Кто она? Зачем пришла из другого века, из другого круга? Я боюсь и не понимаю ее. И ничего нельзя изменить.

Потом начинается день, туго свинченный из неотложных дел, из срочных секретных поручений, день, когда надо забыть о том, что штаб находится в левом крыле «циркульного дома», а в правом, в квартире члена Военного совета, Таля, которая — Анна Германовна была в этом уверена — ждет ее звонка. Ведь нет надежды на случайную встречу?

Она стояла, задумчивая, у окна, когда внизу из подъезда неторопливо вышла Эмма Леонтьевна. Должно быть, на совет жен? Счастливая. Совета вдов не бывает.

— Простите,— по телефону трудно было назвать Талю на «ты».— Можете ли вы снова зайти ко мне? Ненадолго?

— Конечно. Непременно зайду. Сегодня?

— Вы думаете, по важному делу?

— Я ничего не думаю. Мне тоже хочется с вами поговорить. Без всякого дела. Когда? Часов в пять?

— Да.

— Непременно зайду.

На этот раз Анна Германовна не стирала белье, а ждала Талю в полной форме и даже с орденами на высокой груди. Стол был накрыт.

— Вы еще не ужинали? Водки-то нет. Ребята попросили, и я ее обменяла на шоколад и печенье. Впрочем, вы, должно быть, не пьете?

— Конечно нет,— смеясь, ответила Таля.

— А я подчас подумаю да с тоски и хвачу полстакана. Хотите, я вам яичницу сделаю? Из американского порошка? Выходит недурно.

— Спасибо, да нет же! Мы сегодня с Эммой Леонтьевной целый день что-то ели. Она так вкусно ест и готовит с таким удовольствием, что смотреть приятно.

— Да. У нее характер счастливый.

— Вы были замужем?

Анна Германовна грустно усмехнулась:

— Здравствуйте! А откуда же восьмилетний сын взялся?

— Восьмилетний?

— Да. Я дважды была замужем. Второй летчиком был. В первые дни сбили.— Она старательно выговаривала каждое слово.— Напарник своими глазами видел, как он в море упал. Так что без могилки остался. Была бы могилка, я бы ее украсила, огородила. Другие-то неогороженные стоят. Ты ходила на кладбище?

— Да.

— Хорошее у нас кладбище. Над морем, высокое. У нас мало цветов, только полярные маки. Посадила бы я ему полярные маки. Если бы могилка была, я бы, может быть, Сашу не полюбила.— Она замолчала с неподвижным лицом, маленькие слезинки скатились из широко открытых глаз, но она не вытирала их. Достала платочек из кармана и крепко сжала его в побледневшей руке.— И скромный был, тихий. Разве выпьет лишнее, так прикрикнешь на него... А он: «Ну что ты, Анечка! Или я не мужчина?» Он для меня был ну как брат вроде. И мы хорошо жили, хотя любви я с ним не знала. То есть как я это слово теперь понимаю. Не хочется говорить, но иногда он был для меня даже отвратительный, и я старалась, чтобы он этого не заметил.

— Удавалось?

— Да. Я его жалела.

Они помолчали.

— Вот видишь, какая ты,— вдруг с волнением сказала Анна Германовна.— И простая и гордая. В тебе какой-то костерок горит и еще только разгорается, а я — выгоревшая грошовая свечка. Нет, мне далеко до тебя. И ему далеко, хотя он этого, может быть, и не понимает. Он просто боится, что ты... Я так понимаю, что его должны волновать не наши отношения, а то, что он ничего тебе о них не сказал. Рискнул — и не сказал.

— В чем же риск?

— А что промолчал... Испугался, что ты вильнешь хвостом — и ищи ветра в поле.

— А что ж! Хвоста у меня как раз и нет.

— Нет, тебе нельзя уходить от него. А обо мне забудь. И чем скорее, тем лучше. Ну, была на свете такая Аня Сверчкова, которая, между прочим, поклялась, что не сопьется, хотя у нее в этом отношении плохая наследственность: отец сильно пил и до сорока не дожил. Мне сегодня страшный сон снился.

— Ты говоришь, я не должна уходить. Но ведь нужно уметь любить так, как это нужно тому, кого ты любишь. А Саша любит меня, как нужно ему,— иначе он не может. А я могу.

— А как же нужно тебе? — тихо спросила Анна Германовна.

— Мне? Мне — так, чтобы чувство счастья зажглось и не отпускало. Держало за руки. Связало по рукам и ногам и, несмотря на мольбы, не отпускало. Вот ты сказала, что у меня в душе какой-то костерок горит. Так надо, чтобы он разгорелся! Надо, чтобы я не знала, куда от него деваться! Надо, чтобы я не могла перейти через дорогу, чтобы увидеть, как он горит. А ведь я то и дело перехожу через дорогу, чтобы посмотреть на нас со стороны.

— На нас — это на себя и Сашу?

— Да.

— Переходишь и смотришь?

— Да.

— Все поняла,— помолчав, сказала Анна Германовна.— Он знал, кого полюбить. Или не знал, так чувствовал. Нет, мне до тебя далеко.

Пароль: «Молчание»

Дни проходили один за другим, время сжалось и продолжало сжиматься, надежда таяла, как воск на огне, и наконец незаметно наступило время, когда она превратилась в то, о чем начинают молчать. Невидимый дневальный разводил часовых, сменялся караул. Кто знает, может быть, пароль «Молчание» был назначен для тех, кто появлялся на улицах городка после двенадцати ночи. И для одних молчание было просто разговором о чем угодно, кроме лодки Мещерского, а для других — немногих — только неразговором о ней.

...Холостые выстрелы из орудий победивших кораблей гулко отдаются в скалах, приливы сменяются отливами, обнажая мокрый желтый песок под причалом, полярная ночь становится все короче,

а полярный день все могущественнее захватывает покорное пространство суши и моря.

И вот растаяли последние минуты, когда лодка Мещерского могла вернуться, и с ними канула в вечность последняя надежда. Она именно канула, опустившись на дно, и именно в вечность, потому что, потеряв возможность уйти от противника, Мещерский приказал подвсплыть. Последняя радиограмма была: «Снарядами разбиты моторы. Противник расстреливает нас в упор. Прощайте, това...» Радист был убит, передавая последнее слово.

Наградные листы выписаны на всех членов команды. Остается подписать еще один — представление капитан-лейтенанта Мещерского к званию Героя Советского Союза. Но когда командующий после долгого раздумья берется за ручку, чтобы подписать его, командир бригады подводных лодок входит и говорит ему несколько слов — немного, два или три. И наградной лист остается неподписанным.

— До поры до времени,— говорит адмирал.

Карта морского театра висит на стене, борьба продолжается, и надо заниматься другими судами, побеждающими или уже победившими. Надо послать авиацию туда, где без нее не обойтись, надо воспользоваться торпедными катерами, чтобы встретить конвой противника там, где он ничего не ждет, надо сражаться не только с противником, но и с собственным сном, принимая лекарство, которое помогает бодрствовать по трое и четверо суток подряд.

Но все на свете существует до поры до времени. У бессмертия свой пароль. И его не знает не только погибший или непогибший капитан-лейтенант Мещерский, но даже сам командующий Северным флотом.

Незлобин провел бессонную ночь с грелкой на животе, заставлявшей его не поворачиваться на бок, лежать на спине,— поза, которая мешала ему уснуть, потому что всю жизнь он спал на левом боку вопреки советам врачей, почему-то настаивавших, чтобы он спал на правом. Боль уже давно связывалась с тупым отчаянием, которое он испытывал, думая о том, что уже четыре дня не видел Талю.

Утром Петя вместе с Ласточкиным настояли, чтобы он пошел в госпиталь, и теперь, наглотавшись белладонны, от которой сохло во рту, и хватив полстакана (вместо столовой ложки) собачьего желудочного сока, он сидел в коридоре на третьем этаже с тонкой резиновой трубкой во рту, едва удерживаясь от рвоты. Хмурый врач заставил его проглотить длинную тонкую трубку. При этом он долго расхваливал ее, сообщив, что прежде приходилось брать желудочный сок толстой трубкой, и хотя это продолжается «одномоментно», как он безграмотно выразился, но процедура была мучительная, а тонкую трубку может проглотить даже ребенок.

— Правда, у нее есть один недостаток,— поучительно сказал он.— Она не одномоментна, и нужно просидеть часа три с половиной. Но зато она не помешает вам обдумать какую-нибудь новую корреспонденцию. Не правда ли? Или прочесть новый номер «Краснофлотца». Принести?

Незлобин недобро кивнул.

«Конечно, это было не только глупо, но просто невежливо,— думал он.— Четыре дня! Без сомнения, она решила, что меня куда-нибудь послали и я не успел забежать попрощаться. А теперь надо врать.— Он с ненавистью поглядел на бокальчик, стоявший подле него на стуле,— в этот бокальчик с делениями капал желудочный сок.— Но врать ей я не могу и не буду. Значит, надо сказать правду? Что же сказать? Что я жду каждой встречи с ней, как праздника? Что я пошел в госпиталь, чтобы врач дал в редакцию телеграмму и я мог получить вызов в Москву?»

Врач принес «Краснофлотец», удивился, что Незлобин кусает трубку зубами, строго приказал, чтобы не кусал, и ушел.

— Как вы себя чувствуете? — на пороге спросил он.

Это было уже прямым издевательством, потому что Незлобин не мог сказать ни «да», ни «нет». Он неопределенно промычал и скосил один глаз на газету. Сводка была хорошая. Прошло минут пятнадцать, проклятый желудочный сок продолжал капать в бокальчик, стоявший поодаль на табуретке, когда где-то внизу раздался топот, быстрые шаги по лестнице, и взволнованный молоденький санитар влетел в комнату, где Незлобин без кителя сидел, давясь трубкой, и терпеливо моргая замученными глазами.

— Принесли! — громко и, как показалось, весело закричал санитар. Кого принесли, кому он кричал, было неясно, тем более что санитар ошалел, увидев Незлобина, у которого изо рта торчала длинная резиновая трубка.

Врач показался на пороге.

— Кого принесли?

— Старшего лейтенанта Сверчкову,— держа руки по швам, доложил санитар.

— Что с ней?

— Ранена пулей в грудь. Товарищ комендант приказал доставить.

— Что вы делаете? — закричал врач Незлобину, который вытащил трубку изо рта и почему-то опрокинул ногой табуретку с бокальчиком.

— К черту! — с ненавистью ответил Незлобин и, не слушая его, выбежал на площадку третьего этажа. Какие-то флотские девушки бежали вниз по лестнице, он растолкал их и, шагая через две ступеньки, распахнул дверь приемного покоя, где тоже были девушки, он узнал одну из военторга. Они толпились вокруг чего-то белого, лежащего на широкой скамье, на носилках. Это белое, большое, покрытое простыней, было телом Анны Германовны, с открытым лицом, с открытыми глазами, из которых уходило сознание. Но она успела сказать «простите» и все повторяла: «Простите». И, узнав Незлобина, она тоже сказала ему «простите». Врач быстро вошел и строго приказал немедленно перенести больную в палату. Приемная мигом опустела, когда Анну Германовну унесли, остался побелевший, задумавшийся Незлобин. Жизнь продолжалась, в приемную заходили и выходили люди, пробежала сестра с кислородной подушкой, а он все не мог уйти, все думал...

Эмма Леонтьевна была дома. Она уже все знала. Незлобин понял это по беспомощному выражению ее красивого лица.

— О Мещерском Тале я сказала. Она уже три дня не выходит из комнаты. Должно быть, от кого-то узнала. Заперлась и, как я ни уговаривала ее, не выходит, отвечает ровным голосом: «Мне просто нужно немного побыть одной. Со мной ничего не случится».

— А что Анна Германовна стреляла в себя, она знает? — спросил Незлобин.

— Нет.

— Я был в госпитале, когда ее принесли. Позвольте мне поговорить с Талей. Мне нужно увидеть вас, Таля,— подойдя к двери ее комнаты, спокойным, твердым голосом сказал он.— Я вас прошу, возьмите себя в руки. Я только что из госпиталя. Случилось несчастье. Анна Германовна...

Он еще не договорил, дверь распахнулась, и Таля появилась на пороге. Незлобин был поражен: лицо ее обострилось, волосы потеряли молодой блеск, тут и там мелькали седоватые пряди.

— Умерла?

— Нет Послали за главным хирургом.

Она собралась мигом.

— Пойдемте.

— Куда?

— Разумеется, к ней.

— Нас не пустят.

— Я попрошу, меня пустят. Мне нужно у нее что-то спросить.

В госпитале уже было так, как будто ничего не случилось. Их не пустили. Началось ожидание.

— Что вы хотите у нее спросить?

— Адрес сына.

И она добилась того, что главный хирург разрешил ей провести ночь — последнюю — с Анной Германовной. Таля в своих письмах Незлобину, когда они разъехались, рассказала, о чем они говорили.

Ненастье. То и дело налетают снежные заряды. Слабые южные ветры гонят облака куда-то на север. Низкое, незаходящее, утомительное солнце неуклонно плывет к западу в мутном небе. Надо идти вдоль моря. По лестнице, которая поднимается и опускается через сопку, все провожающие пройти не могут, их много, так много, что, казалось, опустели дома не только в городке, но и в отдаленных базах. К безумию относятся с уважением. Безумие не каждому под силу.

Заряд внезапно стихает, и море так же внезапно успокаивается — ведь происходят похороны, проводы, и надо не хмуриться, не биться о скалы и постараться принять серо-зеленый, благородный, матовый цвет.

«Вы были на нашем кладбище? Оно у нас чистое, над морем, высокое». Провожающие, обходя овраги, поднимаются в горы. Путь не близкий. После пронесшегося снежного бурана ноги скользят, но выручают камни, осколки скал, разбросанные на дороге.

Вот и могила. Первой бросает горсть земли Таля, за ней все другие — и среди них Незлобин. Краснофлотцы берутся за лопаты, и вскоре невысокий холмик вырастает среди других могил. «У нас мало цветов, только полярные маки. Посадила бы я ему полярные маки».

Короткая речь начальника штаба. «Слабость, воинский долг, нарушение присяги». «А что делать с присягой любви? — думает Незлобин.— Да, понимала, что нужна, недаром даже у санитаров прощения просила. Но не слабость, а сила нажала курок. Человек — хозяин своего сердца. Мы сражаемся и побеждаем ради любви».

Надо жить

Вызов из Москвы наконец пришел и с ним письмо Нины Викторовны, в котором она извещала, что в редакции вовсю кипит «награжданская война» и что остались без ордена только она и Незлобин. «Я — за мои «плоды житейской бодрости», а Вы — за авторосклероз,— писала она.— Редактору известно о Вашей болезни, и тем не менее он ждет, что Вы появитесь с чемоданом, битком набитым героическими подвигами моряков Северного флота».

Еще до письма Нины Викторовны Незлобин решил явиться в редакцию если не с чемоданом, так с портфелем, набитым рукописями. Он умел заставить себя работать. Проводив Талю, получившую известие, что отец заболел, он принялся за дело с такой энергией, что даже Петя, на которого он рявкнул, воспользовавшись многочисленными производными от слова «мать», стал ходить вокруг него на цыпочках, а потом исчез, уехал с катерниками, стоявшими в одном из фиордов.

Приведя в порядок свои многочисленные записи, Незлобин набросал вчерне пять статей, одну за другой, причем одну из них в некотором роде «стратегическую», без прочной уверенности, что увидит ее в печати.

Незлобин вспомнил, работая над этой статьей, свою первую встречу с командующим в его маленькой базе, обшитой сосновыми досками, от которых шел чуть слышный, нежный запах леса, незаметно, но упрямо присоединявшийся к разговору. А разговор был существенно важный. Пользуясь висевшей на стене картой морского театра, командующий рассказывал новому военкору задачу, которую должны были решить все силы авиации и флота. Невыгодное положение Полярного было обойдено, но как-то так, что Незлобин лишь по скользящим намекам мог о нем догадаться. Но месяца через два флотские зенитчики подбили Ю-88, а морские охотники выловили из воды немецкого летчика, у которого отобрали топографическую карту. Ничего особенного не было в этой карте, и тем не менее она убедительно доказывала, что немцы плохо представляли себе, с кем они схватились. На карте была обозначена железнодорожная ветка, соединявшая Полярное с городом Кола. Короче говоря, немцы не

могли вообразить, что главная морская база обходится без транспортной связи со страной. Они не видели эту ветку, но пунктирно нарисовали ее, потому что ее неизбежность поддерживали логика и стратегическая необходимость. Эта пунктирная ветка вернула Незлобина к мысли, что перед его глазами происходит не столкновение нашего оружия и нашего мужества с оружием и мужеством противника, но дуэль умов, и фантастическое, острое, неожиданное русское воображение победит, как бы это ни было трудно. В Полярном говорили, что командующий, ознакомившись с этой картой, засмеялся и процитировал Козьму Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись: «Буйвол»,— не верь глазам своим».

Незлобин кончил статью, начал другую и вдруг с нежностью вспомнил, как, прощаясь, Таля сильно, крепко обняла его и поцеловала. «Увидимся ли мы еще когда-нибудь?» — подумал он и вообразил, что Таля ждет его в Москве, хотя в Москве его ждала вовсе не Таля, а редакция и, очевидно, больница.

Он дочитал письмо Нины Викторовны и удивился, узнав, что она не только договорилась с врачом из Боткинской больницы, чтобы его положили в самую лучшую, седьмую палату, но сняла для него комнату, потому что в переполненной гостинице «Москва» он на этот раз получит «фигвам» — так, по-своему перекроив слово «вигвам», Нина Викторовна выразительно обрисовала будущее жилищное положение Вадима Андреевича. Правда, о хозяйке его комнаты она писала неуверенно, почему-то называя ее «скотинской мадонной», но обещала к приезду Незлобина сделать ее скромной блеющей овечкой.

Незлобин ночью кончил писать последнюю статью, и, казалось, она ему особенно удалась.

В четвертом часу ночи он вышел на улицу. Пароход из Мурманска, даже если он подойдет без привычного опоздания, пришвартовывался обычно в полдень. Спать не хотелось. Разбег работы еще продолжался, хотя он уже давно шагал по опустевшему городку, думая о том, что эти пять статей не были бы написаны, если бы... И воображение мигом вернуло ему Талю, которая так же, как он, хотела проститься с Полярным — и не только с Полярным.

Она была мысленно рядом с ним, она водила его рукой, когда он работал, а теперь она шла рядом с ним по Первой линии, приближаясь к лестнице, переброшенной через сопку. Патруль остановил его, спросил пароль, и он наудачу ответил «штык»,— вспомнив, что, когда драматург Шток был задержан ночью, моряки отпустили его, приняв за пароль его фамилию. Но пароль был не «штык», а какой-то другой, и ничего не оставалось, как признаться, что он не знает пароля, потому что весь день просидел за работой.

— Сегодня в Москву,— объяснил он,— считанные часы остались, чтобы проститься с Полярным.

Они отпустили его. Его знали; он часто выступал на кораблях.

В Старом Полярном слежавшийся снег, долго белевший в вечной тени гранитных ущелий, наконец простился со своим затянувшимся существованием, а до приезда Тали было еще далеко. Черника и голубика, которым не было никакого дела до того, что идет вторая мировая

война, зацвели подле топких болот, за ними показалась рыжеватая морошка. Карликовая березка уже давно раскрыла свои маленькие липкие почки, серо-зеленый ягель становился все более пушистым и мягким. Бледно-красный солнечный диск над поверхностью моря уже как будто окунулся в воду и теперь обещал ясный, безоблачный день.

Незлобин добрался до кладбища и немного посидел на обломке скалы недалеко от могилы. Бедная, бедная, не выдержавшая потери не любившего ее человека красивая Анна Германовна. Нет, ложный шаг! Нет, оступилась! Нет, недаром она просила прощения за то, что не справилась с собой. Надо жить! Нельзя терять мужества, какой бы безнадежностью, одиночеством, пустотой ни грозила жизнь.

На этот раз Нина Викторовна, возвращаясь из кабинета главного редактора, не возвестила: «Безрузвельтатно!» На этот раз сам редактор распахнул дверь, пригласил Незлобина и спросил:

— Как здоровье?

Читая страницу одним взглядом, он быстро просмотрел статьи, сложил их и, вызвав Нину Викторовну, приказал ей отвести Незлобина в любую свободную комнату и дать ему стакан крепкого чая с сахаром, а не с сахарином.

— Аппетит приходит во время беды,— объяснила Нина Викторовна.— Через два часа надо сдавать в номер передовую, а в редакции никого, кроме «Двуликого пьянуса» (так она называла одного из сотрудников). А он и в трезвом виде может написать только «ма-ма». Согласие не спрашивается. Приказ есть приказ.

Оставшись в одиночестве, Незлобин тоскливо отхлебнул чай и вздохнул. Передовую он писал впервые. Ему хотелось обойтись без затертых слов, но оказалось, что это невозможно. Незатертые слова торчали, как прутья из сломанной бельевой корзины. Матерясь, он махнул рукой и написал статью без помарок, одним глотком выпил чай, съел сахар, и, не найдя Нины Викторовны на месте, постучался к главному редактору.

— Войдите.

Он вошел и остолбенел: весело размахивая маленькими ручками, поправляя шинель, падавшую с плеч, с сияющим, похорошевшим лицом редактор бегал из угла в угол по кабинету.

— Послушайте, что с вами случилось? — хрипло спросил он.— Раньше вы так не писали!

— Пойдет?

— Пойдет — не то слово! Это... это исключительно! Я знаю людей, которые лопнут от зависти, читая ваш подвал.— Он спохватился, стараясь придать своему непривычно веселому лицу строгое выражение.— Молодой человек,— сказал он, хотя был двумя-тремя годами старше Незлобина,— поздравляю вас. Вы научились. Я еще не знаю, что и как, но мне ясно одно: вы научились. Стратегическая не пойдет.

— Почему?

— Пускай немцы думают, что мы нарочно не связались железной

дорогой. Мнимый умысел иногда маскирует промах. Вернетесь в Полярное. Я прикажу выдать вам полушубок.

Незлобин покачал головой.

— Так вы теперь куда?

— В госпиталь,— сказал Незлобин.— А то загляну в военкомат, и меня снимут с учета.

— У вас есть направление в госпиталь?

— Да. Кроме того, у меня есть Нина Викторовна, которая устроила меня в Боткинскую больницу.

— Это другое дело. Ложитесь. Теперь язву лечат быстро, в три недели. А потом снова на Северный флот. Вы хорошо написали.

— Еще что будет! — сказал, смеясь, Незлобин.— Я еще не статью для подвала вам принесу, а роман.

— О войне?

— Нет, о любви.

К его удивлению, редактор принял это сообщение серьезно. Его маленькая мордочка стала задумчивой и почему-то грустной.

— Моя мечта,— вздохнув, сказал он.— Но это не удалось даже Чехову. Впрочем, он не писал романов.

Из редакции Нина Викторовна потащила его смотреть новую комнату на маленькой улице Маркса и Энгельса. Грязный подъезд выходил на захламленный двор. На первом этаже дверь открыла закутанная-перекутанная старушка, похожая на крысу, вставшую на задние лапы и напялившую на свою маленькую головку вязаный колпак. Сходство с крысой подчеркивалось довольно длинными усами, топорщившимися, когда она улыбалась. Как ни странно, но улыбалась она хотя и льстиво, но с выражением, которое можно было, пожалуй, выразить словами: «Я вам еще покажу!»

— Познакомьтесь,— сказала Нина Викторовна.

Незлобин назвал себя.

— Эвридика Прокофьевна,— пробормотала хозяйка. Фамилию Незлобин не расслышал.

Комната была большая, светлая, с лепным потолком, с большой печкой, с письменным столом, на котором стояла старинная лампа под длинным медным козырьком-абажуром, заваленная рухлядью, как, без сомнения, и вся эта (Незлобин, проходя, заглянул в столовую) грязная, видимо давно не видевшая швабры и мокрой тряпки квартира.

— Послушайте, Эвридика Прокофьевна,— сердито сказала Нина Викторовна,— вы же обещали мне прибрать комнату.

— В этой комнате,— ответила хозяйка с восторженностью, показавшейся Незлобину несколько странной,— зимой можно умереть от жары. Дрова на ваш счет.

И она почему-то предложила Нине Викторовне купить у нее дрожжи.

— Очень полезно,— сказала она, значительно выпятив усатые губки.— Питательнейший продукт. Сахарно-дрожжевое брожение.

За комнату она запросила тысячу рублей в месяц, и, хотя Нина Викторовна с ужасом всплеснула руками, Незлобин согласился.

— Боже мой,— сказала она в трамвае, когда они ехали в Боткинскую больницу,— я устроила вас в сумасшедший дом.

— Не беда,— смеясь, ответил Незлобин.— Одного не понимаю: почему она предложила вам купить у нее дрожжи?

— А черт ее знает! Очевидно, она торгует дрожжами на рынке.

— Видите, как интересно! Усатая хозяйка, торгующая дрожжами. Эвридика! Супруга Орфея!

— Интересно для комедии?

— Не знаю. Я не драматург. Может быть, для романа?

В больнице его долго осматривала толстая докторша, не умолкавшая ни на минуту.

— У нас нет офицерских палат, у нас все равны, от дворника до министра. Для нас весь мир делится на больных и здоровых. Впрочем, до здоровых нам нет никакого дела. Здоровые, как правило, не нуждаются в медицине. Раздевайтесь. Вы знаете английскую пословицу: «One apple a day run the doctor away»... «Одно яблоко в день гонит доктора прочь». Вы любите яблоки? Так вот, они все-таки медицину не отменяют. Нет, раздевайтесь совсем, я не девочка, мне не восемнадцать лет.

— И трусики?

— Не надо. На зону, облеченную в трусики, у вас, я полагаю, жалоб нет?

«Сволочь»,— почему-то подумал Незлобин.

— Ложитесь. Здесь болит?

— Да.

— А здесь?

Девушки-санитарки пробегали через приемный покой, не обращая на голого Незлобина никакого внимания.

— И здесь болит.

— Если здесь болит — это одно. А если здесь — совершенно другое.

Подтянув трусики, Незлобин достал из портфеля рентгеновский снимок.

— Снимали в Полярном. И меня смотрел главный хирург Северного флота,— соврал он.

Докторша подошла к окну и долго рассматривала снимок.

— Это очень хорошо, что вас смотрел главный хирург Северного флота. Сейчас мы заполним карточку и отправим в седьмую палату. Кстати, почему в седьмую? Впрочем, я читала ваше направление. Именно в седьмую. Для приема пищи можете вставать к столу.— Она что-то записала в карточку.— Щадящая диета.

Блокнот Незлобина

1. Как ни сложна жизнь личности, жизнь человека еще сложнее.

2. В Полярном я был в отъезде от самого себя. Теперь я вернулся — не к себе, а к Тале, о которой я вот уже месяц ничего не знаю.

3. Чтобы писать ясно, надо поставить себя на место читателей. Взглянуть на страницу чужими глазами.

4. Что-то носить в душе, чувствовать, уметь — и не уметь раскрыть себя — какая мука!

5. Сотой доли ее существа хватило бы, чтобы вставить эту долю в оправу и резать ею стекло, как алмазом.

6. Откровенный разговор — развертывание души. То летишь вперед, то возвращаешься. То надеешься, что будет угадана скрытая надежда, то уходишь в сторону, не зная, что именно там, в стороне, таится самое главное. Разговор выше письма и заменить его не в состоянии. Письмо лишено выражения лица, открытых глаз, молчания, которого нельзя заменить словами. С чувством полной беспомощности смотрю я на свои неотправленные длинные письма.

7. По-французски «трус» и «подлец» одно слово — lâche.

8. Не молодежь, а мы, сорокалетние, должны понять и объяснить все, что происходит в годы войны.

9. Школа научила меня лгать, а война — говорить правду.

10. Женщина, которую считают холодной, просто еще не встретила человека, способного разбудить в ней любовь. Семейные пары, живущие десятилетиями, подчас даже не подозревают об этом чувстве.

11. Фамилии: «Диалектова», «Правоторов». Названия: «Что прошло, то прошло», «Карты на стол», «Бумажный кораблик», «Забытые страницы».

12. Толстовские «Два гусара» начинаются фразой в двадцать две строки. Попробовать написать рассказ, состоящий из одной фразы.

13. Таля могла узнать в Полярном, что Мещерскому не позволили бы жениться на ней. Или он и об этом ничего ей не сказал? Впрочем, вероятно, позволили бы, но придержали бы переход в более высокое звание, обошли бы наградой.

14. Надо вообразить себя в шестидесятых годах, через двадцать лет, в другом, неизвестном времени, в условном литературном пространстве. Иначе невозможно написать роман о том, что произошло в Полярном.

15. Все сдвинутое, стронутое с места войной должно вернуться на свои места, и это может обернуться трагедией.

16. Я постарел не потому, что потерял инстинктивный интерес к новизне, а потому, что (может быть, это только кажется) нашел свое. Это — проза и Таля.

17. Душевное одиночество, неразделенность чувств и размышлений неизменно превращается в замкнутость, в нежелание делиться. А между тем потребность высказаться присоединяется к любой мысли, к любому желанию. Может быть, здесь-то и лежит объяснение тех неожиданных откровений, тех взрывов души, которые за минуту нельзя было предвидеть и которые запоминаются на всю жизнь. Мне становится страшно, когда я думаю, что именно это может случиться, когда я увижу Талю.

18. Прекрасно помню, что в молодости я терялся, когда надо было соврать.

19. У Тали странная фамилия: Неледина-Критская. К ее фамилии почему-то надо было присоединить фамилию людей, которые ее воспитали.

Седьмая палата

Соседом Незлобина по седьмой палате оказался академик, и не прошло двух дней, как выяснилось, что и по своему характеру, и по отношению к медицине, и даже по своей наружности он представляет собою просто клад для любознательного человека.

У него было воспаление легких, врачи приказали лежать, а он каждые полчаса вскакивал с постели и бежал звонить своим сотрудникам по телефону. Занимался он гельминтологией и был — об этом Незлобину шепнула медсестра — мировым знатоком в области, о которой тот не имел никакого понятия. Академика почти ежедневно навещали добродушная покорная жена, взрослые дети, тоже уже доктора наук, но интересовался он только своей гельминтологией. Даже слушая очередную сводку, он думал, казалось, только о глистах — такую погруженность в свое призвание Незлобин встретил впервые. Маленький, с острой седой бородкой, в полосатой развевающейся пижаме, он летел к телефону и, наговорившись, возвращался в постель. О глистах он думал, по-видимому, неотступно, самозабвенно. Жена слушала его с улыбкой и, прощаясь, целовала и, как маленького мальчика, гладила по лохматой голове. Впрочем, узнав, что Незлобин — военкор, он сказал, что никогда не сомневался в нашей победе, потому что русские «парадоксально терпеливы и легко жертвуют удобствами во имя любой нравственной цели».

Всякий раз, когда сестра приносила ему микстуру, он, не отрываясь от своих рукописей, лежавших на коврике у кровати, на окне, на одеяле, смотрел на склянку из-под очков и просил поставить ее на ночной столик. До вечера склянка оставалась нетронутой, а перед сном — свет гасили рано — академик вскакивал с кровати и с озорной улыбкой выливал микстуру в умывальник.

Это повторялось каждый вечер, и в конце концов заинтересованный Незлобин спросил соседа, чем объясняется такое пренебрежение медика к исцеляющей силе науки.

— Потому что все это ерундистика,— сказал академик.

И, вообще говоря, многое заинтересовало Незлобина в седьмой палате. Главной сестре, средних лет, полной, аккуратной, рыжей, причесанной гладко на прямой пробор, каждые полчаса звонил муж — проверял, на дежурстве она или сбежала. «Ревнует»,— с удовлетворением объяснила она Незлобину.

Ничего особенного не происходило в седьмой палате: лечились,

болели, выздоравливали, умирали, но за этой обыкновенностью проступало то повторяющееся безумие, которого никто, кроме Незлобина, казалось, не замечал.

Оно было связано с всеохватывающим безумием еще небывалой в истории человечества войны.

День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом.

Знаменитый гельминтолог считал, что его работа имеет важное оборонное значение. Ревнивый муж был мастером на оборонном заводе, и для того чтобы каждые полчаса звонить своей спокойной, гладко причесанной жене, которая весь день не вставала со своего стула, должен был оторваться от срочного оборонного дела.

В соседней комнате лежал астматик, который с первого же слова почему-то сказал, что у него некрасивая старая жена, которую он тем не менее очень любит. Дочь вышла замуж за вора, укравшего у него золотые часы. История его болезни тоже была связана с обороной. С ответственным поручением он летел в сражающийся Сталинград. Самолет был обстрелян, и летчик предупредил, что придется садиться «на живот», потому что шасси разбито.

— Я не испугался,— рассказывал снабженец,— но все во мне остановилось, как останавливаются часы или трамвай.

Посадка прошла благополучно, он успешно выполнил поручение, но через полгода, когда он уже забыл об этой истории, его хватила астма, да такая, что он чуть не «сыграл в ящик».

Тени войны заглядывали в окна Боткинской больницы, бродили по ночам в пижамах и халатах, очередная сводка откликалась, как эхо, в любом разговоре.

...Каждые два-три дня Нина Викторовна заходила к нему и сердилась, когда он не сразу отрывался от работы.

— Милый мой, вы этак никогда не поправитесь! Что вы пишете?

— Роман.

— Только этого еще не хватало! Нашел время и место. О чем?

— Не знаю. Кажется, о любви.

— Как вам это понравится! В редакции ждут не дождутся, когда он поправится, думают, кого послать на Северный флот, а он, здорово живешь, пишет роман. Да еще о любви! Сейчас же поеду к главному редактору, и он вкатит вам строгий выговор с занесением в личное дело. Может быть, вы влюбились?

— Кажется, да,— смеясь, ответил Незлобин.

— В кого? Уж не в меня ли?

— Н-не совсем. Вас я люблю как сестру.

— И то ладно. Не забудьте, что я уже была пятнадцать лет замужем. Нет, серьезно. Как дела?

— Неважно. Решили меня подвергнуть казни с помощью новокаиновой блокады.

— Новококаиновой?

— Без второго «ка».

— Это еще что за штука?

— Не знаю. Впрочем, еще не решили. Обсуждают. Как проклятые союзнички. Решили открыть второй фронт — и три года обсуждают.

Нина Викторовна привезла ему коржики, вкусные, но такие твердые, что их можно было только сосать. Он сосал и писал с давно не испытанным наслаждением. Может быть, он легкомысленно назвал свою рукопись романом? Но она была так не похожа на его корреспонденции и очерки! Многое было совершенно новым для него, а на кое-что он просто не решался. Когда он писал для газеты, все было под рукой, надо было только мысленно увидеть то, о чем он хотел рассказать. Теперь он не смотрел, а вглядывался, не рассказывал, а размышлял. Полярное казалось вчерашним днем, и все-таки оно должно было занять свое место в замысле, одновременно простом и сложном.

Далекое прошлое он хотел связать с настоящим, старость с молодостью, историю своей матери с историей Тали.

Елена Григорьевна, выросшая в семье известного врача, кончившая с медалью Петербургскую консерваторию по классу фортепиано, получившая прекрасное образование, влюбилась и вышла замуж за бравого усатого пехотного офицера, дослужившегося в годы первой мировой войны до подполковника и не прочитавшего ни одной книги, кроме тех, которые полагалось прочитать мальчику, кончившему кадетский корпус в Казани. Фамилия его — Незлобин — была русская, но по скуластому лицу, по густым плотным усам, по дикому взгляду исподлобья нетрудно было угадать, что в каком-то поколении к русской присоединилась татарская кровь. Высокого роста, с могучими плечами, длинными, как у гориллы, руками, он был прямодушен, недалек и бешено вспыльчив. В Красной Армии он служил с таким же усердием, как в царской. Армия была прежде всего армией для него, как бы она ни называлась. Елена Григорьевна прожила с ним тридцать лет, как могла бы прожить с Мещерским Таля.

Вадим Андреевич сказал, что пишет роман о любви, и это был действительно роман о любви, хотя речь шла о жизни провинциального городка, в котором прошло его детство. Полк отца стоял в этом городке. Дня не проходило без ссоры, и первым воспоминанием маленького Вадима было мертвенно-бледное от ярости лицо отца в старомодных вьющихся баках. Повод был не нужен, повод был в презрительном молчании, с которым встречала каждое его слово мать. Но отец, который мог опрокинуть стол, если ему не понравилось жаркое, любил и это презрение...

Вдруг стали удаваться разговоры, может быть, потому, что Незлобин научился видеть себя на месте героев своего детства, как, работая над корреспонденциями и очерками, видел себя на месте Подпруги, Одрубовского, разведчиков, о которых писал для газеты. Правда, время от времени ложно найденное слово заставляло его зачеркивать страницу. Но оно заменялось другим, более выразительным и точным, и вместе с ним заменялись десятки других, казалось, единственно возможных.

Щадящая диета подействовала, боли почти прекратились. Жизнь

была прекрасна, пока однажды под вечер к нему не явилась незнакомая докторша и не вкатила ему в левый бок сто граммов какой-то жидкости, от которой стало трудно дышать. Огромный тяжелый кирпич появился где-то под сердцем, а может быть, в другом месте, и, хотя Незлобин не был в жизни у зубного врача, заболели почему-то даже здоровые, прекрасные зубы.

— Что вы со мной сделали? — стараясь унять дрожь, спросил Незлобин.

— Новокаиновая блокада,— спокойно ответила докторша.— Через шестнадцать дней будете здоровы.

Она ушла и вернулась через десять минут.

— Что же вы мне не сказали, что вы Незлобин? — оживленно сказала она.— Я читала ваши корреспонденции. Я бы вам не сто, а сто пятьдесят кубиков вкатила.

— Спа... спасибо,— нервно щелкая зубами, ответил Незлобин.

С кирпичом под сердцем стало хуже жить, но он притерпелся и продолжал работать. Да, мать прожила ту жизнь, которую могла бы прожить Таля. Такую, но совершенно другую. Роман был очередным письмом к ней, а может быть, внеочередным, потому что он все-таки надеялся, что его прочтет не только Таля. Что касается других писем к ней, которые он не решался отправить, с ними Незлобин в конце концов поступил просто. Он запечатал их в большой конверт, который подарил ему академик, и отдал с просьбой отправить спокойной счастливой сестре, которой без конца названивал муж.

— Ого! — сказала она, взвесив в руке туго набитый пакет.— Жене?

— Судьбе,— ответил Незлобин.

Ответ Тали

«Дорогой Вадим Андреевич, в моей жизни случились неожиданности, мне однажды удалось в семнадцать лет спасти огромного, как Гаргантюа, мужчину, который заплыл дальше, чем ему позволяло его огромное сердце. Но подобную неожиданность, так сказать, в абсолютном смысле, то есть нечто упавшее с неба, я встречаю впервые. Правда, Эмма Леонтьевна как-то между прочим сказала мне, что Вы влюблены, это было в театре, и я задумалась, но ненадолго. Мы ждали Сашу. Но теперь, когда после всего, что произошло в Полярном, на меня обрушился дождь Ваших писем (четырнадцать, я сосчитала), я уже не задумалась, а, откровенно говоря, ошалела. Вы с необдуманной щедростью подарили мне груду придуманных разговоров, в которых я даже не пыталась разобраться,— отдельные фразы повторяются мысленно дома, в госпитале, в театре, куда ежедневно ходит Елена Григорьевна, иногда настаивая, чтобы я шла вместе с ней. Единственным моим собеседником оказался Андрей, который молча слушает мои размышления вслух и иногда гладит

меня по руке, приговаривая: «Все уладится, мама!» (Он в последнее время стал называть меня «мамой», чему я очень рада.) Но, как ни странно, эти воспоминания о Ваших письмах и размышления о них не мешают тому, что я делаю, чем занята, о чем думаю, а, напротив, помогают. Самая мысль, что есть на свете хороший человек, который как бы оценивает твои мысли и чувства, кому я дорога,— мысль эта сама по себе бесценна, и за нее я Вам искренно благодарна. Признаюсь, и я скучаю без Вас, но только скучаю, дорогой Вадим Андреевич, и не больше. А ведь до сих пор я не знала, что такое скука. За те три года, что мы не виделись с Сашей, мне полагалось скучать о нем, но это была не скука, а чувство, что временно мне поставили картонное сердце и нужно все силы души заставить действовать, чтобы доказать себе, что оно не картонное, а живое. И потом, что значит «полагается»? Это странное слово выросло из сознания, что мы все по уши в долгах, а я была намерена жить свободно, без долгов и налогов. Дело в том, что я всю жизнь считала себя невестой, очевидно, это понятие заложено в самой основе моего существа. В детстве, когда я еще жила с отцом, моей любимой игрой была свадьба. Я выходила замуж за нашего кота, за обезьянку, которую подарил мне капитан английского парохода, и в конце концов — за весь ялтинский порт с его кранами, рыболовными судами и криками татар, продававших фрукты. Конечно, ничего не могло получиться из девочки, поставившей знак равенства между действительностью и воображением. Так было, пока не появилась возможность хлопотать об отце,— жизненная забота, в которой не было места воображению. А потом Полярное, которое нельзя было ни вообразить, ни предвидеть.

Да, многое совершилось в душе, когда, узнав о гибели Саши, я заперлась в «циркульном» доме и не выходила несколько дней, несмотря на уговоры и даже мольбы милой, доброй Эммы Леонтьевны. Как только она не убеждала меня, как не доказывала, что жизнь еще впереди. Боясь, что я умру от голода, она подсовывала в щель между дверью и полом бутерброды с сыром.

Теперь уже никто не скажет, что я явилась из девятнадцатого века. Если какая-то прозрачная преграда оставалась еще между действительностью и воображением — то, что случилось в Полярном, проломило ее, и я безропотно присоединилась к бесчисленному множеству вдов и сирот. Незамужняя вдова — Вы и представить себе не можете, как это обстоятельство затруднило мои хлопоты, вопреки предсмертному письму Анны Германовны, в котором она отдавала мне сына. К счастью, оно было заверено начальником штаба. И тем не менее пришлось карабкаться на самую вершину канцелярского Эвереста, и, знаете, кто помог мне? Ваша мать. Детский дом находится в Краснокамске, недалеко от Перми, и она, недолго думая, потащила меня к председателю исполкома. А дальше все стало совершаться с волшебной быстротой. Этот председатель, или, вернее, председательница, с многообещающей фамилией Райская, прочитав письмо Анны Германовны, поехала со мной в Краснокамск, и я вернулась уже с восьмилетним сыном. Он высокий не по годам, молчаливый (но

мне кажется, только потому, что еще не понимает, что с ним случилось), похож на Анну Германовну, способный, свободно читает и пишет.

В «Смерти Вазир-Мухтара» есть арабский эпиграф: «Великое несчастье, когда нет истинного друга». Так вот, мой истинный друг, Вы должны знать, что я очень беспокоюсь за Вас. Вы больны, а между тем Вас ежечасно тянет туда, где и без Вас обойдутся... В любом деле, самом рискованном, Вы склонны надеяться на благополучный исход — помните, с какой энергией Вы уверяли меня, что Саша вернется? Словом, перебирая наши разговоры, я думаю, что так и надо жить, и мне кажется, что, не замечая своей поучительности, Вы многому меня научили. Пускай же это письмо докажет Вам, что я оказалась способной ученицей. Пишите.

Ваша Таля.

P. S. Как ни странно, из Ваших писем я не узнала, почему Вы в Москве. Здоровье, дела? Напишите подробно.

P. P. S. Совсем забыла: я с восторгом прочитала Ваш последний подвал: «Ученик Тициана». И с радостью, потому что это настоящая проза, в которой непростительно не рассчитывать на психологическую глубину. Все удалось: и капитан-лейтенант, о котором Вы пишете, что он был очень занят, «но грузин всегда найдет время для друга», и особенно атмосфера, характерная для морской пехоты. Поздравляю Вас.

Ваша Таля.

Ученик Тициана

Рассказ, о котором упомянула Таля, действительно удался Незлобину больше других. Моряка-грузина он выдумал, может быть надеясь увидеть в нем того размышляющего рассказчика, которого ему хотелось сделать «хозяином» романа. Именно он должен был связать одно звено с другим, и тогда, может быть, сложится психологический портрет, чем-то далекий от автора и одновременно близкий.

Вот несколько страниц из этого рассказа:

«Ученик Тициана.

Он был человеком войны — в полном значении этого слова. Казалось, он не желал даже и думать о том, что будет делать после Победы, которой были отданы все его силы. Как-то я спросил его об этом и прибавил, что это кажется мне вполне естественным: люди, держащие в руках оружие, ежедневно, ежечасно глядящие в лицо смерти, не думают о будущем. Нет ни времени, ни охоты.

— Вы ошибаетесь,— отвечал он.— Думают, и даже очень. Что значит будущее? У каждого свои надежды и планы. Но для всех Победа — это возвращение домой, отдых, новая жизнь. Будущее будет прекрасным,— с волнением добавил он.— Не может быть иначе

после всего, что испытал народ. Он знает это, и он заботится о будущем, может быть, инстинктивно. Хотите, я расскажу вам одну историю? Судите сами — прав я или нет.

Мы дрались на суше, обороняя П., старинный городок, с дикими садами, с перепутанными улочками, усыпанными в эти дни розовато-белым нежным цветом черешни. По одной из этих улочек, Нижне-Замковой, шла линия фронта. Среди развалин древней крепости на восточной окраине был мой КП — я командовал отрядом. И вот однажды под утро, когда еще не очнувшись от короткого тревожного сна, я сидел над картой, отмечая крестиками дома, из которых были выбиты немцы, ко мне привели маленького старичка в широкополой шляпе.

Седой, бледный, в длинном, засыпанном штукатуркой пальто, небритый, он произвел на меня впечатление полусумасшедшего. Но это было далеко не так. Напротив, очень толково он объяснил мне, кто он такой и дело, «по которому,— вежливо сказал он,— я осмелился вас беспокоить».

Это был заведующий городским музеем, кстати, очень хорошим, о котором я слышал задолго до войны.

— Моя фамилия Перчихин,— сказал он,— и я являюсь потомком тех купцов Перчихиных, в древнем здании которых и основан музей.

Отрекомендовавшись таким образом, он стал излагать свое дело.

— В музее,— объяснил он,— осталось немало ценных произведений искусства. Но среди них есть один бесподобный шедевр, который необходимо вывезти, потому что история не простит нам, если он попадет в руки варваров, каковыми являются фашисты.

Я спросил, что это за шедевр, и он ответил, что имеет в виду картину «Пробуждение весны» неизвестного мастера, которого знатоки считают учеником Тициана.

Ученик Тициана в П.! Я уже собрался было вежливо выпроводить этого потомка купцов Перчихиных. Но он остановил меня.

— Вам кажется маловероятным,— сказал он,— что эта бесценная картина находится в нашем городе, но П., как известно, лежит недалеко от старой границы. В тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда напуганная буржуазия бежала в капиталистические страны, художественные ценности, которые она вывозила, отбирались на границе и передавались в городской музей. Разумеется, на картину претендовал Ленинград. Но я запротестовал, и Луначарский присоединился ко мне, выразив свое мнение в известных словах: «Маленькие города имеют право на большое искусство».

Представьте себе обстановку, в которой происходил этот разговор: немцы уже начали свой методический обстрел из танков, на этот раз подошедших к нам очень близко, комья земли, осколки камней залетали в блиндаж, а маленький гриб в длиннополом пальто, цитируя древних и новых авторов, невозмутимо рассказывал об ученике Тициана. В конце концов здесь не было ничего невозможного. Как раз накануне наш врач просил меня послать кого-нибудь за медикаментами, которые, как и старый холст, остались у немцев

и в которых мы нуждались не меньше, чем в ученике Тициана. Вот бы и взять разом — медикаменты и холст!

Я вызвал лейтенанта Норкина из разведотряда. Я знал его давно. Он был ленинградец, из училища Фрунзе — черный, маленького роста, на вид комнатный мальчик, а на деле лихой и остроумный разведчик. Кстати, он отлично рисовал — кто же еще должен был выручить из беды бессмертного ученика Тициана!

Ночью, прихватив заведующего музеем, который решительно отказался сменить на шлем свою широкополую шляпу, лейтенант отправился за линию фронта на трофейной машине. К утру он вернулся слегка озадаченный. Он привез и медикаменты и «ученика Тициана». Но заведующий музеем, к сожалению, остался в П. навсегда.

— Картина оказалась у него на дому,— доложил лейтенант,— и мы подъехали и взяли ее. Но он в это время стал таскать еще какое-то свое барахло, и его хлопнули. Так что назад пришлось возвращаться с боем.

Свернутое трубкой большое полотно лежало в машине среди бинтов, спирта, ваты и пакетов стрептоцида. Мы развернули его и ахнули. Черт знает, как это было хорошо: в саду под цветущими яблонями стояли большие столы, на которых лежали груды мяса, хлеба и битой птицы. Крестьяне и крестьянки водили хороводы и пели, веселые, потные, здоровые, в праздничных разноцветных одеждах. В стороне, у бочонка, окруженного факелами, солдат в огромных ботфортах пил вино, и красная струя лилась на его кожаный мундир. Фонари висели на деревьях. Это был сельский бал, праздник весны — великолепная вещь, от которой сразу веселее становилось на сердце. Так и хотелось замешаться в эту толпу, танцевать и пить из бочки вино, закусывая ломтем хлеба и головкой лука.

В конце мая мы оставили П. Уходя, мы, как говорится, дали прикурить немцам — недаром в своих приказах командир корпуса генерал Зегржт обещал за каждого убитого моряка недельный, а за живого — двухнедельный отпуск. Нужно было пробиваться к своим.

Не стану подробно рассказывать об этом походе, о нем в свое время писали в «Красной звезде» и других газетах. Мы прошли с боями более тысячи километров. Хлеба не было, мы коптили конину на кострах. Ели и сырую, когда нельзя было разводить костры. Лес, к сожалению, был еще пустой — ни грибов, ни ягод.

Но вернемся к «ученику Тициана».

Это был только кусок полотна, который был нам, кажется, совершенно не нужен. Его нельзя было съесть, из него нельзя было стрелять. Пока у нас еще были лошади, «ученика Тициана» подвязывали к седлу. Мы съели лошадей, и теперь приходилось таскать его на руках — дьявольски неудобно. Ребята ругались. А что, если просто бросить в лесу это большое, тяжелое полотно, на котором были нарисованы какие-то танцующие люди?

Но вот однажды лейтенант Норкин развернул картину и показал ее краснофлотцам. Что было! Мой отряд состоял из простых ребят, едва ли кто-нибудь из них прежде слышал о Тициане. Да и не до искусства было нам в эти дни! Но точно свет упал на суровые,

похудевшие лица. Все, кажется, исчезло: голод, грязь, смертельная усталость, опасность, притаившаяся за каждым кустом. Перед нами была прекрасная жизнь с ее здоровьем и счастьем, которыми были полны эти счастливые танцующие люди.

Совершенно ясно, что они были за нас, и за нас художник, нарисовавший этого смешного усатого солдата, который пил вино, проливая его на мундир, и чудных девушек, водивших хоровод, и великолепную битую птицу, которую мы еще будем есть, каким бы это ни казалось чудом.

Мы еще будем есть ее, черт возьми! И будем пить вино и плясать под яблонями, на которых висят фонари. В грязных боевых машинах мы проедем по улицам Москвы, и девушки, не хуже тех, что нарисовал художник, будут встречать нас с цветами, и повсюду, куда ни кинешь взгляд, будут цветы и цветы. Под простреленными знаменами мы отдадим командующему последний рапорт — война кончена, мы победили!

Наряжая на ночь караул, мы ставили часового к «ученику Тициана». Он был нашим знаменем, и мы берегли его, как знамя.

Нам было трудно. Но, вероятно, было бы еще труднее, если бы с нами не было этой картины. Однажды, переправляясь через реку, мы чуть не потеряли ее. Краснофлотец, которому было поручено захватить «ученика Тициана», погиб, картина осталась на левом берегу, в то время как отряд был уже на правом. Я вызвал охотников, и трое ребят под командой лейтенанта Норкина вернулись за картиной.

Четыре человека под прикрытием слабого огня на дырявой лодочке переправились через реку. Это и был десант, как понимали это слово наши ребята!

Через два часа они вернулись с картиной. Правда, она была прострелена. Пули попали в солдата, в руку, которой он подносил к губам кружку с вином, потом в одну девушку; пули попали и в другие места, потому что полотно было свернуто трубкой. Но лейтенант, который знал толк в этом деле, сказал, что в Москве найдутся мастера и все будет совершенно так же, как прежде.

Осенью мы вышли к своим, недалеко от Тулы. Мы были в лаптях, в портянках из попоны, бородатые, и я, между прочим, вот в этих кожаных брюках. В них я начал войну, в них и кончу.

— А «ученик Тициана»? — спросил я, когда капитан-лейтенант кончил свой рассказ.

— Мы привезли его в Москву,— отвечал он,— и целый взвод музейных работников явился, чтобы переправить его в безопасное место. Кстати, этим взводом командовал старичок, напоминавший мне беднягу Перчихина,— такой же гриб в широкополой шляпе. Он заплакал, увидев картину, и сказал мне: «Капитан, вы совершили великое дело». Кстати, у меня где-то сохранилось фото. Прежде чем сдать «ученика Тициана» в музей, мы с ним снялись. На память.

Он нашел фото и показал мне: моряки, держа руки под козырек, стояли под «учеником Тициана». Это был салют прекрасному будуще-

му, изображенному на простреленной, как боевое знамя, картине».

Могла ли эта история войти в его будущий роман? Сама по себе она была недурна, но главной цели не достигала. Она ничем не была характерна для рассказчика, а ведь он должен был стоять в центре книги. «Нет, надо думать и думать,— сказал себе Незлобин.— Может быть, не давать грузина? В конце концов хоть я и бывал в Грузии, но знаю грузин поверхностно, плохо». Но то, что надо было думать и думать, само по себе было наслаждением.

«Вы прошли мимо и сохранили мне жизнь»

Было бы безумием — и было безумием — рассчитывать на другое письмо от Тали. В ответе он просил извинить его: «Считайте, что каждое из этих писем — наша несостоявшаяся встреча. Когда мысль превращается в чувство, с которым изо всех сил стараешься справиться — как в борьбе с живым человеком, когда связываешь ему руки и затыкаешь рот,— оно в конце концов вырывается и мстит за себя, превращаясь в слова бессвязные, не отвечающие за себя и не требующие ответа. Дорогая Таля, умоляю Вас, забудем об этом навсегда, навсегда. Вы спрашиваете, почему я в Москве и что со мной. Я в больнице, дорогая Таля, и меня обещают вскоре поставить на ноги, чтобы я мог вернуться на Крайний Север и хоть одним глазом посмотреть на ту грандиозную панораму, которая начала развертываться еще при мне. И не могу сказать, что больница и все, что связывает меня с ней, проходит бесследно. Так много интересного, что мне давно пора написать Вам не о себе, а о других. Начать с того, что я наконец дорвался до романа (опять о себе) и пишу, не помня себя, что в конечном счете приводит к тому, что энное количество страниц в разорванном виде отправляется в корзину для бумаг. Передайте сердечный привет Николаю Николаевичу и Андрею».

Помогла ли новокаиновая блокада или нет, это навсегда осталось неизвестным. Но боли прошли, рентген показал, что нет ничего страшного, и Незлобин с признательностью расстался с Боткинской больницей — с признательностью, потому что за месяц, проведенный в седьмой палате, он отхватил почти треть — как ему казалось — будущего романа. Конечно, иные страницы были едва намечены, но жанр определился. Это был разговор с самим собой или с человеком очень близким — недаром же он попросил Нину Викторовну принести ему «Идеи. Книга le grand» Генриха Гейне!

В Москве было много дела. Во-первых, надо было освоить комнату, которую сняла для него Нина Викторовна, во-вторых, оформить отпуск, в-третьих, повидаться с командующим, получившим новое высокое назначение и вызвавшим Незлобина в Солнечногорск, где адмирал собирался отдохнуть несколько дней.

И самой сложной, занимательной и неожиданной оказалась

«эпопея освоения жилплощади на улице Маркса и Энгельса», как в письме к Тале он назвал свои злоключения. Начались они после того, как Нина Викторовна, воспользовавшись отсутствием хозяйки, привела женщину, которая убрала комнату Незлобина, а заодно и кухню. И, как ни странно, именно этот безобидный факт нарушил душевное равновесие закутанной-перезакутанной, несмотря на жаркий день, хозяйки.

— Ах, убирали, убирали!— закричала она, едва показавшись в дверях.— Боже мой, какое несчастье! Убирали!

— У вас что-нибудь пропало, Эвридика Прокофьевна? — с интересом разглядывая хозяйку, спросил Незлобин.

— Все пропало!— в отчаянии бегая по квартире, кричала хозяйка.— Мерзавцы! Кухню мыли! Полки! Кастрюли!

Только теперь Незлобин понял смысл своего разговора с добродушным, очень спокойным пехотным лейтенантом, который утром остановил его на дворе, когда он нес в свою комнату чемодан.

— Простите, товарищ майор. Вы, говорят, у Жени-Псих комнату сняли?

— Мою хозяйку зовут Эвридика Прокофьевна.

— Ну да! Она действительно называет себя Эвридикой. Но на самом деле ее зовут Евгения Прокофьевна. Так сняли? На первом этаже?

— Да.

— Смелый человек,— с уважением сказал лейтенант.— Прямо сказать — отчаянный.

— А почему ее так прозвали?

— Долго рассказывать, товарищ майор. Но вы сами скоро догадаетесь. Дело в том, что я муж ее сестры, а она не отдает наши вещи. Вот я и подумал, что в вашем присутствии...

— Простите,— перебил его Незлобин,— но мне не хотелось бы вмешиваться в ваши отношения.

— Тогда придется обратиться в милицию.

Лейтенант откозырял и ушел.

Женя-Псих бегала по всей квартире и кричала, что у нее украли сковородник.

— Я вам куплю сковородник,— с досадой сказал Незлобин.

— Ах! Украли! Помыли! Кастрюли!

В редакции Незлобин рассказал Нине Викторовне об этой сцене и попросил ее купить для него сковородник.

— Боже мой, что же я сделала! Женя-Псих! Завтра я найду для вас другую комнату.

— Ни за что!

— Почему?

— Во-первых, потому что я сообщил матери мой новый адрес. Ну, и друзьям в Перми. А во-вторых, интересно! Где еще такую Женю-Псих встретишь?

Под вечер лейтенант явился в сопровождении девушки-милиционера, одетой строго по форме. И хозяйка встретила их, гордо вытянув трубочкой усатые губки.

— Это другое дело,— сказала она.

— А где мой свитер?— спросил лейтенант, явившийся с пустым чемоданом и теперь набивавший его своими вещами.

— Я не воровка!— взвизгнула Женя-Псих.— Я не имею никакого понятия, где ваш свитер!

Девушка-милиционер, у которой был такой вид, как будто она выполняет важное правительственное задание, сделала строгое лицо и сказала:

— Немедленно верните товарищу лейтенанту свитер.

Женя-Псих, не теряя гордого выражения на грязном усатом личике, стала молча раскутывать свои шали — сняла первую, вторую...

— Ах, вы его носите?— брезгливо спросил лейтенант.— Тогда не надо.

Незлобин, с интересом наблюдавший эту сцену, попросил лейтенанта зайти. Тот закрыл чемодан, поблагодарил девушку-милиционера и зашел.

— Как это вышло, что вы сняли у нее комнату?— спросил лейтенант.— Ведь у нее не все дома.

— Я вижу. Но все-таки... Почему вы не взяли свой свитер?

— Потому что она никогда не моется. Я полгода жил в этой квартире и ни разу не видел, чтобы она мылась. Она даже спит, не снимая пальто. Словом...

Он махнул рукой.

— Вы еще натерпитесь. А за комнату небось вперед заплатили?

— Да.

— Ну, теперь пиши пропало. Простите, надо идти, товарищ майор. Мне еще необходимо жене вещи отправить.

Он простился и ушел, а Незлобин, набегавшийся за день, прилег на диван, не раздеваясь, и попытался уснуть. Может быть, это удалось бы ему, если бы Женя-Псих не стала ежеминутно звонить по телефону.

— Мне нужен для больного белый хлеб. Ах, вы не слышите? Ну да, понятно. Мой «этот» успел испортить аппарат.

«Обо мне»,— подумал Незлобин. Утром он действительно несколько раз звонил по телефону.

— Я говорю, мне нужен для больного белый хлеб. Ах, нет? Почему?.. Мерзавцы!

Очевидно, в магазине положили трубку.

— Лаборатория? Скажите, пожалуйста, грипп по телефону не передается?

«Тоже обо мне». У него першило в горле, и он прополоскал его над раковиной в кухне.

— Ах, протереть аппарат одеколоном. Каким одеколоном? Тройным? Вы говорите с человеком интеллигентным!

Заснуть все-таки удалось...

Была поздняя ночь, когда Незлобин проснулся. Минуты две он лежал в темноте, стараясь вспомнить, где он и что с ним случилось. Во сне он сочинял письмо Тале и остановился на цитате из Гейне: «Вы прошли мимо и сохранили мне жизнь». Света не было. Он зажег припасенную с вечера свечку и продолжал письмо.

«...Не знаю, почему мне приснилась эта фраза. Вы не проходили

мимо меня, напротив, пошли мне навстречу, и хотя это, вероятно, трудно доказать, но именно Ваше письмо помогло мне больше, чем прославленная новокаиновая блокада. Оно поставило меня на ноги, а ведь это очень важно, потому что в горизонтальном положении почти невозможно жить и работать. Впрочем, работать можно, иначе за три недели я не написал бы почти четыре печатных листа, и эти страницы, которые я сам едва могу разобрать, кажется, совершенно не похожи на все, что я писал до сих пор. До сих пор я рассказывал о смелых атаках и тяжелых разведках, не принимая (или почти не принимая) в них никакого участия. Теперь я сам устраиваю эти разведки и атаки, но не на полях сражений, а в размышлениях и чувствах людей, которых я люблю или ненавижу. Короче говоря, я понял, что писать роман — это счастье, которое дается только немногим. Время покажет, принадлежу ли я к этим избранникам или нет. Думаю, что Вы — и только Вы — поможете мне решить этот вопрос, дорогая Таля. На днях я возьму в редакции отпуск и поеду в большой промышленный город, где благословенная судьба соединила двух женщин — старую и молодую,— конечно, с единственной целью доказать, что планета Земля существует главным образом для меня и моего счастья...»

Хотя они почти лицом к лицу столкнулись на вокзале, Незлобин не сразу узнал Петю Павлинова и узнал только, когда тот бросился его обнимать.

— Как я рад! Ну, как ты? Я беспокоился, спрашивал. Говорят, в больнице. Поправился?

— Более или менее.

— А теперь куда? Тоже в Солнечногорск? Тебя тоже командующий вызвал?

Петя был в новом, щегольски сшитом кителе, с орденами на груди, в новой фуражке, в отглаженных брюках навыпуск,— словом, мало напоминал того быстроногого, вечно носившегося по базам военкора, каким Незлобин привык видеть его в Полярном.

— Да, вызвал.

— Что же ты ордена не надел?

— А у меня их нет,— смеясь, ответил Незлобин.

— Как ты думаешь, зачем он нас вызвал?

Поезд до Солнечногорска шел полтора часа, и все это время Петя говорил не умолкая.

— Да что! Мы выиграли войну,— сказал он небрежно, с таким видом, что если бы не он, Петя, войну могли бы и проиграть.— А мы часто вспоминали тебя в Полярном, Эмма Леонтьевна все спрашивала, где ты и как здоровье. Великолепная женщина! Был прием в английской миссии, и она пришла — между прочим, в скромном платье,— так все просто ахнули, и наши и англичане! Королева! И не бездельничает, как другие жены. Сшила занавески для кают-компании на базе подплава, а для коллектива складневской лодки как-то устроила, что к празднику купили баян. А ты слышал, как командующего провожали? Весь флот — до последнего тральщика — в знак прощания отдал ему последний салют. И это были долгие печальные гудки, от которых захотелось плакать.

У Пети на глазах действительно появились слезы. Он быстро снял очки и вытер глаза носовым платком.

— Все моряки и даже вольнонаемные одновременно поняли, что он исключительный человек. Ты понимаешь, мне всегда казалось, что начиная приблизительно с капитана второго ранга человек меняется. Например, тот же Складнев. После Героя и капитана второго ранга он стал совершенно другим. Ходит, стараясь казаться выше ростом, перестал бывать у Ласточкиных, «боб-доб» уже ему не к лицу, и даже в столовой он с какой-то важностью заказывает себе обед. А мы с Ласточкиным на прошлой неделе по грибы ездили! В губу Ягельную. Помнишь, как он с женой ссорился и она его электрическими лампочками по голове лупила? Так вот он оказался первоклассным грибником. Нашел семнадцать белых, и вечером они закатили нам такой ужин! — Петя даже крякнул от удовольствия.— Словом, чувствуется, что война идет к концу. Я уверен, что наши готовятся к штурму Муста-Тунтури! Ох, будет дело! И, между прочим, я могу опоздать. Что ж ты все молчишь? Взял отпуск?

— Да.

— Останешься в Москве?

— Не знаю. Думаю, что нет,— ответил Незлобин, которому надоел Петя.— Хотя комнату снял. Поеду в Пермь, надо навестить мать.

Петя лукаво прищурил глаз.

— Да ты, часом, не задумал ли жениться?

Незлобин посмотрел на него и не ответил.

От станции до поселка, где жил адмирал, было недалеко, и Петя замолчал, должно быть, догадался, что его болтовня наскучила приятелю. Дорога была пыльная, и он не без сожаления поглядывал на свои потерявшие блеск ботинки.

Адмирал приветливо встретил их в саду, где среди газонов, украшенных еще не отцветшими флоксами, стоял небольшой стол, покрытый скатертью, а за столом сидела красавица — молодая женщина, причесанная гладко, по-старинному, в воздушном платье, плотная, с уверенным лицом. Адмирал представил ей военкоров, она снисходительно протянула руку и только из вежливости, как показалось Незлобину, не показала, что они помешали ей пить кофе и разговаривать с адмиралом. А он был неузнаваем, Незлобин никогда и не видел его таким. По отдохнувшему загорелому лицу пробегала улыбка, он был в белом полурасстегнутом кителе, легко двигался, много говорил, и даже рано седеющие вьющиеся волосы молодили его. Мигом рассеял он невольную скованность военкоров, усадил их за стол и по-хозяйски налил им кофе. Петя суетился, говорил лишнее, поспешно соглашался, Незлобин держался с достоинством, и ему казалось, что адмиралу нравится, как он держится, и он сам суетился больше, чем Петя.

— Давайте прежде всего покончим с так называемой официальной стороной нашей встречи,— сказал, перебивая Петю, адмирал.— Вы, наверно, удивились, что я вас сюда вызвал. Но в Полярном все некогда было.

Он поднялся на крыльцо, мелькнул за окнами веранды и вернулся с двумя красными коробочками в руках. Петя и Незлобин встали.

— За Рыбачий,— сказал он, прикрепляя к кителю Незлобина орден Красной Звезды и крепко пожимая ему руку. Таким же орденом он наградил покрасневшего от радости Петю, а потом сказал: «Прошу»— и когда все сели, заговорил о Маяковском.

И Незлобин вдруг почувствовал, что все, что делает и о чем думает адмирал, касается этой уверенной красавицы в воздушном платье и что о Маяковском он заговорил тоже только ради нее. «Без сомнения, влюблен, и глаза покорные и волнуется. И не знает, понравится ли ей то, что он делает и о чем говорит. Может быть, и наградить нас ему захотелось именно при ней». Впервые Незлобин подумал, что он старше и опытнее адмирала, под властью которого находились тысячи людей и который умно и талантливо сражался на огромном океанском театре.

— Я ничего не понимаю в поэзии,— говорил адмирал,— но мне почему-то кажется, что с ним в литературу въехала какая-то тяжело нагруженная телега, которую везет ломовая лошадь.

Он упомянул Льва Кассиля, написавшего статью о Маяковском, и похвалил книгу Кассиля, назвав ее не «Швамбрания», а «Швамбрандия». Красавица слушала молча. В том, как она держалась, было что-то небрежное, властное, грубовато-кокетливое, и Незлобин пожалел адмирала: «С такими надо обращаться иначе». Потом он посмотрел на Петю и с трудом удержался от улыбки. На лице того было религиозное выражение, и, казалось, о чем бы ни говорили, он только и ждал мгновения, чтобы согласиться.

Они просидели недолго. Красавица торопилась в город. Было неудобно отправлять Незлобина и Петю на поезд, и она благосклонно пригласила военкоров в машину. Они заняли места на заднем сиденье, а она — на переднем, рядом с шофером.

Провожая ее, адмирал постоял подле машины, видимо не зная, что сказать, а потом, не стесняясь ни военкоров, ни матроса-шофера с неподвижным лицом, смотревшего прямо перед собой, стал целовать ее, и это длилось так долго, что Незлобин почувствовал себя как на горячих угольях. Петя снял очки и тщательно, долго, старательно стал протирать их носовым платком.

Наконец поехали, и до Москвы не было сказано ни слова.

Пермь. Журналист М. Сестра. Балерины.

Незлобин прилетел в Пермь на самолете, и это устроила все та же Нина Викторовна, которая была в дружеских (а может быть, не только в дружеских) отношениях с директором оборонного завода.

— Увы, увы, милая Эра́то, я перед тобой снова виновата,— сказала она, смеясь и представляя их друг другу.

Директор сконфуженно улыбнулся.

Долетели благополучно, хотя дорогой один из моторов забарахлил и директор сказал об этом ничего не заметившему Незлобину.

Был вечер. Город был освещен, и это было первым запомнившимся

впечатлением. Оживленные, громко разговаривавшие зрители выходили из театра. В окнах высокого здания (это была, очевидно, гостиница «семиэтажка») горел свет. На улицах уже зажглись фонари, и на первый взгляд в городе не было ничего напоминающего о войне.

Елена Григорьевна жила на улице, вдоль которой лежали деревянные панели, во дворах тявкали собаки, и можно было подумать, что такой же, с низенькими домами, с дворами, запертыми воротами, тявканьем собак, была эта улица и сто лет тому назад.

Он застал мать дома, какая-то женщина, отворившая дверь, спросила с любопытством:

— Ах, вы к Елене Григорьевне?— И Незлобин понял, что мать рассказывала о нем и его приезда ждали.

Она мало изменилась. Тонкие жидкие волосики по-прежнему разлетались, пенсне на шелковом шнурке по-прежнему гордо сидело на носу, и, хотя, поднявшись на цыпочки, чтобы поцеловать сына, она не могла удержаться от слез, уже через несколько минут она была радостно-спокойна.

— Ну, как твое здоровье? Лечение помогло?

— Как будто да,— смеясь и обнимая ее худенькие плечи, ответил Незлобин.— Боли прошли. Но врачи запретили пить, а я пью, хотя и немного. Запретили курить, а я курю, трудно отвыкнуть. Жареное и острое не есть, зато вареное, особенно овощи, есть часто, пять раз в день. На ночь не наедаться, по утрам пить английскую соль — словом, вести жизнь, подходящую во всех отношениях к профессии военного корреспондента. Мама, да ты стала модницей!

Елена Григорьевна была в нарядном темно-сером платье с белым кружевным воротничком.

— Лариса подарила,— с гордостью сказала она.— Правда, пришлось ушивать. Видишь, я сама сделалась вроде портнихи.

И она указала на швейную машину, вокруг которой на стуле и на полу лежали куски какой-то грубой материи.

— Шью кальсоны для раненых. Почему-то именно кальсон не хватает.

Незлобин засмеялся. С тех пор как он увидел мать, ему все время хотелось смеяться.

— Ну, как Лариса? Значит, вы теперь в хороших отношениях?

— В хороших. На нее Николай Матвеевич накричал.

— Какой Николай Матвеевич?

— А вот этот, из исполкома, ну да ты знаешь: «Как же ты смеешь не заботиться о Елене Григорьевне? Она тебе мать!» И обеды мне в горкомовской столовой устроил. Ну вот она и стала заботиться. Платье подарила. Деньги предлагала, а я не взяла.

Незлобин поцеловал ее.

— Ах ты милая, хорошая мама! Таля писала, что она была у тебя.

— Не была, а бывает. И очень часто. Тоже заботится. У нее я бы деньги взяла, но мне не нужно. Сироту из детского дома выхлопотала. Добрая. Мальчика. Сейчас ее нет. Она ведь медсестрой работает в госпитале, для которого я кальсоны шью. В Краснокамске рабочие метиловым спиртом отравились. Вот ее и послали.

— А когда она вернется?

— Когда будет не нужна, тогда и вернется.

— А где этот Краснокамск? Далеко?

Она сердито посмотрела на него.

— Побудешь с матерью несколько дней. Может быть, тебе с Талей сто лет жить. А мне всего-то два-три годочка осталось.

Незлобин в изумлении уставился на нее.

— Сто лет?

— Ну да. Ты думаешь, я ничего не вижу? Тут уже только какой-нибудь дебил не догадался бы. А я еще, слава богу, не дебил.

Незлобин подхватил мать на руки и стал носить ее по комнате, как ребенка.

— Милая, умная мама,— говорил он, смеясь и целуя ее.— Самая умная, хорошая, золотая мама! Конечно, никуда не поеду, останусь с тобой.

Она отбилась наконец.

— А как отец ее?— спросил он.

— Отец как отец. Служит сторожем на заводе. Я и видела его, может, два раза. Все молчит. Ты небось голодный?

— Не очень. Я тебе кое-что привез. Чаю, пожалуй, выпил бы.

И он достал из заплечного мешка буханку хлеба и бутылку постного масла.

Елена Григорьевна хотела узнать все о его болезни, и он за чаем рассказал ей о новокаиновой блокаде.

— Щадящая диета. Белый хлеб, а я его третий год в глаза не видел.

— А у нас выдавали. Я получила и говорю хозяйке: «Как вкусно!» А она отвечает: «Да, вы знаете, я когда-то ела».

— А кто твоя хозяйка?

— На Мотовилихе работает.

В Мотовилихе были заводы.

— Он мастер, а она не знаю кто. Иван Иваныч и Надежда Петровна.

— Ты меня с ними познакомишь?

— Сейчас они уже спят. Завтра познакомлю.

— Хотелось бы завод посмотреть.

— Да тебя туда и не пустят.

— А вот и пустят. У меня есть разрешение.

Он лег рано, встал поздно, когда хозяева уже ушли, а мать сидела за работой, кроила, чтобы не разбудить его стуком машинки. Днем он зашел к сестре и не застал ее дома.

— В театре,— сказала женщина, убиравшая номер.

Он пробежался по городу, заглянул в редакцию и убедился в том, что его корреспонденции знают, а один из сотрудников даже вырезает их и хранит в отдельной папке. На витринах для газет кое-где висели афиши, извещавшие о том, что в Доме культуры выступает с лекцией известный журналист М., которого он немного знал еще до войны. Лекция называлась пышно: «На правом фланге, за Полярным кругом».

На правом фланге как раз сражался Северный флот, и Незлобин решил пойти, тем более что, к его удивлению, журналист выступал два раза в день. Он пригласил и Елену Григорьевну.

— Некогда, много работы,— сказала она, и он, пообедав, побродил по городу, посидел на берегу Камы. К пристаням, большой и маленькой, подходили и уходили пароходы, медленно проплыл огромный плот, на котором стоял домик, и в домике, очевидно, жили, потому что из трубы валил дым, а на бревнах играли дети.

Да, это был именно тот журналист М., который мелькнул в Полярном прошлой весной. Незлобин даже вспомнил, где они встретились и поговорили — у магазина в «циркульном» доме. Правый фланг фронта, перерезавшего всю страну, действительно обрывался на Крайнем Севере, но о чем мог рассказать человек, который провел на этом фланге несколько дней?

Лекция, очевидно, имела успех, иначе она не была бы объявлена за неделю вперед. Первый раз она читалась в три часа дня, хотя все, казалось, были заняты в рабочее время.

Тем не менее публики было много, и Незлобин не получил бы места, если бы не показал кассирше корреспондентский билет. Он сидел в первом ряду, и М., без сомнения, узнал его и немного смутился, но быстро оправился и начал рассказывать талантливо и со знанием дела. Мешал ему, пожалуй, только недостаток вкуса. Можно было не злоупотреблять звучными морскими выражениями. Можно было не повторять, что он находился «на предельном крае фронта, который начинается с золотых песков Черного моря, а кончается гранитными скалами на берегах Северного Ледовитого океана». И уж совсем странными показались Незлобину патетические восклицания. Но вообще лекция была совсем недурна. М. говорил, как трудно сражаться на скалистой земле и в воздухе за Полярным кругом, о том, как возвращаются покрытые оледеневшим снегом подводные лодки, как быстро меняется погода. Рассказал почти без ошибок о знаменитой батарее Поначевного, перепутав, правда, его фамилию, о стремительных атаках маленьких катеров и, наконец, о последнем часовом, который, впрочем, был не столько часовым, сколько символической, замыкающей лекцию фигурой.

Рассказ продолжался два часа, и М., казалось, ничуть не устал. «Семижильный»,— подумал Незлобин, вспомнив, что журналист выступает два раза в день.

После лекции он снова посидел над Камой, а потом, узнав у портье, в каком номере остановился М., зашел к нему.

Должно быть, журналист ждал кого-то другого, потому что неосторожно сказал: «Войдите»— и, войдя, Незлобин увидел на кровати деньги. Это было бы неудивительно, если бы они неровными грудами не покрывали всю кровать, от спинки до спинки.

— Простите...

— Здравствуйте, я вас видел. И пожалел, что мы не встретились, может быть, мне удалось бы убедить вас не ходить на лекцию. Мне было стыдно перед вами,— искренне сказал М., покраснев и торопливо набрасывая на кровать покрывало.

— Да что вы! Вы хорошо рассказывали,— возразил Незлобин.— Только фамилию командира перепутали. Он не Плачевный, а Поначевный. И тогда ваша шутка по поводу забавного противоречия между его мужеством и фамилией как-то не звучит.

— Спасибо. Но мне перед вами стыдно,— повторил М.

— Почему же стыдно? Пускай здесь, в тылу, узнают, как трудно воевать на Крайнем Севере. Впрочем, везде воевать трудно.

Они дружески поболтали, хотя кровать с деньгами мешала Незлобину, как бы все время вмешиваясь в разговор. Вспомнили общих знакомых, похвалили Эренбурга и Симонова, пожалели Евгения Петрова.

— Вы здесь в отпуске?

— Да. Приехал проведать мать.

«Все-таки нехорошо,— подумал Незлобин.— Все-таки скотина».

Первую ночь он проспал на полу, вторую — на раскладушке, которую предложили ему радушные хозяева Елены Григорьевны. Сестру он дважды не заставал дома, а когда пришел в третий раз, она отозвалась на стук, выглянула в коридор, сказала: «Ах, это ты, Димочка, подожди немного, у меня примерка»— как будто они расстались вчера и не прошло четырех лет с тех пор, как он ее в последний раз видел. Он сел на стул в коридоре и стал думать о сестре. Она похудела, похорошела. Черные волосы, стянутые золотым обручем, небрежно раскинулись по плечам. Она всегда небрежно одевалась, зимой носила мужской треух, сдвинутый на сторону, ходила в красных валенках. Вадим Андреевич был далек от нее, у нее была своя жизнь, ни покойный отец, ни мать не имели на нее никакого влияния. В хороводе мужчин она выбирала то одного, то другого и, расставаясь с очередным любовником, всегда сохраняла с ним хорошие отношения. Она жила легко, беспечно. Дважды была замужем, первый муж застрелился, а второго она прогнала за ревность. «Он мне нужен, как рыбке зонтик»,— сказала она, когда мать заступилась за второго мужа.

Все ей удавалось, Вадим Андреевич никогда не видел ее расстроенной или огорченной. Она ничего не читала и только из разговоров знала, например, что Лермонтов был убит на дуэли. В Ленинграде, где они жили до войны, она с восемнадцати лет жила отдельно от родителей. К ней записывались в очередь, и когда однажды знаменитый писатель позвонил ей, попросив срочно сшить платье для молодой жены, она сказала ему: «Вас много, а я одна».

Незлобин не знал, любит ли он сестру, но вот волновался, нетерпеливо ждал, хотел видеть и вдруг подумал, что может сделать для нее все, что она захочет.

Стройная молодая женщина прошла мимо него походкой балерины, постучалась к Ларисе, и вскоре две женщины вышли из ее номера, а она, снова выглянув, сказала:

— А теперь можно. Ну, как ты?— спрашивала она, быстро целуя брата и глядя на него с нежностью большими голубыми глазами.

— Да ничего. Как видишь, жив и почти здоров.

— Какой ты молодец, что вывез маму,— продолжала она, очевид-

но совершенно забыв, что ничем не помогла матери, пока на нее не накричал любовник.— Все-таки большой город. Театр. Ты знаешь, кто сейчас мимо тебя прошел?— И она назвала две известные фамилии.— В. сказала: «Вас ждет интересный мужчина». А я как-то не замечала. Тебе идет военная форма. Ты, между прочим, кто? Я в этих звездочках не разбираюсь.

Незлобин засмеялся. Ему вдруг стало приятно, что у него такая красивая сестра и что она не может отличить лейтенанта от майора. Он рассказал, что полтора года прожил в Полярном, лежал в больнице, сестра что-то спрашивала, но, в общем, ей было, кажется, все равно, где он жил и от какой болезни его лечили. Она притворилась, что читала его корреспонденции. «А может быть, и читала»,— подумал Незлобин, которому хотелось, чтобы она не только читала корреспонденции, но и похвалила их. Он пришел не вовремя и в разговоре несколько раз ловил ее взгляд на раскроенную лиловую материю, лежавшую на столе. Все-таки приехал брат, которого она не видела несколько лет, и с фронта — она удержалась и не принялась за работу.

— Твоя Таля прелесть,— сказала она.

Незлобин удивился.

— Ты ее знаешь?

— Мы встретились у мамы. Ты это просто так или серьезно?

— То есть как это просто так?

— Объяснить?

— Не надо. Нет, не просто так.

— Ты счастливый,— вздохнув, сказала Лариса.— Все у тебя как у людей. И она счастливая. Серьезная, не торопится. Я только подумала: вот мы говорим целый час, и она не улыбнулась ни разу. Ты с ней натерпишься, а?

— Что ты хочешь сказать? Мы просто друзья. Она недавно потеряла мужа.

— Друзья-то друзья,— вздохнув, сказала Лариса.— Мы с Николаем Матвеевичем тоже друзья, а у него двое детей. И он через день — даже надоел — стоит передо мной, как лист перед травой. Хочешь, я для нее сошью что-нибудь?

— Не надо. У тебя и без того много дел.

— Ужасно. Просто рвут на части. Но я все-таки сошью. Она не собирается уехать?

— Не знаю. Я ее еще не видел. Она ведь медсестра, и ее послали в Краснокамск. Там отравление.

— Да что ты говоришь?— сказала Лариса, которая знала, что Таля медсестра и что в Краснокамске отравление, но забыла, как всегда сразу же забывала все, что не касалось ее и ее работы.

Балерина В., сказавшая, что Незлобин интересный мужчина, вернулась, и начался разговор, во время которого Лариса хотя и радовалась и ужасалась, но успевала что-то кроить и прикладывала куски лиловой материи и даже приколола к ее платью один кусок, чтобы узнать, идет ли ей этот цвет.

...Так случилось, что Незлобин впервые попал в артистический круг,— в гостинице жили и певцы, и балерины, и музыканты.

Балерины, с которыми он познакомился у сестры, заняли первое и второе места после отъезда Улановой, и зрители соперничали друг с другом, одни, ставя на первое место В., а другие — Д. В такое время спорить о том, кто лучше исполняет роль Жизели? Или кто с бо́льшим блеском исполняет роль Онегина — баритон С. или баритон В.? С интересом наблюдал Незлобин незнакомую жизнь, далекую от тревог и волнений войны.

Не будем говорить о том, что вы мне написали

Таля вернулась измученная, бледная после бессонных ночей. Почти все, отравившиеся метиловым спиртом, скончались. Забежав к Елене Григорьевне и поздоровавшись с Незлобиным (он поцеловал ее руки, но она сильно притянула его к себе и поцеловала в лоб), она сказала, что ей надо выспаться, а сейчас она может думать и говорить только о том, что произошло в Краснокамске. Шестнадцатилетний мальчик умер у нее на руках. Бегло рассказав об этом, она ушла, а Незлобин с этой минуты стал ее ждать. Он и прежде ждал, но с этой минуты стал ждать совсем по-другому.

Чтобы чем-то занять себя, он поехал на завод, познакомился со стахановкой Дашей и написал о ней очерк, кое-что перепутав. Очерк вышел плохой, но его все-таки напечатали, назвав «Мастер». Это было странно, потому что все, касавшееся производства оружия, было вычеркнуто осторожным редактором, и нельзя было понять, о чем, собственно, толкует корреспондент и за что он хвалит передовую Дашу. Некоторые цифры он перепутал, и знакомый директор, с которым он летел, сказал ему об этом.

Но это был, конечно, не очерк, а ожидание, когда выспится Таля. Это были случайные, ничего не значившие встречи, случайные мысли. Это был невкусный обед, и слушание сводки, сообщившей, что наши без устали гонят немцев на запад, и чтение газеты, в которой, к сожалению, не было сказано ни слова о том, когда наконец выспится и прибежит к Елене Григорьевне Таля. Это было радостное неузнавание себя, потому что встречи, мгновенно исчезавшие из памяти, этот обед и газета, которую он сразу забыл,— все это за годы сознательной жизни случилось с ним впервые. Кому-то он поклонился на улице, с кем-то вежливо поговорил. Неужели он вчера сидел на берегу Камы и смотрел на толпу, высыпавшую на пристань, и плот с домиком медленно прошел мимо, и дымок из трубы плыл, догоняя плот, и какой-то пожилой человек сел рядом с ним на скамейку и, схватившись за сердце, пробормотал с отчаянием: «Опоздал!» Все было приблизительно, неточно и до поры до времени вообще могло бы не существовать, потому что спала и мучительно долго не просыпалась Таля. Она проснулась наконец и пришла к Елене Григорьевне в знакомом еще по Полярному платье с белым, закрывавшим шею воротничком. Обрадовавшийся, растерявшийся Незлобин, не зная что

делать, поздоровался с ней, сказав «доброе утро», хотя были уже сумерки, тот час, который французы называют «между собакой и волком». Теперь она уже не выглядела школьницей, как в Коноше. Лицо было измученное, усталое, лоб в ранних морщинах, и седоватые пряди в волосах так и остались седоватыми. Как будто могло совершиться чудо и они снова стали бы черно-блестящими, как были. Но никуда не делась ямочка на детском подбородке, о которой Незлобин совершенно забыл, а теперь вспомнил с восторгом и умилением.

Прежде всего она спросила его о здоровье и обрадовалась, когда он сказал, что вылечился и что его смотрел известный врач, о котором говорили, что в Москве нет лучшего терапевта. Он даже изобразил, как этот врач, осматривая его, играл пальцами на его животе, как на рояле. Он рассказал об астматике, о его некрасивой старой жене, которую он все-таки любит, об академике, выливавшем в раковину все лекарства, которые ему приносили.

Елена Григорьевна куда-то ушла, нарочно, как он подумал, чтобы они остались одни. Незлобин вдруг почувствовал неуверенность и беспокойство. И Таля улыбнулась, взглянув на его взволнованное лицо.

— Не будем говорить о том, что вы мне написали. Я стала другой после гибели Саши, а вы писали той, прежней, от которой и следа не осталось. Когда вы отдали мне кольцо, мне даже трудно сказать, какое чувство я испытала. Это было, как будто кончилась прежняя жизнь и началась новая, бог весть какая, но новая и совершенно другая.

Она говорила спокойно, твердо, так, как она говорила с ранеными. Незлобин слушал, волнуясь, и ждал, что она сейчас скажет об этом волнении.

— И нечего волноваться, вам не восемнадцать лет, я девочка перед вами. И Елену Григорьевну я полюбила. И даже вашу сестру, которой я позавидовала, потому что мне сразу же захотелось стать такой же красивой и беспечной. Она совсем другой человек, чем вы, но я и ее полюбила, потому что она ваша сестра.

Незлобин поцеловал ей руку. В нем все как-то дрожало — то дрожало, то переставало дрожать.

— А теперь поговорим о том, что меня беспокоит. Об отце. Вы, кажется, даже не знаете, как его зовут, и в этом я виновата. Все говорю — отец и отец. Его зовут Николай Николаевич. Дело в том, что он меня беспокоит. Елена Григорьевна говорила вам, что он все молчит?

— Да, мельком сказала.

— Я сперва не придавала этому никакого значения. Тем более что он время от времени все-таки с Андреем разговаривал. Но только с ним. Правда, он всегда был человеком немногословным.

— Но с Андреем он все-таки разговаривает? А каков Андрей?

— Хороший мальчик. Высокий, похож на мать. Об Анне Германовне я ему рассказала. Долго думала: рассказать или нет? А потом решилась и рассказала, когда он стал спрашивать, почему так долго нет писем от мамы. Я откровенно сказала, что по просьбе матери беру его из детского дома.

— И как он?

— Побледнел, но ничего не сказал. Потом стал спрашивать не об отце, которого он не знает, а о Мещерском. Бог знает, что у него на душе. Ведь только кажется, что мы знаем детей. Особенно в этом возрасте. Ему недавно исполнилось девять. Говорит, что после седьмого класса пойдет работать.

— Куда? На завод?

— Нет, он хочет быть часовщиком. Всегда возится с какими-то пружинками, крошечными винтиками. Достал откуда-то лупу. А я даже не знаю, есть ли такое училище.

— Я тоже не знаю. Наверное, есть. Но каков он сам-то?

— Тихий. Учится хорошо, но в школе всех сторонится. Я о нем говорила с классной руководительницей. Она тоже сказала: хороший. Но... не знаю. Усыновить его мне не разрешили. Ведь неизвестно, где живет его отец, первый муж Анны Германовны. Потребовали его согласия. Но как его разыскать?

— Найдем со временем. И Андрей решит, оставаться ли ему с вами.

Он был в одном городе с Талей, но виделись они только вечерами, да и то лишь когда она была свободна. До конца отпуска оставалось десять дней, и он вернулся к своему роману. Пришлось все-таки снять номер, под стук швейной машинки было трудно писать. О романе он думал постоянно и не заметил, как эти размышления привели его к тому, что он как бы отделился от своих героев. Они стояли теперь перед ним, одни далеко, а другие рядом. Для себя он оставил авторский дневник, в котором от первого лица рассказывал, как и почему был задуман роман. И эти страницы писались легко, без напряжения. Он заметил, что лучше получается то, что он видел собственными глазами, и оказалось, что он видел и пережил так много, что хватит не на один роман, а на пять или, может быть, десять. Он вспомнил, как перед самой войной приехал к своему приятелю, драматургу, в поселок под Москвой и как этот драматург показывал на дачи, мимо которых они проходили, и говорил, что каждая дача — роман. В этой живет видный писатель, которому вчера собственная дочь крикнула, что он грязный доносчик, он упал в обморок, и пришлось вызывать «скорую помощь». А в этой — вдова знаменитого артиста, пожилая женщина живет со своим мальчишкой-шофером, и он нагло обкрадывает ее у всех на глазах. Романы не надо выдумывать, они валяются под ногами на каждом углу.

Он спросил, читал ли Незлобин когда-нибудь Троллопа, был такой английский писатель. Троллоп рассказывал о том, что происходило перед его глазами, и читается до сих пор, потому что в его книгах нет или почти нет выдумки, а людям всегда интересно узнать, как жили, что ели и чем были заняты их предки. Но выдумывать все-таки надо, потому что иногда вымысел выше правды, или если не выше, так вровень. Вымысел нужен, например, когда происшествия не соединяются или когда к подлинному лицу надо прибавить новые черты, помогающие этому соединению.

Надо было — и Незлобину хотелось — провести последние дни отпуска с матерью, и он стал работать над романом в ее комнате, тем более что она перестала шить кальсоны для раненых и занялась другим, бесшумным делом. Первые главы были написаны давно, когда отступления еще не казались необходимыми, а авторский дневник был чем-то вроде длинного бессвязного письма Тале. Вглядываясь в каждую фразу, он произносил ее вслух. И одна звучала, как будто была настроена на невидимый камертон, а другая не отзывалась и не звучала. Очевидно, надо было найти какой-то ритм, складывающийся, когда он переходит от одной фразы к другой. Он находил, и терял его, и снова находил, пока наконец этот ритм, явившийся неизвестно откуда, сам не нашел его, напомнив детские годы, когда он старательно писал стихи и мечтал, что когда-нибудь станет поэтом.

Над статьями и корреспонденциями он работал совершенно иначе и, в сущности, даже почти совсем не работал. Он как будто ловил в воздухе готовую фразу, а за ней, тоже готовая, уже ждала своей очереди другая. Правда, он старался, чтобы его статьи были не похожи на статьи других корреспондентов, и это удавалось ему, потому что он инстинктивно чувствовал, что читателю будет интересно то, что интересно ему.

Теперь у него не было готовых фраз. Теперь он не знал ничего, кроме того, что напишет свой роман, как бы это ни было трудно. С удивлением и страхом он смотрел на исчерканные вдоль и поперек первые страницы. Почти над каждым словом стояли два других, и точность как будто карабкалась по лестнице, подсказывая ему третье, которое уже нельзя было заменить. На другой день он убедился в том, что эта трижды исправленная страница никуда не годится и нужно переписать ее снова. Впервые в жизни он писал не о впечатлениях, а о том, чем внушены эти впечатления, впервые пытался изобразить характер, место действия, время. Бесчисленные размышления о событиях и людях, которыми были полны его блокноты и которые, казалось, не были нужны никому, кроме него, оказались опорой, о прочности которой он никогда и не подозревал. Он понял, что для того, чтобы написать роман, нужны три или четыре года, что его нельзя диктовать, как он подчас диктовал свои корреспонденции машинисткам, и что этот труд, в сущности, близок к физическому, потому что он требует здоровья и терпения.

Перед отъездом он прочитал Тале первые переписанные главы. Это продолжалось долго, часа три. И все-таки она попросила, чтобы он повторил некоторые страницы, и с поразительной уверенностью назвала те, которые он писал, думая о ней. Ей понравился пролог, рассказывающий о том, как труден переход от статей и корреспонденций к роману.

— Ведь многим хочется написать роман, а некоторые даже думают, что это очень просто.

Пролог переходил в разговор между будущими врагами, и Таля сказала, что это, кажется, новость и что она не помнит такого начала.

— Увы, далеко не новость,— смеясь, возразил Незлобин и назвал лермонтовскую «Тамань» и еще пять-шесть примеров.— Правда, у Лер-

монтова пролог не отделен от повествования, но это не меняет дела.

И они заговорили о современной литературе, притаившейся и как будто с нетерпением ожидавшей конца войны.

Елена Григорьевна строго сказала, что он должен посмотреть «Жизель», потому что после войны театр вернется в Ленинград и жаль пропустить эту редкую возможность. И Незлобин послушно пошел в театр вместе с принарядившейся Талей, на которую заглядывались в антракте. Жизель танцевала прелестная стройная В., но вечер запомнился не потому, что она танцевала, а потому, что Незлобин ничего не понял в глуповатом сюжете.

Было какое-то условие не упоминать о том, что случилось в Полярном, хотя Таля об Андрее рассказывала часто, и чувствовалось, что она не понимает мальчика и даже немного боится. Таля пыталась приучить его к чтению, но «Таинственный остров» остался нетронутым, после первых страниц Андрей отозвался о книге с каким-то непонятным пренебрежением.

— Никто не может доказать, что это действительно было,— со взрослой серьезностью сказал он. И только пожал плечами, когда Таля пыталась объяснить ему, что литература не требует доказательств. Его пересказы не превышали десяти строк, и только по арифметике были хорошие отметки. Он был одинок в классе, и не только Таля побаивалась его. В его красивом лице — он был похож на Анну Германовну — было что-то суровое, сложившееся и бесконечно далекое от всего, что его окружало. Он нашел на свалке старый будильник, разобрал его, собрал и подарил Николаю Николаевичу, чтобы тот не опаздывал на работу. Он прекрасно рисовал — Таля даже показала его рисунки Незлобину,— а потом спокойно сжег свои рисунки в «буржуйке», сказав, что они не входят в «его рамку». Но что представляет собой эта загадочная «рамка», он, кажется, и сам не представлял. Незлобин однажды видел, как он бережно провожал через улицу старушку. Что заставляло его скрывать доброту, в которой не было никакого сомнения? Он был похож на Анну Германовну и непохож, потому что она поражала своей простотой и открытостью, а в нем не было и следа ни того, ни другого. И еще одна его черта заинтересовала и тронула Незлобина. В «семиэтажке» было много детей, они играли в коридорах, и случалось, что Андрей участвовал в этих играх. Одна девочка долго не соглашалась быть Гитлером, наконец согласилась и сказала:

— Наше дело левое. Победа будет за ними. Я умер.

И Незлобин впервые услышал, как Андрей от души рассмеялся.

Мещерский в плену

Вернувшись в Москву, Незлобин получил срочное задание: он должен был записать и обработать рассказ девушки, убившей гаулейтера Белоруссии. Девушка была высокая, тоненькая, напряженная, и хотя разговор с женщинами у Незлобина всегда налаживался про-

сто, на этот раз ему пришлось долго преодолевать какой-то неясный барьер, может быть, долгое ожидание, опасность, смертельный риск.

Зная, что он очень занят, Нина Викторовна редко забегала к нему. Хозяйка почти не мешала, хотя каждое утро, когда он принимался за работу, включала радио, извещающее, что «идет война народная», и пренебрегала тем, что Незлобину хотелось зайти в ее комнату и стукнуть ее чем-нибудь тяжелым по голове.

Она разговаривала теперь исключительно на литературные темы, полагая, без сомнения, что Незлобин, как профессиональный литератор, не может не оценить ее мнений. Услышав, что он в телефонном разговоре упомянул Эренбурга, она закричала из своей комнаты: «Эренбурга я писателем не считаю».

Время от времени она расхаживала по квартире, распевая громким голосом: «Какая ель, какая ель, какие шишечки на ней». Или: «Убожество, ничтожество! Убожество, ничтожество!» — без сомнения, доказывая Незлобину, что она о нем невысокого мнения. «Мой этот...— однажды услышал заинтересованный жилец,— он думает, что удачно снял комнату».

Когда знакомая журналистка, еле сдерживая слезы, сказала ему, что безвременно скончался известный писатель, Женя-Псих затанцевала, закружилась и запела: «Тру-ля-ля, тру-ля-ля». Сотни раз Нина Викторовна предлагала Незлобину найти другую комнату, он отказывался, утверждая, что его хозяйка «единственный в мире экземпляр гибрида гиены с вонючкой». Но на этот раз Нине Викторовне (которая слышала этот разговор) пришлось оказать ему и другую услугу. Она остановила его, когда он схватил тяжелое пресс-папье и пытался выскочить из комнаты, чтобы проломить Жене-Псих головку, украшенную и зимой и летом грязным рыжим беретом.

И даже после этого случая он уплатил за месяц вперед — что-то удерживало его в этой единственной в мире, грязной, неудобной и своеобразной квартире.

— Придется подождать. У главного редактора хворум,— сказала Нина Викторовна, когда перед отъездом в Полярное он зашел проститься.— Ну, как ваша Эвридиска?

— Мешает, но не очень.

— Материал не пойдет.

— Почему?

— Еще не знаю.

Нина Викторовна взглянула на часы.

— Сейчас пойду к редактору и скажу, что ему грозит воспаление седалищного нерва.

— Я не тороплюсь.

— Хорошо провели отпуск? Впрочем, я, кажется, вас об этом спрашивала.

— Лучше некуда,— ответил, смеясь, Незлобин.

— Моего пермского приятеля видели?

— Даже был у него на заводе. Просил передать вам привет.

— Эхма! — грустно сказала Нина Викторовна.— Ну да ладно. Было — не было. Хороший человек. Правда, любит крупные обобщения, но свое дело знает.

Осталось не очень ясным, что понимала Нина Викторовна под этими словами.

Дверь распахнулась, заведующие отделами посыпались в приемную, и главный редактор, выглянув, сказал Незлобину:

— Заходите.

Прошло еще несколько минут, пока редактор, распахнув окно, поставил на место стулья. День был холодный, и клубящийся воздух, ворвавшийся вместе с уличным шумом, казалось, не знал, что ему делать в этой комнате, битком набитой табачным дымом.

— Не простудитесь?

На редакторе была расстегнутая солдатская шинель, под которой торчала заношенная гимнастерка. Незлобин с острой жалостью взглянул на его маленькое постаревшее лицо, на заметно поседевшие волосы. Видно было, что он с трудом справляется с усталостью и горем. У него погибла семья.

— Я прочитал вашу статью об убийстве гаулейтера,— сказал он.— Прекрасно. Но не пойдет.

— Почему?

— Партизанский штаб возражает. Что вы привезли?

— Ничего. Месяц лежал в больнице, а потом месяц был в отпуске.

— В больнице, а потом в отпуске,— почему-то повторил главный редактор.— А мы вас ждали. Был подходящий человек. Но решили подождать именно вас.

— Не возражаю. Но почему именно меня?

— Потому что такое дело.— Главный редактор задумчиво постучал пальцами по столу.— Финляндия выходит из войны,— тихо, как будто бы кто-нибудь мог подслушать, сказал он.— Готовится масштабная операция.

— На Крайнем Севере?

Он пожевал губами и закрыл окно.

— Я распорядился, чтобы вам выдали новый реглан. И бурки.

— Бурки не по форме.

— Пригодятся.

Ничего не изменилось, когда он вернулся в Полярное, и все изменилось. Растаяла устоявшаяся за три года атмосфера бытовой жизни войны, и появилось совсем другое — чувство напряжения, сосредоточенность, близость перелома, которое прежде пряталось где-то в глубине сознания, а теперь выступило вперед, набирая силу.

И перед этим чувством, которое испытывали, рискуя жизнью, участники столкновений на скалах, в воздухе и на море, не могло не отодвинуться на второй и на третий план то, что прежде могло заинтересовать, о чем много и охотно говорили. Как в перевернутом бинокле, Незлобин увидел теперь все, о чем рассказывала ему Эмма Леонтьевна. Известив начальство о своем возвращении, он позвонил ей, и они условились о встрече.

Она похудела и похорошела, и он немедленно сказал ей об этом, как бы рассматривая ее и одновременно между прочим,— он знал, что женщины любят, когда любезности говорятся мимоходом. О своей болезни он в ответ на ее расспросы рассказал в двух словах, за поздравление со «звездочкой» поблагодарил, о красавице, которую он встретил у командующего, не упомянул — и сразу же упомянул, потому что Эмма Леонтьевна стала расспрашивать о ней с заинтересованными, заблестевшими глазами.

«Ох, Петя»,— с досадой подумал Незлобин.

— Ну, как она? Хороша?

— Недурна. Впрочем, я ведь в женщинах ничего не понимаю.

— Не понимать — это и значит любить,— мудро заметила Эмма Леонтьевна.— Брюнетка, блондинка?

— Кажется, брюнетка. Нет, впрочем, блондинка. А вы Петю спросите.

— Петя одно, а вы совсем другое. Его, кстати, перевели на Балтику!

— Да ну! А я-то думал, что он где-то у торпедовцев.

— Нет, уехал. Заходил прощаться. О вас вспоминал, беспокоился. Хороший мальчик.

— Да, очень хороший.

— Значит, недурна? На Венеру Милосскую не похожа?

— Скорее на Диану.

Немного разочарованная Эмма Леонтьевна отлучилась и вернулась с подносом, на котором стояли две чашки, сахар и банка сгущенного молока, которую она попросила открыть.

— Ого! Ленд-лиз?

— Да, вот у нас теперь как! — гордо сказала Эмма Леонтьевна и принялась рассказывать о торжественном ужине на английском крейсере.

— Вы там были? Но ведь англичане на боевые суда женщин, кажется, не приглашают?

— Не приглашают. Мой Андрей Александрович не больно-то говорлив. Так я всех, кто там был, выспросила. Интересно! Адмирала Ф. видели?

— Много раз. Командующий познакомил меня с ним в театре.

— Такой маленький, сухонький, седеющий, со светлыми, холодными, как льдинки, глазами. Вышел встречать наших на верхнюю площадку правого трапа. Почетный караул и все как полагается, но, честное слово, наш «поросенок» по сравнению с этим банкетом показался бы... Как звали римского полководца, который прославился своими пирами?

— Лукуллом.

— Так вот, лукулловым пиром. Стол без скатерти, полированный, перед каждым гостем две салфеточки, одна под тарелку, другая — под рюмку. Матросы расставляют посуду, обносят блюдами, наливают виски и воду. В конце ужина внесли высоко на руках большой пудинг, пылающий синим огнем. Вот так надо вносить высоко на руках нашего поросенка! В соседней каюте духовой оркестр заиграл что-то

веселое, и тут с Андреем вышел конфуз. После того как оркестр исполнил наш государственный гимн, Ф. произнес тост за нашего Калинина. И Андрей, по русскому обычаю, выпил свою стопку до дна. А оказалось, что нужно выпить только половину. Что делать? Хотел долить. Но как дольешь, если эти матросы уже унесли вино! А между тем наш командующий уже произносит ответный тост: «За короля, во владениях которого никогда не заходит солнце». Ну, пришлось ему зажать стопку в кулаке и сделать вид, что он только теперь ее допил.

И Эмма Леонтьевна засмеялась.

Разговор перешел на историю Анны Германовны. Перед отъездом Незлобин заказал в Старом Полярном ограду для ее могилы, сам сделал рисунок, заранее заплатил мастеру и уже успел проверить, исполнил ли тот работу.

Сняв треух, он долго стоял подле могилы. Строки Пастернака, которого он знал и любил, вспомнились ему.

Всегда загадочны утраты,
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Эмма Леонтьевна грустно обрадовалась, узнав, кто заказал ограду, и вспомнила, что накануне самоубийства Анна Германовна зашла к ее мужу — они работали в одном здании — и попросила его показать на карте место, где погиб Мещерский. Андрей Александрович приказал оператору изготовить карту и, когда это было сделано, поставил на карте красный крест. Анна Германовна долго рассматривала карту, а потом прижала ее к груди, точно боялась, что отнимут. «Можно мне взять эту карту с собой?» — «Конечно, можно».

Эмма Леонтьевна разволновалась, рассказывая эту историю, и с трудом удержалась от слез.

— Теперь эта карта у меня. Ведь, кажется, есть надежда, что вы встретитесь с ее сыном?

— Тале удалось взять его из детского дома. Она живет с ним и с отцом.

И прибавил:

— Ее отец почти не разговаривает.

— А вы знаете, почему командующий не подписал приказ о награждении Мещерского?

— Нет.

— Потому что наши перехватили немецкое радио о том, что они взяли в плен четырех матросов и офицеров. Более того, разведчики узнали, что они устроили шествие в Киркенесе, провели через весь город пленных — надо же им было показать, что русские в плен сдаются. И командующий не подписал, потому что... Потому что не было никаких доказательств, что Мещерский убит. А вдруг он был среди этих пленных? Что с вами? Вы побледнели.

— Нет, ничего,— машинально ответил Незлобин.— Но если он попал в плен... Он может вернуться?

— Дал бы бог! — Эмма Леонтьевна грустно взглянула на него.—

Я не так хорошо его знаю, как вы,— мягко сказала она,— но мне всегда казалось, что плен — это было бы для него хуже смерти.

— Да. Я не верю, что они могли взять его живым,— глухо отозвался Незлобин.— Он застрелился бы.

— А если не было оружия?

— Все равно... Не знаю. Разбил бы себе голову о стену.

— А вот и мой Андрей Александрович идет. Он вам эту историю подробно расскажет.

Член Военного совета был плотный, среднего роста человек, вполне оправдывавший поговорку: «Неладно скроен, да крепко сшит». Впрочем, о нем нельзя было сказать, что он «неладно скроен». Ничего характерного не было ни в его внешности, ни в сдержанной манере держаться: узнав, что интересует Незлобина, он заговорил, и сразу стало понятно, что его волнует судьба Мещерского и что он, очевидно, ясно представляет то, о чем рассказывает, и даже что он добр и терпим.

Незлобин любил людей, которые всем обязаны себе,— муж Эммы Леонтьевны был именно таков, и угадать это было нетрудно.

Мещерскому было приказано доставить разведчиков далеко за линию фронта. Он благополучно прошел мимо вражеских берегов, в трудных условиях высадил разведчиков — морякам приходилось переносить их на руках, чтобы они остались сухими, и отправился обратно на базу. Вскоре он встретил большой немецкий конвой, с которым уже вели бой наши катера и подводные лодки, получил «добро» и пытался присоединиться.

Незлобину хотелось спросить, большой ли был конвой, но Андрей Александрович уже сказал:

— Большой конвой. Двадцать восемь вымпелов. Должно быть, везли продовольствие, строительные материалы, оружие. Так вот, Мещерский, идя на конвой, встретил танкер и послал первую торпеду, однако промахнулся. Другой бы примирился с неудачей и продолжал выполнять основную задачу, а он... Вы хорошо знаете Мещерского?

— Друзья.

— Так вот, он не только не ушел, но подвсплыл, и утопил танкер артиллерийским огнем. Если считать, что Мещерскому на пути к конвою удалось утопить еще дрифтер, небольшое судно, которое можно было и не топить, на первый взгляд можно считать, что ему повезло. На самом деле все, что он делал, было ошибкой. Не найдя своих, он привлек внимание охраны конвоя и, главное, потерял время. Его окружили. Он погрузился, его закидали бомбами, принудили снова подвсплыть. Прорваться было трудно, все задымлено, оставалось принять бой. Но какой уж тут бой? Донесения от него становились все тревожнее, снаряд попал в машинное отделение, лодка потеряла ход, из экипажа многие были убиты, четверо ранены, в том числе Мещерский.

Андрей Александрович замолчал. Теперь стало видно, что этот сильный, уверенный человек, привыкший владеть собой, не может скрыть своего волнения, в чем-то он и Незлобин были похожи.

— Все, что случилось потом, я рассказала,— поспешно заметила Эмма Леонтьевна.— Немцы провели пленных по Киркенесу.

— Да. Подлечили и провели. Но откуда мы все это узнали? Один из людей Мещерского, боцман, сговорился с норвежцем — они нам сочувствовали — и убежал с ним из госпиталя. Норвежец-то нам все это и рассказал. Он знал тропы в горах, и через несколько дней добрался до нашего поста. Но он решительно утверждает, что Мещерского не было в Киркенесе. Немцы взяли его живым, он ручается. Но где он? Что с ним? Кто знает?

Кто знает?

Незлобин проснулся на другое утро или не проснулся, а очнулся от тяжкого забытья, в котором происходило что-то опасное, бесконечно далекое от этой холодной комнаты, в которой он лежал, накинув на себя реглан. «Что же я скажу ему, когда он вернется? Что я исполнил просьбу, отдал кольцо с жемчугом его невесте, а потом стал писать ей любовные письма?»

И он представил себе Мещерского, с низким лбом, недоверчивым, жестким взглядом, с его взвешиванием каждого обращенного к нему слова, с его грубой гордостью, с его равнодушием к людям, которое он скрывал неумело, плоско. И Незлобин застонал, вспомнив большое, покрытое простыней тело Анны Германовны, с открытым белым лицом, с открытыми глазами, из которых уходило сознание. «Теперь эта смерть всегда будет стоять между Талей и мною».

Было утро или сумеречный ранний рассвет, он лежал один в пустой комнате (новый военкор «Правды» был в Рыбачьем), на пустой ночной улице, в пустом доме, занесенном снегом. Один с этой подлой тайной мыслью, что Мещерский не вернется, убит,— не надо обманывать себя,— с этим подлым страхом, когда он думал о неизбежном разговоре с Талей.

Промолчать? Это было бы еще ничтожнее и подлее. Подло, что ему не хочется вставать, потому что ноги в разорванных шерстяных носках все-таки застыли. Подло, что снежный заряд ночью налетел на город, подло, что придется скатываться с лестницы, как с ледяной горки, не держась за утонувшие в снегу перила. Подло, что за окном воздух полон холодными иголками, врывающимися в глотку, мешающими существовать, и от них некуда скрыться, никогда, никуда. Подло, что он сейчас пойдет в библиотеку офицерского клуба и будет перелистывать газеты, как будто ничего не случилось, и шутить с библиотекаршей Шурочкой, которая влюблена в Тамма, не обращающего на нее никакого внимания. Подло есть яичницу из американского порошка, а потом расспрашивать офицера или матроса, только что вернувшегося из боя (ночью был выстрел, извещавший о победе, подводная лодка вернулась), в то время, когда он, Незлобин, не был в этом бою и спал или не спал — не все ли равно? — в безопасности в своей постели. И не думать о том, что на утопленном транспорте или эсминце были такие же чувствующие, защищавшие себя люди.

Он вскочил, плеснул в лицо водой из приготовленного с вечера

и все-таки покрывшегося тонким льдом таза, включил электрическии экран, поставил его возле ног и принялся за письмо Тале. Он и сам не знал, чем отличалось оно — и отличалось ли? — от его размышлений.

Записная книжка Незлобина

1. Мысль о преодолении природы — главная в «Идиоте».

2. Незамечание того, как проходит жизнь, характерно для людей, которые ждут оценки своего труда. Ожидание не оправдывается. В лучшем случае оценку видят во сне.

3. На флоте стали заметны девушки — санитарки, связистки, канцеляристки в штабах и политуправлении. Моряки стали чаще бриться, гладить брюки. Втрое повысился спрос на одеколон в лавках военторга. Прежде увольнялись неохотно, а теперь все ждут своей очереди с нетерпением.

4. В библиотеке ОВРа (Охраны водного района) появилась «неприступная Катя». Стройная, голубоглазая, беленькая. Отшивает всех — вежливо, но непреклонно. Советуя книги, надевает очки. Самый частый посетитель — пожилой штурман одного из тральщиков. Перечитал всю библиотеку. Разговаривают они только на литературные темы. Вездесущий начальник ОВРа разрешил ему встретить Новый год на берегу. Танцуя со своим избранником на балу, Катя подбегает к начальнику ОВРа и целует его. Штурман счастлив, но продолжает читать, привык. Выступает на тральщике с лекцией и проваливается. Утверждает, что «Разлом» написал Федин, а «Разгром» — Лавренев.

5. Когда мальчик подрос, мать стала испытывать неловкость перед ним за свою отталкивающую внешность.

6. Дурак в 120 атмосфер. Девка в 120 градусов.

7. Жеребячья психология.

8. Вся драгоценность, вся неисчерпанность ее жизни вдруг представилась мне.

9. Говорят, что на голом острове «Сальный» рядом с маяком поставили зенитную батарею. Недавно поставили. Укомплектовали только женщинами. В бинокль с проходящих судов видны дымящиеся землянки, среди снежных сугробов пробегают маленькие солдатики в шинелях не по росту. Летчики из Ваенги попытались добраться до них на рыбачьих баркасах и были отнесены течением и ветром на середину Кольского залива. Подобрали катера МО (морские охотники). Об этом узнал командующий. Начальнику ОВРа: «Ты смотри, чтобы твои краснознаменные десантники не сделали в одну прекрасную ночь вылазку в этот дамский монастырь. Тогда мы до конца войны будем разбирать эту стратегическую операцию».

10. «Резолюция — как покойник. Когда ее выносят — все волнуются. Когда вынесут — успокаиваются».

11. Вот! А вы говорите — купаться!

12. Мне странной показалась бы близость с другой. Я чувствую ее как бы частью самого себя. Ни в чем, даже в мелочах, невозможна

замена. Подлинность, сияющая достоверность. И бесконечно важно, что я испытываю ее не только физически ощутимо. Ведь духовность, в сущности, чужда моим длинным ногам, сильным рукам, широким плечам, моему спокойствию в бешенстве и неумению владеть собой.

13. История, записанная со слов раненого Шубина. Он ее, кажется, выдумал, но может пригодиться для романа. (Раненые часто преувеличивают, помнят плохо, а иногда, напротив, с болезненной отчетливостью.) Ночью в селе, когда Шубин еще не был на флоте, у старосты его разбудил мальчишеский голос, читавший «В полдневный жар, в долине Дагестана», 15 лет, отец в партизанском отряде, мать застрелили немцы. «Зачем ночью стихи читаешь?» — «Так мне лучше».— «А ты сам стихи пишешь?» — «Нет».— «Врешь, прочитай». Стихи детские, но содержание поразило: он убит, ночью встает из могилы. С голубем на плече идет навстречу германской армии через минированные поля, колючую проволоку, рвы и бастионы. Часовой: «Кто идет?» — «Месть». Другой часовой: «Кто идет?» — «Совесть». Третий часовой: «Кто идет?» — «Мысль». Безумие охватывает германскую армию. Все говорят о нем. В него стреляют из винтовок и пушек. Самолеты пикируют на него. Он идет, голубь на плече. «Вы слышали, мальчик с голубем опять появился в Брянских лесах?» — «Полно, это сказка». Но он идет. «Я не убивал тебя!» — кричит солдат и падает перед ним на колени. «Не убивал!» — кричит другой. Приказы по дивизии, армии, фронту: «Не верить глупой басне о мальчике с голубем на плече. Не говорить, не думать о нем!» Но не думать нельзя, потому что это месть, совесть и мысль.

14. Положительный герой — задача, которая не удалась даже Достоевскому (князь Мышкин, Алеша Карамазов). Должен мучительно страдать от своей уравновешенности, тогда, может быть, выйдет. В любом случае он не может быть задан.

15. Шампур, на который надеты куски баранины, вымоченные в уксусе, вперемешку с луком. Роман в новеллах. Не рассыпается, потому что внутренне связан фигурой рассказчика. Обломать все, что не может войти.

16. Что меня волнует? Разумеется, в разной степени:

а) Возвращение Мещерского.

б) Матросы в чумном городе у Эдгара По.

в) Как жить в литературе?

г) Забытые писатели, которыми я занимался в пединституте: Заяицкий, Вагинов, Добычин.

д) Связь между разнонаправленными сторонами моего романа.

17. Старший сержант Убей-Собака. Гордится своей фамилией. Но есть еще и Околокулак, старший матрос. Этот, напротив, стесняется.

18. «Теперь я знал, что флотоводец — это не инженер на пульте управления, а что это приносящий себя в жертву воин. И он отличается от рядового бойца на переднем крае лишь тем, что тот проливает свою кровь и отдает жизнь за Отечество сразу, а командующий — по каплям и частям в каждом бою и в каждой операции». (Из записок адмирала В. И. Платонова.)

Ответ Тали

«Дорогой Вадим Андреевич, я не расстаюсь с Вашим письмом — ношу его в мешочке, как крест, на груди. Прежде было все заметено вокруг, как в снежной метели, и я с трудом находила место в жизни, которая продолжается и в которой надо участвовать, как бы это ни было трудно.

Теперь, после Вашего письма, метель улеглась и появилась надежда. Конечно, это шаткая, неуверенная надежда, и я, если Саша попал в плен, не надеюсь увидеть его вскоре после окончания войны. Но я умею ждать, я каким-то внутренним зрением увидела себя среди миллионов женщин, которые терпеливо ждут, продолжая жить и работать. Мне не нужна помощь не только потому, что нужно научиться ждать, но потому, что ожиданье должно войти в жизнь, как хлеб и вода. Я боюсь только, что Саша не выдержит унижения плена, и это хорошо, что он не был среди тех, кого немцы провели по Киркенесу. Я знаю его и уверена, например, что если бы не мысль обо мне, он нашел бы средство покончить с собой. Дорогой Вадим Андреевич, Вы только подумайте, я теперь уверена, что и сама не знаю его так, как прежде мне представлялось. Все бумаги, сохранившиеся в его каюте, передала мне Эмма Леонтьевна, и среди них нашелся его дневник, вернее, первые страницы, в которых он пытается вспомнить свое детство. И с поразительной, трогательной нежностью пишет он о матери, о ее глазах, лице, походке, о том, как она придумывала для него игры и сама участвовала в них. Она была совсем молодая, когда умерла, и, читая эти строки, видишь перед собой сероглазую веселую выдумщицу, которая изображала все, что хотелось увидеть маленькому сыну,— паровоз, кенгуру, обезьяну. Это невероятно, но своим детским почерком он записал все их разговоры — и шутливые и серьезные. Нет, я не знала, не представляла себе, какой это был нежный человек, собравший по крупинкам свое детство, тонко чувствующий, тонко отзывающийся на отношение к себе, не прощающий слабости ни себе, ни другим. Нет, я не верю, что мы больше его никогда не увидим.

Но я ничего не написала Вам о нашей жизни в Перми, о Елене Григорьевне. Без сомнения, она сама Вам пишет. Она здорова и, как это ни странно, помогает в театре Ларисе. Лариса, кстати, рассказала — Вас это насмешит, что когда ее друг уходил от нее из гостиницы ночью, уборщица замахнулась на него мокрой тряпкой и сказала: «Шляются тут беспорточные»,— не подозревая, разумеется, что перед ней какой-то высокий чин, кажется, зам. председателя исполкома.

Ну, что еще? Я провожу теперь раннее утро (до госпиталя) на базаре, где меняю свои, еще ялтинские платья, туфли, чулки. А вчера событие: продала единственную (кроме Сашиного кольца) свою драгоценность, гранатовый браслет, и привезла домой три мешка картошки (Андрей притащил на салазках), килограмм сала, отличного, розового, два десятка луковиц и теплые, подбитые войлоком сапожки на деревянной подошве. И еще осталась куча денег. Будьте здоровы, берегите себя.

Всегда Ваша Таля.

Пушкин. Почта. Муста-Тунтури

День выдался хлопотливый. Пушкинист, читавший лекции морякам, заболел, попал в госпиталь, и член Военного совета попросил Незлобина выступить перед отрядом разведчиков, уходящих на операцию.

— Дело трудное,— сказал он.— Вернутся, возможно, немногие. Но они любят эти лекции. Естественно, что всем без исключения кажется, что эта не последняя.

Моряки собрались в Доме флота, в зале для совещаний, и Незлобин выступил перед ними с лекцией, которую можно было назвать «Пушкин и море».

Он рассказал о близких предках Пушкина, один из которых, Иван Абрамович Ганнибал, участвовал во многих морских сражениях и штурмом взял сильно укрепленную крепость Наварин.

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.

Сорока лет Иван Ганнибал был начальником всей морской артиллерии и членом Адмиралтейской коллегии.

Потом Незлобин рассказал, как рано стал печататься Пушкин — пятнадцати лет,— и прочитал стихи его лицейского друга, тоже пятнадцатилетнего Дельвига, относившиеся к этой поре.

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением.

Из лицейских друзей он выделил Матюшкина, будущего адмирала, который дважды совершил кругосветное плавание и в 1820 году участвовал в экспедиции знаменитого полярного исследователя Врангеля, который назвал именем Матюшкина один из мысов на Крайнем Севере.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя.
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!

Незлобин привел эту строфу, посвященную лицейскому другу, и рассказал, что, узнав о гибели Пушкина, Матюшкин написал лицейскому другу Яковлеву: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?»

Кто-то спросил о дуэли Пушкина, и Незлобин увлекся, рассказывая о смелости и мужестве Пушкина, о том, как он всю жизнь провел

в боях против пошлости, трусости, угодничества, продажности. Как чувство собственного достоинства выучило его постоянно быть готовым пролить свою кровь, отстаивая честь под дулом направленного на него почти в упор пистолета.

— Думаете ли вы об этом или нет,— сказал Незлобин,— все равно вы деятели истории, которую создают обыкновенные люди.

Он рассказал, как, видя перед глазами бой, Пушкин не мог не принять в нем участия. Как его видели на Кавказе с пикой в руках в передовой цепи атакующих казаков, как казаки с недоумением смотрели на штатскую фигуру в цилиндре, считая Пушкина священником и называя «батюшкой».

Снова вернулись к дуэли, и Незлобин живо нарисовал Пушкина, смертельно раненного, сидящего в снегу, опираясь на левую руку, прицелившегося и ранившего противника, к сожалению, легко. Но, подкинув вверх пистолет, он крикнул: «Браво!»

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

Незлобин посмотрел одним взглядом на молодые внимательные лица (некоторые моряки были вдвое моложе, чем он), посмотрел, как он это любил, одним взглядом и невольно позавидовал их спокойствию, их интересу к Пушкину перед тяжелыми боями, их душевной определенности, которой ему всегда не хватало. И подумал, что дорого бы дал, если бы вдруг превратился в одного из них.

Он легко читал стихи Пушкина наизусть, говорил просто, иногда повторялся, но он чувствовал, что с этими юношами, которые через час или два в смертельной опасности, в холоде, в путанице неприступных ледяных утесов выполнят свой долг, и нужно говорить просто. Он обошел весь отряд, пожал каждому разведчику руку и пожелал удачи.

Рассказывая о лицейской годовщине, он вспомнил, что сегодня его день рождения — сорок лет,— и подумал, что на почте в Старом Полярном, должно быть, лежат письма и телеграммы.

Было уже обеденное время, и он, перекусив, отправился на почту. Конечно, были и письма и телеграммы. От Тали была большая сердечная телеграмма, отвечавшая на его письма. От матери тоже ласковая, кончавшаяся словами: «Будь здоров и береги себя, мой мальчик». Нина Викторовна прислала толстое письмо на трех исписанных мелким почерком страницах. Он пробежал его по диагонали на почте, а вернувшись к себе, внимательно перечитывая, решил, что его приятельница — талантливая поэтесса, которая в отличие от других представителей этой профессии ни в грош не ставит свой талант. Письмо открывалось стихотворением «Юбилейное» с примечанием: «Впрочем, годится для всех юбилеев».

Пробудившись ото сна,
Наряжается весна,
И медовыми ветрами
Даль ее напоена.

В наши юные лета
Жизнь до краю налита:
То и знай летят улыбки
На румяные уста.

Вслед за вешнею порой
Наступает летний зной,
И полны сады и нивы
Благодатной желтизной.

В наши зрелые лета
Жизнь до краю налита...
Но в туманной дымке тает
Милой младости мечта.

С теплым солнцем разлучась,
Осень входит не стучась...
Наша верность, наша доблесть,
Наша мудрость — все при нас!

Юбиляру юбилей
Раз от разу тяжелей...
Размусоливать не стану,
Лучше чарочку налей![1]

За поздравлениями следовал подробный рассказ о том, что делается в редакции. Какая-то Ирина Филипповна из иностранного отдела дококетничалась до того, что ее сняли. Бывший капитан Л. получил выговор (без занесения в личное дело) за слишком оптимистическую статью. Редакцию посетил — и его торжественно принимали — какой-то английский писатель Хренли. Она, Нина Викторовна, пошла к врачу — ломило спину,— и он нашел у нее полный «хворум» болезней. «Очевидно, Женя-Псих и я — одного поля ягодицы».

Последняя страница письма была серьезной и грустной: редакция снова была в трауре — погиб Покровский, один из лучших военкоров, статьями которого зачитывались армия и страна...

Вся дорога от мыса Мишукова в Кольском заливе была занята двигающимися войсками, грузовым и гужевым транспортом, и Незлобин с трудом добрался до командного пункта армии, где распоряжался какой-то генерал, одетый не по форме, в черной мохнатой бурке до пят и каракулевой папахе.

— Обходи! — кому-то кричал повелительно этот генерал, держа трубку в руке и не обращая внимания на офицера, который хотел ему что-то доложить.— Ты меня слышишь? — И крепкие ругательства посыпались вслед за приказом.

Никто не обратил на Незлобина никакого внимания, армейцы

[1] Стихи принадлежат Е. А. Благининой. *(Примеч. авт.)*

не знали его, записывать пока было нечего, кроме того, что все происходившее вокруг и по сторонам, куда-то наступавшее, где-то обходившее противника, где-то заблудившееся в метели, было невидимо связано с этим генералом, по временам снимавшим папаху и вытиравшим рукавицей блестевший от пота лоб. Ему было жарко, хотя вокруг него взвивался порывами мелкий колючий снег, и Незлобин давно замерз в своем меховом реглане. «Ах, это М.»,— вдруг догадался он и вспомнил, что немцы называли командующего фронтом «горным генералом».

— Послал! — кричал М.— Послал авиацию! Прикроем.

В бурке с широкими прямыми плечами, распахнувшейся навстречу метели, которой он тоже как бы командовал, заставляя ее по временам утихать, у него был грозный вид, заставивший Незлобина взглянуть на себя.

Он взглянул и огорчился. Ушанка была ему велика и съезжала на левое ухо, майорские погоны выглядели странно на редакционном, скупо подбитом мехом реглане, подвернутые отвороты, в которые набивался колючий снег, и которые давно пора было отрезать, то и дело вылезали из бурок.

Трех пленных, растерянных, оглушенных, привели на командный пункт, и М. попытался с помощью переводчика поговорить с ними. Но немцы не понимали ни слова и бормотали что-то невнятное, показывая на уши...

До Рыбачьего Незлобин добрался на третьи сутки, когда морская пехота уже начала наступление на хребет Муста-Тунтури. Навстречу наступавшим дул резкий ветер со снегом, вскоре превратившийся в сплошную непроглядную вьюгу. Под этой вьюгой, под огнем и вихрем крутящегося снега моряки двигались, скрываясь, когда это было возможно, за обломками скал. В плащ-палатках, в касках, они то исчезали, то становились видны, и тогда казалось, что они висят на почти вертикальных скалах, с которых стремительно скатывался ослепляющий снег. «Сен-Готард»,— невольно вспомнилось Незлобину.

Пожалуй, можно сравнить отважный, отчаянный, искусный переход Суворова через узел Швейцарских Альп с Петсамо-Киркенесской операцией, начавшейся 7 октября 1944 года. Незлобин не знал, что атака на хребет Муста-Тунтури, когда морская пехота, падая, вставая, скрываясь за обломками скал, расчищая заваленные тропы (по которым надо было тащить за собой орудия), была в этой операции необходимой, но маленькой долей. Он не знал, что катера высадили десантников на необорудованный берег и что объединенная диверсионная группа совершила бросок по заполярному бездорожью и захватила в отчаянном бою две береговые батареи. Он не знал, что катера прорвались с десантами на борту через огненный коридор Петсамо-Вуоно прямо к причалам Линнаахамари. Незлобин любил говорить, что у него нет географического воображения. Но не в географическом, а в стратегическом воображении немцы за много дней до решающей операции были зажаты десантами, которые высаживались с катеров и «морских охотников» в бухте Пумманки, и что место высадки было

выбрано в пятнадцати милях от места посадки. С этого плацдарма можно было нанести удар по флангу и в тыл позиции противника на перешейке полуострова Среднего и развивать наступление на Печенгу.

Почти трое суток провел Незлобин на командных пунктах армии и флота, и тем не менее общая панорама наступления нарисовалась перед ним приблизительно, неопределенно. Но зато он вспомнил одну из своих случайных встреч с командующим, давнишнюю, еще в сорок втором году. «Вы правы,— сказал он тогда,— эта война — поединок между сознанием своей правоты и отсутствием этого сознания. Но прежде всего — это борьба умов. Постараемся же доказать, что мы умнее».

Когда стало ясно, что сопротивление удалось сломить и морская пехота, перевалив хребет, соединилась с армией, Незлобин вернулся в Полярное и принялся за работу.

Нина Викторовна. Счастливая мысль

Первая фраза — что-то о том, что наши прорвали с боями оборону и с боями идут по местам, которые немцы укрепляли три с половиной года, не удалась, а на второй Незлобин уснул за столом, положив голову на руки. Сперва во сне был двигавшийся лес, светлые ручьи, падавшие с высоких скал, потом пчелы, от которых он отмахнулся. Но вот он увидел себя на пороге нарядной комнаты: шелковые стулья, бархатные портьеры. Он идет, держа в руках поднос, на котором стоит горка тарелок, такая высокая, что приходится придерживать ее подбородком. За длинным столом сидят обыкновенные люди, в штанах и пиджаках, а некоторые в черкесках. Он спотыкается, и тарелки летят на пол, но медленно, как падает снег в лесу в безветренную погоду... Все смеются, однако один, с низким лбом, с седеющим ежиком на голове, смеется опасно. И — тишина. Только двое еще продолжают смеяться, но совсем иначе, с оттенком боязни. Кошка мягко крадется по спинке дивана, боязливо оглядываясь. Так не может продолжаться, так нехорошо, все надо начать сначала! И он снова входит в комнату, придерживая подбородком высокую горку тарелок. Но комнаты нет. Чистое, покрытое свежим снегом поле. Он идет, не оставляя следов. Как холодно! Ах, как насвистывает в уши холодный, с острыми льдинками ветер! Посуду донес, но все равно не поверили. Не донес, а донос. Ах, донос? Это, братцы, совсем другое дело! Тогда ничего не поделаешь, провинился, надо вставать.

Он проснулся, потому что кто-то лупил в его окно снежками. Два часа? Дня или ночи?

— Эй, люди! — кричала под окном кособокая старуха из Старого Полярного, разносившая почту.— Есть тут кто? Телеграмма.

Незлобин накинул реглан, вышел к ней и взял телеграмму. Из Москвы, от главного редактора: «Выезжайте немедленно. Случае невозможности прошу сообщить».

Два часа дня. Но такой же белесый сумрак стоит и в два часа ночи. Он проспал восемнадцать часов.

Не было сомнения в том, что вскоре он вернется в Полярное, но страшно было надолго расставаться с рукописью романа, он взял ее с собой и еще в поезде обдумал и набросал некоторые сцены. С туго набитым заплечным мешком и маленьким чемоданом он с вокзала поехал в гостиницу «Москва» — у него не было уверенности в том, что он застанет свою хозяйку дома. Но свободных номеров не было, такие же потрепанные офицеры сидели в вестибюле, и он даже не подошел к портье.

...Нет, кто-то был в квартире. Он постучал, и сразу же послышались легкие шаги.

— Кто там? — спросил знакомый женский голос. Незлобин ответил, дверь, запертая на цепочку, отворилась не сразу, и в светлой, сияющей чистотой передней его встретила Нина Викторовна, затейливо причесанная, с кокетливыми колечками на висках, в переднике, с мокрой тряпкой в руке.

— Ах, это вы? — сказала она радостно.— Но что же я не догадалась, дура! Ведь это я дала вам телеграмму. А я уже было решила, что это опять Говорун-аль-Рашид.

— Кто, кто?

— Привязался ко мне сосед. Я сперва думала, что он на квартиру польстился и к моей Эвридиске собирается подъехать, а вчера выяснилось, что его интересует другая старуха. Я.

— Ничего не понимаю. А откуда эта чистота? Эта лампочка? Это зеркало?

— Лампочку приобрела на собственную зарплату. А зеркало было всегда, но вы его под слоем чернозема не замечали. Короче говоря, Эвридиска заболела, да так, что едва не отдала богу душу, а я наняла одну здоровенную гражданку свободной профессии, и мы в четыре руки провели переворот. С вас шестнадцать пятьдесят. Правда, придя в себя, Эвридиска впала в истерику и заявила, что я украла у нее варежки: «Одна рваненькая, другая тепленькая!» Но я ей отдала свои, между прочим, финские, и посадила ее в ванну. Конечно, воду пришлось греть на плите, дрова сырые, замучилась, но вымыла. И вы не поверите! Ведь не хотела вылезать. И на голову чепчик надела, где-то я в грязном белье нашла. Теперь она у меня снова лежит, видно, я ее своим мытьем простудила. Что с вами случилось, майор? У вас штатский неухоженный вид. Кстати, можете сказать мне «здравствуйте».

— Простите. Здравствуйте.

Нина Викторовна ткнула пальцем в щеку.

Незлобин обнял ее.

— Тпрру!.. Меня целовать нельзя, я женщина слабая. А теперь идите к Эвридиске и тоже скажите ей «здравствуйте». Да не забудьте, что она все-таки Эвридика.

Неузнаваемая, чистенькая, с длинным остреньким носом, торчавшим меж промытых щек, похожих на печеное яблоко, хозяйка встретила Незлобина сурово.

— Здравствуйте! С добрым утром! — сказал он. Она пробормотала «здравствуйте» и почему-то прибавила: «Скоты», так

что нельзя сказать, что Незлобин нашел ее в хорошем настроении.

— Это она так шутит,— объяснила Нина Викторовна.— А теперь пожалуйте ко мне. Дело в том, что я тоже сняла у Эвридиски комнату. До сих пор жила с мамой, но она в свои шестьдесят лет — знай наших! — собралась замуж. И мне пришлось уступить свою жилплощадь фельдшеру, который лечит только чистопородных собак. Хорошо зарабатывает, но, к сожалению, «рюмкин-пролетарий».

Комната была, без сомнения, лучшая в квартире. Два окна выходили в переулок. Дом был старый, и потолок с висящей на цепях старинной лампой показался неприлично высоким.

— Ого! — сказал Незлобин, подумав, что его приятельница своего не упустит, и догадываясь, с какой целью она сделала невозможное возможным, прибрав эту квартиру, в которой даже кастрюли были затянуты паутиной, и заставив Эвридику помыться.

— Да-с! Это вам не бочка Диогена,— с гордостью сказала Нина Викторовна.— Два кресла пришлось перебить, а стулья я взяла взаймы на вечные времена из редакционного склада. А теперь пойдемте к вам.

В комнате Незлобина стоял подержанный, но вполне приличный стол, покрытый толстым листом зеленого картона, на стене висела полочка, на полочке аккуратно составлены его книги. По-видимому, мебель тоже была взята взаймы на вечные времена из редакционного склада. Незлобин знал, что этим складом заведовал злобный бульдог на двух ногах, и подивился, каким образом Нине Викторовне удалось его обработать.

— Ну как?

— Поцеловать?

— Ну, нет! Опасно. Я ведь «светиль».

— Что такое «светиль»?

— А это одна знакомая так называла фитиль.

Главный редактор, почесывая затылок, сидел за своим огромным столом и слушал — или не слушал — Незлобина, который рассказывал ему о штурме Муста-Тунтури. Почесывался он всегда, ожидая неприятностей или предвидя трудный разговор.

— Да, это прекрасно. Вы привезли что-нибудь?

— Я двое суток не спал и телеграмму получил, когда только что взялся за работу.

— Телеграмму получил, когда только что взялся за работу,— задумчиво повторил редактор.

— Завтра принесу.

— А может, и послезавтра. Вам за молодыми не угнаться. Корреспонденция с Муста-Тунтури появилась у нас вчера. Вы романист. И пишете о любви.

Незлобин засмеялся.

— Так зачем вы меня вызвали? Да еще немедленно?

— Я вас вызвал немедленно, потому что вы мне немедленно

нужны. У меня отобрали Л. Ему пятьдесят лет, а ему дали капитана и послали на фронт.

В редакции были два постоянных сотрудника, редко показывавшихся из своих обжитых кабинетов, но выступавших почти в каждом номере и редактировавших других журналистов, у которых не было своих кабинетов. Еще до войны они были широко известны. Недаром же главный редактор называл одного из них своей правой, а другого — левой рукой.

Среди писателей, превратившихся в военкоров, немногие носили звание подполковника и почти никто — полковника. Отправлять пятидесятилетнего известного писателя на фронт в звании капитана было оскорбительно не только для «правой руки» главного редактора (который в сравнении с этим военкором писал не правой рукой, а левой ногой), но и для всего коллектива, недавно награжденного орденом Красного Знамени.

— За что?

— Дал маху. Спутал одного генерал-полковника с другим, и оба пожаловались в ПУР. Нагорело.

— Кому?

— Прежде всего мне,— скорбно сказал главный редактор.— Но за меня заступились.

Незлобин знал, что главный редактор учился в академии на одном курсе с начальником ПУРа.

— На фронт — пожалуйста! Но не капитаном. У него вообще дальнозоркость, плюс шесть. Он каждую минуту очки теряет. Докладываю. Говорят: «Пускай теперь на фронте теряет. Найдут». Что я могу? У меня таких, как он,— раз, и обчелся. Я назвал вас. Согласились.

— То есть как согласились? Вы хотите, чтобы я до конца войны сидел на одном месте, как пень?

— Почему как пень? На повышение. Дадут подполковника.

— Не хочу. Хоть полковника.

Редактор вздохнул.

— Приказ есть приказ.

Помолчали.

— Ну, подумаешь, вы не увидите конца войны. Или это вам нужно для конца романа?

Они помолчали. И вдруг счастливая мысль сделала счастливым все вокруг — маленького редактора с его грустной мордочкой за огромным столом, самокрутку, которую он налаживал слегка дрожащими пальцами, солнечный луч, который вдруг вспыхнул на зеленом абажуре настольной лампы.

— Я согласен,— сказал Незлобин.— Но с одним условием.

— Именно?

— Редакция выпишет в Москву из Перми мою мать.

Редактор бережно заклеил самокрутку.

— Попробуем,— сделав вкусную мордочку и с наслаждением закурив, сказал редактор.— У капитана Л. лежат для вас в кабинете две статьи. Отредактируйте. Может быть, одна пойдет.

Зазвонил телефон. Редактор снял трубку. Незлобин вышел.

Первое чтение

Новая двойная жизнь счастливо началась для Незлобина. Днем он со зверским лицом правил чужие рукописи, то и дело отправляя их в бюро проверки, а по ночам писал свой роман. Ложась в постель, он продолжал работать над ним во сне, зная, что все запомнится, потому что ничего забыть уже невозможно. Довольно было трех часов, чтобы проснуться свежим и набросать новую, как будто пролетавшую над ним и схваченную на лету страницу. Он пил чай и ел хлеб, который накануне получала для него Нина Викторовна. И все это — правка рукописей, разговоры с авторами, и то, что он работал наяву и во сне, и то, что из комнаты Нины Викторовны однажды послышался осторожный бас, почему-то мгновенно породивший впечатление о густой бороде, которую носит его обладатель,— решительно все было проникнуто ожиданием Елены Григорьевны и Тали — да, Таля написала, что ей, может быть, для розыска Мещерского удастся приехать в Москву. Случалось, что сразу после утренней сводки они пили чай втроем — Нина Викторовна, Незлобин и директор завода, действительно отпустивший бороду и почему-то надолго застрявший в Москве.

Но дни проходили, и все силы ума и сердца он по-прежнему отдавал роману. Он ни разу не прочитал его с начала до конца, может быть, потому, что не в силах был расстаться с неожиданной возможностью писать не так, как он всю жизнь писал для газеты, и эта возможность, это увлекательное счастье несходства не позволяли ему оглядываться назад. Да и не хотелось! Вперед, даже когда казалось, что связь между отдельными эпизодами обрывалась. Вперед, когда вглядываясь в детство рассказчика, напоминавшее его собственное детство, он мысленно восстанавливал эту связь с помощью лирического или подчас иронического отступления. Пустоты оставались, он это чувствовал, но ему легко и даже весело было шагать через них. Нет, даже не шагать, а перелетать, как это сделал Альворадо, который, спасаясь от ацтеков, воткнул свое длинное копье в землю и, опершись на него, перелетел через широкий канал. Это было из «Столетия открытий», книги, украсившей Незлобину его трудное детство.

Но вот пришел день, когда он получил телеграмму: «Выезжаю. Целую. Мама». Просьбы встретить не было, может быть, потому, что поезда ходили нерегулярно и приезд в Москву без пропуска был запрещен. Но вслед за телеграммой он получил письмо, и все разъяснилось: Елена Григорьевна надеялась, что попадет в отдельный вагон, который дали писателям и художникам, эвакуированным из Ленинграда.

И вот в ожидании новой телеграммы с пути Незлобин решил сложить все листки, все блокноты, аккуратно перенумерованные, чтобы роман не сливался с корреспонденциями и статьями,— сложить и наконец прочитать его от первой строки до последней.

Еще студентом он научился писать церковнославянской вязью и под последней строкой нарисовал орнамент и вывел слово «конец».

Он не особенно устал в этот день, и ему хотелось рассказать о своем первом впечатлении Тале — от нее уже давно не было писем.

Заранее улыбаясь от волнения, боясь, что ему могут помешать звонки из редакции, он выключил телефон и сбросил шинель. В комнате было прохладно, и он обычно читал или писал, прикрывшись шинелью. Широко раскинув руки, чтобы грудь поднялась и он мог глубоко вздохнуть, чувствуя себя молодым, свежим, счастливым, он посмотрел на всю эту беспорядочную, мелко исписанную груду бумаги, которая потребовала от него столько труда, мужества, вдохновения, и, приготовив чистый лист бумаги для попутных находок, принялся читать.

Обдуманная тысячу раз, первая страница показалась ему превосходной. Вступление было коротким, но выразительным и, как ему показалось, непохожим на любое другое вступление. Он писал о детстве рассказчика, о его борьбе с врожденным чувством одиночества, от которого ему помог освободиться этот роман. Потом шли эпизоды, которые должны были нарисовать характер этого человека, заглянуть в его внутренний мир, показать его со стороны, как смотрят на портрет, отразивший минувшую жизнь, заставивший задуматься над ней и оценить ее непознаваемость. Он знал, что читатель всегда инстинктивно ставит себя рядом с книгой, и чем ближе это расстояние, чем отчетливее он узнает себя в ней, тем прочнее становится желание перевернуть страницу. И первый эпизод, кажется, удался. В нем он рассказал о тех детских, но сохранившихся на долгие годы впечатлениях, которые помогают каждое утро как бы начинать жить сначала.

Правда, занимательности не хватало. Это была не история детства, а размышления о нем. Но, может быть, начать надо как раз с размышлений? Его смущала еще мысль, что детство с его «первоначальностью», с его зоркостью десятки раз удавалось в нашей литературе — от Аксакова до Алексея Толстого. Но ведь ему хотелось написать характер, в котором детство невозможно было бы отделить от попыток найти себя, сопровождавших его, рассказчика, всю жизнь.

Он начал читать второй эпизод — электричество почему-то погасло, и скрестившийся свет двух свечей упал на страницы, иные из которых он с трудом разбирал... И этот, пожалуй, удался, хотя главная мысль о романе-портрете была неясной, и, очевидно, нужны были новые усилия, чтобы найти ее. Он еще не знал, в чем должны были заключаться эти усилия, но был уже уверен в том, что они должны вернуть читателя к теме портретности, которая была главной задачей. Второй эпизод был посвящен юношеской любви героя, изображенного на воображаемом холсте. Это был рассказ о трагедии «непрочтения» — рассказчик показывал, что глубоко ошибается тот, кто овладел женщиной, не прочитав ее, как читают, не пропуская строки, любимую книгу. Большая цитата из «Госпожи Бовари» Флобера подтверждала мысль. Супруги — Эмма и Шарль — в постели. Оба спят и не спят.

«Шарль глядел на жену и ребенка. Он видел, как девочка возвращается к вечеру из школы: смеется, блуза в чернилах, на руке — корзиночка. Потом придется отдать ее в пансион — это обойдется недешево. Как быть? И тут он задумывался... Доход от хозяйства он будет копить, класть в сберегательную кассу... Она вышьет ему туфли: она займется хозяйством... Наконец придется подумать и о замужестве: подыщут ей какого-нибудь хорошего малого с солидным состоянием. Он даст ей счастье, и это будет навеки...

Эмма не спала, она только притворялась спящей. И в то время, когда Шарль, лежа рядом с ней, погружался в дремоту, она пробуждалась для других мечтаний. Вот уже неделя, как четверка лошадей галопом мчит ее в неведомую страну, из которой она никогда не вернется. Они едут, едут, сплетясь руками, не произнося ни слова... И женщины в красных корсажах продают им цветы. А вечером она и Рудольф приезжают в рыбачью деревушку в глубине залива. На берегу моря они будут кататься в гондоле, все их существование будет легким и свободным, как их шелковые одежды... как теплые звездные ночи».

Цитата была длинная, но в ней было что-то запоминающееся навсегда, может быть, потому, что разительное несходство внутренней жизни было подчеркнуто тем, что супруги лежали в одной постели.

Это был пример, но не доказательство, и Незлобин почувствовал тот недостаток действия, который кольнул его в первом эпизоде.

Было два часа ночи, свечи догорали, он смял огарок и долго сидел, разминая теплый стеарин пальцами и размышляя. По-видимому, он еще не научился отказываться от журналистики, в которой ему всегда удавалось показать поверхностный, внешний портрет, от которого теперь надо было отделаться, как это ни трудно. Третий эпизод и был этой отчаянной, но, кажется, неудавшейся попыткой. В нем герой-рассказчик неожиданно умолкал, зато о нем говорили другие — он остался в памяти друзей, в ненаписанных книгах, в отвергнутой любви, в ранней мужественной смерти. Привычное чувство занимательности, которое всегда водило его рукой, должно было неузнаваемо измениться. Прежде занимательность как бы любовалась собой. Она, как женщина, смотрелась в зеркало, прихорашиваясь и принаряжаясь, зная, что книга может случайно или не случайно попасть в руки любителя решать ее, как решают кроссворд. А теперь он стремился к совсем другой занимательности — той, которая как будто прозрачной вуалью прикрывает лицо героя, изображенного на портрете, его судьбу, его прямоту, его новизну и силу. Теперь автор-герой как бы с гордостью отказывался от занимательности, дававшейся (он чуть не сказал мысленно «отдававшейся») ему легко, сама собой, без сопротивления...

Под утро, дочитав третий эпизод, он пытался уснуть, не уснул и, схватив бутерброд с салом — подарок пермского директора, помчался в редакцию в двенадцатом часу дня.

Кто-то сидел в его «капитанском» кабинете, кто-то насмешливо посмотрел на него из-под очков, кто-то от души рассмеялся, увидев

Незлобина, по-детски полуоткрывшего рот и в недоумении остановившегося на пороге. Кто-то сказал знакомым голосом: «А вот и товарищ майор! Здравия желаю!»

Это был Л. в военной форме, помолодевший, похудевший и вскочивший из-за стола, поднеся руку к козырьку,— в кабинете было холодно, и он сидел в шинели и фуражке.

— Как, вы вернулись? — спросил Незлобин, называя Л. по имени-отчеству и еще не понимая, что сулит ему это неожиданное возвращение.

— Так точно! — отвечал, смеясь, Л.— ПУР решил ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело! А вы небось уже трепещете, что без вас возьмут Печенгу! А пропой, ее уже взяли.

Французское «à propos», превратившееся в русское «а пропой», было украдено, без сомнения, у любительницы «афоризмов житейской бодрости».

Л. снял трубку, услышав телефонный звонок.

— Да, пришел. Сейчас передам... По вашу душу! Главный просит вас, Вадим Андреевич, немедленно явиться к нему. Впрочем, он звонит уже третий раз. И Нина Викторовна заходила, думала, что вы уснули в моем кабинете. Придите в себя. Вы окосели.

— Что-что?

— Окосели. От слова «коса».

— Ведь там же Харламов. Он меня опередил. Я видел его, когда был на Рыбачьем, на флагманском пункте. Так ведь он, без сомнения, в Печенге?

— Видели? Да когда ж это было? Увы! — вздохнув, сказал Л.— Харламов вас больше уже никогда не опередит. Он убит.

Незлобин вскочил и снова грохнулся в кресло. Харламов был двадцатилетний мальчик, у него была сильная близорукость, его не хотели брать. Он добился. Он писал стихи, и Незлобин всегда считал его надеждой нашей поэзии. Прямодушный, отчаянный, красивый мальчик, отдавшийся войне со всей мальчишеской страстью. Он жил не в Полярном, а неподалеку, где базировались катера, и однажды, покраснев, смутившись, ежеминутно протирая очки, прочел Незлобину одно из своих стихотворений, совсем не военное, поразившее его своей оригинальностью, глубиной, близостью к Тютчеву, который был его любимым поэтом.

Последний раз Харламов мелькнул среди десантников где-то у подошвы хребта, разгоряченный, стремившийся не отстать, в плащ-палатке и каске, откинутой на лоб.

«Да, надо ехать! Или лететь? Не откладывая. А мама?»

Он простился с Л., пошел к главному и сказал, что просит только об одном. С его разрешения он вызвал мать. Она приедет сегодня или завтра.

Главный мрачно слушал моргая.

— Жалко Харламова. Но все равно тут нужны именно вы,— твердо сказал он.

Незлобин молча уставился в его небритую унылую мордочку. Он молчал так долго, что редактор с беспокойством захло-

пал глазами и почему-то протянул ему коробку американских сигарет.

— Я не курю,— угрюмо пробормотал Незлобин.— «Полярная звезда» идет больше суток. Но в Мурманск ходят самолеты.

Рукописи горят

«Стало быть, есть еще сутки»,— возвращаясь домой на трамвае и стараясь успокоиться, думал Незлобин. У него давно уже не болел живот, а тут снова заболел, зазвенело в ушах, и он почувствовал слабость. Нужно уснуть хоть на час и успокоиться. Все будет хорошо. Ведь когда ему было четыре года, он уже и тогда думал, что все будет хорошо. Да, собственно, что изменилось с тех пор за какие-нибудь тридцать шесть лет? Сознательной жизни? Почти ничего. Война. Таля. Это были странные размышления, и он подумал, что, может быть, не прошел ему даром этот роман. Он сошел с ума, и никто, кроме матери и, может быть, Тали, этого не заметит. Мгновение слабости повторилось, и ему показалось, что он теряет сознание. «Еще новости!» — сказал он себе, и слабость прошла.

Дверь его комнаты была открыта, и в его книгах, беспечно напевая, рылась Эвридика. Он сказал ей: «Брысь!», и она с достоинством, на цыпочках удалилась. На столе лежала телеграмма. Мама была в Кирове. Она приедет сегодня — дата была полустерта — или завтра. Но завтра он будет уже в Мурманске. Добраться до фронта будет легко или не очень легко...

Светало, когда он приблизился к последним страницам. Он читал, и чувство недоумения с каждой минутой все больше тяготило его. То, что он написал, было не только бесконечно далеко от выдуманного портрета рассказчика. То, над чем он трудился с волнением, увлечением, вдохновением, никуда не двигалось, стояло на месте, и с каждым новым эпизодом он вколачивал новый гвоздь не в раму, а прямо в холст, распростертый на стене мертвенно, беспомощно, глухо. Может быть, исключением был только последний рассказ, в котором он надеялся показать то особенное чувство, которое испытывали все от мала до велика в годы войны. Ту великую общность, которая не только не мешала, но приказывала думать и говорить, возвращая подлинность, затемненную в предвоенные годы.

Рассвело, и надо было начинать новый день. Он сидел, закрыв глаза, опустив большую, давно не стриженную голову. Он не был в отчаянии. У него не было права на отчаяние, надо было еще заслужить это право. Все эти исписанные листки, все эти блокноты, все, что он почему-то называл романом и в чем он, радуясь, не веря глазам, узнавал себя,— казалось нерассказанным, пустым.

Он теперь твердо знал, не сомневался ни на мгновение, что его замысел — хорош он был или плох — был бесконечно далек от беспомощной попытки воплощения. Он дал себе урок, и, может быть, этот урок когда-нибудь приблизит его к подлинной прозе. Но звонок прозвенел, урок кончился, строгая учительница — русская литература — сказала ему, что сочинение нужно было написать, но совсем по-другому. Правда, она мягко добавила, что никуда не де-

нется его труд, потому что это был труд самопознания. Но надо было не «записать» его, а совершить, а ведь между этими понятиями лежат не месяцы, а годы. Да, он написал что-то совсем непохожее на его статьи и корреспонденции, но бывают разные несходства. «Фауст» был написан десятки раз и до и после Гете. Несходство должно быть не найдено, как будто оно валялось под ногами, а открыто. То, что он написал, было легендарным яблоком, подсказавшим Ньютону земное притяжение. А теперь, держа это яблоко в руках, он снова возьмется за перо и напишет — не роман, а неизвестно что — прозу, в которой будут те «железки строк», о которых упомянул Маяковский.

Он почувствовал слабость в ногах, и почему-то ему показалось, что за ним гонятся по узкой, перекрещенной тенями аллее, а ему некуда скрыться и нет сил убежать. Солнце лежало на горизонте, как неразбившееся яйцо, которое кто-то обронил и теперь не может, не в силах поднять. «Плохо дело»,— подумал он, очнувшись, и пошел в переднюю, чтобы посмотреть на себя в трюмо. Ему удалось увидеть себя, но почему-то очень похудевшего, с зеленоватым лицом и провалившимися глазами. «Но ведь, кажется, ничего не болит, только в голове какая-то сумятица, невнятица, каша».

Нина Викторовна уже ушла на работу, он слышал, как хлопнула дверь. Эвридика вставала в первом часу дня, и ему никто не мог помешать. На улице слегка подморозило, бесшумно, незаметно подобралась зима, а он-то ее и не заметил! Большой замок на дровяном сарае долго не открывался, Незлобин вышел без перчаток, и железо обжигало пальцы. Он наконец открыл замок, выбрал из груды дров несколько поленьев посуше и стащил сосновые щепки для растопки у Эвридики.

Вернувшись, он стал аккуратно растапливать печь — в комнате была большая, выложенная зелеными изразцами печь, обогревавшая и соседнюю комнату, в которой — он этого не знал — крепко спал бородатый директор завода. Дрова он сложил клеточкой, а в середину клеточки положил все свои блокноты, отдельные страницы, тетради — случалось, что он писал свой роман и в школьных тетрадях,— всю исписанную бумагу, а потом, тоже аккуратно, засунул между листами сосновые щепки. Может быть, все это делал не он, а кто-то другой, но он строго обращался с этим другим и не слушал его возражений.

Хотя печь накануне топили, но почему-то тяга была плохая. Он стал раздувать огонь, сажа полетела ему в лицо, и он машинально размазал ее по лбу, по щекам.

Разгорелось — и он, спокойный, но с сильно бьющимся сердцем, смотрел, как сморщивалась и превращалась в хрупкие и легкие домики бумага, как сопротивлялись огню скрепленные картоном блокноты. Ему было жарко, он близко придвинулся к огню, надо было проститься. Но лицо оставалось бледным, решившимся, открытым, свободным.

Три раза позвонил старый колокольчик над притолокой входной двери, сперва тихо, потом все громче и громче. Он не мог слышать, он смотрел на огонь. Надо было проститься.

Но сильный, энергичный стук он все-таки услышал. С трудом поднявшись, он вышел из комнаты и распахнул входную дверь.

Елена Григорьевна стояла на пороге в незнакомом пальто, с чемоданчиком в руках, сердитая, усталая, в меховой шапочке, откинутой на затылок.

— Что с тобой?

Он попробовал зажечь свет. Лампочка загорелась.

— Ты болен? Почему ты не открывал так долго? Что с тобой?

Незлобин молчал. Он запер дверь и почему-то снова погасил и зажег свет.

— У тебя сажа на лице! Что случилось?

Он засмеялся и обнял ее. Шатаясь, снял заплечный мешок, взял из рук чемоданчик. И снова обнял — теперь и ее лицо было запачкано сажей. У него были слезы на глазах, но он удержал их.

— Ничего не случилось, милая, родная моя! Я не спал всю ночь, стало холодно, и пришлось затопить печку. Но ведь я хорошо сделал, что затопил. Ты понимаешь, ничего не получилось, и все надо начинать сначала.

Он целовал ее, гладил по лицу, смеялся и целовал снова.

— А ведь вышло очень удачно, что я ее затопил. Должно быть, в вагоне было холодно, ты замерзла? Правда, это было трудно, но, как ни странно, не очень. Я украл несколько щепок, чтобы огонь разгорелся. Полежу, а ты посидишь рядом со мной, ладно? У меня мало времени, мне нужно вскоре лететь в Мурманск, потому что Харламов убит.

Он еще что-то сказал, как будто: «Я сейчас поставлю чайник, ты выпьешь чаю и отдохнешь с дороги». Но язык плохо ворочался, и он пробормотал что-то не то.

Потом он увидел себя в постели, и хотелось закрыть глаза, и это было неудивительно, потому что он не спал целую ночь. Глаза закрылись, и он снова ускользнул от всего мира в далекую полярную ночь.

Не помню

Мещерский пришел в себя, когда ему делали переливание крови. Какие-то люди в халатах склонялись над ним, и один поднял ему веки, когда он закрыл глаза. «Это наши»,— подумал он, стараясь ухватиться за что-то, медленно проплывавшее в памяти и сразу же растаявшее, ускользнувшее, когда он, казалось, уже держал его в руках. В госпитале почти никого не было, когда его привезли, а теперь все койки были заняты, и голоса то приближались, то удалялись. Чей-то стон прорвался и затих. Сестра, которая стояла рядом с его койкой, когда переливали кровь, подошла и спросила, как он себя чувствует. «Хорошо»,— ответил он. Слово не удалось, и он постарался вновь произнести его по слогам: «Хо-ро-шо. Но где я? Что со мной?»

— У вас тяжелое ранение в голову и плечо, вы потеряли много крови. Но теперь вы поправляетесь. Как вас зовут?

Он хотел ответить, но это почему-то было очень трудно, хотя для него было ясно, что каждый непременно должен знать, как его зовут. И он промолчал.

— Много раненых, и нас скоро эвакуируют,— сказала сестра, понявшая, что ему трудно ответить.

— Зачем?

— Госпиталь надо освободить для других.

— Куда?

— Еще неизвестно. В глубокий тыл. Может быть, в Сибирь. Или на Урал. Так что поправляйтесь скорее. В пути будет труднее за вами ухаживать.

Она ушла, а он стал вспоминать, кто он и как его зовут. Но почему-то эти усилия незаметно привели его к другим воспоминаниям. Он на юге, может быть, в Крыму или на Кавказе? Он за столиком на палубе, и старый, усатый, сердитый грек в красной феске приносит ему маленькую чашечку крепкого душистого кофе. Солнце в зените, но с моря прилетает ветерок, и он берет его в руки, как веер, и дарит кому-то. Кому?

Потом море и грек исчезают, а он, пятилетний мальчик, которому не надо знать, как его зовут, пускает вдоль канавы, по которой течет свинцовая вода, бумажные кораблики, и они вместе с водой заворачивают за угол и исчезают. Куда?

Почему-то ему очень важно узнать, куда они уплывают, и мама находит его, огорченного, плачущего, с грязными руками, в запачканных землей штанишках, и уводит. Куда?

Куда везет его поезд, когда он лежит на жестком матрасе в вагоне, битком набитом другими ранеными, санитарками, сестрами и врачами? Он — не он, он раздваивается, тот, который пил душистый кофе на палубе корабля, стоявшего у пристани на швартовых,— один, и у него есть детство, и кораблики, и мать, а теперь он — другой, у которого нет ничего, пустота. И нет даже фамилии, которую необходимо вспомнить. Но вместо фамилии он думает о том, какое странное слово «швартовы». Кажется, это канат, которым судно привязывают к пристани. А может быть, нет? Почему оно вспомнилось ему? Потому что за ним стоит что-то неведомое, сложное, пережитое, но забытое безвозвратно. «Швартовы, швартовы»,— беззвучно повторяет он, быть может, надеясь, что это слово поможет ему вспомнить, кто он и как его зовут. Он почти уверен, что оно связано с его исчезнувшим прошлым. Но разносят обед, санитар наливает в котелок суп и протягивает кусок черного хлеба. Он берет его левой рукой, правая рука и плечо еще в гипсе, который заставляет его спать на спине или левом боку, чувствуя биение сердца.

В этот день или в другой происходит то, чего он боялся с той минуты, когда пришел в сознание и открыл глаза. Незнакомый капитан, в форме, без халата, обходит вагон, записывая имена и звания.

— Фамилия? — спрашивает он, дойдя до Мещерского. Подоспевшая сестра шепчет ему что-то на ухо.

— Как это забыл? Пускай постарается вспомнить,— твердо го-

ворит военный.— А пока пойдем дальше. Я к вам вернусь, товарищ, а вы постарайтесь вспомнить.

Он уходит и через час возвращается.

— Вспомнили?

— Нет.

— Вы солдат или офицер?

— Не знаю. Кажется, офицер.

— Родные есть?

— Не знаю.

Военный заглядывает ему в глаза.

— Вы служили в армии или на флоте? Вы были в плену? Мещерский молчит, и военный уходит.

Проходят еще сутки или, может быть, двое или трое суток. Опираясь на левую руку, он может видеть в окно провода. Они безостановочно бегут вперед, все вперед, провисая то больше, то меньше. Иногда птицы садятся на провода, и ему кажется, что он никогда в жизни не видел птиц или не обращал на них внимания. Он лежит на нижней полке, соседи подсаживаются, пытаются заговорить с ним. Но ему тяжело, он не отвечает или отвечает односложно. Ему страшно и стыдно, что он ничего не может им рассказать. Ведь ничего не произошло с тех пор, как к нему вернулось сознание.

Наконец поезд останавливается неподалеку от какой-то большой станции. Гипс с руки и плеча снимают, он послушно старается шевелить пальцами, двигать рукой. Но голова по-прежнему забинтована, и когда он трогает рукой, она оказывается огромной, забинтованной с выступом на макушке.

В новом госпитале ему отводят койку у окна, и он видит за окном людей — бегущих мальчишек с ранцами за спиной, должно быть, где-то рядом школа. Он учится шевелить пальцами, двигать онемевшей под гипсом рукой и одновременно учится считать: вот один мальчик пробежал мимо окна, вот второй, третий. Счастливая улыбка пробегает по его заросшим губам: он умеет считать. Он знает, что с числами можно что-то делать: складывать, умножать. И целый день он складывает и умножает. Сперва это трудно, но потом становится все легче и легче. Он знает, что в палате двенадцать коек. Он уже многое знает и узнает все больше и больше. Еще в пути ему рассказали, что война идет к концу, и он притворяется, что знает: воюют с немцами.

Вот, значит, откуда взялся этот санитарный поезд, в котором его везли так долго, семнадцать или восемнадцать суток. Должно быть, и он участвовал в этой войне и был ранен? Но где и когда? В сухопутном бою или на море? И в самом деле — он офицер или солдат? Должно быть, солдат, потому что ему выдают махорку, а в соседней палате лежат офицеры, и он видел, как санитар понес туда сигареты.

Доктор, молодой, смутно похожий на кого-то в исчезнувшем прошлом, садится рядом с ним, и начинается разговор, от которого у Мещерского разгораются заросшие щеки.

— Не вспомнили?

— Нет, доктор.

— Но вот меня, например, зовут Алексей Дмитриевич Ласкин. А вас?

Что-то знакомое мелькает в голове и тут же обрывается, пропадает.

— Нет, доктор.

— Но вы понимаете все, что происходит вокруг? Вы уже лежали в госпитале, далеко, на Крайнем Севере.

— Это я помню.

— А теперь вас привезли в другой госпиталь, в Кунгур, на Урале.

— Да.

— Как ваша рука? И плечо?

— Я стараюсь двигать пальцами, сгибать руку. Но поднять ее еще не могу.

— Это пройдет,— задумчиво говорит доктор.— Но, может быть, не совсем. Признаться, мы с начальником поезда говорили о вас. Предположили, что вы с намерением скрываете вашу фамилию и звание.

— Зачем?

— Чтобы вас не вернули в армию. Но вас все равно не вернут. Движение вашей правой руки останется ограниченным. Голову вам перебинтовали?

— Да. Я не притворяюсь. Вот в последние дни я стараюсь научиться считать.

— Сколько двенадцать и семь?

— Девятнадцать.

— Верно. Но вот сестра заметила, что вас мало интересует то, что происходит вокруг. Вы всегда так молчаливы?

— Не знаю. У меня нет времени. Я стараюсь вспомнить прошлое. И кое-что мне уже удалось.

— А именно?

— Числа. И кофе, который я пил когда-то на палубе корабля. Мать. Бумажные лодочки, которые я пускал по канаве. Я учусь вспоминать. Может быть, одно приведет с собой другое.

— Как меня зовут?

— Алексей Дмитриевич Ласкин.

— Правильно. Значит, вы помните и понимаете все, что случилось с вами после того, как к вам вернулось сознание.

— Да. Сперва немного туманно, а теперь с каждым днем все яснее.

Доктор вздыхает.

— Да. Это хорошо. Но, к сожалению, мы все-таки должны передать вас в психиатрическую больницу. Там, наверное, лучше знают, как лечить такие болезни.

В Москве

Нина Викторовна приехала с доктором, но каким-то странным, одетым старомодно, щеголевато, в цветном жилете, на котором вилась золотая цепочка. Он осмотрел Вадима Андреевича и сказал, что

он, в сущности, совершенно здоров и что точно такие же явления характерны для его жены, страдающей несварением желудка. Лекарств он не стал прописывать, но посоветовал по утрам пить чашечку крепкого кофе, а перед легким обедом — рюмку столового вина. Потом он долго рассказывал, как в молодости начинал каждый день конной прогулкой, и очень картинно нарисовал себя выезжающим из столицы в жокейской шапочке со стеком в руке.

После его ухода Незлобин с удовольствием выпил чашечку кофе, а перед обедом рюмку вина и уснул или, может быть, потерял сознание, а проснувшись или очнувшись, увидел у своей постели незнакомого человека с бородкой, с твердым интеллигентным лицом. Войдя в комнату, он поговорил с Еленой Григорьевной, еще не осматривая Незлобина, а лишь взглянув в его лицо, сказал, что у него язвенное кровотечение. По поводу прописи старого доктора он только пожал плечами, заметив, что кофе и вино могли только ухудшить — и, вероятно, сильно ухудшили — состояние больного. Это был известный профессор Р., который распорядился немедленно положить больного в больницу Склифосовского, где Незлобин должен был лежать на спине дней десять — двенадцать.

Незлобин был в ясном сознании, когда его выносили из квартиры, и засмеялся, услышав, что в тесном коридоре Елена Григорьевна приказала развернуться: не положено было выносить больного вперед ногами.

Потом была карета «скорой помощи», в которой он ехал, держа худенькую руку матери в своей большой лапе, а потом он оказался в прохладной палате, па́рной — напротив его постели лежал с задранным кверху носом еще какой-то пожилой человек. Потом была ванна, мама исчезла, кто-то сказал над его головой: «Грелки не надо».

Ему хотелось, чтобы мама всегда была рядом, но ей почему-то нельзя было оставаться, и она поцеловала его в лоб, уходя.

Он не заметил, как прошла ночь. Она не прошла, а пролетела, и, засыпая, он почувствовал, как сестра поднесла к его губам чайник, и надо было проглотить немного теплого жидкого чая. Все было хорошо, она подоткнула одеяло и сказала ласково: «Спокойной ночи». У него ничего не болело, но почему-то она называла его «больной». Было немного страшно уснуть и не проснуться, но «ведь все всегда хорошо»,— подумал он и уснул.

Он проснулся, когда было еще темно, но уже слышалось движение в коридоре и возникший откуда-то электрический свет мешался с утренним светом, изменявшимся медленно, но неуклонно. И первый из двенадцати дней начался после чайника и каши, которой кормила его с ложечки вчерашняя заботливая сестра с добрым лицом. Потом были какие-то уколы, брали кровь, а потом долгое, молчаливое лежание, когда он понял, что прежняя жизнь, полная волнений, огорчений, решений, осталась далеко позади, а новая жизнь, вместе с жизнью огромной больницы, должна происходить неторопливо и по навсегда размеренному порядку — как на экране в повторяющейся замедленной съемке.

Можно было говорить, но первым начал говорить не он, а сосед, который оказался старым архитектором, некогда построившим тот самый корпус, в котором они оба лежали. Потом архитектор сказал, что его привезли с каким-то сложным переломом,— этот перелом случился с ним в третий раз на одном и том же месте, в Кадашевском переулке, рядом с Третьяковской галереей. «Врет»,— подумал Незлобин. Он слушал его, думая о своем и напрасно стараясь вспомнить, сжег он свой роман или нет. Холод железного замка, когда, доставая дрова, пришлось долго возиться с ключом, вспомнился ему, и он решил, что сжег,— зачем же иначе стал бы он возиться на холоде с замком, который никак не открывался?

Он машинально отвечал соседу, и тот, разговорившись, вдруг почему-то сказал, понизив голос, что он родной брат генерала Половцева, известного в белой армии, одного из самых смелых и удачливых генералов. Потом он извернулся, стараясь взглянуть на Незлобина и пожелав, очевидно, увериться, что человек, которому он доверил такую важную государственную тайну, не какой-нибудь московский чиновник, а достойный доверия русский интеллигент. Он лежал давно, ему хотелось выговориться, но о мужественном брате, очевидно, не стоило упоминать, и, ругая себя, он надолго замолчал — на следующий день не произнес ни слова.

Мама пришла и принесла мясной бульон, который Незлобин съел с удовольствием, хотя, уже после ухода мамы, узнал, что подобное блюдо ему не только запрещено, но представляет собой некоторую опасность. Мясо для бульона мама достала на рынке.

Узнав, что Незлобин так серьезно болен, Таля сговорилась с проводником, и через несколько дней Незлобин получил от нее письмо: «Вы не можете себе представить, как я была расстроена, узнав о Вашей болезни. И на этот раз очень серьезно, да? И как вовремя приехала в Москву Елена Григорьевна! Неужели нельзя обойтись без операции? Я говорила с нашим главным врачом, и он думает, что при Вашем сложении обойдется без операции. Когда Вы были у меня в госпитале, он Вас видел. Господи, если бы Вы знали, как мне, Вадим Андреевич, не хватает Вас, и это значит, что мне не хватает самой себя. Я должна рассказать Вам, как я живу, что мне удалось, не в бытовом, материальном, а в душевном значении. Как я справляюсь с моей бедой? Она устоялась в душе, но что делать с ее постоянством, которое ни на минуту меня не оставляет? С отцом у нас не нашлось общего языка просто потому, что он постоянно молчит, не замечая (а может быть, замечая), что мне становится страшно от этого каменного молчания. Впрочем, однажды он провел по моему лицу руками и поцеловал, я расплакалась, и он своим платком вытер мне слезы. Остается Андрей, но и он занят не только своими занятиями в школе, но в особенности своими техническими затеями, заслоняющими от него решительно все на свете. А вас нет, нет, нет, и неизвестно, когда мы увидимся».

Он лежал на спине долгих восемнадцать дней, пока само собой не прекратилось кровотечение и не зарубцевалась проклятая язва. Елене Григорьевне удалось добраться до руководителя больницы,

и через несколько дней к Незлобину в палату вдруг ввалилась толпа людей в белых халатах, сопровождавших знаменитого Юдина, «чудесника, мага и чародея», как называли его те, кому он вернул жизнь.

Пальцы Юдина играли на животе Незлобина, как на рояле. Он не говорил, как другие: «Вдохните» или «Задержите дыхание», но по быстрому ритму движений Незлобин догадывался о том, что считает Юдин важным, а чему не придает никакого значения.

Он сказал, что теперь нет необходимости лежать на спине, можно поворачиваться и спать на боку. Он посадил Незлобина и, сжав его широкие плечи своими маленькими крепкими ручками, сказал лечащему врачу: «Операцию делать не будем». И палата мгновенно опустела, множество белых халатов исчезло вслед за своим твердо ступающим, обыкновенным и необыкновенным руководителем. А в этой больничной холодной пустыне вдруг появилась Таля, тоже в халате, похудевшая, тоненькая, с большими повеселевшими глазами.

— Ну вот, дела идут на лад,— сказала она и села к нему на постель, а он повернулся с наслаждением на левый бок, чтоб можно было видеть ее и разговаривать с ней. Все было наслаждением — и то, что он заболел, и то, что она заботливо прочитала ему очередную сводку, и то, что наши уже продвинулись в глубину Германии, и что маме и Тале разрешили приходить к нему каждый день и оставаться долго, когда в больнице все стихало, а больные и медицинский персонал начинали готовиться к ночи.

Две недели пролетели незаметно, сосед, испугавшийся, что его брат был видным белогвардейским генералом, молчал и к тому же сильно простудился на рентгене. Рентген предстоял и Незлобину, и Елена Григорьевна, узнав об этом, притащила длинные, до колен, шерстяные носки, которые с трудом влезли на большие незлобинские ноги. Он не простудился, более того, рентгенолог сказал ему: «Дело идет на лад», и это связывалось в сознании с движением Юдина, неожиданно измерившего ширину его плеч и сказавшего: «Операцию делать не будем». Он по природе был достаточно крепок, чтобы обойтись без операции,— и это было прекрасно.

Кормили невкусно, но мать приносила ему то тертые яблоки, то божественно вкусную манную кашу, он чувствовал, что поправляется с каждым днем,— и это тоже было прекрасно.

Пришло известие, что Николай Николаевич умер. Таля съездила на похороны отца и вернулась с Андреем, все таким же задумчивым и в первый же день напугавшим всех своим трехчасовым исчезновением. Оказалось, что он осматривал Москву и, очевидно, размышлял, подойдет ли жизнь в столице к его «рамке» или не подойдет. Должно быть, вопрос был решен в положительном смысле, потому что на следующий день он был принят в московскую школу недалеко от улицы Маркса и Энгельса, в которую Таля уже устроилась учительницей географии. Отгремели салюты Победы, старенькая тарелка громкоговорителя в их палате дребезжала и тряслась, как в лихорадке, и, наконец, задохнулась на тысячу раз повторенном слове «победа».

Вдруг оказалось, что военная жизнь позади, и Незлобин остро и болезненно почувствовал это, когда в военкомате молоденькая, хорошенькая девушка-лейтенант перелистала его военный билет и поставила на соответствующей странице жирный штамп: «Снят с учета».

Теперь квартира Жени-Псих была полна, и ее хозяйкой — это случилось как бы само собой — стала энергичная, деятельная Елена Григорьевна. Женя-Псих успокоилась в маленькой каморке за кухней и, кажется, была довольна, что ей больше не надо варить дрожжи и таскать их продавать на базар. Скромное, но трехразовое питание было к ее услугам. Деньгами распоряжалась Нина Викторовна, и не так-то просто было прокормить в послевоенные годы коммуну, состоявшую из шести человек. Но директор время от времени привозил подкрепление, да и Незлобин, который много ездил по стране, превратившись в собственного, а не военного корреспондента, не упускал возможности купить что-нибудь, что невозможно или очень трудно было достать в Москве. Так по воле войны и судьбы сложилась и после беспримерных испытаний жила спокойной, уравновешенной жизнью маленькая коммуна. Для одних сложилась, а для других нет и нет.

Война кончилась победой, доставшейся нам дорогой ценой, половина страны лежала в развалинах, и энергия восстановления быстро становилась главной вдохновляющей силой. Все соединилось в этой энергии: естественное стремление вернуться к дому, к тишине, безопасности после орудийного грохота, громыхания танков, оглушительного сталкивания железа с железом и надежда, что смелость в боях обернется еще небывалой легкостью существования и что жизнь щедро оценит неслыханные в истории человечества жертвы.

Памяти о войне еще не было, но с каждым годом она начинала покрываться легким пеплом забвения. Но память еще не знала, как непрочно это забвение, какая долгая суждена ей судьба, как глубоко она отзовется на жизни новых поколений, на истории будущих десятилетий.

Неизвестный

Психиатрической больницы в Кунгуре не было, и его отправили в Пермь, откуда неделю назад уехала Елена Григорьевна и вслед за ней Таля.

Это было ночью, и разговор начальника санитарного поезда с главным врачом больницы происходил ночью, когда Мещерского уже положили в просторную палату и он спал при слабом электрическом свете.

Он плохо спал. То с одной койки, то с другой был слышен разговор между сестрой и каким-то больным, который не хотел раздеваться, то, когда Мещерский уснул, раздался дикий крик, разбудивший всю палату, и два санитара увели куда-то кричавшего больного.

Утром был обход, а после обеда главный врач, коротенький, полный, с бородкой, подсел к Мещерскому на кровать.

— Вы плохо спали, да? — спросил он участливо.— Сегодня я переведу вас в другую палату.

— Спасибо,— сказал Мещерский.

— Мы приняли вас под фамилией «Неизвестный». Ведь вы еще не вспомнили, кто вы и как вас зовут?

— Нет.

— Перед обедом мы осмотрим вас с психиатром. Значит, условимся до поры до времени: Павел Павлович Неизвестный. Кстати, вы будете не единственный Неизвестный. Такая фамилия существует. Она вас не раздражает?

— Нет.

— Вы заросли. У нас есть парикмахер.

— Нет, благодарю вас. Я подожду. Надо немного освоиться с обстановкой.

— Прекрасно.

Очевидно, это относилось не к густой черной бороде Мещерского, а к тому, что он так вежливо, спокойно держался.

При больнице был небольшой сад, и Мещерский с наслаждением вдохнул утренний, еще прохладный, ароматный воздух. На скамейке сидел больной — бледный молодой человек, аккуратно причесанный, в полосатой пижаме. Мещерский поздоровался, тот не ответил. Потом, после долгого молчания, он тоже сказал: «Здравствуйте». И прибавил: «Пожалуй!»

— Вы тоже из ковчега? — спросил он.— Там стало очень тесно. Все вместе, животные и люди. Меня отпустили на время, потому что по ночам я кричу.

— Так это вы кричали ночью? Что-нибудь приснилось? Кошмар?

— Нет, ничего не приснилось. Но по ночам все должны кричать.

— Почему?

— Страшно. Темно.

— Но в палате сегодня ночью горела электрическая лампочка.

— Она притворялась. Почти все притворяются. Даже Ной. Иногда. Хотите, я его вам сейчас приведу?

Мещерский давно понял, что говорит с сумасшедшим. Но он слишком долго молчал. От самого Киркенеса. Он забыл, что лежал в Киркенесе, а теперь снова вспомнил.

«Киркенес, Киркенес»,— повторял он, пока сумасшедший молодой человек не вернулся. Он привел другого сумасшедшего, пожилого, с бегающими глазами, поминутно обдергивающего на себе пижаму. В руке он держал маленькую глиняную трубку.

— Ной умер,— сказал он Мещерскому.— Вот этой трубке больше тысячи лет. Из нее курил сам Монтезума.

Сперва было интересно, а потом стало скучно говорить с сумасшедшими. Яблони тоже напоминали Мещерскому что-то знакомое. Он стал вспоминать и незаметно уснул на другой скамейке, стоявшей в стороне недалеко от забора. Его разбудила сестра.

— Здравствуйте,— сказала она.— Впрочем, мы, кажется, уже виделись.

— Да, виделись,— ответил Мещерский. Сестра была немолодая,

лет сорока, но статная, гладко причесанная, с высокой грудью, с добрым, спокойным лицом. Они прошли в кабинет главного врача, где больного уже ждал психиатр.

Мещерского раздражали все те же вопросы, но он сдерживался и старался отвечать внятно и неторопливо.

— Его смотрел терапевт? — спросил психатр.

— Да. В поезде. Неоднократно. Вот его карточка.

Психиатр, неприятный, с бабьим лицом, долго изучал карточку, хотя на ней было только несколько строк.

— Ну, что ж, пока бром и хвойные ванны,— сказал он.— Сколько вам лет? — вдруг спросил он Мещерского.

— Не помню. Кажется, сорок.

— Но ведь не двадцать, правда?

Мещерский рассмеялся.

— Думаю, что память вернется. Может быть, не скоро.

— Я стараюсь вспомнить,— с виноватым лицом сказал Мещерский.— Сегодня, например, я вспомнил, что лежал не в Печенге.

— Ну, что-нибудь еще? Кто лежал вместе с вами?

Мещерский молчал. Сознание на мгновение вернулось к нему в те минуты, когда немцы перед уходом убивали раненых,— вместе с мыслью, что они, приняв за мертвого, не убили его.

— Не знаю. Многие. Не моряки, а солдаты.

— Значит, вы были моряком?

— Может быть.

Каждое слово, которое он вспоминал, было твердым, как камень. Казалось, что оно должно было притягивать другие слова. Но других еще не было. Он вспомнил, например, «швартовы». Возможно, он и в самом деле был моряком?

Зубы зажаты

Да, так по воле войны и судьбы сложилась и жила уравновешенной жизнью маленькая коммуна. Для одних сложилась, для других нет. Более тягостного времени в своем прошлом Незлобин не знал. Дружеские отношения с Талей казались ему чудовищно-искаженными, притворными и рискованными — он не раз отбрасывал от себя мысль о самоубийстве. Он старался возможно дольше бывать в командировках, он пытался — и не безуспешно — вернуться к мысли о сожженном романе. Он мучительно знал, что Елена Григорьевна мечтает о том, чтобы Таля и он соединились, и с трудом заставляет себя не говорить о своем заветном желании. Нетрудно было догадаться, что Таля все еще ждет Мещерского, хотя проходили год за годом и о нем не было никаких известий. Инстинктивно чувствуя, что Таля полна жалости к нему, к Незлобину, он никогда не говорил с ней об этом. Он знал, что от жалости до любви — бесконечность. У нее был выношенный, давным-давно утвердившийся взгляд на отношения между женщиной и мужчиной, и хотя она не

могла рассказать о нем Незлобину, но чувствовала, что отказаться от этого взгляда не в силах. Она понимала, что Незлобин душит в себе все, что могло неузнаваемо изменить ее и его жизнь. Уверить себя, что Мещерский никогда не вернется, она не могла. Это значило бы отказаться от самой себя, и, хотя время шло, делая ее другой — холоднее, равнодушнее, она не в силах была забыть о нем. Столько душевных сил было отдано той несостоявшейся доле. Она видела, как тяжела ноша притворного спокойствия Вадиму Андреевичу, который никогда не умел притворяться. Она понимала, что он раздваивается — был одним, а старается быть другим — и что эта расколотость преследовала его, разделяя единство, связывающее сердце и разум.

«Что же делать? — думала она, сидя над школьными сочинениями по географии, машинально исправляя ошибки и машинально стараясь вырваться из круга одной повторяющейся мысли.— Что же делать?»

Не хотелось жить, но надо было жить. И ждать. И надеяться на чудо. Бывают же чудеса на свете?

Все чаще становились командировки Незлобина, все меньше дней он проводил в Москве. Недаром он давно привык смотреть на себя со стороны. Он всегда и искренне хотел, чтобы Мещерский вернулся. Да хоть не вернулся, а нашелся. Тогда наполнилось бы смыслом ожидание, тогда, может быть, раскололась эта мучительная неопределенность, отнимавшая последние силы.

С каждым месяцем он становился все более неразговорчивым, мрачным, и не было надежды победить это «неисполнение желаний», от него некуда было скрыться, утаиться, уйти.

Понимала ли все это Елена Григорьевна? Не только понимала, но болезненно чувствовала, что разлад между разумом и душой не только не свойствен, но трагически тяжел ее сыну, который с каждым днем становился не похож на себя. Надо было наконец заговорить, только откровенный разговор — да или нет — мог помочь делу. И она заговорила, тайно от сына, она приблизилась к этому объяснению, тем более уже давным-давно материнское чувство подсказало ей все, что сказал бы на ее месте сын. Таля молча слушала ее.

Она говорила о длительных командировках, из которых он возвращается измученный, похудевший. О том, что в редакции он проводит больше времени, чем дома. И в конце концов после одного разговора, помолчав, прямо спросила, как Таля думает: может ли Вадим Андреевич жить без нее? И сама ответила. Конечно, может, но постепенно уничтожая в себе доброго, любящего человека. Теряя свое дарование, махнув на все рукой, считая свою жизнь потерянной безнадежно, бесповоротно. Она рассказала Тале о его душевной расколотости, с которой он, правдивый, цельный человек, едва справляется, несмотря на свою незаурядную волю. Она говорила, что десятки тысяч вдов, которые так же, как Таля, ждут и ждали, в конце концов повыходили замуж. Она сказала, что мужчина не может не сорваться, если он так долго живет в одиночестве, как не может акробат долго в ослепительном свете висеть на зубах под куполом цирка.

— Зубы зажаты,— сказала она,— и он не такой человек, кото-

рый скоро их разожмет. Но граница должна существовать, и ему недалеко до границы. Да и твое женское одиночество — не уверяй меня, что оно тебе так уж легко дается!

Таля слушала ее молча, но так, что Елене Григорьевне хотелось говорить и говорить.

— Тебе за тридцать, ему под пятьдесят, ведь «так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова»,— продолжала Елена Григорьевна.— И потом, не надо забывать, что у тебя сын, перед которым только открывается жизнь. О чем он думает, чем собирается после школы заняться? Нам, женщинам, трудно судить, а мужчина эту сторону жизни остро чувствует, и нужно, чтобы ему протянул сильную руку отец, который его принимает и понимает. Вот тебя хотят директором школы сделать, а к нему в школе относятся тяжело. Он слишком серьезен, он старше своих лет, сторонится товарищей, погружен в свои мысли. Подумай, Таля! Я знаю, что ты любишь другого, а моего Вадима не так, как ты представляешь себе самое явление любви. Но он отдаст тебя Мещерскому, коли выпадет такая доля, что он вернется живой. А ведь мало, мало надежды! Уж каких мы справок не наводили, куда не писали! Вадим ездил в Печенгу, нашел штурмана, служившего на лодке Мещерского и тоже взятого в плен раненым,— и ничего не прояснилось. Еще раз прошу: подумай, Таля. Я сына жалею. Может, и жить мне недолго осталось, а кто другой тебе все это скажет? Он у меня один.

Снежный заряд. Киркенес. Анна Германовна Сверчкова

Мещерский усердно «разрабатывал» руку, пальцы уже не только двигались, но могли схватить что-нибудь, ложку или кружку. Он старался вернуть правой руке ее привычные свойства, он не собирался навсегда остаться левшой. Его положение в психиатрической больнице было странным, он не был душевнобольным и, немного окрепнув, стал помогать санитарам и сестрам. Но попытки вспомнить прошлое не прекратились. Он научился как бы присоединять их к тому, что он делал, даже если это была посильная физическая работа. Именно физическая. Чтение мешало ему, и он не прочел ни одной книги с той минуты, когда к нему вернулось сознание. Его лечили, давали бром и другие успокоительные лекарства, заставляли принимать хвойные ванны. Но гораздо больше, чем бром или ванны, Мещерскому помогало, казалось, сочувствие, сердечное отношение к нему. Особенно заботилась о нем та сестра, которую он первой увидел в больнице.

— Как вас зовут? — спросил он однажды, когда она пришла к нему с каким-то лекарством.

— Аня.

— А по отчеству?

— Меня никто не зовет по отчеству.

— Анна Германовна?

— Нет, Гавриловна,— улыбаясь, ответила она и ушла, оставив его растерявшимся, взволнованным. Почему он назвал ее Анной Германовной? Ведь Герман — редкое, не русское имя!

Весь день он думал об этом, а к вечеру, когда пора было ложиться спать, пошел искать сестру и нашел: она сидела в канцелярии и что-то писала при свете электрической лампы.

— Это вы, Павел Павлович? — спросила она, не сразу узнав его: был ярко освещен только письменный стол.— Вам что-нибудь надо?

Он промолчал. Он не знал, что ответить.

— Пора ложиться. Я как раз тут над вашей историей болезни сидела. Может быть, вы еще что-нибудь вспомнили?

— Да. Госпиталь, в котором меня взяли наши, находился не в Печенге, а в Киркенесе.

— А где этот город?

— Не знаю. Кажется, недалеко от Печенги.

— Вот и хорошо. Завтра мы найдем на карте и Печенгу и Киркенес, а сейчас я провожу вас в палату. И спите, пожалуйста, спокойно. Доброй ночи.

Все уже спали, когда он пришел. Надо было лечь, но он только снял пижаму и сел на постель. Почему он назвал сестру Анной Германовной? В палате были открыты окна, и там в саду, ему показалось, кто-то бродит по дорожкам и шепчет. Кто такая Анна Германовна? Дверь открылась, свет упал в палату из коридора, кто-то пришел и ушел. Почему он чувствует себя растерянным, виноватым, когда произносит это имя? «Анна Германовна Сверчкова»,— вдруг сказал он радостно и увидел ее так ясно, как будто она стояла рядом с его постелью. Снежный заряд за окном, а у нее уютно и тепло. Она разливает чай, он видит двигающиеся над белой скатертью ее добрые руки. Надо спать, но нельзя спать, во сне он забудет и Киркенес, и эти руки, и саму Анну Германовну. И вспомнил стекло окна, на которое вдруг налетают острые иголочки снега, и Киркенес, и Анну Германовну Сверчкову — боже мой, как же он мог забыть о ней? Она найдется, она назовет его, она узнает его. Ах, если бы можно было записать все, что он вспомнил! Страшно уснуть, нельзя уснуть, хотя уже два или три часа ночи.

И он ощупью надевает пижаму, находит под кроватью тапки и идет в коридор.

Пусто, но под лестницей у входной двери спит в мягком кресле санитар, молодой, совсем мальчик, должно быть, студент медицинского института. Студенты подрабатывают в больнице, и Мещерский, кажется, уже видел его.

— Послушайте, проснитесь!

Студент испуганно открывает глаза.

— У вас есть карандаш и кусочек бумаги?

Студент не сразу приходит в себя. Он смешно трясет головой, трет руками глаза, стараясь проснуться.

— Что случилось? Вам дурно?

— Нет,— нетерпеливо отвечает Мещерский.— Завтра я вам все

объясню. А пока найдите бумагу и запишите: «Киркенес, Анна Германовна Сверчкова».

Он повторяет эти слова, пока студент ищет записную книжку.

— Снежный заряд, Киркенес, руки над столом, чай, Анна Германовна Сверчкова.

Студент послушно записывает. Он не раз дежурил в больнице. Но это с ним случилось впервые.

После завтрака Мещерский идет к главному врачу. Он долго, терпеливо ждет: главный врач занят.

— Простите,— говорит он полному пожилому седеющему человеку с умным, живым, энергичным лицом.— Дело в том, что я вспомнил.— Он не ждет вопроса.— Я вспомнил, как зовут женщину, которая прекрасно знала меня. И если сопоставить факты, о которых мы говорили, можно предположить, что она служила на Северном флоте. Мы были близко знакомы. И у меня к вам просьба: мной интересовался особый отдел. Скажите им, чтобы они написали обо мне в штаб Северного флота. Мне кажется, нужно просто рассказать, что я потерял память и что меня может назвать Анна Германовна Сверчкова.

— А бром вы сегодня принимали?

— Нет еще. Вы напишете, доктор?

— Надо принять бром. Вы очень взволнованы. Конечно, я напишу. А где он находится, этот главный штаб?

— В Полярном,— отвечает Мещерский, не замечая, что еще минуту тому назад он не мог бы сказать, что главный штаб находится в Полярном.

— Это город?

— Да. На Крайнем Севере.

— Сегодня же напишу.

Они расстаются, и жизнь превращается в ожидание. Мещерский уже почти свободно действует правой рукой, он окреп, посвежел. Анна Гавриловна посоветовала ему пойти в парикмахерскую. У него нет костюма, кроме парусиновой матросской робы, и она откуда-то принесла ему узковатый для него пиджак и поношенные, но еще вполне приличные брюки. И это ведь она посоветовала ему приняться за какую-нибудь работу в больнице. Людей не хватает, желающих работать в психиатрической больнице мало, а больных много, и с каждым днем становится все больше и больше. Она говорила с заведующим, он согласен. «Согласны ли вы?»

Конечно, согласен. Ведь все это, парикмахерская, непривычный штатский костюм, работа,— все это и многое другое — только ожидание. Вся жизнь превращается в ожидание. Он еще пытается вспомнить, но некогда вспоминать: надо ждать письма от Анны Германовны, письма, которое вернет ему прошлое. Правда, по ночам, когда он не спит, ему кажется, что чья-то рука как бы отводит в сторону воспоминания об Анне Германовне, что вслед за этим прошлым было еще одно прошлое — мелькнувшее и исчезнувшее, но оставившее неопределенный болезненный след. Какие-то фигуры плывут перед глазами на черном бархатном фоне, смотрящие ему прямо в глаза,

и он едва может справиться с сердцем, которое начинает бешено стучать, когда он всматривается в них и узнает или не узнает, потому что слезы набегают на глаза и ничего нельзя разглядеть сквозь горькие, спускающиеся, как занавес, слезы.

Однако долго нет ответа из штаба Северного флота. Проходит полгода. Он не решается попросить главного врача повторить запрос. Проходит год. И он решается. На этот раз он приходит к нему не как больной, а как служащий, и не чувствует себя растерянным, скованным, потому что много раз встречался с главным врачом по служебным делам.

И главный врач не заставляет его ждать в приемной, он сам выходит из кабинета, и они садятся рядом на диване.

— Я получил ответ,— говорит главный врач,— но, к сожалению, должен огорчить вас.

Он встает, открывает ящик письменного стола и достает пакет.

— Адъютант командующего флотом сообщает, что старший лейтенант Анна Германовна Сверчкова умерла 12 апреля 1944 года.

А жизнь идет

Годы шли своей чередой, которую нельзя было ни остановить, ни замедлить.

В квартире Жени-Псих происходили то грустные, то веселые перемены. Умерла Эвридика, у которой не оказалось родственников в Москве и которая перед смертью — последнее желание — попросила поставить на ее могиле мраморный крест. Мраморный было трудно достать, поставили дубовый. Пермский директор никак не мог выбрать между Ниной Викторовной и первой женой, оставшейся в Перми и не испытывавшей душевных волнений, когда муж надолго уезжал в Москву. Вопрос о разводе, поднимавшийся много раз, остался до поры до времени не решенным. Андрей после восьмого класса пошел учеником на часовой завод и, удивив своими способностями и знаниями опытных мастеров, сам стал через год помощником мастера.

Но событием из событий было, без сомнения, появление на свет Шурика, названного этим именем в память Мещерского. Это был широкогрудый, розовый, круглый мальчик, причем круглыми были не только нежная головка, но и крепкие мужские ножки. Когда Таля кормила его, он, распластав ручки и ноги, до пояса покрывал всю ее тонкую, хрупкую фигуру. На кого он был похож — вопрос, который неоднократно обсуждался в коммуне. Через три месяца стало ясно, что на отца — своей крупностью, дорого доставшейся Тале, а через четыре — на мать — своими большими глазами, как будто окутанными прозрачной, слегка подсиненной дымкой, улыбкой — он рано стал улыбаться,— смуглостью, прямизной высокого лба.

Нина Викторовна стала убегать из редакции раньше положенного времени: необходимо было увидеть, как купают младенца. И это действительно было интересно, потому что Шурик-младший оказался страстным любителем воды, очевидно, будущим чемпионом по пла-

ванию. И поднимал оглушительный крик, когда его вынимали из ванны. Успокаивался он, только когда в его рот попадала не соска, которую он презирал, а материнская грудь.

Словом, судьба, так долго игравшая жизнью Незлобина — на войне, где его могли убить, в тылу, где он с трудом оправился от тяжелой болезни,— наконец отвалила ему неслыханно щедрую долю.

Но вот однажды, когда Таля с Шуриком отправились на Гоголевский бульвар и Незлобин был один в квартире, раздался телефонный звонок. Он подошел, снял трубку.

— Можно Вадима Андреевича? — сказал мужской голос, который он смутно узнал, как узнают давно потерянную вещь, сомневаясь, не принадлежит ли она кому-нибудь другому.

— Я у телефона. Кто говорит?

— Ну, кто, это ты догадаешься, хотя у меня и голос, говорят, изменился! Вспоминаешь?

— Мещерский? — с дрогнувшим сердцем, неслушающимися губами спросил Незлобин.

— Узнал-таки! Ты в квартире один?

— Да.

— Очень хорошо. Я знаю, Таля на бульваре. Я прошел мимо довольно близко, но она меня не узнала. Меня, брат, теперь трудно узнать.— Он помолчал.— Хотелось бы поговорить с тобой. Пойдем в какое-нибудь кафе. Но Тале — ни слова. И не только Тале.

Незлобин машинально накинул макинтош, хотя было тепло, даже жарко. Позвонили, он распахнул входную дверь. Перед ним стоял лысый мужчина с изрезанным глубокими морщинами лицом, с большой круглой бородой, в которой поблескивали седые пряди, в опрятном, застегнутом на все пуговицы широком пиджаке и брюках, засунутых в голенища начищенных сапог. На вид ему можно было дать лет под шестьдесят. Они обнялись и несколько секунд стояли молча, крепко прижавшись друг к другу.

— Ну что же, пойдем,— сказал Мещерский. В его дрогнувшем голосе послышались слезы.— А вот ты не очень изменился. Постарел, впрочем. Так ведь сколько же лет прошло!

Маленькое кафе только что открылось, подавальщицы снимали стулья, стоявшие на столах, только что подмели, и официантка подошла к ним с недовольным лицом.

— Вино есть? — спросил Мещерский.

— Не торгуем. Ессентуки номер двадцать.

— Ну, давайте номер двадцать. И поесть что-нибудь.

— Сосиски.

— Давайте сосиски.

Они помолчали.

— Я ведь не первый раз в Москве,— сказал Мещерский.— И в прошлом году был и Талю с мальчиком на бульваре видел.

— Что же ты не подошел?

— А зачем? — просто спросил Мещерский.— Она бы расстроилась, огорчилась. Нет, брат, что прошло, то прошло.

— Она не огорчилась бы, а обрадовалась.

Мещерский покачал головой:

— Нет. Для нее лучше, что я пропал без вести. Где-то я читал: «В жизни не закажешь». Мы и не заказывали. Но, видишь, тебе выпала одна карта, а мне совсем другая.

— Да ведь мы годами искали тебя! Я добился запроса в Англию — нет ли тебя там среди военнопленных. И получил ответ, что они наших военнопленных перебросили в Советский Союз.

— Не был я в Англии. После боя, когда лодку утопили, меня немцы без сознания, тяжело раненным взяли. Но это меня и спасло. Они махнули на меня рукой — все равно не жить, а наши ребята ночью в матросскую робу меня переодели и сказали, что я не офицер и коммунист, а простой матрос. Это было в Киркенесе, а потом, когда наши прорвались и мне полегчало, меня на Урал отправили. Сперва в госпитале долго лежал, потом в психиатрической больнице. Я память потерял. Вы не могли найти меня. Я был человеком без имени и фамилии. Меня назвали: «Неизвестный». Я долго в психиатрической больнице был. Лечили меня. Потом стал работать в этой же больнице. Но я думал. Кажется, не было свободной минуты, чтобы подумать, кто я и что со мной, а я думал. Я думал,— с грозным выражением повторил Мещерский.— И спасло меня то, что я без устали думал. И вспоминал, вспоминал. Годы прошли. И знаешь, вдруг однажды нежданно-негаданно всплыло в памяти, как я переводные картинки влажной ваткой стирал, и картинка становилась отчетливо ясной. И вдруг вспомнил, как отец — он тогда еще жил с нами — колет дрова у крыльца, а мать говорит ласково: «Отойди в сторону, Сашенька, а не то тебе какая-нибудь шальная щепка в лицо попадет»,— и только услышал ее «Сашенька», вспомнил наш двор, и как полено ровно раскалывается, и утреннее солнце блестит на топоре, которым взмахивает отец,— и все как-то сказалось в душе. Все это видел я — Саша Мещерский. И все забытое стало ясным, как картинка, с которой стерта бумажка. Пошел я к заведующему больницей, сказал, что я капитан-лейтенант Мещерский и мне положено подводные лодки или по меньшей мере пароходы водить. И ты знаешь, на мое счастье, оказался человек хотя грубый, но отзывчивый. Или моя история его поразила? Говорит: «Ну что же, пишите рапорт куда полагается. А я приложу медицинское заключение. Что же вы вспомнили?» — «Все вспомнил. Вместе со мной в Киркенесе лежали боцман и три матроса — все с моей лодки. Фамилии: боцман Троицкий, матросы — Караев и Опара. Хоть одного могут разыскать, и он подтвердит, что я говорю правду». Рапорт написал, подробнейший, даже вспомнил, что один немец — из тех, кто уходя, убивал раненых,— был в желтых крагах. И, представь себе, оказалось, что боцман — он уже к тому времени был не боцман,— вернулся на флот. Я ручался, что он подпишется под каждым моим словом. Так и вышло: выяснили даже, что я был представлен к награде.

Он замолчал и посидел несколько секунд с закрытыми глазами. Отдыхал или должен был справиться с собой.

— Да, вот такие дела. Теперь живу на Дальнем Востоке, работаю старпомом на рыболовном траулере. А ты как? Впрочем, ясно.

— Нет, не ясно,— сказал Незлобин.— Не год и не два мы тебя искали. А жизнь все шла и шла. Я предложил Тале клятву дать, что отдам ее тебе, когда ты вернешься.

Мещерский глубоко вздохнул, и такая страдальческая улыбка пробежала по его заросшим губам, что Незлобин содрогнулся.

— Нет,— почти спокойно сказал он.— Куда уж мне теперь? Недаром же она меня не узнала. Да и вообще я ей теперь ни к чему. У вас, кажется, удачно сложилась жизнь?

— Да. У нас сын.

— Я и на него посмотрел. Похож на тебя?

— Говорят.

— Ведь ты любишь ее по-прежнему?

— Да.

— А она?

Незлобин долго молчал.

— Говорит, что счастлива.

— Я бы, кажется, убежал, если бы она со мной заговорила.

Он встал. Незлобин расплатился, обнял Мещерского за плечи. Они вышли на улицу.

— Может быть, я могу чем-нибудь помочь тебе?

— Нет. Мне ничего не надо. Кто знает, увидимся ли еще когда-нибудь? На всякий случай запиши адрес. Ты не думай, что мне там плохо живется. Там глушь, а мне нужна глушь. Одна женщина меня бережет, моим нехитрым хозяйством владеет. Любит меня. Тишина. Не то что у вас. Можно отдохнуть от неудавшейся жизни.— Он вздохнул.— А ты что расстроился? Думаешь, я не знаю об Анне Германовне? Я ведь не только к тебе зашел. В прошлый раз я в Москве со многими нашими повидался.

— Ее сын живет с нами. Таля его усыновила.

— Да что ты говоришь? — спросил Мещерский с полными слез глазами. Точно какая-то туго натянутая струна порвалась между ними. Он долго вытирал слезы, катившиеся по старому, морщинистому лицу, по щекам, по бороде.

Незлобин снова крепко обнял его.

Они остановились на углу.

— Ты домой?

— Да.

— Тогда у меня к тебе просьба,— сказал Мещерский, и странно было видеть почти детскую застенчивость в его грубом, старом, некрасивом лице.— Ты вернись другой улицей, а я пройду по бульвару. Мне хочется еще раз посмотреть на Талю.

От автора

Роман — всеобъемлющий жанр. Роман — зеркало, летящее во времени и пространстве и отражающее беспредельную панораму меняющегося существования. В романе одновременно сливаются великие мысли, двигающие человечество вперед, и полузабытые крохи

воспоминаний. Время не подозревает, что невольно и беспощадно сказывается на каждой его странице. Его нельзя заказать. Заказанный, он послушно следует за теми, кто хочет его купить, и бесследно исчезает, когда исчезают они. Стрелки часов не останавливаются, какое бы событие ни случилось. Мы читаем «Дафниса и Хлою», написанную тысячи лет тому назад. Роман не подчиняется обстоятельствам жизни, он не случается, а происходит.

Но что же делать с читателями, которые во что бы то ни стало хотят узнать, как пишутся романы? Именно этот вопрос содержится в письме почти каждого прочитавшего книгу, а их миллионы.

Лучший ответ — показать ему тень романа, состоящую из случайных воспоминаний, внезапных догадок, неожиданных поворотов, когда забытое оказывается незабытым, когда случайность становится необходимостью и требует места в душе автора, в его судьбе, в его неотступной работе.

Но что такое тень романа и как ее показать? Не знаю. Движущаяся мозаика наблюдений и соображений, сложившаяся за два года работы, неисчерпаема, и эта неисчерпаемость властно приказывает ограничиться немногим.

В годы войны, работая военкором «Известий» на Краснознаменном Северном флоте, я встретился с невестой одного моряка, скромной девушкой, появление которой было, однако, замечено в Полярном, маленьком городке, который был флагманским пунктом командующего Северным флотом. Невеста! Но судьба невесты сложилась несчастливо: проведя с ней едва ли больше трех дней, командир подводной лодки ушел в поход и не вернулся.

Без малого сорок лет эта грустная история лежала в моей памяти, может быть, потому, что моряк был моим другом. Уходя в поход, он оставил мне для будущей жены свою единственную драгоценность, некогда принадлежавшую его матери. Я передал девушке кольцо. Она держалась необычайно спокойно, хотя сорок дней бесплодного ожидания могли бы, кажется, сломить любой, еще не сложившийся характер.

Потом она уехала, и жизнь пошла своим чередом. Этот «свой черед» был еще неслыханной за Полярным кругом обороной — и еще более неслыханной победой, доставшейся благодаря светлому мужеству командующего и любого матроса. Были совершены десятки открытий в тактике и стратегии морского боя, открытий, которым то помогала, то свирепо мешала природа. Печальный приезд девушки-вдовы давно потонул в тысячах других происшествий, каждое из которых было частью грандиозной панорамы беспощадного спора. Но эта одна из бесчисленных трагедий все-таки сохранилась где-то в самом далеком уголке памяти, как бы догадываясь, что теперь не до нее и что у меня одна задача — принять посильное участие в грядущей победе.

И через сорок лет она оказалась незабытой. Она стала центром столкновения характеров, она внушила мне мысль о тяготах верной любви, она позаботилась о стройности и занимательности прозы, она, опираясь на подлинные воспоминания, потребовала, чтобы сцена,

на которой происходит действие, была обставлена не кое-как, а опытной рукой и с далеким расчетом. Она вооружила меня неотступным интересом к несовершившейся судьбе, она обратилась к воображению, которое дополнило все, что я видел своими глазами. И наконец, когда сюжет был обдуман, она заставила просить о помощи тех, кто был в те дни и месяцы рядом со мною. Нельзя ошибиться, нельзя положиться на постаревшую память.

В одной комнате со мной в Полярном жил ныне опытный писатель-маринист, а тогда корреспондент «Правды» Н. Г. Михайловский, который щедро поделился тем, что, казалось, было навсегда позабытым. Вице-адмирал Н. А. Торик прислал мне свои бесценные замечания. Вдова члена Военного совета Э. И. Николаева, с которой я дружен много лет, рассказала мне о том, что было тогда яснее для женского, а не мужского взгляда. Вдова вице-адмирала Колышкина подробно и живо поведала мне о женщинах флота, работавших не покладая рук на Победу. Адмирал В. И. Платонов, командовавший после войны Северным флотом, познакомил меня со своими удивительными по ясности и простоте воспоминаниями, которые представляют собой на редкость удачную историю его поколения,— он стал одним из самых рассудительно-смелых руководителей флота. Адмирал В. Н. Алексеев, получивший за полгода четыре ордена и звание Героя, рассказал мне о рискованной работе катеров, подтвердивших, что внезапность и смелость являются лучшим оружием против опытных врагов.

Но не только люди войны помогли мне написать эту книгу. Один из моих верных и любящих друзей прислал мне «Афоризмы житейской бодрости» и стихи, которые я давным-давно разучился писать. Это — Елена Александровна Благинина, автор многочисленных талантливых книг для детей.

И все, что подарили мне эти прекрасные люди, вся их искренность и доверие внушили мне надежду, что я напишу правдивую книгу.

В ней невольно участвовало то, что произошло в моей жизни.

То, что я написал в прежних книгах, удачных и неудачных.

То, что я прочел в чужих книгах.

То, о чем я думал и о чем забывал.

То, что сохранилось в памяти, и то, что не сохранилось.

То, что совершилось по воле автора, и то, что не совершилось.

Каждая книга, как человек, создает себя. Каждая книга, как человек, за себя отвечает. Первая фраза связывается со второй, вторая с третьей — их ведет таинственная нить, без которой люди перестали бы доверять друг другу, без которой жалкая трусость заставила бы их думать только о себе, низкая злоба восторжествовала бы, а доброта металась бы, не находя себе места.

1982

Рассказы



Посвящается моим друзьям, ялтинским педагогам М. Н. и П. С. Саньковым

1

Мне сорок лет. Я некрасива, с лиловатым цветом лица, который остается лиловатым, хотя я несколько раз ходила в Институт красоты. Но это было давно, лет восемь тому назад, когда я еще жила с родителями в Ленинграде. Я уехала от них, потому что родители, особенно мать, не могли примириться, что я не вышла замуж. Мы остались в хороших отношениях, но я бываю у них теперь летом, на каникулах, и недолго, недели две, а потом стараюсь уехать куда-нибудь «дикарем».

Когда я думаю об их отношениях, мне начинает казаться, что они никогда не любили друг друга. Это не редкость. Многие семейные пары, почти не расставаясь тридцать или сорок лет, не знают, что представляет собой это чувство. Мой отец — бухгалтер в крупном учреждении, мать — неудавшаяся пианистка, домашняя хозяйка. Я догадываюсь, что именно потому, что они не знали любви, но подозревали, что она все-таки существует, им так хотелось, чтобы кто-нибудь влюбился в меня и я вышла замуж. В моем детстве эта надежда поддерживалась тем, что я была очень хорошенькая, с кудрявой головкой и зелеными, прозрачными глазами. Вероятно, им смутно казалось, что если бы я выросла красавицей, может быть, их скучная, регулярная жизнь как-то изменилась бы и ничем не украшенные отношения не стали бы такими однообразными: завтрак, обед, ужин и по вечерам — телевизор. Это было невежливо с моей стороны — вырасти такой некрасивой, угловатой, застенчивой и всегда погруженной в свои мысли, которыми я ни с кем не хотела делиться. Глаза стали серыми, волосы перестали завиваться, нос сделался каким-то мужским. И, к сожалению, я во всех этих переменах чувствовала себя виноватой. Мне легче с незнакомыми и страшно, что родители мучаются от жалости и беспомощной любви ко мне, беспомощной, потому что еще не нашелся человек, который женился бы на мне, несмотря на то что я похожа на лошадь. Мои ребята сразу же уловили это сходство, и я знаю, что они зовут меня «тетушкой Ло». Я живу одна, у одинокой старой бабы Кати. А в соседнем доме у Перовых живет ее сестра баба Дуня. Они двойняшки, их часто путают, но я легко научилась их различать. Моя хозяйка добрая, молчаливая, любит чистоту; за то, что она кормит меня хлебом, молоком и овсянкой,

и за комнату я плачу пятьдесят рублей в месяц, а сама получаю сто восемьдесят.

Каждое новое платье для меня — событие. Готовые платья я покупать не могу: на мою долговязую, с длинной спиной фигуру с широкими бедрами и узкими плечами не шьют.

Что касается бабы Дуни, то она прежде жила в комнате, которую я снимаю теперь, и работала в единственной в городе механической прачечной. А потом, уйдя на пенсию, продолжала заниматься стиркой, потому что у Перовых появился маленький, на дворе постоянно висели пеленки. Необыкновенное сходство с сестрой не мешало ей болтать без умолку, и так как болтать было не с кем, полумесячный младенец время от времени был единственным слушателем городских сплетен и новостей. Сестра относилась к ней сурово.

Из моего окна на том берегу Росстанной виден Сергиевский монастырь, очень старый, тринадцатого века, и рядом часовня «Неугасимая лампада». У меня острое зрение, и я могу различить ворота, сложенные из белого кирпича, как говорят, голландского происхождения. Через Росстанную ходит небольшой паром, на котором, однако, помещаются «Жигули». По воскресеньям я смотрю, когда жители Заречной — так называется часть города, расположенная за рекой,— рано утром отправляются в город на базар, а в середине дня возвращаются с сумками и бидонами.

Но меня интересуют не они, а мои мальчики и девочки: заброшенный Сергиевский монастырь — излюбленное место их свиданий.

Росстанная пересечена плотиной, которая из моего окна не видна. Она построена одновременно с небольшой гидроэлектростанцией лет десять тому назад.

Когда после проливных дождей или половодья шлюзы открываются, вода наступает на плоский берег Заречной и подчас доходит до «Неугасимой лампады», которая стоит пониже монастыря. Монастырь — на горе.

Хозяин всего этого хозяйства — разумеется, не часовни и монастыря, а плотины и электростанции,— Александр Арсеньевич Рязанцев, сын которого Олег учится в девятом классе нашей школы. Я хорошо знаю эту семью, потому что два раза в неделю хожу к Рязанцевым, занимаюсь с Олегом географией. Он, Олег,— отличник и готовится поступить в Московский институт международных отношений. Полновластная хозяйка этого дома — мать Олега, Ирина Викторовна, величественная дама с низким внушительным голосом, с красивым, строгим, но чем-то неприятным лицом. Никто в нашем городе не одевается лучше, чем она. Ко мне она относится с подчеркнутой вежливостью, выговаривая до конца каждое слово: не «благодарю», а «благодарствуйте» — как, должно быть, говорили в XIX веке. В доме все, кроме Олега, боятся ее, и ей хочется, вероятно, чтобы я тоже ее боялась. Но я сумела держаться с нею равнодушно и даже однажды дала ей понять, что нам мешает ее присутствие на уроке.

2

Учебный день начинается с разговора, пришел ли Петя Бугаев. Это пятнадцатилетний бездельник, который отравляет жизнь всей школе. Даже наружность его вызывает отвращение: короткие ноги с вывернутыми ступнями, кривой торс, может быть, после какой-то болезни, мясистое лицо, маленькие наглые глазки. Если пришел, урок будет сорван. В школу он ходит только потому, что боится отца. Петя слоняется по кабинету, громко разговаривает, грубит учителям. Когда его выгоняют, он через две-три минуты заглядывает в дверь, мешает однокласснику, стоящему у доски, отвечающему урок, забрасывает сквозь приоткрытую дверь бумажки, огрызки. Или выходит из школы, влезает на дерево, на забор, кривляется, что-то кричит. Класс? Немногие молчат, им неловко, большинство следит за ним с доброжелательным любопытством.

Исключить его из школы невозможно — это «чэпэ», чрезвычайное происшествие, за которое будет отвечать прежде всего директор. Дело перейдет в гороно, в районо и может тяжело отразиться на судьбе людей, которые ни в чем не виноваты. За плохое поведение учеников отвечает классный руководитель, комсомольская организация. Ответственность с ученика снимается — его нужно перевоспитать, а не выбрасывать на улицу, где он может превратиться в хулигана или даже преступника, не связанного никакими ограничениями, а в школе он по меньшей мере числится, хотя и номинально. В таких случаях мы часто советуемся с родителями, и однажды я решила поговорить с отцом Бугаева: мать давно ушла из семьи. Не для того чтобы пожаловаться на него, но чтобы попробовать вместе с отцом найти ключ к живым, человеческим чертам сложного подростка. Самая трудная задача — убедить его критически взглянуть на себя. Если в школьнике проснется способность взглянуть на себя со стороны, чужими глазами — это педагогическая удача. К сожалению, отцы трудных детей не задумываются над такими сложными вопросами. Не умеют и не хотят.

Мое решение было принято после долгих колебаний, потому что я по натуре робкий, застенчивый, неуверенный в себе человек. Впрочем, я надеюсь, что об этом почти никто не догадывается. Сознание своей неуверенности (или — иногда — неожиданной растерянности) приучило меня... Не знаю, как объяснить?.. Ну, скажем, к какой-то маске, которую я чувствую (как ни странно) почти физически. У меня каменеют твердо сжатые губы, глазам я умею придавать отсутствующее выражение, а брови надменно поднимаю над полузакрытыми глазами. Вероятно, те, кто видит меня в эти минуты, думает, что я страшная стерва. Но я редко пользуюсь этим выражением лица, школьники, в общем и целом, любят меня, а учителя относятся с уважением. Может быть, это потому, что я хорошо знаю свой предмет, умею заинтересовать и мои лекции-уроки принимаются с интересом.

...Дорогой пошел дождь, я вымокла, и в легком пальто и облезлой шапочке у меня был, кажется, жалкий вид. Впрочем, для Бугаева-отца это не имело никакого значения. Это был опухший от вина,

багровый, грязный, лысый человек в запачканном краской комбинезоне. Очевидно, он и спал, не раздеваясь, в этом комбинезоне. У него была редкая профессия — афишник. Он рисовал рекламные афиши для театра и кино — рисовал неумело, бездарно, но всегда был завален работой. Когда я пришла, он был пьян и встретил меня невежливо, грубо. Едва ли он понял, зачем я пришла, тем более что время от времени от волнения я запиналась и искала слова. Он выслушал, не перебивая. Сын не был похож на него. Мне казалось, что отец станет расспрашивать, но он, не сказав ни слова, позвал Петю и приказал ему принести два чайных блюдца с водой. Очевидно, это было не первый раз, потому что Петя побледнел и, вернувшись с блюдцами, стал на колени. В каждой высоко поднятой руке он держал теперь блюдце с водой. Я молчала, но уже горько жалела, что пошла к Бугаевым. Но еще больше я пожалела, когда Петины руки начали дрожать и вода стала выплескиваться. (Дома я попробовала, стоя на коленях, держать пустые блюдца в поднятых руках и устала через две минуты.) А Бугаев тем временем вернулся, держа короткое кнутовище с длинным кожаным ремешком. Мы все молчали. Левая рука задрожала, вода выплеснулась, он размахнулся, и ремешок со свистом обвился вокруг Петиного тела. Петя коротко вскрикнул, но рук не опустил и, только закусив губу, злобно взглянул на отца. С новым всплеском новый удар. Вода стала проливаться все чаще, и каждый раз Бугаев метко и ловко хлестал сына. Не помня себя, я встала между ними. Не помню, что я закричала, кажется: «Не надо!» или «Не смейте!». Помню только, что когда он отвел за спину руку в очередной раз, я бросилась к Пете, заслонила его, и удар едва не пришелся по мне. Мы все молчали. Петя еще стоял на коленях.

— Встань! — приказал отец.

Петя встал. Я не могла говорить, простилась и ушла, едва заставив себя выслушать короткий разговор отца с сыном. Впрочем, никакого разговора не было.

— Понятно? — только спросил Бугаев и, когда Петя, опустив голову, ничего не ответил, грозно переспросил: — Понятно?

— Понятно,— еле слышно шепотом ответил Петя.

3

Проклиная себя, вернулась я домой и долго еще вспоминала эту отвратительную сцену. В ней было что-то безнравственное, заставляющее думать, что сын, в сущности, недалеко ушел от отца.

На другой день Петя пришел в школу присмиревший. По-видимому, боялся, что я расскажу о том, что под плетью он вел себя менее храбро, чем в школе, где чувствовал свою полную безнаказанность. Но прошла неделя — и снова громкие разговоры на уроке, дерзости, стрельба хлебными шариками друг в друга. Словом, наказание не только не подействовало, но, может быть, даже ожесточило Петю. Впрочем, я заметила, что, когда Нина Порошина, которая часто болела, не приходила в школу, он почти ничем не отличался от товарищей по классу. «Может быть,— думалось мне,— ему хотелось

именно ей показать, какой он отчаянный, никого не боится, ни директора, ни меня, руководителя класса?»

Сама не знаю, зачем я так подробно рассказала о нем. Таких ребят держат в школах до окончания восьмого класса, а потом они поступают в ПТУ. Но Бугаев почему-то учился в девятом.

4

Я преподавала во всех классах и, мне кажется, могу рассказать о том, как на протяжении восьми лет меняется характер игр, увлечений. Разумеется, это относится только к внешней, поверхностной жизни школы. В первых четырех классах главную роль играют девочки-отличницы, ябеды. Будущие бугаевы сидят молча и смотрят исподлобья, как бы запоминая своих обидчиков, с которыми они рассчитаются в пятом и шестом. До девятого почти все споры и столкновения решаются, так сказать, с помощью олигархии, силы. Существенное значение приобретает кулак. Ябеды исчезают. В девятом классе — мирное сосуществование, которое обеспечивает выручку на практических занятиях и контрольных работах. Однако случаются драки и в девятом, и об одной из них я еще расскажу.

5

Говорят, что распространенное выражение «лицо класса» ничего не значит. Не думаю, хотя для младших классов это, пожалуй, верно. По меньшей мере в моем девятом есть если не «лицо», так определенная черта. Он делится на две группы, и между ними отношения меняются. Когда нужно что-нибудь списать или воспользоваться чужим конспектом — дружелюбные, хотя это дружелюбие часто сопровождается лицемерием. Одна группа состоит из шести-семи человек — Олега Рязанцева, Сони Фрейман, Паши Перова и немногих других. Им завидуют. В особенности это относится к Олегу. Он носит американские джинсы, курит заграничные сигареты, на танцплощадках танцует с самыми красивыми девочками, выбирая старше себя. Это странно, но единственный школьник, с которым он иногда гуляет в парке и, очевидно, дружен,— это тот самый Бугаев, о котором я рассказала. Возможно — это было похоже на Олега,— он как бы «играл» в дружбу с Бугаевым, чтобы показать независимость от общего мнения. Впрочем, «игра» была бесполезной, потому что Бугаев нравился одноклассникам тем, что грубил учителям, часто пропускал занятия и вообще вел себя так, как будто не знал, что он сделает в следующую минуту.

Главное отличие «шестерки», во главе которой стоял Олег Рязанцев, состоит в том, что эта шестерка хочет учиться и учится хорошо, хотя определившийся интерес к одному предмету заслоняет интерес ко всем другим. Вообще-то учиться никому неохота, и в этом нет ничего удивительного: мне самой хотелось иногда, чтобы учитель заболел или школа сгорела. Но у меньшей группы есть наметившийся характер, который заставляет поступиться одним ради другого. Может

быть, это чувство возникло в детстве и многое зависит от того, сохранилось оно или не сохранилось. Ведь лучше и прежде всего усваивается то, что интересно, а в детстве выбор имеет решающее значение. Во всяком случае, в моем девятом классе дело обстоит именно так. Причем выбор этот касается и личных отношений: например, Рязанцев и Порошина влюбились друг в друга еще, кажется, в седьмом классе, и все к этому привыкли и не обращают на них никакого внимания. Перемены они проводили вместе и тихо разговаривали о чем-то своем. Может быть, класс привык к своей зависти, потому что другого отношения к этой паре не было.

Нина была самая красивая девушка в городе. Никто лучше Чехова не написал о красавицах, и я могу только воспользоваться его наблюдениями, потому что, чтобы нарисовать Нину, надо писать именно, как Чехов, а не так неуклюже и коряво, как я. Он упоминает, например, что для русского лица нет надобности в строгой правильности формы. В нем отражается игра чувств, то открытая, то тайная, как бы обещающая неожиданную перемену. Такова была и Нина Порошина. Но в одном отношении в ней не было никакого сходства с чеховскими красавицами. Они пробуждают грустные чувства, и в этом вся прелесть рассказа. Напротив, при первом взгляде на Нину на душе становилось легко и даже, пожалуй, свободно. Она, казалось, не знала, что делать с чувствами, которыми была полна ее шестнадцатилетняя, но рано созревшая душа. Я была уверена, что она влюблена в Олега Рязанцева без памяти, и, может быть, с этой уверенности начинаются мои ошибки. Должно быть, я слишком много читала в юности и слишком любила Диккенса и Стивенсона. Но в том-то и дело, что, приписывая Нине свои понятия о мужестве и добре, я никак не могла сопоставить с ними Олега Рязанцева в его дорогой «канадке». Он был очень хорош собой, высокий, с широкими плечами, с решительным, неулыбающимся лицом. Он учился на пятерки, это было ему легко, и все заранее знали, что он получит медаль. Ему я давала частные уроки по географии и астрономии — об этом я еще расскажу. Он мог выбрать любую девочку — по-моему, все они были в него влюблены, и мне казалось, что к тихой Нине у него была какая-то слабость или пристрастие, непонятное для него самого... Впрочем, и это только догадка.

В «Братьях Карамазовых» недаром такую роль играют дети. Достоевский, может быть, первый догадался о том, что мы их, в сущности, не знаем и что они пользуются этим незнанием для того, чтобы притворяться, а притворяются, чтобы поступать по-своему. Наши мальчики не ложатся на шпалы, но в тайне для них есть своя прелесть — и если бы можно было проникнуть в эту тайну, для каждого девяти- и десятиклассника пришлось бы составлять отдельную программу. Таким образом, школа — разумеется, далеко не всегда — является подобием сцены, на которой ученики играют роль актеров, а педагоги —режиссера, и почти каждый урок напоминает спектакль.

Но я не назвала еще главного героя этого рассказа Пашу Перова. Он однофамилец знаменитого художника и, по странному совпа-

дению, тоже художник, по мнению знатоков, способный. Такой способный, что руководители музея предложили ему скопировать фрески, сохранившиеся на стенах часовни «Неугасимая лампада».

Так что среди женщин с кошелками на пароме мне случалось видеть и Пашу Перова. Вся школа считала его прекрасным рисовальщиком. Я тоже знала это, но убедилась, так сказать, воочию.

В конце года для оценки успеваемости я предлагаю написать домашнее сочинение по географии. По методике это не предусмотрено, но мне такое новшество кажется полезным. На этот раз я придумала доклад на очень популярную тему: о влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Эти вопросы называются экологическими, и лучшее сочинение написал не Олег, как я ожидала, а Паша. Он сумел убедительно показать, как наш край изменяется под усиливающимся влиянием хозяйственного давления на природу. Более того, он умело воспользовался сохранившимися фресками XIII века, с которых снимал копии в часовне на Заречной. По фрескам можно было судить, что некогда вокруг Бартенева стоял могучий дубовый лес. Паша замерил площадь вытоптанных полян, места кострищ, троп, вырубленных деревьев и сделал вывод, что наш край сильно пострадал не только от хозяйственной деятельности, но и от людей — старинный городок давно полюбился туристам.

Паша два раза переписал свое сочинение. Но не об охране природы думал он, работая над ним: многие страницы были украшены — именно украшены — рисунками, изображавшими Нину. То она задумывалась над вязаньем, то улыбалась, то наклонялась, чтобы поправить чулок. В ней была неуловимая тайная веселость, как будто бабочка порхала между длинными загнутыми ресницами и едва улыбавшимися губами. И лицо было нарисовано совсем не изящно, а, напротив, с грубоватой простотой, которая потребовала — мне подумалось — больше всего труда. Все это я не увидела, а «схватила» взглядом, не успев рассмотреть. Паша тут же спохватился, подошел ко мне после урока и, смутившись, сказал, что по ошибке отдал мне черновик, а окончательный вариант оставил дома. Я, разумеется, не показала вида, что нечаянно заглянула в его «тайное тайных». Эта случайность почему-то сблизила нас. Он жил рядом со мной, на берегу Росстанной, с матерью, Натальей Сергеевной, еще молодой, хорошо одевавшейся и ходившей на высоких каблуках, очень высоких, иначе я бы об этом не упомянула. Она служила в местном садоводстве, и, должно быть, у нее было много работы, потому что она возвращалась поздно, в первом часу ночи. Кроме того, у нее появился младенец, за которым на равных началах ухаживали баба Дуня и Паша. После школы младенец переходил в его распоряжение. Ума не приложу, когда у него хватало времени учиться, заниматься живописью (да еще по заказу) и ухаживать за ребенком, в то время как мамы никогда не было дома. Каким-то чудом он умудрялся оформить «комсомольский уголок», и украсить витрину «Наши медалисты», и разрисовать стенную газету добродушными карикатурами поочередно на каждого учителя, в частности на «тетушку Ло».

Мать возвращалась поздно и — увы — опираясь на руку какого-

нибудь мужчины, которого, впрочем, прощаясь у калитки, никогда не приглашала зайти. Признаюсь, мне иногда хотелось помочь бабе Дуне хотя бы покормить и уложить ребенка. Но я боялась этого непрошеного вмешательства в то незавидное положение чужой семьи, положение, которое тщательно скрывал Паша. С матерью он никогда не ссорился и, по-видимому, очень любил ее. Но не надо иметь богатое воображение —а оно у меня как раз небогатое,— чтобы вообразить, что говорят о Пашиной матери женщины, приходившие на берег Росстанной полоскать белье, и какого мнения они (да и весь городок) о ее поведении.

6

Вот так обстояли дела весной 1982 года. Я не рассказала о своих встречах с Николаем Егоровичем Калиновским. Я познакомилась с ним на «открытом уроке». Городское методобъединение учителей географии иногда устраивает такие уроки, на которые собираются все географы города, и самый опытный из них — как правило, Николай Егорович — показывает нам, как сделать предмет увлекательным и разнообразным. Познакомившись с ним, так сказать, официально, я стала бывать у него дома. Его уважают в городе, но, по моему мнению, он заслуживает еще большего уважения. Географию и астрономию он знает в десять раз лучше, чем я, и, что особенно важно, знает ее «исторически». Было время, когда он читал публичные лекции, но потом лекции прекратились, что-то не понравилось начальству и он даже превратился из директора одной школы в преподавателя другой. Я бегала к нему, когда окончательно запутывалась в новых методиках и часто менявшихся требованиях, и он с неизменной точностью помогал мне разработать план урока, учитывая требования сегодняшнего дня. У него был большой, но, надо сказать, горький опыт. Когда-то после института, он пытался защитить диссертацию, но, пока он над ней работал, взгляды переменились, и его не только провалили, но послали преподавать географию в среднюю школу. Говорили мы и о том, что проверка толкает учителя на недопустимый прием: чтобы избежать бестолковых ответов, он заранее занимается с теми школьниками, которые будут отвечать перед комиссией. Это, конечно, один из тех видов вранья, без которого, к сожалению, трудно обойтись, если не хочешь подвести директора да и всю школу.

Говорили мы и о том, что есть что-то оскорбительное в этих бесконечных проверках, которых так боятся учителя. А ведь боятся! Хотя ни в чем, в сущности, не виноваты. Интересно, как бы себя почувствовал врач, которому приходилось делать обычную операцию в присутствии строгого проверяющего наблюдателя?

Я не думаю, что дело обстоит так же в других городах, и очень хотела бы всегда говорить правду. Но это не удается, и даже Николай Егорович, по-моему, примирился с враньем. Между прочим, он рассказал мне несколько занятных историй. Школьники не любят его и зовут Старый Козел. Прозвище удачно, он действительно похож

на старого, сердитого козла. Так вот, одному ученику, который никогда не готовил урока, он сказал:

«Извини меня, но старый козел не может позволить себе поставить тебе двойку».

Школьник ухмыльнулся. Он, конечно, прекрасно понял, что за двойку будет отвечать не он, а преподаватель.

Вообще, по-моему, работа учителя находится под слишком строгим контролем и волей-неволей отнимает у администрации слишком много бумаги. Подумать только, кроме инспекторской проверки, работает еще проверка комиссии при гороно. Плановая проверка не заставляет себя долго ждать, а фронтальная обгоняет целевую. И всем этим занимаются деловые люди, которые уверены, что без них школа не может работать нормально. Но она работает ненормально, и все годы, что я работаю, в газетах спорят о том, как надо учить детей. Учителям не доверяют. Это недоверие ведет к тому, что я, например, в незнакомом обществе где-нибудь на пляже, стесняюсь признаться, что я учительница. Бывают профессии престижные: директор обувного или продовольственного магазина, художник, товаровед, артист, заведующий гаражом. А преподавание — профессия, которая, увы, не вызывает уважения. Прежде было не так. В одной старой повести пристав отдает честь учителю и относится к нему, как к начальству. Может быть, это потому, что учителя имели звания и носили форму? Но дело не только в недоверии. Немало и других причин: сравнительно низкая зарплата, неизмеримо большая (в сравнении со многими другими профессиями) занятость, потеря авторитета перед школьниками, которая прекрасно известна родителям. Конечно, может быть, я ошибаюсь. Но думается, что нет.

Кроме Николая Егоровича, я по воскресеньям бывала у Порошиных. Мне нравилась эта спокойная, дружная семья. Можно сказать, что, если в «холодном доме» Рязанцевых я замерзала, здесь, у Порошиных, отогревалась.

Мать Нины, Анна Дмитриевна, по целым дням сидела за машинкой, перепечатывая для местных журналистов и поэтов статьи и стихи, которые — увы — редко появлялись в печати. Больше интересовали ее воспоминания отставных полковников, построивших дома под Бартеневом, в поселке Хлудово, на берегу Росстанной.

И мне нравилось, что ее машинка превращалась в нечто вроде волшебной палочки, попадая к ней. Перепечатывая статью о плохой работе транспорта, она и вслух размышляла о том, что надо сделать, чтобы улучшить дело. Перепечатывая воспоминания полковников (был даже один генерал-майор), она вместе с ними участвовала в битве на Курской дуге или в прорыве Ленинградской блокады. Машинка при этом стрекотала без умолку, как диккенсовский сверчок на печи.

Андрей Андреевич, отец Нины, был мастером отделочного цеха обойной фабрики. У него была запоминающаяся внешность. Грозное лицо с густыми, рано поседевшими вислыми усами, огромный рост и длинные, обезьяньи руки. Нина была похожа на мать. В свободное время Нина увлекалась вязанием. И не только вязанием. У нее были необыкновенно искусные ручки. Она умела вязать корзиночки из

травы, веревочные пояса, плетеные медальоны из шелковых ниток, изображавшие зверей и птиц. И я подозревала, что ей удавалось иногда продавать свои изделия в единственный в городе магазин «Ручная работа».

Но я отвлеклась. Давно пора вернуться к истории, которую мне необходимо рассказать, надеясь, что тогда она перестанет меня мучить. Я не писательница, у меня нет ни малейшего литературного дарования, но эту историю решила непременно записать, хотя и мало было надежд, что она поможет нам проникнуть в тайны школьного существования.

7

Мне странно, что Нина и Олег не только не скрывали, но как бы нарочно показывали свои отношения. Им как будто было досадно, что их не замечают или делают вид, что не замечают. Хотелось бы знать: о чем они разговаривали? Это было трудно представить, потому что в любой повести Олег оказался бы так называемым «положительным героем», а Нина, кроме запоминающейся внешности, ничем не отличалась в школе. Училась она хорошо, хотя подчас Олег успевал написать свое сочинение и проверить сочинение Нины,— она не ладила с синтаксисом. На контрольных по математике он часто подсказывал ей решение, а в трудных случаях решал ее вариант.

Нетрудно догадаться, что привлекло их друг к другу. О Нине нечего и говорить. В нее были влюблены все мальчики девятого и десятого классов.

Олег держался сдержанно, но дружелюбно, никогда не подчеркивая, что он умнее и во всех отношениях выше других. Круглый отличник, он деятельно принимал участие в комсомольской работе. В нем чувствовалось твердое намерение добиться какой-то определенной цели, о которой он никогда никому не говорил. Он много читал, и, когда я из любопытства посмотрела его формуляр в библиотеке, оказалось, что больше всего он интересуется книгами о государственных деятелях и полководцах. Он дважды прочитал книгу Манфреда о Наполеоне. К нему приходили, кроме меня, учителя по математике, по истории. Поступить в Московский институт международных отношений — сложная задача.

Я не сомневалась, что Олег успешно сдаст экзамены. Но, наверное, нужно запастись влиятельной рекомендацией. Впрочем, мне кажется, что у отца Олега были в Москве друзья с положением.

Почти невозможно (по меньшей мере для меня), наблюдая со стороны, понять отношения между молодыми людьми, на первый взгляд далекими друг от друга. Я была влюблена только в детстве, а это, разумеется, совсем другое. Легко ошибиться, и я, может быть, ошибалась, предполагая, что Олег Рязанцев относится к Нине иначе, чем Нина к нему. В его присутствии она совершенно менялась, и мне казалось, что для нее в эти минуты меняется весь окружающий мир: река, если они были на берегу реки, сад, если это было в саду (я встречала их и на берегу Россганной и в нашем парке). Мне случилось

однажды видеть, как он обнял ее за плечи, и она подняла на него свои огромные нежные глаза с такой трогательной чистотой, что сразу стало ясно, каким бесценным подарком была для нее эта небрежная ласка. Вот я написала «небрежная». Может быть, не небрежная, а покровительственная. Словом, коротко говоря, я иногда думала, что он относится к Нине, как к любимой собачке.

А ведь рядом — и об этом тоже знал весь класс — были совсем другие отношения. Грубое, но охотно принимаемое ухаживание, мимолетные связи, которые оканчивались подчас драматически.

8

К монастырю можно было пройти через Старый мост, и те, кто жил на краю города, в Октябрьском районе, не пользовались паромом, но Нина, например, почему-то приходила на свидания через мост, хотя Порошины жили близко от пристани, Олег — на пароме и, кажется, редко появлялся первым. Встречаясь у монастырских ворот, они обычно уходили в лес — на том берегу еще только начали вырубать за поселком старый еловый лес. Но вот однажды Олег не пришел, и я долго смотрела на одинокую, терпеливо бродившую подле монастыря Нину. Она была хорошо видна, тоненькая, в светлом летнем — уже стояла середина мая — нарядном платье. Казалось, она решила непременно дождаться его, хотя в этот день они не подошли друг к другу на перемене. «Должно быть, поссорились,— подумала я,— или Олег занят каким-нибудь неотложным делом, и она решила ему не мешать».

Начало темнеть, когда статная белая фигурка исчезла. Но дня через два стало ясно, что они поссорились, и не на шутку. Более того, говорили, что Нина публично залепила Олегу оглушительную оплеуху. И об этом сразу узнал весь класс, как будто о ссоре объявили по радио, в парке, подле тира, где постоянно толпились ребята. И все мои усилия заставить их выслушать мой рассказ о значении лесных массивов для состояния воздушной среды оказались напрасными, потому что меня никто, кроме Олега Рязанцева, не слушал. Все шептались, поглядывая на Нину. Она сидела с бледным, неподвижным лицом, на котором застыло выражение какой-то гордой подавленности. Только Соня Фрейман, ее единственная подруга, высокая, добродушная и, кстати сказать, очень способная, на переменах не отходила от нее. Они молчали, Соня смотрела на Нину со смешным скорбным выражением. Можно было подумать, что у обеих случилось какое-то непоправимое несчастье и Соня при всем желании не могла его предотвратить. А виновник этого несчастья, оставшись на перемене в географическом кабинете, с равнодушным лицом делал выписки из какой-то книги, которую он прислонил к другим книгам, лежавшим стопкой у него на столе. И интересно, что с Ниной сперва никто не заговаривал, а если и заговаривал, так с мстительным или даже с едва заметным пренебрежительным выражением, как будто они были рады, что Олег «отшил» Нину,— проходя по коридору, я отчетливо услышала эти слова.

9

Мне трудно объяснить, как и почему семейство Перовых стало занимать все большее место в моей жизни. Прежде я выписывала «Литературную газету». И все, что происходит в стране, казалось мне не только значительным, но и увлекательным, хотя и не всегда понятным. На стене моей комнаты висела огромная карта БАМа, и я карандашом отмечала, что сделано и что еще осталось сделать. Прежде я раза два в неделю заходила к Николаю Егоровичу и даже подчас засиживалась у него до полуночи. Иногда я старалась пораньше уйти, зная, что он рано ложится спать, а он удерживал меня. Правда, едва ли у него было много таких внимательных и любознательных слушательниц, как я.

Перед сном я любила читать и перечитывать Чехова, и мне казалось, что когда-то он был знаком со мной и от меня слышал эти истории, от которых невозможно было оторваться.

Словом, кроме школы, в моей жизни было много интересного и даже неожиданного. Например, в Бартенево приехала и остановилась у меня двоюродная сестра Лиза, с которой мы виделись только в детстве, а теперь она была кандидатом наук, тоже незамужняя (как я), но разведенная, красивая, полногрудая, кокетливая, женственная и, без сомнения, отдававшая больше времени своим «романам», чем животноводству; она была командирована в свиноводческий Бартеневский совхоз. Чем-то уколол меня ее приезд, ее хвастливые рассказы, ее, впрочем, безобидное, подсмеивание надо мной. Но она уехала — и все, связанное с ее появлением, исчезло, как не бывало. Мало-помалу исчезли и вечера у Николая Егоровича, и «Литературная газета», которую я теперь только просматривала, не читая, и БАМ, и редкие посещения кинотеатра, когда шли интересные, по слухам, фильмы. Остались Перовы, или, вернее, Паша, за жизнью которого я следила с каким-то незнакомым чувством безотчетной тревоги. Это была трудная жизнь. Он едва перелистывал учебники и тем не менее шел на сплошных пятерках. Он рисовал (для себя) между прочим, но много. Двумя серьезными, неотложными делами были, во-первых, фрески — каждый день он переезжал Росстанную на пароме, и, во-вторых, маленький Леня. Все, что надо было сделать для мальчика, Паша делил с бабой Дуней. Укладывал спать, купал перед сном, стирал пеленки. Мертвецки пьяный киномеханик — отец ребенка — громко, на всю набережную честил его мать, кричал, что она его обокрала, грозил судом, и Паша должен был уговаривать его, выпроваживать, а однажды, потеряв терпение, пошел на него с поленом в руке и, если бы не я, погубил его и себя. Долго потом я вспоминала побелевшее лицо Паши с вздрагивающими губами, с расширившимися серыми глазами, бешеными и ужаснувшимися, как будто увидевшими то, что неминуемо должно было совершиться, если бы этот подлец не ушел.

Постепенно я стала все чаще бывать у Перовых и, случалось, проводила у них целые часы, свободные от школы. Как я могла остаться равнодушной к тому, что каждый день происходило перед моими

глазами? А иногда и целые дни, когда мать Паши исчезала в пятницу утром и возвращалась с работы в понедельник.

Паша был очень ласков с ней, не укорял ни словом. Со мной она держалась льстиво, ежеминутно благодарила, в особенности когда приходила немного навеселе. Иногда я терпеливо выслушивала ее путаные, слезливые объяснения. Кажется, она благодарила меня не за то, что я помогаю бабе Дуне мыть полы и гладить пеленки, а за то, что Паша не сердится на нее и любит, вопреки тому, что говорят о ней приходившие на берег Россганной полоскать белье женщины. Если бы только они!

Впрочем, мое участие в жизни семейства Перовых кончилось плохо. Однажды, войдя в класс, я увидела на доске две фигуры, окруженные множеством восклицательных знаков: перед лошадью, вставшей на дыбы и кокетливо поправлявшей копытом прядку, стоял на коленях, приложив руку к сердцу, Паша Перов. Я вошла, когда он спокойно стирал тряпкой карикатуру, и я, с уже не лиловатым, а кирпично-красным лицом, села за преподавательский стол и начала, как будто ничего не случилось:

— Здравствуйте, ребята. В прошлый раз мы остановились...

10

Я преподаю в нескольких классах, а для девятого в этот день приготовила очередную еженедельную лекцию. Мне самой нравились эти лекции, посвященные сложным географическим вопросам, и, если бы я была более энергичной и ловкой, мне, может быть, предложили бы читать их в лектории, где это дело поставлено плохо.

Меня внимательно слушали, но к концу дня пришел Бугаев и начался скандал, потому что я приказала не пускать его в класс, и из этого, как всегда, ничего не вышло. Все знали, что он выпивает, и на этот раз он был навеселе, хотя крепко держался на своих медвежьих ногах. Еще в школе он пытался пробиться к Нине, его оттерли. Но когда занятия кончились и школьники расходились... Я забыла сказать, что наша школа стоит в саду, и только перед входом небольшая площадка. Так вот, на этой площадке Бугаев догнал Нину и назвал ее широко известным и, к сожалению, часто произносимым и в нашей школе словом. Когда я выглянула в окно второго этажа, драка была в разгаре. Паша Перов ударил Бугаева по лицу, да не ударил, а ткнул по-боксерски, сперва слева, потом справа. Но Бугаев не упал и, хотя был ошеломлен, ответил. Оба были среднего роста, но мясистый кряжистый Бугаев казался старше и был, конечно, сильнее.

Уж не знаю, где это видели мои ребята, должно быть, в кино, но очень быстро получилось, что, схватившись за руки, они образовали круг. Не поддерживая ни Бугаева, ни Перова, они как бы вырвали место драки из пространства двора. Плотно, до локтей взявшись за руки, они стояли и молчали. Девочки жались в стороне, Нина убежала, Олег — это меня поразило,— выйдя из школы, с презрением взглянул и, не ускоряя шаг, вышел на улицу через калитку.

С первого взгляда было видно, что силы неравны. Но Паша ловко

увертывался от ударов и вдруг, оказавшись сзади противника, ударил его по затылку — и так сильно, что Бугаев упал на колени.

Если бы Паша был опытнее в драках, он воспользовался бы своим неожиданным преимуществом для нового нападения. Но он стоял неподвижно, и Бугаев успел вскочить и ответить. Они схватились, и как-то получилось, что Паша, прижав Бугаева к себе левой рукой, сильно стал бить его по лицу, сразу залившемуся кровью. Тут по каким-то, тоже неписаным законам круг сразу распался, противников растащили, и откуда-то взялось мокрое полотенце. Тяжело дыша, Бугаев пытался вырваться из крепко державших его рук, но напрасно. Паша стоял, растерянно глядя на окровавленного противника, которого положили на скамейку, заботливо покрыв его разбитое лицо полотенцем. Бугаев пытался вырваться, но кто-то, в свою очередь, двинул его, и он затих.

Я видела эту драку из окна второго этажа и рассказываю о ней долго, хотя она продолжалась не больше пяти минут. Это были мучительные для меня минуты. Я беспомощно оглядывалась, не зная, как поступить. Мне казалось, что каждый удар Бугаева попадает в меня. Я боролась с желанием спуститься вниз, чтобы защитить Пашу, понимая одновременно, что это не только бесполезно, но и глупо. Бугаев ушел, пошатываясь и как-то еще более боком, чем прежде. Он потерпел поражение — драка была «до первой крови». Однако и Паше досталось, это можно было заключить по заботливости, с которой его убеждали тоже полежать на другой скамейке, с тем же мокрым полотенцем. Нос его уцелел, но, очевидно, один из ударов, не замеченных мною, оказался опасным, потому что о Паше беспокоились: его любили в классе. Но он отказался и, пошатываясь, тоже ушел, не забыв лежавший на земле потрепанный портфель, прихрамывая и опираясь, как это ни странно, на руку Сонечки Фрейман, которая первая появилась, когда понадобилась медицинская помощь.

Возвращаясь домой, я зашла к Перовым.

— Это ерунда, Галина Петровна,— сказал Паша.

Нос у него распух, левая щека отекла, а на правой торчала какая-то блямба. Это не помешало ему устроиться рядом с колыбелькой, которую он качал ногой, в то же время рисуя что-то на листе ватмана, прикрепленном к доске, которую держал на коленях.

— Еще хорошо, что он кастетом меня не стукнул, он ведь носит кастет. И что глаза уцелели. Но я ему тоже здорово влепил, правда?

— Ты не заходил в больницу, Паша?

— Нет. Да это пустяки, Галина Петровна. Я только боюсь, что эта штука,— он показал на блямбу,— у меня до «последнего звонка» не пройдет. Вечером мама какую-нибудь примочку сделает.

— Мама, может быть, не скоро придет. Я тебя прошу, сбегай в больницу, спроси Елену Михайловну, скажи, что от меня. Она как раз сегодня дежурит.

У Елены Михайловны я лежала с тяжелым воспалением легких. Мы редко, но с радостью встречались, изредка я бывала у нее дома.

— Ну, ладно,— неожиданно согласился он.— А если она спросит, кто меня так разукрасил?

— Скажи, что подрался.

— Так и сказать?

— Конечно.

Он еще не решался.

— А вы посидите немного с моим парнишкой? Он еще долго не проснется. Здоров поспать. Баба Дуня ушла на речку. Я иногда его сам бужу, когда он долго спит в луже.

— Конечно, посижу. Иди!

Он ушел и минут через сорок вернулся.

— Я от нее успел в аптеку сбегать. Какую-то свинцовую примочку купил. Но, как долго ею морду лечить, не спросил.

— А бинт купил?

— Бинты у нас есть. Мама почему-то ноги бинтует.

Дня три он не ходил в школу, но в монастыре продолжал работать, и даже больше, чем прежде. Каждое утро я видела его на отчаливающем пароме.

11

Как будто ничего не произошло — так выглядел класс на следующий день. У Нины было усталое лицо: едва ли она хорошо спала в эту ночь. На переменах она теперь ходила с Соней Фрейман, причем Нина молчала, а Соня горячо убеждала ее в чем-то, и я заметила, что Нина вдруг резко оборвала ее, заставив замолчать,— сразу стало видно, что в их отношениях первое место занимала Нина.

Я уже упоминала, что девятый класс состоял из двух групп, маленькой и большой, и иногда враждебные отношения между ними переходили в хорошие. Это «иногда», как правило, совпадало с необходимостью что-нибудь списать или искусно приготовить шпаргалку. Впрочем, шпаргалками пользовались все реже и реже. К чему шпаргалка, когда можно сказать в глаза учителю: «Я не приготовила урока»,— а на вопрос «Почему?» ответить: «У меня болела голова» — или что-нибудь в этом роде. Соня Фрейман принадлежала к меньшей группе, охотно позволяла списывать и так громко подсказывала, что мне приходилось делать ей замечания. За высокий рост ее прозвали «малюткой», но это ее нисколько не огорчало, потому что она играла в городской баскетбольной команде и спокойно относилась к своему росту. Что касается Нины, так она после ссоры с Олегом совсем перестала готовить уроки. Я, по общему мнению, строгий преподаватель. Самой мне судить об этом трудно, и хотя на некоторых ребят я давно махнула рукой, но по отношению к Нине так поступить не могла. Во-первых, она была способна и до сих пор училась недурно. Во-вторых... Может быть, это было ошибкой, но в ней чувствовалось внутреннее достоинство, гордость не девочки, а женщины, живущей сложной, заслуживающей уважения жизнью. Не знаю, почему она не обратилась за помощью к единственной подруге, но я сразу догадалась, что ей помогает Паша. Я ни разу не видела их вместе, но мне мигом вспомнились беглые наброски в Пашиной черновой тетради. Нина в профиль, Нина с переброшенной через плечо косой — забыла

сказать, что ее прелестная белокурая коса, аккуратно заплетенная, придавала ей милый старомодный вид.

Все другие девочки были либо по-мальчишески стрижены, либо носили модную прическу, доисторическую: без сомнения, так причесывались питекантропы. Словом, я тогда еще предположила, что Паша влюблен, хотя он рисовал все, что попадалось под руку. Однако, возвращаясь из школы, я теперь редко видела его рядом с колыбелькой, в которой спал удивительно непохожий на него младший брат. Паша где-то пропадал,— не в часовне, потому что работу над фресками решено было отложить. Копии, которые он сделал, понравились в музее — это я узнала от одного знакомого, который показывал туристам наш город.

Не думаю, что Нина, оскорбленная ссорой с Олегом, из мести решила позволить ухаживать за собою другому мальчику. В этом случае она бы не утаила, а, напротив, постаралась бы показать эти новые отношения.

Наш город расположен на холмах, улицы и на правой и на левой стороне Росстанной скатываются к реке, вероятно, поэтому носят названия Крутой или Плоской. Должно быть, некогда эти холмы были покрыты лесом, и хотя вдоль улиц тоже уже давно посажены клены и липы, на окраинах города еще сохранились нежилые места, нетронутые могучие ели с зеленым шатром, под который никогда не заглядывает солнце, столетние сосны с ветвями, давно превратившимися в толстые, причудливо изогнутые стволы, старые, раскинувшиеся дубы, ничем не уступающие знаменитому толстовскому дубу из «Войны и мира».

Вот этот заброшенный, нетронутый лес — любимое место моих воскресных прогулок. У меня ведь мало знакомых или друзей в Бартеневе. Я не очень общительна, со мной вскоре начинают скучать. Я старательно слежу за географической литературой, современную художественную знаю плохо, а кино — это покажется странным — вообще не люблю. Заходить часто к Николаю Егоровичу стесняюсь: он не любит пустых разговоров. А одинокие прогулки в лесу я с детства любила, может быть, потому, что, когда я одна, никто не видит, как я некрасива. Я люблю лес, и, помнится, один из немногих встреченных мною на прогулках прохожих, не здороваясь, спросил: «Любите лес?» — как будто это чувство было написано на моем лице, как на листе бумаги.

Так вот, гуляя в этом лесу, я забрела в такие места, где прежде никогда не бывала. Я нашла грот, как будто созданный для тайных свиданий: вход был скрыт переплетающимися ветвями плюща. Холм поднимался выше и выше и венчался открытой светлой поляной, на которой мелькнула и мигом исчезла белка. Но, поднявшись к поляне, я убедилась в том, что не одна брожу в этих местах: белый с яркими цветами платок был небрежно наброшен на кустарник, за которым я теперь стояла. Я подошла поближе. «Кто-то потерял или забыл в лесу платок?» Но этот кто-то был неподалеку от меня. Раздвинув кусты, я увидела Нину Порошину, сидевшую на пне с вязаньем в руках, а в двух шагах от нее Пашу. В ногах у него на другом пне

стоял открытый этюдник, а в руке палитра. И оба были чем-то непохожи на давно знакомых подростков, которых я каждый день видела в школе. Нетрудно было догадаться, что Паша взволнован. В его лице, в простодушном взгляде всегда было что-то детское. Теперь самый взгляд изменился, он стал напряженным, всматривающимся и даже, мне показалось, каким-то угрожающим, как будто он не рисовал Нину, а собирается ее убить. А Нина... И прежде невозможно было не любоваться этой светлой красотой. Но в этот день я как будто увидела Нину впервые. Спицы так и мелькали в ее тонких руках, коса блестела на солнце, на висках вились нежные колечки, бросавшие воздушную тень на задумчивое лицо с пробегающим спокойно-грустным выражением.

Разумеется, я ушла незамеченной и весь день хранила в памяти эту поляну, этих прелестных детей; да, именно детей — как иначе назвать материнское чувство, которое я, кажется, никогда не испытывала прежде. Чувство тревожной неуверенности примешивалось к нему, и, казалось, таким оно и должно было запомниться надолго — ведь матери всегда привычно беспокоятся за судьбу детей.

Это было в воскресенье днем, а вечер я, как всегда, провела у Порошиных. Андрей Андреевич вопреки своей грозной внешности был добродушно-говорлив, и мы весело ужинали, слушая его рассказы. Он ушел на войну добровольцем семнадцати лет, служил в разведке, и меня поражала его молодая, острая память: он никогда не повторялся. «Что-нибудь новенькое, да?» — спрашивал он, и вдруг выяснялось, что не только Нина, но даже Анна Дмитриевна не знала, какую ночь он провел, вытаскивая товарища, который провалился под лед, когда, взяв «языка», разведчики возвращались в расположение части.

Искусно сплетенные из травы корзиночки лежали на комоде. Совы и попугаи с огромными блестящими пуговицами-глазами висели на стенах, кровать была накрыта голубым покрывалом, а над письменным столом висел портрет Нины — тот самый, который сделал меня невольной свидетельницей своего появления на свет. Тогда в лесу я не могла рассмотреть его, потому что доска с полотном была заслонена кустарником. Зато теперь я увидела его. Портрет был необыкновенно похож. На задумчивом, слегка порозовевшем лице лежала волшебная прозрачная тень, которая как бы одновременно и существовала и не существовала. Таинственно сгущаясь, она лежала на верхней части лица, на опущенных глазах, и вы чувствовали, что она неопреодолимо, неотразимо нужна. Зачем? Кто знает.

12

Я сказала, что Нина и Паша постарались, чтобы никто не узнал, что они встречаются. В школе они по-прежнему держались далеко друг от друга, а в парке, где Нина иногда сидела с неизменным вязаньем, к ней всегда подсаживался не Паша, а Сонечка Фрейман. Но в школе все скрытое почему-то вскоре становится явным. Слухи и намеки легко распространяются в мире подростков, которые созна-

тельно отгораживаются от взрослых, напрасно пытающихся проникнуть в этот загадочный мир. Но если это не так, если предположить, что кто-то так же, как я, случайно наткнулся на них в лесу, тогда уж совсем непонятно, почему эти дружеские отношения вызвали такое оживление в классе. Мальчики подсмеивались, дразня и Нину и Пашу, злословили, смеялись. Девочки завидовали: может быть, им казалось, что у них отняли Пашу. И эта зависть, переходящая в ненависть, росла с каждым днем.

И однажды, проснувшись еще до света, я вдруг поняла причину этого чувства. Более того, я увидела ее, как в калейдоскопе, где разноцветные стеклышки образуют неожиданные сочетания и вдруг складываются в виде простого геометрического чертежа.

Ненависти не было бы, если бы между Пашей и Ниной были обычные отношения: мальчик ухаживает за девочкой, и она отвечает или не отвечает ему. Но они просто ничего не требовали друг от друга — это уже казалось вызывающим и даже неприличным. В их бескорыстной дружбе таился вызов: «Вот вы такие, а мы — совсем другие». Была дружба, да еще какая-то странная, тайная, и эта утаенность и странность раздражали класс. Но эта догадка казалась мне невероятной, и я принималась думать о том, как мы, взрослые, беспомощны, как ошибаемся и блуждаем в потемках, не разбираясь в своих чувствах и не видя себя со стороны.

Думала я и об Олеге Рязанцеве. По-прежнему два раза в неделю я занималась с ним. Он, кажется, демонстративно держался в стороне от того, что происходило в классе. Бывает, что подросток очень быстро становится мужчиной. За последний год он неузнаваемо изменился, и теперь уже трудно было вообразить их вместе с Ниной, говорящими о чем-то своем на переменах. Он вырос и стал похож на своего отца, которого я боялась. Александр Арсеньевич был довольно полный, но еще стройный, седеющий мужчина, немного похожий на известного артиста Ульянова, которого я видела на телевизионном экране. Так же, как отец, Олег научился молчать со значительным видом, прежде чем ответить на мой вопрос — ответить отлично, в сдержанной, лаконичной форме. Впервые видела я такую целеустремленность, такую определенность в стремлении добраться до намеченной цели. Я не сомневалась в том, что наши занятия и поступление в институт — только отрезок длинного пути, который он намеревался пройти, чтобы завершить его блестящей карьерой. И характерно, что его интересовала главным образом политическая сторона географии. В средней школе вообще география — предмет, в котором эта сторона играет заметную роль. Но Олег часто ставил меня в тупик своими вопросами. Приходилось готовиться, и я все равно ничему в этой области научить его не могла, потому что читала по-английски не без труда, а он — свободно.

Он лучше меня знал политическую карту, регулярно читал «За рубежом», «Новое время», выписывал еженедельный бюллетень «Аргументы и факты». В школе он от комитета комсомола отвечал за политобразование. А мне приходилось пользоваться газетами. В центральной прессе довольно часто появлялись статьи об энергетике Индии,

о национально-освободительном движении в Африке, об изменениях на политической карте мира после второй мировой войны — дельные статьи, на которые я часто ссылалась в свои лекционные дни.

Но была и другая причина, заставлявшая меня задуматься: не отказаться ли мне от этого хорошо оплачиваемого урока? Кто не знает романа Диккенса «Холодный дом»? Так вот именно эта книга вспоминалась мне, когда я бывала у Рязанцевых. В самой вежливости, с которой меня встречали, было что-то обидное. Казалось, я существовала только для того, чтобы Олег поступил в МИМО. А потом я могла и перестать существовать, так же, как и многое другое, временно связанное с его будущей блестящей карьерой.

Учебный год приближался к концу, и, как всегда в это время, все внимание было отдано десятиклассникам. Волновались преподаватели, директор, который уже работал над отчетом для представления в гороно,— словом, решительно все, кто заботился о том, чтобы торжественный день «последнего звонка» прошел в полном, заранее предусмотренном порядке и не вызвал никаких замечаний.

13

В эти-то дни у меня и произошел памятный разговор с Николаем Егоровичем. Мне давно хотелось рассказать ему всю историю отношений между Ниной и Олегом, об их ссоре, о ее дружбе с Пашей.

Мы сидели в садике, за которым он любовно ухаживал. Дикий виноград покрывал всю стену, обращенную к солнцу, и на окне его кабинета, выходившего в садик, стояли глиняные горшочки с нежными, недавно пустившими корни ростками остролистного дуба, которым Николай Егорович надеялся когда-нибудь украсить улицы нашего городка. Он был в своей любимой куртке, похожей на польский кунтуш, а я в своем любимом платье, которое всегда надевала, идя к нему.

Он слушал меня внимательно, его чисто выбритое, суховатое, с морщинками у проницательных глаз, розовое, говорившее о здоровой старости лицо было полно внимания. Я рассказывала, стараясь не пропустить ничего, что могло бы заинтересовать его,— ведь он знал и понимал жизнь школы гораздо лучше меня: о том, что Нина до сих пор, мне кажется, влюблена в Олега, несмотря на их загадочную ссору. О семьях Порошиных и Рязанцевых и о том, как я чувствую себя в той и в другой. Словом, по лицу Николая Егоровича, который слушал меня терпеливо, все-таки можно было угадать, что мне давно пора остановиться. И в самом деле, я разволновалась, и у меня то и дело покалывало сердце.

Он помолчал, покурил, когда я замолчала.

— Милая Галина Петровна,— сказал он наконец,— я рад, что не ошибся в вас, потому что вы волей-неволей рассказали о себе больше, чем о своих учениках, и таким образом подтвердили мое мнение, что на таких, как вы, мир стоит и будет стоять, как бы тяжело ни пришлось человечеству в ближайшие годы. Но при всей видимости, реальности того, что я от вас услышал, все-таки должен сказать, что вы живете в мире иллюзий. Вы прекрасно знаете своих ребят, и вы

их не знаете. Жизнь раздала им роли, и они их играют — одни умело, а другие неумело. Они живут в атмосфере привычного притворства, настолько привычного, что они его даже не замечают. Перед нами проходит неведомая, неназванная жизнь. И самое страшное, что все эти Нины, Олеги и Паши — в сущности, прекрасные люди, которые инстинктивно ждут, что мы им напомним об этом. А мы, проверяя их знания, беспомощно останавливаемся перед их сознанием. Вы можете возразить, что так было всегда. В самом деле, разве не об этом еще Тургенев писал в «Отцах и детях»? Но ведь тогда дети понимали, что они не просто потомки своих отцов, а новое поколение. Помните, например, прекрасную студенческую песню, которую поет Булат Окуджава:

Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.

У них была цель. А наши не хотят и слышать об этих людях. Они заняты с утра до вечера своим, ежеминутным. Школьная программа перегружена, предметов много, и никому даже невдомек, что в этой программе нет очень важного предмета, который я назвал бы «совесть». Впрочем, есть такой предмет, но преподается он очень плохо. Это наша литература, которая вот уже тысячу лет напоминает об этом понятии. Я думаю, что, если бы ее преподавали хотя бы так, как в старых гимназиях, она стала бы основой разговора о совести, о нравственном долге. Я в этом уверен, потому что неоднократно перечитывал сочинения моего старшего брата, окончившего гимназию в десятых годах. Конечно, это малая доля того, что нужно сделать. Кстати, вы читали в «Правде» статью «Школе нужны таланты»?

— Читала. Да где их взять?

— Найдутся,— задумчиво сказал Николай Егорович.— Талантов много, и они научат подростка оценить себя, заглянуть в себя, в свое будущее. Я верю.

14

Наступил наконец день «последнего звонка». Мелькали тщательно отглаженные передники девочек, принаряженные пионеры пришли, чтобы проводить кончающих школу десятиклассников, школьный двор превратился в сад — Бартенево славится своими цветами. Накануне ко мне, между прочим, подошел Бугаев, после девятого класса покидавший школу,— подошел, переваливаясь и не зная, что сказать. После долгого неловкого молчания он пробормотал наконец: «Галина Петровна, завтра я вам тоже цветы принесу». И я, вспомнив, как долго он отравлял мне жизнь, неожиданно сказала: «Нет, Бугаев, я от тебя цветы не возьму». Он смущенно потупился, но назавтра все-таки принес мне цветы, я взяла их и поблагодарила. Ночью, проснувшись и разогревая чай — когда мне не спится, я спокойно, не торопясь, пью чай,— я подумала, что, отказавшись от цветов, все-таки поступила бы неправильно (может быть, он хотел показать, что не забыл, как я за него заступилась) и что мы что-то просмотрели в этом

мальчике, который в кругу других учителей и товарищей не стал бы держать себя с таким вызывающим пренебрежением.

Играл школьный оркестр, первоклассники выстроились перед выпускниками, и маленькая девочка с косичками произнесла, к сожалению, заученную, гладкую речь, почему-то окая, с ярославским акцентом. Потом выступил с блестящей патриотической речью Олег Рязанцев, секретарь комитета комсомола. Он, конечно, основательно подготовился, и, слушая его, я почувствовала себя чуть ли не на заседании ООН или по меньшей мере на коллегии Мининдела. Во всяком случае, было трудно представить, что после этой речи он будет танцевать, а он танцевал, шутил, смеялся, запускал фейерверк и отличался от других мальчиков только своим дорогим заграничным костюмом.

После Олега, заключая официальную часть праздника, выступил директор, который тепло и сердечно поздравил выпускников, обратившись к каждому из них с коротким советом-наставлением. Этого не бывало прежде. Впрочем, я забыла упомянуть, что в прошлом году наш старый директор ушел на пенсию и его место занял сравнительно молодой человек, который присматривался к каждому десятикласснику,— на чем и были основаны его советы. Но вот кончилась торжественная часть, начались танцы, я пошла домой, полежала и к вечеру заняла свой дежурный пост у окна. Большие костры медленно разгорались на берегу Росстанной, и когда они наконец разгорелись, все отступило, ушло в темноту. Я вышла посидеть на крылечке, потом прошлась. Воздух был свежий, и так славно дышалось темной, безлунной ночью под легким ветерком, чуть тронутым запахом дыма. На медно-красном пылающем фоне были видны резко очерченные танцующие фигуры. Выпускники шутили, смеялись, а две-три пары целовались за углом нашего дома, не сомневаясь, что их никто не видит. А потом все затихло и послышалось нежное, но звучное пение, заставившее меня задрожать,— сама не знаю, от радости или печали. Пела Жанна Михайлова, окончившая одновременно с нашей музыкальную школу, будущая знаменитая певица, как мы все ожидали. Я вернулась, вновь села у открытого окна, едва сдерживаясь от слез, и стала думать, что пропала, сгинула моя никому не нужная жизнь. И, боже мой, как захотелось мне, чтобы никогда не сидела я в темноте, одинокая, никому не нужная, с давно погасшей надеждой на счастье, стареющая учительница, у которой нет ни прошлого, ни настоящего, кроме этой горестной и счастливой ночи!

В это лето я не поехала к родителям и не стала хлопотать о путевке. Сама не знаю, что меня удерживало в Бартеневе, может быть, какое-то предчувствие, хотя в предчувствия я не верю. Вообще-то я верю во что-то, но затруднилась бы выразиться определеннее. Скажем, в судьбу. Об этом у нас с Николаем Егоровичем однажды зашел разговор, и он шутя сказал, что живет все-таки не во втором веке до рождества Христова, чтобы верить в судьбу. Это было до нашего разговора о школьных делах, разговора, который я записала, вернувшись домой. Словом, у меня было о чем подумать, когда я на пароме пересекала Росстанную, чтобы навестить бабу Катю в больнице.

По-прежнему я часто встречалась на пароме с Пашей. Он перешел в десятый класс, был одним из кандидатов на медаль. Но говорили мы совсем о другом. Я была уверена, что после школы он должен поступить в Суриковский институт, а он собрался держать экзамены в Ленинградский университет.

Он густо покраснел, когда мы как-то заговорили об этом, и я немедленно вспомнила, что в Ленинградский университет надеялась поступить Нина.

— У меня главная задача — братишка,— как бы между прочим сказал он.— Все-таки страшно оставить его на бабу Дуню.

Мне было неудобно напомнить, что братишка как-никак остается с матерью, и я промолчала.

Этим летом я не могла уехать из Бартенева еще и потому, что бабу Катю все не выписывали из больницы. Воспаление легких прошло, но начались приступы астмы, с которыми, как мне сказал врач, вообще трудно справиться, а в пожилом возрасте особенно тяжело.

Это был день, когда Паша должен был окончить фрески, августовский день, навсегда мне запомнившийся, самый несчастный в моей жизни.

Ранним утром ко мне примчалась расстроенная, бледная, непривычно растрепанная Нина Порошина — она и прежде иногда бывала у меня. Дело в том, что она стеснялась продавать свои салфеточки, кружочки для стаканов с вином, корзиночки из травы в наш магазин «Ручная работа», и я предложила заменить ее — директор магазина был моим бывшим учеником и, уже не знаю почему, уважал меня, хотя я в свое время упорно ставила ему двойки...

С первого взгляда я увидела, что Нина не спала ночь.

— Что случилось?

Она начала говорить и заплакала.

— Ну, успокойся, Ниночка! Выпей воды.

Я усадила ее, принесла мокрое полотенце, она вытерла лицо и снова горько заплакала, а потом уткнулась в мое плечо и что-то невнятное пробормотала.

— Разрезали...— разобрала я.

— Что разрезали?

— Мой портрет,— еле выговорила Нина. Кажется, нельзя было побледнеть еще больше, но она побледнела.

— Кто разрезал?

— Я сплю с открытым окном, и он воспользовался тем, что я крепко сплю, и разрезал...

— Кто он?

Она не ответила. Потом сказала:

— Не знаю... Галина Петровна, вы сегодня поедете в Заречье?

— Да. И очень скоро.

— Пожалуйста, скажите Паше, чтобы он зашел ко мне. Как можно скорее!

— Хорошо. Непременно скажу.

Она поблагодарила меня и ушла.

«Так что же все-таки случилось? — думала я на пароме, следя

за медленно расходящимся треугольником темной воды.— И почему она сама не поехала к Паше? Кто мог разрезать портрет?»

Невольно вспомнился Рязанцев, но едва я вообразила его неторопливую, сдержанную походку, его ровное, редко улыбающееся лицо, его умение оставаться спокойным в такие минуты, когда каждый на его месте не удержался бы от резкого движения или слова, как сразу же отбросила эту мысль. Нет, он никогда не сделал бы этого! Но какое-то тайное чувство подсказывало мне, что Нина знает, кто разрезал картину. Знает, но не хочет сказать.

Паша стоял на лестнице подле фрески, изображавшей Георгия Победоносца, поражающего длинным копьем еле различимого змия, и не обернулся, когда я вошла, просто стоял и пристально смотрел на стену — задумался. Я окликнула его, и он подбежал ко мне.

— Здравствуйте, Галина Петровна.

Но я не в силах была сказать, что кто-то разрезал его картину, и только передала, что Нина просила его зайти.

— А что случилось? — с волнением спрашивал он, собирая валявшиеся на полу грязные тряпки. Я молчала, и он спросил только: — Она здорова?

— Здорова. Она сказала: «Как можно скорее».

Он торопливо вытер свои кисти, положил, как, очевидно, делал всегда, все, необходимое для работы, в нишу (на стене было много ниш, в которые некогда вставлялись иконы) и заслонил ее лежавшей на полу плиткой.

— Паром вернется минут через двадцать,— размышлял он вслух.— А может, и не вернется. Пассажиров-то нет. Или, вернее, будет ждать, пока соберутся.

— Хочешь, я попрошу, чтобы тебя пропустили через плотину?

Переходить Росстанную через плотину было запрещено.

— Нет, Галина Петровна.

— Так перебежишь через мост.

— Нет, Галина Петровна. Мост далеко. До свиданья. Я переплыву.

Ничего особенного не было в этом решении. Мальчики подчас переплывали Россанную рядом с паромом, а Паша в прошлом году даже выиграл какое-то соревнование по водному спорту. Я это знала, но почему-то не ушла.

С той высокой горки, где стояла часовня, вся панорама Россанной была отчетливо видна (я уже упомянула, что у меня острое зрение, и Николай Егорович даже шутил, что я была бы снайпером в годы войны). Слева поблескивало водохранилище, справа вдалеке был виден мост. Паша плыл довольно медленно, не мог пользоваться левой рукой, в которой над водой держал одежду. Потом рука почему-то исчезла, и мне показалось, что Паша немного отклонился в сторону. Как будто ничего плохого не случилось, но почему же он плыл теперь, действуя и правой и левой рукой? Почему повернулся на спину и крупные брызги стали мелькать на солнце? Почему направляется не прямо к пристани, а к крутым, обрывистым скалам, на которые даже трудно было взобраться?

И вдруг я все поняла: шлюзы открыты. Вот почему так быстро мчится набухшая помутневшая вода. Как я могла не догадаться об этом? Я старалась обмануть себя, зная, что ничего нельзя изменить. Так в юности я чуть не сошла с ума, доказывая себе, что единственная подруга не умерла, хотя я своими руками опустила ей веки. Всю неделю шли проливные дожди, водохранилище переполнилось, и, как всегда, надо было сбросить излишек воды. Как же я смогла забыть об этом? Паша еще плыл, хотя уже трудно было различить, как далеко он от противоположного берега, потому что вода неслась все быстрее.

Я бросилась бежать по берегу к мосту, но чем быстрее я бежала, тем дальше, казалось, он уходил от меня. Я бежала по заросшей тропинке над самой рекой, как будто именно на этой тропинке можно было встретить того, кто мог бы помочь Паше. Я бежала, не помня себя, выронив сумку и не вернувшись за ней, чувствуя, что остро закололо в груди и нужно остановиться и лечь на землю, чтобы остановить эту боль. Но я все бежала. Наверно, кто-то из прохожих увидел и понял, что Паша тонет, потому что когда я наконец перебежала мост, то увидела людей, толпившихся на берегу и громко говоривших. Мужской голос ответил на чей-то вопрос: «Уже вызвали»,— и я поняла, что вызвали «скорую помощь». Толпа расступилась, вышел, шумно дыша, милиционер, рукавом вытирая пот с мокрого лба. Он сказал: «Плохо дело», и я догадалась, что Паше делали искусственное дыхание. Из машины «скорой помощи» выскочил знакомый молодой доктор, ему что-то сказали, и он побежал к машине и вернулся, держа в руках шприц. Потом все закружилось, оборвалось, кончилось, и я увидела над собой небо с быстро разбегающимися легкими облаками...

Машина, отвозившая Пашу в реанимацию, вернулась за мной, и не знали, что со мной делать, потому что я была как будто здорова, но говорила бессвязно и поминутно хваталась за голову, будто должна была куда-то немедленно убежать. В конце концов мне что-то впрыснули и отвезли домой. Я пролежала четыре дня. Баба Катя выздоровела и вернулась. С ней пришла Елена Михайловна, которая сказала мне, что причина гибели Паши осталась неясной: или его схватила судорога, или он не мог справиться с внезапно хлынувшей холодной водой.

Я не была на его похоронах и только потом (ко мне никого не пускали) узнала, что Пашу пришли проводить все девятые и десятые классы и над гробом произнес речь директор, а потом представитель музея, который сказал, что впервые в жизни он встретил такого талантливого юношу и, если бы не погубившая его случайность, русская живопись обогатилась бы выдающимся талантом. Мать Паши, жалкую, старую, ненакрашенную, с обезумевшими глазами, не вели, а тащили за гробом, поддерживая под руки, не давая упасть.

Рязанцев от комитета комсомола произнес короткую сердечную речь. Бугаев, который уже поступил в ПТУ, притащил так много цветов, что один не мог управиться, ребята помогли ему, и свежий насыпанный холмик был засыпан цветами. Теперь я знала, что Нина, проснувшись, нашла свой портрет вырезанным из разбитой рамы, растерзанным и валявшимся подле кровати. Кто это сделал?

Баба Дуня рассказала мне, что Рязанцев накануне заходил к Паше и между ними был длинный разговор, причем они как будто не ссорились, но, когда баба Дуня вошла, у Паши было бешеное лицо, и ей стало страшно. Зачем Рязанцев пришел? Ведь между ними не было никаких отношений, хотя иногда я ловила взгляд, брошенный Рязанцевым на Пашу, и от этого взгляда мне становилось страшно. У меня не было почти никаких оснований думать, что Олег разрезал картину, кроме непостижимой уверенности, что это сделал именно о н. Оговорку Нины «он воспользовался» я не забыла. Почти, потому что мне казалось, что Нина знает, кто это сделал. Теперь, когда я шла к Рязанцевым, мне казалось, что у меня отнимаются ноги. Я отказалась от занятий с Олегом.

На первый взгляд все объясняется просто: во всем была виновата я. Кто, если не я, забыла, что всю неделю шли проливные дожди и что шлюзы после такой погоды всегда открывали? Конечно, все стало бы ясно, если бы Нина согласилась откровенно поговорить со мной. Я рассказала бы ей, как Рязанцев ушел от Паши и Паша захлопнул за ним дверь с такой силой, что весь дом задрожал. Это слышала баба Дуня.

Встретившись с Ниной, я было решилась заговорить, но у Нины сразу стало такое лицо, что я перед семнадцатилетней девчонкой готова была провалиться сквозь землю. Это и была пропасть, о которой я упомянула, когда начала рассказывать эту историю. Нет, надо объяснить: я виновата в том, что я не знаю их. Эта девочка, и Олег, и Бугаев живут в одном мире, а я — в другом. Николай Егорович прав. Я виновата в том, что не могла найти путь к этим мальчикам и девочкам, ушедшим от меня на десять лет вперед, и мне не догнать их, потому что никто не научил меня, как к ним подойти, как сделать, чтобы между нами не было загадок и не было лжи, потому что каждое недоговоренное или скрытое слово неизбежно связано с лицемерием или неправдой. И я поступила бы честно, если бы оставила преподавание, которое я люблю, потому что учить надо прежде всего правде, а уже потом географии или физике.

Учебный год начался, девочки и мальчики вернулись в школу серьезнее и спокойнее: десятый класс — и все стало совершенно так же, как прежде. И Олег на переменах, как прежде, не разлучался с Ниной, и они по-прежнему тихо разговаривали. И на них никто по-прежнему не смотрел. Ничего не изменилось, кроме меня, потому что у меня в голове стали бродить очень странные мысли. Неужели все это было игрой? Неужели она хотела наказать Рязанцева холодностью и у них были более близкие отношения, чем я могла предположить? Неужели Паша был игрушкой в их руках и сама его смерть не отдалила, а сблизила их? Тогда о чем она хотела поговорить с Пашей, который мог прийти и через три и через четыре часа, и тогда не случилось бы то, что, к несчастью, случилось? И неужели именно он, Рязанцев, разрезал этот прекрасный портрет, превратив его в грязную тряпку?

И зачем я рассказала эту историю, которая никого не может ничему научить?

1983



1

Меня батька редко бьет, но лучше бы бил, потому что я не могу, когда он нахлещется, смотрит на меня и плачет. Я на него, говорят, похож. Он тоже ходит немного боком. Доктор Плахов, который знал его, когда он еще не пил, однажды сказал, что у меня с возрастом это пройдет и я буду ходить почти прямо.

Между прочим, к отцу он относится очень хорошо и даже вроде дружил с ним до этих запоев. Дело в том, что отец стал пить не с бухты-барахты, а потому что был хорошим художником, но его картины не покупали, и пришлось взяться за афиши для кино, которые он ненавидит. Из штатных художников он вылетел и работает от случая к случаю, когда кто-нибудь из афишников заболевает.

Вообще денег у нас нет, и мы постепенно все продали, даже платяной шкаф, так что пришлось сделать вешалку из доски, где на гвоздях висит все, что у нас осталось.

Понятно, мы с доктором Плаховым уговариваем его лечиться, но он говорит, что даст дуба, если ему вошьют под кожу какой-то антабус, потому что тогда нельзя будет пить ни капельки, а он не выдержит и непременно выпьет. Мать от нас ушла, работает санитаркой в больнице и живет у своей двоюродной сестры, которая не позволила ей взять меня к себе. Но я и сам этого не хочу, потому что отец без меня бы пропал. Я захожу к ней каждый день и, между прочим, не только потому, что она меня иногда подкармливает, а чтобы она знала, что с нами ничего не случилось. Понятно, я не рассказываю ей, что иногда приходится тащить отца домой через весь город. Про платяной шкаф я тоже ей не сказал. Она все вспоминает, как прежде мы хорошо жили и в доме был порядок. Лечить его она тоже боится, потому что отец — слабовольный. А иногда она пугается, что я тоже начну пить, и не верит, когда я говорю, что меня от водки воротит. Вообще хорошего мало. А когда пришла тетушка Ло (мы так прозвали нашу учительницу географии за ее лошадиную челюсть), он меня побил не за то, что она вроде жаловалась на меня, а за свою позорную, как он мне потом сказал, неудачную жизнь. А когда я спросил, зачем ему нужно, чтобы при этом битье я держал блюдечки с водой в поднятых руках, он ничего не стал объяснять, а отвернулся от меня и заплакал.

Так что тетушка Ло ошибается, если думает, что мой отец — зверь, тем более что мы, когда она ушла, сели пить чай и дружески поговорили.

Вообще я до шестого класса учился хорошо, потому что мне было интересно. А потом отец стал пить, мать ушла, и мне все стало до лампочки. Сачковать интереснее, чем учиться, и теперь мне все равно, что про меня говорят. Между прочим, говорят главным образом бабы, а мужчины молчат, как будто понимают, что мне даже приятно, когда меня ругают. И однажды я в этом убедился, то есть не что мне приятно, а что обо мне говорят. Дело в том, что в нашей школе, как в любом доме, есть чердак. Пол на этом чердаке дырявый, и если сделать еще одну дырку поглубже и пошире, отлично слышно, что происходит в учительской. Бабы меня ругают, и как раз та же тетушка Ло за меня несколько раз заступалась. Завуч, тот просто задыхается от злости, тем более что он тучный мужчина, а директор ему возражает: «Ну-с, а кто за него будет отвечать в таком случае? Вы?»

Меня хотели после восьмого класса послать в ПТУ, но, во-первых, у них что-то там не вышло с характеристикой, а во-вторых, мать умолила директора перевести в девятый. Завуч будто бы отказался подписать характеристику, потому что она была слишком хорошей. За нее, оказывается, тоже кто-то должен был отвечать. В общем, все, кроме Олега Рязанцева, хотят от меня избавиться. Олег-то как раз понимает, что в школе учатся только те, кто хочет учиться, и что даже зубрилки вроде Соньки Фрейман, по прозвищу Дылда, через год все забудут, тем более что она, например, ничем не интересуется, кроме своего баскетбола. А Олегу школа нужна для дела. Он хочет поступить в МГИМО, стать дипломатом и жить где-нибудь в Лондоне или Париже. У него богатые родители, он носит американские джинсы, отличник и смеется, что в школе его считают «опытно-показательным парнем».

На танцплощадке нет отбоя от хорошеньких телок, которые буквально вешаются ему на шею. Вообще он — человек, хотя мне не нравится, что он очень старается по комсомольской линии, а этим, по-моему, подло пользоваться для того, чтобы жить в Лондоне или Париже. Он считается моим другом, и в классе удивляются, когда видят нас вместе. Кстати сказать, я сам удивляюсь, зачем я ему нужен. Неужели потому, что я живу рядом с Ниной Порошиной и могу узнать, кто за ней бегает, что не так-то просто, потому что за нашей красавицей бегает буквально весь класс, даже девчонки. Пашка Перов не бегает, но мне кажется, что он-то как раз от нее без ума. Вот с кем бы я хотел дружить, если сказать откровенно. Но он как-то дружит со всеми, и у него никогда нет времени.

Отца у него нет, мать где-то по целым дням пропадает, а в доме недавно появился младенец, и за ним, кроме Пашки, некому присматривать, потому что старушка, которая у них живет, занята по хозяйству. Он так хорошо рисует, что наша картинная галерея даже заказала ему скопировать фрески в часовне «Неугасимая лампада» на другой стороне Россстанной при монастыре, и он ездит работать в часовню на пароме.

2

Олег все время сует мне деньги, и я иногда беру рубль или два, потому что отец обедает где придется и дома у нас не готовят. По вечерам мы пьем чай с хлебом и консервами, а иногда просто с хлебом. Мать всегда спрашивает, обедал ли я, а отец, очевидно, считает, что я питаюсь воздухом и завтраками в школе. Это зимой. А осенью мы не ужинаем, отец обходится водкой, в которой, говорят, есть даже витамины, а я перехожу на арбузно-дынную диету.

Вообще я не люблю брать у Олега деньги, потому что он, по-моему, скупой и дает с таким видом, что иногда мне хочется швырнуть этот рубль ему в морду. Но считается, что я покупаю для него Нинкины работы в магазине «Ручная работа». Она умеет из болотной травы, соломы и тряпочек делать корзиночки, салфеточки и даже кукол — у нее очень ловкие руки. Подрабатывает, хотя отец — мастер на лесопильном заводе, мать где-то служит и вообще они живут хорошо. Я покупаю ее барахло, а Олег его куда-то прячет или выбрасывает, во всяком случае, у него в комнате ни одной куклы или корзиночки нет. Зачем они ему нужны, я понять не могу.

Чтобы закадрить девчонку, совсем не надо тратить деньги на ее безделушки, тем более что он уже третий год шатается за Нинкой или, наоборот, она за ним.

Но, может быть, она знает, что почти все ее поделки покупает Олег, и, таким образом, выходит, что он все время как бы делает ей подарки. И она тоже подарила ему дорогую заграничную зажигалку-пистолетик. Конечно, тайно от родителей, потому что они показали бы ей, где раки зимуют. Они все-таки не Рязанцевы. Вообще я вижу, что как раз в наших отношениях с Олегом происходит борьба. Он богатый, а у меня никогда нет ни фига, и поэтому я ему подчиняюсь. Таким образом выходит, что мы оба — типичные пережитки, особенно он.

Но это все не о том. Главное — то, что я услышал через дырку на чердаке. Завуч кипятился, что за меня отвечает тетушка Ло как классный руководитель, а она молчала. Литератор Жарков, которого все зовут Бегемотом, потому что он не ходит, а плавает на коротких толстых ногах, все говорил о своих «Педагогических правилах», над которыми он работает восемь лет, и что, когда он их закончит, он прочитает их тетушке Ло и она поймет, как нужно обращаться с такими типами, как Бугаев. Бабы обиженно верещали и жаловались, что я мешаю им заниматься, а немка (она действительно немка, из поволжских немцев), та просто сказала, что меня нужно убить. Может быть, я ослышался и она сказала «побить». Математик (между прочим, очень хороший, я иногда хожу на его уроки) сказал, что меня нужно отправить в колонию для малолетних преступников, а не возиться со мной в белых перчатках. Директор спросил иронически: «Отдать под суд?» Белые перчатки теперь носят только милиционеры, но я читал, что на балах в институте благородных девиц эти девицы и их кавалеры тоже были в белых перчатках. Но я сомневаюсь, что со мной стали бы возиться эти девицы. Потом учителя гово-

рили, что в министерстве сидят чинуши, которые совершенно не знают школы, и что школа разваливается просто на глазах, а «процентомания», которую давно отменили, шла не снизу, а сверху. Словом, наши наставники наложили бы в штаны, если бы им пришло в голову сказать что-нибудь в этом духе на школьном совете. Думают одно, а говорят другое, а от нас требуют, чтобы мы говорили то, что думаем.

Теперь о Нинке с Олегом. Все шло тип-топ, пока кому-то из них не пришло в голову, что нужно притвориться, будто они поссорились. Мне сперва показалось, что это придумал Олег, потому что он хитрый, как муха. Но потом выяснилось, что я ошибаюсь. Просто отец Олега (а он директор всего этого хозяйства, электростанции и плотины) прикинул, что его сыну, будущему дипломату, не подходит дочь простого рабочего, хотя бы и ударника коммунистического труда.

Олег мне об этом сказал под секретом, даже не сказал, а как бы дал понять. При этом у него был такой вид, как будто он наелся дерьма. В самом деле, как он мог передать Нине разговор с отцом? Надо было что-нибудь крупно соврать, потому что отец, как я догадывался, советовал ему придраться к какой-нибудь ерунде и прикончить это дело одним махом.

Поссориться для вида — это, по-моему, придумал Олег. Уж не знаю, что он ей сказал, но оплеухи он не получал, хотя заслуживал за свое вранье оплеуху. Кто-то выдумал, что Нина дала ему оплеуху. Словом, весь класс убедился, что они поссорились — и не на шутку. Он перестал подходить к ней на переменках, не смотрел на нее и вообще как-то умудрился показать, что она ему надоела. А сам, между прочим, попросил меня следить, кто за Ниной будет бегать, и докладывать ему, когда мы встречались в парке по вечерам.

— Если ты мой друг,— сказал он серьезно,— и понимаешь мое положение, ты это сделаешь. Я надеюсь, что все еще устроится. Наша задача — выиграть время. А потом я сумею убедить отца. Мать молчит, но она, как всегда, с ним согласна.

Я ответил, что, конечно, мы друзья и все такое, тем более, что мы оба подумали при этом о Паше Перове, который теперь каждый день провожает Нинку после уроков домой. Но я так и не понял, собирается ли Олег обмануть отца или все-таки решил поступить по его желанию. Вообще я в конечном счете так в этой истории и не разобрался. Олег, по-моему, гораздо умнее своих родителей и притворяется не только перед ними, а перед всем светом. Меня ему, во всяком случае, ничего не стоит обвести вокруг пальца.

Так или иначе, они как бы поссорились, и действительно за Ниной стал увиваться Пашка Перов.

Но об этом я еще расскажу, а пока мне не терпится поговорить о Бегемоте. Дело в том, что он окончил свои «Педагогические правила» и в этот день пришел в школу именинником. В новом костюме. Урок он начал торжественно, но тут же все заметили, что он говорит что-то не то. Взял портфель в руки и выложил из него

на стол какие-то бумаги. Потом встал, снова сел, уронил портфель и как-то обмяк. Побежали за директором, потому что было видно, что с ним неладно. Лицо изменилось, он все хотел что-то сказать, но не мог. И заплакал.

Директор велел немедленно вызвать «скорую помощь», и через несколько минут врач и два санитара с носилками прибежали в класс. Врач послушал сердце, измерил давление, и Бегемота увезли в больницу. Портфель взял директор, а листы, забытые на столе,— Олег, чтобы положить их обратно в портфель. Но директор уже ушел, и он до завтра оставил их себе.

Очевидно, Бегемот заболел серьезно, потому что в школу прислали другого преподавателя русского языка и литературы, совсем молодую женщину с темным пушком на верхней губе. Если бы не этот пушок, она выглядела бы не старше наших девиц из десятого класса.

Я сидел на ее уроках, как привязанный. Ее звали Мария Львовна. Она спросила, какая была у нас тема последнего урока, и, когда Рязанцев сказал: «Свист Соловья Разбойника и его влияние на окружающую среду»,— улыбнулась. Пушкина проходят в восьмом классе, но она начала именно с Пушкина, предупредив нас, что хотела бы прежде всего прочесть нам несколько лекций по классической литературе.

Я после пятого класса вообще почти не ходил в школу, а слонялся по набережной, а теперь стал ходить, во всяком случае, на ее уроки. Лермонтова я не читал, а она рассказала о нем так интересно, что я записался в библиотеку и взял его сочинения, «Герой нашего времени» и другие. Отец подумал, что я заболел, увидев меня с книгой в руках. Я читал и думал: «Как же вышло, что какого-то офицера, который убил Лермонтова, великого писателя и классика, не посадили в тюрьму лет на двадцать? Мария Львовна сказала, что дуэль была подстроена. Так как же не судили тех, кто ее подстроил?» Я спросил, и она мне все объяснила.

Между тем, Олег прочел листы, выпавшие из портфеля, и позвал меня к себе — редкий случай. Это были страницы из «Педагогических правил». Олег стал читать эти страницы вслух и очень смеялся, хотя в правилах не было ничего смешного, и мне было даже жаль Бегемота. Сперва шло предисловие о том, какими должны быть эти правила: «С одной стороны, просты, как правила уличного движения, а с другой — выражать великие истины, поскольку местом движения учителя является не простая улица, а сложная и глубокая жизнь». Потом: «Хорошо бы каким-нибудь магическим прессом сжать чаяния наших великих предшественников, таких, как Ушинский и Макаренко, в небольшие, но убедительные, как выстрел, афоризмы».

Правила были глуповатые. Например, Бегемот считал, что учитель должен готовить урок, как готовят блюда в кулинарии: «Каждое блюдо вызывает слюноотделение, и его хочется съесть». Но интересно, что этот добряк Бегемот, который всем ставил пятерки и никого, даже меня, не ругал, в правилах писал, что людей надо

не лепить из глины, а ковать, «то есть нагревать докрасна и бить молотом».

Олег смеялся до упаду, а я сказал, что он вообще не имел права без разрешения читать эти страницы. Тогда он засуетился и попросил меня никому не рассказывать о том, что он прочитал «Правила» Бегемота.

— Показал тебе, как другу,— сказал он.

Я промолчал. Мне вообще не нравится, что он все время называет меня своим другом.

3

Теперь Олег и Нина встречались иногда у меня, хотя у меня не дворец. Конечно, когда отца не было дома и я знал, что он ушел надолго. Я тоже уходил, а они держались за руки, целовались и шептались. Причем я заметил, что тетушка Ло расстроена, а Пашка Перов выглядит так, как будто у него каждый день именины. Теперь они с Ниной встречались в лесу за Росстанной, и мне нужно было ходить через мост, потому что он там в лесу малевал Нину и делал из нее, по-моему, икону. Малюет он здорово и быстро, так что видно, что она, хотя похожа на икону, но такая красавица! Просто нельзя оторваться! Я тоже ее, по-моему, люблю, иначе почему мне хочется иногда дать Олегу по шее? Но я думаю о ней как-то странно. Мне хочется, чтобы она, как божья матерь, никому не досталась. Но как это сделать? Не знаю. И еще мне иногда хочется ее бить и ругать, потому что она в конце концов достанется не тому, так другому.

Между прочим, мне кажется, что к Пашке она не совсем равнодушна. Они долго разговаривают расставаясь, и видно, что ей интересно все, о чем рассказывает Пашка.

Олег бесится, когда я рассказываю ему об этом, и хочет врезать Пашке, но ему нельзя испортить свою репутацию положительного героя. Так как мне, в общем, тоже хочется врезать Пашке, я ему это обещал, хотя Пашка никого не трогает, и если дерутся, всегда вступается и вообще старается, чтобы помирились. «Хотят ли русские войны» — это написано, по-моему, именно про Пашку. Он-то, во всяком случае, ни с кем не хочет воевать.

Короче говоря, если бы не Нина, из-за которой мне иногда хочется всех убить, я бы не стал связываться с Пашкой.

Кстати сказать, тетушка Ло, которая обожает Перова, тоже приняла эту историю близко к сердцу. В лесу за монастырем я заметил, как она пряталась за кустами и смотрела на Пашку и Нину. Это было интересно, потому что у нее был такой вид, как будто ей подарили на платье. Следовательно, Пашка и Нина находились под двойным наблюдением. По правую и левую стороны поляны мы с тетушкой Ло, а на поляне Пашка и Нина. Причем Нина не позировала, а просто читала какую-то книгу или вязала.

А тетушка Ло держала в руках платок и вытирала слезы. Между

прочим, она тоже слабовольная, но человек неплохой. Не путается в наши дела и вообще добрая, как теленок. Я видел, как она возилась с младенцем Пашки. Кто ее заставляет? Ведь эти старые девы, говорят, сухари, им все до фонаря. А она — нет. Она и со мной однажды решила поговорить, наверно, надеется, что я не такой уж пропащий. Начала издалека: «Почему ты, Бугаев, не ходишь, как все люди, по улицам, а постоянно лазаешь через заборы?» А я отвечаю: «Я это делаю потому, что в эпоху технического прогресса люди перестали удивляться. Значит, одним чувством стало меньше, а у нас, или по крайней мере у меня, их и так очень мало. Не удивляются, например, что человек долетел до Луны. Это ненормально. Тем более, что большинство наук построено, по-моему, на удивлении».

Она говорит: «Но при чем же здесь заборы?». А я отвечаю: «Чтобы удивлять. Если бы я был, например, знаменитым фокусником и научился удивлять людей, я бы не лазал через заборы». Тогда она говорит: «Скажи, пожалуйста, ты доволен собой?»

Я говорю: «Особых претензий не имею». А она: «Вот Лев Толстой считал, что нужно путаться, ошибаться, вечно бороться и работать. Ты с ним согласен?»

Я говорю: «Нет! Ведь он жил, когда не было технического прогресса. У него было за что умирать, кроме технического прогресса. А я за технический прогресс ни бороться, ни тем более умирать не согласен».

Так мы и договорились. Она — про Фому, а я — про Ерему. Но вообще-то она человек. И это не беда, что у нее нет воли, чтобы с нами справиться. Нужна совсем не воля, как думает, например, Бегемот, а интерес. Ей все-таки интересно, как мы живем и что думаем. А всем остальным (кроме, может быть, Марии Львовны) наплевать. Вот и приходится думать за себя. Я лично не помню, чтобы какая-нибудь мысль учителя на меня повлияла. Вот на уроках Марии Львовны — она, пожалуй, на меня влияет. Вообще, чтобы мы занимались, учителям надо сделать, чтобы было интересно, и тогда я, например, не стал бы так дурачиться. Но со мной дело плохо, потому что я очень отстал. А Марии Львовны фамилия — Ласточкина, и ее все сразу стали звать Ласточкой — на нее она, между прочим, чем-то похожа. Мне понравилось, что как только директор представил ее и ушел, она сказала: «Я волнуюсь, ребята, потому что вижу вас в первый раз, и, хотя приготовилась к уроку, все равно очень волнуюсь». Это было сказано так, как будто она не учительница, а мы не ученики, а просто она пришла познакомиться и поговорить о деле, которое и ее и нас одинаково интересует.

Она задала нам сочинение на свободную тему, и я схулиганил и написал сочинение под названием «Матерщинники». Я доказывал, что эти выражения, желаем мы этого или нет, вошли в разговорный язык. Напрасно, пожалуй, я привел примеры, но без некоторых обойтись было невозможно. Они, кстати, все, как один, принадлежали отцу. Она прочитала, и нарочно поставила «пять» (хотя у меня было много ошибок), и предложила мне прочесть сочинение перед классом. Я начал читать, но мне стало стыдно, потому что как-то

вышло, что я ее обидел — написал эту муру, в то время как она разрешила нам свободное сочинение. И я на глазах всего класса разорвал тетрадь. Теперь мне нужно было извиниться перед ней, но оказалось, что это дьявольски трудно. Я все-таки промычал что-то и выскочил из класса.

Потом ребята говорили, что она даже хвалила меня, что я затронул интересную тему, но подошел к ней не с того края.

Через несколько дней она все-таки поговорила со мной.

— Мне хочется узнать: зачем ты выбрал такую тему? — спросила она.

Я сказал, что мне интересно, почему в таких выражениях часто встречается самое дорогое для человека слово — мать. И привел в пример моего отца, потому что никто не умеет ругаться лучше, чем он. И сказал, что не хотел ее обидеть, просто было скучно писать такие сочинения, как «Мой день» или «Как я провел лето».

— Это хорошо, что тебе интересно,— сказала она,— но в жизни встречается многое, что не так уж интересно. Далеко не всем было интересно, например, воевать, но это было необходимо, и никто не думал о том, что это интересно. Ты согласен со мной?

Я не знал, что ответить, и на всякий случай сказал, что согласен. Но мне казалось, что воевать, например, тоже интересно.

4

Вчера у нас появилась новенькая. Ее родители переехали в наш город. В школу она пришла в форме, а вечером я встретил ее на проспекте Ленина — это наша главная улица. На голове у нее была огромная меховая шапка, а на плечах — укороченная куртка, отделанная мехом. Джинсы были закатаны до колен, а сапоги на высоких шпильках. Морда, правда, шесть на двенадцать, но бровки выщипленные. Словом, наши девицы с ума сойдут от зависти, кроме, может быть, Нины. И Сони Фрейман, которой на все наплевать, кроме ее баскетбола.

Я сказал, что в сравнении с Ниной она, конечно, все равно что плотник против столяра, но что вообще-то они обе... и тут я произнес слово, которое особенно любит мой батька. Неудачно вышло, что Нина случайно оказалась рядом. Не знаю, слышала ли она меня, но, наверное, услышал Пашка, потому что он побледнел и крикнул:

— Молчи, сволочь!

И дал мне по лицу.

Я не стал отвечать и только сказал:

— После уроков.

Мне почему-то давно хотелось врезать ему, еще когда я видел, как он и Нина подолгу разговаривают в лесу.

И мы схватились, когда педагоги почти все ушли. Ребята взялись за руки и окружили нас — мы видели такой американский фильм.

Пашка оказался сильнее, чем я думал, и когда я хотел ударить его под дых, заслонился рукой.

Мы дрались прямыми, оба стали в боксерскую стойку. Но он как-то оказался сбоку, прижал мою голову к груди левой рукой, а правой начал сильно бить по лицу. Нас начали разнимать, потому что полагается драться до первой крови, а он разбил мне нос, кровь попала в глаза, и я стал плохо видеть. Но он все-таки рвался ко мне, видно, был в бещенстве. Его не пускали, а потом положили на скамейку, наверно, я ему все-таки здорово врезал. Надо было идти, мне обмыли лицо и предложили тоже полежать, но я ушел, потому что видел, что ребята на Пашкиной стороне. Девочки сразу убежали, а новенькая, между прочим, осталась.

Мне хотелось зареветь, когда я плелся домой, все-таки было подло так обругать Нину и эту новенькую, которую я вообще совершенно не знал. И Пашку мне было жаль, и я жалел, что мы из-за меня подрались. Все-таки я ему здорово врезал, один удар пришелся по голове, иначе его не положили бы на скамейку. И завтра все будут плевать на меня, потому что Пашка был прав, когда сказал, что я сволочь.

В общем, я решил подержать локоть над свечкой. Один раз я уже держал в прошлом году. И тогда под локтем образовался пузырь, который потом лопнул, и отец велел мазать локоть йодом. Я мазал, и было еще больнее, чем когда я держал локоть над свечкой. Коричневое пятно все-таки осталось. Правда, меня немного утешало, что я таким образом почему-то отомстил Нине, которая никогда не смеялась, когда я выделывал свои шутки, и смотрела на меня, как будто я животное, а не человек. Почему отомстил — не знаю.

Олег сразу ушел, когда мы дрались, это ведь его не касалось. У меня почему-то очень болела нога, та самая, из-за которой я хожу боком, и не знаю, как я доплелся бы до дома, если бы вдруг не появилась откуда-то Соня Фрейман. Она довела меня и убежала, торопилась на тренировку.

Когда я сжег на этот раз правый локоть, мама заставила меня снять повязку и чуть не грохнулась в обморок, а потом стала так плакать и причитать, что я сразу стал врать, что это вышло случайно. Мы пошли к доктору Плахову, он сказал: «Как это тебя угораздило?» — а потом прибавил: «Держись» — и вылил на локоть какую-то жидкость, от которой у меня в глазах стало темно и я, как зверь, зарычал от боли.

В общем, я три дня провозился с этой рукой, сидел дома, и только мать приходила подкармливать меня, когда отца не было дома.

Олег не появлялся, ему, видите ли, не к лицу было заходить в нашу лачугу. Нельзя сказать, что он мне опротивел, но в душе постепенно накапливалась злость против него, и было бы справедливо, чтобы я схватился с ним, а не с Пашкой. Впрочем, с ним не очень-то справишься. Он занимается какой-то особенной гимнастикой, по утрам принимает холодный душ, и бицепсы у него железные. Он шутя заложил бы мне руки за спину и стукнул бы головой о стенку.

5

...Думал о себе и пришел к убеждению, что я странная личность. Пашка мне нравится, а я с ним дерусь. Олег мне не нравится, а я его слушаюсь, хотя иногда просто ненавижу. В чем же дело? Неужели я такой подлец, что держусь за Олега, потому что мне перепадает, когда я покупаю для него Нинкины безделушки? Неужели у меня не хватает силы воли, чтобы отказаться от его сучьих денег? Неужели мне ничего не стоит наврать, что они с Нинкой рассорились в то время, когда отец запретил ему с ней встречаться?

Выходит, что я действительно подлец. Или я слабовольный? Конечно, слабовольному тоже хочется жрать, а не питаться овощными консервами, которые на дне банок оставляет мне папаша. Но такой слабовольный человек должен презирать себя, а я не знаю, презираю я себя или нет. Кажется, презираю. Ведь Перову приходится не легче, чем мне. А он терпит, и не жалуется, и все успевает. А я перед ним козявка, и никто не может мне помочь, кроме одного человека. Этот человек — я.

Я думал об этом, когда мы мыли полы в школе и ребята не обращали на меня никакого внимания. А когда перестал мыть, перестал и думать. Была не была! Пойду в ПТУ, а там до свидания, и Олег, и Нина, и Пашка, и цирк, который я устраивал в школе. Конечно, есть человек, с которым я мог бы поговорить, но он живет в Ленинграде. Это мой двоюродный брат Сашка Лазутин. Я как раз получил от него письмо и не ответил, хотя несколько раз хотел написать про Олега, но оказалось, это трудно или даже невозможно. Если бы поговорить — другое дело, а то в письмах мы дурачимся, а если и написать серьезно, он бы просто ничего не понял. Он вообще на меня не похож. Метит на золотую медаль и, вероятно, ее получит. Но трепаться он любит не меньше, чем я, и поэтому я написал ответ в его духе:

«Брат мой Саша, трудно передать чувство, с которым я сажусь писать это письмо. Моя нервная система не расстроена, но потрясена. Ты, кажется, хотел летом посчитать мои ребра, но я боюсь за твою селезенку. Я найду ее даже под слоем твоих мощных мускулов, которые ты собирался мне продемонстрировать.

Ты просил меня написать о моем классе. Исполняю просьбу. На первой парте передо мной сидят Митрохин и Барышников; у первого поразительная способность нести всякую чушь, и он лихо расправляется с Чернышевским и взглядами на роль личности в истории, ничуть не обижаясь на двойки. Рядом с ним Барышников с подозрительно честной мордой и широко открытыми зеницами — этот вообще не учится, а валяет дурака, как я, но в другом роде: показывает, какой он умный. За ним возвышается наш положительный герой Олег Рязанцев, личность сложная, отчасти загадочная и, во всяком случае, считающая себя самым умным в классе: и среди школьников и среди учителей. Будущий дипломат и, как я стал в последнее время догадываться, порядочная скотина. Около окна сидит Пашка Перов, с которым я недавно подрался. Он, что называется, «личность», и мне

хотелось бы с ним дружить, а не драться. На «Камчатке» у нас дремлет Перепенчук, о котором наша Мария Львовна как-то сказала: «Чому ты не сокил, чому не литаеш?» Трое ребят, которые никогда не расстаются, тоже сидят на «Камчатке». Это о них написано в стенгазете:

Есть в классе трое чудаков:
Черных, Березин и Панков.
Кто же умней из них троих?
Панков, Березин иль Черных?
Кто классу более полезен?
Ответ: Панков, Черных, Березин.

Еще у нас есть, конечно, девчонки, но о них не стоит писать. Сонька Фрейман, дылда, баскетболистка, и Нина Порошина, наша знаменитость, о которой я тебе напишу в другой раз, Амины! Твой брат Петя».

6

Год приближался к концу, все сбились с ног, готовились к «дню последнего звонка» и на наш девятый почти перестали обращать внимание.

Я поднес тетушке Ло цветы в этот день, вспомнил, какое у нее было лицо, когда отец меня колошматил плеткой. Она удивилась и не хотела брать, но потом подумала и все-таки взяла.

Вообще дела шли все хуже и хуже, отец меньше пил, когда подвертывалась выгодная работа, а теперь его выгнали почти из всех кинотеатров, и он стал пить каждый день. Откуда у него деньги — не знаю. Я пошел к матери, а она, только увидела меня,— опять в слезы. Я говорю: «Не плачь, мама. Кончу ПТУ, буду токарем, сниму комнату и возьму тебя к себе, хватит тебе по чужим людям мотаться. Я тебе обещаю, что в ПТУ буду учиться хорошо, изо всех сил, а после стану хорошо зарабатывать». А она заплакала еще больше и говорит: «Ты правда обещаешь?» Я говорю: «Честное слово». Другие санитарки ходили и нарочно не обращали на нас внимания, жалели.

С Олегом мы видимся каждый день, и однажды он попросил меня показать, как Паша Перов в лесу рисует Нину. Я привел, и он долго смотрел на Нинин портрет, а когда я обернулся, был белый, как бумага. И заскрипел зубами, или мне это только показалось. И говорит:

— Хочешь тридцать рэ?

А у меня таких денег никогда не бывало.

Я говорю: «За что?»

— Получишь. Разрежь эту мазню. И получишь.

— Тридцать?

— Да.

Я говорю:

— Как же так? Это же произведение искусства!

А он:

— Это халтура, а не произведение искусства.

Я вижу, что он врет, потому что Нинка на портрете была как живая. Перед лицом как бы прозрачная тень, через которую видны большие задумчивые глаза. Губы точно улыбаются чуть-чуть или хотят улыбнуться.

Я говорю:

— Не могу. И не хочу.

Он говорит:

— Черт с тобой, бери пятьдесят.

Пятьдесят он мог только украсть у матери, но на это мне было наплевать. На пятьдесят я мог спокойно прожить чуть ли не полгода. На пятьдесят мне бы до самого ПТУ хватило, да еще я мог помочь матери хоть немного. Мы стояли и молчали. Потом пошли, и только около его дома я сказал:

— Ладно. Только деньги на бочку.

Он вынес мне пятьдесят рублей, и я ушел.

7

Нельзя сказать, что я совсем не спал эту ночь. Иногда задремывал, но мне было муторно, и я все вынимал из-под подушки эти пятьдесят рублей и смотрел. Это было, как будто я проглотил гвоздь и он ходит внутри, колет в разные места, иногда в живот, а чаще всего — в сердце. Я думал, что так чувствует себя человек, который за деньги нанялся убить другого человека. Портрет Нины я видел так ясно, как будто он висел на стене в моей комнате, хотя было темно. Иногда мне становилось страшно, и тогда я начинал думать, как много можно сделать на эти пятьдесят рублей. Во-первых, я купил бы себе нормальные штаны, потому что старые висели на мне, как мешок, и мать чинила их два раза. Потом я купил бы рубашку, потому что у меня фактически только одна рубашка, которую я сам стираю, а иногда мать, когда я сижу дома в старой. Кроме одежды, я все остальное распределил бы равными долями, чтобы не сразу наброситься на жратву, а тратить каждый день понемногу. Но гвоздь все ворочался внутри, и казалось, что деньги жгут меня через подушку. Иногда я думал: «Это подлость». Но в подлости, очевидно, был какой-то азарт, потому что я сразу же спрашивал себя: «Небось, слабо, дружок?» — и не знал, что ответить.

Наша лачуга стоит на Лапиной горке, на улице, которая тоже называется Лапина горка. И из окна виден домик Порошиных — у них собственный домик,— виден как на ладони. Окно Нины открывается на нашу сторону, и я вижу, как в комнате зажигается и гаснет свет. Нина читает перед сном, и по тени на занавеске видно, когда к ней заходит мама. Наверно, ей не позволяют долго читать перед сном, потому что, когда мама уходит, окно становится темным. Но иногда Нине, видно, не спится, потому что через час или через два — после того, как родители засыпают,— свет снова загорается и она снова читает.

И когда она встает, я тоже прекрасно знаю, потому что не раз видел ее руку, отодвигающую занавеску,— Нина выглядывает, чтобы узнать, какая погода.

Я встал и оделся. Отец пришел поздно и сразу завалился и храпел на своем матраце в углу. Надо было посмотреть, что к чему, а я, одетый, сидел ночью на стуле и не мог заставить себя выйти из дому.

В июне рано светает, и, должно быть, не было еще четырех часов, когда я пересилил себя и вышел почему-то в незашнурованных ботинках. В городе было пусто, только дурачок Володька куда-то тащился с мешком за плечами, у нас есть такой городской дурачок, который все время улыбается в бороду и не говорит, а мычит. Почему-то это показалось мне плохой приметой. Я подошел к дому Порошиных — два шага — и стал думать, как я сделал бы это, если бы решился. Да как! Ничего особенного! Нинка спала с открытым окном. Я скинул бы ботинки и полез — теперь мне стало ясно, почему они остались незашнурованными. Олег мне говорил, что картина висит напротив кровати, над письменным столом. Рядом с окном была водосточная труба, новенькая, дом только что отремонтировали, и труба начинала поблескивать под утренним солнцем. Ничего не стоило забраться по ней до второго этажа, это заняло бы две-три минуты. Правда, трудно было дотянуться от трубы до окна, которое открывается внутрь. Но можно как-нибудь извернуться и, держась за трубу одной рукой, поставить ногу на подоконник.

Я стоял и думал. У меня был отцовский нож, которым он подчищал краску. Что-то душило меня. В голове было пусто, и я оглядывался — надеялся, что кто-нибудь пройдет и нельзя будет лезть по трубе. Но улица была пуста, и стало быстро светать. Я взялся за трубу и отдернул руку. Она была холодная, а мне показалось, что она горячая и что я обжег руку.

И вдруг мне показалось, что все это уже было: что я полез, держась за трубу, створка почему-то отворилась, я дотянулся до окна и лег животом на подоконник. Нинка спит, а я будто влезаю в комнату, и картина действительно висит над столом. А потом я осторожно снимаю ее и аккуратно режу по диагонали, стараясь не попасть на глаза. Потом прыгаю прямо в окно.

Это могло быть, и я почти видел все это. Но, сжимая нож в руке, я стоял под окном долго, может быть, час, пока на улице появились люди. И, наверное, Нинка уже встала, чтобы помочь матери приготовить завтрак.

...Ух, как я бежал, хотя нога очень болела. Не раздеваясь, я сунулся в постель и обхватил голову руками. Отец храпел и что-то бормотал во сне, а я никак не мог унять дрожь, меня трясло, как в лихорадке. Приложил руки ко лбу — кровь? Откуда кровь? Должно быть, не заметил, как ударился обо что-то.

Нашел какую-то тряпку, намочил ее холодной водой и приложил ко лбу. Нащупал в заднем кармане брюк деньги. На месте. Пятьдесят. Почему так медленно светает в июне, никогда не замечал, как медленно светает. Но светало быстро!

Было еще рано идти к Олегу, и я стал сочинять, что я ему скажу. И сочинил, хотя получилось очень длинно, и я боялся, что скажу совсем не то, что придумал.

Было воскресенье, возможно, что Олег уже встал. Все равно, девятый час. И я решил, что пойду к нему. У них была домработница, толстая, в белом переднике. Я ей сказал, чтобы Олег вышел, когда она меня не пустила.

— Они пьют чай,— ответила она.

Они — это были папа и мама Рязанцевы, но я вообразил, что она сказала «они» про Олега, и почему-то это еще больше разозлило меня.

Я оттолкнул ее, проскочил коридор и, услышав за одной из дверей голоса, рванул эту дверь и оказался в столовой.

Рязанцевы действительно пили чай. Отец в каком-то мышином халате, мать в капоте, Олег в пижаме.

Он смутился, когда я вошел, и сказал:

— Ты бы мог позвонить, Бугаев.

Не отвечая, я швырнул ему деньги в лицо, но не попал. Он вскочил, и деньги упали перед ним на стол. Отец тоже вскочил и начал что-то спрашивать меня строгим голосом. Но я не слушал.

— Подлец! — крикнул я Олегу.— Возьми свои пятьдесят рублей, и больше я твоими грязными делишками заниматься не стану.

— Позвольте, позвольте,— сказал папа, подходя поближе ко мне.— В чем дело?

Он был крупный, широкий, высокий и мог бы пришлепнуть меня, как муху. Но я не испугался. Наоборот. Почувствовал, что он как будто немного боится меня.

— Дело в том, что ваш сын — мерзавец,— ответил я спокойно.— И спрашивайте его самого, что он хотел сделать.

— Я тебе все объясню, папа,— дрогнувшим голосом сказал Олег.

— Он вам все наврет,— возразил я.— И вы ему поверите, потому что он...

Мама, которая до сих пор сидела как замороженная и только делала большие глаза, встала, запахнула свой роскошный капот, в вороте которого виднелись коровьи груди, и вдруг закричала так, что зазвенело в ушах:

— Вон!

— Да, я уйду,— сказал я,— только мне стыдно, что я был товарищем такого подонка.

— Я что-то не помню, чтобы мы были товарищами,— ответил Олег. Он уже пришел в себя.

— Тем лучше. А я помню. Но с этой минуты я тебя знать не хочу. И не беспокойся, пожалуйста. Я никому не скажу, что ты меня нанял разрезать Пашкину картину. Так что твоя драгоценная репутация останется в полном порядке. Не расскажу, потому что мне стыдно, что я был таким слюнтяем и бабой. И не хочу, чтобы эта грязная история распространилась. Адью!

«Адью» — это я тоже придумал заранее.

8

Я и прежде ходил за Ниной, даже не потому, что меня просил об этом Олег, а сам не знаю, зачем. Мне почему-то было важно знать, где она, что делает, куда идет и так далее. В воскресенье, например, она шла через Росстанную на базар одна или с мамой. Я шел за ней (и она, конечно, этого не замечала), когда она заходила за Соней Фрейман и они вместе отправлялись к стадиону посмотреть на соревнования. Один раз она с новенькой пошла в театр (у нас Народный театр), и я как дурак проторчал в сквере до конца спектакля. Но я никогда не видел ее в парке с Пашей Перовым, а тут вдруг увидел — они сидели на скамейке и разговаривали. У нас парк большой, и одна из боковых аллей кончается гротом, перед которым стоят полукругом изрезанные фамилиями скамейки. Один чудак написал свою фамилию вдоль всей кромки грота чем-то черным, может быть смолой, чтобы все знали, что здесь был в 1983 году не кто-нибудь, а сам Иван Попов.

Вот подле этого грота разговаривали Нина и Пашка. Он что-то говорил, она слушала, и так внимательно, как в театре, когда во время действия обернешься назад и видишь заинтересованные лица. Потом она что-то спросила, он ответил и негромко рассмеялся. И она тоже стала смеяться.

Это было уже не рисование в лесу, когда они оба были заняты делом. Это было свидание, и я с какой-то свирепой радостью подумал, что напрасно наш дипломат затеял эту игру в «поссорились». Я сразу понял, что эта игра не должна понравиться Нине.

Долго они разговаривали, подул ветерок, и мне стало даже холодно в моей видавшей виды рубахе. Потом пошли по аллее, и Паша проводил ее через весь парк и через город до дома...

В это утро я вскочил ни свет ни заря и, устроившись на нашем единственном стуле рядом с подоконником, стал смотреть на дом Порошиных и думать о Нине. Я чуть не заснул на стуле и, чтобы не заснуть, пошел ополоснуть лицо холодной водой. Вернулся, уселся, стал смотреть, и тут из Нининого окна вылетел Рязанцев. Он был в носках и упал неудачно, прямо на каменную панель, но все-таки встал, подхватил ботинки, стоявшие подле дома, и сразу завернул на Застенную, которая сходилась здесь с Лапиной горкой. Он вылетел как-то странно, как будто его выбросили, но, конечно, его никто не выбрасывал, а он выскочил сам.

Мне сразу стало ясно, что он добрался до раскрытого окна, держась за водосточную трубу. И дальше все произошло так: Нина в платье, надетом наспех, криво, выбежала из дому, чтобы его догнать, как мне сперва показалось. Я тоже выбежал и пустился за ней к Росстанной, почти не скрываясь, потому что ей было некогда оглядываться, она очень спешила. Мы оказались на берегу почти одновременно, но в разных местах: я недалеко от парома, который уже готовился отчалить, а она бросилась к тетушке Ло, выходившей с сумкой в руке из дому. Понятно, я не слышал, о чем они говорили, и долго не мог понять, почему она побежала к тетушке Ло. Но когда

Нина ушла, проводив ее до парома, а тетушка Ло заторопилась и поспела, когда уже начали снимать сходни, все-таки понял. Наверно, она надеялась или знала, что Паша с раннего утра работает над копированием фресок в часовне, и Нина хотела, чтобы тетушка Ло рассказала ему, что случилось.

Между прочим, я кстати оказался у реки, мне давно пора было искупаться. Я пошел к пляжу, разделся и стал плавать и думать. Это было ясно: Нина хотела встретиться с Пашей. Но видела ли она Олега? Он хотел воспользоваться тем, что Нина спала. Да, она спала и, наверно, проснулась, иначе он постарался бы осторожно спуститься. Все-таки домик Порошиных стоит на высоком фундаменте, от окна до земли будет метра четыре. Может быть, ее разбудил какой-нибудь шорох, створка под ветром могла затвориться, и какое-нибудь неосторожное движение разбудило ее. А этот подлец хотел, чтобы осталось неизвестным, кто разрезал портрет.

Паром пристал к тому берегу, тетки с сумками пошли на базар, а тетушка Ло — в обратную сторону, к часовне.

Наверно, она застала там Пашку, потому что пробыла в часовне минут пять и они вместе вышли на горку.

Хотя очень мало народу на той стороне ждали парома, он отчалил прежде, чем Перов с тетушкой Ло спустились на берег. Они о чем-то разговаривали или спорили, и Пашка несколько раз взмахнул рукой в сторону парома — наверно, тетушка Ло огорчилась, что он не поспел.

Потом он быстро сбежал с горки, разделся, и я сразу понял, что он собрался переплыть Росстанную,— мы делали это не раз. Тетушка Ло осталась стоять у часовни, а он бросился в воду, поднял левую руку, в которой были штаны и рубашка, и поплыл довольно быстро, если считать, что он действовал только правой рукой. Обычно мы переплывали даже быстрее парома: у нас была такая игра — кто перегонит паром. Но Перов, конечно, даже не догнал его. На середине реки он почему-то стал загибать в сторону, и я вдруг догадался, что водохранилище переполнилось, шлюзы открыли и холодная вода — в водохранилище она всегда гораздо холоднее — стала относить Пашу. Я испугался, но не очень, просто подумал, что ничего особенного, доберется до берега в другом месте, пониже. Но он через несколько минут почему-то перевернулся на спину, бросил одежду, и стали видны всплески вскинутых и опускающихся рук.

Тетушка Ло побежала по тропинке в ту сторону, куда относило Пашу, и я понял, что она тоже догадалась, что шлюзы открыты.

Недалеко от пристани стояли лодки, какие-то люди ловили рыбу, я побежал к ним и показал на Пашу, который был уже далеко и то держался на воде, то скрывался. Они не видели Пашу, я крикнул им: «Тонет!» — и один бородатый живо сложил удочки и взялся за весла.

Мы поспели, когда он еще держался на воде, но голова как-то странно болталась и руки висели, как плети,— может быть, ударился головой о металлические сваи. Бородатый один вытащил его, он лежал на дне лодки с закрытыми глазами. Я сказал: «Паша, ты слы-

шишь меня?» — и пригладил его волосы, упавшие на лоб. Он не ответил. Но мне казалось, что он жив, просто захлебнулся и не может заставить себя говорить. Бородатый быстро подогнал лодку к берегу, кто-то позвал милиционера, и он стал делать Паше искусственное дыхание. Собралась уже толпа на берегу, все что-то говорили, советовали, милиционер никого не слушал и, стоя на коленях, поднимал и опускал Пашины руки.

Кто-то вызвал машину «скорой помощи», доктор вышел, встал на колени рядом с Пашей. За ним вышла сестра. Доктор назвал лекарство, и сестра сделала Паше укол. Но он не очнулся.

Какое-то остолбенение нашло на меня, я точно оглох, но все-таки слышал беспорядочные крики, а потом сел на землю, точно это могло помочь Паше. Как в тумане, я увидел тетушку Ло, прибежавшую запыхавшись, она замешалась в толпе, а через несколько минут ее вывели под руки, и я понял, что дело плохо. Она упала, ее бросились поднимать. Машина увезла Пашу, а тетушку Ло, у которой подгибались ноги, положили на траву, и откуда-то у нее под головой появилась подушка.

Машина вернулась за ней, стали расходиться, а я все сидел на земле и думал: если бы Паша догадался, что шлюзы откроют, он бы не стал переплывать Росстанную, а побежал бы через мост, хотя это было вдвое длиннее. В водохранилище вода почему-то очень холодная, но я замерз просто потому, что долго купался. Какие-то обрывки мыслей перемешались у меня в голове. В последнее время шли дожди, водохранилище переполнилось, и шлюзы надо было открыть. Я думал об одном и сейчас же начинал думать о другом. Может быть, если бы я сразу побежал к рыбакам, то лодка гораздо раньше подоспела бы к Паше.

Надо было встать и куда-то идти, а я все сидел на земле и думал.

9

На похороны Паши пришла не только школа, но многие из картинной галереи и совсем незнакомые люди. На его мать, которую привели под руки, у нее на каждом шагу подгибались ноги, я старался не смотреть.

Принесли много цветов, и больше всех, конечно, Рязанцев, притащивший целую оранжерею. Нины не было, говорили, что она заболела. Конечно, наш «дипломат», который был такой же, как всегда, произнес речь от имени класса. Он держал себя, как будто ничего особенного не случилось,— у этого подлеца сильная воля.

Накануне я провел ночь в морге, у Пашиного тела. Сторож, от которого разило водкой, спал у входа и не проснулся, когда я прошел. В морге были еще покойники, но я на них не смотрел.

Паша лежал голый, закрытый простыней, которую я отогнул, чтобы открылось лицо. Оно было белое, с таким выражением, как будто он хотел сказать что-то и не мог. И от этого мне было его особенно жалко.

Мне казалось, что в эту ночь мы были одни на свете. И что если бы мы подружились, я бы не стал заниматься своими дурацкими трюками. Ведь я валял дурака только для того, чтобы на меня обратили внимание, а теперь мне было просто страшно подумать, что он смотрел на меня, как на шута, и ни разу в жизни не подумал обо мне серьезно. Теперь я понял, что я должен был рассказать, что задумал сделать Олег, и не бояться обвинить его перед всем классом. Почему я этого не сделал? Потому что не догадался, что Олег решится сам разрезать портрет,— мне казалось, на такой риск он все-таки не решится. Или потому, что надеялся как-нибудь вывернуться и останется неизвестным, кто это сделал?

Да, я виноват, что Пашка утонул, но мне казалось, что мы все в чем-то перед ним виноваты.

Стало светать, а я все смотрел на Пашу и думал...

В общем, больше рассказывать не о чем. Я хотел поступить в ПТУ, из которого выходят слесари-крановщики, потому что у них большая зарплата. И меня взяли, хотя оказалось, что у меня в тазобедренных костях какая-то чертовщина и что, таким образом, сама природа заставила меня ходить боком. И что это наследственный недостаток, по-видимому, от отца, хотя я сказал им, что, когда он трезвый, он ходит прямо. И в армию меня не возьмут.

Первый год я занимался, как зверь, многое было упущено в школе. Я все-таки не догнал своих одноклассников, но меня не выгнали, видели, что я очень стараюсь.

Отец по-прежнему пьет, я теперь живу в общежитии. Маме повезло. Ее перевели в «реанимацию» — так называется отделение для самых тяжелых больных — и повысили зарплату. Но она все равно получает немного. И я твердо решил, что, когда кончу ПТУ и стану на ноги, возьму ее к себе, чтобы она не ютилась где-то в каморке за кухней. Так что мои дела идут нормально, и все, что я выкидывал в школе, кажется какой-то дурацкой игрой, которая почему-то казалась мне интересной.

В городе я бываю редко, потому что наше ПТУ в Заречье, далеко в лесу. Нину я больше не встречал. К тетушке Ло однажды зашел нарочно, чтобы она порадовалась. И она сказала, что я очень переменился. Я был в форме, нарочно заглянул в парикмахерскую, но она сказала, что не в этом дело.

С Соней мы столкнулись в трамвае. Она тоже сказала, что я изменился, и похвасталась: ее команда набила воронежской всухую, и если дело так пойдет, команду отправят в Москву на всесоюзные соревнования.

Насчет Нины она сказала, что переписывается с ней, и Нина только один раз упомянула об Олеге. Он учится в МГИМО, а она в Московском педагогическом институте. Встречается ли она с Олегом или они разошлись, Соня не знала.

1983

Летящий почерк

1

Впервые это случилось в пятом классе. Дима написал сочинение на тему «Моя комната» и получил тройку — из-за пианино. Его отец не любил музыку и называл ее «организованный шум». Дима написал: «В моей комнате стоит кровать, стол, стул и этажерка», и учительница красным карандашом оценила сочинение как: «Неинтересное и нетворческое». Оказывается, надо было упомянуть рояль или пианино, хотя у Димы в комнате не было ни того, ни другого. Это «надо» впервые заставило задуматься Диму.

В другой раз учительница накануне контрольной работы по темам роно собрала класс, сообщила тему, подобрала цитаты и разработала планы. Дима сказал ей, что это — обман, ушел и на другой день получил за сочинение пятерку. Обман был раскрыт, у директора были неприятности, дело рассматривалось на педсовете, и учительница, оправдываясь, сказала, что она защищала честь школы. Об этом узнали в классе, и Дима снова глубоко задумался: значит, чтобы защитить честь школы, нужно солгать?

Потом у Димы был интересный разговор о вранье и девчонках. Мишка Палладин считал, что от вранья можно избавиться, исключив из школьной программы все гуманитарные предметы. Или, занимаясь ими, открыто пользоваться шпаргалками, потому что шпаргалка по своей природе — зеркальное отражение правды. «Что касается девчонок,— заметил он,— и прочей белиберды, мне лично, чтобы не врать, приходится пользоваться математическими формулами. Но я все равно вру. А ты что? Решил девчонкам не врать?»

— Мне, брат, очевидно, придется худо, потому что я решил вообще не врать,— грустно заметил Дима.— Я заметил, что от вранья у меня руки дрожат и становится холодно, как будто меня бросили в прорубь.

— Надо лечиться,— философски заметил Палладин.

2

Родители в общем нравились Диме, хотя жить было бы легче, если бы они время от времени не занимались вопросом о его воспитании. Отец не делал почти ничего, что ему не хотелось де-

лать, мало ходил, по утрам не делал зарядку, не обливался холодной водой и вообще не мучил себя, хотя иногда говорил, что себя надо мучить. Он довольно толстый, бледный, в очках, а когда болеет, отказывается от лекарств на том основании, что неизвестно, почему они помогают. Целый день он ничего не ест, возвращается домой из суда (он прокурор), обедает в семь часов, а в восемь требует ужин.

Мама — врач, но, по-видимому, плохой врач, потому что она откровенно признается в том, что давно забыла все, чему ее учили в медицинском институте. Она часто жалуется на усталость и действительно легко устает, хотя отец утверждает, что согласно закону какого-то Джемса она должна еще больше уставать от постоянных жалоб на усталость. Она так много и, в общем-то, неясно говорит, перескакивая с одного на другое, что отец начинает смеяться, а Дима тихонько гудеть «у-у-у» или выключаться, как будто говорит не мама, а радио, но она все равно говорит, и если долго гудеть, начинает сердиться. Диму родители воспитывают главным образом тем, что они за него боятся. По их мнению, здорового, обыкновенного парня на каждом шагу подстерегают опасности на земле и воде, хотя Дима хорошо плавал (второй разряд) и считался самым сильным в классе.

Словом, родители не мешали бы жить, если бы по меньшей мере два-три раза в неделю не ссорились. Существовала, оказывается, какая-то Наталия Михайловна, с которой отец, по-видимому, виделся гораздо чаще, чем хотелось маме. Ссоры начинались внезапно, чаще всего в передней. Он надевал пальто, закутывал шею, боясь простудиться, а мама сперва ругала его шепотом: «Подлец, подлец!», а потом все громче и наконец: «Все кончено, уходи и не возвращайся». Отец отвечал, что он давно бы ушел, если бы не дети. И, хлопнув дверью, он торопливо спускался по лестнице, а следом за ним, к удивлению Димы, уходила и мама. С балкона было видно, что она идет за ним, прячась за углом или в подъездах. Это, пожалуй, можно было объяснить тем, что она за него беспокоится. Но чем же она могла помочь ему, если бы на него напали? Впрочем, однажды Диме представилось, что у отца тайные враги, и один из них выскакивает в маске, с ножом в руке, и мать грудью защищает отца. Но это было давно, когда Дима был еще совсем маленький. Теперь ему шел семнадцатый год, и он все понимал. И не только он, даже Леночка.

Слабенькая, тихая Леночка в четыре года научилась читать и по целым дням сидела за книгой. Мать заставляла ее выходить в сквер, но она вскоре возвращалась. «Там очень шумно, мамочка»,— говорила она и снова принималась за чтение.

Кроме родителей и детей, в доме жил еще дед Платон Платонович. Он вставал с кресла, опираясь на две лыжные палки, и за обедом отказывался от супа, потому что у него дрожали руки. Читал он, пользуясь очками с такими толстыми стеклами, что когда Дима надевал их, буквы казались ему огромными, как навозные жуки. Диме было запрещено ходить к деду, но он все-таки ходил, брал

у него книги и читал по ночам, а под утро прятал за учебниками на этажерке.

В конце концов история с Наталией Михайловной кончилась очень грустно. У нее было больное сердце, и она неожиданно умерла. Приступ случился ночью, она уснула и не проснулась.

Отца привели под руки какие-то незнакомые люди, он еле передвигал ноги, потерял очки, бледное лицо было искажено от мучительной боли. Лицо было такое, как будто ему велели проглотить что-то большое, больше его самого, и он старается, но не может.

Интересно, хотя мать была взволнована, но держалась совершенно спокойно. Раздела его, посадила в ванну, потом положила в постель и осталась в его комнате на ночь. А утром позавтракала, принесла ему чай с бутербродами, позвонила на работу, что не может прийти, и снова весь день не оставляла отца.

К вечеру все-таки пришлось вызвать «скорую помощь», отцу что-то впрыснули и велели лежать. Он лежал и плакал. Дима старался не смотреть на мать, которая в два дня порозовела и похорошела. Он не знал, любил ли он ее прежде, но теперь не то что стал не любить, но не мог справиться с каким-то другим, незнакомым чувством. Это было как бы чувство отсутствия матери не только в доме, но вообще на земле. Впоследствии таким же образом для него исчез Валька Стружкин.

3

Диме казалось, что дед жил в девятнадцатом веке. Он ничего не слышал, и ему нужно было писать записки, на которые он кратко отвечал своим слабым, но отчетливым голосом.

Дима зашел к нему и написал: «Что ты думаешь обо всей этой истории, дед?»

— Что она повторилась,— загадочно ответил дед.

— «Я никого никогда не буду любить» — это была вторая записка.

— В твоем возрасте и я думал так же.

— «И ошибся?»

— Да. Смертельно ошибся.

Дима не понял.

— «Смертельно?»

— Почти.

— «Мама ни на минуту не оставляет отца».

— Да.

— «Боится, что он умрет?»

— Нет. Он оправится. Ему не придется провести четыре года в психиатрической больнице.

— «А тебе пришлось?»

Дед не ответил.

— «Значит, можно сойти с ума от любви?»

— Нет. Но можно рискнуть жизнью. Ну, скажем, броситься на колючую проволоку, чтобы встретиться с тем, кого любишь. Ты знаешь, что такое метафора?

— «Нет».

— Переносный смысл на основе какого-нибудь сходства или сравнения. «Колючая проволока» — это метафора.

— «Кажется, понимаю. До свиданья, дед. Пойду думать».

— А ты просто садишься и думаешь?

— «Или ложусь. Чаще ложусь».

4

Так началась и продолжалась новая странная жизнь. Все перепуталось. Обедать отец теперь из суда не приходил. За ужином все молчали. Только Леночка звонким детским голосом рассказывала «Таинственный остров» Жюля Верна, с которым она не расставалась.

Иногда отец возвращался пьяный, и тогда мать отводила его в спальню, раздевала и укладывала в постель. Она больше не следила за отцом, когда он уходил из дома, и Диме казалось, что у нее отняли важное, интересное занятие, заполнявшее ее жизнь. В доме было грязно, обеды и ужины, которые наскоро готовила мама, невозможно было есть, невкусные соусы и винегреты съедал Лис — огромный сенбернар, который понимал, что семейство развалилось, но помочь, к сожалению, ничем не мог.

5

Малышевы жили в Замоскворечье, в одном из маленьких переулков, выходивших на Кадашевскую набережную. Здесь еще сохранились остатки старых садов, и во дворе дома весной зацветали липы. Двор был большой, в глубине его чувствовался их нежный запах.

Через полевой бинокль, который подарил ему отец, когда Дима окончил школу, за окном открывалась панорама разрушенных зданий, заваленное битым кирпичом и штукатуркой неопределенное пространство, на котором перестраивалась Третьяковка. Подъемный кран был похож на пирамиду, которая сужалась, уходя наверх, к двум крыльям — длинному и короткому. Длинное было покрыто мостками и огорожено перилами. От него спускался до земли трос, кончавшийся крюком, похожим на огромную железную руку, хватающую груз и неторопливо, осторожно переносившую его куда-то в глубину строительной площадки. Короткое крыло держало платформу, нагруженную бетонными блоками, а между ними были видны в будке плечи и голова человечка, который, должно быть, управлял работой

на кране. Но Дима с чувством странной зависти рассматривал другого человечка, который время от времени ходил по длинному крылу на опасной веселой высоте с сумкой через плечо. Это был — Дима знал — слесарь-верхолаз.

6

Он привык к тому, что родители постоянно ссорятся, но так долго они не ссорились ни разу — в субботу и воскресенье с утра до вечера, а в рабочие дни — до поздней ночи. Речь шла о дочери покойной Наталии Михайловны, Маринке, которую отец просил, умолял, приказывал взять в семью и о которой мать не хотела и слышать. Дима подозревал, что он точно так же просил, умолял и пытался приказывать Маринке. Впрочем, приказывать он не умел и, в конце концов, поступил очень просто: перестал отдавать зарплату жене, а чтобы дети не умерли от голода, покупал им каждый день буханку бородинского хлеба. Дима не жаловался, но семилетняя Леночка просила маслица и плакала, когда Ирина Сергеевна посылала ее за маслицем к отцу. В конце концов мать согласилась, но с таким лицом, что Дима невольно пожалел неведомую Маринку. Она была на год старше Димы, ей минуло восемнадцать, в прошлом году она кончила школу. В последних классах она научилась печатать на машине в УПК[1], и Василий Платонович оформил ее секретарем к старому писателю. Каждый день от девяти до одиннадцати и от четырех до шести он диктовал ей письма и мемуары. Дня три Ирина Сергеевна делала вид, что Маринка не существует, но та быстро доказала обратное, и началась совсем другая, более или менее терпимая жизнь.

7

Она была похожа на птицу, случайно залетевшую в этот скучный, молчаливый дом, где изредка слышался только звонкий голос Леночки, читавшей и рассказывавшей теперь «Из пушки на Луну» и не верившей Диме, что до Луны уже давно добрались. Но случайно залетевшая птица билась бы в стекла, а Маринка не билась. Она, правда, летала, но деловито, не теряя времени и постепенно приводя в порядок грязную, запущенную квартиру. Она вымыла полы, откидывая белокурую челку, то и дело падавшую на глаза. Правда, работники из «Зари», может быть, сделали бы лучше, не только вымыли, но натерли бы воском полы. Но Маринка боялась заговорить об этом с Ириной Сергеевной — это все-таки обошлось бы в копеечку.

Однажды Леночка вернулась из школы домой и сказала, что больше не пойдет. Маринка на следующий день отправилась вместе

---

[1] Учебно-производственный комбинат.

с ней и простояла за стеклянной дверью класса три часа, пока не кончился школьный день. На переменах она ее не оставляла.

Трудно сказать, где она достала шерсть, но нашла время, чтобы связать для Ирины Сергеевны красивую черную накидку, отделанную белой полоской.

По вечерам, после ужина, Маринка надолго занимала ванную — стирала, мылась. Все на ней скрипело и потрескивало — подкрахмаленные передники, длинные, до локтя, нарукавники, и это потрескиванье казалось Диме воплощением чистоты, не только внешней, но и внутренней, душевной. Она брала у Ирины Сергеевны деньги на продукты, а потом старательно, разборчиво писала отчет.

Часто она выходила к завтраку с распухшими от слез глазами, и Дима догадывался: не спала ночь, думала о маме. В эти минуты Василий Платонович смотрел на нее, стараясь удержать вздрагивающие губы, и Дима начинал думать, что отец любит Маринку больше своих детей, но как-то иначе.

Дима был очень занят, готовился к экзаменам в институт, и у него не было времени, чтобы подумать, влюбился ли он в Маринку или еще нет. И он решил поговорить с ней об этом.

— Понимаешь, я не могу решить, люблю ли я тебя или еще нет,— сказал он однажды, улучив минуту, когда Маринка складывала белье и была относительно свободна. Она рассмеялась.

— Ты странный парень. Разве можно советоваться с девочкой, любишь ты ее или нет?

— Мне все говорят, что я странный парень. А почему нельзя посоветоваться?

— Потому, что ты сам должен это почувствовать. Влюблен или не влюблен?

— Нет, это сложнее. Дело в том, что если бы мы влюбились, из этого все равно ничего не вышло. Ничего хорошего. Дети-уроды и так далее.

— Почему?

— Потому, что ты дочь моего отца и, стало быть, мы — родные по крови.

— Мы не родные по крови. Я родилась, когда твой отец и моя мать были еще незнакомы. Мне было три года, когда он стал приходить к нам. Для меня он всегда был Василий Платонович, и я никогда не называла его «папа».

— Значит, мы — не родственники?

— Нет. У нас даже разные фамилии: ты — Малышев, а я — Родникова. Вообще, не надо влюбляться. Я занята с утра до вечера, а ты все лето будешь готовиться на юридический. Да?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я передумал. Не хочу быть юристом. Родители заставляют меня ходить в суд, и я иногда хожу. Неинтересно. Кроме того, мне кажется, честные юристы всю жизнь должны мучиться угрызениями совести.

— А Василий Платонович, по-твоему, мучится?

— Да. Я даже думаю, что он пьет, потому что мучится. Например, один тренер по боксу избил учителя, который ставил двойки его сыну. Отцу позвонили откуда-то сверху, и он — я его слышал — произнес такую речь, что тренера оправдали. А учитель умер.

— А если не на юридический?

— Не знаю. Я хочу быть верхолазом.

— Кем?

— Верхолазом. Слесарем по монтажу на башенных кранах.

8

Почему-то они стали ближе друг другу после этого неожиданного признания, хотя Маринке совсем не хотелось, чтобы Дима лазил по каким-то башенным кранам. Кроме того, она, так же, как Дима, очень интересовалась дедом. Дима рассказал ей свой интересный разговор с ним о любви, и они решили, что в жизни деда была какая-то тайна.

Родители в этот день не вернулись с работы, и они заглянули к деду — просто поболтать.

— «Родители надоедают нам разговорами, что им жилось плохо, а мы на всем готовом, и нам хорошо,— написала Маринка.— Они правы?»

— Да,— ответил дед.— Новое поколение почти не знает истории своих отцов и дедов. Им жилось бесконечно труднее, чем вам. Они перенесли очень суровые времена, а потом началась самая страшная в истории человечества война. А дети думают только о себе, и прошлое их не интересует.

Дима долго сочинял очередную записку, а потом зачеркнул ее, оставив слова:

— «Нет, дед, ты ошибаешься. Интересует. Но тебе не кажется, дед, что прошлое скрывают от нас?»

— Нет,— возразил дед.— Пришло время, когда история позволила вашему поколению шагнуть через десятилетия. Но она ждет своего часа.

— «Животные не знают своего прошлого, а между тем прекрасно живут».

— Может быть, и знают. Но в их сознании прошлое лишено созидательной силы.

— «Для меня прошлое началось с новогодней елки в Колонном зале»,— заметил в своей записке Дима.

— «А у меня, когда мама пошла со мной в зоологический сад»,— прибавила Маринка.

Этот интересный разговор оборвался, потому что дед вдруг сказал, что он стал лучше видеть.

— Как-то яснее,— объяснил он.— Ты, Мариночка, по-моему, хорошенькая, хотя теперь редко пользуются этим словом. Глаза немного

выпуклые, но это тебе даже идет. Ты на все вокруг смотришь с удивлением. Ты блондинка, уши открыты, а на затылке заколота гривка.

— «Да, я хорошенькая: белобрысая и курносая. Глаза, как у карася, когда его уже поймали. А волосы заколоты, потому что я не люблю ходить распустехой».

— А ты, Дима, широкоплечий и коротковатый,— с огорчением сказал дед.— Ты, должно быть, много занимаешься спортом?

— «Нет, дед. Я и так могу поднять больше тридцати килограммов левой рукой».

— А глаза — задумчивые. Ты о чем-то постоянно думаешь?

— «Да. В данном случае — о тебе, дед».

Они замолчали. Маринка, которая не могла сидеть спокойно, увидела на полу под столом груду грязного белья. Не сказав ни слова, она вытащила ее и завернула в старую газету.

— А почему ты думаешь обо мне?

— «Потому, что я толком ничего о тебе не знаю».

Дед задумался.

— Сколько тебе лет?

— «Семнадцать».

— «А мне восемнадцать»,— сообщила Маринка.

Молчание продолжалось так долго, что им обоим показалось, что дед задремал.

— Нет,— наконец сказал он, очевидно, отвечая каким-то собственным размышлениям.— Это сложно, и ты многое еще не поймешь. Подождем несколько лет, и я расскажу тебе свою жизнь.

9

Это был шумный день. Дима решил сказать родителям, что он не намерен подавать на юридический, потому что его не интересует эта сторона жизни.

Маринка с утра ушла на базар, и когда она вернулась, скандал был в полном разгаре.

Ирина Сергеевна повторяла, что через полгода Диму призовут в армию. Дима отвечал, что его уже признали негодным. Василий Платонович настаивал, чтобы Дима сказал, почему он не хочет на юридический, и Дима, наконец, угрюмо пробурчал, что не желает каждый день торчать в суде, читая «Королеву Марго», вместо того, чтобы готовиться к обвинительной речи. И когда растерявшийся Василий Платонович стал отрицать, что он читал «Королеву Марго», Дима назвал день, когда он видел это своими глазами. Ирина Сергеевна кричала, что его все равно призовут, потому что скоро будет война и никто не заметит, что у него одна нога немного короче другой, что «Королева Марго» — прекрасная книга и что его, как деда, отправят в психбольницу.

Словом, они еще кричали друг на друга, когда Маринка верну-

лась, но недолго, потому что Дима вдруг сказал, что он хочет быть слесарем-верхолазом.

Василий Платонович открыл рот, Ирина Сергеевна от изумления громко щелкнула зубами, и, воспользовавшись наступившим молчанием, Дима торопливо ушел в свою комнату, достал рюкзак и стал укладывать вещи. Он заперся, но зная, что Маринка придет, открыл ей дверь, когда она постучала.

— Уезжаешь?

— Да.

— Куда?

— Еще не знаю.

У Маринки была пушистая челка, и она привычно поддувала волосы снизу. Но на этот раз не стала поддувать, и Дима с удивлением увидел, что ее глаза наполнились слезами.

— А, может быть, все еще уладится? — жалобно спросила она.

— Нет. Они кричали, потому что так принято.

— Все-таки родители.

— Да. Но у матери всегда такой вид, как будто я виноват, что она когда-то меня родила.

— Неправда,— подумав, сказала Маринка.

— Нет, правда. Послушай, она сказала, что дед был в психбольнице. Ты об этом ничего не знаешь?

— Нет,— ответила Маринка и сердито вытерла платком глаза.

Дима с интересом смотрел на нее.

— Мы будем встречаться,— сказал он ласково и погладил ее по лицу.— И тогда, между прочим, станет более или менее ясно, люблю я тебя или нет. Понимаешь, вопрос серьезный, и как-то страшно соврать. А теперь надо проститься с дедом.

Они вместе пошли к нему, и Дима объяснил, почему он решил уйти из дома.

Дед помолчал.

— Ну что ж,— сказал он,— я бы не стал тебя удерживать. Когда-то и я шестнадцати лет ушел из дома. Но не надо ссориться с родителями. Они любят тебя. Устроишься, а жить приходи домой.

— «Это они ссорились, а я молчал».

Дед внимательно, точно читая книгу, через очки с толстыми стеклами посмотрел на Диму.

— Да, а теперь,— задумчиво сказал он,— теперь тебе, пожалуй, полезно будет почитать мои воспоминания. Ты хотел бы?

— «Очень».

Дед с трудом поднялся и, опираясь на лыжные палки, подошел к книжному шкафу.

— Ну-ка, сними весь передний ряд с третьей полки. Теперь сними второй.

Дима послушался.

— В третьем ряду справа, рядом с «Боярской думой» Ключевского, стоит рукопись в кожаном переплете. Дай ее мне. А книги надо поставить в прежнем порядке.

Рукопись лежала на столе.

— Ну вот, когда ты устроишься, приходи, и я дам тебе эти записки. Но, дети, условие: никому не говорить о них.

— «Честное слово».

— «Честное слово»,— написала Маринка.

10

Валька Стружкин сказал, что Дима может жить у него сколько хочет, потому что огромный холодильник, стоявший в огромной кухне, набит едой, и он еще может получать родительский «заказ» каждую неделю. Но он не получает, потому что тогда продукты придется загонять на рынке. А ему некогда, он строит фрегат. Вообще-то родители считают, что он едва ли годится к дипломатической работе и что ему надо поступить на курсы при Министерстве иностранных дел, где учат стенографии и машинописи на иностранных языках. Но он не хочет на эти курсы, потому что там учатся одни девчонки, которые и так к нему ходят каждый вечер. Валька относился к этому делу проще, чем Дима.

Из просторного кабинета отца он устроил спортивный зал, повесил две трапеции и достал откуда-то штангу с дисками, которые надевались на нее, чтобы увеличить вес. Он был почти на голову выше Димы, но щуплый, узкоплечий в своем модном заграничном костюме. Весной он вместе с Димой кончил школу и, хотя был на год старше его, выглядел гораздо моложе. У Димы уже пробивались мягкие черные усы.

Думать о чем-нибудь, даже очень важном, Валька мог не больше двух минут. Диме это показалось любопытным, и они решили поставить опыт. Валька должен был подумать, поступит он на курсы или нет.

— Конечно, поступлю,— ответил через минуту Валька. Оказалось, что он думал меньше двух минут, потому что отец был еще недавно членом коллегии Министерства иностранных дел, и ему ничего не стоило устроить Вальку на курсы. Потом в спортивном зале Валька заинтересовался, может ли Дима поднять штангу, и совершенно ошалел, когда Дима в рывке удержал над головой около восьмидесяти килограммов.

— Слушай, да ведь ты мог бы стать чемпионом Советского Союза! — закричал он.— У меня есть знакомый тренер, я ему сейчас позвоню.

— Нет, пожалуйста, не звони,— сказал Дима.

— Почему?

— Потому что я не хочу быть чемпионом Советского Союза.

Валька задумался.

— Ты — странный парень,— сказал он.— Ну, ладно, тогда пойдем и пожрем.

Он достал из холодильника две баночки зернистой икры, бутылку «Русской водки» и семгу, которую он нарезал огромными кусками, сыр и масло, а Диме поручил хлеб.

— Ты знаешь, где мой батька работает? — спросил он.

— Нет.

— В ООН,— хвастливо сообщил Валька.

Дима промолчал. Вскипятили чайник и заварили чай, тоже какой-то заграничный. Валька откупорил водку и хотел налить Диме. Но Дима закрыл рюмку ладонью.

— Ты что?

— Я не пью.

— Мама не велит?

Валька хлопнул рюмку, задохнулся, громко задышал и с покрасневшими глазами закусил сыром.

— Что ж ты ничего не берешь?

Дима отрезал большой кусок хлеба, намазал его маслом и съел.

— А что же икра? Семга?

— Я сыт.

— Врешь! Ешь, дурак, ты же небось такого и в глаза не видел.

Дима отрезал еще кусок хлеба и съел его, на этот раз даже не намазав маслом.

— Ты странный парень,— повторил Валька.

— Послушай, если ты еще раз скажешь, что я странный парень, я дам тебе по шее. Мне кажется, что я это услышал, еще когда был грудным младенцем.

Валька засмеялся.

— И вообще не я, а ты — странный парень. Положим, твой отец служит в ООН и имеет право есть эту семгу, хотя я в этом сомневаюсь. А ты?

— Я его сын.

— Нет, ты сукин сын,— задумчиво сказал Дима.

Он посмотрел на часы.

— И пожалуйста, не устраивай мне постель, я переночую на диване. Или на ковре. У вас такие ковры, что по ним ходить совестно.

— Текинские.

— Между прочим, не ври. Я случайно немного понимаю в коврах. Эти — искусственные. И не первого сорта.

11

Дима прожил у Вальки Стружкина неделю. Каждый день он ходил по Москве и разговаривал со слесарями, работавшими на подъемных кранах. Они не отвечали или ругались, но один пожилой, которому Дима помог подтащить какую-то тяжелую овальную плаху, сказал, что нужно поступить в ПТУ, а узнав, что Дима кончил среднюю школу и освобожден от армии, сказал, что на кран инвалидов не берут, но все-таки отправил в Управление механизации к какому-то Ивану Мартыновичу и дал адрес.

— Вообще, у нас специальности разные,— сказал он.— Может быть, тебя в ремцех слесарем возьмут.

Днем Валька возился с фрегатом, а вечером к нему приходила очередная девчонка, и он ее кормил зернистой икрой и семгой. Потом они уходили в родительскую спальню с огромной кроватью, покрытой голубым шелковым покрывалом. А утром хлопала входная дверь, и Валька выползал чуть живой с синими мешочками под глазами, хлипкий, но бодрящийся, утонувший в голубом отцовском халате.

Через несколько дней явилась Маринка, похудевшая, но свежая, в нарядном летнем платье, с голыми руками, причесанная и все-таки, время от времени, отдувавшая снизу легкие завитушки, падавшие ей на лоб.

— Уф! Позвонила всем твоим одноклассникам, пока кто-то не сказал мне, что ты у Стружкина,— сказала она.— Ты рад, что я тебя нашла?

— Да. Кажется. Я по тебе даже скучал. Но я не показывался. Боялся, что родители увидят и станут скулить.

— Ты мог бы, между прочим, им позвонить.

— Я позвонил. Только не сказал Валькин адрес, чтобы они меня не искали.

— Все равно свинство. Все-таки родители. Лис скулит.

— Почему?

— Не знаю. Должно быть, по тебе скучает. Не ест. Вообще, все развалилось. Только Леночка в порядке. Сидит и читает. С родителями плохо. Василий Платонович пьет, и со дня на день его могут уволить. А Ирина Сергеевна все время бегает в милицию и требует, чтобы тебя вернули. Но милиция отказывается. Говорят, он совершеннолетний, имеет паспорт, прописан у вас и рано или поздно вернется. Ты вернешься?

— Нет.

Пожалуй, можно было подумать, что Маринке захотелось заплакать. Но она удержалась.

— А где же ты будешь жить?

Валька заглянул в комнату.

— Познакомьтесь,— сказал Дима.— Это — Валька.

Марина назвала себя и замолчала. Все с минуту молчали.

— Ну, вот что,— сказал Дима,— нам надо поговорить. Так что ты, пожалуйста, приходи через полчаса.

Валька ушел.

— Я о тебе думал,— сказал почему-то шепотом Дима.— Ты мне даже приснилась один раз. Будто мы играем в пятнашки. Я без тебя скучаю. А ты?

— Ну, что ты! Без тебя такая тоска, что я, кажется, скоро умру от скуки.

— От скуки не умирают. А тебе тоже хочется меня видеть и все такое или нет?

— Но не ради всего такого, а просто так.

Дима подумал.

— А мне ради всего такого,— грустно сказал он.— Значит, я еще не люблю тебя, потому что все такое — это еще не любовь.

Валька каждую ночь проделывает все такое с очередной девчонкой, и уже то, что их — много, означает, что ему все равно. Подожди-ка!

Он бесшумно, осторожно подошел к двери и вдруг рванул ее к себе. За дверью, почему-то на четвереньках, стоял Валька, похожий на прислушивающуюся, тощую собаку. Это и была минута, когда он исчез. Вообще-то он еще существовал, но как это случилось с мамой, обрадовавшейся, что Наталия Михайловна умерла, он вдруг стал каким-то почти прозрачным для Димы. Валька мог продолжать возиться с фрегатом, есть семгу и вообще жить, но Дима едва ли вспомнил бы о нем, если бы он вдруг умер.

Кажется, он что-то говорил, а может быть, и нет. Потом ушел на цыпочках, и Дима вернулся к Марине.

— Понимаешь, я решил позвонить тебе, когда устроюсь. Но, как видишь, ничего не выходит. От Вальки я сегодня уйду.

— Куда?

— Еще не знаю. К Ивану Мартыновичу.

— Какому Ивану Мартыновичу?

— Тоже не знаю. В Управление механизации.

— Он поможет тебе устроиться в общежитие?

— Может быть. Пойду.

— Куда?

— Укладывать вещи.

— Послушай,— робко возразила Маринка.— Хочешь пожить в маминой квартире? Я ведь у вас не прописана. Квартиру я закрыла на ключ.

Она достала из сумочки ключ. Дима подумал.

— Я тебя провожу? Это на Кропоткинской, недалеко.

Дима снова подумал.

— Страшновато. Ты знаешь почему?

— Ерунда,— сказала Маринка.— Я буду забегать на минутку.

Она ушла, и это было совершенно ясно. Но тем не менее она осталась с Димой, хотя он даже вышел на площадку, чтобы еще раз увидеть ее. Не то что осталась, но как бы осталась. И разговор с ней, уже о чем-то другом, продолжался.

12

Комната на Кропоткинской была чисто прибрана, на полу перед застеленной кроватью лежал коврик, на маленьком столике в углу стояло трехстворчатое зеркало. Перед ним — много пустых или полупустых бутылочек с одеколоном, коробочек с пудрой, баночек с кремом.

— Тут все осталось, как было при маме,— сказала Маринка.

Она ушла, оставив Диме ключ от входной двери. В однокомнатной квартире была просторная кухня, а в кухне вдоль трех стен стояли полки с книгами. Наталия Михайловна была редактором в издательстве «Художественная литература» и могла покупать все

книги, выходившие в этом издательстве,— на полках почти не было старых книг.

В комнате висел ее портрет, и Дима долго стоял перед ним. Губы изящно очерчены, большие глаза прикрыты темными веками с загнутыми ресницами, белокурые завитки перепутались, стараясь не упасть на лоб. Она была похожа на Маринку и не похожа. Похож улыбающийся взгляд на серьезном лице. Но у Маринки взгляд был еще и прислушивающийся, особенно в те минуты, когда она переставала смеяться, пряча улыбку, сохранившуюся на губах и в глазах.

С портретом хотелось поговорить. Дима взял у деда его записки, но у Вальки он их не читал. С утра уходил искать работу. А между тем давно пора было хоть посмотреть их и вернуть. Но после первой же страницы он понял, что для него важно не просмотреть, а внимательно прочитать рукопись, потому что она была чем-то загадочно связана с ним, с его будущим и с настоящим.

Первые страницы он не мог разобрать, слова качались, толкая друг друга, как если бы невозможность сказать самое важное была безнадежно ясна с самого начала. Острый, косо летящий почерк было трудно читать, и Дима останавливался после каждой фразы. Но все же он понял, что это была попытка исповеди, к сожалению, только попытка, повторявшаяся и возвращавшаяся, чтобы повториться снова и снова.

Значит, мать сказала правду: даже по этому невнятному тексту можно было заключить, что дед был в психиатрической больнице. Что же с ним случилось? Когда и почему он заболел? И кто такая мадам Люси Сюрвиль, имя которой повторялось почти на каждой странице?

После первых бессвязных строк начались более или менее связные. Но они тоже были отмечены каким-то внутренним смятением, в котором угадывалось отчаянье. Вся рукопись была проникнута отчаяньем, даже когда дед рассказывал о своих спокойных годах — да и не только спокойных, но благополучных, блестящих.

О школе (он начинал еще в гимназии) и университете было рассказано очень кратко, хотя по некоторым страницам Дима понял, что у деда было трудное детство и тревожная, безрассудная юность. Но потом характер сложился — сдержанный, волевой, целеустремленный.

Он рано овдовел, и все семейные заботы были отданы сыну. Ему было сорок пять лет, когда он впервые поехал в Париж. Тогда-то и произошла случайная встреча с Люси Сюрвиль, и началось нечто странное — до такой степени не похожее на образ жизни и поведение крупного работника министерства, что ближайшие сотрудники сразу заподозрили помешательство и стали осторожно следить за ним. Он выглядел счастливым, много смеялся, помолодел, жизнь продолжалась, но это была не прямая, твердо стоявшая на ногах, но какая-то околичная, «мнимая» жизнь. Тайно он каждый день утром и вечером писал кому-то в Париж и получал неизменный ответ на адрес своей старой няни — еще жива была его старая няня. Об этом узнали, и подозрение в помешательстве укрепилось, тем

более что это были длинные, любовные письма. Но все еще шло по-прежнему, более того, в министерстве ему удалось блеснуть какой-то новой мыслью, и он стал хлопотать о второй командировке. Она была разрешена, не без хлопот, доводивших его до отчаянья,— кое-кому и это показалось странным. Более того, он без разрешения съездил с этой Люси Сюрвиль в какой-то южный городок на море, по-видимому, на ее родину,— на это посмотрели косо. Потом он вернулся, и жизнь пошла своим чередом.

Но вот однажды ближайший сотрудник зашел в его кабинет, не постучавшись, и с удивлением остановился на пороге. Платон Платонович с кем-то оживленно разговаривал по-французски (он знал языки), и последняя фраза, после которой он с раздражением обратился к сотруднику, была (в русском переводе):

— Извини, Люси, нам помешали...

Разумеется, этот случай мгновенно облетел все министерство.

Прошло несколько дней, и слух, что Платон Платонович сошел с ума, получил полную определенность.

Он почти не пил или если пил — на каком-нибудь празднике или банкете. Но на этот раз в дешевом ресторане он выпил бутылку портвейна и, выйдя на улицу, набросился с кулаками на первого попавшегося человека. Конечно, немедленно вмешалась милиция, и дед, в разорванном пальто, изрядно помятый, был допрошен дежурным.

Василий Платонович пытался объясниться, но тот не дал ему сказать ни слова.

— Нет, это не случайность! И не в том дело, что он никогда не пьет. Это произошло потому, что он ненавидит все на свете. Меня, вас, самый воздух, которым дышим. И не говорите мне, что он награжден орденом Ленина и все такое. Почем вы знаете, может быть, он сам орден ненавидит?

Заключение психиатров опровергло этот вздор. Деда признали невменяемым и поместили в больницу.

Дима прочел рукопись до конца и, перевернув последнюю страницу, вернулся к первой, единственной, на которой был рисунок, сделанный прямо по тексту — очень странный рисунок, изображавший ветряную мельницу, за крыло которой, сопротивляясь налетевшему ветру, едва держался длинный человек.

Рассвело, а Дима еще не ложился. Потом лег, пытался уснуть — и не уснул. Летящий почерк деда стоял перед его глазами. «Что же все это значит? — думал он.— Значит, есть на свете сила, которая гасит, как свечу, благополучную, на редкость удачную жизнь? Единственное короткое письмо этой Люси Сюрвиль было вложено в дневник — с ошибками, на смешном, неправильном русском языке — письмо, из которого все же можно было понять, что она, бесконечно повторяясь, зовет его, ждет, что он все-таки приедет, а если нет... Письмо кончалось вопросом: «Так умереть?»

Дима не знал судьбы этой женщины, но жизнь деда, годами существовавшего в тесной, заваленной книгами каморке, и то, что его перестали звать к столу,— все это, конечно, было похоже на мед-

ленную смерть. «Так умереть?» Должно быть, это было трудно для него — покончить самоубийством, а иначе он давно бы это сделал. Отравиться — он не мог дойти до аптеки. Повеситься — у него не было сил прибить крюк, чтобы привязать к нему веревку. Если он все-таки жил — так, может быть, воспоминанием о том, как загадочная молния озарила его, отрезала от него удавшуюся, благополучную жизнь. «А ведь то же самое случилось с отцом»,— вдруг подумал Дима. Но отец был слабый человек, и он не мог порвать с одной жизнью, чтобы безоговорочно, безусловно погрузиться в другую. Кроме того, у деда был сын, но не было семьи. А отец не в силах был порвать с семьей, которая ему дорога. Дима видел, как по вечерам он укачивал Леночку, в полусне натыкаясь на стулья. Так что же такое эта страсть, это беспамятство, эта гроза, сбивающая с ног? Безумие переходит по наследству? Тогда почему же оно не коснулось Димы?

Заря уже прислушивалась к утреннему шуму, который начался вместе с движением людей и машин, уже почти готова была уступить упорному приближению дня. Кран, который был виден из Диминого окна, постепенно оживал. Маленькие фигурки бесстрашно двинулись вперед в высоту, одна из них появилась в кабине, другая — на длинном крыле стрелы. Дима прикинул высоту — метров сорок. Может быть, и ему когда-нибудь прикажут подняться на это крыло, и он будет участвовать в сложной, могучей работе этого крана? Мечты сбываются, если получить над ними неоспоримую власть. Их надо соединять, как соединяют в упряжку коней, соединить и хлестать по спине и бокам.

Маринка пришла с хлебом, сыром, сахаром, пачкой чая, заглянула в кухню, накрыла на стол. Дима заговорил с ней о рукописи деда, но она не стала слушать — торопилась домой?

— Прочту сама. Ведь ты через меня вернешь ее деду.

— Нет, подожди. Я еще много раз буду ее читать. А теперь ты мне только скажи: Наталия Михайловна любила отца?

Маринка побледнела, покраснела, снова побледнела, и так продолжалось все время, пока она говорила.

— Выпей воды,— сказал ей Дима.

— Не надо. Послушай, я до сих пор не понимаю, что происходило с Василием Платоновичем. Он совершенно менялся, когда приходил к нам. Много рассказывал, и всегда интересно. Они говорили о литературе, о театре. Она штопала что-нибудь или вышивала, а он говорил и говорил. Потом умолкал и смотрел на маму. Долго, может быть, час... Тебе случалось когда-нибудь задуматься о ком нибудь и почувствовать, что на свете нет никого, кроме того, о ком ты задумался? Никого дороже и ближе? Мне кажется, что к маме он относился именно так. Как будто с нежностью прикасался к ней и отдергивал руку.

— А мама?

— Она жалела его и, может быть, чувствовала то же самое, но иначе. Она понимала, что запретить ему бывать у нас невозможно. Это значило бы убить его. А она желала ему счастья и, мне

кажется, все-таки была рада, что он любит ее, как никто никогда не любил. Они никогда не говорили о том, что Ирина Сергеевна ревнует. Я, например, не знала. Словом, то, что связывало их, было выше близости, гораздо выше. И совсем не похоже. Они были какие-то потрясенные, и не только когда он приходил. Говорят, что человека, в которого ударила молния, надо закопать в землю, чтобы спасти. Так вот: в них ударила молния, но никто не позаботился о спасении. Молния растворилась в них, и они стали не похожи на других людей, которые могут жить далеко друг от друга. Они не могли. А эта рукопись? Дед пишет о любви?

— Да. Он пишет о любви и о смерти.

Маринка замолчала. Ей нечего было больше сказать. Она взглянула на часы и ушла.

«Значит, любовь — это превращение,— продолжал думать Дима.— Это — неузнавание себя. Это открытие, которое лишает человека возможности выбора, потому что он волей-неволей уже выбрал свой путь, о котором и думать не думал и по которому он теперь несет свою ношу, как бы она ни была тяжела. Это что-то до такой степени не похоже на неуклонное движение стрелок, показывающих время, как будто время отказалось служить человечеству, кроме тех немногих людей, которые пользуются часами без стрелок. Не движение стрелок, а движение воли, возникающее, как возникает явление природы, как град или метель».

И Диме смертельно захотелось испытать это рискованное, доходящее до безумия чувство.

13

Начиная с ворот, в которые легко мог въехать целый дом, все вокруг на строительной площадке было завалено железом. Среди нагромождения стальных трубчатых пирамид, треугольников и кто знает каких еще геометрических фигур стоял башенный кран.

Дима много раз видел башенные краны, и ему захотелось поздороваться с ним, как со старым знакомым. Однако это был страшноватый старый знакомый, совсем не летящий на крыльях, как казалось в полевой бинокль, а твердо, равнодушно стоявший на земле.

В отделе кадров Дима, постучав и услышав внушительное «войдите», увидел сухопарую женщину в темных очках и рабочем халате. Она что-то писала и, взглянув на Диму, продолжала писать. Впрочем, она пробурчала что-то в ответ на вежливое «здравствуйте» Димы.

— Так,— сказала она, откладывая в сторону какую-то бумагу.— В чем же дело?

Дима объяснил. Решено было не показывать свидетельства об окончании школы, но в последнюю минуту он решил все-таки положить его на стол вместе с паспортом и военным билетом.

— Кончил школу?— спросила она с любопытством.

У нее были усы, и она, по-видимому, подбривала их — короткие черные волоски можно было рассмотреть.

«Откажет»,— взглянув на эти усы, подумал Дима.

— Не хочется учиться?

— Нет, хочется. Ведь для того, чтобы стать слесарем-монтажником, надо учиться.

Она перелистала военный билет, аккуратно сложила документы и подвинула их к Диме.

— Не пойдет.

— Почему?

— Во-первых, потому что у нас не училище, а строительство. А во-вторых, у тебя одна нога короче другой.

— Немного. Но я не стал врать, что мне хочется в армию. Мне хотелось работать. Вот посмотрите.

Он встал и прошелся по комнате.

— Заметно?

— Если приглядеться, заметно.

— А зачем приглядываться? Работе не мешает.

Шаги послышались в сенях, и в конторе появился низенький, седой, косматый человек в канадке, хотя было тепло, в кожаной кепке, которую он сбросил с головы щелчком, так что она перевернулась в воздухе, прежде чем повиснуть на вешалке возле двери.

— Ловко! — сказал Дима.— Здравствуйте. Вы Иван Мартыныч?

— Ну да. А ты почему знаешь?

— Угадал.

— Догадливый,— смеясь, сказал Иван Мартынович.— А чего тебе здесь надо?

— Хочу работать.

Со стола еще не были взяты документы, и, быстро просмотрев их, он спросил, как усатая секретарша:

— Кончил школу?

— Да. Родители уговаривали меня поступить на юридический, но я отказался. У меня отец — прокурор.

— Почему отказался?

— Потому что там все врут.

Иван Мартынович засмеялся.

— Где не врут? А тебе не нравится, когда врут?

— Да.

— У нас, ты думаешь, не врут?

— Возможностей меньше,— подумав, ответил Дима.— И, может быть, необходимость не заставляет.

— Как сказать! А что у тебя с ногой?

— Ничего. Нога как нога. Зато я сильный.

— Да?

Иван Мартынович вышел с Димой во двор и показал на толстую железную чушку, валявшуюся подле конторы.

— Можешь поднять?

— Попробую.

Чушку надо было взять неторопливо — Дима видел, как поступают в таких случаях тяжеловесы. Он помедлил, подышал, присел

на корточки. «Главное, не торопиться». Он взял чушку и несколько секунд посидел рядом с ней. Потом рванул и поднял сперва на грудь, потом над головой.

— Хорош! — сказал Иван Мартынович.— Занимался спортом?

— Немного.

Они вернулись в контору.

— Ну вот что, Лампада (очевидно, усатую секретаршу звали Олимпиадой). Позвони Клычкову и скажи, чтобы он взял к себе этого парня. Как зовут?

— Дима Малышев.

— Заполни анкету. Конечно, в ученики. О разряде поговорим потом. Посмотрим, чего он стоит. Ну, поворачивайся, медведь! — Он похлопал Диму по плечу.— Я тебе покажу, где искать Клычкова.

14

Бригада работала над монтажом крана, и как раз было много мелочей, на которые слесарям не хотелось тратить времени. Конечно, это были мелочи, требовавшие сноровки и терпения, но терпения у Димы хватало, а сноровка как-то сама появилась в руках через какую-нибудь неделю.

Бригада состояла из людей симпатичных — так, по меньшей мере, показалось Диме. Сам Клычков прошел весь путь, который предстояло пройти Диме: сначала он работал слесарем на «эсбекушках» — так звали один из первых строительных кранов, потом, не бросая работу, он умудрился кончить техникум и теперь монтировал уже не первый кран. Ему было лет пятьдесят пять, если не больше. Бригаду он держал в полном подчинении, однако любил догадливость и поощрял ее, насколько это было возможно.

Люди были опытные — это была единственная черта, которая их объединяла. Ничего общего не было между Разиным, молодым, холостым, разговорчивым парнем, мечтавшим стать радиотехником, и Бекбулатовым, скупым, хитрым, не терявшим связи с родными и державшим под кроватью в общежитии сушеные фрукты, которые он менял на значки.

Впрочем, Дима держался обособленно, избегая дружеских отношений. Он работал старательно, последовательно, ничуть не меньше других.

В обеденное время его ждала Маринка с судками, и они обедали вместе в передвижной бытовке, а потом недолго гуляли по ближайшей детской площадке. И каждый раз это было не появление, а явление. Это не случалось, а происходило и было похоже не на очередной ежедневный обед, а на свидание. Он работал, ни на минуту не переставая думать о ней. И почему-то дело шло легче, когда она, разумеется в воображении, была рядом с ним. Иногда хватало даже воспоминания о ее завитках надо лбом и удивленном взгляде.

15

Прошел месяц, и Диме стало казаться, что так было всегда. Он вставал в шесть часов утра, основательно, не торопясь, завтракал и шел на работу. В бригаде привыкли к его молчаливости, к основательности, с которой он доводил до конца любое порученное ему дело, к спокойствию, с которым он относился к насмешкам над его наружностью — его прозвали медведем.

Однажды Разин собрался послать его в магазин за водкой и в нерешительности замолчал, когда Дима, как будто не слыша его, молча продолжал работу. Раза два ему пришлось подняться до самой головки крана. Было страшно, но он нарочно несколько раз прошелся по узким мосткам стрелы и нарочно заставил себя долго смотреть вниз с высоты тридцати метров.

Теперь он знал, что с высотой надо обходиться просто, хотя и осторожно — она естественно вошла в его жизнь, как вошла эта заваленная железом строительная площадка, эта работа, которую он полюбил, эта свобода постоянно думать о своем, не забывая о деле.

С Маринкой он проводил все праздники и все время после работы, хотя она была очень занята, дом требовал неустанных забот. Иногда он помогал ей, а иногда, выкраивая свободные вечера, они шли куда-нибудь, в кино или театр, а однажды были даже в цирке.

Ее огорчала его молчаливость, и, чувствуя это, он начинал говорить — все равно о чем, чаще всего о последней прочитанной книге.

— Зачем же все время молчать, если ты так хорошо говоришь? — спросила она однажды, и он ответил:

— Потому что мне нравится тебя слушать.

Все было бы хорошо, если бы он не стал без всякой причины беспокоиться за нее.

Он давно помирился с родителями, заходил домой — но только чтобы убедиться, что с Маринкой ничего не случилось.

Очень скоро, через три месяца, он получил третий разряд, но ничего не тратил на себя из зарплаты — отдавал почти все Маринке, и она к зиме купила ему добротное пальто, рукавицы и меховую шапку.

Но беспричинное беспокойство за нее почему-то становилось все сильнее и, как ему казалось, даже мешало работать. Напрасно она уверяла его, что ничего не может случиться, напрасно смеялась над ним и шутила. Он тоже начинал смеяться и шутить, но беспокойство не проходило.

16

Эта ночь началась как всегда. Он вернулся в комнату на Кропоткинской, где все постепенно стало для него привычным и близким. Днем им не удалось встретиться, Маринка была занята. Но в этом не было никакой беды. Все равно она привычно как бы не оставляла его.

Он принял душ после работы, долго тер огрубевшее мускулистое тело, потом лег и сразу уснул. Он редко видел сны и почти всю ночь спал легко, спокойно, как всегда после утомительной опасной работы. Но вот счастливый молодой сон начал мутнеть, наполняясь неясными виденьями, и он увидел себя где-то на свалке, ночью, под светом метавшейся по небу луны. Он держал в руках коробочку с ребристой, складывающейся крышкой. В коробке лежали пуговицы и нитки. Ее надо вернуть Маринке, и он идет, но куда-то не в свою комнату, а в чужой, незнакомый дом. Маринка хозяйничает у плиты, но почему-то не оборачивается, когда за ним со скрипом закрывается дверь. Он немного огорчается, что она не обращает никакого внимания на коробочку, которую он почему-то нашел так далеко на свалке и которой — он помнит — она дорожила. «Поди поставь на место»,— говорит она, ничуть не удивляясь, и он ставит коробочку на полку рядом с ходиками, где она постоянно стояла. Ходики стучат, как будто ничего не случилось. Кенар дремлет, нахохлившийся, щи кипят, и выплеснувшиеся белые шарики опрометью бегут по горячей плите. Но почему же Маринка ни о чем не спрашивает его? Не глядит на него? Дрова прогорели в плите, она берет кочергу, и угли падают на пол. Почему она берет их руками? Почему, задумавшись, она стоит у плиты и держит горящие угли в руках? И Диме становится страшно. Он не плачет и не кричит, но такая печаль, такое одиночество, сознание такого несчастья охватывает его, что сердце останавливается от горя, и он не в силах сказать ни слова.

— Маринка, ты мертвая, ты умерла? — наконец говорит он, задыхаясь от слез. Она молчит, и он понимает, что все кончено, потому что только мертвые могут держать горящие угли в руках...

Дима не обрадовался, когда его глаза открылись.

Стоял конец сентября, еще ночь продолжалась, но утро уже блистало в отсвечивающих окнах, не скрываясь, зная, что оно приговорено победить.

Дима оделся. До работы было еще больше часа, и он торопливо пошел, почти побежал по Кропоткинской, к станции метро. Через семь-восемь минут он уже стоял под окном бывшей своей, а теперь Маринкиной комнаты. Как он и ожидал, окно уже было открыто, значит, Маринка не спала — по утрам она любила полежать с открытым окном. Она не раз говорила, что и спала бы с открытым окном, если бы квартира Малышевых была не на первом этаже.

Дима негромко окликнул ее, она не отозвалась, должно быть снова уснула.

Окно было все же высоко над его головой.

Он ухватился за водосточную трубу рядом с окном, и хотя дотянуться и заглянуть в комнату было трудно, ему удалось дотянуться и заглянуть.

Нет, она не спала. Она лежала, повернувшись к стене, с открытыми глазами и испугалась, увидев рядом со своей постелью Диму.

— Что случилось? Ты влез в окно?

— Да. Ты здорова?

— Ну конечно! Что это ты вдруг придумал? Наши еще спят.

Диме было стыдно сознаваться, что он прибежал, потому что увидел страшный сон, но невозможно было не сознаться, потому что он еще видел ее перед собой, задумавшуюся, с горящими углями в руках. Но она была живая, свежая, с отдохнувшими после сна, удивленными, ласково улыбающимися глазами.

— Ты как маленький. Прибежал к няне, потому что увидел страшный сон. Но знаешь, Дима, все это серьезно меня беспокоит.

— Не надо беспокоиться. У меня еще полчаса до работы. Можно мне полежать рядом с тобой?

— Конечно, можно,— ответила Маринка и покраснела.— Но только полежать...

Он быстро разделся, лег рядом с ней, почувствовал под одеялом ее ноги и потерял сознание.

Это случилось с ним впервые в жизни и продолжалось недолго, может быть, несколько секунд. Но все-таки беспамятство было, потому что Маринка спросила что-то, а он уже был бесконечно далеко и, кроме острого блаженства, не чувствовал ничего. Было трудно справиться с бешено стучавшим сердцем. Когда она повторила вопрос, он ответил. Оказалось, что Маринка просто боится, что он опоздает на работу.

17

В ближайшее воскресенье Дима в третий раз принялся за рукопись деда, и на этот раз то, что прочел, не показалось Диме ни безумным, ни безрассудным. На этот раз он не заметил, как прежде, в рукописи даже признака двойного зрения, напротив все стало совершенно ясно: те, кто мешал ему поехать в Париж к женщине, без которой он не мог жить, были не правы, а он — прав.

Расстаться ради нее с высоким положением в Министерстве финансов казалось бессмысленным, нелепым тем, кто ему мешал, а для него таким же естественным, как если бы он сбросил с себя чужую, опостылевшую одежду, необходимую, чтобы играть роль, и надел свою, в которой он чувствовал бы себя естественно и свободно.

«Броситься на колючую проволоку, чтобы встретиться с той, кого любишь»,— вспомнилось Диме.

Он снова заметил сходство и несходство двух историй, деда и отца — странное, потому что дед совсем не походил на отца. Несходство было в отчаянии, безраздельно овладевшем Василием Платоновичем, жалком отчаянии, сердечном припадке, попытке найти утешение в вине и могучем бешенстве деда, которое привело его в больницу.

Он долго стоял перед портретом Наталии Михайловны, который тоже стал новым после того, как Дима новыми глазами прочитал рукопись деда. «Теперь ты понял?» — как будто спрашивал его этот портрет. Но говорил он совсем о другом. Он говорил о нем и Маринке, которые были счастливы, потому что время было за них

и защищало их от колючей проволоки, от обязанности заботиться о семье, в которой росли дети. Колючую проволоку нельзя разрезать, с детьми невозможно или очень трудно расстаться. А перед Димой и Маринкой жизнь лежала прямая, простая, ясная, как похожий на древнюю птицу башенный кран с двумя крыльями-стрелами — кран, освещенный прожектором, основанный на божественной силе равновесия, на чудесной легкости, с которой он поднимал и переносил с места на место пятитонный груз.

18

Они сами не знали, кому из них пришла мысль на день-два уехать из Москвы — куда-то туда, где их ожидало неизвестное, чудесное, незнакомое, но то, что уже тысячу раз происходило в воображении.

У них было два с половиною свободных дня. Решено было выбрать Псков, старинный город. Они впервые увидели его в кино и одновременно подумали о поездке. Он-то и был городом, в котором неназванное надо было наконец назвать, а неизведанное сделать обыкновенным чудом.

— Подумай, ведь этот город три столетия назад был республикой! — сказал Дима.— Много ли городов, которым это удавалось?

Вагон, в который они попали, был общий, неудобный, тесный.

И все, что происходило в вагоне, и даже все, что осталось за ними в Москве, мгновенно исчезло, когда тронулся поезд. Наступила тишина — только для них в этом шумном вагоне. Это была торжественная тишина наслаждения близостью, тишина отдельности от всего мира, тишина душевной отрешенности и полного убежденного счастья. Они просидели всю ночь, укрывшись Диминым пальто, может быть, засыпая на несколько минут и просыпаясь, чтобы снова почувствовать это счастливое незнакомое чувство.

Когда в восемь часов утра поезд пришел в Псков, они вышли на перрон, и Маринка сказала сонным милым голосом:

— А без вещей нас ни в одну гостиницу не пустят.

— Почему? У меня портфель. А у тебя чемоданчик.

Они долго шли по бульвару, огненному от осенней листвы, пустынному, просторному и уж такому трогательно немосковскому, что слезы наворачивались на глаза — впрочем, по другой причине. Слезы наворачивались, потому что Маринка и Дима были одни и удрали и наслаждаются своей независимостью и первым самостоятельным, ни от кого не зависящим поступком.

В гостинице номеров, конечно, не оказалось. Но Диме удалось достать для себя койку в общежитии, а для Маринки уговорил старшую уборщицу, правда, с приложением пятерки, уступить ее каморку — все равно она собиралась провести ночь у больной подруги. Чемоданчик и портфель были оставлены в каморке, а Дима

с Маринкой позавтракали чем-то, захваченным из дому, и отправились бродить.

Город был строгий, мужественный, с крепостными стенами вдоль просторной реки, но для них подобрел, и башни с остроконечными вышками, с воротами, наглухо запертыми просмоленными бревнами, казалось, только и ждали, чтобы Маринка с Димой подошли к ним и сказали: «Здравствуйте». Они не получили в ответ «добро пожаловать», но как бы получили, потому что прочитали довольно длинное объяснение, из которого узнали, что находятся в Довмонтовой крепости, в псковском кремле тринадцатого века. Правда, от крепости почти ничего не осталось, но все-таки они долго смотрели на нее с уважением.

Одного монаха они увидели, но такого, что заговорить с ним они не решились. Он, наверное, спросил бы, зачем они приехали в город, а ответить на этот вопрос было трудно, почти невозможно. Ведь они приехали просто так, без всякой цели, с единственным желанием доказать себе, что они свободны и никто не в силах помешать им поступать отныне по собственному желанию. Если им захочется, они могут поехать в другой, и в третий, и десятый город — к городам надо относиться, как к интересным людям. Сейчас у них нет времени, чтобы познакомиться с интересным Псковом,— вечером надо возвращаться в Москву. Но первое знакомство все-таки состоялось.

Все время они почему-то смеялись, спать не хотелось, но все-таки они подремали в каком-то садике, о котором случайный прохожий сказал, что это — бывший Ботанический сад. Они сели на заросшую мхом скамейку подле огромной старой липы, и Маринка, прикорнув под широким Диминым плечом, подремала, а проснувшись, сказала, что очень хочется есть.

Это значило, что пора вернуться в гостиницу. Им подали какой-то жидкий суп, а второе оказалось таким невкусным, что его невозможно было есть. В каморке уборщицы они с аппетитом принялись за коржики, привезенные из Москвы, и запили их чаем.

Чувство счастья переполняло их, и они старались справиться с ним, потому что нельзя же было все время смеяться. Потом они разошлись, но Маринка не закрыла свою дверь, и Дима вечером пришел к ней.

И началась благословенная близость, началось счастливое беспамятство, заполнившее их еще небывалым чувством благодарности и счастья. Душу, оказывается, можно было взять руками, как Мариночкину коробку с ребристой крышкой. Душами, оказывается, можно было меняться, как подарками, если исполнить чужое желание, которое одновременно стало твоим. И ни о чем не надо было просить. Все совершалось неожиданно и беспричинно, повторялось и вновь совершалось, простое, как чудо. И в этой близости участвовала тайна свободы. Они были одни в этом прекрасном старинном городе, и никто на свете не знал и не чувствовал то, что они чувствовали и узнали.

До поезда оставалось еще три часа. Маринка уснула. Уснули ее руки, которые она по-детски сложила ладошками внутрь, уснули

завитки на лбу и разгоревшиеся от поцелуев щеки и губы. Сходство с Наталией Михайловной мелькнуло, но Дима энергично расправился с ним. Нет, другое время, другое, новое счастье! Ясная ложится перед ними дорога, ничто не мешает, все складывается в жизни, как никогда не складывается даже в самом счастливом сне. Нет ничего, что обязывало бы их, не надо оглядываться, некого пугаться. Они сами, своими руками устраивают и еще устроят свою жизнь. И эта поездка, первый самостоятельный шаг — прекрасно, что он совершился. Это — главное, неопровержимое доказательство независимости от судьбы, которая больше не властвует над ними и которой нужно и можно показать дорогу.

19

Дима вернулся другим из Пскова и знал, что он вернулся другим. По-прежнему оставалось только постоянное беспокойство за Маринку, к нему невозможно было привыкнуть. Он не говорил с ней об этом, но однажды сказал, и она ответила с досадой:

— Как раз наоборот! У тебя такая работа, что мне впору беспокоиться о тебе!

Он теперь чаще бывал у родителей. Он уговорил отца, который очень исхудал, пойти к врачу и стал отдавать большую часть зарплаты матери. Маринка давно советовала поступать так — мать обижалась.

А зарплата у него теперь была немалая — он считался одним из лучших членов бригады. Отремонтированный кран уже работал с полной нагрузкой, и прораб посылал бригаду Клычкова на самые трудные участки.

Легкие весенние морозы миновали. На земле среди разбросанного, заиндевевшего железа еще грузно сидела зима, а на стреле, на высоте тридцати метров дышалось легко и думалось легко, в то время как руки были заняты привычной работой.

Прошло полгода после поездки в Псков, и, упоминая о ней, они разговаривали полусловами, этого достаточно было, чтобы понять друг друга. Никто не знал об этой поездке, и они бережно хранили свою тайну, придавая ей особенное значение того, что никогда не могло повториться.

Может быть, родители догадывались об их отношениях, но не смели ни словом упомянуть о них. Это значило бы коснуться независимости, завоеванной незаметно, но прочно. Именно не смели — Ирине Сергеевне даже казалось подчас, что она боится Димы. Василий Платонович, постаревший, присмиревший, слушался каждого его слова.

Так незаметно, естественно, без намерения, молчаливый, задумчивый Дима стал главой семьи, рассыпа́вшейся, но не рассы́павшейся, опираясь на его незаурядную волю. Давно миновали времена, когда родители позволяли себе кричать на него, когда ему указы-

вали, как он должен поступить, когда ему приходилось отмалчиваться, чтобы скрыть раздражение. Теперь на него надеялись, его слушались, его любили. Теперь он иногда решался вмешиваться в дела отца, стараясь, чтобы хоть в недолгие годы, оставшиеся до пенсии, репутация его была безупречной.

И говорил Дима теперь не так мало, как прежде. Он составил для Маринки список книг и следил за ее чтением строго, подчас доводя ее до слез.

— Я буду меньше любить тебя, если ты не прочтешь «Преступление и наказание»,— мягко сказал он ей однажды.

И были прочитаны и «Анна Каренина», и романы Тургенева, и Лесков, и даже «Что делать?» Чернышевского, роман, который самому Диме показался скучноватым.

Деда он устроил в пансионат — умело воспользовавшись тем, что тот долго служил в Министерстве финансов, и даже выхлопотал ему небольшую пенсию. Почти всю свою библиотеку дед отдал ему, и Дима постепенно стал одним из самых начитанных слесарей-монтажников в Москве. Но в пансионате дед стал болеть, скучать, и Дима отдал ему свою старую комнату — сам он по-прежнему жил на Кропоткинской, хотя к работе от дома было ближе.

Словом, жизнь шла, набирая силу, расставляя все на свои места, и будущее обещало быть железно прочным, таким, каким оно представлялось Диме. Впрочем, о будущем он не думал, так же, как не думал о том, что жизнь, в сущности, складывается необыкновенно счастливо. В глубине этого размеренного счастья пряталось другое — то, из-за которого он бросился бы на колючую проволоку, как дед, или стал бы жить, потеряв дорогу между трех сосен, как отец. Он еще не знал себя, но то, что они с Маринкой условились называть «часы без стрелок», они оба знали и ждали как не замечающее времени безумство.

20

День, когда происходит несчастье, ничем не отличается от любого другого дня. Потом, когда день проходит, оставив за собой непоправимый, разящий удар, вспоминаются предчувствия, и «как всегда» отметается мысль о том, что, казалось, произойти не могло.

Как всегда, Дима открыл глаза в шесть утра, и первая мысль была о Маринке, простая мысль, что она в эту минуту тоже открыла глаза. Каждый день ему необходимо было прежде всего убедиться в факте ее существования, а уж потом шли другие факты предстоящего дня. Один факт, повторявшийся ежедневно, заслонял все другие — предстояла обычная проверка крана.

Он оделся, сделал двадцатиминутную зарядку, до первого пота, потом побрился и принял холодный душ. Перед душем он, чтобы не терять времени, включил электрический кофейник и поставил

на плиту кастрюльку с овсяной кашей. Он не любил завтракать в пижаме и оделся в рабочий костюм, прежде чем сесть за стол. Все это заняло примерно минут сорок пять, а еще через пять он надел кепку, легкое пальто и пошел на работу.

Весна уже разогналась вовсю, на деревьях набухали почки. Утро повторяло себя. И в естественности этого, почти незаметного повторения медленно двигалось вперед. В городе, да еще на строительной площадке едва ли кто-нибудь задумался над тем, что миновала ночь и что в календаре надо оторвать еще один листок, потому что «сегодня» с железной необходимостью сменило «вчера», не нуждаясь ни в предчувствиях, ни в предсказаниях.

Бригада собралась почти одновременно, но только что взялись за работу — подъем и укладку блоков противовеса, как пошел сильный дождь, и пришлось укрыться под крышей вагончика, который всегда следовал за бригадой. Бытовка была одновременно и раздевалкой, и кухней, и местом отдыха — стоял даже маленький старенький приемник. Бекбулатов стал жаловаться, что родные прислали ему целый ящик прошлогодней кураги, с которой он не знает, что делать. Посмеялись, покурили. Дождь прошел, и, не теряя времени, бригада принялась за дело. Лебедка работала равномерно, блоки крепились к платформе, и противовес уже выглядел внушительно, как и полагалось уважающему себя противовесу. Немного времени осталось до обеда.

Один из монтажников занял свое место в кабине. Клычков послал Диму повесить новый прожектор и посмотреть, лежит ли трос на своем месте, в желобе блока, где ему и полагалось лежать. Потом почему-то отменил приказание и поднялся сам.

После дождя воздух на высоте крана заметно посвежел, хотя солнце уже разгорелось так сильно, что над узенькими перилами, уложенными вдоль стрелы деревянными досками, уже появился легкий парок.

Клычков повесил новый прожектор, осмотрел, насколько это было возможно, трос и крикнул монтажнику в кабине: «Поднимай контрольный». Он не заметил (и не мог заметить), что часть троса взъерошилась ежиком оборванных нитей, оттого что когда-то (очевидно, на прежнем объекте) трос соскользнул с желоба и перетерся о стальную ось.

Клычков побежал по узким доскам настила и был уже близко от кабины, когда трос разорвался, стальной кнут хлестнул его по спине и перебросил через перила. Солнце, только что стоявшее высоко в ясном небе, спустилось вниз, переворачиваясь, кувыркаясь, и с гулким эхом разорвалось в его голове. Это было эхо падения контрольного груза.

Может быть, какие-то доли секунды он был еще жив, потому что увидел мертвенно-бледные лица и услышал над собой неясный шум голосов. Потом все стало умолкать, удаляться, руки раскинулись, и вплотную приблизилась немота, глухота, уносившая последние признаки жизни.

21

На место Клычкова Иван Мартынович назначил желчного придирчивого старика, вечно недовольного, ежеминутно ворчавшего без всякой причины — и бригада развалилась. Первым ушел Разин, давно мечтавший попасть на какое-нибудь строительство, связанное с радиотелевизионным делом, за ним Дима. У него был теперь второй разряд и знакомый слесарь в каком-то институте, срочно возводившемся на окружной дороге. Но Дима отказался. Неопределенное беспокойство за Маринку снова стало мучить его после неожиданной гибели Клычкова. Чтобы спокойно работать, ему непременно нужно было видеть ее каждый день. Он ждал полуденного обеда, когда она приходила с судками, ждал вечера, когда они уходили в кино или просто гуляли по замоскворецким переулкам. Здесь был его старый, покорно ожидавший своей участи город. Деревья уже цвели, и то, что, кроме Маринки и Димы, никто не обращал на них никакого внимания, таинственным образом участвовало в их прогулках — казалось, что сто или двести лет они берегли себя только для них.

Дима работал теперь в самом центре зданий, возводившихся рядом с Третьяковкой, и хотя новая бригада, в сущности, ничем не отличалась от старой, Дима находил, что о ней рассказать. У одного парня, например, была гитара. Он знал почти все песни Окуджавы, и многие — в том числе Дима — иногда оставались послушать его после работы. И в этой бригаде Дима сумел поставить себя, и прораб был недурен, хотя ему было далеко до Клычкова.

Но вот что было новостью, поразившей и Маринку и Диму. Оказывается, они плохо знали друг друга. Как-то случилось, что не были рассказаны ни детство, ни школа, а между тем большие и маленькие события случались, стараясь запомниться, хотя это было почти невозможно. Дни были похожи, месяцы недалеко ушли друг от друга, зато годы, казалось, были даже разного цвета. Почему-то пятый и шестой классы и у Димы и у Маринки были черного цвета, а девятый и десятый голубоватого, переходящего в синий. У Димы не было друзей, а двух товарищей, с которыми он ездил в Лесной городок походить на лыжах, он не считал друзьями. Друг — это почти брат, а они были для него как дальние родственники.

У Марины была любимая подруга Лена Ловцова. Она одна знала, что Василий Платонович каждый день приходил к маме.

— И как она к этому относилась?

— С восхищением. Она доказывала мне, что он — необыкновенный человек и что второго такого нет на свете.

— Но почему?

— Потому что только необыкновенный человек может любить так бескорыстно.

И Дима задумался. Может быть, он проглядел отца?

— А где теперь Лена Ловцова?

— Она в девятом классе умерла от белокровия. А какая красавица была! Мы жили близко друг от друга, и она однажды при-

бежала ко мне в слезах. «Андрей умер». «Какой Андрей?» Оказалось, что князь Андрей Болконский из «Войны и мира». И после ее смерти я впервые поняла, что такое горе. А потом уже, когда скончалась мама... Ты думаешь, почему я согласилась жить у вас?

— Не знаю. Но я иногда думал, что другая никогда бы не согласилась.

— Василий Платонович уговаривал меня, умолял. Даже встал передо мной на колени. Я не соглашалась. Мне казалось, что это — оскорбление памяти мамы. Ведь после ее смерти я несколько ночей не спала. И не ела. Сижу и плачу. Меня Наталья Викторовна спасла.

— Кто это?

— Наша учительница географии. Она меня любит. Заставила съесть бутерброд. Я уснула и проспала около суток. И во сне увидела, что проснулась. Раскатываю тесто для пирога, а мама стоит рядом и говорит: «Тебе трудно согласиться. Но я буду спокойнее, если ты станешь жить у них. У тебя руки должны быть постоянно заняты». Конечно, это был только сон, но мне стало как-то легче на сердце, и когда Василий Платонович на другой день снова стал умолять меня, я согласилась. А твоя мать... Я думаю, что она согласилась ради Леночки. Всё же все взрослые уходят на целый день, а я только на четыре часа, и девочка одна, а я могу и позаботиться о ней, и помочь приготовить уроки.

22

Это было в воскресный день, за обедом. Только Маринка подала суп, позвонил телефон. Она взяла трубку, ответила, и потом:

— Платон Платонович? Да, конечно, он живет здесь. Но он не может подойти к телефону.— И после паузы: — Он ничего не слышит.— Она закрыла трубку ладонью и объяснила: — Это из «Интуриста». Василий Платонович, подойдите.

Никто не слышал, что сказали Василию Платоновичу из «Интуриста», но в ответ он стал бормотать что-то настолько невнятное, что Дима не выдержал и взял у него трубку.

— Повторите, пожалуйста. Вас не расслышали. Вы из «Интуриста»?

— Да. В Москву приехала из Парижа мадам Люси Сюрвиль. Завтра группа отправляется в Ленинград, и для встречи, на которой она настаивает, времени уже не будет.

— Это говорит внук Платона Платоновича,— сказал Дима.— Он в очень плохом состоянии. Ходит с трудом и ничего не слышит.

— Минуточку,— ответил женский глос, и Дима услышал, как тот же голос быстро заговорил с кем-то по-французски. Не минутку, а две или три продолжался этот разговор, а потом Дима услышал: — Она настаивает.

— Сегодня?

— Да.

— В котором часу? Простите,— сказал Дима.— Вы не можете позвонить через полчаса?

— Хорошо.

Дима повесил трубку и сел за стол.

— Не пускать,— сказала Ирина Сергеевна.

Это было сказано так пугливо, что Дима засмеялся.

— Я поговорю с ним.

Маринка остановила его. Она торопливо унесла суп, поставила его на плиту, отколола кусочек сахара, достала из буфета какие-то остро пахнувшие капли, смочила сахар и отдала его Диме.

— На всякий случай.

Дед читал, когда он вошел, и, думая, что ему принесли обед, отложил книгу в сторону. Дима присел к столу и написал на бумажной полоске: «Дед, у меня к тебе просьба».

(Такие полоски Маринка давно нарезала для разговора с дедом.)

— К твоим услугам,— отозвался дед.

Он был в измятых, засунутых в валенки брюках, в поношенном сером свитере, и Дима прежде всего подумал, что его надо переодеть.

— «Просьба очень простая,— написал он.— Не волноваться».

— Ладно,— прочитав полоску, равнодушно сказал дед.— А что случилось?

— «К тебе приехали».

— Да? Кто и откуда?

— «Из Парижа. А кто — попробуй сам догадаться».

Дед прочел и медленно поднялся с кровати. Казалось, он собрался куда-то пойти. Дима протянул ему сахар. Он покачал головой.

— Не надо. Она хочет видеть меня?

— «Да. Звонили из «Интуриста».

Никогда прежде Диме и в голову не приходило, что Платон Платонович в свои семьдесят восемь лет еще очень хорош собой. Лицо его не обвисло, как у других стариков, черты остались подобранными, сухими. Растрепанные, желто-белые волосы закрывали высокий лоб, и он задумчиво откинул их рукой. Длинные ресницы сохранились и выгодно оттеняли радушные, серые, умные глаза. «Нельзя в одну минуту превратиться в красивого человека,— подумал Дима.— Стало быть, он всегда был таким».

Платон Платонович не всегда был таким. Не пользуясь лыжными палками, он сделал несколько шагов по комнате, обдумывая что-то. Он не был взволнован. Но что-то переменилось в нем. Он распрямился. Он глубоко, свободно вздохнул, и, казалось, весь воздух просторной комнаты вошел в его грудь, прихватив солнечный свет, которым она была озарена — косо, но ярко.

— Ну что же,— после долгой паузы сказал он.— Это прекрасно. Передай мадам Люси, что я жду ее с нетерпением.

Дима по телефону повторил эти слова, и сотрудница «Интуриста» ответила кратко:

— Ваш адрес? Сегодня мы приедем. Вечером.

До вечера было еще далеко, и, тревожно обсуждая неожиданное происшествие, пообедали, а потом тоже тревожно стали обсуждать вопрос, казавшийся почти неразрешимым: как одеть деда? Невозможно оставить его в поношенном свитере и измятых штанах.

Дима отправился к старику и, к удивлению, застал его читающим ту же книгу. Дед решил вопрос просто.

— У тебя, кажется, есть хороший свитер?

— «Да».

— Впрочем, он, пожалуй, маловат для меня?

— «Нет. Он — большой, даже громадный. Маринка смеется, что она купила его навырост».

Дима принес свитер, дед надел его, и вопрос, по его мнению, был решен.

В столовой дискуссия еще продолжалась. Дима, вернувшись, мгновенно прекратил ее.

Началось ожидание — не очень тревожное — к неожиданному приезду мадам Сюрвиль уже начали привыкать.

Она явилась, просто, но изящно одетая, небольшого роста, седая, скромно причесанная старая дама.

Потом Дима говорил, что он никогда прежде не видел таких лиц — как будто кукольных и вместе с тем необычайно серьезных. Маринка не согласилась: ничего особенного в лице старой дамы она не нашла.

Сопровождавшая ее, похожая на злую мартышку, вела себя очень странно — так, как если бы она в течение многих лет распоряжалась всеми делами семейства Малышевых, хотя увидела его впервые. Но все-таки она поздоровалась, прежде чем спросить:

— Где он?

Дима провел мадам Люси и «мартышку» к деду. Он был такой же, как утром, но если бы мог, наверно, бросился бы к своей посетительнице — или к ее ногам. Легкий румянец проступил на ожившем ясном лице. Он вдруг широко, по-мальчишески улыбнулся.

— Я ждал вас тридцать лет, Люси, и вот наконец дождался,— сказал он и сразу перешел на французский.

Дима показал старой даме полоски бумаги, лежавшие на столе. Она быстро написала на одной несколько слов, и дед, надев свои очки с толстыми стеклами, прочел и весело, тоже как-то по-мальчишески засмеялся. «Мартышка», очевидно, вмешалась в разговор, и дед, впервые заметив ее, с изменившимся, побледневшим лицом сказал что-то мадам Сюрвиль. В ответ она только пожала плечами.

Сцена, которая произошла вслед за этим презрительным движением, была понятна до мелочей, хотя разговор происходил на французском языке, которого не знал Дима. Она началась словами деда, который вежливо попросил «мартышку» подождать в столовой:

— Je vous pris de nous attendre dans la salle à manger [1].

---

[1] Я прошу вас подождать нас в столовой.

«Мартышка» сделала вид, что не слышит. Громким настоятельным голосом дед повторил фразу. Ничего не изменилось. «Мартышка» шепнула что-то мадам Сюрвиль и, не получив ответа, не двинулась с места.

Диме случалось видеть людей, которые старались справиться с бешенством и в конце концов давали ему волю: Иван Мартынович, срывая голос, кричал на монтажника, которого он обвинял в гибели Клычкова, и если бы не стоявшие вокруг рабочие, бросился бы на монтажника с кулаками.

Но дед и не думал справляться с бешенством. Какое там! Его красивое лицо исказилось, зубы оскалились, рот растянулся, седые волосы упали на лоб. Он оглянулся вокруг, очевидно, ища что-нибудь, чем можно ударить, и потянулся к тяжелому медному подсвечнику, стоящему на столе.

Дима не понял, что он крикнул «мартышке» из «Интуриста», но она побледнела и пошатнулась, как от удара.

Дима, вышедший за ней в коридор, заметил, что мадам Сюрвиль смотрит на деда смеющимся, любующимся взглядом.

— Сумасшедший,— пробормотала «мартышка».

— Да, он ведь сидел в сумасшедшем доме,— охотно объяснил Дима.— А вам, очевидно, приказали не отходить от мадам Сюрвиль ни на шаг?

«Мартышка» не ответила. Вот она действительно старалась справиться если не с бешенством, так по меньшей мере с обидой.

Маринка предложила ей чаю, и она неожиданно согласилась, но за чаем вдруг всхлипнула и приложила платок к глазам...

Мадам Сюрвиль недолго пробыла у деда. Минут через двадцать она вышла от него, тоже с заплаканными глазами. Но, несмотря на слезы, у нее было светлое, успокоившееся лицо. На пороге дед нежно поцеловал ей руку.

Это были проводы, но не похоронные, а живые, спокойно торжественные, прошедшие через годы и зачеркнувшие все, что не могло совершиться.

23

Дима хотел зайти к деду сразу после отъезда мадам Люси, но что-то удержало его. Маринка постучалась, зашла и сказала, вернувшись, что старик встретил ее очень сердечно.

На другой день Дима заглянул к нему после работы. Платон Платонович что-то писал и попросил Диму подождать, пока он закончит фразу. Однако прошло минут пятнадцать, фраза, очевидно, была давно закончена, а он все еще не отрывал пера от бумаги.

— «Ты занят, дед. Я зайду позже».

Не отрываясь, Платон Платонович отрицательно помахал левой рукой.

— У меня к тебе просьба, милый,— сказал он наконец.— Я пишу письмо. Понимаешь, кому?

— «Да».

— Так вот, ты пошлешь ей это письмо после моей смерти. Вот адрес.

— «Ладно. Но почему после смерти? Я пошлю завтра. Или послезавтра».

— Вот как раз завтра-то я и умру,— возразил дед.— На твоих часах есть секундная стрелка?

— «Да».

— Отлично. Ты умеешь считать пульс?

— «Что ж здесь хитрого?»

— Ну, вот и посчитай.

Но сосчитать пульс было невозможно: Дима дошел до ста пятидесяти и сбился. Да и эти сто пятьдесят состояли из стремительных бросков, которые прерывались паузами, когда сердце останавливалось на три-четыре секунды.

— «Ты болен, дед. Я позову маму».

Старик усмехнулся.

— Я, брат, однажды попросил ее прописать мне что-нибудь успокоительное — плохо спал. Так она добрых полчаса перелистывала справочники, а потом вручила мне рецепт, над которым в аптеке посмеялись. Впрочем, это было очень давно. Может быть, с тех пор она научилась.

— «Да, мама все забыла,— согласился Дима. Но в Управлении механизации бывает хороший врач. Я сейчас за ним сбегаю, дед».

— Не стоит трудиться. И не поднимай, пожалуйста, шума.

Но Дима все-таки привел врача — пожилого, серьезного, бородатого, добродушного,— и тот, послушав деда, сказал, что нужно немедленно вызвать «скорую помощь».

— Отказываюсь,— решительно сказал дед.— Еще в больницу возьмут! Умирать надо дома.

Дима не знал, о чем доктор поговорил с мамой. Но дело действительно было плохо, потому что на другой день у Платона Платоновича провалились глаза и на смертельно-бледных губах появился синеватый оттенок. Дима не мог уйти с работы, но все-таки отпросился, когда заплаканная Маринка прибежала и сказала, что дед хочет с ним поговорить.

— Плохо?

— Очень плохо. Всех прогнал. «Дайте мне умереть спокойно». Потом позвал громко: «Дима!..» И послал меня за тобой.

...Дед лежал с закрытыми глазами. Дима сел подле его постели, и он сжал его руку с неожиданной силой.

— В сравнении с тобой мне повезло,— слабым, но отчетливым голосом сказал дед.— Ты можешь прожить обыкновенную жизнь. Ты видишь людей, все новых и новых, камни, дома, небо.

«Бредит»,— подумал с острой жалостью Дима.

— Нет,— как будто угадав его мысль, возразил дед.— Сколько тебе лет?

— «Восемнадцать».

— А в меня эта молния ударила, когда мне было почти пятьдесят. В сущности, недавно. Может быть, точнее назвать ее не молнией, а болезнью. Неизлечимой. Она называется счастье. И все, кроме нее, потеряло значение. Неизлечимая,— повторил дед.— И, может быть, наследственная. Я устал. Не уходи, Дима.

Минут двадцать он пролежал молча, тяжело дыша, с открытыми глазами.

— Берегись счастья,— продолжал он наконец.— Оно выпрямляет жизнь. Идешь по шпалам, между рельсами, все прямо и прямо. Пространство сужается. Но ни о чем не надо жалеть. Годы уносят людей, камни, дома. Остается небо. Но годы отнимают и небо. Остаются воспоминания. Ты для меня уже воспоминание. Иногда они оживают. Их можно взять за руки. Я взял Люси за руки. Теперь можно умереть. Но лучше взяться за руки, чтобы жить, хотя рельсы, которые должны лежать параллельно, скрещиваются в конце концов. Кто это доказал? Не помню.

— «Лобачевский»,— написал Дима. Он плакал.

— Может быть. Умираю легко,— продолжал дед.— Это значит только одно: сердцу надоело биться. А письмо, которое я написал ей, ты отошлешь завтра.

— «Да, дед».

— Это странно, но лучше всего я чувствовал себя среди сумасшедших. Они гордились своей сложностью, а я своей простотой. Они были сложны, как дети. Но я говорю не о том. Мы оба больны, мой милый, и разница в том, что я болен смертельно. Меня зароют в землю или сожгут, а ты еще поправишься и будешь жить. Но может быть, я ошибаюсь.

24

Платон Платонович умер ночью. Дима закрыл ему глаза. Стояли жаркие дни, и на другое утро его отвезли в морг. Провожавшие с цветами в руках собрались в пустом морге, посередине которого стоял длинный стол. Мертвый дед лежал в гробу на этом столе. Кроме родных, пришли два старика, некогда служившие вместе с ним в Министерстве финансов. Руки лежали вдоль тела. Ступня левой ноги лежала неровно, косо, и сторож поправил ногу, точно это была вещь, которую надо положить на место. Маринка плакала. Потом деда привезли в крематорий, и пришлось долго ждать, хоронили заслуженного деятеля науки, выступали с речами. Прощанье было короткое. Кроме деда, все торопились.

Под траурную музыку гроб медленно стал опускаться, как пловец, которому надоело лежать на спине и он решил нырнуть в расступившуюся воду.

Вернулись поздно, разошлись по комнатам. Дима отправился на Кропоткинскую. «Мне хочется побыть одному»,— сказал он Маринке, зашел на почту и отправил письмо Люси Сюрвиль.

1984

Содержание

Рассказы

Каверин В. А.

К12 Летящий почерк: Романы и рассказы.— М.: Худож. лит., 1986.— 415 с.

В книгу известного советского писателя В. А. Каверина (р. 1902) включены роман в письмах «Перед зеркалом» (1965—1970), роман о судьбе военного корреспондента «Наука расставания» (1982), а также рассказы последних лет «Загадка», «Разгадка» и «Летящий почерк».

К $\frac{4702010200\text{-}266}{028(01)\text{-}86}$ КБ-1-12-86 **ББК 84Р7 Р2**

Вениамин Александрович Каверин

Летящий почерк

Романы и рассказы

Редакторы *О. Новикова, О. Дворцова*

Художественный редактор *С. Гераскевич*

Технический редактор *Л. Коротеева*

Корректоры *Н. Пехтерева, Е. Ивасюк*

ИБ № 4775

Сдано в набор 10.11.85. Подписано в печать 08.10.86. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,0. Усл. кр.-отт. 26,0. Уч.-изд. л. 31,28. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2287. Заказ № 5-459. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Книжная фабрика «Коммунист». 310012, Харьков-12, Энгельса, 11.